
Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА, В. В. ИВАШЕВОЙ,

ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



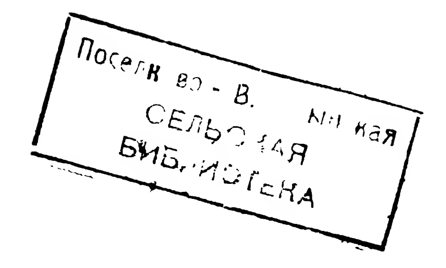
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

КАРТИНЫ ИТАЛИИ

Перевод с английского



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

CHARLES DICKENS

AMERICAN NOTES

for

GENERAL CIRCULATION

1842

PICTURES from ITALY

1846

Иллюстрации
КЛАРКСОНА СТЭНФИЛДА,
МАРКУСА СТОНА, А. Ф. ФРОСТА,
ГОРДОНА ТОМСОНА

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Перевод Т КУДРЯВЦЕВОЙ
Редактор Н. Д. ВОЛЬПИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мои читатели имеют возможность сами разобраться, действительно ли существовали в Америке те влияния и тенденции, которые заставили меня насторожиться, или это только плод моего воображения. Они могут сами установить, проявлялись ли с тех пор эти влияния и тенденции в общественной жизни Америки как внутри страны, так и за границей. А выяснив это, они смогут меня судить. Если они обнаружат какие-либо факты, свидетельствующие о том, что хотя бы в одном из указанных мной отношений Америка отклонилась от правильного пути, значит я имел основания писать то, что я написал. Если же они таких фактов не обнаружат,— значит, я ошибся, но без всякого умысла.

Никакого предвзятого мнения у меня нет и никогда не было,— а если оно и было, то в пользу Соединенных Штатов. У меня в Америке много друзей, я с приязнью и интересом отношусь к этой стране и верю и надеюсь, что она успешно решит проблему, имеющую величайшее значение для всего человечества. Выставлять меня человеком, относящимся к Америке злобно, холодно или враждебно,— просто глупо, а сделать глупость — всегда легко.

ГЛАВА I

Отъезд

Я никогда не забуду того изумления, на четверть тревожного и на три четверти веселого, с каким я утром третьего января тысяча восемьсот сорок второго года приоткрыл дверь спальной каюты на борту пакетбота «Британия», водоизмещением в тысячу двести тонн, направлявшегося в Галифакс и Бостон с грузом почты ее величества *.

Что каюта отведена специально для «Чарльза Диккенса, эсквайра *, с супругой», было достаточно ясно даже для моего потрясенного рассудка, поскольку об этом извещала крохотная записка, приколотая к очень тонкому ватному одеялу, покрывавшему очень тощий матрац, который лежал, подобно слою хирургического гипса, на совершенно недосягаемой полке. Но что именно это и есть та каюта, по поводу которой Чарльз Диккенс, эсквайр, с супругой совещались день и ночь добрых четыре месяца; что таковою могла оказаться та маленькая уютная комнатка, которую Чарльз Диккенс, эсквайр, рисовал себе в мечтах и, окрыленный пророческим вдохновением, предсказывал, что в ней будет стоять по крайней мере одна кушетка,— а его супруга, придерживаясь более скромного, но все же преувеличенного мнения о ее размерах, с самого начала усомнилась, удастся ли поме-

стить в каком-нибудь уголке более двух огромных сундуков (сундуки эти было бы так же невозможно не только поставить, но хотя бы протащить сейчас в каюту, как невозможно убедить или заставить жирафа влезть в цветочный горшок); что эта крайне неудобная, безнадежно унылая и абсолютно нелепая коробка имеет хотя бы отдаленное отношение или касательство к изящным, красивым, я уж не говорю, роскошным маленьким будуарам, мастерски изображенным на яркой цветной литографии, висевшей в конторе агентства в Лондоне; словом, что эта каюта может быть чем-то иным, кроме веселой мистификации, забавной шутки капитана, задуманной и осуществленной для того, чтобы пассажир испытал побольше удовольствия и наслаждения при виде настоящей спальной каюты,— все эти истины я в ту минуту, сколько ни старался, право, не мог ни воспринять, ни постичь. И я сел на нечто вроде насеста или валика из конского волоса,— каковых в каюте было два,— и бессмысленно посмотрел на своих друзей, которые вместе с нами взошли на борт пакетбота и теперь строили самые невероятные гримасы, пытаясь просунуть голову в крошечную дверцу.

Перед тем как спуститься в каюту, мы уже пережили изрядное потрясение, которое, не будь мы величайшими оптимистами, могло бы подготовить нас к самому худшему. Художник с пылкой фантазией, о котором я уже упоминал, изобразил в том же великом произведении залу почти беспредельной глубины, обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверхвосточным великолепием *, где толпились (но не теснились) веселые и оживленные леди и джентльмены. Собираясь спуститься в чрево судна, мы прошли с палубы в длинное узкое помещение, напоминающее гигантский катафалк с окнами по сторонам; в дальнем конце его виднелась унылая печь, у которой грели руки три или четыре продрогших стюарда, а во всю его безотрадную длину вдоль обеих стен стояли длинные-предлинные столы и над каждым из них — привинченная к низкому потолку полка с гнездами для стаканов и судков, что наводило на мрачные мысли о бушующем море и штормовой погоде. В то время я еще не успел познакомиться с идеальным изображе-

нием этой комнаты, доставившим мне впоследствии столько удовольствия, но я заметил, как один из наших друзей, помогавший нам готовиться к путешествию, войдя в нее, побледнел, затем, попятившись, наступил на ногу тому, кто стоял позади, и, невольно хлопнув себя по лбу, пробормотал: «Непостижимо! Не может быть!» — или что-то в этом роде. Однако, сделав страшное усилие, он взял себя в руки, кашлянул разок-другой и громко произнес, озираясь по сторонам с застывшей улыбкой, которую я до сих пор не могу забыть: «Скажите, стюард, это, верно, комната, где у вас завтракают?» Мы все предвидели, каков будет ответ; нам были понятны его мучения. Он часто говорил о кают-компании, поверил той картине в лондонском агентстве и ею питал свою фантазию. Чтобы составить себе правильное представление об этой зале,— обычно пояснял он нам еще дома,— нужно в семь раз увеличить размеры обыкновенной гостиной и количество стоящей в ней мебели, и того будет мало. И вот теперь, когда стюард в ответ изрек истину — грубую, беспощадную, голую истину: «Это кают-компания, сэр», мой друг буквально зашатался от такого удара.

Когда людям предстоит вот-вот расстаться с теми, кого они привыкли встречать ежедневно, когда их вскоре должен разделить барьер в виде многих тысяч миль бурного водного пространства и поэтому хочется, чтобы ни одно облачко, ни одна мимолетная тень минутного разочарования или смущения не омрачали тех счастливых минут, что еще осталось провести вместе,— в таких обстоятельствах, естественно, на смену первому удивлению приходит веселый смех. Могу сообщить, что я в частности, сидя на вышеупомянутом валике, или насесте, разразился неистовым хохотом и хохотал до того, что судно заходило ходуном. Таким образом, не прошло и двух минут после нашего первого знакомства с каютой, как все мы согласились на том, что она — самое приятное, самое прелестное и самое удобное помещение, какое только можно придумать, и было бы весьма неприятно и прискорбно, если бы она оказалась хоть на дюйм больше. После чего, продемонстрировав, каким образом можно разместиться в ней четверым,— если дверь прикрыть и проползать в нее, извиваясь как змея, и если малень-

кую нишу с умывальником считать площадью для одного из присутствующих,— мы стали убеждать друг друга обратить внимание на то, какой тут свежий воздух (во время стоянки), и какой чудесный иллюминатор, который можно целый день держать открытым (если позволяет погода), и какой большой фонарь висит как раз над зеркалом, благодаря чему бритье будет самой легкой и приятной процедурой (когда не слишком качает),— и пришли, наконец, к единодушному выводу, что каюта не только не мала, а даже просторна. Однако я глубоко убежден, что если не считать двух коек,— расположенных одна над другой и таких узких, что, пожалуй, только в гробу спать еще теснее,— каюта была не больше одного из тех наемных кабриолетов с дверцей позади, из которых седоки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем.

Разрешив этот вопрос к полному удовлетворению всех заинтересованных и незаинтересованных сторон, мы уселись вокруг огня в дамской каюте,— просто чтобы посмотреть, как это получится. Было, правда, довольно темно, но кто-то сказал: «В открытом море, конечно, будет светлее», с чем мы все согласились, повторяя: «Конечно, конечно», хотя весьма трудно сказать, почему мы так думали. Обнаружив и всесторонне обсудив еще одно утешительное обстоятельство, а именно: что дамская каюта примыкает к нашей, благодаря чему у нас есть полная возможность располагать этой каютой в любой час дня и при любой погоде,— мы, помнится, с минуту сидели молча, подперев подбородки руками и глядя в огонь, и тогда один из нас сказал с торжественным видом человека, сделавшего открытие: «А как вкусен будет здесь глинтвейн из кларета!» Это открытие чрезвычайно поразило нас, как будто в воздухе кают есть нечто пикантное и изысканно благоуханное, что существенно улучшает этот напиток и исключает всякую возможность довести его до того же совершенства в любом другом месте.

Тут же вертелась стюардесса, которая с большим рвением извлекала чистые простыни и скатерти из недр диванов и из самых неожиданных вместилищ такого хитроумного устройства, что голова кружилась, когда они раскрывались одно за другим. Следить за ее движениями

было истинным развлечением: выяснилось, что каждый уголок и закоулок, каждый предмет обстановки был в действительности совсем не тем, чем казался на первый взгляд, а представлял собой ловушку, скрытый фокус или тайник и что использовать ту или иную вещь по ее прямому назначению было бы самым неразумным на свете.

Да благословит бог эту стюардессу за благонамеренное жульничество, каким явился ее рассказ о плавании в январе! Да благословит ее бог за то, с какою ясностью она припомнила все подробности прошлогоднего путешествия, когда никто не болел, и все танцевали с утра до вечера, и весь «переход» длился всего двенадцать дней — веселая, чудесная поездка, чистое удовольствие! Дай ей бог счастья за ее светлую улыбку и приятный шотландский выговор, который напоминал моей спутнице милые родные края; * и за предсказания попутного ветра и тихой погоды (ни одно из них не сбылось,— но тем милее она мне сейчас), а также те бесчисленные проявления подлинно женского такта, благодаря которому без особо хитроумных уверток и уж слишком искусных, шитых белыми нитками построений — ей со всею ясностью удалось доказать, что молодым матерям, находящимся по одну сторону Атлантического океана, рукой подать до своих детишек, оставшихся по другую его сторону, а то, что непосвященному кажется далеким путешествием, для посвященных — всего лишь пустая забава. Пусть долгие годы будет легко на душе у этой девушки, и пусть ничто не омрачает ее веселого взора!

Каюта ширилась и росла у нас на глазах, а к этому времени она превратилась в нечто и вовсе грандиозное, и иллюминатор казался чуть ли не окном-фонарем, выходившим на морской простор. Итак, мы снова поднялись на палубу в наилучшем расположении духа, а там шла такая кипучая подготовка к отплытию, что поневоле становилось весело на душе и кровь бурлила и быстрее бежала по жилам в это ясное морозное утро. Вокруг величавые суда медленно покачивались на волнах, и маленькие катера с шумом плескались в воде, а на пристани стояли толпы народа, которые «в трепетном восхищении» взирали на знаменитый быстроходный американский корабль. Несколько человек «принимали на борт

молоко», или, иначе говоря, загоняли на пароход корову; другие — доверху набивали ледники свежей провизией: мясом и зеленью, бледными тушками молочных поросят, десятками телячьих голов, говядиной, телятиной, свининой и несметным количеством дичи; третьи — сматывали канаты и возились с конопатью; четвертые — спускали в трюм тяжелые грузы, а за огромной грудой пассажирского багажа едва виднелась голова эконома, взиравшего на все с видом полнейшей растерянности; и казалось, нигде, а главное — ни в чьих мыслях нет места ничему, кроме приготовлений к этому внушительному путешествию. Все было неотразимо прекрасно: и яркое холодное солнце, и бодрящий воздух, и подернутая рябью вода, и на палубе тонкая белая корочка утреннего ледка, который ломается с резким и веселым хрустом, едва на него ступишь. Когда же мы снова очутились на берегу и, обернувшись, увидели на мачте веселые яркие флажки, обозначавшие название судна, а рядом с ними полоскавшийся на ветру красивый американский флаг с полосами и звездами, нам вдруг показалось, будто все это — и огромное расстояние в три с лишним тысячи миль, и долгие шесть месяцев отсутствия — уже промелькнуло и растаяло в тумане прошлого; будто судно отплыло в Америку и снова вернулось обратно, и уже наступила весна, и мы только что прибыли в Кобургский док в Ливерпуле.

Я не справлялся у своих знакомых врачей, действительно ли переезд по морю легче переносится, если питаться черепашьим супом и холодным пуншем из белого рейнвейна, шампанского и кларета, а также всяческими легкими закусками, обычно в неограниченных количествах входящими в меню хорошего обеда,— в особенности если оно полностью предоставлено на усмотрение моего непогрешимого друга, мистера Редли из отеля «Аделфи» *. Или, может быть, напротив — кусок простой баранины да стаканчик-другой хереса были бы менее способны превратиться в инородное вещество, вызывающее неприятное ощущение? Мне лично кажется: будет ли человек умерен или невоздержан накануне отплытия — это не имеет существенного значения, ибо, как говорится: «Конец всегда один и тот же». Но как бы там ни было, я знаю, что обед в тот день был несомненно превосходный и состоял он из

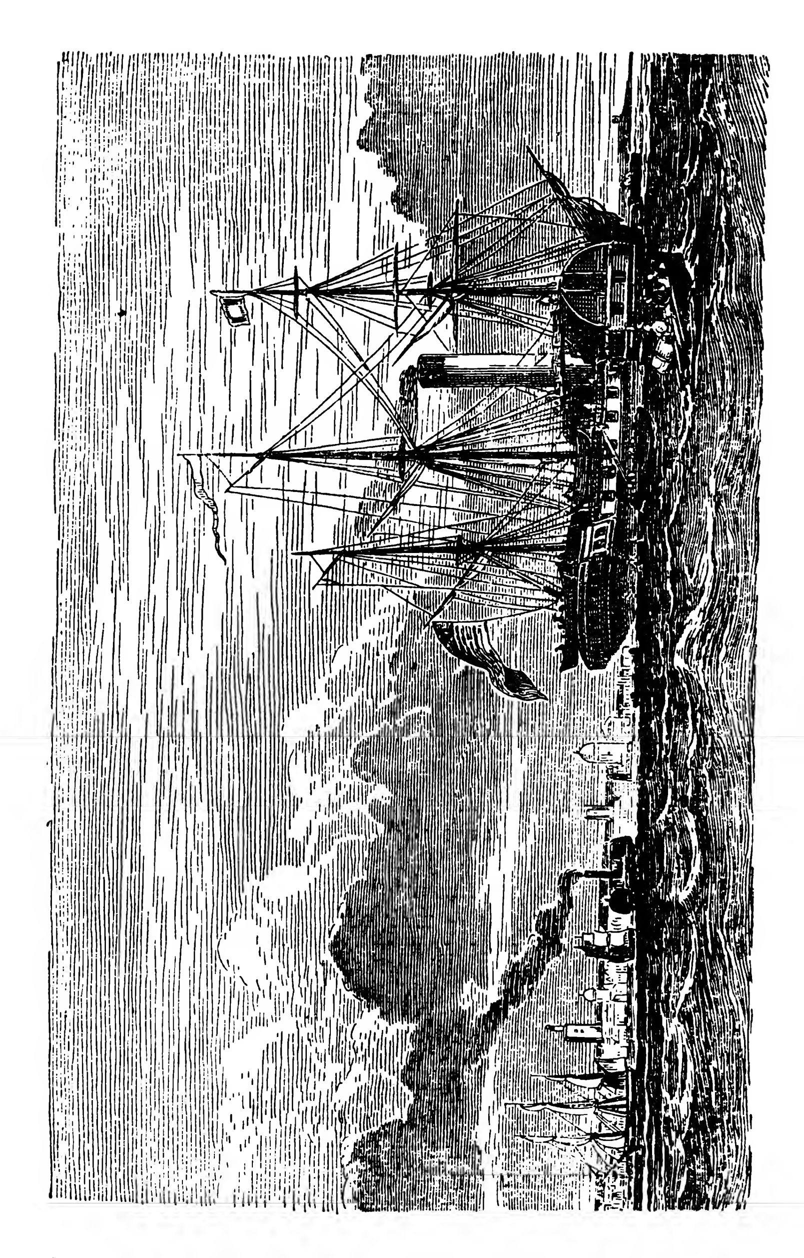
всех перечисленных выше блюд и множества других, которым мы отдали должное. И мы благополучно перенесли испытание и даже были веселы, насколько могли, но только, как бы по молчаливому уговору, избегали каких-либо упоминаний о завтрашнем дне — как это бывает, вероятно, между сердобольными тюремщиками и слабонервным узником, которого на следующее утро должны повесить.

Когда же настало утро — *то* утро и мы встретились за завтраком, было прямо забавно наблюдать, как все старались поддержать разговор, чтобы он ни на минуту не прекращался, и как все были необыкновенно веселы. Вымученное остроумие каждого члена нашей маленькой компании не больше походило на его обычную веселость, чем запах оранжерейного горошка по пяти гиней за четверть — на разлитый в воздухе аромат цветущих лугов и на вспоенной дождем земли. Но по мере того как стрелка часов приближалась к часу пополудни, когда надлежало подняться на борт,— этот поток красноречия, несмотря на самые отчаянные усилия, стал мало-помалу иссякать, пока, наконец — поскольку стало ясно, что все попытки тщетны,— мы не отбросили всякое притворство и не начали вслух размышлять о том, где мы будем в этот час завтра, послезавтра и так далее. Мы вручили тем, кто намеревался вернуться в город в тот же вечер, множество всяких посланий, которые следовало непременно передать нашим родным и знакомым возможно скорее после прибытия поезда на вокзал Юстон-сквер *. В подобные минуты вспоминаешь всегда кучу важных дел и необходимых поручений, и мы все еще были заняты этим, как вдруг обнаружили, что уже крепко-накрепко впаяны в сплав, состоящий из пассажиров, друзей пассажиров и багажа пассажиров, и вместе с этим сплавом переместились на палубу маленького пароходика, который, конвульсивно вздрагивая и пыхтя, двинулся по направлению к пакетботу, вышедшему вчера днем из дока и стоявшему сейчас поодаль на якоре.

Вот он! Все взоры устремлены на пакетбот, очертания которого расплываются в сгущающемся тумане зимнего дня; все указывают рукой в одном направлении, и со всех сторон слышны удивленные и восторженные

возгласы: «О, какой красивый!», «Какой нарядный!» Даже ленивый джентльмен в шляпе набекрень, который весьма успокоительно подействовал на многих, когда, засунув руки в карманы и позевывая, с небрежным видом спросил другого джентльмена, не едет ли и он «на ту сторону», точно речь шла о переправе через реку на пароме,— даже и этот джентльмен снисходительно бросает взгляд на пакетбот и кивает головой, как бы говоря: «Ну, тут дело чистое». Думается, сам премудрый лорд Бэрли * не кивал и вполовину так многозначительно, как этот всемогущий ленивый джентльмен, который (неизвестно откуда, но это уже знали все на борту) тринадцать раз пересек океан без единого неприятного происшествия! Есть тут и еще один пассажир, закутанный с головы до пят; при виде его остальные хмурятся, уничтожая его презрительными взглядами: говорят, он робко поинтересовался, давно ли пошел ко дну бедный «Президент». Он стоит рядом с ленивым джентльменом и со слабой улыбкой выражает надежду, что эта штука — судно достаточно крепкое. И ленивый джентльмен, взглянув сначала вопрошающему в глаза, а затем пытливо посмотрев, каково направление ветра, неожиданно и зловеще отвечает, что, должно быть, так. После этого ленивый джентльмен сразу низко падает в глазах общества, и пассажиры, пренебрежительно поглядывая на него, нашептывают друг другу, что он осел и мошенник и явно ничего не смыслит в таких вещах.

Но вот мы подошли к самому пакетботу, огромная красная труба которого храбро дымит, многообещающе заверяя в его серьезных намерениях. Уже из рук в руки передают ящики, сундуки, саквояжи и картонки, и все это с головокружительной быстротой грузится на судно. Офицеры в нарядной форме стоят у трапа, помогая пассажирам взобраться на палубу и поторапливая матросов. Через пять минут маленький пароходик совсем опустел, а пакетбот был мгновенно битком набит живым грузом. В каждом уголке и закоулке — десятки пассажиров; они ползут внутрь судна со своим багажом, спотыкаясь по дороге о чужой; удобно располагаются не в тех каютах, где следует, и создают ужасающий переполох, когда приходится выбираться; с яростью дергают ручку



запертой двери или пытаются пройти там, где нет прохода; засыпают невыполнимыми поручениями растрепанных очумелых стюардов, заставляя их бегать взад и вперед по палубам, где свищет ветер,— короче говоря, поднимают самую невообразимую суматоху. И среди этой суеты по штормовому мостику, хладнокровно попыхивая сигарой, прогуливается ленивый джентльмен, как видно, не обремененный ни багажом, ни даже провожающими; это независимое поведение снова возвышает его в глазах тех, у кого хватает времени наблюдать за ним, и всякий раз, как он бросает взгляд вверх, на мачты, или вниз, на палубу, или за борт, они смотрят туда же, как бы спрашивая себя, не заметил ли он там чего-либо подозрительного, и надеясь, что он не откажет в любезности сообщить им, если действительно что-нибудь не так.

Что это там? Капитанская шлюпка, а вот и сам капитан! Он как раз таков, каким мы надеялись его видеть! Ладно скроенный, плотно сбитый, подвижной человечек с румяным приветливым лицом, взглянув на которое так и хочется пожать ему сразу обе руки, и с ясными честными голубыми глазами, в которых приятно видеть собственное искрящееся отражение.

— Давайте сигнал!

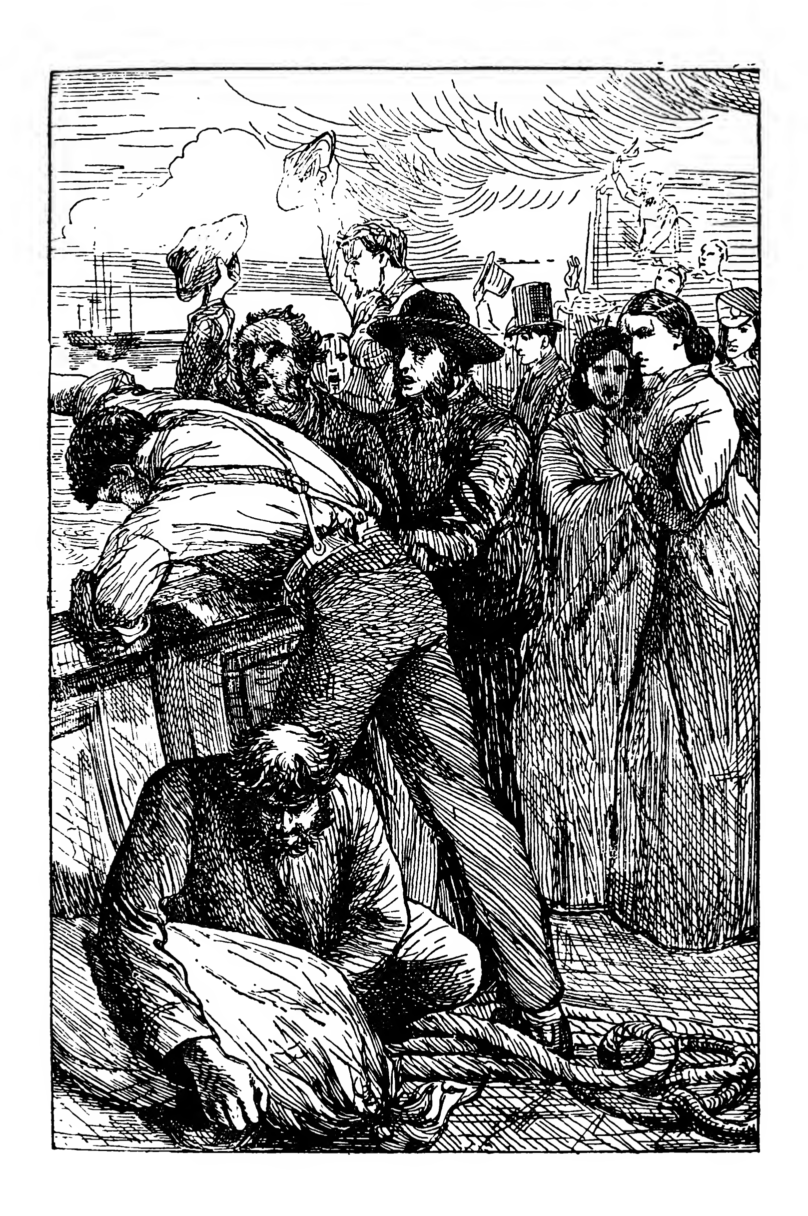
«Динь-динь-динь» — даже колокол и тот торопится.

— На берег,— кому на берег?

— Джентльмены, прошу вас.

Они уже ушли и даже не попрощались. А теперь они машут руками и кричат с пароходика: «До свидания, до свидания!» Троекратные приветствия с катера, троекратные приветствия с нашего корабля; снова троекратные приветствия пароходика,— и они исчезли из виду.

Взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед сотни раз! Это ожидание последних мешков с почтой хуже всего. Если бы мы могли отплыть под приветственные возгласы провожающих, то поездка наша началась бы подобно триумфальному шествию, но стоять на якоре в течение двух часов и больше, затерявшись в мокром тумане, уже не находясь дома и еще не отплыв на чужбину,— тут волей-неволей погрузишься в пучину скуки и уныния. Но вот, наконец,— точка в тумане! Что-то движется. Да это тот самый катерок, которого мы ждем! Вот



это кстати! На капитанском мостике показывается капитан с большим рупором; офицеры становятся по своим местам; матросы все наготове; гаснущие надежды пассажиров разгораются; коки прерывают свою аппетитную работу и с интересом выглядывают из дверей камбуза. Катерок подходит к пакетботу; на палубу кое-как втаскивают мешки с почтой и пока что бросают куда попало. Снова троекратные приветствия, и едва первый звук их достиг наших ушей, судно содрогнулось, подобно могучему великану, в которого только что вдохнули жизнь; два его огромных колеса с силой сделали первый оборот, и благородный корабль, подгоняемый ветром и течением, гордо двинулся, рассекая бурлящие и вспененные воды.

ГЛАВА II

В пути

В тот день мы обедали все вместе; и собралась нас компания немалая: человек восемьдесят шесть. Судно, приняв полный запас угля и большое количество пассажиров, изрядно осело, погода была безветренная, море спокойное, и качка ощущалась лишь слегка, так что уже к середине обеда даже те из пассажиров, кто был наименее уверен в себе, удивительно осмелели; те же, кто поутру на традиционный вопрос: «Вы хороший моряк?» — давали категорически отрицательный ответ, теперь либо парировали вопрос уклончивым: «Полагаю, что я не хуже всякого другого», либо же, пренебрегая всякими принципами морали, смело ответствовали: «Да», причем делали это с некоторым раздражением, словно хотели добавить: «Желал бы я знать, сэр, что вы именно во мне увидели такого, что могло бы оправдать ваши подозрения?»

Несмотря на этот бодрый тон, мужественный и уверенный, я не мог не заметить, что лишь очень немногие задержались после обеда за бокалом вина; все проявляли необычайное пристрастие к свежему воздуху, а излюбленными местами, которых больше всего домогались, неизменно были места поближе к двери. За чаем было далеко не так людно, как за обедом, и игроков в вист

оказалось меньше, чем можно было ожидать. Все-таки, за исключёнием одной дамы, удалившейся с некоторой поспешностью из-за обеденного стола тотчас после того, как ей подали отменный кусок очень желтой отварной баранины с очень зелеными каперсами, никто пока не поддавался нездоровью. Расхаживание, и курение, и потягивание коньяка с водой (но всегда и только на открытом воздухе) продолжались с неослабным усердием часов до одиннадцати, когда пришло время «сойти в каюту»,— ни один мореход, имеющий за плечами семичасовой опыт, не скажет «пойти спать». Непрестанный стук каблуков по палубе сменился глубокой тишиной; весь человеческий груз был убран в нижние помещения, не считая очень немногих полуночников вроде меня, которым, вероятно, как и мне, было страшно туда спускаться.

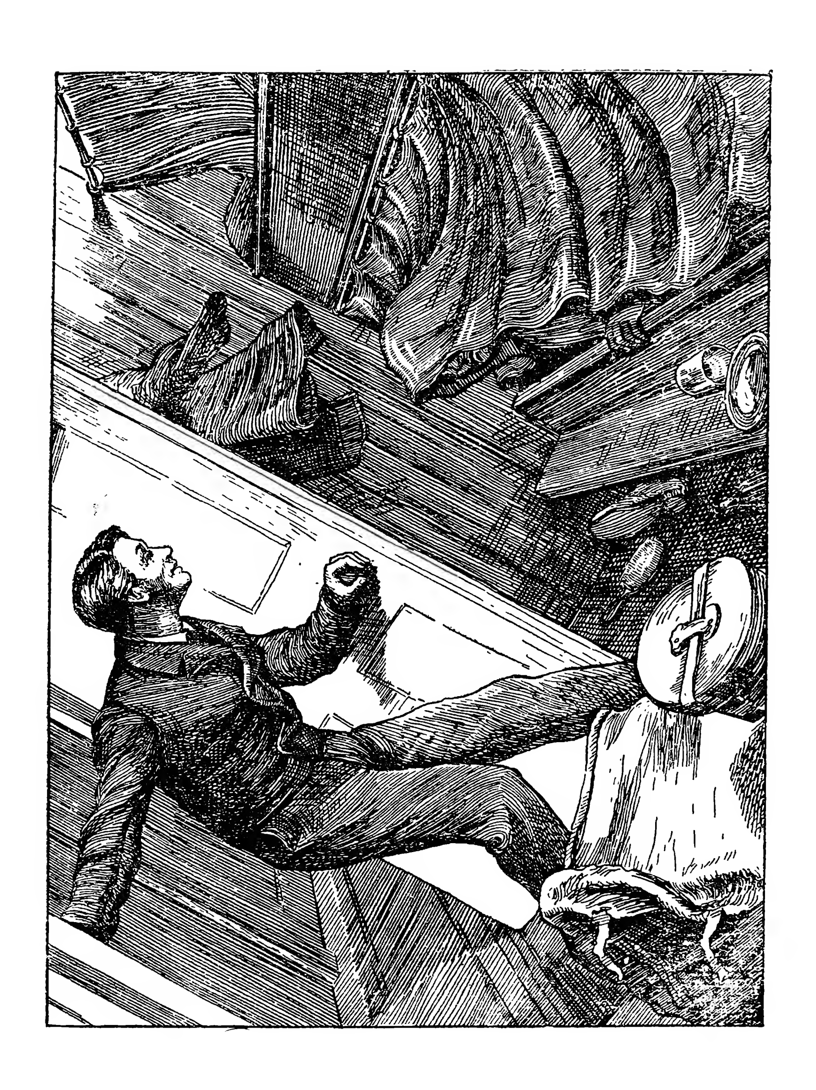
На человека непривычного ночь на борту судна производит большое впечатление. Даже впоследствии, когда это впечатление потеряло свою новизну, оно еще долго сохраняло для меня особую прелесть и очарование. Мрак, сквозь который огромная черная глыба прямо и уверенно держит свой курс; отчетливо слышный плеск невидимых волн; широкий белый пенистый след, оставляемый судном; вахтенные на баке, только потому и различимые на фоне темного неба, что они заслоняют десяток-другой сверкающих звезд; рулевой у штурвала и перед ним развернутая карта — пятнышко света среди тьмы, словно нечто одухотворенное, наделенное божественным разумом; меланхолические вздохи ветра в блоках, канатах и цепях; свет, пробивающийся из каждой щели и скважины, сквозь каждое стеклышко надпалубных строений, как будто корабль наполнен скрытым огнем, готовым вырваться через любое отверстие во всем ужасающем неистовстве своей гибельной разрушительной силы. Кроме того, по началу — и даже позднее, когда привыкаешь и к ночи и к тому, что все предметы в ней приобретают какую-то особую торжественность,— трудно, оставаясь наедине со своими мыслями, воспринимать предметы такими, какими видишь их днем. Они изменяются по воле воображения; принимают образы вещей, оставленных где-то далеко; приобретают памятные очертания любимых, дорогих сердцу мест и даже населяют их

призраками. Улицы, дома и комнаты, человеческие фигуры, настолько схожие с действительными, что они поражали меня своей реальностью,— я и не подозревал в себе такой способности видеть мысленным взором отсутствующих! — все это много, много раз внезапно возникало из предметов, чей настоящий облик, употребление и назначение я знал как свои пять пальцев.

Однако, поскольку в данном случае все мои пальцы на руках и на ногах очень озябли, я в полночь сполз вниз. Внизу было не слишком уютно. Воздух был довольно спертый, и невозможно было не заметить той необычайной смеси странных запахов, какая встречается только на борту судна и представляет собою столь острый аромат, что он, кажется, проникает во все поры кожи, напоминая вам о корабельном трюме. Две жены пассажиров (одна из них моя) уже лежали, в безмолвных муках, на диване, и горничная одной из жен (моей жены) валялась на полу, как узел тряпья, проклиная свою судьбу и тряся папильотками среди разбросанных чемоданов. Все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях, и уже одно это создавало неодолимые препятствия. Я только что оставил дверь открытой у подножия некоего склона; когда же я повернулся, чтобы закрыть ее, она оказалась где-то на вершине. Все планки и шпангоуты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих сучьев. Оставалось только одно — лечь в постель, что я и сделал.

Следующие два дня прошли примерно так же — с умеренно-свежим ветром и без дождя. Я много читал в постели (но и по сей день не знаю, что именно) и ненадолго выходил побродить по палубе; с невыразимым отвращением пил коньяк с холодной водой и упрямо грыз твердые галеты: я не был болен, но находился на грани болезни.

Настает третье утро. Меня пробуждает ото сна отчаянный крик моей жены, желающей знать, не грозит ли нам опасность. Я приподымаюсь и выглядываю из постели. Кувшин с водой ныряет и прыгает, как резвый дельфин; все небольшие предметы плавают, за исключением моих башмаков, севших на мель на саквояже, словно пара



угольных барж. Внезапно они у меня на глазах подскакивают в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипает к потолку. В то же время дверь совсем исчезает и в полу открывается другая. Тогда я начинаю понимать, что каюта стоит вверх ногами.

Еще не успели вы сколько-нибудь приспособиться к этому новому положению вещей, как судно выпрямляется. Не успели вы молвить «слава богу», как оно снова накреняется. Не успели вы крикнуть, что оно накренилось, как вам уже кажется, что оно двинулось вперед, что это — живое существо с трясущимися коленями и подкашивающимися ногами, которое несется по собственной прихоти, непрестанно спотыкаясь, по всевозможным колдобинам и ухабам. Не успели вы удивиться, как оно подпрыгивает высоко в воздух. Еще не завершив прыжка,— уже ныряет глубоко в воду. Еще не выбравшись на поверхность,— выкидывает курбет. Едва успев снова встать на ноги,— стремительно бросается назад. И так оно движется — шатаясь, вздымаясь, опускаясь, борясь, прыгая, ныряя, подскакивая, подрагивая, переваливаясь и покачиваясь, и проделывая все эти движения иногда по очереди, а иногда одновременно, пока вы не начинаете чувствовать, что готовы взреветь о пощаде.

Проходит стюард.

— Стюард!

— Сэр?

— Что тут творится? Как это по-вашему называется?

— Довольно сильное волнение, сэр, и лобовой ветер.

Лобовой ветер! Представьте себе носовую часть корабля в виде человеческого лица и вообразите некоего Самсона, могучего, как пятнадцать тысяч Самсонов, который стремится отбросить корабль назад и наносит ему удары прямо в переносицу, лишь только тот пробует продвинуться хотя бы на дюйм. Вообразите самый корабль: все вены и артерии его громадного тела вздулись и готовы лопнуть под жестоким напором противника, но он поклялся пройти или погибнуть. Вообразите вой ветра, рев моря, потоки дождя, неистовство стихий, восставших против него. Вообразите небо, темное и бурное, и облака, в диком единодушии с волнами образующие другой океан в воздухе. Добавьте ко всему этому

грохот на палубе и под ней; поспешный топот; громкие хриплые голоса моряков; клокотанье воды, бьющей из шпигатов и в шпигаты; и время от времени — тяжелый удар волны о палубный настил над вашей головой, точно мертвенный, глухой, тяжкий отголосок громового раската в склепе,— и вы получите впечатление о лобовом ветре в то январское утро.

Я умалчиваю о том, что можно назвать местными шумами на судне: о звоне разбивающегося стекла и фаянса, о беготне стюардов по трапу, веселых прыжках по палубе оторвавшихся бочонков и нескольких дюжин беглых бутылок портера; и о весьма любопытных, но отнюдь не веселящих душу звуках, издаваемых в различных каютах семьюдесятью пассажирами, слишком немощными, чтобы подняться к завтраку. О них я умалчиваю: хоть я и слышал этот концерт три или четыре дня кряду, но слушать его мог лишь каких-нибудь четверть минуты, после чего, почувствовав сильный приступ морской болезни, снова укладывался в постель.

Впрочем, речь идет не о морской болезни в обычном смысле слова — это бы еще полбеды. То была особая форма, о какой я ранее никогда не слыхал и не читал, хотя не сомневаюсь, что она довольно распространена. Весь день я лежал, безучастный и апатичный, не испытывая ни усталости, ни желания подняться, почувствовать себя лучше или выйти на воздух; не испытывая ни малейшего любопытства, ни забот, ни сожалений; и помнится, в этом полном безразличии я ощущал лишь некую ленивую радость, какое-то злорадное наслаждение,— если при такой сонной апатии вообще можно чем-либо наслаждаться,— от того, что жена моя была чересчур больна, чтобы говорить со мной. Если мне дозволят воспользоваться таким примером, дабы обрисовать мое душевное состояние, то я сказал бы, что чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэлле *. Ничто не могло бы меня удивить. Если бы в минуту просветления, озарившего меня в виде мыслей о родине, в мою крошечную конурку средь бела дня явилось привидение — самое настоящее привидение в образе почтальона в алом кафтане и с колокольчиком,— попро-

сило бы извинения за то, что, пройдясь по морю, намочило ноги, и вручило мне письмо, надписанное знакомым почерком на конверте, я уверен, что и тут не удивился бы. Я принял бы это как должное. Да если бы в каюту вошел сам Нептун с жареной акулой на трезубце, я бы отнесся к этому как к одному из самых обычных повседневных происшествий.

Однажды... однажды я оказался на палубе. Не знаю, как я туда попал и что меня туда погнало, но, так или иначе, я оказался там, причем совершенно одетый, в огромной матросской куртке из грубого сукна и в таких сапогах, которые слабый человек, находясь в здравом уме, ни за что не сумел бы натянуть на ноги. Когда сознание мое на миг прояснилось, я обнаружил, что стою, держась за что-то. Только не знаю, за что. Кажется, это был боцман, а может быть, насос. Или, возможно, корова. Не могу сказать, как долго я там находился — целый день или одну минуту. Припоминаю, что я пытался о чем-нибудь думать (о чем именно мне было все равно), но безуспешно. Я не мог даже разобрать, где море, а где небо, так как горизонт у меня перед глазами плясал словно с перепою. Несмотря на свое беспомощное состояние, я все же узнал ленивого джентльмена, который стоял передо мной; на нем был синий костюм моряка, на голове — клеенчатая зюйдвестка. Но в тот момент я настолько плохо соображал, что хотя и узнал его, однако не мог отделаться от впечатления, которое произвела на меня его морская одежда, и, помнится, упорно называл его «лоцманом». После этого я снова на некоторое время впал в беспамятство, а когда очнулся, обнаружил, что он исчез и на его месте стоит кто-то другой. Эта новая фигура дрожала и расплывалась перед моими глазами, словно отражение в кривом зеркале, но я узнал в ней капитана; и так ободряюще действовал на всякого самый его вид, что я попытался улыбнуться,— да, даже тут попытался улыбнуться. По его жестам я видел, что он обращается ко мне: он корил меня за то, что я стою по колено в воде (как это случилось — право, не знаю), но прошло немало времени, прежде чем я уразумел смысл его жестикуляции. Я хотел поблагодарить его, но из этого ничего не вышло. Я сумел лишь указать на свои сапоги — или на

то место, где, по моим предположениям, они должны были находиться,— и выговорить жалобным голосом: «Подметки пробковые»; при этом, как мне потом рассказывали, я попытался сесть в воду. Видя, что я невменяем и внушать мне что-либо бесполезно, он великодушно отвел меня вниз.

Там я и оставался до тех пор, пока не почувствовал себя лучше. Всякий раз, как меня уговаривали что-нибудь съесть, я переживал такие муки, которые можно сравнить лишь с муками утопленника, возвращаемого к жизни. Один джентльмен, находившийся на борту нашего судна, имел ко мне рекомендательное письмо от нашего общего друга из Лондона. В то утро, когда подул лобовой ветер, этот джентльмен послал мне письмо вместе со своей визитной карточкой, и я долго страдал при мысли о том, что он, вероятно, вполне здоров и по сто раз в день ожидает моего появления в кают-компании. Мне он представлялся одною из тех словно литых фигур, которые, надувая красные щеки, зычным голосом спрашивают, что за штука морская болезнь и действительно ли она так неприятна, как говорят. Эта мысль поистине терзала меня, и, кажется, никогда я не испытывал такого чувства беспредельной благодарности и величайшего удовлетворения, как в ту минуту, когда услышал от судового врача, что он только что поставил упомянутому джентльмену большой горчичник на живот. Я считаю, что мое выздоровление началось с того момента, как я получил это известие.

Впрочем, моему выздоровлению в значительной мере помог еще и штормовой ветер, который поднялся как-то на закате, когда мы уже дней десять были в море, и, все набирая силу, дул до самого утра; он утих всего на какой-нибудь час незадолго до полуночи. Но в неестественном спокойствии воздуха в этот час и в последующем нарастании шторма было что-то столь грозное и непостижимо зловещее, что я почти почувствовал облегчение, когда он разразился с полной силой.

Никогда не забуду я, с каким трудом пробирался корабль в ту ночь по бурному морю. «Неужели может быть еще хуже?» — Я часто слышал этот вопрос, когда все кругом куда-то скользило и подскакивало и когда

казалось просто невероятным, чтобы что-либо плавучее могло вынести больший напор и не пойти ко дну. Но даже при самом живом воображении трудно себе представить, как треплет пароход в разбушевавшемся Атлантическом океане в бурную зимнюю ночь. Рассказать, как волны бросают его на бок, так что верхушки мачт погружаются в воду, и не успевает он выпрямиться,— его швыряет на другой бок, а потом вдруг гигантский вал ударяет в борт с грохотом сотни пушек и отбрасывает его назад — и тогда он останавливается, сотрясаясь и вздрагивая словно оглушенный ударом, а затем с яростным биением своего механического сердца бросается вперед, подобно обезумевшему чудовищу, и рассвирепевшее море снова обрушивается на него, бьет, валит, сокрушает; рассказать, как гром и молнии, град и дождь, и ветер вступают в яростную борьбу за него, как стонет каждая доска, визжит каждый гвоздь и ревет каждая капля воды в бескрайном океане,— все равно что ничего не рассказать. Назвать это зрелище в высшей мере грандиозным, ошеломляющим и жутким,— все равно что ничего не сказать. Этого не выразить словами. Этого не охватить мыслью. Только во сне можно вновь пережить такую бурю во всем ее неистовстве, ярости и страсти.

И все же в самый разгар всех этих ужасов я оказался в столь смешном положении, что даже в тот момент понимал всю его нелепость не хуже, чем сейчас, и так же не мог удержаться от смеха, как в любом другом забавном случае, когда все располагает к веселью. Около полуночи нас качнуло на такой волне, что вода хлынула в люки, распахнула двери наверху и с ревом и грохотом ворвалась в дамскую каюту к несказанному ужасу моей жены и одной маленькой шотландки, которая, кстати сказать, незадолго перед тем послала к капитану стюардессу с запиской, вежливо прося его тотчас распорядиться, чтобы на каждой мачте, а также на трубе были установлены стальные громоотводы: тогда можно будет не бояться, что в судно ударит молния. Обе дамы, а также и горничная, о которой уже упоминалось выше, находились в каком-то пароксизме страха, и я просто не знал, что с ними делать; естественно, я подумал о каком-нибудь подкрепляющем или успокоительном средстве, но в тот

момент мне не пришло в голову ничего лучшего, чем коньяк с горячей водой, и я незамедлительно наполнил этой смесью стакан. Стоять или сидеть, ни за что не держась, было невозможно, женщины забились в уголок большого дивана — сооружения, тянувшегося во всю длину каюты,— и, уцепившись друг за друга, ежеминутно ожидали, что вот-вот пойдут ко дну. Едва я подошел к ним со своим целебным средством, чтобы дать питье ближайшей страдалице, присовокупив к нему несколько слов утешения, как обе дамы, к ужасу моему, вдруг медленно покатились в другой конец дивана. Когда же я, пошатываясь, добрался до этого конца и снова протянул стакан, судно снова накренилось, и они покатились обратно, а мои добрые намерения разлетелись в прах! Мне кажется, я не меньше четверти часа гонялся за ними вдоль дивана и ни разу не сумел настичь; а когда, наконец, мне это удалось, коньяку в стакане осталось не более чайной ложки. Для полноты картины необходимо указать, что сам незадачливый преследователь был смертельно бледен от морской болезни, не брит и не чесан с тех пор, как покинул Ливерпуль, а вся его одежда (не считая белья) состояла из толстых суконных брюк, синего пиджака, когда-то восхищавшего Ричмонд на Темзе *, и одной ночной туфли при полном отсутствии носков.

Я обхожу молчанием издевательские выходки судна на следующее утро: улежать в постели можно было, лишь став настоящим акробатом, а выбраться из нее иначе, как вывалившись на пол,— просто невозможно. Но никогда еще не доводилось мне видеть такой бесконечно унылой и безнадежной картины, как та, что открылась моему взору в полдень, когда меня буквально вышвырнуло на палубу. И океан и небо были одинаково безотрадного, тусклого, свинцового цвета. Даже за окружавшей нас унылой пустыней глазу не открывалось никаких перспектив, так как волны вздымались горами и горизонт сжимал нас, словно большой черный обруч. Если бы это зрелище наблюдать с воздуха или с какого-нибудь высокого утеса на берегу, оно несомненно казалось бы величественным и грандиозным, но с мокрой и колеблющейся под ногами палубы оно вызывало лишь головокружение и

тошноту. Во время ночного шторма спасательная лодка от удара волны раскололась, как грецкий орех, и теперь висела, болтаясь в воздухе какой-то беспорядочной охапкой досок. Деревянный кожух, защищавший гребные колеса, был начисто снесен, и они вертелись, оголенные и ничем не прикрытые, разбрасывая во все стороны пену и обдавая палубы фонтанами брызг. Труба побелела от налета соли; стеньги убраны; поставлены штормовые паруса; весь такелаж, мокрый и обвисший, спутан и перекручен,— словом, картина такая мрачная, какая только может быть.

Мне любезно предоставили возможность удобно устроиться в дамской каюте, где, помимо нас с женой, было еще только пятеро пассажиров. Во-первых, уже известная нам маленькая шотландка, ехавшая к мужу, который обосновался в Нью-Йорке три года назад. Во-вторых и в-третьих, честный молодой йоркширец, связанный с какой-то американской фирмой; он тоже проживал в Нью-Йорке и теперь вез туда свою хорошенькую молодую жену, с которой обвенчался всего две недели назад,— лучший образец миловидной английской фермерши, какой я когда-либо видел. В-четвертых, в-пятых и в-последних,— еще чета, тоже молодожены, судя по нежностям, которые они непрестанно расточали друг другу. Про них могу сказать лишь, что их окутывала некая таинственность и что они походили на двух беглецов; дама тоже была очень привлекательна, а джентльмен имел при себе больше ружей, чем Робинзон Крузо, носил охотничью куртку и вез с собой двух больших собак. Припоминается мне еще, что этот джентльмен пробовал лечиться от морской болезни горячим жареным поросенком и крепким элем и принимал это лекарство с поразительным упрямством изо дня в день (лежа в постели). К сведению интересующихся могу добавить, что оно явно не помогало.

Погода упорно оставалась на редкость скверной, а потому, слабые и несчастные, мы к полудню обычно кое-как добирались до этой каюты и ложились на диваны, чтобы немного прийти в себя; в эту пору капитан заходил к нам сообщить о направлении и силе ветра, о скорости передвижения судна и так далее, и выразить

искреннее убеждение в том, что завтра ветер переменится (на море погода всегда обещает завтра стать лучше). Больше ему нечего было нам сообщить, так как солнце не показывалось, а значит вести наблюдения было невозможно. Впрочем, довольно будет описать один наш день, чтобы дать представление обо всех остальных. Вот это описание.

После ухода капитана мы устраиваемся почитать, если достаточно светло; а если нет,— дремлем или беседуем. В час звонит колокол, и вниз спускается стюардесса, неся дымящееся блюдо жареного картофеля и другое — с печеными яблоками; она приносит также студень, ветчину и солонину или окутанное паром блюдо с целой горой превосходно приготовленного горячего мяса. Мы набрасываемся на эти лакомства; едим, как можно больше (у нас теперь отличный аппетит), и как можно дольше задерживаемся за столом. Если в печке загорится огонь (а иногда он загорается),— все мы приходим в наилучшее настроение. Если же нет,— начинаем жаловаться друг другу на холод, потираем руки, кутаемся в пальто и накидки и до обеда снова укладываемся подремать, поговорить или почитать (опять-таки, если достаточно светло). В пять снова звонит колокол и снова появляется стюардесса с блюдом картофеля, но на сей раз — отварного, и с большим выбором мяса во всех видах; при этом не забыт, конечно, и жареный поросенок, который потребляется в медицинских целях. Мы опять садимся за стол (пожалуй, в более веселом настроении, чем раньше); стараемся растянуть удовольствие, засиживаясь за довольно старомодным десертом из яблок, винограда и апельсинов и потягивая вино и коньяк с водой. Бутылки и стаканы все еще стоят на столе, а апельсины и прочие фрукты катаются, как им вздумается и как заблагорассудится кораблю, когда в каюту входит доктор, которого всегда специально приглашают принять участие в нашем вечернем роббере. Немедленно по его прибытии мы составляем партию в вист и, поскольку вечер бурный и карты не лежат на скатерти, взятки кладем в карман. С превеликой серьезностью мы просиживаем за вистом часов до одиннадцати или около того (за вычетом краткого промежутка времени, какой требуется на то,

чтобы выпить чай с бутербродом); затем к нам снова спускается капитан в зюйдвестке, завязанной под подбородком, и в лоцманском плаще, оставляя за собой мокрый след на полу. К этому времени игра заканчивается, и на столе снова появляются бутылки и стаканы; после часа приятной беседы о корабле, пассажирах и вообще о всякой всячине капитан (который никогда не спит и никогда не бывает в плохом настроении) поднимает воротник своего плаща и снова отправляется на палубу; он пожимает всем руки и, смеясь, выходит в непогоду так весело, как будто идет к кому-нибудь на именины.

Что касается повседневных событий, то в них нет недостатка. Вон тот пассажир, говорят, вчера в салоне проиграл четырнадцать фунтов в «двадцать одно», а этот пассажир каждый день выпивает по бутылке шампанского, и как он это может себе позволить, будучи всего лишь клерком,— никому не известно. Судовой механик определенно заявил, что в жизни не видал эдакого — подразумевая погоду — и что четверо из команды больны и валяются замертво. В кубрике несколько коек залило водой,— она просочилась и во все пассажирские каюты. Судовой кок, любитель прикладываться исподтишка к разбитым бутылкам виски, был найден пьяным, и его окатывали из брандспойта, пока он не протрезвился. Все стюарды по очереди падали с лестниц в обеденный час и ходят теперь с пластырями на различных частях тела. Болен булочник и пирожник тоже. На место последнего поставили нового человека, чуть живого от морской болезни; его маленькое помещение на палубе завалено пустыми бочками, которые одновременно и не дают ему повернуться и не позволяют упасть. Ему приказали раскатывать слоеное тесто для пирогов, а он (как человек чрезвычайно раздражительный) заявил в ответ, что ему легче умереть, чем смотреть на это тесто. Таковы события! Да десять убийств на берегу не так заинтересуют вас, как эти незначительные происшествия на борту корабля!

Мы проводили время за картами и беседами о самых разных предметах, и вот наступил вечер пятнадцатого дня, когда мы должны были подходить (по нашим

расчетам) к бухте Галифакса;* дул слабый ветер, и светила яркая луна — право, мы уже различали маяк у входа в бухту и предоставили лоцману заняться исполнением своих обязанностей, как вдруг судно село на илистую отмель. Конечно, все немедленно бросились наверх; в мгновение ока палубы заполнились народом, и несколько минут на судне царил такой несусветный переполох, что он пришелся бы по вкусу даже величайшему любителю всяких беспорядков. Однако вскоре после того как пассажиры, пушки, бочонки с водой и прочие тяжелые предметы переместили на корму, чтобы облегчить носовую часть, корабль сошел с мели; затем он продвинулся немного вперед, где маячили какие-то неуютного вида предметы (об их близости нам возвестил в самом начале суматохи громкий крик: «Гляди в оба»), потом был дан задний ход, что сопровождалось бесконечным промериванием при помощи лота все уменьшавшейся глубины, и, наконец, мы бросили якорь в какой-то странной, глухой на вид бухточке, которую никто на борту не мог признать, хотя вокруг нас и была земля, да так близко, что мы ясно видели раскачиваемые ветром ветви деревьев.

Среди глубокой ночи, в мертвой тишине, казалось, порожденной внезапным прекращением работы двигателя, непрерывный стук которого столько дней подряд отдавался гулом у нас в ушах, странно было видеть удивление на лице у каждого, начиная с офицеров и всех пассажиров и кончая кочегарами и истопниками, которые поодиночке вынырнули откуда-то из недр корабля и, вполголоса обмениваясь замечаниями, сгрудились прокопченной группой у люка в котельную. После того как было пущено несколько ракет и дано несколько сигнальных выстрелов из пушек в надежде, что с земли кто-нибудь откликнется или хоть засветится огонек, решили отправить на берег лодку, поскольку кругом по-прежнему ничего не слышно, не видно. Забавно было наблюдать, с какой готовностью некоторые пассажиры вызвались отправиться в этой шлюпке,— для общего блага, конечно, а вовсе не потому, что они считали положение корабля небезопасным или страшились, как бы он не перевернулся во время отлива. Не менее любопытно было

отметить, как за одну минуту бедный лоцман утратил всеобщее расположение. Он ехал с нами из Ливерпуля и во все время путешествия играл весьма заметную роль, так как был мастер рассказывать анекдоты и отпускать остроумные шутки. И вот, те самые люди, что громче всех смеялись его остротам, теперь размахивали кулаками перед его носом, кляли его на все лады и в глаза обзывали негодяем!

Шлюпка скоро отвалила, имея на борту большой фонарь и запас фальшфейеров; менее чем через час она вернулась. Командовавший ею офицер привез с собой довольно высокое молоденькое деревце, которое он выдернул с корнем для успокоения некоторых недоверчивых пассажиров: они воображали себя обманутыми и полагали, что неминуемо должны стать жертвами кораблекрушения. Без этого деревца они никак не поверили бы, что офицер побывал на берегу, а решили бы, что он просто поплавал немного в тумане, чтобы усыпить их подозрения и измыслить, как бы вернее погубить их. Наш капитан с самого начала заподозрил, что мы находимся в так называемом Восточном проходе; так оно и оказалось. Это было, пожалуй, самое неподходящее для нас место на свете — нам нечего было здесь делать и незачем было сюда заезжать; очутились же мы здесь из-за тумана и какой-то ошибки, допущенной лоцманом. Кругом были бессчетные мели, скалы, рифы, но мы, как видно, благополучно приплыли в единственное безопасное место, какое только можно было отыскать поблизости. Успокоенные этим сообщением, а также заверениями, что время отлива уже миновало, мы в три часа утра разошлись по каютам.

На следующий день в половине десятого, одеваясь, я услышал наверху шум, заставивший меня поспешить на палубу. Когда я покинул ее минувшей ночью, было темно, туманно и сыро, а вокруг тянулись унылые холмы. Теперь же мы скользили по спокойной широкой водной глади со скоростью одиннадцати миль в час; флаг наш весело развевался по ветру; команда по-праздничному принарядилась; офицеры снова надели форму; солнце светило так ярко, словно в ясный апрельский день в Англии; по обе стороны тянулась земля, кое-где припоро-

шенная снежком; белые деревянные дома; у дверей стоят люди; подаются сигналы; подняты флаги; показывается пристань; суда; усеянные народом набережные; отдаленный шум; крики; взрослые и дети сбегают по крутому холму к самому причалу,— все это с непривычки кажется нам более ярким, веселым и свежим, чем можно выразить словами. Мы подошли к пристани, на которой, задирая головы, толпились люди; судно пришвартовалось; матросы с шумом и криком закрепили канаты; и едва с берега перекинули сходни, вниз по ним — чуть ли не прежде, чем они достигли борта парохода,— устремились десятка два пассажиров,— спеша вновь очутиться на твердой, чудесной земле!

Я думаю, Галифакс показался бы нам раем, будь он даже безобразнейшим и скучнейшим местом на свете. Но я увез с собой самое приятное впечатление от города и его обитателей, и оно поныне свежо в моей памяти. Не без сожаления вернулся я домой, так и не найдя случая снова побывать там и пожать руки людям, которые стали в тот день моими друзьями.

Случилось так, что в этот самый день открывалась сессия Законодательного собрания и Генеральной ассамблеи; церемония эта была столь тщательной копией с ритуала, соблюдаемого при открытии сессии парламента в Англии, с такой торжественностью,— только в меньших масштабах,— были выполнены все формальности, что казалось, будто смотришь на Вестминстер * в телескоп, только с обратного конца. Губернатор в качестве представителя ее величества выступил с некиим подобием тронной речи *. То, что он имел сказать, он сказал хорошо и решительно. Его превосходительство еще не закончил свою речь, как военный оркестр на улице с величайшей энергией заиграл «Боже, храни королеву»; народ разразился криками; правительственная партия потирала руки; оппозиция покачивала головами; правительственная партия сказала, что никогда еще не было такой хорошей речи; оппозиция заявила, что никогда еще не было такой плохой; председатель и члены Генеральной ассамблеи покинули свои места, чтобы о многом поговорить и мало сделать; короче говоря, все шло и обещало идти в точности так, как это происходит в подобных случаях у нас.

Город раскинулся на склоне холма, вершину которого венчает не совсем достроенная крепость. Несколько улиц, довольно широких и красивых на вид, спускаются с вершины холма к воде; их пересекают поперечные улицы, идущие параллельно реке. Большинство домов — деревянные. Рынок изобилует провизией, и она на редкость дешева. Поскольку погода необычайно мягкая для этого времени года, на санях еще не ездят, но во дворах и разных закоулках их множество, причем некоторые благодаря своей пышности без всяких переделок вполне могли бы сойти за триумфальные колесницы в какой-нибудь мелодраме у Астли *. День необыкновенно хорош, воздух живительный и бодрящий, и город кажется веселым, процветающим и трудолюбивым.

Мы простояли семь часов, сгружая и принимая почту. Наконец, когда оказались на месте все наши мешки и все наши пассажиры (включая двух или трех гурманов, которые сверх меры увлеклись устрицами и шампанским и были найдены в бесчувственном состоянии где-то на глухих улицах города), снова заработали машины, и мы отплыли в Бостон.

В заливе Фанди мы опять попали в шторм, и всю эту ночь и весь следующий день нас швыряло и качало, как обычно. На следующий день, то есть в субботу, 22 января, к нам подошла лодка с американским лоцманом, и вскоре после этого было объявлено, что пакетбот «Британия», вышедший из Ливерпуля и находившийся в пути восемнадцать дней, прибыл в Бостон.

Вряд ли можно преувеличить тот неописуемый интерес, с каким я, напрягая зрение, вглядывался в первые очертания американской земли,— подобно кротовым кочкам, она выступала из зеленого моря, и я неотрывно следил за тем, как медленно и почти незаметно для глаза эти кочки ширились и росли, превращаясь в непрерывную линию берега. Резкий, пронизывающий ветер дул нам прямо в лоб; стояли морозы, и стужа была изрядная. И все же воздух был такой необычайно чистый, сухой и прозрачный, что холод казался не только терпимым, но и приятным.

Как я оставался на палубе, глазея по сторонам, пока мы не подошли вплотную к пристани, и как, имей я

столько же глаз, сколько Аргус, я широко раскрыл бы их все и устремил бы каждый на нечто новое,— это все предметы, ради которых я не намерен удлинять настоящую главу. Точно так же я лишь мимоходом укажу на обычную для иностранца ошибку, которую я допустил, предположив, что компания весьма деятельных джентльменов, с риском для жизни взобравшихся на борт, когда мы подходили к пристани, состоит из репортеров — они очень походили на трудолюбивых представителей этой профессии у нас на родине; в действительности же, хотя на шее у некоторых из них висели на ремне кожаные сумки для бумаг и в руках у всех были большие блокноты, это были господа редакторы, лично прибывшие на корабль (как сообщил мне один джентльмен в шерстяном шарфе), «потому что им нравится царящее на палубе оживление». Ограничусь упоминанием, что один из участников этого набега, с готовностью и любезностью, за которую я приношу ему здесь свою благодарность, поспешил в гостиницу, чтобы заказать для меня номер; я вскоре последовал за ним и, проходя по длинным коридорам, обнаружил, что невольно подражаю покачивающейся походке мистера Т. П. Кука * в новой мелодраме из жизни моряков.

— Обед, пожалуйста,— сказал я лакею.

— Когда? — сказал лакей.

— Как можно быстрее,— сказал я.

— Прямо тут? — сказал лакей.

После минутного колебания я ответил наудачу:

— Нет.

— Не прямо тут? — воскликнул лакей в таком недоумении, что я испугался.

Я посмотрел на него растерянно и повторил:

— Нет. Я предпочел бы пообедать в своем номере. Так мне хочется.

При этих моих словах лакей, казалось мне, совсем лишился рассудка,— да, наверно, и лишился бы, если б не вмешался кто-то еще из персонала и не шепнул ему на ухо:

— Сейчас же!

— Ну да! Так оно и есть! — сказал лакей и беспомощно посмотрел на меня: — Прямо тут.

Я уразумел, что «прямо тут» означает «сейчас же». А потому я взял назад свои слова, и через десять минут мне подали обед — великолепнейший.

Гостиница (преотличная) называется «Тремонт-Хаус». В ней такое множество галерей, колоннад, веранд, коридоров, что я и не запомнил, а если б и запомнил, то читатель бы все равно не поверил.

ГЛАВА III

Бостон

Во всех общественных учреждениях Америки царит величайшая учтивость. Значительный сдвиг в этом направлении наблюдается и в иных наших департаментах, однако многим нашим учреждениям — и прежде всего таможне — не мешало бы взять пример с Соединенных Штатов и не относиться к иностранцам с такой оскорбительной неприязнью. Угодничество и алчность французских чиновников вызывает только презрение, но хмурая, грубая нелюбезность наших служащих не только омерзительна для тех, кто попадает к ним в лапы,— она позорит нацию, которая держит таких злобных псов у своих ворот.

Ступив на американскую землю, я был просто поражен тем разительным контрастом, какой являла собой местная таможня в сравнении с нашей,— тем вниманием, любезностью и добродушием, с какими ее служащие выполняли свои обязанности.

В Бостон мы прибыли — вследствие какой-то заминки у причалов — только к вечеру, и я впервые увидел город утром, на другой день после нашего прибытия,— а было это воскресенье,— когда направился пешком в таможню. Замечу, кстати, что, не успев еще покончить с нашим первым обедом в Америке, мы получили столько официальных приглашений посетить на следующее утро церковь, что я не рискую даже назвать их число,— могу сказать лишь, не впадая в излишнюю точность, что по самым скромным подсчетам нам было предложено такое множество мест, что можно было бы рассадить на них

целую дюжину, а то и две солидных семейств. Не менее многочисленны были и те верования и религии, представители которых искали нашего общества.

Поскольку пойти в этот день в церковь, из-за того, что у нас не было свежего платья, мы не могли, нам пришлось отклонить любезные приглашения все до одного; и я волей-неволей вынужден был отказать себе в удовольствии послушать доктора Чэннинга *, который впервые после долгого перерыва должен был прочесть в то утро проповедь. Я называю имя этого почтенного и превосходного человека (с которым я очень скоро имел счастье лично познакомиться), желая воздать скромную дань восхищения и преклонения его высоким качествам и благородному характеру, а также той смелости и человечности, с какими он неизменно выступал против рабства, этого позорнейшего клейма и мерзкого бесчестья.

Но вернемся к Бостону. Когда я вышел в то воскресное утро на улицу, воздух был такой прозрачный, а дома такие яркие и веселые; вывески такие кричащие; золотые буквы на них такие золотые; кирпич такой красный, камень такой белый, ставни и ограды такие зеленые, дощечки и ручки на дверях такие начищенные и блестящие, и все такое хрупкое и нереальное, что казалось, меня окружают декорации к некоей пантомиме. Торговцы,— если у меня достанет смелости назвать коголибо торговцем, когда здесь одни коммерсанты,— редко селятся над своими лавками в деловых кварталах, а потому в одном доме подчас соседствуют представители нескольких профессий и весь его фасад испещрен вывесками и надписями. Идя по улице, я то и дело запрокидывал голову, втайне ожидая увидеть на их месте что-то другое, а завернув за угол, каждый раз искал глазами клоуна или Панталоне, который несомненно скрывается где-нибудь за дверью или в портале. Что же до Арлекина и Коломбины *, то я сразу решил, что они поселились (ведь в пантомиме они только и делают, что ищут, где бы поселиться) в крошечной одноэтажной лавчонке часовщика, возле нашей гостиницы: среди всяких эмблем и вывесок, почти сплошь закрывавших фасад этого предприятия, там висел огромный циферблат, наверно для того, чтоб сквозь него прыгать.

Предместья Бостона — если только это возможно — выглядели еще менее реально. Белые деревянные домики с зелеными ставнями (до того белые, что глазам больно) в таком беспорядке раскиданы и разбросаны по всем направлениям, а церквушки и часовенки так ярки и нарядны и так расписаны, что, кажется, их можно сгрести в кучу, как детские кубики, и уложить в совсем маленькую коробочку.

Бостон — красивый город и, по-моему, не может не произвести самого приятного впечатления на приезжего. Жилые дома — по большей части вместительны и изящны; магазины — отличны, а общественные здания — красивы. Дом, в котором разместилось правительство штата *, построен на вершине холма, сначала уступами поднимающегося от берега реки, а потом резко устремляющегося ввысь. Перед домом — огороженный сад, именуемый общественным. Выглядит все это премило; к тому же с высоты открывается чудесный вид на весь город и его окрестности. Помимо множества удобных помещений для различных правительственных органов, в здании есть две красивейших комнаты: в одной заседает палата представителей штата, в другой — сенат. Заседания, на которых я здесь присутствовал, проводились со всею серьезностью и с соблюдением всех формальностей — безусловно в расчете на то, чтобы снискать внимание и уважение.

Жители Бостона отличаются утонченностью интеллекта и на голову выше обитателей других городов, что несомненно следует отнести за счет незаметного влияния Кембриджского университета, находящегося в трех или четырех милях от города. Профессора этого университета — джентльмены многосторонне образованные; и, должен сказать, любой из них украсил бы любое общество в нашем цивилизованном мире и оказал бы ему честь своим присутствием. Многие из числа бостонской и окрестной аристократии — да, очевидно, и многие из местных представителей свободных профессий — окончили это заведение. Каковы бы ни были отрицательные стороны американских университетов, в них не насаждают предрассудков; не взращивают фанатиков и ханжей; не ворошат давно потухший пепел суеверий; не мешают человеку в его тяге к совершенствованию; никого не

исключают за религиозные убеждения, а главное — на протяжении всего периода обучения не забывают, что за стенами колледжа лежит мир, и притом довольно широкий.

С неизъяснимым удовольствием наблюдал я неприметное, но несомненное влияние, которое оказывает университет на маленькое население Бостона: на каждом шагу я подмечал привитые им гуманные вкусы и стремления; тесную дружбу, зародившуюся еще в его стенах; доказательства того, сколько чванства и предрассудков рассеяно им. Златой телец, которому поклоняются в Бостоне,— сущий пигмей в сравнении с гигантскими идолами, установленными в других отделениях огромной конторы, обосновавшейся по ту сторону Атлантического океана, а всесильный доллар вовсе не кажется таким уж значительным в пантеоне более могущественных богов.

Но главное — я искренне убежден, что общественные организации и благотворительные учреждения в столице Массачузетса настолько близки к совершенству, насколько могут этому способствовать внимательное и чуткое отношение, благожелательность и человечность. Никогда в жизни не наблюдал я большего довольства и счастья,— несмотря на увечья и горечь неполноценности,— чем в стенах тех заведений, которые я посещал.

Самым замечательным и приятным является то, что учреждения эти в Америке существуют либо под покровительством, либо при поддержке государства; или же (в случае, если они не нуждаются в помощи) осуществляют свою деятельность в согласии с государством и, следовательно, народом. Имея в виду самый принцип обращения с людьми труда, чей дух нуждается в поощрении или поддержке, я полагаю, что общественная благотворительность неизмеримо лучше любых, самых щедрых, частных фондов. У нас в стране, где вплоть до недавнего прошлого правительство не очень склонно было проявлять излишнее внимание к огромным народным массам или видеть в них существа, поддающиеся исправлению, расцвела неслыханная в истории земного шара частная благотворительность, принесшая несчастным и обездоленным неизмеримое благо. Но на долю правительства нашей страны, ни словом, ни делом не принимавшего в этом

участия, не падает даже самой малой толики благодарности за эту деятельность; а поскольку, кроме работного дома и тюрьмы, оно не предоставляет несчастным иного пристанища или помощи, то они, естественно, склонны видеть в нем сурового хозяина, скорого на расправу и наказание, а не доброго покровителя, милостивого и чуткого в час нужды.

Благотворительность, существующая у нас в стране, как показывают отчеты Бюро прерогатив при Докторс-Коммонс *, может служить наглядной иллюстрацией к поговорке «Добро худо переможет». Какой-нибудь несметно богатый старый джентльмен или старая леди, окруженные толпой нуждающихся родственников, составляют, как минимум, одно завещание в неделю. Этот старый джентльмен или леди, и в лучшие-то времена не отличавшиеся кротостью нрава, сейчас только и знают что охать: и везде-то у них болит и всюду колет,— а сколько у них причуд и капризов; сколько нытья, подозрительности, недоверия и предубеждений. Такие люди только тем и занимаются, что аннулируют старые завещания и составляют новые; а их родственники и друзья (иных с малых лет воспитывали в твердой уверенности, что они унаследуют большое состояние, и потому их чуть не с самой колыбели нарочно отучали от полезного труда) столь часто, столь неожиданно и столь бесповоротно сначала лишаются наследства, потом восстанавливаются в правах, потом снова их лишаются,— что всю семью богача вплоть до третьего колена непрерывно трясет лихорадка. Наконец всем становится ясно, что старому джентльмену или старой леди недолго осталось жить; и чем яснее это становится, тем отчетливее понимают старая дама или старый джентльмен, что все их родственники состоят в заговоре против несчастного умирающего; а раз так, то старая леди, или старый джентльмен, составляет заново свое последнее завещание — на сей раз действительно последнее,— прячет его в фарфоровый чайник и наутро испускает дух. Тогда выясняется, что все имущество покойного, движимое и недвижимое, поделено между полудюжиной благотворительных заведений и что, отбыв в мир иной, он из чистой злобы совершил много добра, породившего немало злопыхательства и горя.

А вот Институт Перкинса * и Массачузетский приют для слепых в Бостоне возглавляет совет опекунов, которые ежегодно отчитываются в своей деятельности перед остальными членами благотворительного общества. Лица, проживающие в соседнем штате Коннектикут, или в штатах Мэн, Вермонт или Нью-Гэмпшир, принимаются туда по ходатайству своего штата; если штат отказывает в ходатайстве, они должны найти поручителей среди своих друзей, которые могли бы заплатить примерно двадцать английских фунтов стерлингов за их стол и обучение в течение первого года и десять фунтов — за второй год. «По истечении первого года,— рассказывают опекуны,— на каждого воспитанника открывается текущий счет; с него взимают стоимость питания, которая не превышает двух долларов в неделю (что составляет немногим больше восьми английских шиллингов); а то, что остается от суммы, уплачиваемой за воспитанника государством или друзьями, вручается ему вместе с заработком — за вычетом стоимости использованного им материала; таким образом, все, что он заработает свыше доллара в неделю,— принадлежит ему. К третьему году становится ясно, может ли он заработать больше того, что стоит его содержание; если может, то ему предоставляется право решать, останется ли он и дальше в приюте, или нет. Тех же, кто не в состоянии заработать себе на жизнь, мы не оставляем: к чему превращать заведение в богадельню или держать в улье нетрудовых пчел? Кто по своим физическим или умственным качествам не может трудиться, тот не может быть членом трудовой коммуны,— о таких людях должны заботиться специальные учреждения для немощных и больных».

Я поехал осмотреть это заведение чудесным зимним утром: над головой расстилалось по-итальянски яркое небо, а воздух был такой чистый и ясный, что даже мои не слишком зоркие глаза могли различить каждую линию и завитушку в архитектуре далеких зданий. Как большинство американских общественных учреждений этого рода, приют находился милях в двух от города, в здоровой и красивой местности, где для него отведено отличное, изящное и просторное здание. Холм, на котором оно стоит, господствует над гаванью. Остановившись на

мгновение у дверей и залюбовавшись привольем и новизной открывавшейся передо мной панорамы (какими разноцветными красками переливались пузырьки на воде, то и дело поднимавшиеся из глубины на поверхность, точно и там, под водой, царил такой же яркий день и избыток света фонтаном бил вверх!), перебегая взглядом с одного парусника на другой, потом на корабль в открытом море — крошечное, сверкающее белизною пятнышко, единственное облачко в глубокой ясной синеве,— я обернулся и увидел вдруг слепого мальчика: его незрячие глаза были обращены к морю, словно и он чувствовал, какие бескрайные просторы открывались перед ним; и мне стало грустно оттого, что здесь так светло, и почему-то захотелось — ради этого мальчика,— чтобы здание стояло в более темном месте. Это было лишь пожелание — и к тому же мимолетное, но в ту минуту мне страшно хотелось, чтоб это было так.

Дети сидели по разным комнатам, выполняя дневной урок; лишь несколько воспитанников были уже отпущены и играли. Здесь, как и во многих других заведениях, формы не носят, и меня это очень обрадовало — по двум причинам. Во-первых, я убежден, что лишь бессмысленный обычай и нежелание думать мирят нас со всеми этими ливреями и знаками отличия, которые так обожают у нас на родине. Во-вторых, когда на воспитанниках нет формы, каждый ребенок предстает перед посетителем во всем своеобразии своей натуры и индивидуальности, которая теряется под скучной, уродливой, у всех одинаковой одеждой,— а это уже немаловажно. Там — мудрое поощрение, даже у слепца, безобидной гордости за свою внешность; здесь — упрямое скудоумие, полагающее, что благотворительность неотделима от кожаных брюк,— сопоставьте это, и комментарии будут излишни.

Во всем здании — в каждом его уголке — царили отменный порядок, чистота и уют. В различных классах, которые я посетил, ученики, сидя вокруг учителей, умно и бойко отвечали на заданные вопросы,— урок проходил в оживленной атмосфере доброжелательного соперничества, которая пришлась мне очень по душе. А дети, занятые играми,— шумели и веселились, как все обычные дети. Жили они, видимо, дружно, и дружба эта, в соот-

ветствии с моими предположениями и даже ожиданиями, была более теплой и интеллектуальной, чем у здоровой молодежи. Так уж, верно, предрешило небо в своей благостной заботе о несчастных.

Часть здания — целый флигель — отведена под мастерские для тех слепых, которые уже закончили курс обучения и овладели ремеслом, но не могут работать в обычных условиях из-за своего увечья. Здесь трудилось несколько человек — мастерили щетки, матрацы и тому подобное; и здесь, как и во всех других частях здания, царили те же жизнерадостность, трудолюбие и порядок.

Раздался звонок, и ученики, построившись без помощи наставника или руководителя по парам, направились во вместительный концертный зал; там они расселись на специально устроенных для этой цели хорах и с явным удовольствием стали слушать орган, на котором вызвался играть кто-то из них. Доиграв пьесу, исполнитель, юноша лет девятнадцати — двадцати, уступил место девушке, и под аккомпанемент органа воспитанники запели гимн, а затем исполнили своеобразный хорал. Грустно было на них смотреть и их слушать, хотя они, безусловно, чувствовали себя счастливыми,— правда, я заметил, как одна слепая девушка, сидевшая со мною рядом (у нее после болезни временно отнялись ноги), молча плакала, повернув к поющим незрячее лицо.

Странное это зрелище — лицо слепого, на котором отражаются все движения мысли,— глядя на него, зрячему становится стыдно той маски, какую носит он сам. Помимо вечно настороженного выражения, никогда не покидающего слепца,— такое выражение появляется и у нас, когда мы ощупью в темноте отыскиваем дорогу,— на лице его во всей своей естественной чистоте тотчас отражается всякая мысль, зародившаяся в сознании. Если бы где-нибудь на рауте или на приеме при дворе собравшиеся могли, подобно слепым, хотя бы миг не чувствовать устремленных на них взглядов, какие обнаружились бы тайны,— подумать только, на какое лицемерие толкает нас зрение, об утрате которого мы так скорбим!

Эта мысль возникла у меня уже в другой комнате, когда я сидел подле слепой, глухой и немой девочки, лишенной обоняния и почти лишенной вкуса,— подле

совсем юного существа, наделенного всеми человеческими свойствами: надеждами, привязчивостью, стремлением к добру, но лишь одним из пяти чувств — осязанием. Она сидела передо мной, точно замурованная в мраморном склепе, куда не проникало ни малейшего звука или луча света, и только ее бедная белая ручка, просунувшись сквозь щель в стене, тянулась к добрым людям за помощью,— чтобы не дали они уснуть ее бессмертной душе.

И помощь пришла — задолго до того, как я увидел эту девочку. Сейчас лицо ее светилось умом и довольством. Волосы, заплетенные ею самою в косы, были уложены вокруг хорошенькой, изящно посаженной головки; высокий открытый лоб указывал на то, что это существо развитое и неглупое; платье на ней (одевалась она сама) было образцом опрятности и простоты; подле нее лежало вязанье, а на столике, о который она облокотилась,— раскрытая тетрадь, куда она записывала свои мысли.— Из жалкого созданья, ввергнутого в пучину горя, постепенно выросло мягкое, нежное, бесхитростное, благородное существо.

Как и у остальных воспитанников этого заведения, на глазах у девочки была повязка из зеленой ленты. Возле нее на полу лежала кукла, которую девочка сама одевала. И на фарфоровых глазах куклы я видел, когда поднял ее, такую же зеленую повязку, как у девочки.

Девочка сидела в уголке, отгороженном партами и скамьями,— здесь она ежедневно делала записи в своем дневнике. Покончив вскоре с этим занятием, она вступила в оживленную беседу с сидевшей возле нее учительницей. Это была любимая наставница бедняжки,— а если бы она могла видеть лицо своей прелестной воспитательницы, я убежден, что она еще больше полюбила бы ее.

Привожу несколько отрывков из истории болезни этой девочки, составленной человеком, благодаря которому она стала такой. Это прекрасный и трогательный рассказ, и мне жаль, что я не могу передать его здесь полностью.

Зовут ее Лора Бриджмен. «Родилась она в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир, 21 декабря 1829 года. Говорят, это была живая и хорошенькая девочка с ясными голубыми

глазками. Однако до полутора лет она была такая крошечная и слабенькая, что родители не надеялись вырастить ее. У нее бывали жесточайшие припадки, когда ее так сводило судорогой, что казалось, она не выдержит, и ниточка, привязывающая ее к жизни, оборвется; но к полутора годам она окрепла, опасные симптомы прекратились, а в год и восемь месяцев она была уже вполне здоровым ребенком.

С этого момента начинают быстро развиваться ее умственные способности, которые раньше были заторможены, и за те четыре месяца, пока Лора была вполне здорова, она (учтем, что это рассказывает влюбленная мать) выказала себя на редкость толковым ребенком.

Но внезапно она снова заболела; болезнь проходила очень тяжело, особенно первые пять недель: у девочки воспалились глаза и уши,— шло нагноение, из ушей текло. Вскоре бедняжка навсегда лишилась зрения и слуха, однако страдания ее на этом не кончились. Еще целых семь недель она пылала в жару, пять месяцев пролежала в затемненной комнате; только через год она смогла пройтись без посторонней помощи и только через два года смогла просидеть целый день. Тут заметили, что она почти утратила обоняние; соответственно пострадало у нее и вкусовое восприятие.

Лишь на пятом году девочка достаточно окрепла и могла приступить к познанию жизни и мира.

Но каким же был ее удел! Ее окружали могильный мрак и тишина склепа; улыбка матери не вызывала у нее ответной улыбки, голос отца не учил ее подражать звукам и интонациям; мать с отцом, братья и сестры были всего лишь предметами, на которые натыкались ее пальцы и которые отличались от мебели только теплотою и способностью передвигаться, а от собаки и кошки не отличались и этим.

Но бессмертный дух, заключенный в этом теле, не мог умереть,— он не был ни искалечен, ни изуродован; и хотя большая часть тех путей, с помощью которых он сносится с внешним миром, была перерезана, он начал проявлять себя иными способами. Как только девочка стала ходить, она принялась обследовать комнату, а затем — дом; она ощупывала все, что попадалось ей под

руку: изучала форму, плотность, вес и теплоту предметов. Она ходила следом за матерью, ощупывала ее руки и плечи, когда та делала что-нибудь по хозяйству, а потом, из подражательства, повторяла ее жесты. Она даже научилась немного шить и вязать».

Едва ли мы должны объяснять читателю, что возможности общения с этой девочкой были очень и очень ограниченны и что ее недуги вскоре стали сказываться на ее душевном состоянии. Кого нельзя наставить через рассудок, на тех приходится воздействовать с помощью силы; эту же девочку, кругом обездоленную, такой способ воздействия вскоре поставил бы в положение животного или даже хуже,— а ведь и животное погибает, если вовремя не подоспеет помощь.

«Тут я, по счастью, услышал об этой девочке и тотчас поспешил к ней в Ганновер. Я увидел правильно сложенного ребенка, с крупной, хорошей формы головой; девочка была совершенно здорова, если не считать повышенной нервозности, сказывавшейся в излишней веселости и суетливости. Родителей без особого труда удалось уговорить отпустить ее в Бостон, и вот 4 октября 1837 года ее привезли в Институт.

Первое время она растерялась; две недели решено было ее не трогать и дать ей возможность ознакомиться с новым окружением и попривыкнуть к воспитанникам, а уже затем показать ей знаки, с помощью которых она сможет обмениваться своими мыслями с другими людьми.

Тут можно было идти двумя путями: либо создать язык знаков на базе обычного языка, на котором она в свое время начинала говорить, либо научить ее широкораспространенному специальному языку. Иначе говоря: либо дать особое обозначение для каждого предмета в отдельности, либо научить ее при помощи букв выражать свое мироощущение и отношение к условиям и обстоятельствам существования других живых созданий. Первый способ — более легкий, но менее результативный; второй — более трудный, но в случае удачи он приводит к большим результатам. А потому я решил избрать второй.

Для начала мы взяли предметы, которыми человек пользуется каждый день, как например,— ножи, вилки,

ложки, ключи и т. п. и наклеили на них ярлычки с их названиями, отпечатанными выпуклыми буквами. Девочка тщательно их ощупывала и, естественно, вскоре заметила, что извилистые линии, обозначающие «ложку» так же мало похожи на линию «ключа», как сама ложка мало похожа на ключ.

Затем ей стали давать ярлычки уже без предметов, и она вскоре сообразила, что на них оттиснуты те же знаки, что и на ярлычках, наклеенных на предметы. Желая показать, что она уловила сходство, она положила ярлычок со словом «ключ» на ключ, а ярлычок со словом «ложка» — на ложку. За это ее в знак поощрения погладили по голове.

Так было проделано со всеми предметами, которые она могла взять в руки, и девочка очень скоро научилась находить нужный предмет и класть на него ярлычок с соответствующим названием. Однако ясно было, что это пока только упражнение памяти и стремление к подражанию. Она помнила, что бумажку со словом «книга» надо класть на книгу, и проделывала это, во-первых, из подражания, а во-вторых, по памяти, желая получить одобрение, но явно не понимая, какая существует связь между предметом и бумажкой.

Через некоторое время ей стали давать уже не ярлычки с целым словом, а отдельные буквы, напечатанные на разных кусочках бумаги. Кусочки эти раскладывались таким образом, чтобы получалось слово «книга», «ключ» и т. п.; потом их сгребали в кучу, и девочке знаком давали понять, что она сама должна сложить из них слова «книга», «ключ» и т. п. И она это выполняла.

До сих пор процесс был чисто механическим,— так умную собаку обучают разным фокусам. Несчастная девочка, совершенно ошарашенная, терпеливо, вслед за педагогом, повторяла все, что тот делал. Но теперь она начала кое-что понимать; интеллект ее заработал. Она сообразила, что, следуя этим путем, она сможет выразить знаком то или иное представление, возникшее в ее мозгу, и сообщить это другому уму; и лицо ее сразу приобрело нормальное человеческое выражение. Это уже не была собачка или попугай,— в ней пробудился бессмертный дух, жадно ухватившийся за новое звено, устанавливав-

шее связь между нею и другими носителями этого духа! Я почти точно могу сказать, когда девочку озарил свет истины. Я понял, что величайшее препятствие осталось позади и теперь нужны лишь терпение и упорство,— обычные, простые усилия.

О достигнутых нами результатах недолго и нетрудно поведать, но сам процесс был далеко не так прост: прошло немало недель, казалось бы, напрасного труда, прежде чем эти результаты стали заметны.

Мы говорили выше, что девочке «давали знаком понять, что она должна сложить слово»; это значит, что педагог складывал слова, а она, касаясь его рук, повторяла за ним движения.

Следующей ступенью был металлический шрифт: на концах металлических палочек были выбиты буквы, и палочки эти вставлялись в толстую доску с квадратными отверстиями, так что над поверхностью выделялись лишь буквы.

Затем девочке давали какой-нибудь предмет — карандаш или, скажем, часы,— она подбирала соответствующие буквы, втыкала палочки в отверстия на доске и с явным удовольствием «читала», что получалось.

Так ее обучали несколько недель, пока словарь ее не стал достаточно обширным; тогда перешли к следующему важному шагу: отставив громоздкий аппарат — доску с металлическими палочками,— девочку стали учить изображать буквы тем или иным положением пальцев. Она довольно быстро и легко усвоила это, так как на помощь педагогу пришел ум девочки, и она стала делать большие успехи.

Вот тогда-то, после трех месяцев обучения, и был сделан первый отчет о ее состоянии — отчет, в котором говорилось, что «девочка выучилась азбуке глухонемых и пользуется ею на редкость быстро, правильно и с таким удовольствием, что приятно смотреть. Педагог дает ей какой-нибудь незнакомый предмет, например — карандаш; сначала она его ощупывает, затем ей объясняют, для чего он служит, и педагог на пальцах показывает, как по буквам складывается его название. Девочка при этом держит учительницу за руку и узнает на ощупь, как у той движутся пальцы, составляя буквы,— она

слегка наклоняет головку набок, точно к чему-то прислушивается, губы ее приоткрыты, она затаила дыхание; но вот на ее напряженном личике появляется улыбка: урок понят. Тогда она уже на своих пальчиках составляет слово; потом берет шрифт и выкладывает его из букв, и уж чтоб быть окончательно уверенной, что не ошиблась,— вынимает шрифт и кладет на соответствующий предмет — скажем, на карандаш, либо подле него».

Весь последующий год прошел в удовлетворении ее жадных расспросов о том, как называются разные предметы, которые попадались ей под руку; в развитии ее умения пользоваться азбукой на пальцах; во всемерном расширении ее познаний о взаимосвязи предметов и в укреплении ее здоровья».

В конце года был составлен отчет о ходе ее болезни, из которого приведем следующую выдержку:

«Теперь уже со всею достоверностью установлено, что девочка совершенно ничего не видит, не слышит ни звука и никогда не пользуется обонянием, из чего можно заключить, что этого чувства у нее тоже нет. Следовательно, разум ее пребывает в покое и мраке могильного склепа в полуночный час. Она понятия не имеет о красоте, о нежных звуках и приятных запахах, и тем не менее она счастлива и резва, как птичка или ягненок; всякая возможность выказать свою смекалку или постичь что-то новое доставляют ей живейшее удовольствие, тотчас отражающееся на ее выразительном лице. Она никогда ни на что не жалуется,— напротив, весела и жизнерадостна, как все дети. Она любит посмеяться и пошалить; играя с другими детьми, она громче всех заливчато смеется.

Но и в одиночестве она чувствует себя не менее счастливой — дайте ей что-нибудь вязать или шить, и она часами будет сидеть за работой; если же ей нечем заняться, она затевает разговор с воображаемым собеседником, что-то вспоминает, считает на пальцах или с помощью азбуки глухонемых составляет недавно узнанные названия предметов. Во время таких молчаливых диалогов она, видимо, рассуждает, раздумывает, спорит сама с собой; составив неправильно слово на пальцах правой руки, она тотчас ударяет по ней левой — в знак порицания, как это

делает учительница; составив же слово правильно, с довольным видом гладит себя по голове. Иной раз она нарочно неправильно составит слово на пальцах левой руки, скорчит хитрую рожицу и рассмеется, а потом правой рукой как ударит левую — точно в наказание!

За этот год она настолько усвоила азбуку глухонемых и научилась так умело и быстро составлять знакомые ей слова и фразы, что только люди, привычные к языку жеста, способны улавливать проворные движения ее пальцев.

Но как ни удивительна быстрота, с какою она передает свои мысли жестами, еще более удивительны легкость и точность, с какими она читает слова, написанные таким же способом другими людьми: держа своего собеседника за руку, она ощущает каждое движение его пальцев и, по буквам слагая слова, постигает его мысль. Так она беседует со своими слепыми товарками, и вряд ли можно найти более убедительный пример способности человеческого ума использовать материю для своих целей, чем эти беседы. Если двум мимам нужны немалый талант и мастерство, чтобы передать свои мысли и чувства посредством телодвижений и ужимок, то насколько же это труднее, когда и лицо и тело обоих собеседников погружены во мрак, а один из них еще и не слышит ни звука.

По коридору Лора ходит, вытянув вперед руки; она тотчас узнает всех, кто попадается ей навстречу, и здоровается кивком головы,— и если это девочка ее возраста или одна из ее любимых подружек, на лице Лоры появляется улыбка, подружки берутся под руку, пальчики их переплетаются и начинают быстро жестикулировать, передавая мысли и чувства одного мыслящего существа другому. Они задают друг другу вопросы и отвечают на них, рассказывают о своих радостях и горестях, целуются при встречах и расставаниях,— словом, ведут себя как обычные дети, обладающие всеми пятью чувствами.

В середине года — через шесть месяцев после того как Лора уехала из дому — ее навестила мать; встреча их проходила очень интересно.

Мать некоторое время стояла неподвижно и глазами, полными слез, смотрела на несчастную девочку, которая,

и не подозревая о ее присутствии, продолжала играть. Но вот Лора на бегу наскочила на мать и тотчас схватила ее за руки, принялась ощупывать платье, желая узнать, кто же это, но так и не узнав, отошла в сторону, словно перед ней был кто-то чужой,— а несчастная женщина совсем сникла, видя, что любимое дитя не узнает ее.

Тогда она достала бусы, которые Лора носила дома, и дала их девочке; та сразу узнала их и, радостно надев на шею, поспешила сообщить мне, что эти бусы — из дому.

Мать попыталась приласкать девочку, но бедная Лора оттолкнула ее, предпочитая общаться со знакомыми людьми.

Тут мать дала ей еще какую-то вещичку, привезенную из дому,— девочка насторожилась и, тщательно обследовав незнакомку, поведала мне, что эта женщина — из Ганновера; она даже позволила приласкать себя, но достаточно было кому-то поманить ее, и она тотчас равнодушно отошла от матери. А на ту было просто больно смотреть: хоть она и опасалась, что дочка может ее не узнать, однако тягостная правда — полное безразличие со стороны горячо любимого ребенка — оказалась выше женских сил.

Когда мать, некоторое время спустя, снова завладела Лорой, в мозгу девочки, казалось, мелькнула смутная догадка, что эта женщина, должно быть, ей не чужая; девочка с величайшим интересом стала лихорадочно ощупывать ее руки; она очень побледнела, потом вдруг покраснела, казалось, надежда борется в ней с сомнением и тревогой,— никогда еще борьба противоречивых чувств не отражалась так явственно на человеческом лице. В эту минуту мучительной неуверенности мать привлекла Лору к себе и нежно поцеловала,— девочка поняла все: недоверие и тревога исчезли с ее лица, сменившись несказанным счастьем, и она бросилась на грудь к матери, в ее объятия.

Забыты были бусы; ей предлагали игрушки,— она не обращала на них внимания; подруги, ради которых минуту назад она с радостью покидала незнакомую женщину, теперь тщетно пытались оторвать ее от матери, и хотя она, как всегда, по первому же знаку покорно

следовала за мной, ей это явно стоило больших усилий. Она цеплялась за меня, точно чему-то дивилась и в то же время страшилась, а когда я через некоторое время подвел ее к матери, она прыгнула к ней на колени и радостно прижалась к ее груди.

При расставании Лора по-своему, по-детски, выказала и любовь, и ум, и волю.

Крепко обняв мать, Лора проводила ее до дверей; но здесь она остановилась, пытаясь нащупать, кто стоит рядом. Узнав главную надзирательницу, которую она очень любит, девочка схватила ее за руку, другой рукой продолжая судорожно цепляться за мать; так она постояла с минуту, потом выпустила руку матери, поднесла платок к глазам и, повернувшись, с рыданиями приникла к надзирательнице, а мать, не менее расстроенная и взволнованная, поспешила уйти.

. . . .

В предыдущих отчетах мы уже отмечали, что Лора чувствует разницу в умственном развитии окружающих, и если заметит, что поступившая в Институт новенькая недостаточно сообразительна, через несколько дней начинает относиться к ней чуть ли не с презрением. Эта неприятная черта стала особенно заметна в ее характере за последний год.

Она выбирает себе подружек и товарок из числа наиболее умных детей, с которыми ей интереснее разговаривать, и явно не любит проводить время с теми, кто не отличается умом,— если только они не могут быть ей чем-то полезны, ибо она склонна использовать людей в своих целях. Она распоряжается ими как хочет и заставляет служить ей, то есть делать то, чего, как ей известно, она не может потребовать от других,— словом, ее англосаксонская кровь дает о себе знать.

Она радуется, когда педагоги или те, к кому она питает уважение, замечают и ласкают других детей, но не слишком,— иначе она ревнует. Она хочет получать свою долю ласки,— если не львиную, то во всяком случае немалую, и когда ей этой доли не уделяют, то говорит: «Мамочка приласкает меня».

В ней настолько развито подражательство, что оно толкает ее порой на действия, совершенно ей непонятные

и нужные лишь постольку, поскольку они удовлетворяют какой-то ее внутренней потребности. Так, не раз замечали, что она может просидеть целых полчаса, держа перед незрячими глазами книгу и шевеля губами, как по ее наблюдениям это делают зрячие люди, когда читают.

А однажды она выдумала, будто у нее заболела кукла: перенимая движения взрослых, стала ухаживать за ней, давать ей лекарства; потом бережно уложила в постель и, заливаясь веселым смехом, пристроила ей к ногам бутылку с горячей водой. Когда я пришел, она настояла, чтобы я осмотрел куклу и пощупал у нее пульс; когда же я велел положить кукле на спину горчичник, она пришла в полный восторг и чуть не завизжала от радости.

Она общительна и очень привязчива к людям: сидя за работой или за уроком рядом с кем-нибудь из своих маленьких друзей, она то и дело отвлекается и начинает обнимать их и целовать так искренне и пылко, что на нее нельзя смотреть без умиления.

Но и оставшись одна, Лора умеет занять себя и развлечь и кажется вполне довольной; и так, видимо, сильна естественная тяга мысли облечься в одежды языка, что она рассуждает сама с собой на пальцах, хотя это довольно медленный и утомительный процесс. Спокойна Лора бывает, только когда она одна; стоит же ей почувствовать, что рядом кто-то есть, как она начинает волноваться: ей хочется сесть поближе, взять человека за руку, беседовать с ним при помощи знаков.

В ее интеллектуальном облике приятно поражает ненасытная жажда знаний и сообразительность, позволяющая девочке быстро схватывать связь между предметами и явлениями. А в облике моральном истинно радует неизменная веселость, жизнерадостность, любовь ко всем окружающим, полная доверчивость, сочувствие чужому страданию, добросовестность, правдивость и оптимизм».

Я привел несколько отрывков из простой, но чрезвычайно интересной и поучительной истории Лоры Бриджмен. Имя ее великого благодетеля и друга, автора этих страниц,— доктор Хови *. Я верю и надеюсь, что, прочитав их, лишь немногие останутся безразличны к этому имени.

После отчета, часть которого я тут процитировал, доктор Хови опубликовал новые данные о состоянии своей подопечной. Он описывает, каких больших успехов она достигла в своем умственном развитии и навыках за истекшие двенадцать месяцев, и доводит повествование до конца года. Примечательно, что если все мы видим сны со словами и ведем воображаемые беседы, в которых говорим за себя и за тех, кто нам снится,— то Лора за неимением слов пользуется во сне азбукой на пальцах. Установлено, что, когда сон ее некрепок и полон тревожных видений, она беспорядочно и бессистемно шевелит пальцами, стремясь выразить мысль,— тогда как мы в подобных обстоятельствах шепчем и бормочем что-то нечленораздельное.

Я перелистал ее дневник: записи в нем сделаны вполне четким, ровным почерком, мысли выражены понятно, так что не требуется никаких объяснений. Я сказал, что мне хотелось бы посмотреть, как она пишет, и сидевшая подле нее учительница на условном языке попросила девочку написать на листке бумаги два или три раза свою фамилию. Писала Лора, касаясь левой рукою правой, в которой, конечно, было перо, и чувствуя все ее движения. Буквы она выводила свободно и ровно, без помощи линейки или чего-либо ее заменяющего.

До сих пор она и не подозревала о присутствии посторонних, но когда ее руку вложили в руку сопровождавшего меня джентльмена, она тотчас написала его имя на ладони своей учительницы. Чувство осязания у нее настолько развито, что, однажды встретив человека, она узнает его, сколько бы ни прошло времени с их последней встречи. А мне известно, что этот джентльмен очень редко посещал ее и в последний раз видел несколько месяцев тому назад. Мою же руку она сразу выпустила,— так она ведет себя со всеми незнакомыми. Зато руку моей жены она с явным удовольствием задержала в своей, поцеловала ее и со свойственными каждой девочке любопытством и интересом принялась ощупывать ее платье.

Шаловливая и веселая, она с наивной игривостью держалась со своей учительницей. А до чего приятно

было видеть ее радость, когда она узнала свою любимую товарку и подружку — тоже слепую девочку, которая молча села с нею рядом, радуясь не меньше ее готовящемуся сюрпризу. Лора издала странный звук, резанувший мое ухо,— за время моего посещения она издала его еще раза два или три по каким-то пустячным поводам. Но учительница дотронулась до ее губ, и девочка тотчас умолкла, рассмеялась и нежно обняла ее.

До этого я заходил в другую комнату, где несколько слепых мальчиков подтягивались на кольцах, лазали по шесту и выполняли всякие гимнастические упражнения. Как только мы вошли, они стали наперебой звать младшего инструктора, сопровождавшего нас: «Взгляните на меня, мистер Харт!», «Нет, на меня, пожалуйста!» — проявляя, как мне показалось, даже в этом присущее слепым желание, чтобы кто-то *видел* их ловкость. Среди них был маленький смешливый паренек, который, стоя несколько в стороне от остальных, выполнял упражнение, развивающее руки и грудь; занятие это доставляло ему величайшее удовольствие,— особенно, когда, выбросив правую руку, он касался ею другого мальчика. Этот мальчуган, как и Лора Бриджмен, был глухой, немой и слепой.

Рассказ доктора Хови о том, как он приступил к обучению этого мальчика, настолько интересен сам по себе и в связи с Лорой, что я не могу не привести краткой выдержки из него. Сообщу для начала, что бедного мальчика зовут Оливер Кэсуелл, что ему тринадцать лет и что он обладал всеми пятью чувствами до трех лет и четырех месяцев. Тут он заболел скарлатиной; через месяц оглох, еще через несколько недель — ослеп, а еще через полгода — потерял дар речи. Отсутствие этого последнего он, видимо, особенно остро ощущал: частенько он дотрагивался до губ говорящего, а потом подносил палец к своим губам, словно желая убедиться, что они у него на месте.

«Жажда знания,— говорит доктор Хови,— проявилась у него, как только он поступил в наше заведение, где он тотчас принялся все обследовать — ощупывать и обнюхивать. Так, например, наступив случайно на выдвинутую из печи заслонку, он мгновенно нагнулся и при-

нялся ее ощупывать; вскоре он выяснил, что заслонок — две и одна выдвигается над другой; но этого ему было недостаточно: он лег на пол, лицом вниз, и попеременно лизнул обе заслонки,— судя по выражению его лица, вкус у них был разный и, значит, по его разумению, они были сделаны из разного металла.

У него был выразительный жест и отлично развитый от природы язык эмоций — он вполне естественно смеялся, плакал, вздыхал, целовался, обнимал и т. д.

Некоторые описательные жесты, которым он (благодаря своему дару подражания) научился, расшифровываются без особого труда: волнистым движением руки он обозначал, например, движение корабля, а круговым — вращение колеса и т. д.

Таким образом, прежде всего требовалось отучить его пользоваться этими знаками и научить пользоваться знаками чисто условными.

Исходя из своего прежнего опыта, я решил перескочить через несколько ступеней и сразу перешел к азбуке на пальцах. Я взял несколько предметов, имеющих краткие названия, как, например: ключ, чашка, кружка [1] и т. п., и, выбрав в помощницы Лору, сел рядом с мальчиком, взял его за руку, положил ее на один из упомянутых предметов, а потом на своих пальцах составил слово «ключ». Он старательно, обеими руками, ощупывал мои руки и, после того как я еще раз составил слово «ключ», попытался повторить мои движения. Через несколько минут он уже дотрагивался до моих пальцев только одной рукой, а на пальцах другой пытался перенять мои движения и, если это получалось, радостно смеялся. Лора сидела рядом, чрезвычайно заинтересованная и возбужденная,— и странное эти двое являли собою зрелище. Раскрасневшаяся и взволнованная, Лора касалась наших рук своими пальчиками, но едва-едва, чтобы не мешать нам, а Оливер, весь внимание, слегка склонив набок голову и подняв кверху лицо, стоял, держа мою руку в своей левой руке и вытянув в сторону правую. С каждым движением моих пальцев лицо его становилось все на-

---

[1] По-английски соответствующие слова пишутся тремя буквами (key, cup, mug).

пряженнее, а когда он попытался подражать мне, на нем отразилась тревога; но вот слабая улыбка озарила его — мальчик решил, что одолел трудность, и, составив на пальцах слово, весело рассмеялся; я погладил его по голове, а Лора ласково похлопала по спине и запрыгала от радости.

За полчаса он выучил с полдюжины букв и, казалось, был в восторге от своих успехов — во всяком случае от того, что получал одобрение. Но тут внимание его начало рассеиваться, и я перешел на игру. Мне было ясно, что все это время он просто копировал движения моих пальцев и дотрагивался попеременно до ключа, чашки и других предметов, считая, что это такая игра, а вовсе не потому, что уловил связь между предметом и его обозначением.

Когда он вдоволь наигрался, я опять посадил его за стол, и он с готовностью стал снова перенимать мои движения. Очень скоро он научился составлять на пальцах по буквам слова — «ключ», «перо», «булавка»; я попеременно давал ему эти предметы, и после многократных повторений он, наконец, уразумел то, чего я от него добивался: что между знаком и предметом существует связь. Я понял это по тому, что, когда я составлял на пальцах слова: «булавка», «перо» или «чашка», он тотчас брал требуемый предмет.

Однако, постигнув эту взаимосвязь, он не просиял и не обрадовался, как Лора в тот чудесный миг, когда она впервые поняла это. Тогда я разложил на столе уже знакомые Оливеру предметы и, отведя детей в сторонку, помог Оливеру составить на пальцах слово «ключ», после чего Лора тотчас принесла ему ключ,— мальчику это показалось занятным, и по его сосредоточенному личику промелькнула улыбка. Тогда я помог ему составить слово «хлеб», и Лора тотчас принесла ему ломтик; он понюхал хлеб, потом поднес его ко рту, с понимающим видом склонил голову набок, подумал с минуту и вдруг рассмеялся, точно хотел сказать: «Ага! Теперь мне ясно, что это значит!»

Теперь и я понял, что у мальчика есть и способности и склонность к учению, что им стоит заняться — нужно лишь терпеливо и внимательно относиться к нему. И я

передал его в руки умного педагога, нимало не сомневаясь, что он будет делать быстрые успехи».

Да, этот джентльмен вправе назвать чудесным тот миг, когда ум Лоры Бриджмен, дотоле блуждавший в потемках, впервые озарила надежда, что она может стать такой, какая сейчас. Воспоминание об этом миге будет всю жизнь служить доктору Хови источником чистой, неиссякаемой радости, которая будет сиять не менее ярко и на склоне дней его, посвященных благородному служению людям.

Теплые чувства, связывающие этих двух людей — учителя и ученицу,— столь же не похожи на обычные заботу и уважение, как не похожи условия, в которых они возникли, на обычные жизненные обстоятельства. Сейчас доктор Хови направил все усилия на то, чтобы дать своей ученице представление о более высоких материях и — пусть приблизительное — понятие о создателе той вселенной, где, хоть она и обречена жить не ощущая запахов, среди безмолвия и мрака, ей на долю все же выпадает немало великих радостей и подлинных удовольствий.

Вы, имеющие глаза, но не видящие, и имеющие уши, но не слышащие; вы, ханжи с унылыми лицами, уродующие себя для того, чтобы люди думали, будто вы блюдете пост,— поучитесь здоровой веселости и кроткому довольству у глухих, немых и слепых! Самозванные святые с мрачным ликом, это невидящее, неслышащее и неговорящее дитя может преподать вам урок, которому вам не мешало бы следовать. Пусть рука этой несчастной девочки легонько ляжет на ваше сердце,— быть может, целительное ее прикосновение будет подобно прикосновению великого творца, чьи заповеди вы искажаете, чьи уроки извращаете, чьему милосердию и состраданию ко всему живому ни один из вас в своих повседневных деяниях не подражает до такой степени, как многие из самых закоренелых грешников, которым вы ничего не прощаете, а лишь предрекаете гибель!

Когда я уже собрался уходить, в комнату вбежал прелестный малыш — поздороваться с отцом, одним из надзирателей. Вид зрячего ребенка среди толпы слепых причинил мне на какую-то минуту не меньшую боль, чем вид слепого мальчика у входа два часа тому назад.

А когда я вышел из этого дома, насколько ярче и сочнее прежнего показалась мне глубокая синева и неба и моря после того мрака, в который погружено столько юных жизней там, в этих стенах!

В так называемом Южном Бостоне, где все на редкость благоприятствует этой цели, расположилось по соседству друг от друга несколько благотворительных заведений. Среди них — государственная больница для душевнобольных; дело в ней поставлено преотлично, в соответствии с гуманными принципами умиротворения и доброты,— теми самыми принципами, которые каких-нибудь двадцать лет тому назад считались хуже ереси и которые с таким успехом применяются в нашем приюте для бедных в Хэнуелле *. «Главное — проявлять расположение и выказывать больше доверия даже к сумасшедшему»,— сказал мне живший при больнице врач-ординатор, когда мы проходили по коридорам, где вокруг нас свободно разгуливали и группами собирались его пациенты. И если найдется человек, который станет отрицать или оспаривать это мудрое положение, даже увидев, к чему оно приводит на практике,— я могу сказать лишь, что надеюсь не попасть в число судей Комиссии по сумасшествию, когда станут решать вопрос о нем, ибо я безусловно признаю его сумасшедшим уже по одному этому признаку.

Все отделения этой больницы построены одинаково, и каждое напоминает длинный коридор или галерею, куда с обеих сторон выходят спальни пациентов. Здесь они работают, читают, играют в кегли и другие игры, а когда погода не позволяет занятий на воздухе, вместе проводят досуг. В одной из таких комнат среди душевнобольных женщин, черных и белых, спокойно, с самым невозмутимым видом, сидели жена врача и еще какая-то дама с двумя детьми. Обе дамы были изящны и красивы, и одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что уже само их присутствие оказывает благотворное влияние на собравшихся вокруг больных.

Прислонившись головой к каминной доске, возле них восседала пожилая женщина, державшаяся с претенциоз-

ным благородством и изысканностью манер и разубранная не хуже самой Мейдж Уайлдфайр *. Особенно отличалась ее прическа: чего только не было у нее в волосах — и кусочки газа, и тряпицы, и какие-то бумажки, и всякая всячина, точно это не голова, а птичье гнездо. Держалась же она так, словно вся была в драгоценностях; правда, на носу у нее красовались действительно золотые очки, а при нашем приближении она уронила на колени очень старую засаленную газету, в которой, должно быть, читала отчет о своем появлении при каком-то иностранном дворе.

Я потому так подробно описал ее, чтобы на ее примере показать, каким путем врач приобретал и сохранял доверие своих пациентов.

— Эта дама, сэр,— громко возвестил он, беря меня за руку и с величайшей учтивостью подводя к эксцентричной особе (при этом он ни взглядом, ни шепотом, ни тихо сказанным словом не выдал себя),— владелица нашего особняка. Все здесь принадлежит ей. И только ей. Как вы могли убедиться, дом это большой, и для того, чтобы поддерживать в нем порядок, нужно немало слуг. Как видите, живет она весьма широко. Она любезно разрешает мне посещать ее и позволяет моей жене и детям жить здесь, за что мы, естественно, очень ей признательны. Как вы, должно быть, уже догадались, она чрезвычайно гостеприимна,— при этих словах она милостиво наклонила голову,— и не станет лишать меня удовольствия представить ей вас. Этот джентльмен прибыл из Англии, сударыня; он только что совершил трудный переезд по морю: мистер Диккенс — хозяйка дома!

Со всею серьезностью и уважительностью мы обменялись почтительнейшими поклонами и двинулись дальше. Остальные сумасшедшие, казалось, отлично поняли шутку, и это их (так было не только в данном случае, но и во всех прочих, когда речь шла не о них самих) очень позабавило. Тем же путем я узнал, на чем помешаны еще некоторые из них, и каждый остался очень доволен нашей беседой. Такой метод позволяет не только установить полное понимание между врачом и пациентом относительно природы безумия и степени одержимости, но и

подстеречь минуту просветления, а тогда ужаснуть больного, показав ему всю нелепость его мании.

Каждый пациент в этом приюте ежедневно за обедом пользуется ножом и вилкой; с ними обедает и тот джентльмен, чей метод обращения с больными я только что описал. Посредством одного лишь морального влияния он сдерживает даже самых буйных и не дает им перерезать глотки всем остальным,— действенность этого влияния безусловна, а как сдерживающая сила — и, конечно, как метод излечения,— оно в сто раз эффективнее всех смирительных рубашек, кандалов и наручников, к которым невежество, предрассудки и жестокость прибегают испокон веков.

В корпусе, где происходят занятия по труду, каждому больному выдаются необходимые инструменты так же свободно и с таким же доверием, как если бы он был вполне здоров. А в саду и на ферме они и вовсе работают лопатами, граблями и мотыгами. Для развлечения они устраивают прогулки, бегают наперегонки, удят рыбу, рисуют, читают и ездят кататься в специально приспособленных для этого колясках. У них есть швейный кружок, изготовляющий одежду для бедных; он регулярно проводит собрания своих членов, принимает на них решения с соблюдением всех необходимых формальностей, и дело там никогда не доходит до кулачных драк или поножовщины, как это случается порой на собраниях вполне здоровых людей. В этих занятиях больные растрачивают запас раздражительности, которую они иначе обратили бы против самих себя, своей одежды и мебели. А так — они веселы, спокойны и физически здоровы.

Раз в неделю у них бывают балы, в которых доктор и его семья, а также все сиделки и надзиратели принимают деятельное участие. Они то расхаживают, то танцуют под веселые звуки пианино, а время от времени какой-нибудь джентльмен или леди (уже проявившие ранее свои способности) развлекают собравшихся пением, которое никогда в критических пассажах не переходит в писк или вой, как я того, признаться, опасался. Собираются здесь на эти празднества довольно рано; в восемь часов подается чай, а в десять все уже расходятся.

Везде и во всем преобладают необычайная вежливость и благовоспитанность. Больные перенимают тон от своего врача, а он ведет себя с ними точно сам лорд Честерфилд *. Эти рауты, как и всякий бал, в течение нескольких дней служат дамам богатой темой для бесед; а мужчины до того жаждут отличиться на очередном собрании, что порой их можно застать где-нибудь в уголке, когда они репетируют «па», чтобы блеснуть на танцах.

Ясно, что система эта имеет одно большое преимущество: она зарождает и развивает в людях, даже больных столь тяжким недугом, чувство приличия и собственного достоинства. Примерно такого же метода придерживаются и в других заведениях Южного Бостона.

Есть там Трудовой дом. В той его части, которая отведена для старых или утративших трудоспособность бедняков, на стенах красуются слова: «Не забудь: самообладание, мир и покой — дары господни». Никто здесь не считает непреложной истиной, что раз человек попал сюда, значит он — дурной и испорченный, а потому надо, чтобы его злобный взгляд постоянно видел перед собой угрозы и строжайшие предписания. Наоборот: человека с самого порога встречает этот гуманный призыв. Внутри все непритязательно и просто, как и должно быть, но устроено с таким расчетом, чтобы людям было покойно и удобно. Стоит это ничуть не дороже, но говорит об известном внимании к тем, кто вынужден искать здесь приюта,— следовательно, располагает к благодарности и хорошему поведению. Здесь нет огромных, длинных, несуразных палат, где человек, в котором остались лишь крохи жизни, продрожав весь день, может захиреть и зачахнуть,— здание разделено на отдельные комнаты и в каждой — достаточно света и воздуха. Обитает в них, так сказать, лучшая разновидность бедняков. Им дается возможность проявить старание и потом гордиться своими уютными, прибранными комнатами. Я не припомню ни одной, которая не была бы чистенькой и аккуратной, и в каждой — либо на подоконнике стоят два-три цветка, либо на полочке — ряд глиняных фигурок, либо на выбеленной стене висят цветные литографии, а то и деревянные часы за дверью.

Сироты и малолетние дети размещены в соседнем здании, совершенно отдельном, но составляющем часть того же заведения. Среди них есть совсем крошки, а потому лестницы в доме сделаны точно для лилипутов, соразмерно их маленьким шажкам. Такое же внимание к слабым беспомощным малюткам видно во всем — вплоть до стульчиков, настоящих диковинок, похожих на мебель в кукольном доме у детей бедняка. Могу себе представить, как развеселились бы члены нашей Комиссии по законодательству о призрении бедных * при виде этих стульчиков со спинками и подлокотниками, но дети-то ведь не с самого рождения попали в столовую Сомерсет-Хаус, а потому и такая забота о них представляется мне милосердной и благостной.

Здесь снова меня весьма порадовали прописи на стенах, исполненные немудреной морали, понятные и легко запоминающиеся,— как, например: «Любите друг друга», «Бог помнит и о самом малом из своих созданий» и другие простые наставления этого рода. Книжки и задания этим крохотным ученикам даются тоже применительно к их детскому разумению. Когда мы зашли в класс, четыре девчушки (одна из них — слепая) спели нам песенку о веселом месяце мае, которая, по-моему, (уж очень она была унылой) больше подошла бы для английского ноября. Затем мы поднялись этажом выше взглянуть на их спальни, где все было устроено столь же превосходно и заботливо, как на нижних этажах. Понаблюдав за педагогами, я заметил, что они и по квалификации и по характеру подобраны в полном соответствии с духом, царящим в этом заведении, и когда я прощался с детьми, у меня было так легко на сердце, как еще ни разу не было при прощании с детьми бедняков.

По соседству с Трудовым домом есть больница, содержащаяся в образцовом порядке, и в ней, как я с радостью отметил, много незанятых коек. Впрочем, есть у ней один недостаток, который характерен для всех американских жилищ,— наличие докрасна раскаленной печки, этого вечного проклятия, этого демона, который душит все живое, отравляя своим дыханием самый чистый воздух.

Здесь же поблизости расположены два заведения для мальчиков. Одно — Бойлстонская школа — представляет

собой приют для беспризорных нищих мальчиков, которые пока не совершили никакого преступления, но самою силой обстоятельств очень скоро утратили бы свою незапятнанность, если бы их не избавили от голодного существования на улице и не поместили сюда. Другое заведение — Исправительный дом для малолетних преступников. Оба они находятся под одной крышей, но живущие в них мальчики никогда не соприкасаются друг с другом.

Мальчики из Бойлстонской школы, как и следовало предполагать, по своему внешнему виду отличаются в лучшую сторону от своих соседей. Когда я зашел к ним, они сидели в классной и, не заглядывая в учебники, правильно ответили мне на такие вопросы: «Где находится Англия?», «Как далеко это отсюда?», «Каково ее население?», «Как называется ее столица?», «Какой там образ правления?» и так далее. Потом они спели мне песенку о фермере, засевающем поле, и при словах: «Вот сеет он и сеет», «Потом повернется», «В ладоши ударит» — показывали, как он это делает: так им и петь веселее и они привыкают действовать чинно, сообща. Их, видимо, прекрасно учат, а еще лучше — кормят, ибо никогда я не видел более круглолицых, упитанных мальчишек,— жилеты у них того и гляди лопнут.

А вот у большинства малолетних преступников далеко не столь приятные лица; и в этом заведении немало цветных детей. Сначала я увидел их за работой (они плели корзинки и изготовляли шляпы из пальмовых листьев); затем — в школе, где они хором пели гимн во славу свободы: довольно странная и, я сказал бы, грустная тема для узников. Мальчики эти распределены по четырем классам,— у каждого на рукаве повязка с обозначением номера класса. Новичка по прибытии определяют в четвертый, или самый младший, класс,— при хорошем поведении и прилежании он переходит в третий, во второй — пока не доберется до первого. Цель и назначение этого исправительного дома состоит в том, чтобы путем твердого, но вместе с тем доброго и разумного обращения исправить юного преступника; превратить для него тюрьму не в место, где бы он подвергся моральному разложению и развратился, а в такое место, где он станет чище и лучше; внушить ему, что к счастью ведет лишь

один путь — здоровый труд; научить его, как по этому пути идти, если он вступает на него впервые, и увлечь его вновь на этот путь, если он сошел с него,— словом, спасти от гибели и вернуть обществу раскаявшимся и полезным его членом. Как ценно такое заведение со всех точек зрения, не говоря уже о соображениях гуманности и социальной политики, не требуется разъяснять.

Для завершения списка упомянем еще одно заведение. Это — Исправительный дом штата, где заключенным строжайше воспрещено разговаривать друг с другом, но зато существование их облегчено тем, что они видят друг друга и работают вместе. Эту усовершенствованную систему поддержания тюремной дисциплины мы импортировали в Англию, и она уже несколько лет с успехом применяется у нас.

Америка — страна молодая и неперенаселенная, а потому обитатели ее тюрем обладают одним существенным преимуществом: они могут заниматься полезным и доходным делом, тогда как у нас предубеждение против тюремного труда, естественно, очень велико и почти непреодолимо, ибо сколько честных людей, ничем не погрешивших против закона, вынуждены тщетно искать работу! Да и в Соединенных Штатах этот метод, устанавливающий конкуренцию между принудительным и свободным трудом — и неизбежно во вред последнему,— уже нашел немало противников, число которых с годами едва ли уменьшится.

По этой самой причине на первый взгляд может показаться, что в наших лучших тюрьмах дело поставлено куда правильней, чем в американских. Прясть можно бесшумно, или почти бесшумно; пятьсот человек могут, находясь в одном помещении, так же тихо надирать ко̀нопать,— притом оба эти вида труда позволяют установить столь зоркое и тщательное наблюдение за узниками, что они буквально не могут словом обменяться. Зато шум ткацкого станка, кузнечного горна, плотничьей пилы или молотка каменщика открывает большие возможности для общения — несомненно краткого и поспешного, но всетаки общения, ибо в силу самого своего характера эти виды труда требуют, чтобы люди работали вместе, часто — совсем рядом, не разделенные ни барьером, ни

перегородкой. Поэтому и посетитель не сразу все поймет и осмыслит, ибо вид людей, занятых обычным трудом, точно они и не в тюрьме, не поразит его и наполовину так сильно, как если бы те же люди, в том же самом месте и в той же одежде выполняли некую работу, считающуюся всюду позорной и унизительной, так как занимаются ею только преступники в тюрьме. И я, очутившись в американской тюрьме или исправительном доме, сначала с трудом мог поверить, что нахожусь в остроге — месте, где человека подвергают позорному наказанию, которое он должен терпеливо сносить. Я и по сей час сомневаюсь, исходят ли пламенные гуманисты, гордящиеся тем, что тюрьма у них не похожа на тюрьму, из действительно разумных и основательных принципов.

Надеюсь, что меня не поймут превратно, ибо эта проблема глубоко и серьезно волнует меня. Я столь же мало симпатизирую мягкотелой сентиментальности, превращающей всякую лицемерную ложь или плаксивое признание крупного преступника в объект для газетной статьи или всеобщего умиления, как и добрым старым традициям добрых старых времен, благодаря которым Англия еще совсем недавно, в царствование короля Георга Третьего, слыла по части своего уголовного кодекса и внутритюремных правил одной из самых варварских и кровожадных стран земного шара. Если бы я мог думать, что это принесет какую-то пользу подрастающему поколению, я бы охотно разрешил выкопать из могилы скелет какого-нибудь благородного разбойника (и чем он был бы благородней, тем охотнее я бы это разрешил), расчленить его и вывесить для всеобщего обозрения на всех указательных столбах, на всех воротах или виселицах, какие сочтут наиболее пригодными для этой цели. Как хотите, а я глубоко убежден, что эти «благородные джентльмены» были совершенно никчемными и разнузданными мерзавцами и что тогдашние законы и тюрьмы лишь помогали им стать закоренелыми преступниками, а свои удивительные побеги они совершали при содействии тюремщиков, которые в те необыкновенные времена, как правило, были сами преступниками и до последней минуты верными друзьями заключенных, деливших с ними награбленное. В то же время я понимаю — как понимают или должны

понимать все люди,— что тюремная дисциплина играет важнейшую роль в любом обществе и что Америка, проведя в этой области широкие реформы и недвусмысленно подав пример другим странам, выказала и большую мудрость, и большую терпимость, и самые передовые взгляды. Сопоставляя американскую систему с той, которую мы создали по ее образцу, я лишь хочу показать, что при всех ее недостатках наша система имеет и свои преимущества [1].

Исправительный дом, который навел меня на эти размышления, окружен не стеной, как все тюрьмы, а частоколом, образующим нечто вроде загона для слонов, какие мы видим на литографиях или картинках из жизни Востока. Заключенные носят полосатую одежду; те из них, которые приговорены к каторжным работам, куют гвозди или тешут камни. Когда я там был, они тесали камни для новой таможни, которую строят в Бостоне. И делали они это довольно умело и быстро, хотя едва ли кто-либо из них (если такие вообще были) обучался этому ремеслу ранее, вне стен тюрьмы.

Все женщины содержались в одном большом помещении, где они шили одежду для Нового Орлеана и Южных Штатов. Как и мужчины, работали они в полной тишине и так же, как и те, под присмотром лица, взявшего подряд на их работу, или его агента. Кроме того, к ним в любую минуту мог зайти специально существующий для этого тюремщик.

---

[1] Если отбросить в сторону вопрос о прибыли, которую приносит труд заключенных и которую мы никогда не сумеем довести до крупных сумм, что, пожалуй, и не очень нам нужно, то в Лондоне можно назвать две тюрьмы ничуть не хуже, а в некоторых отношениях и несомненно лучше любой из тех, какие я видел в Америке или о каких слышал или читал. Одной из этих тюрем является «Тотхилл филдс брайдуэлл» во главе с лейтенантом королевского флота Э. Ф. Трейси; другой — исправительный дом в Мидлсексе, руководимый мистером Честертоном. Сей джентльмен занимает также пост на государственной службе. Оба они — люди просвещенные и превосходные, и подыскать кандидатов, более подходящих для несения тех обязанностей, которые они выполняют так неукоснительно, усердно, разумно и гуманно, было бы не менее трудно, чем наладить более совершенный порядок во вверенных им заведениях. *(Прим. автора.)*

Приготовление пищи для заключенных, стирка их белья и тому подобное производится примерно так же, как у нас. На ночь же (все тюрьмы здесь устроены по такому образцу) их размещают иначе, чем у нас,— гораздо проще и удобнее для надзора. Внутри высокого здания, как раз посредине, расположены камеры, одни над другими в пять ярусов; свет в них проникает через окна, имеющиеся во всех четырех стенах дома. Вдоль каждого яруса проходит легкая железная галерея, на которую можно попасть по такой же легкой железной лестнице,— за исключением, конечно, нижней галереи, идущей прямо по земле. Позади камер, непосредственно примыкая к ним, но обращенные уже к другой стене, расположены соответственно другие пять ярусов, куда можно попасть аналогичным образом; когда заключенных запирают в камеры, внизу, у стены, ставят часового, и он может держать под наблюдением сразу половину всех камер; другую половину держит под наблюдением другой часовой, стоящий у противоположной стены,— и все это в одном большом помещении. Если часовой не подкуплен или не спит на своем посту, всякая возможность побега начисто отпадает, ибо даже если заключенному удастся взломать без шума железную дверь своей камеры (что маловероятно), стоит ему выйти из нее и очутиться на одной из пяти галерей, куда выходит камера, как его ясно и отчетливо увидит стоящий внизу часовой. В каждой из камер имеется узкая и низенькая складная кровать,— в ней спит один узник — только один, не больше. Камера, конечно, тесная, и поскольку дверь не сплошная, а решетчатая, без каких-либо ставен или занавески, узника всегда может наблюдать или видеть любой стражник, проходящий по галерее в любой час и любую минуту ночи. Каждый день заключенные подходят поодиночке к оконцу в стене кухни и получают обед, который они уносят к себе в камеру, где их запирают на час, пока они едят. Такое устройство показалось мне очень удачным, и я надеюсь, что очередная новая тюрьма, которую мы воздвигнем в Англии, будет построена по такому образцу.

Мне дали понять, что в тюрьме этой не держат ни сабель, ни огнестрельного оружия, ни даже дубинок, и, оче-

видно, пока дело в ней так хорошо поставлено, они и не понадобятся.

Вот какие заведения есть в Южном Бостоне! И в каждом несчастных граждан штата — калек или слабоумных — рачительно учат их долгу перед богом и людьми; окружают теми удобствами и утехами, какие дозволяет их положение; обращаются с ними, как с членами большой человеческой семьи, сколь бы ни были они обделены судьбой или несчастны и как бы низко ни пали; управляют ими «властным сердцем», а не властной рукой (на самом деле неизмеримо более слабой). Я довольно подробно описал эти заведения, во-первых, потому, что они того заслуживают, а во-вторых, потому, что я намерен взять их за образец: впредь, рассказывая о других, сходных по целям и назначению, я буду лишь указывать, чего в них недостает или чем они отличаются.

Мне хотелось бы, чтобы мой рассказ о них, весьма несовершенный по форме, но безусловно честный по намерениям, внушил моим читателям хотя бы сотую долю того удовлетворения, какое я сам испытал.

Глазу англичанина, привыкшему к Вестминстер-Холлу со всеми его аксессуарами *, американский суд покажется таким же странным, каким, наверно, кажется американцу английский суд. Если не считать Верховного суда в Вашингтоне (где судьи носят простые черные мантии), вы нигде не увидите, чтобы отправление правосудия было связано с пышной мантией или париком. Юристы, являющиеся одновременно и поверенными и адвокатами (здесь нет разделения этих функций, как в Англии *) не менее далеки от своих клиентов, чем наши поверенные — от своих, когда они ведут дела несостоятельных должников. Присяжные чувствуют себя в суде как дома и располагаются со всеми удобствами. Место для свидетеля столь мало приподнято или отделено от остальных, что посторонний человек, войдя в зал в перерыве между заседаниями, едва ли сумеет разглядеть его в толпе. Если же идет уголовный процесс, то в девяти случаях из десяти вы тщетно будете искать преступника на скамье подсудимых, ибо сей джентльмен скорее всего будет разгуливать

в окружении самого цвета юридического мира, нашептывая советы на ухо своему защитнику или затачивая обгорелую спичку перочинным ножом, дабы она могла служить зубочисткой.

Я не мог не заметить всех этих особенностей, отличающих американские суды от наших, во время моих посещений судебного присутствия в Бостоне. Прежде всего меня крайне удивило то, что защитник проводит допрос свидетеля *сидя*. Но увидев, что он к тому же еще записывает ответы, и вспомнив, что он работает один, без помощника или «младшего» адвоката *,— я поспешил успокоить себя следующим соображением: видимо, отправление правосудия обходится здесь куда дешевле, чем у нас, так как отсутствие разных формальностей, которые мы привыкли считать необходимыми, несомненно приводит к значительному снижению судебных издержек.

Все залы суда построены с таким расчетом, чтобы граждане могли возможно удобнее в них разместиться. Это по всей Америке так. Во всех общественных учреждениях безоговорочно признается право любого жителя посещать проводимые там заседания и участвовать в них. Здесь вы не увидите угрюмых привратников, от которых можно добиться запоздалой услужливости лишь с помощью шести пенсов; не встретите, как я искренне убежден, и чиновничьей наглости. Национальное достояние не выставляется здесь напоказ за деньги, а среди должностных лиц не найдешь ни одного балаганщика. Последние годы мы стали следовать этому хорошему примеру. Надеюсь, мы будем подражать ему и впредь, а со временем в этом духе перевоспитаются даже наши каноники и настоятели.

В гражданском суде разбиралось дело об убытках, понесенных во время аварии на железной дороге. Допрос свидетелей окончен, и адвокат держит речь перед советом присяжных. Ученый сей джентльмен (подобно некоторым своим английским собратьям) отчаянно многоречив и обладает удивительной способностью снова и снова повторять одно и то же. Выступал он на тему «Оправдайте машиниста!», и уж совал он беднягу в каждую свою фразу! Я слушал его целых четверть часа, и, когда по

истечении этого времени вышел из зала, так и не уяснив себе, кто же здесь прав, у меня было такое ощущение, точно я снова на родине.

В тюремной камере, ожидая вызова на допрос, сидел мальчик, которого обвиняли в краже. Этого мальчика пошлют не в обычную тюрьму, а в исправительный приют в Южном Бостоне, где его будут учить ремеслу и на все время пребывания там прикрепят к какому-нибудь почтенному мастеру. Таким образом, поимка на месте преступления не наложит на него позорного клейма на всю жизнь и не поведет впоследствии к жалкой смерти, а, надо полагать, позволит вытащить его из среды преступников и сделать полезным членом общества.

Я никоим образом не принадлежу к числу безусловных сторонников нашего юридического ритуала,— многое в нем кажется мне крайне нелепым. Как ни странно, парик и мантия несомненно служат своего рода щитом: когда человек специально одевается для выполнения определенной роли, он как бы снимает с себя личную ответственность и считает возможным держаться и изъясняться с оскорбительной надменностью, грубо извращая миссию поборника Истины, что мне нередко приходилось наблюдать в наших судах. И все-таки меня берет сомнение: не ударилась ли Америка в другую крайность, отринув старую систему с ее нелепостями и злоупотреблениями, и не лучше ли в таком небольшом городке, как Бостон, где все знают друг друга, оградить присутственные места от вторжения повседневности с ее развязным: «Эй, парень, здорово, как живешь!» Всю помощь, какую могут оказать обществу не только здесь, но и всюду высокие моральные качества и способности судей, оно получает, и получает по праву; однако ему может потребоваться и нечто большее — произвести впечатление не только на вдумчивых и сведущих людей, но и на легкомысленных невежд, к разряду которых относятся иные преступники, а подчас и свидетели. В свое время в основу деятельности этих учреждений был, безусловно, положен принцип, основанный на уверенности, что если люди сами принимали широкое участие в создании закона, то они, конечно, будут его уважать. Но опыт показывает, что эти надежды не оправдались: никто лучше аме-

риканских судей не знает, что, когда народ приходит в возбуждение, закон бессилен и не может проявить власть.

Бостонское общество отличается безукоризненной учтивостью, вежливостью и воспитанностью. Дамы бесспорно прекрасны — внешне, но и только. Образованны они не больше наших. Мне рассказывали про них чудеса, но я не поверил, и это спасло меня от разочарования. Есть в Бостоне дамы «синие чулки» *, однако, как все философы этого склада и пола в других широтах, они хотят скорее слыть существами высшего порядка, нежели быть ими. Есть дамы-евангелистки, чья приверженность канонам религии и отвращение к театральным зрелищам поистине достойны подражания. И во всех классах и слоях общества есть дамы, одержимые страстью посещения проповедей и лекций. В провинциальных городках, таких, как этот, проповедники пользуются огромным влиянием. Новая Англия, оказавшаяся сплошной церковной епархией, является (исключая, конечно, унитарную церковь *) сущим рассадником гонений против всех невинных и разумных развлечений. Церковь, молитвенный дом и лекционный зал — вот и все дозволенные места увеселений, и дамы толпами стекаются в церкви, молитвенные дома и лекционные залы.

Всюду, где к религии прибегают как к крепкому напитку и спасению от унылого однообразия домашней жизни, самыми любимыми оказываются те проповедники, которые умеют приправить перцем слово божие. Те, кто всех усердней усыпает булыжником путь к вечному блаженству и всех безжалостней топчет цветы и листья, растущие по обочине, будут признаны самыми праведными; а те, кто усиленно напирает на то, как трудно попасть в рай, по мнению истинно верующих, уж, конечно, попадут туда, хотя трудно сказать, с помощью какой логики можно прийти к такому выводу. Так считают у нас на родине, так считают и за границей. В сравнении с остальными способами развлечения лекция по крайней мере имеет то преимущество, что каждый раз может быть новой. К тому же они так быстро следуют друг за другом, что ни одна не остается в памяти, и цикл, прочитанный в этом месяце, можно спокойно повторить в будущем, не рискуя нарушить очарование новизны и наскучить слушателям.

Плоды земные взращивает гниение. И вот благодаря такому нравственному загниванию в Бостоне и возникла философская секта, известная под названием трансцендենталистов *. Когда я поинтересовался, что может означать такое название, мне дали понять, что все маловразумительное безусловно и есть трансцендентальное. Не удовлетворившись этим объяснением, я решил продолжить расспросы и выяснил, что трансценденталисты — последователи моего друга мистера Карлейля, или, вернее, его последователя мистера Ральфа Уолдо Эмерсона. Сей джентльмен опубликовал том изысканий, где много туманного и надуманного (да простит он мне эти слова), но еще больше мыслей правильных и смелых, честных и мужественных. У трансцендентализма есть немало заблуждений (у какой школы их нет?), но у него есть и хорошие, здоровые качества, и немаловажным среди них является искреннее отвращение к ханжеству и способность распознать его в миллионе разных личин и одежд. А потому, живи я в Бостоне, я, наверное, был бы трансценденталистом.

В Бостоне я слушал только одного проповедника — мистера Тейлора, который выступает специально перед моряками, ибо сам в свое время был моряком. Его молитвенный дом с голубым флагом, весело и привольно развевающимся на крыше, я обнаружил чуть ли не в порту, на одной из узеньких старых улочек у самой воды. На галерее, напротив кафедры, разместился небольшой смешанный хор — мужской и женский, а также виолончель и скрипка. Священник уже сидел на кафедре, высоко поднятой на столбах, выделяясь на фоне ярко размалеванных полотнищ, похожих на театральную декорацию. Ему было лет пятьдесят шесть или пятьдесят восемь; у него было обветренное лицо с жесткими чертами, испещренное глубокими, словно врезанными, морщинами, черные волосы и строгий острый взгляд. И тем не менее общее впечатление он производил приятное и располагающее.

Служба началась с гимна, за которым последовала импровизированная молитва. Единственным ее недостатком были бесконечные повторы, присущие, впрочем, всем таким молитвам; зато она была проста и понятна по

идее и дышала милосердием и человеколюбием, не так часто встречающимися в этой форме обращения к богу, как это могло бы быть. Когда с молитвой было покончено, священник приступил к проповеди, взяв за основу стих из Песни Песней Соломона *, которую положил перед ним на кафедру еще до начала службы кто-то из прихожан: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного?»

Чего он только не выделывал с текстом и как только его не выкручивал, но неизменно изобретательно и с грубоватой прямолинейностью, наиболее понятной для его слушателей. Вообще говоря, если не ошибаюсь, он куда больше заботился о том, чтобы вызвать у них сочувствие и понимание, чем о том, чтобы показать свои способности. Все его образы были связаны с морем и тем, чем чревата жизнь моряка, и часто были на редкость удачны. Он рассказывал своим прихожанам об «этом славном герое — лорде Нельсоне» и о Коллингвуде *, притом ничего не притягивая, как говорится, за уши, а естественно и просто, непрестанно заботясь о том, чтобы быть понятным. Порой, увлекшись, он с презабавным видом, делавшим его похожим на нечто среднее между Джоном Бэньяном и Бальфуром из Берли *, совал свою толстенную библию под мышку и принимался забавно метаться по кафедре, неотрывно глядя вниз, на свою паству. Так, обрисовав с помощью избранного им текста первое собрание своих слушателей и рассказав, в какое удивление повергласъ церковь, когда они объявили, что образуют свою собственную конгрегацию, он вдруг остановился с библией под мышкой и дальше продолжал свою проповедь так:

«Кто это — кто они — кто эти люди? Откуда они явились? И куда идут? Откуда они? Что мы на это ответим? — Он перегнулся через перила кафедры и правой рукой указал вниз.— С самого дна! — Потом выпрямился и посмотрел на стоявших перед ним моряков.— С самого дна, братья мои. Из-под заслонов порока, которыми накрыл вас нечистый. Вот вы откуда явились! — Прошелся по кафедре.— А куда вы идете?..— Вдруг остановился.— Куда вы идете? Ввысь! — Очень тихо, указывая наверх.— Ввысь! — Громче.— Ввысь! — Еще громче.— Вот куда вы

идете, с попутным ветром, хорошо снаряженные и оснащенные, вы устремляетесь прямо в сияющее небо, где нет ни бурь, ни непогод, где грешники оставляют тревоги, где усталые обретают покой.— Снова прошелся по кафедре.— Вот куда вы направляетесь, друзья мои! Вот! Вот то место. Вот тот порт. Вот та гавань. Благословенная гавань,— воды там всегда спокойны, как бы ни менялся ветер, в прилив и в отлив; там уж ваше судно не разобьется о прибрежные скалы, не сорвется с якоря и не умчится в открытое море; там — покой, покой, покой, во всем покой! — Еще раз прошелся; похлопал по библии, засунутой под левую руку.— Что? Эти люди восходят от пустыни? Да. Они восходят от мрачной смрадной пустыни Порока, где урожай снимает лишь Смерть. Но на что же они опираются? Или они ни на что не опираются, эти бедные моряки? — Трижды ударил по библии.— Нет, конечно нет: они опираются на руку своей Возлюбленной...— Еще три удара.— На руку своей Возлюбленной...— Снова трижды ударил по библии и прошелся по кафедре.— Которая для всех них и лоцман, и компас, и путеводная звезда — вот что такое их Возлюбленная.— Еще три удара по библии.— Вот что она такое. С ней они смело могут выполнять свой долг моряка и сохранять душевное спокойствие в минуты величайших опасностей и бедствий.— Еще два удара по библии.— И они могут выйти, да, даже эти несчастные могут выбраться из пустыни, опираясь на руку своей Возлюбленной, и прямым путем пойти туда, туда — ввысь». Повторяя это слово, он с каждым разом все выше и выше поднимал руку и, наконец, вытянул ее над головой,— так он стоял и смотрел на своих слушателей странным, проникновенным взором, победоносно прижимая к груди библию; потом постепенно перешел к следующей части проповеди.

Я привел этот отрывок как образец скорее чудачеств проповедника, чем его заслуг, хотя и этого трудно было от него ожидать, принимая во внимание его вид и манеры, а также характер аудитории. Вполне возможно, однако, что столь благоприятное впечатление сложилось у меня и укрепилось по двум причинам: во-первых, он внушал своим слушателям, что истинная приверженность

религии вовсе не требует отрешения от удовольствий и точного выполнения тех обязанностей, какие налагает на них профессия; и во-вторых, советовал им не слишком рассчитывать на то, что у них будто бы есть монопольное право на рай и всепрощение. Никогда еще я не слышал столь разумных рассуждений на эти темы (если я вообще их когда-либо слышал) со стороны такого рода проповедников.

Поскольку все свое время в Бостоне я проводил, знакомясь с подобными вещами, намечая дальнейший маршрут своих странствий и постоянно общаясь с местными жителями, мне кажется, нет смысла затягивать эту главу. А о традициях местного общества, которых я пока не касался, поведаю в нескольких словах.

Обедают здесь, как правило, в два часа. Званые обеды устраивают в пять, а на вечерних приемах редко засиживаются за ужином позже одиннадцати, так что даже с раута трудно вернуться домой за полночь. Я не мог подметить никакой разницы между приемами в Бостоне и в Лондоне, если не считать того, что тут все светские собрания назначают на более разумные часы; беседа ведется, пожалуй, громче и оживленнее, а гостя обычно заставляют подняться в доме на самый верх, чтобы он снял пальто; за обедом непременно подают необычайное множество птицы, а за ужином — горячие вареные устрицы по крайней мере в двух огромных глубоких чашах, в каждой из которых можно было бы без труда утопить маленького герцога Кларенса *.

В Бостоне есть два театра, вполне приличных по размеру и архитектуре, но нуждающихся в покровительстве зрителей. Те немногие дамы, которые посещают их, по праву занимают места у барьера лож.

Есть тут и бар — большой зал с каменным полом, где люди целый вечер стоят, курят и то уходят, то приходят — смотря по настроению. Чужеземца здесь могут просветить по части смесей из джина, коктейля, сангари, тминной водки, херес-коблера и прочих редких напитков. Дом полон постояльцев, женатых и холостых; многие из них живут здесь и платят понедельно за стол и кров,— чем ближе к крыше они забираются, тем меньше с них берут за постой. Завтракают, обедают и ужинают здесь

все вместе, в очень красивой зале. За столом собирается от ста до двухсот человек, а то и больше. О наступлении каждой трапезы возвещает внушительный звон гонга, от которого сотрясаются все стекла в доме и вздрагивают нервные путешественники. В меню есть дежурное блюдо для дам и дежурное блюдо для мужчин.

Когда обед приносили к нам в комнату, никакие силы земные не могли помешать тому, чтобы в центре стола не красовалось большой хрустальной вазы с клюквой; а завтрак не был бы завтраком, если бы в качестве главного блюда не подавали этакого ублюдка-бифштекса с огромной костью посредине, плавающего в масле и посыпанного наичернейшим перцем. Спальня у нас была светлая и просторная, но (как все спальни по ту сторону Атлантики) почти без мебели и без занавесок — их не было ни у французской кровати, ни на окнах. Зато здесь стоял необычный предмет роскоши — гардероб из крашеного дерева чуть поменьше английской сторожевой будки, или, если это сравнение дает недостаточно точное представление о его размерах, могу сказать, что я провел четырнадцать дней и ночей в полной уверенности, что это душевая.

ГЛАВА IV

Американская железная дорога.— Лоуэлл и его фабрики

Прежде чем покинуть Бостон, я съездил на один день в Лоуэлл *. Я посвящаю этой поездке отдельную главу не потому, что намерен подробно на ней остановиться, а потому, что она занимает особое место в моих воспоминаниях, и я хочу, чтобы так же она была воспринята и моими читателями.

В связи с этой поездкой мне довелось впервые познакомиться с американскими железными дорогами. Поскольку они почти везде в Соединенных Штатах одинаковы, достаточно будет дать им общую характеристику.

Здесь нет, как у нас, вагонов первого и второго класса, а есть вагоны для мужчин и для дам, которые

отличаются друг от друга главным образом тем, что в первых все курят, а во вторых — никто. Поскольку чернокожие никогда не ездят с белыми, существует также вагон для негров, который представляет собой подобие этакого нелепого неуклюжего ящика,— вроде того, в каком Гулливер уплыл из королевства Бробдингнег. В целом — поезд очень тряский и очень шумный, со всех сторон закрытый и почти не имеющий окон, зато имеющий паровоз, гудок и звонок.

Вагоны похожи на обшарпанные омнибусы *, только побольше размером,— в них умещается человек тридцать, сорок, а то и пятьдесят. Скамьи для сиденья идут не вдоль вагона, а поперек. Каждая скамья рассчитана на двух пассажиров. Они тянутся вдоль стен двумя длинными рядами; посредине оставлен узкий проход, а по обоим концам проделано по двери. В центре вагона, как правило, имеется печурка, которую топят углем или антрацитом, и обычно она бывает докрасна раскалена. Духота стоит невыносимая,— горячий воздух колышется перед глазами, и на какой предмет ни взглянешь, кажется, что между ним и тобою стелется дым.

В дамском вагоне едет немало джентльменов, путешествующих с дамами. Но немало и дам, которые едут одни, ибо любая дама может спокойно проехать из конца в конец Соединенных Штатов, будучи уверена, что встретит везде самое галантное и внимательное отношение. Кондуктор, или билетер, или дежурный, или — словом, как бы его ни звали — не носит формы. Он прогуливается по вагону, выходит и снова входит, когда ему заблагорассудится; а то станет, прислонясь к косяку, и, засунув руки в карманы, смотрит на вас, если вы иностранец, или завяжет беседу с кем-нибудь из пассажиров, кто ему больше нравится. Все пассажиры извлекают великое множество газет, но лишь немногие читают их. Кто угодно может вступить с вами в беседу или с тем, кто ему больше по душе. Если вы англичанин, то вас спросят. правда ли, что эта дорога совсем. такая же, как в Англии. И если вы скажете «Нет», то вам скажут «Да?» (вопросительно) и спросят, чем же она отличается от английских. Вы перечислите отличия — одно за другим,— и после каждого вам скажут «Да?» (все так же вопро-



сительно). Затем ваш собеседник высказывает предположение, что в Англии не ездят так быстро, а когда вы говорите, что ездят, говорит снова «Да?» (все так же вопросительно), и ясно, что он этому не верит. После долгой паузы он замечает, обращаясь то ли к самому себе, то ли к рукоятке своей трости, что «янки * тоже считаются довольно передовым народом», на что уже *вы* говорите «Да», и тогда *он* снова говорит «Да» (на этот раз утвердительно); а стоит вам посмотреть в окно, как вы узнаете, что вон за той горой, милях в трех от ближайшей станции, есть оч-чень милый городок, расположенный в оч-чаровательной местности, куда, конечно, вы и направляетесь. Ваш отрицательный ответ, естественно, ведет к новым вопросам относительно того, куда вы держите путь (слово это непременно произносится на какой-то особый манер); и куда бы вы ни ехали, неизменно выясняется, что дорога туда и трудна и опасна, а все, что заслуживает внимания, находится совсем в другой стороне.

Если какой-то даме понравилось место, на котором сидит некий пассажир, сопровождающий ее джентльмен доводит это до его сведения, и пассажир учтиво пересаживается. Много говорят о политике, о банках, о хлопке. Люди тихого нрава избегают касаться особы президента, ибо через три с половиной года предстоят новые выборы и партийные страсти бушуют вовсю,— великое своеобразие этого института, зафиксированное конституцией, в том и заключается, что не успеет утихнуть буря, связанная с последними выборами, как возникает новая — в связи с выборами предстоящими, к великому удовольствию всех крупных политических деятелей и тех, кто по-настоящему любит свою страну, а таких девяносто девять из каждых девяносто девяти с четвертью мужчин и младенцев мужского пола.

За исключением тех участков пути, где от главной колеи отходит боковая ветка, дорога здесь, как правило, одноколейная и, следовательно, очень узкая, а горизонт, когда с обеих сторон поднимаются крутые откосы, никак нельзя назвать широким. Но и когда их нет, ландшафт тоже не слишком разнообразен. Миля за милей — покалеченные деревья, поваленные где топором, где ветром,

а где покачнувшиеся и упавшие на соседей, а то и просто коряги, до половины засосанные трясиной или рассыпающиеся трухой. Кажется, самая почва здесь сплошь состоит из перегноя; вся стоячая вода подернута пленкой зеленоватой плесени, а по обеим сторонам дороги сплошное запустение — сучья, стволы, пни на самых разных стадиях загнивания, распада, тления. Но вот вы на несколько минут вынырнули на открытое место, где ярко поблескивает озерцо или пруд пошире иной английской реки, но по здешним масштабам такой незначительный, что и названия не имеет; а вот в отдалении промелькнул городок с чистенькими белыми домиками и прохладными верандами, стройной протестантской церковью и зданием школы,— и вдруг — ж-ж-ж! — не успели вы глазом моргнуть, как зеленая стена снова подступила к самым окнам — поваленные деревья, пни, коряги, стоячая болотная вода,— все опять сначала, словно некая таинственная сила перенесла вас назад.

Поезд останавливается на станциях, затерянных среди леса, где едва ли кому-нибудь взбредет на ум сойти, как едва ли найдутся люди, которые вздумали бы тут сесть. Он мчится по дороге, изобилующей стрелками и стыками, а между тем на ней нет ни застав, ни полисменов, ни сигналов,— ничего, кроме деревянной арки, на которой написано: «Услышав звонок, берегись локомотива». И он несется все вперед,— то нырнет в лес, то снова выскочит на свет, протарахтит по хрупким аркадам, прогрохочет по твердой земле, пролетит под деревянным виадуком, который на миг, точно вдруг моргнувшее веко, перекрывает свет, разбудит задремавшее эхо на главной улице большого города и мчится дальше — стремглав, наугад, по самой середине пути. Мимо ремесленников, занятых своим трудом, мимо жителей, сидящих у дверей и окон домов, мимо мальчишек, запускающих змея и играющих в камушки, мимо посасывающих трубку мужчин, и болтающих женщин, и ползающих детей, и роющихся в мусоре свиней, и шарахающихся, пятящихся, не привыкших к шуму лошадей,— все дальше и дальше и дальше летит обезумевший дракон-паровоз, волоча за собой извивающийся хвост вагонов,— летит, разбрасывая во все стороны снопы искр от непрогоревших дров, пронзительно визжа, шипя, свистя

и пыхтя; но вот, наконец, томимое жаждой чудовище останавливается под навесом напиться, вокруг теснится народ, и вы можете перевести дух.

На вокзале в Лоуэлле меня встретил джентльмен, имеющий самое близкое касательство к управлению местными фабриками, и, с радостью препоручив себя его заботам, я немедля отправился с ним в ту часть города, где расположены заводы — цель моего посещения. Хотя Лоуэлл едва успел отметить свое совершеннолетие,— ибо, если меня не обманывает память, его фабрикам только что исполнился двадцать один год,— это процветающий промышленный город с немалым населением. Признаки его молодости, сразу заметные, придают ему несколько своеобразный и занятный характер в глазах пришельца из более древней страны. На дворе стояла зима, и было очень слякотно, но во всем городе мне показалась старой лишь грязь, в иных местах доходившая до колен и словно бы лежавшая здесь с той поры, как схлынули воды Потопа. Тут — новая деревянная церковь, еще не выкрашенная и без шпиля, похожая на огромный упаковочный ящик, на котором не успели написать адрес. Там — большая гостиница; стены и колонны у нее такие хрупкие, тонкие и воздушные, точно это карточный домик. Проходя мимо, я не преминул затаить дыхание, а когда увидел, что на крышу ее залез рабочий, затрясся от страха: казалось, стоит ему неосторожно топнуть, и все здание рухнет и рассыплется. Даже река, которая приводит в движение машины фабрик (ибо они все здесь работают на водяной энергии), и та словно помолодела от новеньких строений из красного кирпича и крашеного дерева, среди которых она держит свой путь, и журчит и подпрыгивает бездумно, беззаботно и весело, точно ручеек. Так и кажется, что все лавки — все эти булочные, бакалейные, переплетные мастерские — сегодня впервые сняли с окон ставни и только вчера открыли свои двери посетителям. У золотых пестиков и ступок, красующихся на тентах аптеки, такой вид, словно они только что отлиты на Монетном дворе Соединенных Штатов. А когда на углу одной из улиц я увидел женщину с недельным или десятидневным младенцем на руках, то невольно подивился, откуда же он взялся, ибо

мысль, что он мог родиться в столь юном городе, ни на минуту не пришла мне в голову.

В Лоуэлле несколько фабрик, и каждая принадлежит, по-нашему — компании, а по-американски — корпорации. Я побывал на нескольких из них — на шерстяной, на ковровой и на хлопчатобумажной; обошел каждую снизу доверху; и осмотрел их в обычном рабочем виде, без всякой подготовки к моему посещению и без каких-либо отступлений от обычного, заведенного порядка. Могу добавить, что я хорошо знаком с нашими английскими промышленными городами и так же, как здесь, посетил немало фабрик в Манчестере и в других местах.

На первую фабрику я попал сразу после обеденного перерыва: девушки как раз возвращались на свои рабочие места, и лестница, по которой я поднимался, была буквально запружена ими. Все они были хорошо одеты, но на мой взгляд — вполне по средствам: я вообще люблю, когда люди из бедных слоев общества следят за своей внешностью и платьем и даже, если им это нравится, украшают себя побрякушками, какие им по карману. Я, например, всегда поощрял бы у своих служащих,— при условии, конечно, чтобы это не выходило за пределы разумного,— такого рода гордость за свою внешность, ибо она составляет существенный элемент самоуважения, и не отказался бы от своих взглядов на том основании, что какая-то несчастная объясняет свое падение любовью к нарядам, равно как и не изменил бы своего мнения о подлинном смысле и назначении воскресного дня, сколько бы ни взывали к честным людям проповедники, предупреждая о грехопадении, подстерегающем их в этот день, на основании признаний столь малоосновательного авторитета, как убийца из Ньюгета *.

Все эти девушки, как я уже говорил, хорошо, а следовательно и чрезвычайно опрятно одеты: на них приличные шляпки, добротные теплые пальто и шали,— не без узоров и претензий. Более того: на фабрике есть место, где они могут безбоязненно оставлять свои вещи, и есть душевая, где они могут вымыться. У всех у них здоровый вид — иные прямо пышут здоровьем; держатся они и ведут себя, как молодые женщины, а не как отупевшие

животные, впряженные в ярмо. Если бы на одной из этих фабрик я увидел (но я такого не видел, хоть и очень внимательно искал) самое что ни на есть жеманное, сюсюкающее, слабоумное и нелепое юное существо, мне достаточно было бы вспомнить его прямую противоположность — неряшливую, хныкающую, развенчанную тупицу (а таких я видел), чтобы с удовольствием смотреть на ту, что была передо мной.

Помещение, где они работали, содержалось в таком же порядке, как и они сами. На некоторых окнах стояли горшки с зелеными ползучими растениями, затенявшими стекло; воздух был относительно свежий, и вообще кругом было настолько чисто и удобно, насколько это позволял характер их занятий. Вполне естественно предположить, что среди такого большого количества женщин, многие из которых только-только вышли из отрочества, должны быть особы и хрупкие и слабые,— и такие, естественно, были. Но я решительно заявляю, что из всей массы работниц, виденных мною на разных фабриках в этот день, не могу припомнить или выделить ни одного юного лица, которое произвело бы на меня тягостное впечатление,— ни одной девушки, которую, принимая во внимание, что она вынуждена трудом своих рук зарабатывать себе на хлеб, я пожалел бы и постарался бы избавить от работы, если бы имел к тому возможность.

Живут работницы в многочисленных общежитиях, расположенных поблизости. Владельцы фабрик тщательно следят за тем, чтобы содержали эти общежития люди, прошедшие самую строгую и внимательную проверку. Всякая жалоба со стороны жильцов или кого-либо еще досконально проверяется, и, если она оказывается обоснованной, провинившегося отстраняют и на его место назначают более достойного. На фабриках здесь работают и дети, но их немного. По законам штата им разрешается работать не более девяти месяцев в году, а остальные три месяца они должны учиться. Для этой цели в Лоуэлле имеются школы, а кроме того там есть церкви и разные молитвенные дома, так что молодые женщины могут следовать той вере, в которой они воспитаны.

В некотором отдалении от фабрик, на высоком, красивом месте стоит фабричная больница, или дом для

заболевших работниц,— это лучший дом во всей округе и выстроил его для себя лично один крупный коммерсант. Подобно тому бостонскому заведению, которое я описывал выше, больница эта разделена не на палаты, а на уютные комнаты, каждая из которых имеет все удобства, существующие в комфортабельном доме. Главный врач живет под одной крышей со своими пациентами, и, будь они членами его семьи, он не мог бы лучше о них заботиться или относиться к ним более мягко и внимательно. За неделю пребывания в больнице с пациентки взимают три доллара, то есть двенадцать шиллингов на английские деньги; но ни одной девушке, работающей на той или другой фабрике, не откажут в приеме, если ей нечем заплатить. Впрочем, работницы не часто оказываются в таком положении, что можно заключить хотя бы из того, что в июле 1841 года не менее девятисот семидесяти восьми девушек являлись вкладчицами лоуэлской сберегательной кассы, а общая сумма их вкладов исчислялась в сто тысяч долларов, то есть в двадцать тысяч фунтов стерлингов на английские деньги.

Теперь я хочу привести три факта, которые немало удивят читателей из определенного слоя общества по эту сторону Атлантического океана.

Во-первых, в большинстве общежитий есть пианино, купленное вскладчину. Во-вторых, почти все эти юные особы записаны в передвижную библиотеку. В-третьих, они создали периодический журнал под названием «Говорит Лоуэлл» — «Сборник оригинальных статей, написанных исключительно работницами, занятыми на фабриках»; журнал этот печатается и продается, как все журналы, и я привез из Лоуэлла добрых четыре сотни убористо набранных страниц этого издания, которые я прочел от начала и до конца.

Некоторые мои читатели, пораженные этими фактами, в один голос воскликнут: «Какая наглость!» А когда я почтительно спрошу их почему, они ответят: «Это не совместимо с их положением». Тогда я позволю себе поинтересоваться, что же это за положение.

А положение это определяется трудом. Они трудятся. Работают на фабриках, в среднем, по двенадцать часов в сутки, что иначе как трудом — и трудом довольно тяже-

лым — не назовешь. Быть может, и в самом деле подобные развлечения не совместимы с их общественным положением. Но можем ли мы, англичане, со всей уверенностью утверждать, что создали себе представление об «общественном положении» рабочего люда не на основании того, каким мы его привыкли видеть, а на основании того, каким оно должно быть? Мне кажется, проанализировав наши чувства, мы обнаружим, что пианино и передвижная библиотека и даже «Говорит Лоуэлл» смущают нас своей необычностью, а не тем, какое они имеют отношение к абстрактной проблеме добра и зла.

Я лично не знаю такого общественного положения, которое не позволяло бы считать подобные занятия — после радостно завершенного трудового дня и в радостном предвкушении дня предстоящего — облагораживающими и похвальными. Я не знаю такого общественного положения, которое становилось бы более сносным для человека, его занимающего, или более безопасным для человека стороннего, если оно сопряжено с невежеством. Я не знаю такого общественного положения, которое давало бы монополию на образование, совершенствование и разумные развлечения; или которое человек, попытавшийся эту монополию узурпировать, мог бы долгое время сохранить.

О литературных достоинствах журнала «Говорит Лоуэлл» могу лишь заметить, что он мог бы с успехом выдержать сравнение со многими английскими периодическими изданиями, хотя статьи в нем и написаны девушками после тяжелого трудового дня. Приятно, что многие рассказы посвящены фабрикам и тем, кто на них трудится; что статьи эти учат самоотречению и довольству жизнью, внедряют мудрое правило доброго отношения к людям. Со страниц журнала, словно струей животворного деревенского воздуха, веет любовью к красотам природы, к тишине, которую писательницы оставили у себя на родине; а в библиотеке вы едва ли найдете книги, где воспевалась бы красивая одежда, красивые браки, красивые дома или красивая жизнь, хотя, казалось бы, здесь-то и открывается благоприятная возможность для изучения таких предметов. Кое-кому может не понравиться, что некоторые статьи подписаны несколько претенциозными

именами, но таков уж американский обычай. В одном из округов штата Массачузетс законодательное собрание меняет некрасивые имена на красивые, если дети хотят подправить вкус отцов. Поскольку изменить имя стоит очень недорого или вообще ничего не стоит, десятки Мэри-Энн на каждой сессии торжественно превращаются в Бевелин.

Говорят, что во время посещения города генералом Джексоном или генералом Гаррисоном * (забыл которым, но не в этом суть) генерал этот целых три с половиной мили шел меж двойного ряда дам с зонтиками и в шелковых чулках. Но поскольку, как мне известно, самым страшным последствием этого было внезапное повышение спроса на зонтики и шелковые чулки и, возможно, банкротство какого-нибудь оборотистого обитателя Новой Англии, скупавшего их по любой цене в расчете на спрос, который так больше и не появился,— я не придаю этому событию особого значения.

В своем кратком рассказе о Лоуэлле я лишь в самой малой мере сумел передать то чувство удовлетворения, которое вызвал у меня этот город, ибо ни один иностранец, которого интересуют и волнуют условия жизни трудового народа у него на родине, не мог бы не почувствовать того же,— я старательно избегал проводить сравнение между тамошними фабриками и нашими. Многое из того, что годами оказывало серьезное влияние на жизнь наших промышленных городов, здесь и не возникало; к тому же, в Лоуэлле нет, так сказать, потомственных промышленных рабочих, ибо фабричные работницы (часто дочери мелких фермеров) приезжают сюда из других штатов, несколько лет поработают, а потом снова уезжают домой.

Однако проведи я такое сравнение, контраст получился бы разительный, ибо это было бы противопоставлением добра и зла, животворного света и глубокого мрака. Я воздержусь от сравнения,— мне кажется, так будет лучше. Но тем настойчивее я призываю тех, чей взор привлекут эти страницы, задержаться на них и подумать о разнице между описанным городом и теми огромными массивами, где гнездится отчаянная нужда; вспомнить, если они на это способны, в пылу перебранки и межпар-

тийной борьбы о тех усилиях, которые нужно сделать, чтобы избавить несчастных от страданий и опасности, а главное — и последнее — не забывать, как летит драгоценное время.

Вечером я возвращался обратно по той же железной дороге и в таком же вагоне. Один из пассажиров так старательно и пространно объяснял моему спутнику (не мне, конечно), почему именно англичане должны составлять путеводители по Америке, что я прикинулся спящим. Но всю дорогу я краешком глаза смотрел в окно, ибо зрелище, разворачивавшееся передо мной, способно было приковать все мое внимание: костры, незаметные при дневном свете, отчетливо выделялись сейчас в темноте, и мы ехали в вихре ярких искр, которые падали вокруг нас, крутясь, точно огненный снег.

ГЛАВА V

Вустер. — Река Коннектикут. — Хартфорд. — Из Нью-Хэйвена в Нью-Йорк

Распростившись с Бостоном в субботу, 5 февраля, мы отправились уже по другой железной дороге в Вустер, хорошенький городок в Новой Англии, где нам предстояло пробыть под гостеприимным кровом губернатора штата до понедельника.

Эти города и городки Новой Англии (в Старой Англии многие из них считались бы деревнями) так же приятны и типичны для сельской Америки, как их население — для сельских жителей Америки. Здесь не видно ни аккуратно подстриженных газонов, ни зеленых лугов нашей родины; трава по сравнению с нашими пастбищами и декоративными лужайками растет здесь буйно, неровно и дико, зато, куда ни глянь — глаз радуют живописные склоны, мягко вздымающиеся холмы, лесистые долины и крошечные ручейки. В каждом маленьком селении — своя церковь и своя школа, выглядывающие из-за белых крыш и тенистых деревьев; каждый дом — белее белого; каждая ставня — зеленее зеленого; в каждый погожий день небо голубее голубого. Когда мы высадились в

Вустере, резкий сухой ветер и легкий морозец так сковали дороги, что они покрылись твердой коркой, а колеи их уподобились гранитным грядам. И конечно, как и везде, все казалось совсем новым. Все строения выглядели так, словно их построили и покрасили только сегодня утром и без особого труда могут снести в понедельник. В свежем вечернем воздухе все очертания выделялись в сто раз резче, чем обычно. Чистенькие картонные колоннады обладали не большей перспективой, чем китайский мостик, нарисованный на чайной чашке, и казались столь же малопригодными в жизни. Бритвоподобные грани разбросанных в беспорядке коттеджей как будто разрезали самый ветер, когда он со свистом обрушивался на них и потом с еще более пронзительным плачем, стеная, мчался дальше. Взгляд словно пронизывал насквозь эти хрупкие деревянные жилища, за которыми во всем своем блеске садилось солнце, и было просто немыслимо хотя бы на минуту представить себе, что обитатель их может укрыться тут от постороннего глаза или сохранить какие-либо тайны от широкой публики. Если даже за незанавешенными окнами какого-нибудь дома вдали блестел яркий огонь, казалось, он только что зажжен и не приносит тепла; и вместо того чтобы пробудить в вас думы об уютной комнате, наполненной красноватым сумраком от плотных занавесей и озаренной улыбками людей, впервые увидевших свет у этого очага, зрелище это невольно вызывало представление об еще не просохшей известке и сырых стенах.

По крайней мере такие мысли владели мной в тот вечер. На следующее утро ярко светило солнце, и в воздухе раздавался серебристый звон церковных колоколов; ближняя улица пестрела праздничными нарядами степенно шагавших горожан, которые вдали, на ленте дороги, казались просто яркими точками; приятно было ощущать царившее во всем отрадное спокойствие воскресного дня. Было бы, конечно, неплохо, если б тут виднелась старая церквушка, и еще лучше — десяток-другой старых могил, но даже и без этого, после неугомонного океана и суетливого города целительный покой и тишина этих мест оказывали вдвойне благотворное действие на душу.

На следующее утро все так же, поездом, мы отправились в Спрингфилд. Оттуда до Хартфорда — места нашего назначения — всего двадцать пять миль, но в это время года дороги так плохи, что нам потребовалось бы на это путешествие, вероятно, часов десять — двенадцать. Однако, на наше счастье, зима стояла необычайно мягкая, и река Коннектикут была «открыта», иначе говоря, не замерзла. Капитан маленького пароходика собирался совершить в тот день свое первое плавание в сезоне (мне кажется, это было второе плавание в феврале на памяти человека) и ожидал лишь нас. Посему мы поднялись на борт, стараясь мешкать как можно меньше. Капитан оказался верен своему слову, и мы тотчас пустились в путь.

Судно, конечно, не зря называли «маленьким пароходиком». Я забыл спросить, но, думаю, мощность его машины равнялась примерно половине силы пони. Знаменитый карлик мистер Паап вполне мог бы прожить всю свою жизнь и благополучно скончаться в каюте этого пароходика, где были обыкновенные окна с фрамугами, как в жилых домах. Ярко-красные занавески на плохо натянутых шнурах закрывали нижние половинки окон, и это придавало каюте вид лилипутского трактира, который снесло наводнением или другим стихийным бедствием и который плывет теперь неведомо куда. Но даже и в этой комнатке имелось кресло-качалка. В Америке, куда ни зайди, всюду есть кресло-качалка.

Боюсь сказать, сколько футов уложилось бы на этом суденышке вдоль и поперек,— оно было такое коротенькое и узенькое, что термины «в длину» и «в ширину» были здесь просто неуместны. Скажу только, что мы все держались посередине палубы из опасения, как бы оно вдруг не перевернулось, и что машины лишь посредством какого-то удивительного способа уплотнения были втиснуты между палубой и килем,— в результате получился теплый сандвич примерно в три фута толщиной.

Весь день шел дождь; когда-то я думал, что такого дождя больше нигде не может быть, кроме как на севере и северо-западе Шотландии. Река была сплошь покрыта плывущими льдинами, которые непрестанно хрустели и трещали под нами; чтобы не наткнуться на самые большие глыбы, которые несло течением посредине реки, мы

держались ближе к берегу, где глубина не превышала нескольких дюймов. Тем не менее мы ловко продвигались вперед, и поскольку все были хорошо укутаны, бросали вызов погоде и наслаждались путешествием. Река Коннектикут — хорошая река, и я не сомневаюсь, что берега ее летом красивы,— во всяком случае, так мне сказала молодая леди в каюте, а она должна быть знатоком красоты, если обладание тем или иным качеством означает также и умение ценить его, ибо я никогда не видел более прекрасного создания.

После двух с половиной часов этого своеобразного путешествия (включая остановку в маленьком городке, где в нашу честь был дан салют из пушки гораздо больших размеров, чем труба нашего пароходика) мы добрались до Хартфорда и прямехонько направились в чрезвычайно комфортабельный отель,— спальни там, правда, были, по обыкновению, неудобные и как везде, где нам пришлось побывать, чрезвычайно располагали к раннему вставанию.

Мы задержались здесь на целых четыре дня. Городок красиво расположен в лощине, окруженной зелеными холмами; земля здесь щедрая, обильно поросшая лесами и заботливо обрабатываемая. В Хартфорде заседает законодательная власть штата Коннектикут; этот мудрый орган в давние времена принял пресловутый кодекс, именуемый «Голубые законы»; среди прочих разумных постановлений коего имелось и такое, по которому каждого гражданина, буде доказано, что он в воскресенье поцеловал свою жену, надлежит в наказание посадить в колодки. В этих краях еще и поныне силен дух старого пуританства, но я что-то не замечал, чтобы под его влиянием люди меньше соблюдали свою выгоду или честней вели свои дела. Поскольку мне неизвестно о такого рода воздействии пуританского духа где-либо в другом месте, я прихожу к выводу, что этого никогда не будет и здесь. А что касается благочестивых речей и строгих лиц, то должен сказать, что я привык судить о товарах потустороннего мира точно так же, как о тех, которыми торгуют на земле, и всякий раз, когда я вижу, что торговец слишком много выставил на витрине, я беру под сомнение качество того, что можно найти в лавке.

В Хартфорде находится знаменитый дуб, в котором была спрятана хартия короля Карла *. Ныне он стоит за забором, в саду, принадлежащем одному джентльмену. Сама же хартия хранится в палате штата. Суды здесь точно такие же, как и в Бостоне, и общественные заведения почти так же хороши. Превосходно поставлено дело в приюте для умалишенных, равно как и в институте глухонемых.

Проходя по приюту для умалишенных, я неоднократно задавался вопросом, сумел ли бы я отличить надзирателей от пациентов, если бы первые не обменивались с врачом краткими замечаниями о состоящих под их наблюдением больных. Конечно, это касается лишь их внешнего вида, так как речи безумных были достаточно безумны.

Была там одна маленькая чопорная старушка, беспрестанно улыбающаяся и приветливая, которая как-то бочком просеменила к нам с другого конца длинного коридора и, присев передо мною с таким видом, будто оказывала мне величайшую милость, задала такой необъяснимый вопрос:

— Скажите, сэр, что, Понтефракт все еще процветает на земле английской?

— Да, сударыня,— ответил я.

— Когда вы в последний раз с ним виделись, сэр, он был...

— В прекрасном состоянии, сударыня,— сказал я,— в превосходном состоянии. Он просил меня передать вам привет. Выглядел он как нельзя лучше.

Эти слова чрезвычайно обрадовали старушку. С минуту посмотрев на меня, как бы для того, чтобы вполне удостовериться в серьезности моего почтительного к ней отношения, она все так же бочком сделала несколько шажков назад; затем снова скользнула вперед, внезапно подпрыгнула (при этом я поспешно отступил шага на два) и сказала:

— Я — ископаемое, сэр.

Я счел самым подходящим сказать, что подозревал это с самого начала. А посему так и сказал.

— Я очень рада и горда, сэр, что принадлежу к числу ископаемых,— заявила старая дама.

— Еще бы, сударыня,— ответил я.

Старая дама послала мне воздушный поцелуй, снова подпрыгнула, самодовольно улыбнулась и, все той же необычной походкой засеменив прочь по коридору, грациозно нырнула в свою спальню.

В другой части здания в одной из комнат мы увидели пациента, лежавшего на кровати; он был весьма взбудоражен и разгорячен.

— Ну-с! — сказал он, вскакивая и срывая с головы ночной колпак.— Наконец все устроено. Я обо всем договорился с королевой Викторией.

— Договорились о чем? — спросил врач.

— Ну, об этом деле,— сказал он, устало проводя рукой по лбу,— об осаде Нью-Йорка.

— Ах, вот оно что! — сказал я, словно внезапно поняв, о чем идет речь, так как он смотрел на меня, ожидая ответа.

— Да. Английские войска откроют огонь по каждому дому, на котором не будет условного знака. Домам, имеющим такой знак, не будет причинено никакого вреда. Абсолютно никакого. Те, кто хочет быть в безопасности, должны вывесить флаги. Это все, что от них требуется. Они должны вывесить флаги.

Мне казалось, что, говоря так, он смутно сознавал, что речь его бессвязна. Как только он произнес эти слова, он лег, издал что-то похожее на стон и накрыл свою разгоряченную голову одеялом.

Был там и другой — молодой человек, который помешался на любви к музыке. Сыграв на аккордеоне марш собственного сочинения, он вдруг захотел, чтобы я непременно зашел к нему в комнату, что я немедленно и сделал.

Притворившись, будто я прекрасно все понимаю, и подлаживаясь под его настроение, я подошел к окну, за которым открывался чудесный вид, и ввернул с такой ловкостью, что сам возгордился:

— Великолепные тут места вокруг вашего дома!

— Н-да! — сказал он, небрежно проводя пальцами по клавиатуре своего инструмента.— *Для такого учреждения, как это,— здесь недурно!*

Думаю, что никогда в жизни я не был так ошеломлен.

— Я здесь просто потому, что так мне захотелось,— сказал он холодно.— Только и всего.

— Ах, только и всего? — сказал я.

— Да, только и всего. Доктор славный человек. Он в курсе дела. Это шутка с моей стороны. Я подчас люблю пошутить. Никому об этом не рассказывайте, но я думаю во вторник выйти отсюда!

Я заверил его, что считаю наш разговор сугубо конфиденциальным, и вернулся к врачу. На обратном пути, когда мы проходили по одному из коридоров, к нам подошла хорошо одетая дама со спокойными и сдержанными манерами и, протянув листок бумаги и перо, попросила, чтобы я не отказал в любезности дать ей автограф. Я выполнил ее просьбу, и мы расстались.

— Помнится, у меня уже было несколько подобных встреч с дамами на улице. Надеюсь, *эта* не сумасшедшая?

— Нет, сумасшедшая.

— А на чем она помешана? На автографах?

— Нет. Ей слышатся голоса.

«Мда,— подумал я,— неплохо было бы запрятать в сумасшедший дом несколько современных лжепророков, которые якобы тоже слышат всякие голоса; и я бы с радостью для начала проделал такой опыт с двумя-тремя мормонами» *.

В этом городке — лучший в мире дом предварительного заключения. Здесь же находится и тюрьма штата, в которой царит превосходный порядок и которая устроена по такому же плану, как и тюрьма в Бостоне — с одним лишь отличием: на стене ее всегда стоит часовой с заряженным ружьем. В то время в ней содержалось около двухсот заключенных. Мне показали место в караульной, где несколько лет тому назад глухой ночью один из заключенных, сумевший вырваться из камеры, убил часового в отчаянной попытке спастись. Показали мне также женщину, которая уже шестнадцать лет сидит в одиночном заключении за убийство мужа.

— Вы думаете,— спросил я своего провожатого,— что после такого длительного заключения у нее еще осталась хоть мысль или надежда когда-нибудь вновь обрести свободу?

— Боже мой, конечно! — ответил он.— Несомненно.

— Но на самом деле это, вероятно, невозможно?

— Ну, не знаю. (Кстати сказать, типично американский ответ!) Ее друзья не доверяют ей.

— А причем тут *они?* — задал я естественный вопрос.

— Ну, они не подают прошения.

— Но если бы они и подали, я полагаю, им все равно не удалось бы вызволить ее?

— Ну, может быть, не с первого раза и не со второго, но если несколько лет бить в одну точку,— то, может, и получилось бы.

— Это когда-нибудь удается?

— Да, бывает, что удается. Влиятельные друзья устраивают это иногда. Так или иначе, а это частенько случается.

Я всегда с удовольствием и благодарностью буду вспоминать Хартфорд. Это чудесное место, и я подружился там со многими людьми, к которым навсегда сохраню самые теплые чувства. С немалым сожалением мы покинули его в пятницу, одиннадцатого числа, и провели вечер в поезде, мчавшем нас в Нью-Хэйвен. По пути мне официально представили нашего кондуктора (как всегда в подобных случаях), и мы поговорили с ним о том о сем. Проведя три часа в пути, мы около восьми вечера прибыли в Нью-Хэйвен и остановились на ночь в лучшей гостинице.

Нью-Хэйвен, известный также под названием Город Вязов,— прекрасный город. Многие улицы в нем (как подчеркивает его второе название) обсажены рядами величественных старых вязов, и эти же красавцы окружают Йельский университет *, солидное и прославленное учебное заведение. Различные его факультеты расположены среди парка, или общественного сада, находящегося в центре города, и здания едва видны из-за тенистых деревьев. В общем, это напоминает двор при каком-нибудь старом соборе в Англии; когда все листья на деревьях распустятся, здесь, должно быть, очень живописно. Даже в зимнее время эти купы высоких деревьев, сгрудившихся среди шумных улиц и домов процветающего города, выглядят как нельзя более странно: причудливо; в них

словно примиряются сельское и городское, как будто город и деревня двинулись навстречу друг другу и, сойдясь на полпути, обменялись рукопожатием,— впечатление создается и своеобразное и приятное.

Проведя здесь ночь, мы встали рано и заблаговременно спустились к пристани, где сели на пакетбот «Нью-Йорк», направлявшийся в Нью-Йорк. Это был первый американский пароход сколько-нибудь значительных размеров, который я видел, и, конечно, глазу англичанина он показался похожим не на пароход, а скорее на огромную плавучую ванну. Поистине, мне трудно было отделаться от впечатления, что купальня у Вестминстерского моста, которую я знал совсем крошкой, вдруг разрослась до исполинских размеров, убежала с родной земли и обосновалась на чужбине в качестве парохода. Что она попала именно в Америку, казалось вполне понятным, так как эта страна пользуется особым расположением английских бродяг.

Внешне здешние пакетботы отличаются от наших прежде всего тем, что больше выступают из воды; главная палуба огорожена со всех сторон и завалена бочонками и припасами, точно это второй или третий этаж пакгауза; над нею находится прогулочная или верхняя палуба. Часть машин всегда возвышается над этой палубой; видно, как в прочной и высокой раме работает шатун, похожий на железного пильщика. Ни мачт, ни талей обычно нет — торчат только две высокие черные трубы. Рулевой упрятан в маленькую будку в носовой части корабля (штурвал соединен с рулем при помощи железных цепей, тянущихся вдоль всей палубы), а пассажиры, за исключением тех дней, когда погода уж очень хороша, обычно сидят внизу. Как только пристань осталась позади, вся жизнь, всякий шум и суета на пакетботе замирают. Долгое время вы удивляетесь, как это он движется: впечатление такое, что никто не управляет им; а когда, разбрызгивая воду, мимо проплывает другая такая же несуразная махина, вы искренне возмущаетесь этим мрачным, неповоротливым, неграциозным левиафаном *, похожим на что угодно, только не на корабль, совершенно забывая, что судно, на борту которого вы находитесь,— вылитый его двойник.

На нижней палубе обычно расположены контора, где вы платите за проезд, дамская каюта, кладовые, помещение для хранения багажа и машинное отделение, словом, великое множество всяких уголков и закоулков, которые весьма затрудняют поиски мужской каюты. Часто (так и в данном случае) она тянется во всю длину судна, а по обеим ее сторонам в три или четыре яруса устроены койки. Когда я впервые спустился в каюту «Нью-Йорка», моему неискушенному глазу она показалась почти такой же длинной, как Берлингтонская аркада *.

Путешествие через Саунд, который приходится пересекать, следуя такому маршруту, не всегда безопасно или приятно: здесь не раз бывали несчастные случаи. Утро было сырое и очень туманное, и мы вскоре потеряли землю из виду. Однако день выдался спокойный, и к полудню небо прояснилось. Опустошив (при усердной помощи одного приятеля) погребец и уничтожив запасы пива в бутылках, я улегся спать, сильно утомленный переживаниями минувшего дня. Но проснулся я как раз вовремя, чтобы увидеть с палубы Врата Ада, Кабанью Спину и Шипящую Сковородку, а также прочие достопримечательные места, имеющие притягательную силу для всех, кто читал знаменитую «Историю Дидриха Никкербокера»*. Теперь мы плыли узким каналом, по обе стороны которого тянулись пологие берега, усеянные хорошенькими виллами, где зелень травы и деревьев радовала глаз. Вскоре быстрой чередой пронеслись мимо нас маяк, дом для умалишенных (и как же сумасшедшие бросали в воздух свои колпаки, как ревели, вторя рокоту нашей машины и шуму попутной волны!), тюрьма и другие здания; и, наконец, мы очутились в прославленном заливе, воды которого сверкали в лучах солнца, словно очи природы, обращенные к небесам.

Справа перед нами тянулись беспорядочные нагромождения зданий; то тут, то там вставали остроконечные башенки или шпили, смотревшие сверху на толпившийся внизу сброд; и то тут, то там ленивое облачко дыма, а на переднем плане — лес мачт и суда с весело хлопающими на ветру парусами и развевающимися флагами. Лавируя среди них, через залив к противоположному берегу направлялись паромы, груженные людьми, дили-

жансами, лошадьми, повозками, корзинами, ящиками; их путь то и дело пересекали другие паромы, и все без передышки сновали взад и вперед. Среди этих неугомонных букашек важно возвышались два-три больших корабля, передвигавшихся медленно и величаво, словно существа высшей породы, которые презирают их жалкие маршруты и стремятся в открытое море. За ними виднелись сверкающие вершины гор и острова на реке, блестевшей в лучах солнца, и даль, едва ли менее глубокая и яркая, чем небо, с которым она словно сливалась. Шум и гам большого города, лязг лебедок, дребезжание звонков, лай собак, стук колес — все это отдавалось гулом в настороженном ухе. И эта жизнь и суета, проносясь над волнующейся водой, обретали новую силу от соприкосновения со свободной стихией и, заражаясь ее кипучей энергией, скользили, как бы забавляясь, по поверхности залива, обступали пароход, высоко взметая воду у его бортов, и любезно сопровождали его в док, а через минуту уже летели навстречу другим пришельцам и неслись впереди них к оживленному порту.

ГЛАВА VI

Нью-Йорк

Прекрасное сердце Америки — далеко не такой чистенький город, как Бостон, но многие его улицы отличаются теми же характерными особенностями; только краска на домах чуть менее свежая, вывески чуть менее кричащие, золотые буквы чуть менее золотые, кирпич чуть менее красный, камень чуть менее белый, ставни и ограды чуть менее зеленые, ручки и дощечки на дверях чуть менее начищенные и блестящие. Здесь множество переулков, почти столь же бедных чистыми тонами красок и столь же изобилующих грязными, как и переулки Лондона; здесь есть также один квартал, известный под названием Файв-Пойнтс *, который по грязи и убо-

жеству ничуть не уступает Сэвен-Дайелсу * или любой другой части знаменитого района Сент-Джайлс *.

Многим известно, что большой проспект, служащий местом для прогулок, называется Бродвеем: * это широкая и шумная улица, которая тянется мили на четыре от Бэттери-Гарденс и до противоположного конца города, где она переходит в проселочную дорогу. Не присесть ли нам на верхнем этаже отеля «Карлтон» (расположенного в лучшей части этой главной нью-йоркской артерии), а когда надоест смотреть на жизнь, кишащую внизу, не выйти ли рука об руку на улицу и не смешаться ли с людским потоком?

Тепло! Солнечные лучи, проникая сквозь открытое окошко, припекают голову, как будто их направляют на нас сквозь зажигательное стекло; день в самом разгаре, и погода для этого времени года стоит удивительная. Есть ли в мире еще такая солнечная улица, как Бродвей? Каменные плиты тротуаров отполированы до блеска бесчисленным множеством ног; красные кирпичи домов выглядят так, словно они все еще находятся в раскаленных печах, а при взгляде на крыши омнибусов кажется: пролей на них воду, и от них столбом пойдет пар и дым и запахнет горелым. Омнибусам здесь нет числа! Не менее шести проехало мимо за такое же количество минут. И масса наемных кэбов и колясок: двуколки, фаэтоны, тильбюри на огромных колесах и собственные выезды — довольно неуклюжие и мало чем отличающиеся от омнибусов; они рассчитаны на плохие дороги, начинающиеся там, где кончаются городские мостовые. Кучера — негры и белые; в соломенных шляпах, черных шляпах, белых шляпах, в лакированных фуражках, в меховых шапках; в куртках бурого, черного, коричневого, зеленого, синего цвета, нанковых, холщовых или из полосатой бумазеи; а вот — единственный в своем роде (смотрите, пока он не проехал, а то будет поздно) — экипаж со слугами в ливреях. Это какой-то республиканец с Юга, который нарядил своих негров в ливрею и, преисполненный сознания собственного великолепия и могущества, надулся, точно какой-нибудь султан. А там, подальше, где остановился фаэтон, запряженный парой серых лошадей с аккуратно подстриженными хвостами и

гривами, стоит грум из Йоркшира, совсем недавно прибывший в эти места. Он с грустью осматривается вокруг, ища кого-нибудь в таких же, как у него, высоких сапогах с отворотами, и, возможно, ему с полгода придется ездить по городу, так и не увидев такого. Но дамы — бог мой, как они разодеты! За десять минут мы видели столько всевозможных расцветок, сколько в другом месте за десять дней не увидишь. Какие разнообразнейшие зонтики! Какие радужные шелка и атласы! Какие розовые тонкие чулки и узкие остроносые туфли; как развеваются ленты и шелковые кисти и что за выставка роскошных накидок с пестрыми капюшонами и на яркой подкладке! Молодые люди, как видно, любят носить отложные воротнички, заботливо холят бакенбарды и еще заботливей — бородку, но и по одежде и по манерам им далеко до дам, ибо, по правде говоря, они принадлежат к совсем особой разновидности рода человеческого. Проходите мимо, байроны конторки и прилавка, дайте взглянуть, что это за люди шагают позади вас,— те двое тружеников в праздничной одежде: один из них держит в руке измятый клочок бумаги и старается прочесть на нем трудное имя, а другой смотрит по сторонам, отыскивая это имя на всех дверях и окнах.

Оба — ирландцы. Это можно было бы распознать даже, если б они были в масках, по их длиннополым синим сюртукам с блестящими пуговицами, а также по брюкам бурого цвета, которые они носят, как люди, привыкшие к рабочей одежде и чувствующие себя неловко во всякой другой. Трудно было бы вам наладить жизнь в ваших образцовых республиках без соплеменников и соплемениц этих двух тружеников. Ведь кто в таком случае стал бы копать землю, и выполнять черную домашнюю работу, и прорывать каналы, и прокладывать дороги, и осуществлять великие замыслы по благоустройству страны? Оба — ирландцы, и оба крайне озадачены, не зная, как найти то, что они ищут. Подойдем и поможем им из любви к родине, из уважения к духу свободы, который учит нас ценить честные услуги, оказываемые честным людям, и честный труд ради честного куска хлеба, каким бы этот труд ни был.

Прекрасно! Наконец-то мы разобрали адрес, хотя он и написан действительно странными буквами, словно нацарапан тупой рукояткой лопаты, пользоваться которой человеку, писавшему эту записку, привычнее, чем пером. Значит, вот куда лежит их путь, но что за дела заставляют их идти туда? Они несут свои сбережения... В банк? Нет. Они — братья. Один из них пересек океан и за полгода тяжелого труда и еще более тяжелой жизни сумел скопить достаточно денег, чтобы вызвать к себе и другого. Потом они работали вместе бок о бок еще полгода, безропотно деля тяжелый труд и тяжелую жизнь, чтобы дать возможность приехать и сестрам, а затем третьему брату и, наконец, старушке матери. А что теперь? Да вот бедная старушка не может найти покоя в чужих краях и хочет, говорит она, сложить свои косточки рядом с родными на старом кладбище, у себя дома,— так вот они идут купить ей билет на обратную дорогу; и да поможет бог ей, и им,— каждому, кто в простоте души спешит в Иерусалим своей юности и разжигает священный огонь в остывшем очаге отчего дома.

Этот узкий проспект, обожженный до пузырей палящим солнцем,— Уолл-стрит: биржа и Ломберд-стрит Нью-Йорка *. Много богатств с головокружительной быстротой возникло на этой улице, и много было на ней не менее головокружительных банкротств. Иным из тех самых торговцев, что околачиваются здесь сейчас, случалось, подобно богачу из «Тысячи и одной ночи», запереть в сейфе деньги, а открыв его, обнаружить одни сухие листья. Внизу, у набережной, где бугшприты кораблей протягиваются над тротуарами и чуть не влезают в окна, стоят на якоре прекрасные американские корабли, благодаря которым американское пароходство считается лучшим в мире. Они привезли сюда иностранцев, которыми кишат все улицы; возможно, их здесь не больше, чем в других торговых городах, но повсюду у них есть свои излюбленные прибежища, и их не так-то легко обнаружить, а здесь они заполонили весь город.

Мы снова должны пересечь Бродвей; нам становится словно немного прохладнее при виде больших глыб чистого льда, которые везут в магазины и бары, а также

ананасов и арбузов, в изобилии выставленных на витринах. Смотрите-ка, какие здесь прекрасные улицы и просторные дома! Уолл-стрит пышно обставляла и потом опустошала многие из них. Дальше — большой зеленый тенистый сквер. А вот это наверняка гостеприимный дом, и вы всегда тепло будете вспоминать его обитателей: дверь открыта, и вы видите целую выставку растений внутри, а ребенок со смеющимися глазами смотрит из окна на маленькую собачку внизу. Вас удивляет, зачем тут, в переулке, этот высокий флагшток, на верхушке которого красуется нечто вроде головного убора статуи Свободы,— меня тоже. Но здесь у всех какая-то страсть к высоким флагштокам, и, если угодно, вы через пять минут можете увидеть его двойник.

Снова через Бродвей, и, покинув пеструю толпу и сверкающие витрины магазинов, мы вступаем на другой длинный проспект — Бауэри *. А вон, дальше, видите,— железная дорога: по ней рысцой бегут две рослые лошади, везущие без особого труда два-три десятка людей да еще большой деревянный ковчег в придачу. Магазины здесь победней, прохожие не такие веселые. Тут покупают готовое платье и готовую еду, а бурный водоворот экипажей сменяется глухим грохотом тележек и повозок. В изобилии встречаются вывески, похожие на речные буйки или маленькие воздушные шарики, привязанные веревками к шестам и раскачивающиеся из стороны в сторону,— взгляните: они обещают вам «Устрицы во всех видах». Они соблазняют голодных, особенно вечером, когда тусклое мерцание свечей освещает изнутри эти напоминающие о яствах слова, и при виде их бродяга, остановившийся прочитать надпись, глотает слюнки.

Что это за мрачный фасад — громада в псевдоегипетском стиле, похожая на дворец колдуна из мелодрамы? — Знаменитая тюрьма, именуемая «Гробницей». Зайдем?

Зашли. Длинное, узкое, очень высокое здание с неизменными железными печками; внутри по кругу идут галереи в четыре яруса, сообщающиеся при помощи лестниц. Посредине, чтобы удобнее было переходить с одной стороны на другую, от галереи к галерее перекинут мостик. На каждом мостике сидит человек и дремлет, или читает, или болтает с праздным собеседником.

На каждом ярусе — друг против друга — двумя рядами тянутся маленькие железные двери. Они похожи на дверцы печей, только холодные и черные, словно огонь в печах погас. Две или три из них открыты, и какие-то женщины, склонив головы, разговаривают с обитателями камер. Свет падает сверху через окно в потолке, впрочем наглухо закрытое, так что два полотнища, заменяющие вентилятор и прикрепленные к нему, праздно висят, как два поникших паруса.

Появляется человек с ключами: он должен показать нам тюрьму. Малый приятной наружности и по-своему вежливый и предупредительный.

— Эти черные дверцы ведут в камеры?

— Да.

— Все камеры заполнены?

— А как же: полным-полнешеньки.

— Те, что внизу, несомненно вредны для здоровья?

— Да нет, мы сажаем туда только цветных. Чистая правда.

— Когда заключенных выводят на прогулку?

— Ну, они и без этого недурно обходятся.

— Разве они никогда не гуляют по двору?

— Прямо скажем,— редко.

— Но бывает, я думаю?

— Ну, не часто. Им и без того весело.

— Но предположим, человек проводит здесь целый год. Я знаю, что это тюрьма лишь для преступников, обвиняемых в тяжких преступлениях, и они сидят здесь, пока находятся под следствием или же в ожидании суда, но здешние законы дают преступникам много возможностей для всяческих проволóчек. Если, например, подано заявление о пересмотре дела, или об отсрочке приговора, или еще что-нибудь подобное, заключенный, насколько я понимаю, может пробыть здесь целый год, не так ли?

— Пожалуй, что и так.

— И вы хотите сказать, что за все это время он ни разу не выйдет из этой маленькой железной дверцы, чтобы поразмяться?

— Может, и погуляет — самую малость.

— Не откроете ли одну из дверей?

— Хоть все, если желаете.

Засовы громыхают и скрежещут, и одна из дверей медленно поворачивается на петлях. Заглянем внутрь. Маленькая голая камера, свет проникает в нее сквозь узкое оконце под самым потолком. В камере имеются примитивные приспособления для умывания, стол и койка. На койке сидит человек лет шестидесяти и читает. На мгновение он поднимает глаза, нетерпеливо передергивает плечами и снова устремляет взгляд в книгу. Мы делаем шаг назад,— дверь тотчас захлопывается, и засовы задвигаются. Этот человек убил свою жену, и его, вероятно, повесят.

— Давно он здесь?

— Месяц.

— Когда его будут судить?

— В будущую сессию.

— То есть когда же это?

— В будущем месяце.

— В Англии даже человеку, приговоренному к смертной казни, ежедневно дают возможность подышать воздухом и поразмяться в установленный час.

— Вот как?

С каким изумительным, непередаваемым хладнокровием произносит он эти слова и как неторопливо ведет нас на женскую половину тюрьмы, постукивая на ходу ключом по перилам лестниц, точно щелкая железными кастаньетами!

На этой половине в дверях камер прорезаны квадратные глазки. Некоторые женщины при звуке шагов испуганно выглядывают оттуда, другие, застыдясь, отступают в глубь камер. За какое злодеяние держат здесь этого одинокого ребенка лет десяти — двенадцати? А, этого мальчишку? Это сын заключенного, которого мы только что видели; он должен выступить свидетелем против собственного отца, а сюда его посадили, чтобы он никуда не делся до суда,— вот и все.

Но ведь это ужасное место, и нельзя же обрекать ребенка проводить здесь долгие дни и ночи. Не слишком ли суровое обращение с юным свидетелем? Что же говорит на это наш проводник?

— Да, уж тут не разгуляешься, это точно!

Снова он пощелкивает своими металлическими

кастаньетами и, не торопясь, ведет нас дальше. По пути у меня возникает вопрос.

— Скажите, пожалуйста, почему это место называют «Гробницей»?

— Да уж так окрестили — на воровском языке.

— Я знаю. Но почему?

— Тут было несколько самоубийств, когда тюрьму только построили. Пожалуй, отсюда и пошло.

— Я заметил, что вся одежда человека, сидящего вон в той камере, разбросана по полу. Разве вы не требуете от заключенных, чтобы они были аккуратны и прибирали свои вещи?

— А куда они их приберут?

— Не на пол же, конечно. Ну, вешали бы их на гвоздь.

Он останавливается и, для придания большего веса своим словам, бросает взгляд вокруг.

— Ну, конечно, только этого еще не хватало. Когда у них были гвозди, они то и дело сами вешались; поэтому гвозди и убрали изо всех камер, и теперь от них остались одни лишь следы в стенах!

На тюремном дворе, где мы теперь задерживаемся, разыгрываются подчас ужасные сцены. В этот узкий, как колодец, двор, похожий на могилу, выводят людей умирать. Несчастный стоит под виселицей на земле; на шею его накинута петля; по сигналу падает груз с другой стороны виселицы и вздергивает человека в воздух, превращая в труп.

Закон требует, чтобы при этом тягостном зрелище присутствовал судья, присяжные и еще двадцать пять граждан. От глаз общества оно скрыто. Для людей распущенных и дурных ужасы казни остаются страшной тайной. Между преступником и ими, подобной плотной мрачной завесе, стоит тюремная стена. Это полог, скрывающий смертное ложе преступника, это его саван и его могила. А от него самого она заслоняет жизнь и устраняет все, что в этот последний час могло бы побудить его к упорству и нежеланию раскаяться,— одного ее вида и наличия бывает порой достаточно, чтобы сделать его бесчувственным ко всему. Тут нет дерзких глаз, которые придали бы ему дерзости, и нет головорезов,

которые поддержали бы «славу его имени». Все, что находится за этой безжалостной каменной стеной, тонет в неизвестности.

Давайте снова пойдем по веселым улицам.

Опять Бродвей! Те же дамы, одетые в яркие цвета, прогуливаются взад и вперед, парами и в одиночку, а чуть подальше — тот самый голубой зонтик, который раз двадцать проплыл мимо окон отеля, пока мы там сидели. Вот тут мы перейдем улицу. Осторожно — свиньи! Вон за экипажем бегут рысцой две дородные хавроньи, а избранная компания — с полдюжины хряков — только что завернула за угол.

А вот одинокий боров лениво бредет восвояси. У него только одно ухо,— другое он оставил в зубах у бездомных собак во время своих странствий по городу. Но он великолепно обходится и без него и ведет беспутную, рассеянную, светскую жизнь, в известной мере сходную с жизнью клубменов у нас на родине. Каждое утро в определенный час он покидает свое жилище, отправляется в город, проводит день в полное свое удовольствие и вечером снова неизменно появляется у двери собственного дома, подобно таинственному хозяину Жиля Блаза. Этот боров — из числа легкомысленных, беззаботных и равнодушных свиней; у него много знакомых одного с ним нрава,— знакомых, впрочем, скорее шапочных, поскольку он редко затрудняет свою особу остановками и обменом любезностями, а обычно бредет, похрюкивая, вдоль водосточной канавы, подбирая городские новости и сплетни в виде кочерыжек и потрохов и рассказывая лишь то, чему был свидетелем его собственный хвост,— кстати сказать, весьма короткий, ибо и он побывал в зубах давних врагов нашего борова — собак, которые оставили от бедного хвостика чуть побольше воспоминания. Этот боров — республиканец до мозга костей; он бывает всюду, где ему заблагорассудится, и, вращаясь в лучшем обществе, держится со всеми на равной ноге, а пожалуй, что и с чувством превосходства,— ведь при его появлении все расступаются и самые высокомерные по первому требованию уступают ему тротуар. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме упомянутых выше собак. Правда, иногда вы можете заметить, как его

маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей вход в лавку мясника; «Такова жизнь: всякая плоть — свинина»,— ворчит он, снова зарывается пятачком в грязь и бредет вперевалку вдоль канавы, утешая себя мыслью, что теперь, во всяком случае, среди охотников за кочерыжками стало одним рылом меньше.

Они — городские мусорщики, эти свиньи. Ну и безобразная же, надо сказать, скотина: по большей части у них костлявые бурые спины, похожие на крышки старых сундуков, из обивки которых торчит конский волос, и сплошь покрытые какими-то весьма неаппетитными черными пятнами. Ноги у них длинные, тощие, а рыла такие острые, что, если бы уговорить одну из них позировать в профиль, никто не признал бы в ней сходства со свиньей. О них никто никогда не заботится, не кормит их, не загоняет и не ловит; с раннего детства они предоставлены самим себе, что развивает в них необыкновенную сообразительность. Каждая свинья отыскивает свое жилье куда лучше, чем если бы ей кто-либо его указывал. В этот час, перед наступлением тьмы, можно видеть, как они десятками бредут на покой, всю дорогу, до самой последней минуты, не переставая жрать. Иногда какой-нибудь объевшийся или затравленный собаками юнец понуро трусит домой, точно блудный сын; но это редкое исключение: их отличительные черты — полнейшее самообладание, самоуверенность и непоколебимое спокойствие.

На улицах и в магазинах теперь зажглись огни, и когда вы смотрите вдоль нескончаемого проспекта, унизанного яркими язычками газа, вспоминается Оксфорд-стрит или Пикадилли. То тут, то там несколько широких каменных ступеней ведут в подвал, и цветной фонарик указывает вам путь в салун, где играют в шары, или в кабачок с кегельбаном,— кстати, в кегли здесь играют на десять фигур, и игра эта требует и ловкости и удачи; она была изобретена, когда конгресс принял закон, запретивший игру в обыкновенные кегли на девять фигур. У других лестниц, ведущих вниз, висят другие фонарики, призывающие в устричный погребок,— местечко, сказал бы я, весьма приятное, и не только потому, что здесь отменно приготовляют устрицы, величиной чуть не с тарелочку для сыра, но еще и потому, что изо всех

пожирателей рыбы, мяса или птицы в этих широтах только у глотателей устриц отсутствует стадный инстинкт: уподобляясь ракушкам, которые им приходится вскрывать, и подражая замкнутости устриц, которые составляют их пищу, они сидят поодиночке в нишах с задернутыми занавесями и задают пиры на двоих, а не на двести персон.

Но какая тишина на улицах! Разве нет здесь бродячих музыкантов, играющих на духовых или струнных инструментах? Ни единого. Разве днем здесь не бывает представлений петрушки, марионеток, дрессированных собачек, жонглеров, фокусников, оркестрантов или хотя бы шарманщиков? Нет, никогда. Впрочем, помнится, одного я видел: шарманщика с обезьянкой — игривой по натуре, но быстро превратившейся в вялую, неповоротливую обезьяну утилитарной школы *. Обычно же ничто не оживляет улиц: тут не встретишь даже белой мыши в вертящейся клетке.

Неужели здесь нет развлечений? Как же, есть. Вон там, через дорогу — лекционный зал, откуда вырываются снопы света, и потом трижды в неделю, а то и чаще бывают вечерние богослужения для дам. Для молодых джентльменов существуют контора, магазин и бар; последний, как вы можете удостовериться, заглянув в эти окна, порядком набит. Трах! Стук молотка, разбивающего лед, и освежающее шуршанье раздробленных кусочков, когда при сбивании коктейлей они перемещаются из стакана в стакан. Никаких развлечений? А что же, по-вашему, делают эти сосатели сигар и поглотители крепких напитков, чьи шляпы и ноги занимают самые разнообразные и неожиданные положения,— разве не развлекаются? А пятьдесят газет, заголовки которых выкрикивают на всю улицу эти преждевременно повзрослевшие пострелята и которые старательно подшиваются здешними жителями,— разве это не развлечение? И не какое-нибудь пресное, водянистое развлечение,— вам преподносится крепкий, добротный материал: здесь не брезгуют ни клеветой, ни оскорблениями; срывают крыши с частных домов, словно Хромой бес в Испании; * сводничают и потворствуют развитию порочных наклонностей всякого рода и набивают наспех состряпанной ложью самую не-

насытную из утроб; поступки каждого общественного деятеля объясняют самыми низкими и гнусными побуждениями; от недвижного, израненного тела политики отпугивают всякого самаритянина, приближающегося к ней с чистой совестью и добрыми намерениями; * с криком и свистом, под гром аплодисментов тысячи грязных рук выпускают на подмостки отъявленных гадов и гнуснейших хищников. А вы говорите, что нет развлечений!

Давайте снова пустимся в путь: пройдем сквозь эти дебри, именуемые отелем, нижний этаж которого заполнен магазинами,— он напоминает театр где-нибудь на континенте или Лондонскую оперу, только без колонн,— и окунемся в толпу на Файв-Пойнтс. Но, во-первых, необходимо взять с собою для эскорта этих двух полицейских, в которых, даже встретив их в великой пустыне, сразу признаешь энергичных, хорошо вымуштрованных офицеров. Видно, и в самом деле известный род деятельности, где бы ею ни занимались, накладывает на человека определенный отпечаток. Эти двое вполне могли бы быть зачаты, рождены и выращены на Боу-стрит *.

Ни днем, ни ночью мы нигде не встречали нищих, но всяких других бродяг — великое множество. Бедность, нищета и порок пышно процветают там, куда мы сейчас направляемся.

Вот оно, это переплетение узких улиц, разветвляющихся направо и налево, грязных и зловонных. Такая жизнь, какою живут на этих улицах, приносит здесь те же плоды, что и в любом другом месте. У нас на родине, да и во всем мире, можно встретить грубые, обрюзгшие лица, что глядят на вас с порога здешних жилищ. Даже сами дома преждевременно состарились от разврата. Видите, как прогнулись подгнившие балки и как окна с выбитыми или составленными из кусочков стеклами глядят на мир хмурым, затуманенным взглядом, точно глаза, поврежденные в пьяной драке. Многие из уже знакомых нам свиней живут здесь. Не удивляются ли они иной раз, почему их хозяева ходят на двух ногах, а не бегают на четвереньках? И почему они говорят, а не хрюкают?

Почти каждый из домов, которые мы до сих пор видели, представляет собой таверну с низким потолком; стены баров украшены цветными литографиями Вашинг-

тона *, английской королевы Виктории * и изображениями американского орла *. Между углублениями, в которых стоят бутылки, вкраплены кусочки зеркала и цветной бумаги, так как даже здесь в какой-то мере чувствуется любовь к украшениям. И поскольку завсегдатаи этих притонов — моряки, на стенах красуется с десяток картинок на морские сюжеты: прощание матроса с возлюбленной, портреты Уильяма из баллады и его черноокой Сьюзен *, храброго контрабандиста Уила Уотча, пирата Поля Джонса и тому подобных личностей; королева Виктория вкупе с Вашингтоном изумленно взирают своими нарисованными глазами на эту странную компанию и на те сцены, которые частенько разыгрываются в их присутствии.

Что это за место, куда ведет эта убогая улица? Мы выходим на подобие площади, окруженной домами, словно изъеденными проказой; в иные из них можно войти, лишь поднявшись по шаткой деревянной лестнице, пристроенной снаружи. Что там, за этими покосившимися ступенями, которые скрипят под нашими ногами? Убогая комнатенка, освещенная тусклым светом единственной свечи и лишенная каких-либо удобств, если не считать тех, которые предоставляет обитателю жалкая постель. У постели сидит человек; опершись локтями на колени, он сжал ладонями виски.

— Чем болен? — спрашивает полицейский, входя первым.

— Лихорадка,— угрюмо отвечает человек, не поднимая головы.

Можете себе представить, какие картины проносятся в лихорадочном мозгу больного в подобном месте!

Поднимитесь в непроглядной тьме по этой лестнице,— только, смотрите, не оступитесь: тут может не хватать одной из расшатанных ступенек,— и ощупью проберитесь вслед за мной в это мрачное логово, куда, видно, не проникает ни луч света, ни дуновение свежего воздуха. Подросток негритенок, пробужденный ото сна голосом полицейского,— который достаточно хорошо ему знаком,— но успокоившийся после заверения, что полицейский пришел не по делу, угодливо суетится, стараясь зажечь свечу. Спичка вспыхивает на мгновение, освещая груды

пыльных лохмотьев на полу; затем огонек гаснет, и наступает еще большая тьма, чем прежде, если тут вообще применимы степени сравнения. Негритенок, спотыкаясь, бежит вниз по лестнице и тотчас возвращается, прикрывая рукой неровное пламя огарка. И тогда груды лохмотьев начинают шевелиться, медленно приподнимаются, и взору вдруг предстает множество просыпающихся негритянок; их белые зубы стучат, блестящие глаза, моргая от удивления и страха, смотрят со всех сторон,— словно некое забавное зеркало многократно повторило одно и то же черное лицо с застывшим на нем выражением изумления.

Поднимемся теперь с не меньшей осторожностью по другой лестнице (тут немало западней и ловушек для тех, у кого нет такой надежной охраны, как у нас) и взберемся на самый верх,— голые балки и стропила перекрещиваются у нас над головой, а безмятежная ночь глядит сквозь щели в крыше. Откроем дверь одной из этих тесных клеток, набитых спящими неграми. Ого! Да у них тут разведен огонь и в воздухе пахнет паленым — то ли горящей одеждой, то ли обожженным телом, так близко они пристроились к жаровне; комната полна удушливых испарений, от которых режет глаза. Обводим взглядом это мрачное убежище, и видим, как из всех углов выползают полусонные существа, словно близится Страшный суд и каждая мерзкая могила извергает своего мертвеца. Сюда, где даже собаки погнушались бы лечь, крадучись пробираются на ночлег женщины, мужчины и дети, заставляя потревоженных крыс отправляться на поиски лучшего обиталища.

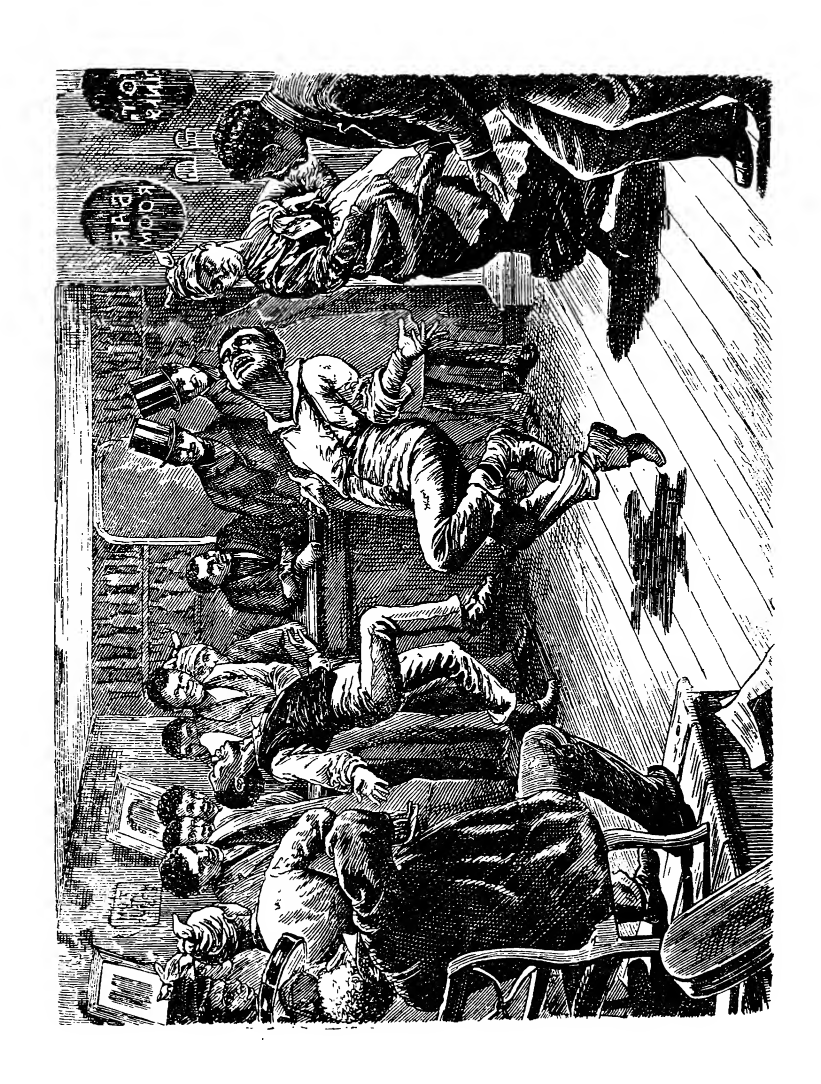
Есть в этом квартале тупики и переулки, мощенные грязью, доходящей до колен; подвалы, где эти люди пляшут и играют,— стены в них украшены примитивными рисунками, изображающими корабли и крепости, а также флаги и бесчисленных американских орлов; разрушенные дома, все нутро которых видно с улицы, а сквозь широкие бреши в стенах просвечивают другие развалины, словно миру порока и нищеты нечего больше показать; отвратительные притоны, названия которых взяты из языка воров и убийц. Все, что есть гнусного, опустившегося и разлагающегося,— все вы найдете здесь.

Наш проводник, положив руку на щеколду двери, ведущей в «Олмэк» *, окликает нас с нижней ступеньки лестницы,— надо спуститься под землю, чтобы попасть в зал фешенебельного заведения в Файв-Пойнс. Зайдем? Ведь это отнимет у нас не больше минуты.

Ого! И преуспевает же хозяйка «Олмэка»! Это дебелая мулатка со сверкающими глазами, кокетливо повязанная пестрым платком. Не отстает от нее в щегольстве и сам хозяин: на нем франтоватая синяя куртка, вроде тех, что носят пароходные стюарды; на мизинце блестит толстое золотое кольцо, а вокруг шеи обвилась золотая цепь от часов. Как он рад нам! Что угодно заказать? Танец? Сию минуту, сэр,— увидите настоящую пляску.

Дородный черный скрипач и его приятель с бубном в руках подходят к краю небольшой эстрады, где они обычно восседают; раздается веселая мелодия. Пять или шесть пар выходят на середину под предводительством веселого молодого негра — души общества и лучшего из известных здесь танцоров. Он то и дело строит рожи, к великому удовольствию всех остальных, а те улыбаются во весь рот. Среди танцующих — две молодые мулатки с большими черными, скромно потупленными глазами; головы их повязаны по той же моде, что и у хозяйки; они очень смущаются,— или только прикидываются смущенными,— словно никогда раньше не танцевали, и потому не поднимают глаз на присутствующих, предоставляя своим кавалерам любоваться лишь длинными загнутыми ресницами.

Но вот начинается танец. Каждый джентльмен выстаивает перед своей дамой, сколько ему заблагорассудится, а его дама так же долго выстаивает перед ним, и все это длится столько времени, что развлечение начинает становиться в тягость, как вдруг на помощь выскакивает веселый герой. Скрипач тотчас осклабился и принялся изо всех сил пиликать на скрипке; энергичней забренчал бубен; веселей заулыбались танцоры; радостней засияло лицо хозяйки; живей засуетился хозяин; ярче загорелись даже свечи. Глиссад, двойной глиссад, шассе и круазе; * он щелкает пальцами, вращает глазами, выбрасывает колени, вывертывает ноги, кружится на носках и на пятках, будто для него ничего не существует, кроме



этих пальцев, бьющих в бубен; он танцует, словно у него две левых ноги, две правых ноги, две деревянных ноги, две проволочных ноги, две пружинных ноги,— всякие ноги и никаких ног,— и все ему нипочем. Да разве когда-нибудь, в жизни или в танце, награждали человека таким громом аплодисментов, какие раздались, как только он закончил танец, закружив до полусмерти свою даму и самого себя, и, с победоносным видом вскочив на стойку, потребовал чего-нибудь выпить, неподражаемо крякнув при этом, как крякают миллионы Джимов Кроу? *

Уличный воздух, даже в этих зачумленных кварталах, кажется свежим после удушливой атмосферы жилых помещений; теперь же, когда мы вышли на более широкую улицу, ветерок подул нам в лицо своим чистым дыханием, и звезды снова стали яркими. Вот опять «Гробница». Часть здания занимает городская караульня. Она является как бы естественным продолжением всего, что мы сейчас видели. Осмотрим ее и потом — спать.

Как! Неужели тех, кто лишь нарушил правила, установленные в этом городе полицией, бросают в такую дыру? Неужели мужчины и женщины, может быть, даже не повинные ни в каких преступлениях, должны лежать здесь всю ночь в полнейшей тьме, в зловонных испарениях, окутывающих эту еле мерцающую лампу, которая освещает нам путь, и дышать этим гнусным, отвратительным смрадом? Ведь столь непристойное и мерзкое место заключения, как эти клетки, навлекло бы позор даже на самую деспотическую империю в мире! Да посмотри же на них, ты, что видишь их каждый вечер и хранишь ключи от их темницы. Знаешь ли, что это такое? Видел ты когда-нибудь, как устроены сточные трубы под городскими мостовыми,— чем же отличается от них этот сток для отбросов человечества,— разве тем, что нечистоты застаиваются в нем?

Ну, он не знает. У него в этой камере бывало заперто по двадцать пять молодых женщин сразу, и вы даже не представляете себе, какие попадались красотки.

Ради бога, захлопните дверь, чтоб не видно было жалкого создания, что сидит там сейчас; сокройте от взоров это место, которому по царящему в нем пороку,

запустению и жестокости не найти равного в наихудшем старом городе Европы.

Верно ли, что в этих черных дырах целую ночь держат людей без всякого суда? — Именно так. Караул выставляют в семь часов вечера. Судья открывает заседание суда в пять часов утра. Это самый ранний час, когда первый арестант может быть освобожден, а если против него показывает какой-нибудь полицейский чин, его не выведут отсюда до девяти, а то и до десяти часов.— А что, если кто-нибудь из арестованных тем временем умрет,— был ведь недавно такой случай? Тогда за какой-нибудь час его наполовину объедят крысы, как это и было в тот раз; вот и все.

Что значит этот оглушительный звон больших колоколов, грохот колес и крики в отдалении? Это пожар. А что это за багровый отсвет с другой стороны? Другой пожар. А что это за обуглившиеся и почерневшие стены перед нами? Дом, где был пожар. Не так давно в одном официальном сообщении достаточно прозрачно намекалось, что эти пожары зачастую не совсем случайны и что спекулянты и ловкачи извлекают выгоду даже из огня,— но как бы то ни было, прошлой ночью был один пожар, сегодня ночью — два, и можете держать пари на сто против ста, что завтра будет по меньшей мере еще один. Итак, утешаясь подобными мыслями, давайте пожелаем друг другу спокойной ночи и отправимся наверх спать.

Во время моего пребывания в Нью-Йорке мне довелось посетить некоторые общественные учреждения то ли на Лонг-Айленд, то ли на Род-Айленд *,— точно не припомню. Одним из этих учреждений был приют для умалишенных. Здание — красивое, выделяющееся своей широкой и нарядной лестницей. Оно еще не достроено, но уже и сейчас достигло внушительных размеров и занимает обширную площадь: в нем можно разместить немало пациентов.

Не могу сказать, чтоб у меня остались от этого благотворительного заведения особенно приятные воспоминания. Многие палаты можно было бы содержать в большей чистоте и большем порядке; здесь я не увидел и следа

той благотворной системы, которая произвела на меня столь хорошее впечатление в других местах: на всем лежал отпечаток томительной праздности сумасшедшего дома, тягостный для стороннего наблюдателя. Гримасы скорчившегося в углу идиота с длинными растрепанными волосами; невнятные бормотанья маниака, с отвратительным смехом указывающего на что-то пальцем; блуждающие взгляды, ожесточенные, дикие лица, лихорадочные движения людей, мрачно кусающих губы и руки и грызущих ногти,— все это представало перед вами без всякой маски, во всем своем неприкрытом безобразии и ужасе. В столовой, пустой, унылой и мрачной комнате с голыми стенами, была заперта одна женщина. У нее, сказали мне, тяга к самоубийству. Если что-нибудь и могло укрепить ее в таком решении, так это, конечно, невыносимая монотонность подобного существования.

Зрелище жуткой толпы, наполнявшей эти залы и галереи, до такой степени потрясло меня, что я постарался сократить по возможности программу осмотра и отказался посетить ту часть здания, где под более строгим надзором содержались строптивые и буйные. Не сомневаюсь, что джентльмен, стоявший во главе этого учреждения в то время, о котором я пишу, был достаточно сведущ, чтобы руководить им, и делал все, что мог, дабы оно приносило больше пользы, но поверите ли, презренная межпартийная борьба оказывает влияние даже и на это печальное убежище обездоленного и страдающего человечества! Можно ли поверить, что глаза, призванные наблюдать и следить за блужданием умов, пораженных самым страшным несчастьем, какое только может постичь род людской, должны смотреть на все сквозь очки той или иной злополучной политической клики? Можно ли поверить, что руководителя подобного дома назначают, смещают или заменяют в зависимости от смены партий у власти и от того, в какую сторону поворачиваются их презренные флюгера? Десятки раз на день меня поражали мелочные проявления того тупого и вредоносного духа партийного пристрастия, который свирепствует в Америке, как самум в пустыне, заражая и отравляя все, что только есть здорового в ее жизни, но никогда мной не овладевало столь глубокое отвращение и безграничное презрение, как в

тот раз, когда я перешагнул порог нью-йоркского дома для умалишенных.

Неподалеку от этого здания находится другое, именуемое Домом призрения,— иначе говоря, местный работный дом. Это тоже большое учреждение: когда я был там, в нем жило, кажется, около тысячи бедняков. Оно помещалось в плохо проветриваемом и плохо освещенном здании, не отличавшемся чистотой, и произвело на меня, в целом, крайне неблагоприятное впечатление. Следует, однако, помнить, что в Нью-Йорке — крупном торговом центре, городе, куда стекаются люди не только изо всех уголков Соединенных Штатов, но и со всех концов света,— всегда масса бедняков, о которых нужно как-то заботиться, и потому дело призрения здесь связано с особенными трудностями. Не следует также забывать, что Нью-Йорк — большой город, а во всех больших городах сталкивается и сосуществует много зла и добра.

Тут же, поблизости, расположена Ферма, где воспитывают малолетних сирот. Я там не был, но полагаю, что дело на ней поставлено хорошо; я с тем большей легкостью могу поверить этому, что знаю, как чтят обычно в Америке прекрасные слова молитвы о немощных и сирых.

Меня привезли в эти учреждения водой, в лодке, принадлежавшей Островной тюрьме; на веслах сидели заключенные, одетые в полосатую форму — черную с бурым,— они были похожи в ней на облинявших тигров. Тем же способом доставили меня и в самую тюрьму.

Это — старая тюрьма, и в ней только сейчас вводится уже описанная мною система. Я рад был услышать это, так как тюрьма несомненно очень неважная. Однако там стараются наилучшим образом использовать все имеющиеся возможности, и все настолько хорошо устроено, насколько позволяют условия.

Женщины работают в сараях, специально сооруженных для этой цели. Если мне не изменяет память, мастерских для мужчин не существует,— во всяком случае, большинство из них работает в каменоломнях, расположенных совсем рядом. Поскольку погода была уж очень сырая, работы там не производились, и заключенные сидели по камерам. Представьте себе эти камеры, числом двести или триста, и в каждой заперто по человеку: этот

прильнул к двери и, просунув руки сквозь решетку, дышит воздухом; вон тот лежит в постели (среди бела-то дня, если помните!), а этот рухнул на пол и, словно дикий зверь, уткнулся лбом в прутья решетки. Представьте себе, что на улице льет дождь как из ведра. Установите посредине помещения неизбежную, пышащую жаром печь, от которой, как от котла ведьмы, подымаются удушливые испарения. Прибавьте к этому букет приятных ароматов, подобных тем, которые исходят от тысячи покрытых плесенью и насквозь мокрых зонтов и тысячи лоханок с разведенным щелоком, полных недостиранного белья — и перед вами тюрьма, какою она была в тот день.

А вот тюрьма штата в Синг-Синге — образцовая. Эта тюрьма, а также та, что в Оберне, по-видимому, самые крупные, и их можно считать наилучшими образцами описанной ранее системы.

В другой части города находится приют для нравственно-неуравновешенных — задача этого учреждения исправлять молодых преступников, как юношей, так и девушек, как белых, так и черных,— без различия; их учат полезным ремеслам, отдают на выучку уважаемым мастерам и превращают в достойных членов общества. Как вы увидите, цели этого почтенного заведения те же, что и у соответствующего бостонского,— оно обладает не меньшими заслугами и не менее превосходно. Осматривая его, я вдруг усомнился, достаточно ли его глава знает жизнь и людей и не совершает ли он большой ошибки, обращаясь, как с малыми детьми, с некоторыми девушками, которых во всех отношениях — и по годам и по их прошлому — правильнее назвать женщинами; мне это определенно показалось крайне нелепым, а если не ошибаюсь, то и им самим. Однако, поскольку это учреждение находится под постоянным бдительным надзором целой группы джентльменов большого ума и опыта, дело в нем не может быть поставлено плохо; и прав ли я в этой маленькой частности, или нет,— не так уж важно, если мы учтем цели организации и ее заслуги, а эти последние трудно переоценить.

В дополнение к названным заведениям в Нью-Йорке имеются превосходные больницы и школы, литературные

объединения и библиотеки, замечательная пожарная команда (что и не удивительно, при наличии столь частой практики) и благотворительные приюты всех видов и родов. За городом находится обширное кладбище,— оно еще не вполне благоустроено, но с каждым днем все улучшается. Самой грустной могилой, какую я там видел, была «Могила чужеземца. Отведена для городских гостиниц».

В городе три крупных театра. Два из них — «Парк» и «Бауэри» *— занимают большие, изящные и красивые здания, и я с сожалением вынужден признать, что они обычно пустуют. Третий — «Олимпик» — крошечная коробочка, где ставят водевили и фарсы. Им на редкость хорошо руководит мистер Митчелл, комический актер редкой самобытности и спокойного юмора,— его прекрасно помнят и чтят лондонские театралы. Я счастлив сообщить, что скамьи театра, который возглавляет сей достойный джентльмен, обычно заполнены до отказа и в зале каждый вечер звучит смех. Я чуть не забыл о «Ниблo» *, маленьком летнем театре с садом, где имеются всякие увеселения, но полагаю, что и он не составляет исключения и так же, как и все театры, страдает от кризиса, охватившего, к несчастью, «театральную коммерцию» или то, что в шутку ею именуется.

Местность вокруг Нью-Йорка необычайно, чарующе живописна. Климат — на что я уже указывал — более чем теплый. Я не хочу, чтобы у меня или у моих читателей подскочила температура, и потому не буду задаваться вопросом, что бы творилось в Нью-Йорке, если бы с чудесного залива, на берегу которого он расположен, не дул вечерами морской бриз.

Тон, коего придерживается в этом городе лучшее общество, сходен с тем, который царит в Бостоне; здесь, пожалуй, в несколько большей мере чувствуется меркантильный дух, но, в общем, достаточно лоска, утонченности и неизменного гостеприимства. Дома и стол отличаются изысканностью; встают и ложатся здесь позднее, нравы несколько свободнее, и здесь, пожалуй, сильнее развито соперничество в отношении внешнего вида и умения выставить напоказ богатство и жить на широкую ногу. Дамы необычайно красивы.

Прежде чем покинуть Нью-Йорк, я принял меры, чтобы обеспечить себе обратный проезд на пакетботе «Джордж Вашингтон»,— согласно объявлению, он должен был отплыть в июне, именно в том месяце, когда я рассчитывал покинуть Америку, если никакое происшествие не задержит меня в моих странствиях.

Никогда не думал я, что, уезжая обратно в Англию, возвращаясь ко всем, кто мне дорог, и к моим занятиям, столь незаметно ставшим частью меня самого, я буду с такою грустью прощаться на борту этого корабля со своими нью-йоркскими друзьями, сопровождавшими меня в моих поездках. Никогда не думал я, что имя города, столь далекого и столь недавно ставшего мне знакомым, может оказаться для меня связанным с таким множеством теплых воспоминаний, какое сейчас теснится вокруг этого имени. Есть в этом городе люди, чье присутствие сделало бы для меня светлым самый темный зимний день, какой когда-либо зарождался и угасал где-нибудь в Лапландии, и даже мысль о родине отошла на задний план, когда я обменялся с ними тем горьким словом, которое сопутствует всем нашим мыслям и делам, в младенчестве бродит призраком у нашей колыбели и замыкает на склоне лет перспективу наших дней.

ГЛАВА VII

Филадельфия и ее одиночная тюрьма

Путешествие из Нью-Йорка в Филадельфию совершается по железной дороге и затем на двух паромах; обычно на это уходит часов пять-шесть. Был чудесный вечер, когда мы ехали в поезде; я любовался ярким закатом из маленького окошка около двери, у которой мы сидели, как вдруг внимание мое привлекло некое странное явление, наблюдавшееся в окнах вагона для джентльменов, непосредственно впереди нас: сперва я думал, что какие-то трудолюбивые пассажиры этого вагона вспарывают перины и выбрасывают на ветер перья. Наконец мне пришло в голову, что они просто-напросто плюются,—

как оно в действительности и было; впрочем, хотя впоследствии я приобрел солидные сведения по части слюноиспускания, я все же до сих пор не понимаю, как тому количеству людей, какое мог вместить этот вагон, удавалось поддерживать столь веселый и безостановочный поток слюны.

Во время этого путешествия я познакомился с кротким и скромным молодым квакером; * в начале беседы он торжественным шепотом сообщил мне, что его дед изобрел холодный способ получения касторового масла. Я упомянул здесь об этом обстоятельстве, так как полагаю, что то был первый случай, когда названное ценное лекарство было применено в качестве словесного слабительного.

Мы прибыли в город поздно вечером. Прежде чем лечь в постель, я выглянул из окна моей комнаты и увидел на противоположной стороне улицы красивое здание из белого мрамора, казавшееся каким-то особенно мрачным, призрачным и наводившее жуть. Я приписал это сумрачному вечернему освещению и, встав утром, снова выглянул из окна, надеясь увидеть в портале и на ступенях группы снующих туда и сюда людей. Двери, однако, были по-прежнему плотно затворены; вокруг царило то же холодное уныние, и, казалось, лишь у мраморной статуи дона Гусмана * могли быть какие-то дела в этих мрачных стенах. Я поспешил выяснить, как называется и что представляет собой это здание, и тогда я перестал удивляться. Это была гробница многих состояний, великие катакомбы капитала,— незабвенный Банк Соединенных Штатов *.

Прекращение названным банком платежей и разорительные последствия этого наложили (как мне все говорили) мрачный отпечаток на Филадельфию, который не исчез и по сей день. В этом городе, в самом деле, есть что-то унылое и безотрадное.

Город этот, в общем, красивый, но угнетающе прямолинейный. Пробродив по нему часа два, я почувствовал, что готов отдать весь мир за одну кривую улочку. Под влиянием господствующего здесь квакерского духа воротник моего сюртука, казалось, сделался жестче, а поля шляпы — шире. Волосы стали коротенькими и прилизанными, руки сами собой благочестиво сложились на груди, и помимо моей воли в голову полезли мысли

о том, чтобы поселиться на Парк-лейн близ Рыночной площади и нажить состояние на спекуляции зерном.

Филадельфия в изобилии обеспечена свежей водой: вода льется, течет, брызжет и бьет фонтаном отовсюду. Водопроводная станция, расположенная на холме, неподалеку от города, соединяет в себе приятное с полезным: вокруг нее со вкусом разбит общественный сад, который содержится в полнейшем и наилучшем порядке. В этом месте реку перегораживает плотина, и сила течения заставляет поток устремляться в глубокие водоемы или резервуары, откуда весь город, вплоть до верхних этажей домов, получает воду за самую ничтожную плату.

В городе имеются различные общественные учреждения. Среди них превосходная больница — квакерское заведение, но нимало не придерживающееся сектантских взглядов в своей большой и полезной деятельности; тихая, старомодная библиотека, носящая имя Франклина; * красивые здания биржи и почты и так далее. Кстати, о квакерской больнице — для пополнения фондов этого заведения устроена выставка, где висит картина, принадлежащая кисти Уэста *. На ней изображен Спаситель, исцеляющий больного, и это, пожалуй, лучший образец работы названного мастера. Считать ли такую характеристику хорошей или плохой — зависит от вкуса нашего читателя.

В той же комнате висит очень характерный и правдивый портрет кисти мистера Салли *, известного американского художника.

Мое пребывание в Филадельфии было очень коротким, но тамошнее общество,— поскольку я успел с ним познакомиться,— мне очень пришлось по душе. Говоря о его характерных особенностях, я сказал бы, что оно более провинциально, чем в Бостоне или Нью-Йорке, и что атмосфера в этом прекрасном городе насыщена вкусами и взглядами, напоминающими, пожалуй, светские разговоры все на те же темы о Шекспире, да о «Мьюзикал Глассиз», о которых мы читали в «Векфильдском священнике». Неподалеку от города находится великолепнейшее, еще незаконченное мраморное здание, предназначаемое для колледжа Джерарда,— заложил его некий, ныне покойный, джентльмен, носивший это имя, обла-

датель огромного состояния; если здание будет достроено в соответствии с первоначальным замыслом, оно, пожалуй, станет самым пышным сооружением нашего времени. Но вокруг завещания идет юридическая распря, и, впредь до ее разрешения, строительство приостановлено; таким образом, и это начинание, как и многие другие великие начинания в Америке, не столько осуществляется сейчас, сколько должно осуществляться в ближайшем будущем.

На окраине высится большая тюрьма — «Восточная каторжная». В ней установлен порядок, характерный для штата Пенсильвания. Здесь введено в систему суровое, строгое и гнетущее одиночное заключение. По тому, как оно действует на людей, я считаю его жестоким и неправильным.

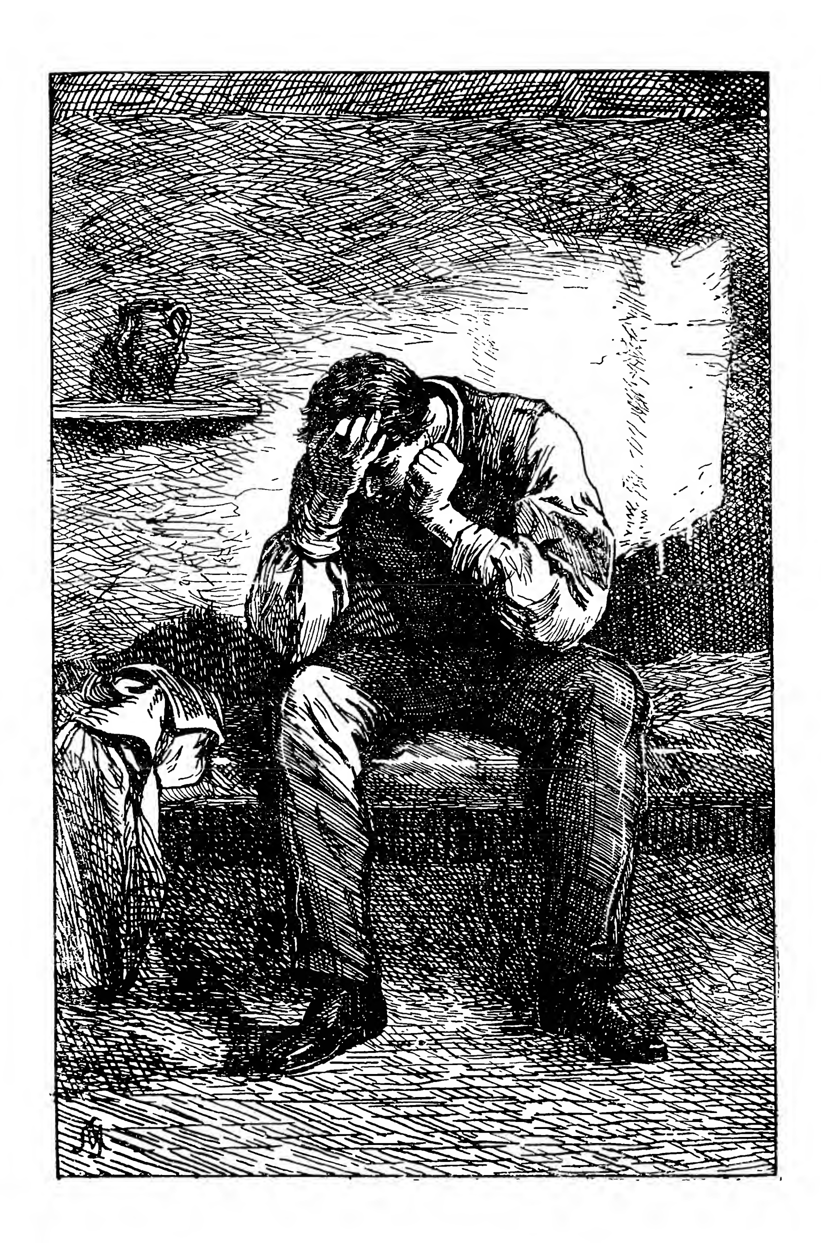
Я глубоко убежден, что в основе этой системы тюремной дисциплины лежат добрые и гуманные намерения, желание исправлять людей,— но я уверен, что те, кто ее разработал, равно как и те благожелательно настроенные джентльмены, которые проводят ее в жизнь, не ведают что творят. Мне кажется, лишь очень немногие способны в полной мере представить себе те пытки и мучения, которые испытывают несчастные, обреченные долгие годы нести это наказание; я сам могу лишь догадываться об этом, но, сопоставляя то, что я прочел на их лицах, и то, о чем — я знаю — они умалчивают, я еще более утвердился в своем мнении: тут такие страдания, всю глубину которых могут измерить лишь сами страдальцы и на которые ни один человек не вправе обрекать себе подобных. Я считаю это медленное, ежедневное давление на тайные пружины мозга неизмеримо более ужасным, чем любая пытка, которой можно подвергнуть тело; оставляемые им страшные следы и отметины нельзя нащупать, и они так не бросаются в глаза, как рубцы на теле; наносимые им раны не находятся на поверхности и исторгаемые им крики не слышны человеческому уху,— я тем более осуждаю этот метод наказания потому, что, будучи тайным, оно не пробуждает в сердцах людей дремлющее чувство человечности, которое заставило бы их вмешаться и положить конец этой жестокости. Я както призадумался, спрашивая себя: будь на то моя власть,

разрешил ли бы я применение подобного метода даже в тех случаях, когда срок заключения крайне короток. Но теперь я торжественно заявляю, что, имей я любые награды или почести, я никогда не мог бы беззаботно расхаживать по земле днем и ложиться спать ночью, сознавая, что какое-то человеческое существо сколько бы то ни было времени должно томиться в безмолвии своей одиночной камеры и что это происходит в какой-то, пусть самой ничтожной мере, с моего ведома и согласия.

Я прибыл в тюрьму в сопровождении двух джентльменов — официальных представителей ее начальства — и провел там целый день, переходя из камеры в камеру и разговаривая с их обитателями. В мое распоряжение было предоставлено все, что только могла подсказать предельная любезность. От меня ничего не скрывали и не прятали, и все просимые мною сведения были сообщены мне прямо и откровенно. Образцовый порядок, царящий в здании,— выше всяких похвал, а в превосходных намерениях всех тех, кто имеет непосредственное отношение к проведению в жизнь этой системы, не приходится сомневаться.

Между зданием тюрьмы и окружающей его стеной разбит большой сад. Сквозь калитку в массивных воротах нас провели по дорожке к центральному корпусу, и мы вошли в большую комнату, из которой лучами расходятся семь длинных коридоров. По обе стороны каждого из них тянутся длинные-длинные ряды низеньких дверок, ведущих в камеры, и на каждой стоит номер. Над ними — галерея таких же камер, но только, в отличие от камер нижнего этажа, перед этими нет узенького дворика, и сами они несколько меньше. Предполагается, что обладание двумя камерами на верхнем этаже вознаграждает заключенного за отсутствие той скудной порции воздуха и движения, которую в течение часа ежедневно получают обитатели нижнего этажа на унылой полоске двора, примыкающей к месту их заключения,— поэтому наверху каждому узнику предоставляется не одна, а две смежные и сообщающиеся между собой камеры.

Когда стоишь посредине и смотришь вдоль этих мрачных коридоров, унылый покой и тишина, царящие в них,



приводят в ужас. Порою слышится монотонное жужжание челнока какого-нибудь одинокого ткача или удары по колодке одинокого сапожника, но толстые стены и тяжелые двери приглушают все звуки, и потому полнейшая тишина кругом кажется еще более глубокой. На голову и лицо каждого заключенного, как только он вступает в этот дом скорби, набрасывают черный капюшон, и под этим темным покровом, символом завесы, опустившейся между ним и живым миром, его ведут в камеру, откуда он ни разу не выйдет до тех пор, пока полностью не истечет срок его заключения. Он ничего не знает о жене и детях, о доме и друзьях, о жизни или смерти какого-либо живого существа. К нему заходят лишь тюремщики,— кроме них, он никогда не видит человеческого лица и не слышит человеческого голоса. Он заживо погребен; его извлекут из могилы, когда годы медленно свершат свой круг, а до той поры он мертв для всего, кроме мучительных тревог и жуткого отчаяния.

Его имя, его преступление, срок его страданий — не известны даже тюремщику, который приносит ему раз в день пищу. На двери его камеры имеется номер, и такой же номер стоит в книге, один экземпляр которой хранится у начальника тюрьмы, а другой у духовного наставника,— это ключ к его истории. Кроме как на этих страницах вы не найдете в тюрьме никаких указаний на его существование, и, проживи он в одной и той же камере хоть десять томительных лет, ему так и не придется узнать, вплоть до последнего часа, в какой части здания он находится, какие люди окружают его, и в долгие зимние ночи напрасно он будет томиться догадками, есть ли поблизости живые существа, или же он заперт в каком-нибудь заброшенном уголке большой тюрьмы и от ближайшего собрата по мукам одиночества его отделяют стены, переходы и железные двери.

У каждой камеры двойные двери: внешняя — из крепкого дуба, и еще другая — железная решетка, в которой имеется окошко: через него заключенному подают пищу. У него есть библия, грифельная доска и карандаш; при соблюдении определенных условий ему дают и другие специально подобранные книги, а также перо, чернила и бумагу. Его бритва, тарелка, кружка и тазик

висят на стене или поблескивают на маленькой полочке. Во все камеры проведена вода, и заключенный может брать ее сколько угодно. На день его койка откидывается к стене, и таким образом в камере становится просторней для работы. Тут стоит его ткацкий станок, или верстак, или прялка, и тут он работает, спит, и пробуждается, и отмечает смену времен года, и стареет.

Первый узник, которого я увидел, сидел у своего ткацкого станка и работал. Он пробыл здесь шесть лет и должен был пробыть, кажется, еще три года. Он был осужден за хранение краденого, но даже после стольких лет заключения отрицал свою вину, утверждая, что с ним обошлись несправедливо. Это была его вторая судимость.

Он прервал свою работу, когда мы вошли, и снял очки; на все наши вопросы он отвечал свободно, но каждому ответу неизменно предшествовала какая-то странная пауза, и говорил он задумчиво, тихим голосом. На голове у него была бумажная шляпа собственного изготовления, и ему было приятно, что ее заметили и сказали о ней несколько слов. Чрезвычайно хитроумно, из какой-то совершенной чепухи он изготовил ходики, приспособив бутылку из-под уксуса в качестве маятника. Увидев, что я заинтересовался этим изобретением, он посмотрел на него с немалой гордостью и сказал, что собирается усовершенствовать его: он надеется, что при помощи осколка стекла и подвешенного к нему молотка они у него «скоро заиграют». Он сумел добыть немного краски из пряжи, над которой работал, и нарисовал несколько жалких фигурок на стене. Одну из них — фигуру женщины над дверью,— он назвал «Дева озера» *.

Он улыбался, пока я смотрел на эти затеи, при помощи которых он старался скоротать время, но, взглянув затем на него, я увидел, что губы его дрожат и можно было сосчитать удары его сердца. Не помню как, но в разговоре было упомянуто, что у него есть жена. При этом слове он покачал головой и отвернулся, закрыв лицо руками.

— Но теперь вы примирились с этим? — спросил один из джентльменов после краткой паузы, за время которой заключенный сумел прийти в себя.

— Да, да, конечно! Теперь я примирился с этим,— ответил он со вздохом, в котором прозвучала полная безнадежность.

— И думаете, что исправились?

— Да, надеюсь, что так... Да, да, конечно, надеюсь, что исправился.

— И время идет довольно быстро?

— Время, господа, очень тянется в этих четырех стенах.

Говоря это, он обвел камеру взглядом,— боже, с какой тоской! — и потом вдруг уставился в одну точку, словно пытаясь что-то вспомнить. Мгновение спустя он тяжело вздохнул, надел очки и снова принялся за работу.

В другой камере сидел немец, приговоренный за воровство к пяти годам заключения, из которых два уже минули. При помощи красок, добытых указанным выше способом, он довольно красиво разрисовал каждый дюйм стен и потолка. С удивительной тщательностью он обработал свой клочок земли перед камерой, а посредине сделал грядку, которая, кстати говоря, была похожа на могилу. Во всем он проявлял совершенно необычайный вкус и изобретательность, и тем не менее трудно было бы представить себе более жалкое, подавленное, убитое горем существо. Никогда в жизни не видел я подобной картины горестного отчаяния и упадка духа. Я глядел на него, и сердце мое обливалось кровью; когда же по щекам его покатились слезы и, отведя в сторону одного из своих посетителей и дрожащими руками вцепившись в полу его сюртука, он спросил, ужели нет надежды на смягчение безжалостного приговора,— я почувствовал, что не в состоянии вынести это зрелище. Никогда я не видел и не слышал о какой-либо беде, которая потрясла бы меня больше, чем несчастье этого человека.

В третьей камере находился высокий сильный негр-грабитель, занятый привычным для него делом: он мастерил винты и тому подобные вещи. Срок его заключения подходил к концу. Негр этот был не только очень ловким вором, но славился к тому же храбростью и отвагой, а также большим числом судимостей. Он развле-

кал нас длинным перечнем своих подвигов, повествуя о них с необычайным увлечением: казалось, он и впрямь облизывается, рассказывая нам красочные истории об украденном серебре, о старушках, за которыми он наблюдал, когда они сидели у окна в своих серебряных очках (он заприметил, из какого металла они сделаны, даже стоя на другой стороне улицы), и которых он впоследствии обокрал. Этот парень при малейшем поощрении примешал бы к своим профессиональным воспоминаниям гнуснейшее ханжество, но по части лицемерия, думается, превзошел сам себя, заявив, что благословляет день своего заключения и что теперь уж никогда в жизни не совершит ни единой кражи.

Был тут человек, которому в качестве особого снисхождения разрешили держать кроликов. Поскольку от этого в его камере был довольно спертый воздух, его подозвали к двери и велели выйти в коридор. Он, конечно, подчинился и теперь стоял, заслоняя рукой глаза, отвыкшие от солнечного света, который падал через большое окно,— он казался страшно изнуренным и каким-то не от мира сего, словно выходец из могилы. На груди у него сидел белый кролик; и когда маленький зверек, соскользнув на пол, убежал обратно в камеру, а вслед за ним, получив на то разрешение, робко поплелся и его хозяин, я подумал, что было бы трудно сказать, почему человек более благородное из этих двух животных.

Был тут английский вор, отсидевший всего несколько дней из общего срока в семь лет: это был отвратительный, низколобый, тонкогубый субъект с бледным лицом; он еще не научился радоваться посетителям, и если бы не угроза дополнительной кары, с удовольствием пырнул бы меня своим сапожным ножом. Был тут еще один немец, попавший в тюрьму лишь накануне,— при нашем появлении он вскочил с постели и на ломаном английском языке стал умолять, чтобы ему дали работу. Был тут и поэт, который выполнял за день два дневных урока — один для себя, другой для тюрьмы, а потом писал стихи о кораблях (он был моряк по профессии), о «пьянящем кубке» и о своих друзьях на воле. Заключенных было очень много. Одни краснели при виде посе-

тителей, другие смертельно бледнели. При тяжело больных — их было двое или трое — дежурили сиделки из заключенных, а за одним толстым старым негром, которому в тюрьме ампутировали ногу, ходил ученый-филолог и превосходный хирург — тоже заключенный. На лестнице сидел хорошенький цветной мальчик, занятый какой-то легкой работой.

— Разве в Филадельфии нет приюта для малолетних преступников? — спросил я.

— Есть, но только для белых детей.

Благородная аристократия среди преступников!

Был тут один моряк, который отсидел одиннадцать с лишним лет и через несколько месяцев должен был выйти на свободу. Одиннадцать лет одиночного заключения!

— Рад слышать, что ваш срок подходит к концу.

Что говорит он на это? Ничего. Почему он уставился на свои руки, и пощипывает пальцы, и то и дело вскидывает взгляд на эти голые стены, которые видели, как поседела его голова? Это так — находит на него иногда.

Неужели он никогда не смотрит людям в лицо и всегда щиплет свои руки, будто хочет содрать кожу с костей? Ему так нравится — только и всего.

Видно, ему так же нравится говорить, что он не ждет выхода из тюрьмы; что он не радуется окончанию срока; что он ждал этой минуты когда-то, но это было очень давно; что он потерял всякий вкус к чему-либо. Ему нравится быть беспомощным, сломленным и раздавленным жизнью существом. Ну что ж, видит бог, он имеет полную возможность следовать своему влечению!

В соседних камерах сидели три молодые женщины — все по одному делу: они покушались сообща обокрасть истца. Жизнь в тиши и одиночестве облагородила их лица. Они казались очень грустными, и вид их мог бы тронуть до слез даже самого сурового посетителя, но он не вызывал того чувства скорби, которое пробуждалось при виде заключенных-мужчин. Одна из них была молодая девушка,— помнится, не старше двадцати лет; белоснежные стены камеры, где она сидела, были украшены работами ее предшественника по заключению; ее печаль-

ное лицо озаряло яркое солнце, проникавшее сюда сквозь узенькое окошко под потолком, в которое виднелась полоска ярко-синего неба. Эта девушка казалась вполне раскаявшейся и спокойной; она сказала, что примирилась со своей участью (и я верю ей) и успокоилась.

— Короче говоря, вы счастливы здесь? — спросил один из моих спутников.

Она сделала над собой усилие, отчаянное усилие, чтобы ответить «да», но, подняв глаза и увидев этот кусочек воли за окном, вдруг разрыдалась, бедняжка, и, всхлипывая, сказала, что она старается быть счастливой, что она не жалуется, но, понятно, иногда ей очень хочется выйти из этой камеры,— «тут уж ничего не поделаешь».

Весь тот день я ходил из камеры в камеру, и каждое виденное мною лицо, каждое слышанное слово или замеченное обстоятельство и поныне мучительно свежи в моей памяти. Но оставим их и заглянем в другую тюрьму, устроенную по тому же принципу, но производящую несколько более приятное впечатление,— она похожа на ту, что я видел впоследствии в Питсбурге.

После того как я обошел ее примерно таким же образом, я спросил коменданта, нет ли среди его заключенных кого-нибудь, кто должен скоро выйти на свободу. Он сказал, что есть один, чей срок истекает на следующий день, но что этот человек провел в тюрьме всего два года.

Два года! Я мысленно оглянулся на прожитые два года моей собственной жизни — жизни на свободе, счастливой, радостной, полной благополучия, комфорта и удачи,— и подумал, какой это в сущности большой срок и какими же долгими должны быть два года, проведенные в одиночном заключении. Перед моими глазами до сих пор стоит лицо этого человека, которого должны были выпустить на следующий день. Безмерно счастливое, оно едва ли не более памятно мне, чем страдальческие лица остальных. До чего легко и естественно он сказал, что одиночная система хороша и время прошло «довольно быстро, учитывая...», и после того как ты понял, что преступил закон и должен поплатиться, «кое-как сживаешься с этим», и так далее.

— Для чего он вас отозвал и о чем так горячо и взволнованно шептался с вами? — спросил я своего провожатого, когда он, заперев дверь, нагнал меня в коридоре.

— Он боится, что не сможет выйти на улицу в своих башмаках: подметки были уже худые, когда он пришел сюда, и он очень просит, чтобы их починили.

Эти башмаки были сняты с него и убраны вместе с остальной его одеждой два года тому назад!

Я воспользовался случаем, чтобы спросить, как ведут себя заключенные непосредственно перед выходом из тюрьмы, причем высказал предположение, что многих, вероятно, лихорадит.

— Нет, это не столько лихорадка,— хотя бывает, что их бьет дрожь,— сколько полное расстройство нервной системы,— последовал ответ.— Они не могут расписаться в книге, иногда не могут даже держать в руке перо, озираются по сторонам, словно не понимая, где они и для чего, а иногда по двадцать раз в минуту встают и снова садятся. Это бывает с ними в канцелярии, куда их приводят в капюшоне, так же, как при поступлении в тюрьму. Выйдя за ворота, они останавливаются и смотрят сперва в одну сторону, потом в другую, не зная, куда идти. Иногда они шатаются, как пьяные, а иногда бывают вынуждены прислониться к забору — так им худо. Но со временем это проходит.

Когда я ходил по этим одиночным камерам и смотрел на лица заключенных, я старался вообразить те мысли и чувства, которые естественны в их состоянии. Я представлял себе — вот с заключенного только что сняли капюшон и перед ним предстала его темница во всем своем гнетущем однообразии.

Сначала человек оглушен. Его заключение — страшный сон, прежняя жизнь — действительность. Он бросается на койку и лежит, предавшись отчаянию. Постепенно невыносимая тишина и нагота камеры выводят его из оцепенения, и когда открывается окошко в решетчатой двери, он смиренно просит о работе:«Дайте мне какую-нибудь работу, или я с ума сойду!»

Ему дают работу, и мало-помалу он привыкает к труду, но то и дело его обжигает мысль о долгих годах,

которые придется провести в этом каменном гробу, и столь острая боль при воспоминании о тех, кого он не видит и о ком ничего не знает, что он вскакивает с места и мечется из угла в угол по тесной камере, сжимая руками виски,— ему слышатся голоса, подстрекающие размозжить голову о стену. Опять он падает на койку, лежит на ней и стонет. Потом вдруг вскочит: а рядом, с каждой стороны, тоже такая камера? И напряженно прислушивается.

Ни звука,— но все же где-нибудь поблизости, наверно, есть заключенные. Он припоминает, что слышал однажды,— когда еще не помышлял очутиться здесь,— будто камеры построены таким образом, что заключенные не могут слышать друг друга, тогда как тюремщики слышат их всех. Где ближайший сосед — справа, слева ли, или же и там и тут есть люди? Сидит ли этот сосед сейчас лицом к свету, или ходит взад и вперед? Как он одет? Давно ли здесь? Очень ли он измучен? Верно, бледен и похож на привидение? Думает ли и он тоже о своем соседе?

Не смея дохнуть и все прислушиваясь, он вызывает в своем воображении фигуру, повернувшуюся к нему спиной, и представляет себе, как она двигается в этой соседней с ним камере. Он не знает, какое у этого человека лицо, но ясно видит его темный согбенный силуэт. В соседнюю камеру с другой стороны он помещает другого узника, чье лицо так же скрыто от него. День за днем, а нередко и пробуждаясь среди ночи, он думает об этих двоих чуть не до потери рассудка. Он никогда не меняет их облика. Они всегда одни и те же, какими он их впервые представил себе — старик справа, человек помоложе слева; для него мучительно, что он не видит их лиц — они окутаны тайной, заставляющей его содрогаться.

Медлительным шагом проходят унылые дни, подобно плакальщикам в погребальной процессии, и постепенно ему начинает казаться, что белые стены камеры давят его, что их цвет ужасен, от вида их гладкой поверхности стынет кровь, и вон в том ненавистном углу притаилось что-то страшное. Каждое утро, просыпаясь, он прячет голову под одеяло: ему чудится, будто потолок

жутким взглядом смотрит на него сверху. Даже благословенный дневной свет заглядывает, как безобразный призрак, все через одну и ту же дыру его тюремного окошка.

Медленно, но верно ужасы этого ненавистного угла разрастаются и терзают его уже неотступно: они отравляют его досуг, от них его сны становятся кошмарными и ночи мучительными. Сначала этот угол вызывал в нем странную неприязнь: он чувствовал, будто при взгляде на него в его мозгу зарождается нечто столь же страшное, чего не должно там быть и что разрывает болью его череп. Потом он начал бояться его, потом ему стал сниться этот угол и какие-то люди, которые на него указывают и шепотом называют по имени то, что в нем скрыто. Затем он уже не мог выносить его вида, но, однако, не мог и отвернуться. Теперь каждую ночь в этом углу стал появляться призрак — тень: нечто безмолвное, ужасное для взора,— но была ли то птица, или зверь, или закутанная человеческая фигура, этого он не мог бы сказать.

Днем, когда он в камере, ему страшен маленький дворик за стеной. Когда же он во дворе, он боится вернуться в камеру. Когда наступает ночь,— там, в углу, встает призрак. Если бы у заключенного хватило мужества подойти и выгнать его оттуда (он попытался однажды с отчаяния), призрак уселся бы, нахохлившись, на постель страдальца. В сумерках, всегда в один и тот же час, некий голос окликает его по имени; когда же тьма сгущается, оживает его ткацкий станок: даже это его единственное утешение становится отвратительным чудищем, которое сторожит его до рассвета.

Но вот ужасные видения одно за другим покидают его,— иногда они вдруг возвращаются, только все реже и уже не в таком пугающем облике. Он беседовал о религии с джентльменом, навещающим его, и читал библию, и написал слова молитвы на грифельной доске, и повесил ее на стене как залог того, что небо защитит и не оставит его. Теперь он иногда думает о своих детях, о жене, но уверен, что они умерли или отреклись от него. Его легко довести до слез; он мягок, покорен, дух его сломлен. По временам прежние терзания начинаются снова,— самая

малость может вновь оживить их: знакомый звук или аромат летних цветов в воздухе, но теперь это не длится долго, ибо внешний мир стал видением, а эта одинокая жизнь — горестной действительностью.

Если срок его заключения краток — я хочу сказать, относительно краток, ибо коротким он не может быть,— последние полгода едва ли не самые тяжелые, так как тогда он начинает думать, что в тюрьме вспыхнет пожар и он сгорит среди развалин; или что ему суждено умереть в этих стенах; или что его задержат здесь по какому-нибудь ложному обвинению и дадут новый срок; что-то — все равно что — должно случиться и помешать ему выйти на свободу. И это естественно, и против этого не приходится спорить, ибо он так долго был отрезан от жизни и так долго и тяжко страдал, что любая случайность покажется ему более вероятной, чем возвращение на свободу, к людям.

Если его пребывание в тюрьме было очень длительным, перспектива освобождения страшит и смущает его. Его разбитое сердце может затрепетать на мгновение, когда он подумает о внешнем мире и обо всем, что этот мир мог ему дать за все эти годы одиночества,— но и только. Запертая дверь камеры слишком долго отделяла его от мирских чаяний и надежд. Уж лучше бы его повесили в самом начале, чем довели до такого состояния, а потом вернули в среду ему подобных, которым он более уже не подобен.

На изможденных лицах узников застыло одно и то же выражение. Не знаю, с чем сравнить его. В нем есть нечто от того напряженного внимания, какое видишь на лицах слепых или глухих, и вместе с тем — ужас, словно они втайне чем-то запуганы. В каждой тесной камере, куда я входил, и за каждой решеткой, сквозь которую я глядел, я видел, казалось, один и тот же трагический облик. Он живет в моей памяти с яркостью образа, созданного замечательным художником. Пусть пройдет передо мной среди сотни людей лишь один, только что выпущенный из одиночного заключения,— и я укажу вам на него.

Как я уже говорил, лица женщин заключение делает человечнее и утонченнее — потому ли, что женщины

лучше по натуре и это проявляется в одиночестве, или потому, что они — создания более мягкие, более терпеливые и привычные к страданию,— не знаю; но это так. Тем не менее вряд ли нужно добавлять, что, на мой взгляд, эта кара в отношении их так же несправедлива и жестока, как и в отношении мужчин.

По моему глубокому убеждению, независимо от вызываемых им нравственных мук,— мук столь острых и безмерных, что никакая фантазия не могла бы здесь сравниться с действительностью,— одиночное заключение так болезненно действует на рассудок, что он теряет способность воспринимать грубую действительность внешнего мира с его кипучей деятельностью. Я твердо уверен, что те, кто подвергся такого рода испытанию, должны вернуться в общество морально неустойчивыми и больными. Известно много случаев, когда люди по собственной воле или по необходимости проводили свою жизнь в полном одиночестве, но я вряд ли припомню, даже среди мудрецов, обладавших ясным и могучим умом, хотя бы одного, у которого такой образ жизни не вызвал бы умственного расстройства или жутких галлюцинаций. Какие только чудовищные призраки, вскормленные унынием и сомнением, порожденные и взращенные в одиночестве, не бродят по земле, обезображивая мир и омрачая лик небес!

Самоубийства среди заключенных здесь редки,— в сущности почти неизвестны. Но из этого отнюдь нельзя сделать логический вывод в пользу самой системы, хотя на этом часто настаивают. Все, кто посвятил себя изучению душевных болезней, прекрасно знают, что человек может впасть в такую предельную подавленность и отчаяние, которые изменят весь его характер и убьют в нем всякую душевную гибкость и способность сопротивляться,— и однако же он остановится перед самоуничтожением. Это обычная история.

Я твердо уверен, что одиночное заключение притупляет чувства и постепенно подтачивает телесные силы. Я обратил внимание тех, кто вместе со мною был в филадельфийской тюрьме, что преступники, пробывшие здесь долгое время, становятся глухими. Поскольку они привыкли видеть этих заключенных изо дня в день, их про-

сто поразила моя мысль, показавшаяся им необоснованной и неправдоподобной. И, однако, первый же заключенный, к которому они обратились по своему собственному выбору, немедленно подтвердил мое впечатление (хотя и не знал этого): с искренностью, не вызывающей сомнений, он сказал, что сам не понимает, почему, но он впрямь становится туг на ухо.

Нет никакого сомнения в том, что это исключительно несправедливое наказание наименее тяжко отражается на закоренелых преступниках. Я нимало не верю, что как исправительная мера оно более эффективно, чем тот распорядок, при котором заключенным разрешается работать вместе, но не общаясь друг с другом. Все случаи исправления, о которых мне говорили, точно так же могли бы произойти — и не сомневаюсь, что произошли бы,— и в результате «безмолвной системы». Что же касается такого рода людей, как тот грабитель-негр и вор-англичанин, то даже завзятые энтузиасты едва ли надеются вернуть их на путь истинный.

Мне кажется, достаточно веским доводом против системы одиночного заключения является то, что противоестественное одиночество никогда не порождало ничего здорового или хорошего и что в таких условиях даже собака или любое другое относительно разумное животное пришло бы в уныние, отупело и зачахло. Но подумав о том, как жестока и сурова эта система и как жизнь в одиночестве всегда порождает вполне определенные последствия самого пагубного свойства, против которых мы здесь возражали; припомнив вдобавок, что в качестве альтернативы предлагается не какая-либо скверная или непродуманная система, а система вполне себя оправдавшая и по своему замыслу и практическому осуществлению превосходная,— мы, конечно, найдем более чем достаточно оснований для того, чтобы отказаться от этого вида наказания, сулящего так мало хорошего и, бесспорно, чреватого таким обилием дурного.

Чтобы немного развлечь читателей, я закончу эту главу курьезной историей, связанной все с тем же вопросом,— мне рассказали ее, во время моего посещения тюрьмы, лица, бывшие непосредственными ее участниками.

На очередное заседание инспекторов этой тюрьмы пришел один ремесленник из Филадельфии и совершенно серьезно стал просить, чтобы его посадили в одиночную камеру. Когда ему задали вопрос, какая причина побуждает его обратиться с этой странной просьбой, он ответил, что его неодолимо тянет к бутылке,— и на свое великое несчастье, он всегда уступает этому влечению: у него не хватает сил сопротивляться; ему хотелось бы стать недосягаемым для искушения, и он не мог придумать ничего лучшего. Ему ответили, что тюрьма существует для преступников, которых осудили по закону, и что она не может быть использована для всяких причуд; его увещевали воздержаться от спиртных напитков, что он несомненно мог бы сделать, если бы захотел; кроме того, он получил и другие отличные советы, после чего ушел, крайне недовольный результатом своей попытки.

Он приходил все снова и снова и был до того упорен и назойлив, что в конце концов, посовещавшись, они решили: «Если мы еще раз ему откажем, он несомненно совершит какое-нибудь преступление, чтобы добиться своего. Давайте засадим его. Он очень скоро захочет выбраться отсюда, и тогда мы от него избавимся». Итак, его заставили подписать бумагу, в которой говорилось, что он находится в тюрьме добровольно, по собственному желанию — дабы он не мог потом возбудить дело о незаконном заключении; его предупредили, что дежурному тюремщику будет приказано выпустить его в любой час дня или ночи, когда он постучит для этой цели в дверь камеры, но попросили запомнить, что, если он выйдет отсюда, его не впустят обратно. Когда все эти условия были оговорены и он все же остался при своем желании, его отвели в тюрьму и заперли в камере.

Человек, у которого не хватало твердости духа оставить нетронутым стоящий перед ним на столе стакан водки,— этот человек пробыл в камере в одиночном заключении почти два года, занимаясь изо дня в день своим сапожным ремеслом. Поскольку к концу этого срока здоровье его начало сдавать, врач рекомендовал ему работать по временам в саду,— это предложение ему очень понравилось, и он с большой охотой предался новому занятию.

Однажды летом, когда он усердно копал в саду, калитка в ограде случайно оказалась незапертой: за нею виднелись памятная ему пыльная дорога и сожженные солнцем поля. Путь для него и так был открыт, как для любого свободного человека, но едва только он поднял голову и увидел эту залитую светом дорогу, как, подчинившись безотчетному инстинкту узника, отшвырнул лопату и со всех ног помчался прочь, ни разу даже не обернувшись.

ГЛАВА VIII

Вашингтон. — Законодательное собрание. — Дом президента

Мы выехали на пароходе из Филадельфии очень холодным утром, в шесть часов, и обратили свои взоры к Вашингтону.

В течение этого путешествия, как и в дальнейших поездках, мы встречали англичан (на родине они были, возможно, мелкими фермерами или сельскими трактирщиками), поселившихся в Америке и разъезжавших теперь по своим надобностям. Из всех категорий и типов людей, сталкивающихся с вами в дилижансах, поездах и на пароходах Соединенных Штатов, эти люди обычно — самые несносные и нестерпимые спутники. В дополнение ко всем неприятным чертам, свойственным наихудшему типу путешествующего американца, эти наши соотечественники проявляют просто чудовищно наглое самомнение и уверенность в собственном превосходстве. По грубой фамильярности обращения, по бесцеремонному любопытству (они торопятся проявить его, словно возмещая себя за традиционную сдержанность, которую им приходилось соблюдать на родине) они превосходят любой туземный экземпляр, попадавший в сферу моих наблюдений; и нередко, видя и слыша их, я ощущал такой прилив патриотических чувств, что с радостью уплатил бы любую не слишком высокую мзду, если бы мог предоставить какой-нибудь другой стране честь назвать их своими сынами.

Поскольку Вашингтон можно считать центром табачного слюноизвержения, пора мне сознаться начистоту, что распространенность этих двух отвратительных привычек — жевать и плевать — стала казаться мне к этому времени явлением далеко не из приятных, попросту говоря — отталкивающим и тошнотворным. Этот мерзкий обычай принят во всех общественных местах Америки. В зале суда судья имеет свою плевательницу, секретарь — свою, свидетель — свою и подсудимый — тоже свою; и присяжные заседатели и публика обеспечены ими в таком количестве, какое нужно людям, самой своей природой побуждаемым безостановочно плеваться. В больницах надписи на стенах призывают студентов-медиков извергать табачный сок в специально предназначенные для этой цели ящики и не загрязнять лестниц. В общественных зданиях тем же способом обращаются к посетителям с просьбой сплевывать свою жвачку или «кляп», как назвал ее один джентльмен — знаток такого рода лакомств,— не на подножия мраморных колонн, а в казенные плевательницы. Кое-где этот обычай неотъемлемо связан с каждой трапезой, с каждым утренним визитом и со всеми проявлениями общественной жизни. Чужестранец, который последует моему маршруту и приедет в Вашингтон, обнаружит здесь этот обычай в полном расцвете и блеске, во всей его пышности и устрашающей бесцеремонности. И пусть он себя не убеждает (как я пытался однажды, к своему стыду), будто туристы, побывавшие здесь ранее, преувеличивали распространенность этого обычая. Он сам по себе такое преувеличенное свинство, что дальше некуда.

На борту нашего парохода находились два молодых джентльмена в рубашках с расстегнутыми, по обыкновению, воротничками, вооруженные каждый огромной тростью. Они утвердили посредине палубы два стула на расстоянии примерно четырех шагов один от другого, достали табакерки и уселись друг против друга — жевать. Менее чем за четверть часа эти многообещающие юноши так усердно оросили чистую палубу дождем желтой жидкости, что вокруг них образовалось нечто вроде магического круга, в пределы которого никто не смел ступить и который они усердно освежали вновь и вновь, не давая

ему нигде подсохнуть. Дело было перед завтраком, и, сознаюсь, меня затошнило. Однако, поглядев внимательно на одного из плевак, я ясно увидел, что он новичок в искусстве жевания и сам чувствует себя нехорошо. Это открытие привело меня в восторг; и когда я заметил, как его лицо все более бледнеет от скрытой муки и как подрагивает табачный шарик за его левой щекой, в то время как он, стараясь не отставать от своего старшего товарища, все сплевывает и жует и снова сплевывает, я готов был броситься ему на шею, умоляя, чтобы он продолжал это занятие еще много часов.

К завтраку все мы собрались за столом внизу в каюте; при этом наблюдалось не больше суеты и неразберихи, чем бывает в таких случаях в Англии, и несомненно было проявлено больше вежливости, чем на многих наших пиршествах, устраиваемых на почтовой станции спутниками по дилижансу. Примерно в девять часов пароход подошел к пристани по соседству с вокзалом, и мы продолжали путь поездом. В полдень мы снова покинули вагон, чтобы переправиться на другом пароходе через широкую реку; высадились у железной дороги на противоположном берегу и отправились дальше снова поездом. В течение последующего часа наш поезд пересек по деревянным мостам длиною в милю каждый две речонки, называемые соответственно Большой и Малый Порох. В обеих вода чернела от стай диких уток с пестрыми спинками,— мясо их очень вкусно, и они встречаются здесь во множестве в это время года.

Мосты эти — деревянные, без перил и по ширине сдва достаточны для того, чтобы по ним мог пройти поезд, да и то при малейшей случайности он неминуемо полетит в воду. Это удивительные сооружения, и они особенно приятны, когда остаются позади.

Пообедать остановились в Балтиморе, и так как теперь мы находились в штате Мэриленд, нам впервые прислуживали невольники. Не очень-то приятное испытываешь чувство, пользуясь услугами человеческих существ, которые могут быть куплены и проданы, ибо тем самым как бы разделяешь на время ответственность за их положение. В таком городе, как Балтимора, эта система существует, возможно, в наименее отталкивающем и наи-

более смягченном виде. Но тем не менее это — рабство. И хотя я не был повинен в его существовании, оно вызывало во мне стыд и угрызения совести.

После обеда мы снова отправились на железную дорогу и заняли свои места в вагоне вашингтонского поезда. Мы явились рано, и не занятые каким-либо делом мужчины и мальчишки, любопытствуя взглянуть на иностранцев, собрались (по обычаю) вокруг нашего вагона, опустили все окна, просунули внутрь головы и плечи, удобно повисли на локтях и принялись обмениваться замечаниями по поводу моей внешности с такой бесцеремонностью, словно я не человек, а чучело. Никогда еще я не получал такого обилия неоспоримых сведений о собственном носе и глазах, о различном впечатлении, производимом моими ртом и подбородком на разных людей, и о том, на что похожа моя голова, если смотреть на нее сзади, как в данном случае. Некоторые джентльмены считали себя удовлетворенными лишь после того, как им удавалось прибегнуть к помощи осязания; мальчишки же (поразительно рано развивающиеся в Америке) обычно не успокаивались и на этом и снова и снова возобновляли свои атаки. Не раз какой-нибудь будущий президент * входил в мою комнату, не снимая шапки и засунув руки в карманы, и глазел на меня битых два часа, время от времени звучно сморкаясь для прочищения мозгов или освежая горло глотком воды из стоящего в комнате кувшина, или подходил к окну и приглашал других мальчишек, стоявших внизу, на улице, последовать его примеру и подняться; при этом он кричал: «Здесь он!», «Давай сюда!», «Тащи всех ребят!» — и прочие радушные приглашения в том же духе.

Мы прибыли в Вашингтон вечером того же дня, в половине седьмого, насладившись по дороге чудесным видом Капитолия *, прекрасного здания с коринфскими колоннами, величественно расположенного на холме, господствующем над окрестностями. Остановились в гостинице. Сильно устав с дороги, я не стал в тот вечер осматривать город и рад был улечься в постель.

На следующее утро, после завтрака, я часа два бродил по городу, а возвратившись, отворил окна своей комнаты, выходившие на улицу и во двор, и выглянул

наружу. Вот он, Вашингтон, каким я его только что видел и вновь вижу сейчас.

Возьмите худшие части Сити-роуд и Пентонвилла * или беспорядочно разбросанные предместья Парижа, где теснятся самые маленькие домишки, сохраните все их своеобразие и в особенности лавчонки и жилища, занятые в Пентонвилле (но не в Вашингтоне) скупщиками старой мебели, содержателями дешевых трактиров и любителями птиц; сожгите все это; постройте все снова из дерева, оштукатурьте, немного расширьте, подбросьте кусок Сент-Джонского леса, на окнах всех жилых домов укрепите зеленые ставни, а в каждом окне повесьте красные гардины и белую занавеску, вспашите проезжую часть всех улиц, густо засейте жесткой травой все самые неподходящие для этого места; где попало,— но чем неудобнее для всех, тем лучше,— возведите три красивых здания из камня и мрамора, назовите одно из них Почтамтом, другое Патентным управлением и третье Казначейством; добавьте заводские дворы (без заводов) всюду, где, естественно, должны бы пролегать улицы, утром нестерпимую жару и вечером невыносимый холод, да еще налетающие время от времени порывы ветра и тучи пыли,— это и будет Вашингтон.

Гостиница, в которой мы живем, представляет собою длинный ряд домиков фасадом на улицу, выходящих в общий двор, где висит большой железный треугольник. Когда кому-либо нужен слуга, его вызывают, ударяя по этому треугольнику от одного до семи раз, в зависимости от номера того дома, где требуется его присутствие, и так как все слуги постоянно нужны и ни один никогда не является, это веселое приспособление целый день не перестает действовать. Тут же во дворе сушится белье; взад и вперед, выполняя всякие поручения, носятся невольницы в бумажных платках, повязанных вокруг головы; двор пересекают во всех направлениях черные лакеи с блюдами в руках; две большие собаки играют на груде кирпича посреди небольшого садика; поросенок греет брюхо на солнышке и хрюкает: «Как уютно!»; и ни мужчины, ни женщины, ни собаки, ни поросенок, ни одно живое существо не обращает ни малейшего внимания на треугольник, который не перестает бешено греметь.

Я подхожу к окну, выходящему на улицу, и смотрю через дорогу на длинную, неровную вереницу одноэтажных домов, заканчивающуюся почти напротив, чуть левее, унылым пустырем, поросшим сорняком и похожим на клочок поля, который запьянствовал и потерял свой облик. На пустыре стоит нечто перекошенное и нелепое, точно метеорит, свалившийся с луны,— какое-то странное кривобокое, одноглазое деревянное строение, нечто вроде церкви, с флагштоком величиною с нее самое, торчащим над колокольней чуть побольше жестянки из-под чая. Под окном — небольшая стоянка экипажей; возницы-невольники греются на солнышке у нашего крыльца и от нечего делать болтают. Три самых заметных дома поблизости самые убогие. На одном,— лавчонке, в которой не видно никакого товара и дверь которой всегда закрыта,— намалевано большими буквами: «Городская закусочная». В другом, который выглядит как пристройка к чему-то еще, а на самом деле является самостоятельным строением, можно получить «Устрицы во всех видах». В третьем — совсем крошечной портняжной мастерской — «изготовляют по мерке штаны», иначе говоря, шьют брюки на заказ. Это и есть наша улица в Вашингтоне.

Его называют иногда Городом Грандиозных Расстояний, но гораздо резоннее было бы назвать его Городом Грандиозных Замыслов, так как лишь взобравшись на Капитолий и взглянув оттуда на город с птичьего полета, можно вообще уразуметь обширные замыслы честолюбивого француза, который его планировал *. Просторные авеню, начинающиеся неизвестно где и неизвестно куда ведущие; улицы в милю длиной, которым недостает только домов, мостовых и жителей; общественные здания, которым недостает лишь посетителей; и украшения больших проспектов, которым не хватает лишь самих проспектов, где они могли бы красоваться,— таковы характерные черты этого города. Кажется, будто окончился сезон и большинство домов навсегда выехало за город вместе со своими владельцами. Для почитателей больших городов это — великолепный мираж, широкий простор, где может вволю разыграться фантазия, памятник, воздвигнутый похороненному проекту, на котором не разобрать даже надписи, вещающей о его былом величии.

Таким, как сейчас, он, видимо, и останется. С самого начала он был избран резиденцией правительства, дабы избежать соперничества и столкновения интересов различных штатов; возможно также, это было задумано и для того, чтобы правительство находилось подальше от толпы,— соображение, которым нельзя пренебрегать даже в Америке. Здесь нет собственной промышленности или торговли; мало или почти вовсе нет населения — только президент и его приближенные, представители законодательной власти, пребывающие тут во время сессий, чиновники и служащие различных департаментов, содержатели гостиниц и пансионов да торговцы, поставляющие им провизию. Климат здесь очень нездоровый. Насколько я понимаю, мало кто стал бы жить в Вашингтоне, не будучи вынужден к этому, и даже поток эмигрантов и спекулянтов, приливающий и отливающий без разбору, вряд ли когда-либо потечет в такое скучное стоячее болото.

Главное в Капитолии — это несомненно помещения двух палат конгресса. Но помимо них в центре здания имеется прекрасная ротонда в девяносто шесть футов диаметром и девяносто шесть высотой, круглые стены которой разделены на ячейки, украшенные историческими картинами. Для четырех из них сюжетом послужили крупные события из истории борьбы за независимость. Они написаны полковником Трамболом *, который сам принадлежал к штабу Вашингтона, когда происходили эти события, что придает картинам особый интерес. Недавно в этом же зале была установлена огромная статуя Вашингтона работы мистера Гринофа *. Она несомненно обладает большими достоинствами, но, мне кажется, образ Вашингтона получился уж слишком неистовый и напряженный. Впрочем, мне хотелось бы посмотреть на статую при более благоприятном освещении, чем то, которое возможно в этом месте.

В Капитолии имеется очень приятная и удобная библиотека; и есть с фасада балкон, откуда, как я упоминал уже, можно видеть с птичьего полета весь город вместе с великолепной панорамой его окрестностей. В одной из самых красивых зал Капитолия стоит статуя Правосудия, по поводу которой в путеводителе сказано: «Скульптор первоначально предполагал сделать ее более

обнаженной, но его предупредили, что в Америке чувство общественной благопристойности не потерпит этого, и он из осторожности впал, пожалуй, в противоположную крайность». Бедная Фемида! Ее рядили в Америке даже и в более странные одежды, нежели те, в которых она задыхается в Капитолии. Будем надеяться, что она сменила портниху с тех пор, как они были скроены, и что не «чувство общественной благопристойности» кроило то платье, которое скрывает ее стройный стан в наши дни.

Палата представителей помещается в красивом, просторном зале полукруглой формы; потолок его поддерживают чудесные колонны. Часть галереи отведена для дам, и там они сидят в первых рядах и входят и выходят, как в театре или на концерте. Кресло председателя стоит под балдахином на значительном возвышении; у каждого из членов палаты имеется свое кресло и собственный письменный стол,— кое-кто из непосвященных порицает это как весьма неудачный и предосудительный порядок, располагающий к долгим заседаниям и скучным речам. Зал с виду изящен, но никуда не годится в отношении акустики. Сенату предоставлен зал поменьше, он свободен от этого недостатка и на редкость хорошо приспособлен для тех целей, для которых его предназначили. Вряд ли нужно добавлять, что заседания происходят днем; все парламентские процедуры скопированы с тех, которые существуют в Старой Англии.

Во время моих разъездов по городам Америки меня иногда спрашивали, не поразили ли меня *головы* законодателей в Вашингтоне, причем подразумевались не руководители или лидеры, а буквально их собственные, лично им принадлежащие головы, на которых растут их волосы и которые на взгляд френолога отражают духовный склад каждого законодателя; и не раз вопрошавший лишался от возмущения дара речи, услышав мой ответ: «Нет, что-то не припомню, чтобы они меня поразили». Поскольку, каковы бы ни были последствия, я вынужден повторить свое признание, я подкреплю его рассказом — по возможности немногословным, о своих впечатлениях.

Прежде всего,— быть может, в силу некоторого несовершенства моего органа преклонения,— помнится, я никогда не падал в обморок и не умилялся до слез при

виде какого бы то ни было законодательного собрания. Я перенес палату общин, как подобает мужчине, и не поддался никакой слабости, кроме глубокого сна, в палате лордов *. Я присутствовал при выборах в боро и графства * и никогда (какая бы партия ни победила) не испытывал желания испортить шляпу, подбросив ее в порыве восторга в воздух, или сорвать голос, вознося хвалы нашей славной конституции, благородной неподкупности наших независимых избирателей или безупречной честности наших независимых членов парламента. Поскольку я выдержал эти мощные атаки на твердость моего духа, можно предположить, что я по натуре бесчувствен и холоден, а в подобных случаях становлюсь и вовсе ледяным, и потому мои впечатления от живых столпов вашингтонского Капитолия надлежит воспринимать с некоторой поправкой, которой, очевидно, требует это мое добровольное признание.

Узрел ли я в этом общественном органе собрание людей, объединившихся во имя священных понятий Вольности и Свободы, чтобы при обсуждении всех вопросов поддерживать целомудренное достоинство этих двух богинь-близнецов, тем самым возвышая в восхищенных глазах всего света Вечные Принципы, носящие их имена, а равно и самих себя и своих соотечественников?

Всего неделю тому назад почтенный, убеленный сединами человек, слава и гордость породившей его страны, который, подобно своим предкам, честно служил родине и которого будут помнить через десятки и десятки лет, после того как черви, что заведутся в его разложившемся теле, обратятся в прах,— всего неделю тому назад этот старец в течение нескольких дней держал ответ перед этим самым собранием, судившим его за то, что он осмелился назвать позорной отвратительную торговлю, где товаром являются мужчины, женщины и их еще не рожденные дети. Да, так оно было. А ведь в том же городе, в золоченой раме под стеклом выставлена для всеобщего обозрения и восхищения Совместная Декларация Тринадцати Соединенных Штатов Америки *, где торжественно провозглашается, что все люди созданы равными и создатель наделил их неотъемлемым правом на жизнь, свободу и поиски счастья,— ее показывают иностранцам не со

стыдом, а с гордостью, ее не обернули лицом к стене, не сняли с гвоздя и не сожгли!

Не больше месяца тому назад это собрание спокойно сидело и слушало, как один из его членов угрожал перерезать другому глотку и сыпал при этом такими ругательствами, каких не позволил бы себе бродяга в пьяном виде. Вот он сидит среди них,— не раздавленный презрением всего собрания, а такой же почтенный человек, как любой другой.

Пройдет всего лишь неделя, и еще один из членов этого собрания будет судим остальными, обвинен и предан суровой каре за то, что выполнял свой долг перед теми, кто послал его сюда; за то, что в этой республике потребовал свободы выразить их чувства и довести до всеобщего сведения их мольбы. Это действительно тяжкое преступление, ибо несколько лет тому назад он поднялся и заявил: «Толпу невольников — мужчин и женщин — отправляют на продажу; они, точно скот, прикованы друг к другу железными цепями; вот они открыто проходят по улице, под окнами вашего Храма Равенства! Смотрите!» Но много есть всяких искателей счастья, и они по-разному вооружены. Некоторые из них обладают неотъемлемым правом действовать соответственно собственному понятию о счастье: вооружиться плетью и бичом, припасти колодки да железный ошейник и (неизменно во имя Свободы!) с гиком и свистом умножать кровавые полосы на теле раба, под музыку позвякивающих цепей.

Где же сидят эти многочисленные законодатели, которые, забыв о том, как их воспитывали, изрыгают угрозы, сквернословят и дерутся, точно подгулявшие угольщики? И слева и справа. Каждая сессия бывает отмечена развлечениями такого рода, и все актеры на местах.

Признал ли я в этом собрании орган, который взяв на себя задачу исправлять в новом мире пороки и обманы старого, расчищает пути к Общественной Жизни, мостит грязные дороги, ведущие к Постам и Власти, обсуждает и создает законы для Всеобщего Блага и не знает иной приверженности, кроме приверженности Родине?

Я увидел в них колесики, двигающие самое искаженное подобие честной политической машины, какое когда-

либо изготовляли самые скверные инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисные сделки с государственными чиновниками; трусливые нападки на противников, когда щитами служат грязные газетенки, а кинжалами — наемные перья; постыдное пресмыкательство перед корыстными плутами, которые домогаются возможности ежедневно и ежечасно сеять при помощи своих продажных слуг новые семена гибели, подобные драконовым зубам древности * во всем, кроме остроты; поощрение и подстрекательство к развитию всякой дурной склонности в общественном мнении и искусное подавление всех хороших влияний; все это,— короче говоря, бесконечные интриги в самой гнусной и бесстыдной форме,— выглядывало из каждого уголка переполненного зала.

Видел ли я здесь ум и благородство чувств — настоящее, честное, патриотическое сердце Америки? Кое-где алели капли его живой крови, но они тонули в общем потоке лихого авантюризма людей, пришедших сюда в погоне за прибылью и наживой. Такова ставка, на которую ставят эти люди, стремящиеся превратить органы власти в арену ожесточенной и грубой политической борьбы, настолько пагубной для достоинства всякого уважающего себя человека, что натуры чувствительные и деликатные держатся от нее подальше, а им и им подобным предоставлена полная свобода без помех драться за свои корыстные интересы. Так и идет эта безобразная потасовка, а те, кто в других странах благодаря своему уму и положению больше всех стремился бы к законодательной деятельности, здесь норовят отойти как можно дальше от этого срама.

Не приходится говорить, что среди представителей народа в обеих палатах и во всех партиях встречаются люди благородной души и больших способностей. Наиболее выдающиеся из этих политических деятелей, известные в Европе, уже описаны, и я не вижу оснований отступать от избранного мною правила: воздерживаться от всякого упоминания имен. Достаточно добавить, что я безоговорочно и от чистого сердца подписываюсь под самыми благоприятными отзывами о них и что личное и непосредственное общение с ними породило во мне еще

большее восхищение и уважение, а не привело к результату, указанному в весьма сомнительной поговорке. Эти люди поражают с первого взгляда, их трудно обмануть, они не медлят в действии, они энергичны, как львы, каждый из них настоящий Крайтон * в своей области; у них стремительные движения и блестящие глаза индейцев, упорство и великодушие американцев, и они столь же успешно представляют честь и мудрость своей страны у себя дома, как достопочтенный джентльмен — ее нынешний посол при английском дворе — поддерживает ее достоинство за границей.

Во время моего пребывания в Вашингтоне я бывал в обеих палатах чуть ли не каждый день. При первом моем посещении палаты представителей там возникли споры по поводу резолюции, предложенной председателем; однако председатель победил. Когда я был там вторично, кто-то прервал оратора смехом, и оратор передразнил его, как это делают дети, ссорясь друг с другом; при этом он прибавил, что «заставит сейчас своих уважаемых противников запеть другую песню». Но прерывают редко,— обычно оратора слушают в молчании. Тут больше ссорятся, чем у нас, и чаще обмениваются угрозами, чем это в обычае у джентльменов любого известного нам цивилизованного общества, но сюда еще не импортировано из парламента Соединенного Королевства подражание звукам скотного двора *. Самая характерная и самая излюбленная черта здешнего ораторского искусства — постоянное повторение одной и той же мысли или подобия мысли, только в новых выражениях; в кулуарах же спрашивают не «Что он сказал?», а — «Сколько времени он говорил?» Впрочем, это лишь более широкое толкование принципа, который принят всюду.

Сенат — орган почтенный и благопристойный, и в его заседаниях больше торжественности и порядка. Обе палаты убраны прекрасными коврами, но невозможно описать, в какое состояние они приведены благодаря всеобщему невниманию к плевательницам (которыми снабжены все государственные мужи) и какие необычайные усовершенствования внесены в рисунок этих ковров брызгами и струйками, разлетающимися по всем направлениям. Могу лишь заметить, что я настоятельно советовал

бы иностранцам не смотреть на пол, а если им случится уронить что-либо, будь то даже кошелек, ни в коем случае не поднимать его голыми руками.

Вид стольких благородных джентльменов с раздутыми щеками кажется поначалу зрелищем в своем роде примечательным, и оно не становится менее примечательным, когда вы обнаруживаете, что опухоль эта происходит от солидной порции табаку, которую они ухитрились засунуть за щеку. Довольно странно видеть также, как почтенный джентльмен откидывается в своем покойном кресле, кладет ноги на стоящий перед ним письменный стол, отрезает перочинным ножом изрядный «кляп» от пачки жевательного табаку и, подготовив его для употребления, выбрасывает старую жвачку изо рта, как пробку из духового ружья, а на ее место закладывает новую.

К своему удивлению, я заметил, что даже заядлые старые жевальщики, обладающие большим опытом, не всегда являются меткими стрелками; это заставило меня несколько усомниться во всеобщем умении американцев обращаться с огнестрельным оружием, о чем мы столько наслышались в Англии. Меня посетили несколько джентльменов, и за время беседы им не раз случалось не попасть в плевательницу с расстояния в пять шагов, а один (но он несомненно был близорук) принял закрытое окно за открытое на расстоянии трех шагов. В другой раз, когда я был в гостях и сидел перед обедом с двумя дамами и несколькими джентльменами у огня, один из нашей компании шесть раз недоплюнул до камина. Впрочем, я склонен думать, что он вовсе и не метил в камин, поскольку перед решеткой лежала белая мраморная плита, которая была удобнее и, возможно, больше подходила для его намерений.

Патентное управление в Вашингтоне служит изумительным образцом американской предприимчивости и изобретательности, так как огромное количество содержащихся в нем моделей представляет собой изобретения только за последние пять лет (вся прежняя коллекция погибла во время пожара). Изящное здание, где они хранятся, существует больше в проекте, чем на деле, так как из четырех секций возведена лишь одна,— тем не

менее строительные работы приостановлены. Здание почтамта очень вместительно и очень красиво. В одном из департаментов среди коллекции редкостей и диковинок, выставлены подарки, поднесенные в свое время американским послам иностранными монархами, при которых они были аккредитованы как представители республики: закон не разрешает оставлять эти дары себе. Признаюсь, мне не слишком приятно было смотреть на эту выставку: она, казалось мне, давала отнюдь не лестное представление об американском мериле неподкупности и честности. Вряд ли с высокими принципами морали вяжется предположение, что джентльмена с добрым именем и солидным положением, находящегося при исполнении своих обязанностей, можно подкупить, подарив ему табакерку, или саблю в богатых ножнах, или восточную шаль! И, уж конечно, стране, облекающей своих слуг доверием, служили бы, по всей вероятности, много лучше, чем той, которая возводит на них столь низкие и мелочные подозрения.

В Джорджтауне, одном из предместий Вашингтона, имеется иезуитский колледж; он расположен в очаровательном месте, и, по всему, что я видел, дело в нем поставлено неплохо. Я полагаю, что многие люди, не принадлежащие к римской церкви, прибегают к помощи этих заведений, чтобы дать хорошее образование своим детям. Здесь, над рекою Потомак, тянутся очень живописные холмы, и жить тут, по всей вероятности, не так вредно, как в Вашингтоне. Воздух в горах прохладный и свежий, а в городе он так и обдает жаром.

Особняк президента и снаружи и внутри больше всего похож на английский клуб. По окружающему его парку проложены дорожки; они красивы и радуют глаз; однако и у них все тот же неуютный вид, словно их сделали только вчера, а это отнюдь не делает парк более привлекательным.

Впервые я посетил этот дом на следующее утро после приезда; меня повез туда один чиновник, который любезно взял на себя труд представить меня президенту.

Мы вошли в просторный вестибюль и, позвонив раза два-три в колокольчик, на что никто не отозвался, без дальнейших церемоний прошли по комнатам первого

этажа, где праздно прогуливались разные джентльмены (многие были в шляпах и держали руки в карманах). Одни из них привели с собой дам, которым они показывали помещение; другие сидели, развалясь, на диванах и в креслах; третьи, изнемогая от безделья, тоскливо зевали. Большинство присутствующих явилось сюда главным образом для того, чтобы подчеркнуть собственное превосходство над простыми смертными, ибо, по всей видимости, никакого дела у них здесь не было. Несколько человек пристально рассматривали предметы обстановки, словно стараясь удостовериться, что президент * (который был далеко не популярен) не вывез отсюда часть мебели и не продал с выгодой для себя.

Посмотрев на этих бездельников, рассевшихся в красивой гостиной, выходящей на террасу, откуда открывается прекрасный вид на реку и окрестности, и взглянув на тех, что слонялись по более просторной приемной, известной под названием «восточной гостиной», мы прошли наверх, в комнату, где несколько посетителей ожидали аудиенции. При виде моего спутника чернокожий в штатском платье и мягких желтых туфлях, бесшумно скользивший по комнате и шепотом успокаивавший самых нетерпеливых, кивком показал, что узнал его, и скользнул за дверь, чтобы о нем доложить.

Перед этим мы заглянули еще в одну комнату; вдоль стен ее шел большой голый деревянный прилавок или стойка, где лежали комплекты газет, в которых рылись всякие джентльмены. Но там, где мы находились сейчас, не было ничего, что помогло бы скоротать время,— все было так же безнадежно скучно, как в приемной любого нашего государственного учреждения или в гостиной врача в часы, когда он принимает больных на дому.

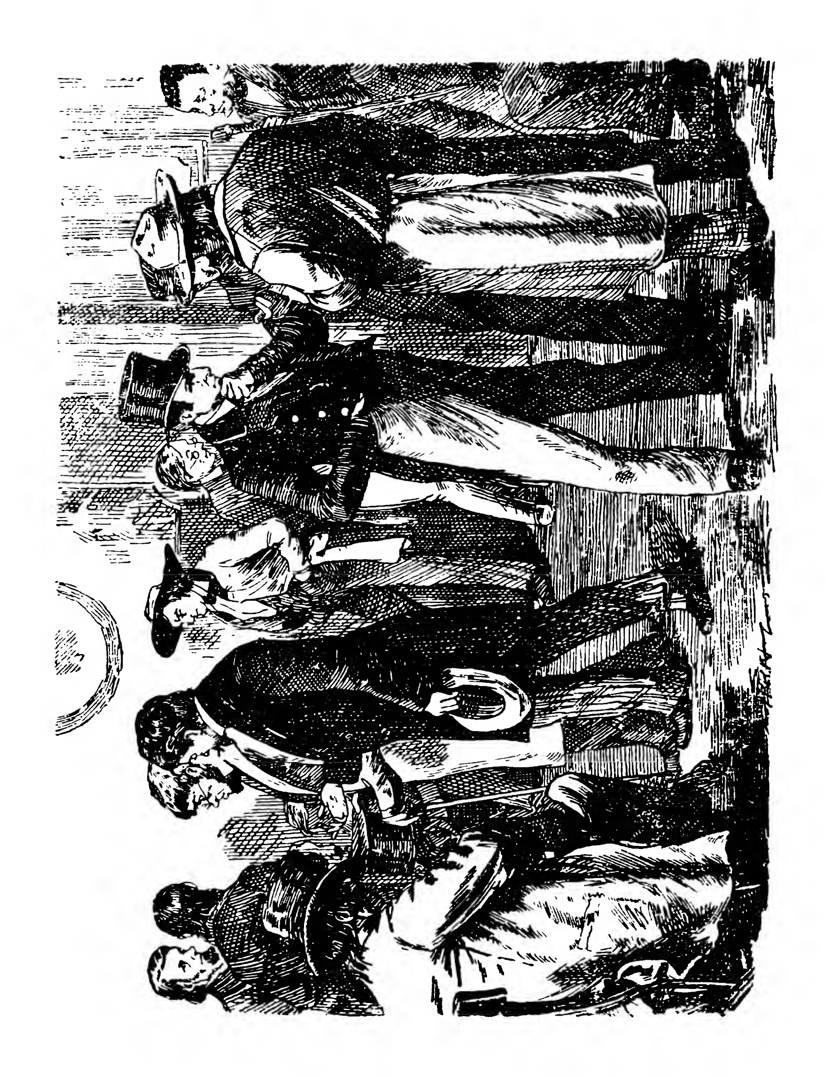
В комнате было человек пятнадцать — двадцать. Один — высокий, жилистый, крепкий старик с Запада, загорелый и смуглый; он сидел выпрямившись, положив на колени светло-коричневую шляпу, поставив между ног гигантский зонтик, и, упрямо хмурясь, глядел на ковер; в углах его рта залегли глубокие упрямые складки, словно он решил «вбить в мозги» президенту то, что собирался ему сказать, и не намерен был отступить ни на шаг. Другой — фермер из Кентукки, ростом в шесть

футов шесть дюймов, стоял в шляпе, прислонясь к стене, и, засунув руки под фалды сюртука, колотил каблуком по полу, словно под его пятой находилась голова Времени и он в буквальном смысле «убивал» его. Третий — желчного вида человек с продолговатым лицом, с коротко подстриженными гладкими черными волосами и досиня выбритыми щеками и подбородком, сосал набалдашник толстой трости, время от времени вынимая его изо рта, чтобы поглядеть, что из этого получается. Четвертый только посвистывал. Пятый только поплевывал. Вообще все перечисленные джентльмены так упорно и энергично предавались этому последнему занятию и в таком изобилии расточали ковру свои щедроты, что горничные президента, я уверен, получают большое жалование, или, выражаясь изысканнее,— изрядную «компенсацию»,— это слово употребляют в Америке вместо «жалованья», когда речь идет о государственных служащих.

Мы не прождали и нескольких минут, как появился чернокожий посланец и провел нас в комнату поменьше, где за письменным столом, заваленным, как у дельца, бумагами, сидел сам президент. Он выглядел несколько усталым и озабоченным — что не удивительно, поскольку он на ножах со всеми,— но выражение его лица было мягкое и любезное, и держался он на редкость просто, благородно и приятно. Я подумал, что осанка и манеры его удивительно соответствуют посту, который он занимает.

Мне сказали, что по этикету республиканского двора путешественник вроде меня может, отнюдь не нарушая приличий, отклонить приглашение на обед, каковое я получил, когда уже закончил свои приготовления к отъезду и собирался покинуть Вашингтон за несколько дней до того, что был указан в этом приглашении, а потому я посетил дом президента только еще раз. Это было по случаю одного из тех раутов, которые происходят в установленные дни между девятью и двенадцатью вечера и довольно непоследовательно именуются «левэ» *.

Мы с женой отправились на этот раут около десяти часов. Двор был забит экипажами и людьми, и, насколько я мог уразуметь, гости прибывали и уезжали, не следуя какому-либо особому распорядку. Тут не было



полицейских, которые успокаивали бы перепуганных лошадей, дергая их за уздечку или размахивая дубинкой у них перед глазами, и я готов поклясться, что ни одного безобидного человека не ударили с размаху по голове, и не толкнули изо всей силы в спину или в живот, и не довели при помощи какой-либо из этих мягких мер до столбняка, и не отправили затем под стражу за то, что он не двигался с места. И все же тут не было ни суматохи, ни беспорядка. Наш экипаж, когда настала его очередь, подъехал к подъезду, и никто при этом не неистовствовал, не ругался, не орал, не осаживал лошадей и вообще не производил никакой суматохи: мы высадились с такою легкостью и удобством, словно нас эскортировала вся полиция столицы от A до Z включительно.

Анфилада комнат первого этажа была ярко освещена, в вестибюле играл военный оркестр. В маленькой гостиной, окруженные группой гостей, стояли президент и его невестка, игравшая роль хозяйки дома,— очень интересная, изящная дама, истинная леди. Один из джентльменов в этом кружке, видимо, взял на себя обязанности церемониймейстера. Ни других чиновников, ни лиц из свиты президента я здесь не видел, да в них и не было нужды.

Большая гостиная, о которой я уже упоминал, равно как и другие комнаты нижнего этажа, была набита до отказа. Собравшееся общество нельзя было назвать избранным в нашем понимании этого слова, поскольку здесь были люди, стоящие на самых разных ступенях общественной лестницы; здесь не было и большого количества дорогих туалетов, выставленных напоказ — по правде говоря, иные костюмы вполне можно было бы назвать весьма нелепыми. Но ни одно грубое или неприятное происшествие не нарушило этикета и приличий; и каждый — даже из тех, что толпились в вестибюле и были впущены сюда без всяких билетов или приглашений, просто чтобы поглазеть,— казалось, чувствовал, что он является неотъемлемой частью Белого дома и несет ответственность за то, чтобы он всегда был в наилучшем и наидостойнейшем виде.

Эти гости, каково бы ни было их общественное положение, обладали некоторой утонченностью вкуса и уме-

нием оценить умственную одаренность в других, а потому питали благодарность к тем, кто, применяя на мирном поприще свои большие дарования, открывал своим соотечественникам новые горизонты и новую прелесть жизни и поднимал их престиж в других странах; прекрасным доказательством тому послужил сердечный прием, оказанный здесь моему дорогому другу Вашингтону Ирвингу *, который незадолго до того был назначен посланником при испанском дворе и в этом новом ранге находился в тот вечер среди гостей Белого дома — в первый и последний раз перед своим отъездом за границу. Я искренне верю, что при всем сумасбродстве американской политики лишь немногие общественные деятели были столь искренне, преданно и любовно обласканы, как этот совершенно очаровательный писатель; и не часто широкое собрание внушало мне такое уважение, как эта пылкая толпа, когда на моих глазах она, вся как один, отвернулась от шумных ораторов и государственных чиновников и, в благородном и честном порыве, устремилась к человеку мирных занятий — гордая его возвышением, бросающим яркий отсвет на их общую родину, и всем сердцем благодарная ему за изящные фантазии, которые он рассыпал пред ней. Пусть долго раздает он эти сокровища неоскудевающей рукой и пусть долго с такими же похвалами вспоминают о нем!

Срок, отведенный нами для пребывания в Вашингтоне, подходил к концу, и нам, собственно, предстояло начать свое путешествие, так как расстояния, которые мы преодолевали по железной дороге, странствуя между более старыми городами, считались на этом большом континенте совсем ничтожными.

Сначала я намеревался направиться на юг — в Чарльстон. Но тут я подумал о том, сколько продлится это путешествие, а также о преждевременной для этого месяца жаре, которую даже в Вашингтоне подчас бывало трудно выносить, и к тому же мысленно взвесил, как мучительно мне будет жить, постоянно видя пред собой картины рабства,— причем весьма сомнительны шансы на то, что за время, которым я располагаю, мне удастся

наблюдать его без неизбежных прикрас, что позволило бы мне прибавить какие-то новые факты к множеству уже накопленных; и вот я вспомнил о том, что часто говорили мне, когда я жил еще дома, в Англии, и не помышлял когда-либо попасть сюда,— и снова стал мечтать о городах, вырастающих, словно дворцы волшебных сказок, в пустынях и лесах Запада.

Советы, какие мне пришлось выслушивать со всех сторон, когда я стал подумывать о том, чтобы направить свой путь на запад, были, как водится, довольно обескураживающими, а моей спутнице столько наговорили о всяких ужасах, опасностях и неудобствах, что я всего и не припомню, да и не стал бы их перечислять, если бы даже и мог; достаточно сказать, что среди наименее страшных были названы взрыв пароходного котла и крушение почтовой кареты. Но, так как западный маршрут был намечен для меня самым авторитетным из моих добрых друзей, к какому я мог обратиться, и так как я не придавал веры всяким россказням, которыми меня запугивали, то я быстро выработал дальнейший план действий.

Я решил проехать на юг только до Ричмонда в Виргинии; а там повернуть и взять курс на Дальний Запад, куда я и прошу читателя последовать за мной в новой главе.

ГЛАВА IX

Ночью на пароходе по реке Потомак. — Виргинские дороги и чернокожий возница.— Ричмонд, Балтимора.— Несколько слов о Гаррисбурге и его почтовой карете.— На баркасе

Сначала нам предстояло плыть пароходом, а так как он отчаливал в четыре часа утра и ночевать здесь принято на борту, мы направились к его якорной стоянке в тот мало удобный для таких поездок час, когда больше всего на свете хочется надеть домашние туфли, а перспектива лечь через часок-другой в привычную постель кажется чрезвычайно заманчивой.

Десять часов вечера — вернее, половина одиннадцатого; светит луна, тепло и довольно пасмурно. Пароход (машины у него расположены наверху, и он напоминает своим видом игрушечный ноев ковчег) лениво покачивается на воде, неуклюже ударяясь о деревянный причал, всякий раз как волна, заигрывая, подкатывает под неуклюжий каркас. Пристань находится в некотором отдалении от города. Кругом — ни души; карета наша отъехала, и лишь две-три тусклые лампы на палубе указывают на то, что здесь еще есть жизнь. Заслышав звук наших шагов по сходням, из темных недр судна вынырнула толстая негритянка, особенно щедро одаренная природой по части турнюра, и величественной поступью повела мою жену в дамскую каюту, куда та и направилась, а следом за ними поплыл, колыхаясь, ворох накидок и пальто. Я же отважно решил не ложиться вовсе, а погулять до утра по пристани.

Итак, начинаю я свою прогулку, раздумывая о всякого рода далеких предметах и людях и ни о чем близком, и шагаю взад и вперед примерно с полчаса. Затем я снова поднимаюсь на борт и, подойдя поближе к одному из фонарей, смотрю на часы и думаю, что они, должно быть, встали, и не могу понять, что же случилось с моим верным секретарем, которого я взял с собой из Бостона. Он приглашен отужинать в честь нашего отъезда с нашим последним хозяином (уж конечно фельдмаршалом, не меньше) и, наверно, задержится еще часа на два. Я снова шагаю; но погода становится все пасмурнее; луна заходит; в наступающей темноте июнь кажется бесконечно далеким, и эхо моих шагов заставляет меня пугливо озираться. К тому же стало холодно, а прогулка в одиночестве, без спутников, занятие малоприятное. Итак, я отказываюсь от своего стоического решения и склоняюсь к тому, что, пожалуй, неплохо бы соснуть.

Я снова поднимаюсь на палубу; открываю дверь каюты для джентльменов и вхожу. Почему-то — наверно, потому, что так тихо,— я решаю, что там никого нет. Однако, к моему ужасу и изумлению, комната полна спящих; спят кто как, самым разным сном, в разных позах и положениях: на койках, на стульях, на полу, на столах и особенно возле печки, моего ненавистного врага.

Я делаю шаг вперед и спотыкаюсь о блестящее лицо чернокожего стюарда, который лежит, завернувшись в одеяло, на полу. Он вскакивает, осклабившись — наполовину от боли, наполовину от радушия; пригнувшись к самому моему уху, шепотом называет меня по имени и, осторожно пробираясь среди спящих, подводит к моей койке. Остановившись возле нее, я пытаюсь подсчитать, сколько же тут пассажиров, и насчитываю свыше сорока. Теперь уже точное число не имеет значения, и я начинаю раздеваться. Поскольку стулья все заняты и одежду положить некуда, я кладу ее на пол, не преминув при этом перепачкать руки, ибо он в таком же состоянии, как и ковры в Капитолии, и по той же причине. Сняв лишь часть одежды, я залезаю на койку и, прежде чем задернуть занавески, несколько минут обозреваю своих попутчиков. Но вот занавески падают, отделяя меня от них и от всего мира; я поворачиваюсь на бок и засыпаю.

Когда мы трогаемся в путь, я, конечно, просыпаюсь, потому что шум поднимается немалый. День только занялся. Но просыпаются все. Одни сразу приходят в себя, а другие никак не сообразят, где они,— им надо еще протереть глаза и, приподнявшись на локте, оглядеться. Одни зевают, другие кряхтят, почти все сплевывают и лишь немногие встают. Я — в числе вставших, так как, даже не выходя на свежий воздух, чувствуется, что атмосфера в каюте — зловонная. Я наспех натягиваю одежду, отправляюсь в каюту на носу, бреюсь у парикмахера, моюсь. На всех пассажиров для мытья и приведения себя в порядок имеется два полотенца на ролике, три деревянных шайки, бочонок воды, черпак, чтобы ее оттуда доставать, зеркало в шесть квадратных дюймов, два куска желтого мыла того же размера, гребенка и щетка для волос и никаких принадлежностей для чистки зубов. Все пользуются гребенкой и щеткой, кроме меня. Все смотрят на меня, дожидаясь, когда же я выну свои, а два или три джентльмена, видно, не прочь пошутить над моими предрассудками, но воздерживаются. Покончив со своим туалетом, я выхожу на верхнюю палубу и два часа усердно вышагиваю по ней взад и вперед. Рассвет великолепен; мы проезжаем мимо Маунт-Вернона *, где похоронен Вашингтон; река здесь широкая и быстрая,

и течет она между красивых берегов. День встает во всей своей красе и блеске и с каждой минутой все ярче разгорается.

В восемь часов мы завтракаем в каюте, где я провел ночь, но теперь все окна и двери в ней раскрыты настежь, так что довольно прохладно. Едят здесь не торопливо и не жадно. Сидят за завтраком дольше, чем принято у нас во время путешествия; и ведут себя более чинно, более вежливо.

Вскоре после девяти мы подъезжаем к Потомак-крику, где высаживаемся, и отсюда начинается самая занятная часть пути. Семь карет должны везти нас дальше. Одни из них готовы к отправке, другие — нет. Одни возницы — черные, другие — белые. На каждую карету полагается четыре лошади, и они все тут — впряженные или распряженные. Пассажиры сходят с парохода и рассаживаются по каретам; багаж их перевозят на скрипучих тачках; лошади пугаются и рвутся с места; чернокожие кучера, взывая к ним, лопочут, точно обезьяны, белые — гикают, точно гуртовщики, ибо на здешних постоялых дворах от конюха только и требуется, чтобы они производили как можно больше шума. Кареты похожи на французские, но похуже. Покоятся они не на рессорах, а на ремнях из очень крепкой кожи. Ничего примечательного или отличительного в них нет,— обыкновенная люлька от качелей на английской ярмарке, только что с крышей, и эта люлька установлена на осях с колесами, есть у ней и окна с занавесками из цветной парусины. Экипажи эти от крыши до колес забрызганы грязью,— со дня их сотворения никто ни разу не мыл их.

На билетах, которые мы получили на пароходе, стоит № 1, значит мы едем в карете № 1. Я бросаю пальто на козлы и подсаживаю в карету жену и ее горничную. У подножки всего одна ступенька, да и та поднята на ярд от земли, так что обычно подставляют стул; а когда его нет, дамам приходится рассчитывать на провидение. В карете размещается девять пассажиров, ибо в пространстве посредине, от одной двери до другой — там, где мы, в Англии, привыкли держать ноги,— устроено сиденье, а потому выбраться из нее оказывается еще труднее,

чем забраться внутрь. Снаружи едет только один пассажир,— тот, что сидит на козлах. Поскольку я и есть этот пассажир, я влезаю на верх и, пока багаж привязывают на крыше и наваливают сзади на нечто вроде подноса, пользуюсь случаем, чтобы как следует разглядеть нашего кучера.

Он — негр и действительно очень черный. Одет он в грубошерстный крапчатый костюм с чересчур короткими штанами, весь залатанный и перештопанный (особенно на коленях), серые чулки и огромные башмаки из дубленой кожи, годные для любых дорог. На руках у него разные перчатки: одна — пестрая шерстяная, другая — кожаная. Кнут у него очень короткий, разорванный посредине и связанный бечевкой. И ко всему этому — черная широкополая шляпа с низкой тульей, придающая ему отдаленное сходство с нелепой карикатурой на английского кучера! Но мои наблюдения прерывает властный возглас: «Пошел!» Сначала трогается почтовый фургон, запряженный четырьмя лошадьми, за ним — дилижансы с № 1 во главе.

Кстати, в тех случаях, когда англичанин крикнул бы: «Готово!», американец кричит: «Пошел!», что в какой-то мере отражает разницу в национальном характере двух стран.

Первые полмили мы едем по мостам, сооруженным из двух жердей, поперек которых как попало брошены доски, они так и пляшут под колесами, и одна за другой летят в реку. А дно у реки илистое, все в яминах, так что лошадь то и дело по брюхо погружается в воду и не скоро выбирается на поверхность.

Но и эти злоключения, наконец, остаются позади, и мы выезжаем на самую дорогу, представляющую собой чередование трясины с каменистыми колдобинами. Одно такое гиблое место как раз перед нами,— чернокожий возница закатывает глаза, вытягивает губы в трубочку и устремляет взор прямо между головами двух передних лошадей, как бы говоря самому себе: «Бывали мы в таких переделках, и не раз, а *вот сейчас,* пожалуй, увязнем». И взяв в каждую руку по вожже, он принимается тянуть за них, и дергать, и обеими ногами выкидывать на передке такие коленца (не приподнимаясь, конечно,

с места), точно это сам светлой памяти Дюкроу * на двух своих горячих скакунах. Подъезжаем мы к злополучному месту, чуть не по самые окна погружаемся в болото, делаем крен под углом в сорок пять градусов и в таком положении застреваем. Из кузова несутся отчаянные вопли; карета стоит; лошади барахтаются; остальные шесть экипажей тоже останавливаются, и запряженные в них двадцать четыре лошади тоже барахтаются, но просто так — за компанию и из сочувствия к нашим. Затем происходит следующее.

Чернокожий возница *(лошадям)*. Гэй!

Никакого впечатления. Из кузова снова вопли.

Чернокожий возница *(лошадям)*. Го! Го!!!

Лошади прядают и обрызгивают грязью чернокожего возницу.

Джентльмен, сидящий в кузове *(высовываясь)*. Послушайте, какого черта...

Джентльмен получает свою долю брызг и втягивает голову внутрь, не докончив вопроса и не дождавшись ответа.

Чернокожий возница *(по-прежнему обращаясь к лошадям)*. Наддай! Наддай!

Лошади делают рывок, вытаскивают карету из ямы и тянут вверх по откосу, такому крутому, что ноги чернокожего возницы взлетают в воздух, и он с размаху падает на крышу, среди лежащего там багажа. Но мгновенно придя в себя, он кричит (опять-таки лошадям): «Тяни!»

Не помогло. Вернее — наоборот: дилижанс наш откатывается назад, прямо на дилижанс № 2, который в свою очередь наезжает на дилижанс № 3, а тот — на № 4, до тех пор, пока на четверть мили позади не раздаются проклятья и брань из дилижанса № 7.

Чернокожий возница *(громче прежнего)*. Тяни!

Лошади снова делают отчаянную попытку взбежать на откос, и снова карета скатывается назад.

Чернокожий возница *(громче прежнего).* Тяни-и!

Лошади отчаянно бьют ногами.

Чернокожий возница *(полностью обретя присутствие духа).* Гэй, наддай, наддай, тяни!

Лошади делают новое усилие.

Чернокожий возница *(необычайно энергично).* О-ля-лю! Гэй! Наддай, наддай! Тяни! О-ля-лю!

Еще немного — и лошади вывезут.

Чернокожий возница *(выкатив глаза, так что они у него чуть не полезли на лоб).* Гэ-гэ-гэй! Наддай, наддай! Тяни! Пошли! Гэ-гэй!

Наконец мы взлетели на откос и с головокружительной быстротой помчались вниз по склону с той стороны. Осадить лошадей — невозможно, а под откосом — глубокая колдобина, полная воды. Карета отчаянно несется. Пассажиры вопят. Грязь и вода летят во все стороны. Чернокожий возница приплясывает как одержимый. Каким-то чудом все препятствия вдруг оказываются позади, и мы останавливаемся передохнуть.

Перед нами, на заборе, восседает черный друг нашего чернокожего возницы. Последний в знак приветствия мотает, точно петрушка, головой, вращает глазами, пожимает плечами, ухмыляется во весь рот. Потом он вдруг поворачивается ко мне и говорит:

— Провезем вас, сэр, самым бережным образом; будете довольны, сэр. Как старушку в кресле, сэр.— Несколько раз хихикнул.— Пассажир на козлах, сэр, он мне частенько напоминает старушку в кресле, сэр.— И снова широко осклабился.— Ничего, ничего. Мы уж как-нибудь позаботимся о старушке. Можете быть спокойны.

И чернокожий возница снова расплывается в улыбке, но перед нами — опять колдобина, а за нею, совсем близко, опять откос, и потому он спешно обрывает свою речь и кричит (снова обращаясь к лошадям): «Полегче! Да полегче же! Легче! Стой! Гэй! Наддай, тяни! Ол-ля-лю!» — И только в самом крайнем случае, когда мы попадаем в положение настолько затруднительное, что,

кажется, выбраться из него совершенно невозможно, он кричит: «Гэ-гэ-гэй!»

Так мы покрываем расстояние миль в десять или около того за два с половиной часа, не сломав никому костей, но изрядно отбив бока,— словом, доставив пассажиров «самым бережным образом».

Эта своеобразная скачка с препятствиями заканчивается во Фридериксбурге, откуда идет железная дорога на Ричмонд. Местность, по которой она пролегает, была когда-то плодородна, но почва истощилась: здесь широко применяли рабский труд, чтобы снимать обильные урожаи, не удобряли земли,— и теперь этот край превратился если не буквально в пустыню, то в песчаную лесостепь. Но несмотря на все уныние и однообразие открывшейся мне картины, я обрадовался в душе, что вижу хоть на чем-то печать проклятия, наложенного этим гнусным институтом рабства, и иссохшая земля была куда милее моему взору, чем самые богатые и тучные поля.

В этой местности, как и во всех других, где укоренилось рабство (я нередко слышал такие признания даже от тех, кто является самым горячим его сторонником), царит неотделимая от него атмосфера разорения и упадка. Амбары и надворные строения того и гляди развалятся; сараи стоят залатанные, наполовину без крыш; бревенчатые хижины (которые в Виргинии строят с наружными, глиняными или деревянными, дымоходами) выглядят на редкость убого. И вообще все такое неуютное и неприглядное. Жалкие станции вдоль железной дороги; огромные пустынные деревянные склады, где паровоз заправляют топливом; негритята валяются в пыли у дверей вместе с собаками и свиньями; как тени скользят мимо двуногие вьючные животные,— мрак и запустение во всем.

В одном поезде с нами, в вагоне для негров, ехала мать с детьми — их только что купили, а ее мужа, отца ее детей, оставили у прежнего хозяина. Дети всю дорогу плакали, на мать же было больно смотреть. Властитель жизни, свободы и счастья, купивший их, ехал в том же поезде и на каждой остановке выходил посмотреть, не сбежали ли они. Негр из «Путешествий Синдбада-море-

хода» *, с одним глазом, горевшим точно уголь посреди лба, был прирожденным аристократом в сравнении с этим белым джентльменом.

В седьмом часу вечера мы подъехали к гостинице; широкая лестница вела ко входу, перед которым сидели в качалках два-три гражданина и курили. Гостиница оказалась очень большой и изысканной, и приняли нас так хорошо, как только могут пожелать путешественники. Поскольку климат здесь жаркий и все время хочется пить, в просторном баре, в любой час, всегда полно посетителей и ни на минуту не прекращается деятельное приготовление прохладительных напитков; однако народ здесь более веселый: по вечерам играет оркестр, и нам было так приятно снова услышать музыку.

Весь следующий день и еще следующий мы ездили и бродили по городу, красиво расположенному на восьми холмах над рекою Джеймс, похожей на сверкающую ленту, усеянную яркими пятнами островков или покрытую рябью — там, где она журчит среди камней. Хотя была еще только середина марта, погода в этих южных широтах стояла необычайно теплая: персики и магнолии были в полном цвету; а деревья стояли уже совсем зеленые. В низине среди холмов лежит долина, известная под названием «Кровавый лог»,— когда-то здесь произошла страшная битва с индейцами. Место для побоища было выбрано подходящее,— оно сильно заинтересовало меня, как и все другие места, связанные с легендами об этом диком народе, ныне столь быстро исчезающем с лица земли.

В городе заседает виргинский парламент, и под его сумрачными сводами несколько ораторов сонно разглагольствовали насчет полуденной жары. Однако законодательные учреждения встречаются здесь так часто, что их заседания интересовали меня немногим больше, чем собрания приходских налогоплательщиков, и я с радостью отказался от этого зрелища, чтобы посетить зал хорошо устроенной публичной библиотеки тысяч в десять томов и табачную фабрику, где работают одни рабы.

Здесь я увидел весь процесс — как табак отбирают, скатывают, прессуют, сушат, упаковывают в бочонки и



пломбируют. Все это был жевательный табак и на одном здешнем складе было его столько, что, казалось, хватит набить все жадные рты Америки. В готовом виде табак похож на жмыхи, которыми мы кормим скот, и даже если не вспоминать о последствиях, к каким приводит его жевание, он выглядит достаточно неаппетитно.

Среди рабочих много крепких на вид людей, и едва ли нужно добавлять, что трудятся они молча. Но после двух часов пополудни им разрешается петь — не всем сразу, а по нескольку человек. Когда я был там, как раз пробило два, и человек двадцать, не прерывая работы, запели гимн,— совсем неплохо. Перед самым моим уходом прозвонил колокол, и рабочие потянулись в дом на противоположной стороне улицы — обедать. Я несколько раз повторил, что мне хотелось бы посмотреть, как они едят, но поскольку на джентльмена, которому я выражал свое пожелание, неизменно нападала глухота, я не стал настаивать. А вот о том, как они выглядят, я сейчас расскажу.

На следующий день я посетил ферму или плантацию примерно в тысячу двести акров, расположенную на противоположном берегу реки. Здесь опять-таки, хотя владелец поместья повел меня в «квартал», как тут называется то место, где живут рабы, мне не предложили зайти ни в одну хижину. Я видел их лишь снаружи — жалкие, рассыпающиеся лачуги, и чуть ни возле каждой — кучка полуголых ребятишек греется на солнце или валяется в пыли. Тем не менее я убежден, что этот джентльмен — хороший и чуткий хозяин, которому его пятьдесят рабов достались по наследству, а сам он людей не покупает и не продает; на основании собственных наблюдений я убедился, что это добрый и достойный человек.

Дом у плантатора просторный, из нетесаного камня; он живо напомнил мне описания таких строений у Дефо *. День стоял знойный, но поскольку все ставни были закрыты, а двери и окна распахнуты настежь, в комнатах царила прохладная полутьма, такая освежающая после яркого солнца и зноя на улице. Перед окнами — открытая веранда, где в так называемую жаркую погоду — уж что они под этим разумеют, не могу сказать,— вешают гамаки, в которых обитатели дома распо-

лагаются подремать и выпить чего-нибудь прохладительного. Не знаю, какими покажутся эти прохладительные напитки, если их пить в гамаке, но отведав их вне гамака, могу доложить, что даже тем, кто благосклонно отнесся к ним, и в голову не придет летом поглощать такие горы льда и такие бокалы тминной настойки и шерри-коблера, какие подают в здешних широтах.

Через реку проложено два моста: один принадлежит железной дороге, а другой, необычайно ветхий,— некоей старой леди, живущей поблизости и взимающей за пользование им пошлину с горожан. Возвращаясь в город, я шел по этому мосту и на перилах увидел надпись, гласившую, что за превышение положенной скорости при переезде: белый — облагается штрафом в пять долларов, а негр — получает пятнадцать ударов бичом.

Та же тягостная атмосфера запустения, омрачавшая наш путь в Ричмонд, нависла и над городом. На улицах его много красивых вилл и веселых домиков, и природа в окрестностях куда как хороша, но рядом с его роскошными резиденциями — подобно тому как самое рабство существует бок о бок со многими высокими добродетелями — теснятся жалкие лачуги, лежат поваленные заборы, стоят полуосыпавшиеся стены. Зловеще намекая на то, что скрыто от наблюдателя, это соседство, как и многое другое, бросается в глаза и надолго оставляет в памяти гнетущее впечатление, тогда как более отрадные вещи забываются.

Человека, по счастью не привыкшего к такого рода зрелищам, вид здешних улиц и мест, где трудятся люди, не может не ужаснуть. Все, кому известно, что существуют законы, запрещающие обучать рабов, которые терпят муки и наказания, намного превышающие штрафы, налагаемые на тех, кто их калечит и терзает, должны быть подготовлены к тому, что лица невольников не отличаются особой одухотворенностью. Однако темнота — не кожи, а духа,— которую чужестранец встречает на каждом шагу, огрубление и уничтожение всех прекрасных качеств, какими наградила человека Природа, неизмеримо превосходят самые худшие ожидания. Когда герой великого сатирика *, вернувшись из своего путешествия в царство лошадей, выглянул в окно и с

дрожью и ужасом увидел себе подобных, это зрелище едва ли показалось ему более омерзительным и устрашающим, чем кажутся лица рабов тому, кто их видит впервые.

Последним из них, с кем свел меня случай, был несчастный слуга, который весь день до полуночи бегал по всяким поручениям, урывая лишь жалкие крохи отдыха и тут же, на ступеньках лестницы, забываясь тревожным сном, а в четыре часа утра уже снова мыл темные коридоры,— и теперь, отправляясь в путь, я порадовался от души, что не обречен жить среди рабства и что чувства мои, не привыкнув с колыбели к его ужасам и несправедливостям, способны остро воспринимать их.

Я намеревался ехать в Балтимору по реке Джеймс и затем через Чесапикский залив, но так как одного из пароходов — из-за какой-то аварии — на месте не оказалось, этот способ сообщения представлялся ненадежным, мы вернулись в Вашингтон тем же путем, как и приехали (кстати, на нашем пароходе оказалось двое полицейских, гнавшихся за беглыми рабами), переночевали там, а на следующее утро отправились в Балтимору.

Самой благоустроенной гостиницей изо всех, в каких мне довелось останавливаться в Соединенных Штатах,— а таких немало! — был отель Барнума в Балтиморе; здесь путешественник англичанин найдет кровать с пологом — в первый и, должно быть, последний раз в Америке (я отмечаю это, как человек беспристрастный, ибо я никогда не пользуюсь пологом),— и может рассчитывать, что получит достаточно воды для мытья,— явление далеко не обычное.

Столица штата Мэриленд — шумный деловой город, с развитой торговлей всякого рода, в частности рыбной. Та часть города, которая наиболее связана с этим видом торговли, что и говорить, чистотой не блещет, зато верхняя часть — совсем другая: там много приятных улиц и общественных зданий. Из достопримечательностей отметим памятник Вашингтону — красивая колонна со статуей наверху, Медицинский колледж и Монумент в ознаменование битвы с англичанами при Норт-Пойнте *.

В городе есть отличная тюрьма, а также исправительный дом штата. В этом последнем заведении я познакомился с двумя любопытными делами.

Одно из них было заведено на молодого человека, судимого за отцеубийство. Доказательства основывались на стечении обстоятельств, в которых было много противоречивого и сомнительного; к тому же непонятно было, какая побудительная причина могла толкнуть обвиняемого на столь ужасное злодеяние. Дважды он представал пред судом, и при повторном разборе дела присяжные настолько усомнились в его виновности, что обвинили его в непредумышленном убийстве, или убийстве со смягчающими вину обстоятельствами, хоть это было и вовсе исключено, так как достоверно известно, что между ним и отцом не было ни ссоры, ни повода к ней, так что если он действительно убил, то уж только преднамеренно, и является убийцей в самом полном и страшном значении этого слова.

Наиболее любопытным в этом деле является то, что если несчастный действительно не был убит родным сыном, значит он был убит своим братом. Улики,— что особенно любопытно,— свидетельствуют и против того и против другого. По всем неясным моментам давал показания в качестве свидетеля брат убитого. Защитник же обвиняемого, выступая с разъяснениями (вполне, кстати, правдоподобными), так поворачивал его показания, что все изобличало свидетеля в сознательном старании переложить вину на племянника. Убил один из них — и присяжным предстояло решить, какое из двух своих подозрений, почти в равной мере противоестественных и необъяснимых, считать более правильным.

По другому делу обвиняли человека, который, зайдя как-то к винокуру, украл у него медную меру со спиртом. За ним кинулись вдогонку, он был пойман с поличным и приговорен к двухгодичному заключению. Отбыв свой срок и выйдя из тюрьмы, он отправился к тому же винокуру и снова украл у него ту же медную меру с тем же количеством спирта. Нет никаких оснований предполагать, что этому человеку хотелось вернуться в тюрьму,— наоборот: все, кроме самого факта преступления, указывало на обратное. Эта необычайная история может иметь только два объяснения. Первое: претерпев столько из-за какой-то медной меры, он решил, что она вроде бы по праву принадлежит ему. И второе: он так

долго и много думал о ней, что это стало у него мономанией — мера приобрела вдруг неодолимую притягательную силу, превратившись в его воображении в некий неземной золотой сосуд.

Пробыв в Балтиморе два-три дня, я решил, что надо строго придерживаться плана, который я недавно наметил себе, и без промедления двигаться на запад. Итак, сведя к минимуму наш багаж (мы отправили в Нью-Йорк для дальнейшей пересылки на наше имя в Канаду все, что не было совершенно необходимо), выправив письма в банкирские дома, которые будут у нас по пути, да еще вдобавок два вечера кряду проглядев на заходящее солнце, что столь же мало прояснило мое представление о той местности, куда мы собирались ехать, как если бы мы отправлялись к центру нашей планеты,— мы в половине девятого утра выехали из Балтиморы по железной дороге и прибыли в город Йорк, находящийся милях в шестидесяти оттуда, к началу обеда в гостинице, откуда отправлялась в Гаррисбург пассажирская карета, запряженная четверкой.

Сей экипаж, на козлах которого мне посчастливилось получить место, подали нам к вокзалу, и был он таким же грязным и громоздким, как и все предыдущие. Поскольку у дверей гостиницы собралось еще несколько пассажиров, кучер голосом чревовещателя буркнул себе под нос, глядя на своих дряхлых кляч и как бы обращаясь к ним:

— Видать, понадобится *большая* карета.

Я невольно подивился в душе: каких же размеров должна быть «большая карета» и на сколько человек она рассчитана, если экипаж, оказавшийся слишком маленьким, побольше двух английских тяжелых карет и вполне мог бы быть близнецом французского дилижанса. Моему недоумению, однако, вскоре был положен конец; не успели мы покончить с обедом, как на улице послышался грохот и, переваливаясь с боку на бок, точно дородный великан, показалось нечто вроде баржи на колесах. Поударявшись обо все выступы и попятившись, эта баржа остановилась, наконец, у дверей, и когда всякое поступательное движение прекратилось, неуклюже закачалась с боку на бок, точно продрогла в сыром каретнике, а потом расстроилась: и холодно, мол, и заставляют ее,

дряхлую старушку, не шагом идти, а побыстрее, да тут еще такая обида — нет попутного ветра.

— А, ш...штоб мою мамашу перештопали,— возбужденно воскликнул пожилой джентльмен,— если это не гаррисбургский дилижанс во всей своей красе и блеске!

Не знаю, что ощущает человек, когда его штопают, и очень ли нравилась, или не нравилась такая операция матушке оного джентльмена; но если бы терпение старушки во время этого таинственного процесса зависело от того, насколько блестящим и красивым кажется ее сыну гаррисбургский почтовый дилижанс, она безусловно выдержала бы испытание. Как бы то ни было, в карету запихали двенадцать пассажиров, и когда багаж (включая такую мелочь, как большая качалка и внушительных размеров обеденный стол) был, наконец, привязан на крыше, мы торжественно двинулись в путь.

У очередной гостиницы ждал еще один пассажир.

— Есть место, сэр? — кричит этот новый пассажир кучеру.

— Места сколько угодно,— отвечает кучер, не слезая с козел и даже не глядя на него.

— Да что вы, сэр, тут совсем нет места,— рявкает джентльмен изнутри. И это подтверждает какой-то другой джентльмен (тоже изнутри), предсказывая, что из попытки посадить еще кого-то «ничегошеньки не выйдет».

Новый пассажир невозмутимо заглядывает в карету, потом поднимает глаза на кучера.

— Ну-с, так как же мы это устроим? — спрашивает он, немного выждав.— Ехать-то я все-таки должен.

Кучер занят завязыванием узла на кнуте и не обращает внимания на вопрос, всем своим видом показывая, что к нему это не имеет никакого отношения — пусть пассажиры сами разбираются. Положение создается весьма затруднительное, и кажется, что пассажиры если и разберутся, то едва ли мирно, как вдруг какой-то пассажир, сидящий в углу кареты, задыхаясь, срывающимся голосом кричит:

— Я вылезу.

Кучер не вздыхает с облегчением и не поздравляет себя с победой; что бы ни происходило в карете, это не

может возмутить спокойствие его философского ума. О карете он думает меньше всего. Однако обмен местами произошел, и пассажир, уступивший свое место, залезает третьим на козлы и усаживается, как он это назвал, в середку,— иными словами: сидит половиной своей особы у меня на коленях, а другой половиной на коленях у возницы.

— Эй, капитан, трогай! — кричит руководивший операцией полковник.

— А ну, пошел! — кричит капитан своей роте — лошадям, и мы трогаемся с места.

Проехав несколько миль, мы подобрали у сельской пивной одного джентльмена навеселе, который уселся на крышу среди багажа и вскоре скатился оттуда, нисколько не разбившись: мы видели издали, как он шел, пошатываясь, назад, к тому самому питейному заведению, где мы его посадили. Постепенно мы избавлялись от нашего груза, так что, когда пришло время менять лошадей, я уже снова был на козлах один.

Кучера обычно меняются вместе с лошадьми и, как правило, бывают ничуть не чище кареты. Первый походил на оборванного английского булочника, а второй — на русского крестьянина: на нем была малиновая камлотовая шуба с меховым воротником, необычайно широкая и подпоясанная пестрым шерстяным кушаком, серые штаны, голубые перчатки и медвежья шапка. К этому времени полил сильнейший дождь, и вдобавок спустился холодный мокрый туман, пронизывавший до костей. Я рад был воспользоваться остановкой, сойти, поразмяться, стряхнуть воду с пальто и проглотить обычное лекарство, благодаря которому противники трезвенности уберегаются от простуды.

Взобравшись снова на свое место, я заметил, что на крыше кареты появился тюк, которого там раньше не было и который я принял сначала за довольно большую скрипку в буром чехле. Однако, когда мы проехали несколько миль, я заметил, что из тюка торчат с одного конца фуражка с лакированным козырьком, а с другого — грязные башмаки; при дальнейшем наблюдении обнаружилось, что это — мальчишка в пальто табачного цвета, который так глубоко засунул руки в карманы, что

они казались у него прикрученными к бокам. Насколько я понимаю, он приходился родственником или другом нашему кучеру, так как лежал он поверх багажа, прямо под дождем, и, видимо, все время спал, кроме тех моментов, когда менял позу и задевал башмаками мою шляпу. Наконец во время одной из остановок тюк медленно поднялся, достигнув в высоту трех футов шести дюймов, уставился на меня и пропищал, учтиво зевнув и с дружелюбно-покровительственным видом тут же подавив зевок:

— Ну что, иностранец, погодка-то у нас сегодня совсем как в Англии, а?

Местность, сначала довольно скучная, последние десять — двенадцать миль стала просто красивой. Дорога наша петляла по приятной долине Саскуиханны: справа — река, испещренная бесчисленными зелеными островками, слева — крутые склоны, усеянные обломками скал, поросшие темными елями. Туман, свиваясь в сотни причудливых узоров, величаво плыл над водой; а вечерний сумрак, окутывая все таинственностью и тишиной,— придавал окружающему еще больше прелести.

Реку мы переезжали по деревянному мосту чуть не в милю длиной, крытому и со всех сторон огороженному. На нем было совсем темно, и мы наугад продвигались под балками и перекладинами, скрещивавшимися под всевозможными углами у нас над головой, а далеко внизу, легионом глаз, поблескивала сквозь широкие щели и прозоры в настиле быстрая река. Фонарей у нас не было, и лошади, спотыкаясь, еле плелись к пятнышку света, угасавшего вдалеке — нам казалось, что этому не будет конца. Право же, вначале, когда мы с грохотом въехали на мост, будя гулкое эхо, и я пригнул голову, чтобы не удариться о стропила, мне нужно было уговаривать себя, что это правда, а не скверный сон, потому что мне часто снится, будто я пробираюсь по таким местам, и я каждый раз во сне убеждаю себя, что это сон, а не действительность.

Наконец мы все-таки выбрались на улицы Гаррисбурга. Тусклые отсветы фонарей, уныло отражавшихся в лужах, озаряли довольно неприглядный город. Вскоре, однако, мы расположились в уютной гостинице, от кото-

рой, хоть она и не могла сравниться ни размером, ни великолепием со многими, где мы останавливались, у меня сохранилось наилучшее воспоминание благодаря ее хозяину — самому услужливому, внимательному и самому любезному человеку, с каким мне приходилось иметь дело.

Поскольку нам предстояло тронуться в путь лишь во второй половине дня, я на следующее утро, после завтрака, решил пойти погулять и осмотреть окрестности. Мне, как и следовало ожидать, показали образцовую тюрьму одиночного заключения, только что построенную и еще пустовавшую; ствол старого дерева, к которому воинственные индейцы привязали первого здешнего поселенца Гарриса (впоследствии его и похоронили тут): вокруг него уже был разложен погребальный костер, когда на другом берегу реки — очень вовремя,— появились друзья пленника и спасли его; затем местное законодательное собрание (здесь тоже полным ходом шли дебаты) и прочие достопримечательности города.

Меня чрезвычайно заинтересовали договора, которые время от времени заключались с несчастными индейцами и подписывались вождями, возглавлявшими племя к моменту утверждения договора, а потом сдавались на хранение в канцелярию секретаря Союза Свободных Штатов. Эти подписи, начертанные, понятно, их собственной рукой, представляют собою примитивные изображения того существа или оружия, по которому прозван каждый из вождей. Так, Большая Черепаха вывел пером кривую в виде большой черепахи; Буйвол — нарисовал буйвола, а Боевой Топор вместо подписи изобразил что-то вроде этого оружия. То же самое проделали Стрела, Рыба, Скальп, Большое Каноэ,— словом, все.

Я невольно подумал,— глядя на эти примитивные рисунки, неуверенно выведенные дрожащей рукой, которая могла пустить на далекое расстояние стрелу из тугого, выточенного из лосевых рогов, лука или ружейной пулей расколоть бусинку или перышко,— о муках Крэбба над его приходской книгой записей * и о неровных каракулях, которые чертили пером те, кто мог с одного конца поля до другого провести плугом прямую борозду. Немало грустных мыслей пришло мне на ум об этих про-

стых воинах, которые искренне и честно, от чистого сердца скрепили своей подписью договора и только лишь со временем научились у белых вероломству и всяким формальным уверткам в выполнении своих обязательств. Подумал я и о том, что не раз, должно быть, легковерный Большая Черепаха, или доверчивый Топорик, ставил свой знак под договором, который ему неправильно зачитывали, и подписывал, сам не зная что, а потом наступал срок, и он оказывался беззащитным перед новыми хозяевами земли, доподлинными дикарями.

Незадолго до обеда, назначенного на ранний час, наш хозяин объявил, что несколько членов законодательного собрания хотят оказать нам честь своим посещением. Он еще прежде любезно предоставил в наше распоряжение будуар своей жены, и когда я попросил провести к нам гостей, он с грустью и опаской посмотрел на свой красивый ковер, но в ту минуту я был чем-то занят и не понял причины его смущения.

Думается, было бы куда приятнее для всех заинтересованных сторон, и, полагаю, не явилось бы посягательством на чью-то независимость, если бы кое-кто из джентльменов не только примирился с жалким предрассудком пользоваться плевательницей, но и на время снизошел бы до такой нелепой условности, как носовой платок.

Дождь по-прежнему лил как из ведра, и когда мы после обеда спустились к баркасу (на этом судне нам теперь предстояло следовать дальше), погода была такая беспросветная, такая безнадежно мокрая, что хуже не бывает. Да и самый вид судна, на котором мы должны были провести три или четыре дня, далеко не был отрадным: он наводил на недоуменные размышления о том, где же будут размещаться пассажиры ночью, и открывал широкое поле для догадок касательно прочих удобств — тоже не слишком утешительных.

Как бы то ни было, снаружи это была самая настоящая баржа, на которой был сооружен маленький домик; а внутри это был цыганский табор на ярмарке: джентльменов разместили как зрителей в одном из тех паноптикумов на колесах, где за пенни показывают разные

чудеса, а дам — за красной занавеской, точно карликов и великанов того же паноптикума, частная жизнь которых скрыта от посторонних глаз.

Итак, мы сидели в молчании и глядели на столики, выстроившиеся в два ряда вдоль стен каюты, и прислушивались к шуму дождя, заливавшего суденышко и с мрачным весельем хлюпавшего по воде,— дожидались поезда, из-за которого и задерживалось наше отплытие, ибо он должен был подбавить нам пассажиров. Он привез великое множество всяких ящиков, которые кое-как с грехом пополам закинули и разместили на крыше, что было так же мучительно, как если бы их ставили вам прямо на голову, не защищенную даже подушкой носильщика,— и несколько совершенно промокших пассажиров: от их одежды, когда они столпились возле печки, сразу пошел пар. Настроение наше было бы, конечно, куда лучше, если бы проливной дождь, хлеставший сейчас пуще прежнего, не лишал нас возможности открыть окно, или если бы нас было не тридцать, а немного меньше, но мы и пожалеть об этом не успели, как к буксирному канату подпрягли цугом трех лошадей, мальчишка, восседавший на передней из них, щелкнул кнутом, руль жалобно заскрипел и застонал, и мы пустились в путь.

ГЛАВА X

Еще о баркасе, порядках на нем и его пассажирах.— Через Аллеганы в Питтсбург.— Питтсбург

Так как дождь упорно не прекращался, мы все сидели внизу: промокшие джентльмены расположились вокруг печки, и под действием тепла платья их постепенно стали подсыхать, а сухие джентльмены либо растянулись на скамейках, либо дремали в неудобных позах, положив голову на стол, либо расхаживали взад и вперед по каюте, что возможно было только для человека среднего роста, а кто повыше — рисковал получить плешину, ободрав голову о потолок. Часов в шесть все столики были

сдвинуты, образовался один длинный стол, и пассажирам подали чай, кофе, хлеб, масло, лососину, пузанков, печенку, бифштексы, картофель, пикули, ветчину, отбивные котлеты, кровяную колбасу и сосиски.

— Не желаете ли,— говорит мне сидящий напротив пассажир, протягивая блюдо с картофельным пюре на молоке и масле,— не желаете ли отведать этой приправы?

Немного сыщется таких слов, которые выполняли бы столько разных функций, как это — самое ходкое слово в американском словаре, оно означает все что угодно. Вы заезжаете навестить джентльмена в провинциальном городке, и его слуга сообщит вам, что он «подправляет» свой туалет и сейчас выйдет, иными словами: что он одевается. Вы спросите пассажира на пароходе, не знает ли он, скоро ли будет завтрак, и он ответит вам, что, наверно, скоро, так как он недавно спускался вниз и там «оправляли столы», иначе говоря: стелили скатерти. Вы велите носильщику забрать ваш багаж, и он просит вас не волноваться: он «мигом управится»; а если вы пожалуетесь на недомогание, вам посоветуют обратиться к Доктору Такому-то: он вас живо «поправит».

Как-то вечером, сидя в гостинице, я попросил подать мне бутылку подогретого вина и очень долго ждал; наконец ее поставили передо мной, говоря, что хозяин-де просит извинения: может быть, вино «недостаточно приправлено». Потом еще вспоминается мне один обед на почтовой станции: я услышал тогда, как один весьма суровый джентльмен спросил официанта, подавшего ему недожаренный бифштекс, «уж не думает ли он, что *это* — приправа для самого господа бога?»

Можете не сомневаться, что ужин, за которым мне предложили блюдо, название которого и побудило меня сделать это отступление, поглощен был с волчьим аппетитом: джентльмены так глубоко засовывали в рот широкие ножи и двузубые вилки, что сравняться с ними мог бы разве что опытный фокусник; зато здесь ни один мужчина не сядет, пока не рассядутся дамы, и не упустит случая оказать им какую-нибудь маленькую услугу. За время моих странствий по Америке я ни разу ни при

каких обстоятельствах не видел, чтобы к женщине отнеслись грубо, неучтиво или хотя бы невнимательно.

К концу нашей трапезы дождь, словно исчерпав все свои запасы, тоже почти закончился, и можно было подняться на палубу, что явилось большим облегчением, хоть она и была очень мала, а из-за багажа, сваленного в кучу посредине и прикрытого брезентом, стала еще меньше: по обе стороны этой груды оставался лишь узенький проход, прогулка по которому требовала немалой сноровки, если вы не хотели бултыхнуться через борт в канал. Поначалу дело несколько усложнялось еще и тем, что каждые пять минут, когда рулевой кричал: «Мост!» — приходилось проворно приседать, а иной раз, когда он кричал: «Низкий мост!» — и вовсе ложиться ничком. Но человек ко всему привыкает, а мостов было столько, что в самое короткое время мы к этому приноровились.

С наступлением темноты показалась первая горная гряда — предвестница Аллеган, и местность, до сих пор малоинтересная, стала более своеобразной и холмистой. Влажная земля дымилась и курилась после обильного дождя, а лягушки (которые в здешних краях поднимают невероятный гвалт) так оглушительно квакали, точно по воздуху, вровень с нами, мчался миллион невидимых упряжек с колокольцами. Вечер был пасмурный, но из-за облаков проглядывала луна, и река Сасквиханна, когда мы ее пересекали — через нее переброшен необыкновенный деревянный мост в две галереи одна над другой, так что лошади, тянущие судно, могут свободно разойтись на нем,— казалась бурной и величественной.

Я уже упоминал, что сначала был в некотором сомнении и недоумении относительно устройства на ночь на нашем суденышке. В такой же тревоге я оставался часов до десяти, когда, спустившись вниз, обнаружил, что по обеим сторонам каюты в три яруса висят длинные книжные полки, предназначенные, по всей вероятности, для книжек форматом в одну восьмую листа. Однако приглядевшись к этому хитроумному устройству повнимательнее (и подивившись, зачем понадобилось в таком месте оборудовать библиотеку), я различил на каждой полке

одеяла и простыни микроскопической толщины — и только тут начал смутно догадываться, что роль библиотеки должны выполнять пассажиры и что им предстоит пролежать на боку на этих полках до утра.

Прийти к этому выводу мне помог и вид нескольких пассажиров, столпившихся у столика, за которым сидел хозяин судна,— они тянули жребий, и на их лицах читались все треволнения и страсти картежников; а другие, зажав в руке кусочек картона, уже лазали по полкам, отыскивая номера, соответствующие тем, которые они вытянули. Как только какому-нибудь джентльмену удавалось напасть на нужный номер, он тотчас вступал во владение койкой: раздевался и укладывался в постель. И быстрота, с какою взволнованный игрок превращался в спящего храпуна, была одним из самых поразительных явлений, какие мне случалось наблюдать. Что касается дам, то они уже улеглись за красной занавеской, тщательно задернутой и зашпиленной посредине, однако поскольку малейшее покашливание, чихание или шепот по ту сторону занавески были отлично слышны и с нашей стороны, то у нас было полное ощущение, что мы попрежнему находимся в их обществе.

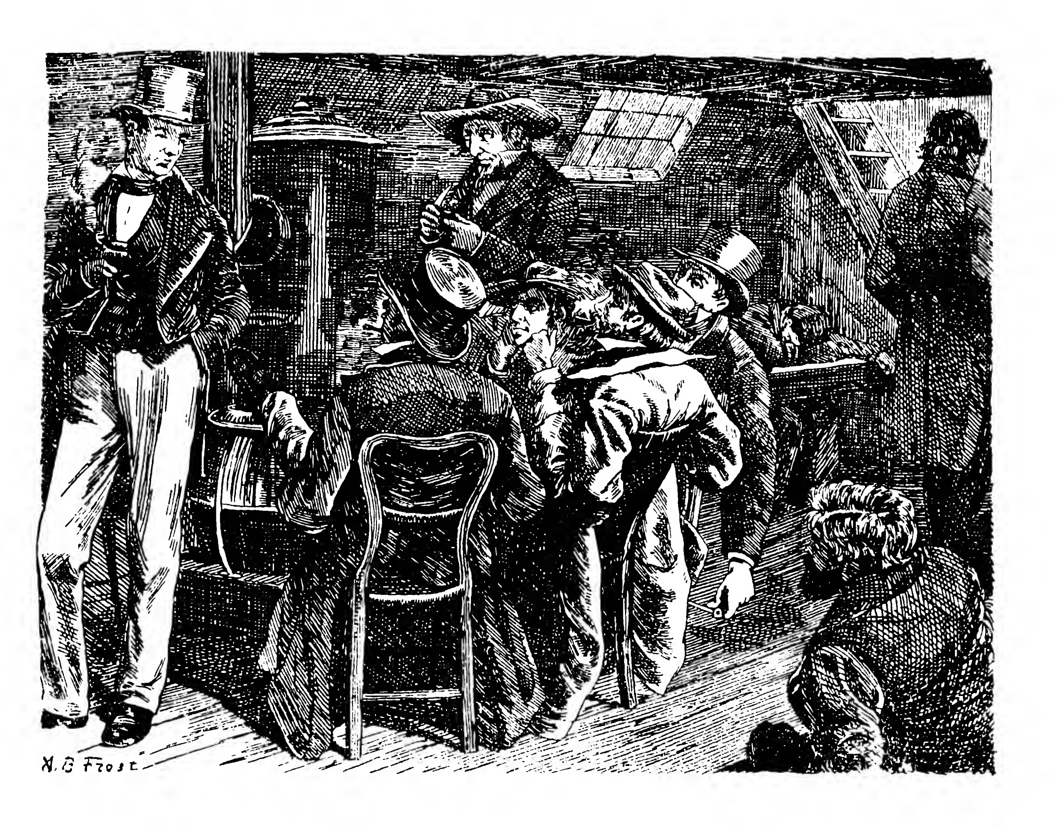
Благодаря любезности распорядителя мне предоставили полку в уголке, подле красной занавески, в некотором отдалении от основной массы спящих,— туда я и удалился, горячо поблагодарив его за внимание. Когда я потом смерил свою полку, она оказалась в ширину не больше обычного листа батской почтовой бумаги; * сперва я даже растерялся, не зная, как туда забраться. Но поскольку полка была нижняя, я, наконец, решил лечь на пол и осторожно вкатиться на нее, а как только почувствую под собой матрац — замереть и всю ночь лежать на том боку, на каком уж придется. К счастью, в нужный момент я оказался на спине. Взглянув наверх, я ужаснулся: по провисшей на пол-ярда койке (под тяжестью спящего она превратилась в подобие туго набитого мешка) я понял, что надо мной лежит очень тяжелый джентльмен, которого тонкие веревки, казалось, ни за что не выдержат,— и невольно подумал о том, как будут плакать моя жена и все семейство, если ночью он свалится на меня. Но так как вылезти я не мог иначе, как

ценой отчаянной возни, которая переполошила бы дам, и даже если бы мне это удалось, деваться все равно было некуда, я закрыл глаза на грозящую опасность и остался где был.

Одно из двух примечательных обстоятельств нашего путешествия несомненно связано с той категорией людей, которые ездят на таких судах. Либо они никак не могут угомониться и вовсе не спят, либо они плюются во сне, странным образом мешая реальный мир с воображаемым. Целую ночь напролет — и из ночи в ночь — на канале разыгрывался настоящий шторм или буря плевков; как-то раз мой пиджак оказался в самом центре урагана, созданного пятью джентльменами (и продвигавшегося вертикально, в строгом соответствии с теорией Рейда * о законе штормов), так что на другое утро, прежде чем надеть его, я вынужден был разложить пиджак на палубе и оттирать водой.

Между пятью и шестью часами утра мы встали, и кое-кто из нас поднялся на палубу, чтобы дать возможность убрать полки, тогда как другие, поскольку утро было очень холодное, собрались вокруг допотопной печурки, поддерживая разведенный в ней огонь и наполняя топку теми же доброхотными даяниями, на которые были так щедры всю ночь. Приспособления для умыванья оказались очень примитивными. К палубе прикован цепью жестяной черпак, и все, кто считал нужным умыться (многие были выше этой слабости), выуживали им из канала грязную воду и выливали в жестяной таз, равным образом прикрепленный к палубе. Тут же висело на ролике полотенце. А в баре, в непосредственной близости от хлеба, сыра и бисквитов, перед маленьким зеркальцем висели гребенка и головная щетка — для всех.

В восемь часов, когда полки были сняты и убраны, а столики составлены вместе, все уселись за «табльдот», и нам снова подали чай, кофе, хлеб, масло, лососину, пузанков, печенку, бифштексы, пикули, картофель, ветчину, отбивные, кровяную колбасу и сосиски. Многим нравилось устраивать из всего этого своеобразную смесь, и они клали себе на тарелку все сразу. Каждый джентльмен, поглотив потребное ему количество чая, кофе, хлеба, масла, лососины, пузанков, печенки, бифштексов, карто-


A. B. Frost

феля, пикулей, ветчины, отбивных, кровяной колбасы и сосисок, вставал и уходил. Когда все отведали всего, остатки были убраны, а один из стюардов, появившись уже в роли парикмахера, принялся брить тех, кто желал побриться, тогда как остальные глазели на него или, позевывая, читали газеты. Обед был тем же завтраком, только без чая и кофе, а ужин и завтрак были в точности одинаковы.

На борту нашего судна был один джентльмен, румяный блондин в крапчатом шерстяном костюме — любезнейший человек. Он строил фразу не иначе, как вопросительно. И сам был олицетворенный вопрос. Вставал ли он или садился, сидел или ходил, гулял ли по палубе или вкушал трапезу,— он был всегда одинаков: по большому знаку вопроса в каждом глазу, два вопросительных знака в навостренных ушах, еще два — в курносом носу и задранном кверху подбородке, еще с полдюжины в уголках рта и самый большой — в волосах, мастерски зачесанных назад в виде этакого льняного кока. Каждая пуговица на его одежде словно бы говорила: «А? Что такое? Вы изволили что-то сказать? Не повторите ли еще раз?» Вот уж кто не дремал — совсем как та заколдованная молодая жена, что довела мужа до сумасшествия; он ни минуты не знал покоя; вечно жаждал ответов; постоянно что-то искал и не находил. Не было на свете человека, любопытнее его.

На мне в ту пору было длинное меховое пальто, и не успели мы отвалить от причала, как он уже принялся меня расспрашивать об этом пальто и о его цене: да где я его купил и когда, и что это за мех, и сколько оно весит, и сколько я за него заплатил. Потом он заметил на мне часы и спросил, а *это* сколько стоит, и не французские ли они, и где я такие достал, и как мне это удалось, и купил я их или же мне их подарили, и как они идут, и где заводятся, и когда я их завожу — каждый вечер или каждое утро, и не забывал ли я иногда завести их, а если забывал, то что тогда было? И откуда я сейчас еду, и куда держу путь, и куда поеду потом, и видел ли я президента, и что он сказал, а что я ему сказал, и что он сказал после того, что я ему сказал? Да ну? Как же это так! Не может быть!

Увидев, что удовлетворить его любопытство невозможно, на четвертом десятке вопросов я стал увиливать от ответа и, между прочим, объявил, что не знаю, из какого меха моя шуба. Быть может, по этой причине она и стала предметом его вожделения: когда я прогуливался, он обычно ходил за мной по пятам, заворачивал там, где заворачивал я и все старался получше разглядеть ее; а нередко с риском для жизни нырял за мной в узкие проходы — только бы лишний раз провести рукой по моей спине и погладить мех против ворса.

Был у нас на борту еще один занятный экземпляр, только другого рода. Это был мужчина среднего роста и среднего возраста, щупленький, с узеньким личиком, одетый в пыльный, желто-серый костюм. Первую половину пути он держался на редкость незаметно: я, право, не помню, чтобы он попадался мне на глаза до тех пор, пока волею обстоятельств его не вынесло на поверхность, как это часто бывает с великими людьми. События, которые его прославили, если вкратце рассказать, сложились так.

Канал доходит до подножия горы и здесь, понятно, обрывается; пассажиров перевозят через гору в каретах, а на другой стороне их принимает на борт другой баркас, точная копия первого. По каналу курсируют два типа пароходиков: одни называются «Экспресс», другие (проезд на них стоит дешевле) — «Пионер». Баркас «Пионер» первым приходит к подножию горы и ждет там пассажиров с «Экспресса», так как обе партии пассажиров переправляются через гору одновременно. Мы ехали на баркасе «Экспресс» и, когда, перевалив через гору, добрались до поджидавшего нас там другого баркаса, то оказалось, что владельцам пришло в голову прихватить на него и всех пассажиров с «Пионера»; народу, таким образом, набралось человек сорок пять, если не больше, да к тому же новые пассажиры были такого рода, что перспектива провести с ними ночь не представлялась заманчивой. Наши поворчали, как это бывает в таких случаях, но все-таки позволили нагрузить баркас до отказа; и мы поплыли дальше по каналу. Случись такое у нас на родине, я бы решительно воспротивился, но здесь я — иностранец и потому смолчал. Не так, однако, повел себя

тот пассажир. Пробившись сквозь толпу на палубе (а мы почти все были там) и не обращаясь ни к кому в частности, он произнес следующий монолог:

— Возможно, это устраивает *вас*, возможно, но *меня* это не устраивает. С этим, возможно, могут мириться те, кто из Восточных Штатов или кто учился в Бостоне, но не я — уж *это* бесспорно, и я вам прямо заявляю. Да. Я из красных лесов Миссисипи — вот *я* откуда, и солнце у нас, когда палит, так уж палит. Там, где я живу, оно не тусклое, ничуть не тусклое. Нет. Я житель красных лесов, вот я кто. Я не какой-нибудь белоручка. У нас нет неженок, где *я* живу. Мы народ грубый. Очень грубый. Если людям из Восточных Штатов и тем, кто учился в Бостоне, это нравится — прекрасно, а я не из такого теста и не так воспитан. Нет. Этой компании не мешает вправить мозги, вот оно что. Я им покажу — не на такого напали. Я им не понравлюсь, никак не понравлюсь. Напихали народу — прямо скажем, через край.

В конце каждой из этих коротких фраз он поворачивался на каблуках и шествовал в обратном направлении; закончив новую короткую фразу, резко останавливался и опять поворачивал назад.

Не берусь сказать, какой грозный смысл таился в словах этого жителя красных лесов,— знаю только, что все остальные пассажиры с восхищением и ужасом взирали на него, баркас вскоре вернулся к причалу, и нас избавили от всех «пионеров», каких лаской или таской удалось убедить сойти на берег.

Когда мы снова тронулись в путь, некоторые из наших храбрецов набрались храбрости признать, что наше положение улучшилось и отважились сказать: «Мы вам очень благодарны, сэр», на что обитатель красных лесов (махнув рукой и продолжая по-прежнему ходить взад и вперед по палубе) ответил: «Ни за что. Вы — не моего поля ягода. Могли бы сами за себя постоять — уж вы-то могли бы. *Я* проложил дорогу. Теперь белоручки и неженки из Восточных Штатов могут по ней идти, если угодно. Я не белоручка — нет. Я из красных лесов Миссисипи, вот *я* кто...» — и так далее и тому подобное. Учитывая его заслуги перед обществом, ему единодушно выделили на ночь один из столов — а из-за столов здесь

идет жестокая распря,— и на все время путешествия предоставили самый теплый уголок у печки. И он так и просидел там,— я ни разу не видел, чтобы он был чем-то занят, и не слышал от него больше ни слова, если не считать одной фразы, которую он пробормотал себе под нос с коротким вызывающим смешком, когда в Питтсбурге в темноте выгружали вещи и я среди сутолоки и суматохи споткнулся об него, выходя из каюты, на пороге которой он сидел, покуривая сигару: «Уж я-то не белоручка, нет. *Я* из красных лесов Миссисипи, черт побери!» Отсюда я делаю вывод, что у него вошло в привычку повторять эти слова, но подтвердить свой вывод под присягой я не мог бы даже по требованию моей королевы или же отечества.

Поскольку в нашем повествовании мы еще не дошли до Питтсбурга, могу заметить, что завтрак на судне был, пожалуй, наименее аппетитной трапезой, ибо в дополнение ко всяким острым ароматам, источаемым помянутыми яствами, от устроенной рядом стойки исходили пары джина, виски, бренди и рома, к которым явственно примешивался застоялый запах табака. Многие пассажиры (понятно, джентльмены) не особенно заботились о чистоте своего белья, которое подчас было таким же желто-бурым, как ручейки, вытекшие у них из уголков рта, когда они жевали табак, да так и засохшие. К тому же воздух еще не успевал очиститься от запаха, порожденного тридцатью только что убранными постелями, о которых время от времени более настойчиво напоминало появление некоей дичи, не числящейся в меню.

И все-таки, несмотря на эти нелады — а и в них я усматривал что-то забавное,— подобный способ путешествия не лишен был приятности, и я с большим удовольствием вспоминаю сейчас о многом. Даже выбежать в пять часов утра с голой шеей из смрадной каюты на грязную палубу, зачерпнуть ледяной воды, погрузить в нее голову и вытащить освеженную и пылающую от холода,— как это хорошо! Прогулка быстрым пружинистым шагом по бечевнику в промежутке между умыванием и завтраком, когда каждая вена и каждая артерия трепещут здоровьем; волшебная красота нарождающегося дня,

когда свет словно льется отовсюду; ленивое покачиванье судна, когда лежишь, ничего не делая, на палубе и смотришь на ярко-синее небо,— не смотришь, а погружаешь в него взгляд; бесшумное скольжение ночью мимо хмурых гор, ощетинившихся темными деревьями и вдруг взъярившихся где-то в высоте одной пламенеющей красной точкой — там невидимые люди лежат вкруг костра; мерцание ярких звезд, которых не тревожит ни шум колеса, ни свист пара, ни иной какой-либо звук,— только прозрачно журчит вода, рассекаемая нашим суденышком,— какие все это чистые радости.

Потом потянулись новые селения и одинокие хижины и бревенчатые дома,— зрелище особенно интересное для иностранца, прибывшего из старой, обжитой страны: хижины с простыми глиняными печами, сложенными снаружи, а рядом помещения для свиней, немногим хуже иного человеческого жилья; окна с выбитыми стеклами, заделанные старыми шляпами, тряпками, старыми досками, остатками одеял и бумагой; прямо под открытым небом стоят самодельные кухонные шкафы без дверец, где хранится скудная домашняя утварь — глиняные кувшины и горшки. Глазу не на чем отдохнуть: то поля пшеницы, густо усеянные корягами толстенных деревьев, то извечные болота и унылые топи, где сотни прогнивших стволов и спутанных ветвей мокнут в стоячей воде. А как угнетает вид огромных пространств, где поселенцы выжигают лес,— израненные тела деревьев лежат вокруг, точно трупы убитых, а среди них, то здесь, то там какой-нибудь черный, обугленный исполин вздымает к небу иссохшие руки и словно призывает проклятия на головы своих врагов. Порою ночью наш путь пролегал по пустынной теснине, похожей на проходы в Шотландских горах,— вода сверкала и отливала холодным блеском в свете луны, а высокие крутые холмы так близко подступали к нам, что, казалось, нет отсюда иного выхода, кроме узкой дорожки, оставшейся позади, но вдруг одна из мохнатых стен как бы разверзалась, пропуская нас в свою страшную пасть, и, заслонив от нас лунный свет, окутывала наш путь тенью и мраком.

Из Гаррисбурга мы выехали в пятницу. В субботу утром мы прибыли к подножию горы, через которую пе-

реваливают по железной дороге. Тут проложено по склону десять путей: пять для подъема и пять для спуска; безостановочно работающая машина втаскивает наверх и потом медленно спускает вниз вагончики; на сравнительно пологих участках прибегают к помощи лошадей или паровоза — смотря по обстоятельствам. В некоторых местах рельсы проложены по самому краю пропасти, и взор путешественника, выглянувшего из окна, не задерживаемый ни каменной, ни железной оградой, устремляется прямо в недра горы. Везут нас, однако, очень осторожно, не больше чем по два вагончика сразу. И пока принимаются такие меры, можно ничего не опасаться.

Чудесно было ехать вот так на большой скорости по гребню горы и смотреть вниз, в долину, залитую светом и радующую глаз нежностью красок: сквозь вершины деревьев мелькают разбросанные хижины; дети выбегают на порог; с лаем выскакивают собаки, которых мы видим, но не слышим; испуганные свиньи опрометью несутся домой; семьи сидят в незатейливых садиках; коровы с тупым безразличием смотрят вверх; мужчины без сюртука, но в жилетах глядят на свои недостроенные дома, обдумывая, что делать завтра, а мы, словно вихрь, мчимся вперед, высоко над ними. Когда же мы пообедали и вагончики, дребезжа и грохоча, покатились, влекомые под уклон собственной тяжестью,— было забавно смотреть, как далеко позади, отцепленный от нас паровоз, пыхтя, одиноко ползет вниз, словно огромное насекомое,— его зеленая с желтым спина так блестела на солнце, что, распусти он вдруг крылышки и умчись вдаль, никто, я думаю, ничуть бы не удивился. Но он очень деловито остановился неподалеку от нашей стоянки, на берегу канала, и, не успели мы отчалить, как, отдуваясь, уже снова полез в гору с пассажирами, ожидавшими нашего прибытия, чтобы проделать в обратном направлении тот путь, который привел нас сюда.

В понедельник вечером огни печей и стук молотков на берегах канала известили нас, что эта часть нашего путешествия подходит к концу. Миновав еще одно немыслимое сооружение, какое может только присниться — длинный акведук через реку Аллигени, еще более стран-

ный, чем Гаррисбургский мост, ибо это была настоящая деревянная зала с низким потолком, заполненная водой,— мы вынырнули на свежий воздух среди задворков уродливых строений, шатких переходов и лестниц, какие во множестве встречаешь у воды, будь то река, море, канал или канава; итак, мы в Питтсбурге.

Питтсбург похож на английский Бирмингем,— по крайней мере так утверждают его жители. Если не принимать во внимание его улиц, магазинов, домов, фургонов, фабрик, общественных зданий и населения, то возможно, что это и так. Над ним безусловно висит великое множество дыма, и он славится своими чугуноплавильными заводами. Помимо тюрьмы, о которой я уже упоминал, в городе есть неплохой арсенал и другие учреждения. Он красиво расположен на реке Аллигени, через которую переброшено два моста; прелестны и виллы богатых горожан, разбросанные по окрестным холмам. Поместили нас в превосходной гостинице и отменно обслуживали. В ней, как всегда, было полно постояльцев, она очень большая, и по фасаду ее тянется просторная колоннада.

Мы провели здесь три дня. Следующим намеченным нами пунктом был Цинциннати, и так как едут туда пароходом, а на Западе Соединенных Штатов пароходы в навигационный сезон обычно взлетают на воздух по два в неделю, представлялось разумным навести справки о сравнительной надежности судов, находившихся в ту пору на реке и ждавших отправления по этому маршруту. Больше всего нам рекомендовали «Мессенджер». Его отплытие переносилось со дня на день чуть не две недели — и всякий раз говорили, что уж завтра непременно,— но он все не уходил, и что-то не заметно было, чтобы капитан имел на этот счет твердое намерение. Но таков уж здесь обычай: ведь если закон обяжет вольного, независимого гражданина держать свое слово перед публикой, что же станется со свободой личности? Да так оно и для дела удобнее. Если пассажиров обманывают из деловых соображений или из деловых соображений чинят им неудобства, кто же, будучи сам истым дельцом, скажет: «С этим пора покончить»?

Торжественное оповещение о часе отхода судна про-

извело на меня столь сильное впечатление, что я тогда (еще не зная здешних порядков) хотел уже сломя голову мчаться на пароход, но получив в частном порядке доверительные сведения, что раньше пятницы, первого апреля, он не отойдет, мы со всеми удобствами прожили это время на суше и в полдень указанного дня взошли на борт.

ГЛАВА XI

Из Питтсбурга в Цинциннати на пароходе Западной линии.— Цинциннати

«Мессенджер» стоял у причала среди множества мощных пароходов, которые с высоты холмов вокруг гавани, да еще на фоне обрывистого противоположного берега казались не больше плавающих моделей. Он взял на борт человек сорок пассажиров, не считая бедного люда на нижней палубе, и через каких-нибудь полчаса мы отчалили в путь.

В нашем распоряжении была отдельная каюта на две койки, вход в которую был через дамскую каюту. Такое «местоположение» нашей каюты несомненно имело свои преимущества, так как находилась она на корме, а нам многократно и убедительно советовали держаться как можно дальше от носа, «поскольку взрывы на пароходах обычно бывают в передней части». Предупреждение это не было излишним, как убедительно доказывали обстоятельства не одного рокового случая, приключившегося за время нашего пребывания в Соединенных Штатах. Помимо этой удачи, с которой мы могли себя поздравить, несказанно отрадным было и то, что в нашем распоряжении имелся уголок, пусть совсем крохотный, где мы могли побыть одни; а так как каждая из маленьких спален, в числе которых была и наша, помимо двери в дамскую каюту, имела еще застекленную дверь, выходившую в узкий проход на палубе, куда редко забредали остальные пассажиры и где можно было посидеть в тишине и покое, любуясь сменой пейзажа, мы с большим удовольствием вступили во владение нашим новым жилищем.

Если местные пакетботы, описанные мною выше, не имеют никакого сходства с привычными для нас морскими судами, пароходы Западной линии еще более далеки от нашего представления о корабле. Не придумаю даже, с чем бы их сравнить и как описать.

Прежде всего, у них нет ни мачт, ни канатов, ни снастей, ни такелажа, ни какого-либо еще корабельного снаряжения, да и корпус их ничем не напоминает нос корабля, корму, борта или киль. Если бы не то, что они спущены на воду и являют взору два кожуха, прикрывающих гребные колеса, можно было бы подумать, что они предназначены для прямо противоположных целей,— скажем, для несения какой-то службы на суше, высоко в горах. Даже палубы и то на них не видно,— лишь длинный черный уродливый навес, усеянный хлопьями гари, а над ним — две железные трубы, выхлопная труба, через которую со свистом вырывается пар, и стеклянная штурвальная рубка. Затем, по мере того как вы переводите взгляд вниз, на воду, вам предстают стены, двери и окна кают, до того нелепо притулившихся друг к другу, точно это маленькая улочка, застроенная сообразно вкусам десяти домовладельцев; все это покоится на балках и столбах, опорой которым служит грязная баржа, всего на несколько дюймов поднимающаяся над уровнем воды; а в тесном пространстве между верхним сооружением и палубой этой баржи размещены топка и машины, открытые с боков любому ветру и любому дождю, какой он прихватит с собой по пути.

Когда проплываешь мимо такого судна ночью и видишь ничем, как я только что описал, не защищенное пламя, которое ревет и бушует под хрупким сооружением из крашеного дерева; видишь машины, никак не огороженные и не предохраняемые, работающие среди толпы зевак, переселенцев и детей, заполняющих нижнюю палубу, под надзором беспечных людей, познавших их тайны каких-нибудь полгода назад,— право же, кажется удивительным не обилие роковых катастроф, а то, что плавание на таких судах может вообще пройти благополучно.

Внутри через все судно тянется длинная узкая кают-компания, по обеим сторонам которой расположены пас-

сажирские каюты. Небольшая часть кают-компании, ближе к корме, отделена перегородкой и предоставлена дамам, противоположная же ее часть отведена под бар. Посредине стоит длинный стол, в каждом конце — по печке. Умываются на носу, на палубе. Устроено это несколько лучше, чем на баркасе, но не намного. Каким бы средством передвижения мы ни пользовались, везде американцы по части личной чистоплотности и общей гигиены отличались крайней неряшливостью и неопрятностью, и я склонен думать, что немало болезней проистекает отсюда.

Нам предстояло провести на борту «Мессенджера» три дня, и в Цинциннати (если обойдется без катастрофы), мы должны были прибыть в понедельник утром. Трижды в день мы собирались за трапезой. В семь часов завтракали, в половине первого — обедали и часов в шесть — ужинали. Всякий раз на стол подавалось очень много тарелок и блюд и на них очень немного снеди, так что хотя внешне это походило на пышное «пиршество», в действительности все сводилось к жалкой косточке,— это, конечно, не относится к тем, кто питает пристрастие к ломтику свеклы, кусочку пересушенного мяса, а также к сложным смесям из желтых пикулей, маиса, яблочного пюре и тыквы.

Иные не прочь полакомиться всем этим одновременно (да еще и консервированным компотом) в виде гарнира к жареной свинине. Обычно это диспептические леди и джентльмены, поедающие за завтраком и ужином неслыханное количество горячих кукурузных лепешек (столь же полезных для пищеварения, как запеченная в тесте подушечка для булавок). Те же, кто не имеет такой привычки и любит накладывать себе на тарелку разные кушанья порознь и понемножку, как правило мечтательно сосут свои ножи и вилки, прежде чем решить, за что приняться; затем вынимают их изо рта; кладут на тарелку; берут чего-нибудь с блюда, и весь процесс начинается сначала. Единственное питье, какое подают к обеду,— холодная вода в больших кувшинах. За столом никто ни с кем не разговаривает. Все пассажиры на редкость угрюмы, и кажется, что их гнетут какие-то невероятные тайны. Ни разговоров, ни смеха, ни веселья,

никакого общения — кроме совместного слюноизвержения, да и то молча, когда все соберутся у печки после очередного принятия пищи. Все тупо и вяло садятся за стол; напихивают себя пищей, точно завтраки, обеды и ужины существуют лишь для выполнения природных потребностей и не могут служить ни увеселением, ни удовольствием, и, проглотив в угрюмом молчании еду, угрюмо замыкаются в себе. Если бы не это животное утоление потребностей, можно было бы подумать, что вся мужская половина компании — унылые призраки бухгалтеров, скончавшихся за рабочим столом,— так они похожи на людей, утомленных делами и подсчетами. Гробовщики при исполнении служебных обязанностей показались бы весельчаками рядом с ними, а закуска на поминках, в сравнении со здешней едой,— настоящим пиршеством.

Публика, надо сказать, подобралась вся на одно лицо. Никакого разнообразия характеров. Едут примерно по одним и тем же делам, говорят и делают одно и то же и на один и тот же лад, следуя одной и той же скучной, безрадостной рутине. За всем этим длинным столом едва ли найдется человек, хоть чем-то отличный от своего соседа. Какое счастье, что как раз напротив меня сидит эта девочка лет пятнадцати с подбородком болтушки; воздавая ей должное, надо сказать, что и ведет она себя соответственно и полностью оправдывает почерк природы, ибо из всех маленьких говоруний, когда-либо нарушавших сонный покой дамской каюты, она была самой неугомонной. Хорошенькая молодая особа, которая сидит немножко дальше, всего лишь в прошлом месяце вышла замуж за молодого человека с бачками, который сидит за *ней*. Они собираются поселиться на самом крайнем Западе, где он прожил четыре года, но где она никогда не была. Оба они на днях перевернулись в карете (дурное предзнаменование в любом другом месте, где кареты не так часто переворачиваются), и у него забинтована голова, на которой еще не зажила рана. Она тогда тоже ушиблась и пролежала несколько дней без сознания, что сейчас не мешает ее глазкам ярко блестеть.

За этой четой сидит человек, который едет на несколько миль дальше места их назначения «благоустраи-

вать» недавно открытый медный рудник. Он везет с собой целую будущую деревню: несколько сборных домов и аппаратуру для выплавки меди. Везет он и людей. Частью это американцы, а частью ирландцы; они столпились на нижней палубе, где вчера вечером развлекались до глубокой ночи попеременно пальбой из пистолетов и пением псалмов.

Описанные мною люди, а также те немногие, что задержались за столом минут на двадцать, поднимаются и уходят. Уходим и мы и, пройдя через нашу маленькую каюту, усаживаемся в уединенной галерее снаружи.

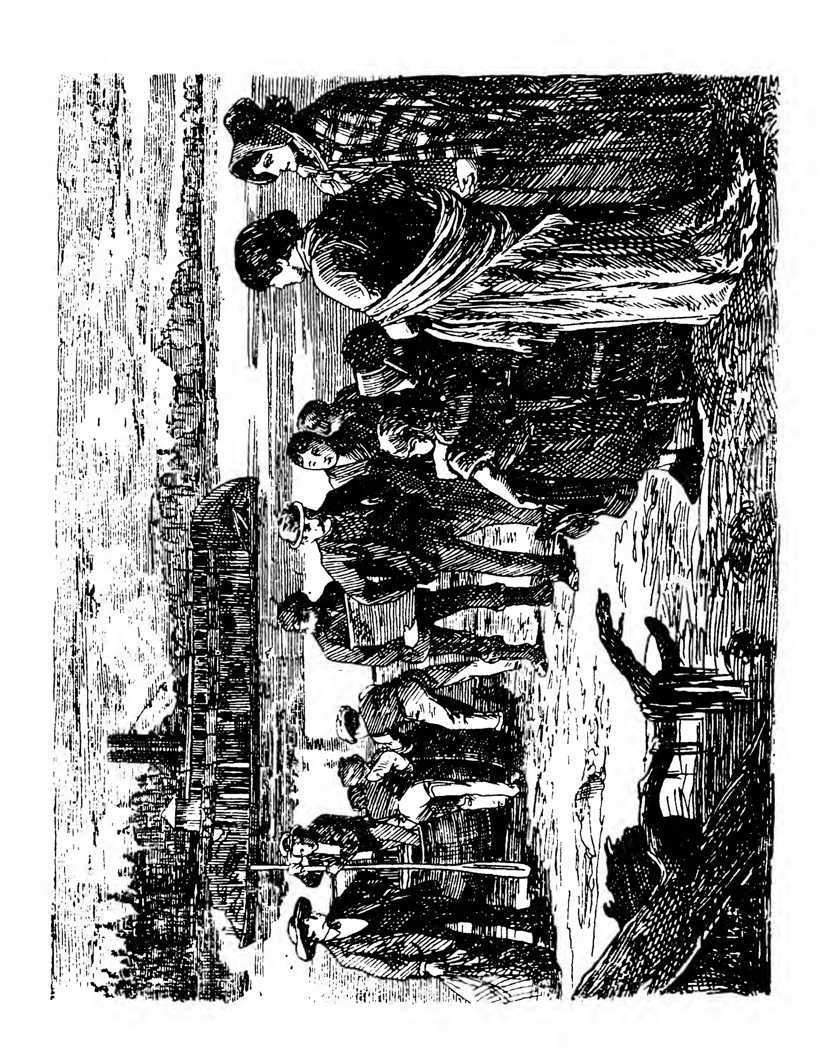
Все та же красивая большая река; в некоторых местах она чуть шире, чем в других,— тогда на ней обычно красуется зеленый островок, покрытый деревьями, который делит ее на два протока. Время от времени мы останавливаемся на несколько минут (где — запастись топливом, где — забрать пассажиров) у какого-нибудь городка или деревушки (я должен был бы сказать «города», ибо здесь всё только города̀), но большею частью плывем мимо пустынных берегов, поросших деревьями, которые уже покрылись ярко-зеленой листвой. На мили и мили тянутся эти пустынные места,— и ни признака человеческого жилья, ни следа человеческой ноги, вообще никакой жизни,— разве что мелькнет сизая сойка с таким ярким и в то же время нежным по цвету опереньем, что она кажется летящим цветком. Изредка — и все реже и реже — попадается бревенчатая хижина, прилепившаяся у склона холма, среди небольшой вырубки,— из трубы ее вьется голубой дымок прямо в небо. Стоит она у края жалкого пшеничного поля, испещренного огромными уродливыми пнями, похожими на вросшие в землю колоды мясника. Порою видно, что участок только что расчищен, поваленные деревья еще лежат на земле, а в хижину лишь нынешним утром перебрались обитатели. Когда мы проезжаем мимо такой вырубки, поселенец, опустив топор или молоток, задумчиво смотрит на людей из широкого мира. Из наспех сколоченной лачуги, похожей на цыганскую кибитку, поставленную на землю, высыпают дети,— они хлопают в ладони и кричат. Собака взглянет на нас и снова уставится в лицо

хозяину, точно ее беспокоит, что все прекратили работу, и нимало не интересуют проезжие бездельники. А передний план — все тот же. Река размыла берега, и величавые деревья попадали в воду. Иные пролежали здесь так долго, что превратились в высохший серый скелет. Иные только что рухнули, и, все еще держась корнями в земле, они купают в реке свою зеленую крону и пускают все новые побеги и ветви. Иные того и гляди повалятся. Иные затонули так давно, что их оголенные сучья торчат из воды посреди потока, и кажется, сейчас схватят судно и утащат на дно.

И среди всего этого, угрюмо пыхтя, движется неуклюжая громадина, при каждом обороте гребного колеса выпуская пар с таким ревом, что, думается, от него должно проснуться индейское воинство, погребенное вон там, под высоким курганом — настолько древним, что могучие дубы и лесные деревья пустили в нем корни, и настолько высоким, что он кажется настоящим холмом рядом с холмами, насажденными вокруг Природой. Даже река, словно и она сострадает вымершим племенам, которые так хорошо здесь жили сотни лет тому назад в святом неведении о существовании белых, отклоняется в сторону от намеченного пути, чтобы пожурчать у самого кургана,— и немного найдется таких мест, где Огайо сверкала бы ярче, чем у Большой Могилы.

Все это я вижу, сидя на узенькой галерее, про которую я писал выше. Вечерний сумрак медленно наползает, меняя расстилающийся передо мной пейзаж, как вдруг мы останавливаемся, чтобы высадить несколько переселенцев.

Пять мужчин, пять женщин и девочка. Все их достояние — мешок, большой ящик да старый стул с высокой спинкой и плетеным сиденьем, который и сам-то — бобыль-переселенец. Их отвозят на берег в лодке, так как здесь мелко, а судно стоит в некотором отдалении, поджидая ее. Высаживают их у высокого откоса,— наверху виднеется несколько бревенчатых хижин, к которым ведет только длинная извилистая тропинка. Надвигаются сумерки, но солнце еще ярко пламенеет, зажигая красным огнем воду, и вершины нескольких деревьев полыхают огнем.



Мужчины первыми выпрыгивают из лодки; помогают выйти женщинам; вытаскивают мешок, ящик, стул; говорят «до свидания» гребцам, помогают им столкнуть лодку в воду. При первом всплеске весел самая старая из женщин молча опускается на старый стул, у края воды. Больше никто не садится, хотя на ящике хватило бы места для всех. Они стоят, где их высадили, точно окаменев, и смотрят вслед лодке. Стоят, не шелохнувшись, молча, вокруг старушки и ее старого стула, не обращая внимания на то, что мешок и ящик брошены у самой воды,— взоры всех прикованы к лодке. Вот она подошла к пароходу, стала борт о борт, матросы поднялись на палубу, машины заработали, и мы пыхтя двинулись дальше. А они все стоят, даже рукой не махнули. Я вижу их в бинокль, хотя за дальностью расстояния и в сгустившейся темноте они кажутся лишь точками: они все еще мешкают, старушка по-прежнему сидит на своем старом стуле, остальные по-прежнему недвижно стоят вокруг нее. Так я их и теряю постепенно из виду.

Ночь опустилась темная, а в тени лесистого берега, где мы едем, и вовсе черно. Проплыв довольно долго под сенью темной массы переплетающихся ветвей, мы вдруг вынырнули на открытое место, где горели высокие деревья. Каждая веточка и каждый сучочек словно вычерчены багровым светом, и когда ветер слегка покачивает и колеблет их, кажется, что они произрастают в огне. О таком зрелище разве что прочтешь в какой-нибудь легенде про заколдованный лес,— только вот грустно смотреть, как эти благородные творения природы гибнут страшной смертью, в одиночку, и думать, сколько пройдет и сменится лет, прежде чем чудодейственные силы, создавшие их, вновь вырастят такие деревья. Но настанет время, когда в их остывшем пепле пустят корни растения еще не родившихся столетий и неугомонные люди далеких времен отправятся в эти вновь опустевшие места, а их собратья в далеких городах, что сейчас покоятся, быть может, под бурным морем, будут читать на языке, чуждом ныне любому уху, но им давно известном, о первобытных лесах, не знавших топора, о джунглях, где никогда не ступала нога человека.

Поздний час, и сон заволакивает эти картины и эти мысли, а когда снова наступает утро,— солнце золотит крыши домов шумного города, где к широкому мощеному причалу пришвартовалось наше судно рядом с другими судами, среди флагов, вращающихся колес и гулкого гомона снующих вокруг людей, точно и не было на протяжении целой тысячи миль этой пустыни, этого безмолвия.

Цинциннати — красивый город, оживленный, веселый и процветающий. Не часто можно встретить место, которое бы с первого взгляда произвело на иностранца такое хорошее и приятное впечатление, как эти чистенькие, белые с красным, домики, отлично вымощенные дороги и тротуары из цветного кирпича. Не разочаровывает вас и более близкое знакомство. Улицы здесь широкие и просторные, магазины — превосходные, частные дома отличаются изяществом и строгостью линий. В их разнообразных стилях видна изобретательность и выдумка, особенно порадовавшие нас после тупости, царившей на пароходе, ибо они как бы подтверждали, что такие качества еще существуют на свете. Стремление приукрасить эти хорошенькие виллы и сделать их еще более привлекательными ведет к тому, что здесь сажают много деревьев и цветов и разбивают садики, за которыми бережно ухаживают и один вид которых действует неизъяснимо освежающе и радует глаз пешехода. Меня положительно очаровал Цинциннати, равно как и гора Оберн в его предместье, откуда открывается поразительно красивый вид на город, лежащий в окружении холмов.

На следующий день после нашего прибытия здесь должен был состояться большой съезд поборников трезвенности *, и поскольку путь процессии, когда она проходила утром по городу, пролегал под окнами нашей гостиницы, я имел полную возможность наблюдать ее. В ней шло несколько тысяч человек — членов различных «Отделений вашингтонского общества трезвенности», а предводительствовали ею офицеры на конях, в развевающихся ярких шарфах и лентах, которые гарцевали взад и вперед вдоль рядов. Были тут и оркестры и несчетное множество знамен и плакатов — словом, живое, праздничное шествие.

Особенно приятно было мне увидеть здесь ирландцев, которые держались особняком и усиленно размахивали зелеными шарфами, высоко неся над головой свой национальный инструмент — арфу — и портрет отца Мэтью *. Вид у них был, по обыкновению, веселый и добродушный; и до чего же независимо они держатся, подумал я, хоть им и приходится здесь тяжко трудиться и, чтобы заработать себе на хлеб, браться за любой труд.

Плакаты были отлично нарисованы и величественно плыли по улице. На одном была изображена скала, разбиваемая могучим ударом, от которого забил родник; на другом — трезвенник с «увесистым топором» (как, наверно, сказал бы тот, кто нес плакат), замахнувшийся на змею, которая того и гляди прыгнет на него с бочонка со спиртом. Но главным в этом параде была огромная аллегория, которую несли корабельные плотники: на одной стороне плаката был изображен пакетбот «Алкоголь», разлетающийся в щепы от взрыва котла, а на другой — славное судно «Трезвенность», которое мчится с попутным ветром на всех парусах к вящему удовольствию капитана, команды и пассажиров.

Пройдя по городу, процессия должна была собраться в определенном месте, где, как указывалось в печатной программке, ее будут приветствовать дети, ученики различных бесплатных школ, которые «исполнят песни о трезвости». Я не сумел попасть туда вовремя, чтоб услышать маленьких певчих и рассказать об этом новом виде вокального увеселения,— новом во всяком случае для меня,— зато я увидел огромное заполненное демонстрантами поле, где каждое общество, собравшись вокруг своих знамен и плакатов, молча внимало своему оратору. Речи, судя по тому немногому, что мне пришлось услышать, безусловно, приличествовали случаю, ибо воды в них было столько, сколько можно выжать из мокрого одеяла, но главным было поведение и внешний вид слушателей на протяжении этого дня,— они являли собой поразительное и многообещающее зрелище.

Цинциннати заслуженно славится своими бесплатными школами, которых такое множество, что ни один проживающий в городе ребенок не может остаться без образования из-за отсутствия средств у родителей, ибо школы

здесь принимают до четырех тысяч учеников в год. Я посетил лишь одно из этих заведений в часы занятий. В классе для мальчиков, где я увидел очень много веселых ребятишек (в возрасте, по-моему, от шести до десяти — двенадцати лет), преподаватель предложил мне устроить экспромтом экзамен по алгебре, что я не без трепета отклонил, поскольку вовсе не был уверен, что сумею уловить ошибки. В школе для девочек мне предложили устроить проверку по чтению, и поскольку я чувствовал себя более или менее в силах оценить это искусство, я и выразил готовность прослушать учениц. Тогда им роздали книги, и пять или шесть девочек стали читать по очереди отрывки из истории Англии. Но, по-видимому, изложение было уж очень сухое и выше их понимания, а потому, когда, запинаясь, они преодолели три или четыре скучнейших пассажа об Амьенском договоре * и прочих увлекательных предметах подобного рода (явно не поняв и десяти слов), я сказал, что вполне удовлетворен. Возможно, они забрались по лестнице науки так высоко, чтобы поразить гостя, и в другое время они держатся ступенек пониже, но меня куда больше порадовало бы и удовлетворило, если бы им дали поупражняться при мне в каких-то более простых, понятных им вещах.

Как и во всех других местах, которые мне довелось посетить, судьи здесь обладают благородством нрава и целей. Я на несколько минут заглянул в одно судебное присутствие и нашел, что оно ничем не отличается от тех, которые я уже описал. Разбиралось какое-то мелкое дело, публики было немного, а свидетели, члены суда и присяжные чувствовали себя довольно уютно и весело, как в семейном кругу.

Люди, среди которых мне пришлось вращаться, были умны, любезны и приятны. Жители Цинциннати гордятся своим городом, как одним из самых примечательных в Америке,— и не без оснований: сейчас это прекрасный процветающий город с населением в пятьдесят тысяч душ, тогда как лет двести пятьдесят тому назад здесь шумели дикие леса (все это место было откуплено в те годы за несколько долларов), а населяла их горсточка поселенцев, ютившихся в бревенчатых хижинах на берегу реки.

ГЛАВА XII

Из Цинциннати в Луисвиль на одном пакетботе и из Луисвиля в Сент-Луис на другом.— Сент-Луис

Покинув Цинциннати в одиннадцать часов утра, мы направились в Луисвиль на пакетботе компании «Пайк»,— на нем везли почту, и потому он был более высокого класса, чем тот, на котором мы плыли из Питтсбурга. Поскольку на весь переезд требуется часов двенадцать — тринадцать, мы решили, что выберем такой пароход, который к ночи прибывал бы в Луисвиль, так как нас никогда не прельщал ночлег в каюте, если можно было поспать где-нибудь еще.

Случилось так, что на борту этого судна, помимо обычной унылой толпы пассажиров, находился некто Питчлин, вождь индейского племени чокто; он послал мне свою визитную карточку, и я имел удовольствие долго беседовать с ним.

Он превосходно говорил по-английски, хотя, по его словам, начал изучать язык уже взрослым юношей. Он прочел много книг, и поэзия Вальтера Скотта, видимо, произвела на него глубокое впечатление,— особенно вступление к «Деве с озера» и большая сцена боя в «Мармионе»: несомненно, его интерес и восторг объяснялись тем, что эти поэмы были глубоко созвучны его стремлениям и вкусам. Он, видимо, правильно понимал все прочитанное, и если какая-либо книга затрагивала его своим содержанием, она вызывала в нем горячий, непосредственный, я бы сказал даже страстный, отклик. Одет он был в наш обычный костюм, который свободно и с необыкновенным изяществом сидел на его стройной фигуре. Когда я высказал сожаление по поводу того, что вижу его не в национальной одежде, он на мгновение вскинул вверх правую руку, словно потрясая некиим тяжелым оружием, и, опустив ее, ответил, что его племя уже утратило многое поважнее одежды, а скоро и вовсе исчезнет с лица земли; но он прибавил с гордостью, что дома носит национальный костюм.

Он рассказал мне, что семнадцать месяцев не был в родных краях — к западу от Миссисипи — и теперь воз-

вращается домой. Все это время он провел по большей части в Вашингтоне в связи с переговорами, которые ведутся между его племенем и правительством,— они еще не пришли к благополучному завершению (сказал он грустно), и он опасается, не придут никогда: что могут поделать несколько бедных индейцев против людей, столь опытных в делах, как белые? Ему не нравилось в Вашингтоне: он быстро устает от городов — и больших и маленьких, его тянет в лес и прерии.

Я спросил его, что он думает о конгрессе. Он ответил с улыбкой, что в глазах индейца конгрессу не хватает достоинства.

Он сказал, что ему очень хотелось бы на своем веку побывать в Англии, и с большим интересом говорил о тех достопримечательностях, которые он бы там с удовольствием посмотрел. Он очень внимательно выслушал мой рассказ о той комнате в Британском музее, где хранятся предметы быта различных племен, переставших существовать тысячи лет тому назад, и нетрудно было заметить, что при этом он думал о постепенном вымирании своего народа.

Это навело нас на разговор о галерее мистера Кэтлина *, о которой он отозвался с большой похвалой, заметив, что в этой коллекции есть и его портрет и что сходство схвачено «превосходно». Мистер Купер, сказал он, хорошо обрисовал краснокожих; мой новый знакомый уверен, что это удалось бы и мне, если б я поехал с ним на его родину и стал охотиться на бизонов,— ему очень хотелось, чтобы я так и поступил. Когда я сказал ему, что даже если б я и поехал, то вряд ли бы нанес бизонам много вреда,— он воспринял мой ответ как остроумнейшую шутку и от души рассмеялся.

Он был замечательно красив; лет сорока с небольшим, как мне показалось. У него были длинные черные волосы, орлиный нос, широкие скулы, смуглая кожа и очень блестящие, острые, черные, пронзительные глаза. В живых осталось всего двадцать тысяч чокто, сказал он, и число их уменьшается с каждым днем. Некоторые его собратья-вожди принуждены были стать цивилизованными людьми и приобщиться к тем знаниям, которыми обладают белые, так как это было для них единственной воз-

можностью существовать. Но таких немного, остальные живут, как жили. Он задержался на этой теме и несколько раз повторил, что если они не постараются ассимилироваться со своими покорителями, то будут сметены с лица земли прогрессом цивилизованного общества.

Когда мы, прощаясь, пожимали друг другу руки, я сказал ему, что он непременно должен приехать в Англию, раз ему так хочется увидеть эту страну; что я надеюсь когда-нибудь встретиться с ним там и могу обещать, что его там примут тепло и доброжелательно. Мое заверение было ему явно приятно, хоть он и заметил, добродушно улыбаясь и лукаво покачивая головой, что англичане очень любили краснокожих в те времена, когда нуждались в их помощи, но не слишком беспокоились о них потом.

Он с достоинством откланялся,— самый безупречный прирожденный джентльмен, какого мне доводилось встречать,— и пошел прочь, выделяясь среди толпы пассажиров как существо иной породы. Вскоре после этого он прислал мне свою литографированную фотографию,— на ней он очень похож, хотя, пожалуй, не так красив; и я бережно храню этот портрет в память о нашем кратком знакомстве.

Никаких особенно живописных мест мы за этот день не проезжали и в полночь прибыли в Луисвиль. Ночевали мы в «Галт-Хаус» — великолепном отеле, где мы устроились так роскошно, словно находились в Париже, а не за сотни миль по ту сторону Аллеганских гор.

Поскольку в городе не было ничего настолько интересного, чтобы стоило здесь задержаться, мы решили на следующий же день пуститься дальше на другом пакетботе — «Фултон», на который мы должны были сесть около полуночи в пригороде, именуемом Портленд, где пакетбот будет ожидать впуска в канал.

Время после завтрака мы посвятили поездке по городу,— правильно распланированному и веселому: улицы его, пересекающиеся под прямыми углами, обсажены молодыми деревьями. Здания здесь закопченные и почерневшие от битуминозного угля, но англичанин вполне привычен к такому зрелищу и потому не склонен придираться. Тут не было заметно особого делового оживления,

а ряд недостроенных домов и незаконченных усовершенствований словно указывал на то, что город пережил строительную горячку в период увлечения «прогрессом» и теперь страдает от реакции, последовавшей за лихорадочным напряжением всех его сил.

По дороге в Портленд мы проехали мимо «Канцелярии мирового судьи», очень меня позабавившей,— она больше походила на школу, возглавляемую дамой-патронессой, чем на судебный орган, ибо это страшное учреждение занимало всего лишь маленькое, располагающее к лени, никудышное зальце с открытой террасой на улицу; две-три фигуры (вероятно, мировой судья и его приставы) грелись на солнышке,— воплощение истомы и покоя. Это была поистине Фемида *, удалившаяся от дел за недостатком клиентов: она продала меч и весы и теперь дремлет, устроившись поудобнее и положив ноги на стол.

Как и повсюду в здешних краях, дорога кишит свиньями всех возрастов: куда ни глянь — одни развалились и крепко спят, другие с хрюканьем бродят по дороге в поисках скрытых лакомств. Я всегда чувствовал необъяснимую нежность к этим нелепым животным и, когда не было других развлечений, находил неиссякаемый источник забавы в наблюдении за ними. В то утро во время нашей поездки я оказался свидетелем маленького инцидента между двумя поросятами, в котором было столько человеческого, что он мне казался тогда уморительно комичным, хотя в пересказе получится, боюсь, довольно пресным.

Один молодой джентльмен (деликатный боровок с несколькими соломинками, прилипшими к пятачку, что указывало на произведенные им недавно изыскания в навозной куче) в глубокой задумчивости шествовал по дороге, как вдруг перед его испуганным взором предстал его брат, который до сих пор лежал незамеченный в размытой дождем выбоине,— он весь был покрыт жидкой грязью и походил на привидение. Никогда еще все поросячье существо молодого джентльмена не бывало так потрясено! Он попятился по меньшей мере фута на три, секунду смотрел, не мигая, и затем пустился наутек; от быстрого бега и от ужаса его крошечный хвостик трясся,

как обезумевший маятник. Но, отбежав совсем недалеко, он стал рассуждать сам с собой о природе этого устрашающего видения и, раздумывая, постепенно замедлял бег; наконец он стал и обернулся. Все из той же выбоины смотрел на него брат, сплошь покрытый блестевшей на солнце грязью и бесконечно удивленный его поведением! Едва удостоверившись в этом,— а удостоверялся он так тщательно, что, казалось, вот-вот заслонит от солнца глаза ладонью, чтобы лучше видеть,— он помчался назад крупной рысью, набросился на брата и отхватил кончик его хвоста в порядке предупреждения: впредь, мол, будь поосторожнее и никогда больше не позволяй себе подобных шуток со своими родичами!

Когда мы пришли, пакетбот стоял у канала в ожидании медлительной процедуры пропуска через шлюз; и мы тотчас поднялись на борт; вскоре после этого к нам явился посетитель совсем особого рода — некий великан из Кентукки по имени Портер — человек ростом всего-навсего в семь футов восемь дюймов, если мерить без каблуков.

На земле еще не существовало племени, которое бы так наглядно опровергало историю, как эти самые великаны, или которое более жестоко оклеветали бы летописцы. Вместо того чтобы, рыча и опустошая все вокруг, вечно блуждать по миру в поисках новых припасов для своих людоедских кладовых и учинять беззаконные набеги на рынки,— они, оказывается, самые кроткие люди на земном шаре, склонные к молочной и растительной пище и готовые отдать все на свете за спокойную жизнь. Приветливость и мягкость их нрава настолько очевидны, что, сказать по совести, юнца, который прославился убийством этих беззащитных существ *, я считаю коварным бандитом: прикрываясь филантропическими побуждениями, он, должно быть, втайне прельстился только богатствами, накопленными в их замках, и надеждой на поживу. И я тем более склонен так думать, что даже певец этих подвигов, при всем пристрастии к своему герою, вынужден признать, что умерщвленные чудовища, о которых идет речь, отличались самым кротким и невинным нравом, были крайне простодушны и легковерны, слушали, разинув рот, самые неправдоподобные россказни,

легко попадались в ловушку и даже (как Великан из Уэллса) в чрезмерном радушии гостеприимных хозяев предпочли бы скорее отдать все до последнего, чем уличить гостя в мошенничестве и неблаговидной ловкости рук.

На примере великана из Кентукки лишний раз подтверждалась справедливость этого положения. Он страдал слабостью в коленках, и на его длинном лице читалась такая доверчивость, словно он готов был просить поощрения и поддержки даже у человека ростом в пять футов девять дюймов. Ему всего двадцать пять лет, сказал он, и вырос он лишь недавно,— вдруг выяснилось, что надо удлинять его невыразимые. В пятнадцать лет он был коротышкой, и тогда его отец англичанин и мать ирландка насмехались над ним, говоря, что он слишком мал, чтобы поддерживать престиж семьи. Он добавил, что слаб здоровьем, но, правда, последнее время ему стало лучше; впрочем, найдется немало коротышек, которые станут уверять шепотком, будто он пьет сверх меры.

Насколько я понимаю, он — кучер, хотя как он правит лошадьми, понять трудно — разве что становится на запятки и ложится всем телом на крышу экипажа, упершись подбородком в козлы. В качестве диковинки он захватил с собой свой пистолет. Окрестив его «Ружье-Малютка» и выставив у себя в витрине, любой мелочной торговец в Холборне нажил бы состояние. Показав себя и поболтав немного, он распростился с нами, захватил свой карманный «пистолетик» и стал пробираться к выходу из каюты, возвышаясь над людьми ростом в шесть футов и больше, точно маяк над фонарными столбами.

Несколько минут спустя мы вышли из канала и двинулись по реке Огайо.

Распорядок дня на судне был такой же, как на «Мессенджере», и пассажиры были такие же. Ели мы в те же часы и те же блюда, так же скучно и с соблюдением тех же традиций. Пассажиров, казалось, угнетала та же скрытность, и они так же не умели радоваться или веселиться. Никогда в жизни не видел я такой безысходной, тягостной скуки, какая царила на этом судне во время еды; даже воспоминание о ней давит меня, и я сразу начинаю чувствовать себя несчастным. Сидя у себя в каюте с кни-

гой или рукописью на коленях, я просто страшился наступления часа, который призывал меня к столу, и так рад был поскорее вырваться назад, словно еда была карой за грехи и преступления. Если бы нашими сотрапезниками были здоровое веселье и хорошее настроение, я мог бы макать корку хлеба в воду фонтана вместе с бродячим музыкантом Лесажа и радоваться такому приятному времяпрепровождению; но сидеть рядом со столькими себе подобными тварями, превращая утоление жажды и голода в какое-то деловое предприятие; наспех, подобно йэху, опустошать свою кормушку, а затем угрюмо красться прочь; видеть, что в этом общественном таинстве не осталось ничего, кроме алчного удовлетворения животных потребностей,— все это глубоко противно моей природе, и я совершенно убежден, что воспоминание об этих похоронных трапезах будет преследовать меня всю жизнь, как страшный сон.

Было на этом корабле и кое-что приятное, чего не было на других: капитан (простецкий добродушный малый) взял с собою в плаванье свою хорошенькую жену, очень общительную и милую, как и несколько других пассажирок, сидевших на нашем конце стола. Но ничто не могло противостоять удручающему настроению всей компании в целом. Это было какое-то магнетическое отупение, которое сломило бы самого бойкого остроумца на свете. Шутка показалась бы здесь преступлением, а улыбка превратилась бы в гримасу ужаса. Бесспорно, с тех пор как стоит мир, никогда и нигде еще не собирались вместе такие свинцово-тяжелые люди, своей чопорностью создававшие вокруг себя гнетущую, мертвящую, невыносимо тягостную атмосферу и немедленно заболевавшие несварением желудка от всего непосредственного, жизнерадостного, искреннего, общительного или задушевного.

Да и пейзаж, когда мы подошли к слиянию рек Огайо и Миссисипи, был далеко не вдохновляющим. Деревья здесь были чахлые и малорослые; берега низкие и плоские; бревенчатые поселения или одинокие хижины попадались реже и реже; а их обитатели выглядели более изнуренными и несчастными, чем все те, кого мы до сих пор встречали. В воздухе — ни пения птиц, ни живитель-

ных запахов, ни смены света и тени от быстро бегущих облаков. Час за часом смотрит, не мигая, на все ту же однообразную картину неизменно раскаленное, слепящее небо. Час за часом, медленно и устало, как само время, катит воды река.

Наконец к утру третьего дня мы прибыли в край настолько безотрадный, что даже самые пустынные места, которыми мы проезжали раньше, казались по сравнению с этим необычайно интересными. У слияния двух рек, на побережье столь плоском, низком и болотистом, что в известное время года дома здесь затопляет до самых крыш, находится рассадник малярии, лихорадки и смерти; это место славится в Англии как кладезь золотых надежд, и на этом спекулируют, прибегая к чудовищным преувеличениям, что влечет за собою разорение многих и многих. Омерзительное болото, где гниют недостроенные дома; кое-где расчищены небольшие участки в несколько ярдов, изобилующие отвратительной, зловредной растительностью, и под ее гибельной сенью несчастные скитальцы, которых удалось заманить сюда, чахнут, гибнут и складывают в землю свои кости. Воды постылой Миссисипи образуют здесь воронки и водовороты, и она поворачивает на юг, оставляя позади это склизкое чудище, на которое противно смотреть, этот очаг недугов, безобразную гробницу, могилу, не озаренную даже слабым проблеском надежды,— место, не скрашенное ни единым приятным свойством земли, воздуха или воды,— злосчастный Каир *.

Но какими словами описать Миссисипи, великую мать рек, у которой (слава богу!) нет детей, похожих на нее? Огромная канава, кое-где в две-три мили шириной, по которой со скоростью шести миль в час течет жидкая грязь; ее сильное и бурное течение повсюду стесняют и задерживают громадные стволы и целые деревья; они то сбиваются вместе, образуя большие плоты, в расщелинах которых вскипает ленивая болотная пена и остается потом качаться на волнах; то катятся мимо, словно гигантские тела, выставляя из воды сплетение корней, похожее на спутанные волосы; то скользят поодиночке, как исполинские пиявки; то крутятся и крутятся в воронке небольшого водоворота, как раненые змеи. Низкие берега,

карликовые деревья, кишащие лягушками болота, разбросанные там и сям жалкие хижины; их обитатели — бледные, с ввалившимися щеками; нестерпимый зной; москиты, проникающие в каждую щелку и трещину на корабле; и на всем грязь и плесень, ничего отрадного вокруг, кроме безобидных зарниц, которые каждую ночь полыхают на темном горизонте.

Два дня кряду мы пробивались вверх по бурлящему потоку, то и дело наталкиваясь на плавучие бревна или останавливаясь, чтобы избежать более опасных препятствий — коряг или топляков, то есть целых затонувших деревьев, корни которых лежат глубоко под водой. В очень темные ночи вахтенный на баке определяет по плеску воды приближение серьезной преграды и звонит в висящий рядом колокол, давая знак остановить машину; по ночам этому колоколу всегда хватает работы, а за звоном обычно следует толчок такой силы, что нелегко бывает удержаться на койке.

Зато закат здесь был поистине великолепен: он до самого зенита окрасил в багрец и золото небосвод. Солнце садилось за высоким берегом, и каждая былинка на этом огненном фоне вырисовывалась четко, точно прожилки в листе; а потом оно медленно опустилось за горизонт, красно-золотые полосы на воде потускнели и поблекли, словно и они опускались на дно; и когда все пламенеющие краски уходящего дня мало-помалу померкли, уступив место ночной темноте,— все вокруг стало в тысячу раз унылей и бесприютней, а вместе с закатом угасли и те чувства, которые он пробуждал.

Пока мы плыли по реке, мы пили ее грязную воду. Эта вода густа, как каша, но местные жители считают ее полезной для здоровья. Я видел подобную воду только в фильтрах водоочистительной станции, и больше нигде.

На четвертый вечер после отплытия из Луисвиля мы прибыли в Сент-Луис, и здесь я был свидетелем окончания одной истории, пустяшной, но очень милой и занимавшей меня на протяжении всего путешествия.

Среди пассажиров у нас на судне была маленькая мама с маленьким ребенком; и мама и младенец были веселые, миловидные, с ясными глазками,— на них приятно было смотреть. Маленькая мама возвращалась

из Нью-Йорка, где долго прогостила у своей больной матери, а из Сент-Луиса она уехала в состоянии, о котором мечтает каждая женщина, искренне любящая своего повелителя. Ребенок родился в доме бабушки, и молодая мать целый год не видела мужа (к которому теперь возвращалась), расставшись с ним спустя месяц или два после свадьбы.

И уж, конечно, на свете не бывало маленькой женщины, исполненной больших надежд, нежности, любви и тревоги, чем эта маленькая женщина: целый день она размышляла — придет ли *он* на пристань, и получил ли *он* ее письмо, и узнает ли *он* малютку при встрече, если она отправит его на берег с кем-нибудь другим,— чего, сказать по правде, было трудно ожидать, принимая во внимание, что он еще никогда не видел своего ребенка; но молодой матери это казалось вполне возможным. Она была таким бесхитростным маленьким созданием, и так вся светилась и сияла радостью, и так простодушно выкладывала то, что было у нее на сердце, что остальные пассажирки прониклись живейшим интересом к делу; капитан же (он узнал обо всем от своей жены) оказался удивительным хитрецом, могу вас уверить: всякий раз, как мы встречались за столом, он, как будто по забывчивости, осведомлялся, будет ли кто-нибудь встречать ее в Сент-Луисе, и думает ли она сойти на берег в тот же вечер, как мы туда прибудем (он-то лично полагал, что она предпочтет переночевать на судне), и отпускал немало других шуточек в том же роде. Была тут одна маленькая, сухонькая старушка с лицом, как печеное яблоко, которая не преминула усомниться вслух в верности мужей за время слишком длительной разлуки; и была тут еще одна дама (с маленькой собачкой), достаточно старая, чтобы морализировать насчет непрочности человеческих привязанностей, и, однако, не такая старая, чтобы не понянчить иногда малютку или не посмеяться с остальными, когда маленькая мама называла его именем отца и от полноты душевной задавала младенцу всевозможные фантастические вопросы, касавшиеся папаши.

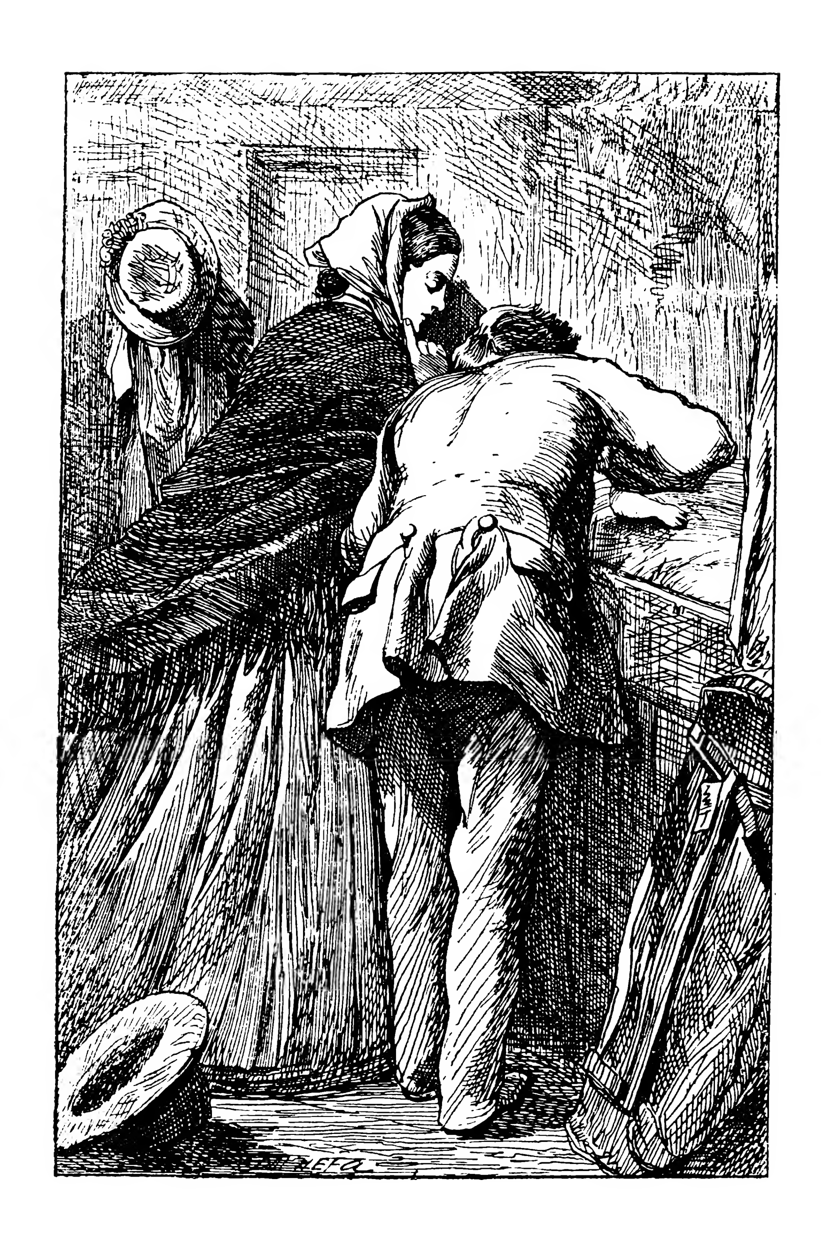
Когда до места нашего назначения осталось не более двадцати миль, малютку пришлось уложить в постель,—

что оказалось просто ударом для маленькой мамы. Но она это перенесла все с тем же добродушием: повязала платочком голову и вышла с остальными на палубу. А там,— каким она стала оракулом, как перечисляла места, мимо которых нам предстояло проезжать, и как подшучивали над нею замужние дамы! И как охотно к ним присоединялись незамужние! И какими взрывами смеха встречала каждую шутку маленькая мама (которая так же быстро могла бы расплакаться)!

Наконец вот они — огни Сент-Луиса, а там вон — пристань, а тут и сходни,— и маленькая мама, закрыв лицо руками и смеясь пуще прежнего (или делая вид, что смеется), бросилась к себе в каюту и там заперлась. Не сомневаюсь, хоть я и не мог видеть этого, что в очаровательной непоследовательности своего волнения она заткнула уши, чтобы не слышать, как *он* спрашивает о ней.

Потом на борт хлынула большая толпа, хотя корабль даже не успел стать на якорь, а все еще блуждал среди других судов, выбирая место для стоянки; и все искали глазами мужа, и никто не мог найти его, как вдруг среди нас — одному богу известно, как она здесь очутилась,— мы увидели маленькую маму, которая обеими руками крепко обняла за шею славного, симпатичного молодого крепыша; и вот мгновение спустя она уже чуть не хлопает в ладоши от радости, вталкивая мужа через маленькую дверцу в свою маленькую каюту, чтобы он посмотрел на спящего младенца.

Мы направились в большой отель под названием «Дом Плантатора»,— строение, похожее на английскую больницу, с длинными коридорами и голыми стенами, в которых над дверями, ведущими в номера, сделаны отверстия для свободной циркуляции воздуха. В нем было великое множество постояльцев, и когда мы подъехали, такое множество огней сверкало и сияло в окнах, освещая улицу внизу, словно здесь устроили иллюминацию по поводу какого-то праздника. Это прекрасное заведение, и его хозяева самым щедрым образом заботятся об удобствах своих гостей. Однажды, когда мы с женой обедали вдвоем в нашей комнате, я насчитал на столе сразу четырнадцать блюд.



В старой французской части города улицы узкие и кривые, у некоторых домов причудливый и живописный вид: они построены из дерева, перед окнами — шаткие галереи, на которые поднимаются с улицы по лестнице, или, точнее, стремянке. Есть в этом квартале забавные маленькие цирюльни, и кабачки, и масса нелепых старых построек с подслеповатыми оконцами, какие встречаются во Фландрии. В некоторых из этих странных обиталищ с мансардами и слуховыми окошками сохранилось нечто от французской манеры пожимать плечами, и кажется, что, скособочась от старости, они еще и голову склонили набок, будто выражая крайнее удивление по поводу американских новшеств.

Вряд ли надо говорить, что эти новшества представлены доками, складами и только что отстроенными зданиями, высящимися со всех сторон, а также большим количеством обширных планов, которые пока что находятся «в процессе осуществления». Дело все же продвигается, и некоторые очень хорошие дома, широкие улицы и облицованные мрамором магазины уже почти закончены; так что через несколько лет город несомненно станет куда лучше, хотя изяществом и красотой вряд ли сможет когда-либо соперничать с Цинциннати.

Здесь преобладает римско-католическая вера, заведенная первыми французскими поселенцами. Из общественных учреждений следует упомянуть иезуитский колледж, женский монастырь Святого сердца и большую церковь при колледже, которую как раз строили, когда я был в городе: ее предполагалось освятить второго декабря следующего года. Зодчий этого здания — один из отцов-иезуитов, преподающих в колледже, и работы ведутся единственно под его руководством. Оргàн они выписали из Бельгии.

Помимо этих заведений имеется еще римско-католический кафедральный собор св. Франциска Ксаверия, а также больница, построенная щедротами покойного горожанина из числа прихожан этого собора. Собор посылает к индейским племенам миссионеров из своего капитула.

Унитарная церковь в этой глуши, как, впрочем, и во многих других местах Америки, представлена джентльменом высоких достоинств. У бедняков есть немало осно-

ваний благословлять эту церковь и поминать ее добром: она поддерживает их, способствует делу разумного просвещения не из каких-либо сектантских или эгоистических интересов. Она либеральна в своих действиях, снисходительна и доброжелательна.

В городе — три бесплатные школы, которые уже отстроены и работают вовсю. Четвертая еще строится, но скоро и она будет открыта.

Ни один человек никогда не признается вам, что местность, где он живет, нездоровая (если только он не собирается уезжать оттуда), а потому обитатели Сент-Луиса станут оспаривать мои слова, если я подвергну сомнению безусловную благотворность их климата и выскажусь в том смысле, что летом и осенью он должен, по-моему, способствовать лихорадкам. Добавлю лишь, что тут очень жарко, что город лежит между большими реками и что вокруг него тянутся обширные неосушенные болота, и предоставлю читателю самому составить мнение о нем.

У меня явилось сильное желание, прежде чем вернуться из самого дальнего пункта моего путешествия, посмотреть прерию; и поскольку некоторые джентльмены из числа моих городских знакомых, стремясь оказать мне внимание и проявить гостеприимство, охотно пошли мне в этом навстречу, был тут же назначен день моего отъезда в Зеркальную долину, расположенную в тридцати милях от города. Полагая, что мои читатели не станут возражать против того, чтобы я поведал им, как протекает подобная увеселительная поездка в чужих краях и как она там обставляется, я в следующей главе опишу эту нашу прогулку.

ГЛАВА XIII

Поездка в Зеркальную долину и обратно

Начну с того, что слово «прерия» произносят здесь на разные лады: и, пожалуй, чаще всего — «пэрейра».

Нас было четырнадцать человек — и народ все молодой: своеобразной, но вполне естественной чертой этих

далеких поселений является то, что жители их — преимущественно искатели приключений в расцвете лет, а стариков тут почти не встретишь. Дам мы с собой не взяли, так как поездка предстояла утомительная и в путь мы собирались двинуться ровно в пять утра.

Я просил разбудить меня в четыре, чтобы не заставлять себя ждать; позавтракав хлебом с молоком, я распахнул окно и высунулся на улицу, рассчитывая увидеть всю компанию в сборе за деятельными приготовлениями к отъезду. Но поскольку все было тихо, а улица предлагала взору ту безрадостную картину, какую являют собою улицы любого города в пять часов утра, я почел самым правильным снова лечь в постель и действительно лег.

Теперь я проснулся в семь часов; к этому времени компания наша уже была на месте и собралась вокруг одной легкой кареты на могучей оси; еще чего-то на колесах — вроде тележки носильщика-любителя; одного двухместного фаэтона, весьма древнего и невиданной конструкции; одной двуколки с огромной пробоиной позади и сломанным передком; и одного верхового, который должен был ехать впереди. Я забрался с тремя из моих спутников в первый экипаж, остальные разместились в прочих повозках; две огромные корзины привязали к самой легкой из них; два огромных глиняных кувшина в плетенках, известные под техническим термином «полуджончик», препоручили заботам «наименее буйного» члена компании; и процессия двинулась к парому, на котором ей предстояло перебраться через реку в полном составе — люди, лошади, экипажи и прочее,— как принято в здешних местах.

Мы причалили к противоположному берегу и выстроились перед небольшой деревянной коробкой на колесах, которая, накренившись набок, увязла в грязи,— на дверце ее огромными буквами было написано «Портной. Готовые изделия». Установив порядок следования и разработав маршрут, мы снова двинулись в путь и стали пробираться по весьма непривлекательной черной лощине, которую здесь называют, не так уж выразительно, Американским долом.

Накануне было мало сказать жарко, ибо это слово слабое и вялое и не дает представления о палящем зное. Казалось, город был объят огнем; в нем бушевало пламя. Однако с вечера начался ливень и хлестал всю ночь напролет. В нашу колымагу была впряжена пара очень сильных лошадей, но делали мы едва две мили в час, пробираясь по сплошному болоту — месиву из черной грязи и воды. Для разнообразия менялась только глубина. То она доходила до половины колес, то покрывала ось, а то карета погружалась чуть не до окон. Со всех сторон неслось громкое кваканье лягушек, которые вместе со свиньями (крупными уродливыми животными, такими с виду заморенными, точно они были спонтанным порождением этого края) заполонили все вокруг. Время от времени на пути нашем попадался бревенчатый домик; но эти жалкие лачуги отстояли далеко друг от друга, и было их, в общем, немного, потому что, хотя почва здесь богатая, мало кто может жить в этом убийственном климате. По обеим сторонам дороги, если она заслуживает этого названия, рос густой кустарник; и всюду — стоячая, вязкая, гнилая, грязная вода.

В здешних местах принято давать лошади, когда она в мыле, галлон-другой холодной воды,— для этой цели мы и остановились у хижины-гостиницы, расположенной в лесу, далеко от всякого жилья. Все заведение состояло из одной комнаты, конечно с некрашеным потолком, голыми бревенчатыми стенами и с сеновалом наверху. Обязанности верховного жреца здесь выполнял чумазый молодой дикарь в рубахе из полосатой бумажной материи для наматрасников и в драных штанах. Кроме него, тут было еще два полуголых юнца, валявшихся у колодца; и они, и он, и единственный постоялец-путешественник — все повернулись и уставились на нас.

Путешественник, старик с седой косматой бородой длиною в два дюйма, такими же торчащими усами и мощными бровями, почти закрывавшими ленивые, затуманенные, как у пьяницы, глаза, стоял и, скрестив руки, покачиваясь с носка на каблук, смотрел на нас. Кто-то из наших окликнул его; тогда он подошел ближе и, потирая подбородок, заскрипевший под его мозолистой рукой, точно свеженасыпанный песок под башмаком на гвоздях,

сообщил, что он из Делавера и недавно купил ферму «вон там» — при этом он указал на топь, где особенно буйно разрослись низкорослые деревья. А «идет» он, добавил наш собеседник, в Сент-Луис за семьей, которая там осталась,— только он, видимо, вовсе не спешил привезти эту обузу, ибо, когда мы отъехали, не торопясь направился обратно в хижину, явно намереваясь пробыть здесь до тех пор, пока не кончатся деньги. Он был, конечно, великим политиком и довольно пространно изложил свои взгляды одному из наших; но мне запомнились лишь две его последние фразы, из коих одна гласила: «Только за такого-то и к черту всех остальных!» — что может служить отнюдь не дурным изложением общей точки зрения по этим вопросам.

Когда лошадей раздуло примерно в два раза против их обычного объема (здесь, видимо, считают, что такого рода надувание улучшает их бег), мы двинулись дальше по грязи и трясине, в сырости и гнилостной жаре, продираясь сквозь тернистые заросли под неизменный аккомпанемент лягушек и свиней, и, наконец, около полудня прибыли в местечко под названием Бельвиль.

Бельвиль представлял собою небольшое скопление деревянных домиков, сгрудившихся в самом сердце кустарниковых зарослей и болот. У многих домиков были необычайно яркие, красные с желтым двери: здесь побывал недавно один бродячий художник, который, как мне объяснили, «работал за еду». В момент нашего приезда тут как раз заседал суд по уголовным делам — судили конокрадов, и, должно быть, им крепко достанется, так как в лесах, где любой домашний скот очень не легко уберечь, жизнь скотины ценится обществом куда выше человеческой, и присяжные, рассматривая дела о краже скота, всегда склонны признать человека виновным, независимо от того, действительно украл он или нет.

Лошади, принадлежавшие присяжным, судье и свидетелям, были привязаны у временных кормушек, наспех сооруженных у дороги, под каковою подразумевается лесная тропа, где ноги по колено вязнут в грязи и тине.

Есть в городке и отель, где, как и во всех американских отелях, имеется огромная столовая с общим столом.

Помещается она в несуразной кособокой пристройке с низким потолком,— наполовину коровнике, наполовину кухне; на столе вместо скатерти — грубый бурый холст, а к стенам прибиты жестяные подсвечники, в которых за ужином горят свечи. Наш верховой поскакал вперед, чтобы заказать там для нас кофе и какую-нибудь еду, и к нашему приезду все было почти готово. Он заказал «белый хлеб и кур с приправой», предпочтя это «кукурузным лепешкам и обыкновенной закуске». Последнюю составляла только свинина и бекон. А первая включала вареную ветчину, сосиски, телячьи котлеты, бифштексы и прочие мясные блюда, которые при широкой поэтической трактовке слова, пожалуй, могли недурно «приправить» курицу в пищеварительных органах какой угодно леди или джентльмена.

На одном из дверных косяков этой гостиницы красовалась оловянная дощечка, на которой золотыми буквами было выведено: «Доктор Крокус», а на листочке бумаги, наклеенном рядом с дощечкой, значилось, что доктор Крокус сегодня вечером прочтет для бельвильской публики лекцию по френологии; входная плата — столько-то с души.

Забредя на второй этаж, пока готовились «куры с приправой», я очутился перед дверью в комнату доктора; и так как она оказалась открытой настежь, а в комнате никого не было, я осмелился заглянуть внутрь.

Это была пустая, неуютная, необставленная комната; над кроватью в головах висел портрет без рамы — сам доктор, решил я, судя по высокому открытому лбу и особому вниманию, уделенному художником его френологическим особенностям. Кровать была застелена старым лоскутным одеялом. В комнате не было ни коврика, ни занавесок. Не было и печки — только остывший, забитый золой камин; стул и совсем маленький столик; а на этом последнем предмете обстановки помпезно выставленная библиотека доктора, состоящая из полудюжины старых замусоленных книжек.

Словом, на всей земле едва ли сыщешь помещение, где человек чувствовал бы себя менее уютно. Однако дверь, как я уже говорил, была гостеприимно распахнута и вместе со стулом, портретом, столом и книгами словно

приглашала: «Заходите, джентльмены, заходите! Зачем же болеть, джентльмены, когда вы можете очень быстро восстановить свое здоровье. Доктор Крокус, джентльмены, прославленный доктор Крокус здесь! Доктор Крокус приехал в эту глушь, чтобы исцелить вас, джентльмены. Если вы не слыхали о докторе Крокусе, то не его это вина, джентльмены: не надо было вам забираться в такое захолустье. Заходите, джентльмены, заходите!»

Сойдя снова вниз, я столкнулся в коридоре с самим доктором Крокусом. Народу было довольно много — как раз кончился суд, и все хлынули сюда; чей-то голос крикнул хозяину:

— Эй, полковник! Представьте доктора Крокуса.

— Мистер Диккенс,— сказал полковник,— доктор Крокус.

Тут доктор Крокус, высокий красивый шотландец, но слишком свирепый и воинственный с виду для человека, занимающегося мирным искусством врачевания, поспешно отделился от толпы и, протянув мне правую руку и насколько можно выпятив грудь, сказал:

— Ваш соотечественник, сэр!

Мы с доктором Крокусом обмениваемся рукопожатием; и вид у доктора Крокуса такой, точно я никак не оправдал его ожиданий; да, верно, и впрямь не оправдал: я был без перчаток, в полотняной блузе и большой соломенной шляпе с зеленой лентой, а лицо мое и нос были сплошь изукрашены отметинами от жала москитов и клопиных укусов.

— Давно в этих краях, сэр? — говорю я.

— Три или четыре месяца, сэр,— говорит доктор.

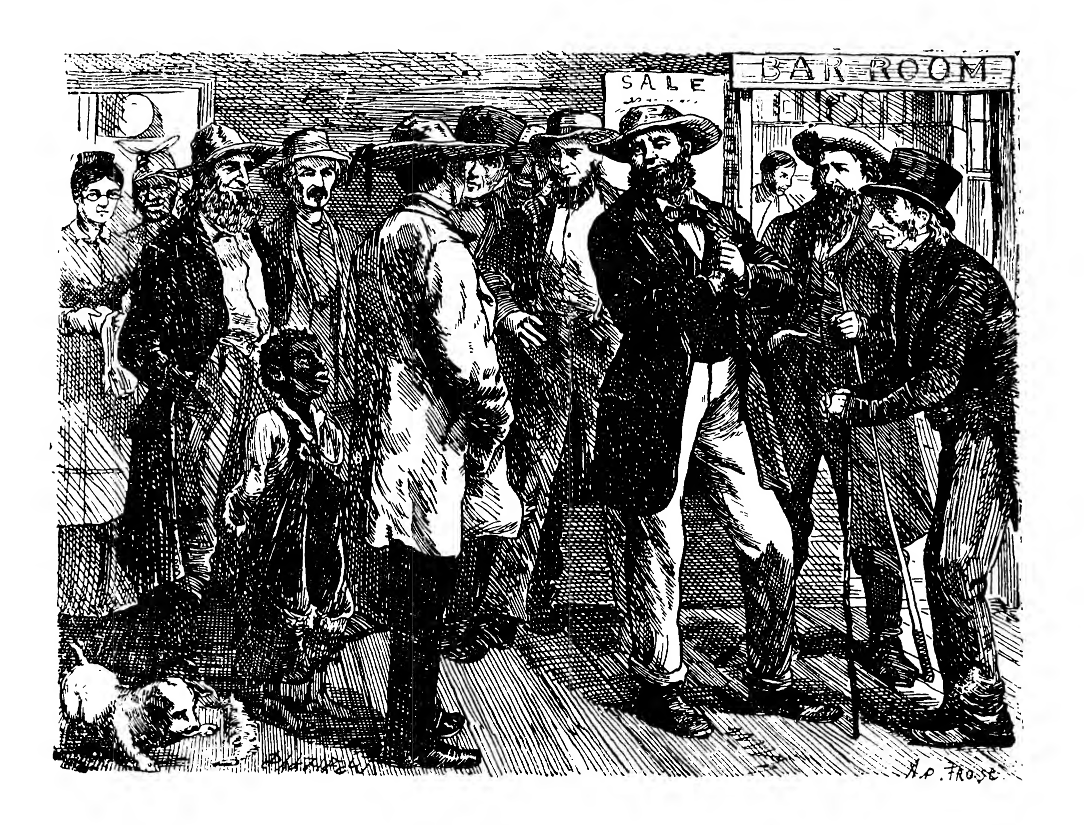
— Скоро думаете вернуться на родину? — говорю я.

Доктор Крокус ничего на это не ответствует,— лишь бросает на меня умоляющий взгляд, который ясно говорит: «Задайте мне, пожалуйста, этот вопрос еще раз и погромче, хорошо?». Я повторяю вопрос.

— Скоро ли я думаю вернуться на родину, сэр? — повторяет доктор.

— Да, на родину, сэр,— подтверждаю я.

Доктор Крокус оглядывает толпу, проверяя, какое все это производит на нее впечатление, и, потирая руки, очень громко говорит:


BAR ROOM
SALE

— Нет, сэр, не скоро, мы тут еще поживем. Меня теперь так легко не поймаешь! Слишком я люблю свободу, сэр. Ха-ха!.. Не так-то просто человеку уехать из свободной страны, сэр. Ха-ха!.. Нет, нет! Ха-ха!.. Сами на это не пойдем, пока нас не принудят, сэр. Нет, нет!

При последних словах доктор Крокус с понимающим видом покачал головой и снова разразился смехом. Многие из стоящих вокруг тоже качают головой в знак согласия с доктором, тоже смеются и поглядывают друг на друга, как бы говоря: «Остроумный малый, этот Крокус, парень что надо!» И, если я хоть что-то смыслю, в тот вечер на лекции оказалось, конечно, немало людей, в жизни не думавших ни о френологии, ни о докторе Крокусе.

Из Бельвиля мы двинулись дальше по той же унылой, пустынной местности и ехали под непрестанный, ни на секунду не смолкавший аккомпанемент все той же музыки. В три часа пополудни мы сделали новый привал у деревни Ливан,— чтобы еще раз накачать водой лошадей и вдобавок дать им подкрепиться кукурузой, в чем они очень нуждались. Пока совершалась эта церемония, я направился в деревню; по дороге мне повстречался довольно большой дом, который рысью тащили под гору более десятка волов.

Местный трактир оказался такой приличный и чистенький, что устроители нашей прогулки надумали вернуться к вечеру сюда и, если удастся, заночевать. Такое решение всем понравилось, и так как наши лошади к этому времени уже отдохнули, мы снова двинулись в путь и на закате подъехали к прерии.

Трудно сказать отчего и почему — оттого, должно быть, что я много читал и слышал о прериях,— но я был разочарован тем, что увидел. Передо мной, убегая вдаль, к заходящему солнцу, расстилалась бесконечная равнина, и только узкая полоска деревьев, словно легкая царапина, нарушала ее однообразие; так она стлалась до горизонта, а там, сойдясь с пылающим небом, как бы растворялась в его ярких красках и сливалась с далекой голубизной. Она лежала, как тихое море или озеро без воды — если допустима такая метафора,— и день над ней клонился к закату; несколько птиц парило здесь и там,

а вокруг — покой и тишина. Трава была еще невысокая, и кое-где чернела заплатами голая земля, а полевые цветы — те немногие, что попались мне на глаза,— были неяркие и росли не густо. При всей грандиозности панорамы, самая протяженность и плоская поверхность прерии, не дающая никакой зацепки воображению, делают ее непривлекательной и неинтересной. Я, например, не ощутил того приволья и той восторженной приподнятости, какие чувствуешь при виде вересковой степи или даже наших английских меловых холмов. Здесь было пустынно и дико, но это голое однообразие угнетало душу. И я подумал, что, пересекая прерию, никогда бы не мог все забыть и раствориться в окружающем, как это неизменно происходило со мной, когда я, бывало, почувствую вереск под ногами или выйду к скалистому берегу,— нет, я только поглядывал бы то и дело на далекую и все отступающую линию горизонта с желанием поскорей добраться до нее и миновать. Зрелище это невозможно забыть, но едва ли, мне кажется, станешь с удовольствием вспоминать прерию (во всяком случае, такую, какой я увидел ее) или захочешь поглядеть на нее еще раз в жизни.

Мы устроили привал у одинокой бревенчатой хижины — ради воды — и пообедали в прерии. В корзинах у нас оказалась жареная дичь, буйволовый язык (кстати, весьма тонкое лакомство), ветчина, хлеб, сыр и масло; печенье, шампанское, херес; лимоны и сахар для пунша; а также в изобилии рис. Ужин получился превосходный, а хозяева были на редкость добры и радушны. Я часто с удовольствием вспоминал потом эту веселую компанию, и никакие пирушки под открытым небом, пусть даже с давними друзьями и поближе к дому, не изгонят из моей памяти веселых собутыльников, с которыми мы пировали в прерии.

Поздно вечером мы вернулись в Ливан и заночевали в трактире, где останавливались днем. По чистоте и удобствам он едва ли уступил бы любой, даже самой уютной сельской харчевне в Англии.

Встав наутро в пять часов, я отправился прогуляться по деревне; на этот раз ни один из домов не странствовал, хотя, возможно, для этого еще было рано; и я развлечения ради пошел побродить по довольно странному

скотному двору за трактиром. Чего тут только не было: и множество каких-то нелепых, наспех сколоченных сараев, служивших конюшней; и грубое подобие колоннады, построенной, чтобы в тени ее отдыхать в жару; и глубокий колодец; и большой земляной погреб, где зимою хранят овощи; и голубятня с такими, как у всех голубятен, крошечными отверстиями, что, казалось, жирным зобатым птицам, разгуливавшим вокруг, сколько бы они ни старались, нипочем туда не попасть. Насмотревшись вдосталь на все это, я перешел к осмотру двух зальцев трактира, стены которых были украшены цветными литографиями, изображавшими Вашингтона, президента Мэдисона * и некую молодую леди с очень белым лицом (довольно густо засиженным мухами); приподняв пальчиками золотую шейную цепочку, она показывала ее восхищенному зрителю и доводила до сведения своих восторженных почитателей, что ей «Ровно семнадцать», хотя я дал бы ей больше. В парадной комнате висело два поясных портрета, хозяина и его маленького сынишки, писанных маслом,— оба с виду были храбры, как львы, и оба взирали с холста таким напряженным взором, что портретам этим не было цены. Писал их, полагаю, тот самый художник, что расписал красным с желтым двери Бельвиля; ибо, мне кажется, я сразу узнал его кисть.

После завтрака мы двинулись в обратный путь, но уже другой дорогой и часов в десять наткнулись на стоянку немецких переселенцев, везших свой скарб в повозках,— у них был разведен великолепный костер, который они собирались погасить, так как кончали привал. И до чего же было приятно посидеть у огня: вчера было жарко, но сегодня выдался холодный день, дул резкий ветер. Когда мы снова пустились в путь, перед нами возник вдали еще один древний могильный холм, именуемый Курганом Монахов — в память о фанатиках из ордена траппистов *, которые много лет назад, когда на тысячу миль вокруг не было еще ни одного поселенца, основали в этом безлюдном месте монастырь и все погибли от здешнего вредного климата. Печальная судьба. Но, думается мне, лишь немногие разумные люди найдут, что роковая развязка нанесла обществу заметный ущерб.

Сегодняшняя дорога ничем не отличалась от той, по которой мы ехали вчера. Все те же болота, кустарник и несмолкаемый хор лягушек, невиданно буйная растительность, дышащая гнилостными испарениями земля. То тут, то там — и довольно часто — нам попадался одинокий, потерпевший крушение, фургон с пожитками какого-нибудь переселенца. Жалкое зрелище являют собой эти увязшие в трясине повозки: ось сломана; рядом праздно лежит колесо; мужчина ушел за много миль позвать кого-нибудь на подмогу; женщина сидит среди своих кочующих пенатов и кормит грудью ребенка — олицетворение заброшенности и удрученного долготерпения; упряжка волов понуро лежит в грязи,— изо рта и ноздрей у них вырываются такие клубы пара, что, кажется, вся окрестная сырая мгла и туман исходят непосредственно от них.

В положенное время мы снова остановились у вывески «Портной. Готовые изделия», а затем на пароме перебрались в город, проехав мимо острова, где дерутся все дуэлянты Сент-Луиса,— именуется он Кровавым и назван так в память последней роковой битвы, когда противники в упор стреляли друг в друга из пистолетов. Оба тотчас упали на месте мертвыми; и, возможно, иные здравомыслящие люди рассудят, что эта смерть, как и гибель мрачных безумцев, покоящихся под Курганом Монахов,— не большая потеря для общества.

ГЛАВА XIV

Возвращение в Цинциннати.— Поездка в карете в Колумбус и оттуда в Сэндаски.— Затем через озеро Эри к Ниагаре

Поскольку мне хотелось пересечь штат Огайо и, как говорится, «выйти к озерам» у маленького городка Сэндаски, куда неизбежно приведет нас дорога на Ниагарский водопад, нам пришлось вернуться в Сент-Луис тем же путем, каким мы сюда приехали, и проделать весь маршрут в обратном направлении вплоть до Цинциннати.

В день нашего отъезда из Сент-Луиса погода выдалась отличная, а так как отплытие нашего парохода, который должен был тронуться уж не знаю в какую рань, откладывали с часу на час и, наконец, перенесли на полдень,— мы решили проехать вперед на лошадях в прибрежную старую французскую деревушку Каронделе, больше известную, однако, под шуточным названием Пустой Карман, и договорились, что пароход там нас и заберет.

Деревенька состояла из нескольких бедных хижин да двух или трех трактиров,— и, надо сказать, кладовые их, бесспорно, оправдывали ее прозвище, ибо в обоих нечего было есть. Мы вернулись обратно и, проехав с полмили, отыскали, наконец, одинокий домик, где можно было получить кофе и ветчину; тут мы и решили дожидаться нашего судна, приближение которого можно было увидеть издалека с лужайки перед дверью.

Это была непритязательная, чистенькая деревенская таверна; завтрак нам подали в своеобразной комнатке, где стояла кровать, а на стенах висело несколько старых картин, писанных маслом, которые в свое время украшали, верно, какую-нибудь католическую часовню или монастырь. Нас отменно накормили, и стол был сервирован необыкновенно опрятно. Содержала таверну своеобразная чета, пожилые муж с женой; мы имели с ними долгую беседу и решили, что они, пожалуй, принадлежат к числу лучших представителей этой профессии на Западе Соединенных Штатов.

Хозяин, сухой крепкий старик с суровым лицом (впрочем, не такой уж и старик, я бы дал ему лет шестьдесят), в последнюю войну с Англией * сражался в рядах народного ополчения и перепробовал все на войне — все, кроме самого боя; да и под пули чуть не угодил, не преминул добавить он,— ну чуть-чуть. Всю жизнь он был непоседой и странствовал, влекомый неистребимой страстью к перемене мест; он и до сих пор остался верен себе: если бы его ничто здесь не удерживало, сказал он (слегка мотнув головой в шляпе и ткнув большим пальцем на окно, у которого сидела старушка, так как наша беседа шла возле дома), он и сейчас начистил бы мушкет да завтра же утром махнул бы в Техас. Он принадлежал,

как видно, к числу потомков Каина, каких немало на этом континенте и которым от рождения уготована роль пионеров-пролагателей путей для великой человеческой армии; из года в год они, ликуя, передвигают все дальше ее аванпосты и оставляют позади дом за домом, а потом умирают, не тревожась мыслью, что следующее поколение бродяг оставит их могилу в тысяче миль позади.

Жена его, приветливая, добрая домовитая старушка, прибыла сюда вместе с ним из «королевы городов всего мира», каковою оказалась Филадельфия, и не любила «этот Запад», имея к тому все основания: здесь один за другим в самом расцвете молодости умерли от лихорадки ее дети. Как вспомнит о них, сказала она, так сердце и заноет; а как поговорит, пусть даже с незнакомыми людьми — ох, проклятое место, так далеко от дома! — вроде бы и легче станет: хоть и грустно, а все-таки приятно!

Пароход наш появился только к вечеру. Мы распрощались с бедной старушкой и ее непоседливым супругом и, добравшись до ближайшей пристани, вскоре снова очутились на борту «Мессенджера», в нашей старой каюте, и поплыли вниз по Миссисипи.

Если медленно двигаться против течения вверх по реке — довольно нудное дело, то нестись в ее бурном потоке вниз — куда хуже, так как судну приходится мчаться со скоростью двенадцати — пятнадцати миль в час, выискивать проходы в лабиринте плывущих бревен, которые в темноте порою просто невозможно ни углядеть, ни обойти. Всю ночь звонил колокол, умолкая не более, чем на пять минут, и всякий раз, как он начинал звонить, судно кренилось то от одного, то от десяти сыпавшихся друг за другом ударов, самый легкий из которых, казалось, грозил пробить хрупкий киль, точно корочку пирога. С наступлением темноты мутная река словно начинала кишеть чудовищами: черные громадины катились по воде или вдруг опять выплывали торчком на поверхность, когда судно, прокладывая себе путь в их косяке, на минуту загоняло несколько штук под воду. Иной раз машину надолго останавливали,— и тогда перед судном и позади него и с боков собиралось множество этих проклятых бревен, образуя как бы плавучий остров, в середине которого

оказывалось зажато наше судно; приходилось выжидать, пока они где-нибудь не раздвинутся, как черные тучи под напором ветра, и постепенно не откроют для нас проход.

Тем не менее на следующее утро мы в положенный час подошли к этому отвратительному болоту, называемому Каиром, и остановились заправиться топливом рядом с баржей, которая только чудом еще не рассыпалась и держалась на воде. Она была пришвартована к берегу, и на борту у нее красовалась надпись «Кофейня»,— полагаю, это и был тот плавучий рай, где люди ищут пристанища, когда их жилища месяца на два затопляют зловонные воды Миссисипи. Но, взглянув на юг, мы с радостью увидели, что несносная река, нежданно повернув, волочит свое длинное илистое тело и свой неприятный груз к Новому Орлеану; перебравшись через желтую полосу, пересекавшую течение, мы вскоре очутились в прозрачных водах Огайо; и больше, надеюсь, уже никогда не увидим Миссисипи, разве что в тревожном сне или кошмаре. Променять эту реку на ее сверкающую соседку было все равно, что обрести после боли покой или пробудиться от скверного сна к веселой действительности.

До Луисвиля мы добрались на четвертую ночь и с удовольствием остановились в его превосходной гостинице. На следующий день мы двинулись дальше на «Бене Франклине», красивом пакетботе, и прибыли в Цинциннати вскоре после полуночи. Так как нам изрядно надоело спать на полках, мы даже и не ложились и тут же сошли с корабля; перебравшись ощупью по темным палубам других судов и миновав лабиринты машин и бочек, откуда сочилась черная патока, мы выбрались на берег, прошли по улицам, постучали молоточком в дверь гостиницы, где останавливались раньше, и к нашей великой радости были вскоре благополучно устроены на ночлег.

В Цинциннати мы пробыли всего один день и затем двинулись дальше, в Сэндаски. Так как ехать нам пришлось на двух почтовых каретах, описание которых в дополнение к уже виденным мной экземплярам, даст исчерпывающую характеристику этому виду транспорта в Америке, я прихвачу с собой в попутчики читателя. и постараюсь одолеть расстояние как можно скорее.

Сначала мы направились в Колумбус. Он расположен милях в ста двадцати от Цинциннати, но туда ведет макадамова дорога * (редкое счастье!), и ехать по ней можно со скоростью шести миль в час.

Выехали мы в восемь часов утра в большой почтовой карете, раздутые щеки которой горят таким полнокровным румянцем, точно она страдает приливами крови к голове. А уж водянка у нее — несомненно, ибо в нее набилась целая дюжина пассажиров. Но, как ни удивительно, карета очень чистенькая и нарядная, потому что совсем еще новая, и она превесело загромыхала по улицам Цинциннати.

Путь наш пролегает по красивой местности, земля здесь отлично возделана и обещает обильный урожай. То мы едем мимо поля, ощетинившегося крепкими стеблями кукурузы, точно на нем вдруг выросли трости, то мимо огороженного участка, где в лабиринте между пнями уже пробиваются зеленые всходы пшеницы. Всюду изгороди из полыни — довольно примитивные и, надо сказать, пребезобразные; зато фермы здесь чистенькие, и, если бы не ряд особенностей, отмеченных выше, нам казалось бы, что мы путешествуем по графству Кент *.

Мы часто останавливаемся напоить лошадей у постоялых дворов, как правило унылых и тихих. Кучер слезает с козел, наполняет водой бадейку и подносит ее к морде лошади. Редко-редко какой-нибудь зевака задержится подле нас; а чтобы собралась компания шутников и хохотала бы до упаду, этого здесь и не ждите. Иной раз, сменив лошадей, мы никак не можем сдвинуться с места, а виной тому здешний обычай объезжать молодняк: лошадь ловят, взнуздывают, несмотря на сопротивление, и без околичностей впрягают в карету; она долго взбрыкивает, яростно артачится, но кое-как мы снимаемся с места; и едем дальше трусцой — как ехали раньше.

Иной раз на стоянке, где нам перекладывают лошадей, из дому, засунув руки в карманы, выходят два-три подвыпивших бездельника, или, усиленно работая пятками, они раскачиваются в качалках, или висят на подоконнике, или сидят на перилах под колоннами,— сказать

им, как правило, нечего ни нам, ни друг другу; они просто сидят и пялят глаза на карету и лошадей. Среди них обычно и сам хозяин: глядя на него, можно подумать, что он меньше всех заинтересован в том, что делается в его заведении. Он и впрямь печется о своей таверне не больше, чем кучер о карете и пассажирах; что бы ни случилось,— он не беспокоится: его дело сторона.

Хотя кучеров здесь меняют часто, облик их остается неизменным. Кучер всегда грязен, угрюм и молчалив. Если у него и есть какие-то достоинства, морального или физического свойства, то он обладает поистине удивительной способностью скрывать их. Он никогда не заговорит с вами, хоть вы и сидите с ним рядом на козлах; а когда вы сами с ним заговорите, он ответит односложно или совсем не ответит. Он ни на что вам не укажет по дороге, да и редко на что посмотрит, ибо, судя по его виду, ему все это бесконечно надоело, как и жизнь вообще. Нет чтобы почтить вниманием карету — его, как я уже говорил, интересуют только лошади. Карета же для него существует лишь постольку, поскольку она к ним припряжена и катится следом на колесах; а что в ней кто-то сидит, это его и вовсе не касается. Иногда к концу длинного перегона кучер вдруг затянет откуда-нибудь с середины этакую несуразную песню в своем вкусе; лицо его при этом не участвует в пении, поет только голос, да и то не часто.

Он вечно жует и вечно сплевывает и никогда не затрудняет себя употреблением носового платка. Последствия этого для пассажира на козлах, особенно если ветер дует в его сторону, не слишком приятны.

Если карета останавливается и до вас доносятся голоса пассажиров, сидящих в кузове, или если к ним обращается какой-нибудь прохожий или кто-нибудь из пассажиров, или пассажиры заводят разговор между собой,— вы непременно услышите фразу, которая будет повторяться все снова и снова и снова — до бесконечности. Фраза эта — самая обыденная и ничего не говорящая, всего-навсего «Да, сэр», но ее приноравливают к любым обстоятельствам и заполняют ею любую паузу в разговоре. Например.


A.B Frost

Время — час пополудни. Место действия — постоялый двор, где нам положено остановиться на обед. Карета подъезжает к воротам. Погода теплая, и несколько зевак толкутся у таверны, дожидаясь часа обеда. Среди них — солидный джентльмен в коричневой шляпе, раскачивающийся в качалке тут же на тротуаре.

Не успела наша карета остановиться, как из ее оконца выглянул джентльмен в соломенной шляпе.

Соломенная шляпа *(толстому джентльмену в качалке)*. Никак судья Джефферсон, а?

Коричневая шляпа *(продолжая качаться; очень медленно, с полнейшим безразличием)*. Да, сэр.

Соломенная шляпа. Тепло, судья.

Коричневая шляпа. Да, сэр.

Соломенная шляпа. А на прошлой неделе какой холод-то вдруг прихватил.

Коричневая шляпа. Да, сэр.

Соломенная шляпа. Да, сэр.

Пауза. Оба посмотрели друг на друга очень серьезно.

Соломенная шляпа. Вы, верно, уже покончили с этим делом о корпорации, судья?

Коричневая шляпа. Да, сэр.

Соломенная шляпа. Какой же вынесли приговор, сэр?

Коричневая шляпа. В пользу ответчика, сэр.

Соломенная шляпа *(вопросительно)*. Да, сэр?

Коричневая шляпа *(утвердительно)*. Да, сэр.

Оба *(задумчиво, каждый глядя вдоль улицы)*. Да, сэр.

Новая пауза. Оба снова смотрят друг на друга, еще серьезней, чем прежде.

Коричневая шляпа. Карета сегодня, по-моему, сильно запоздала.

Соломенная шляпа *(неуверенно)*. Да, сэр.

Коричневая шляпа *(взглянув на часы)*. Да, сэр; часа на два.

Соломенная шляпа *(в величайшем удивлении вскинув брови)*. Да, сэр?

Коричневая шляпа *(решительным тоном, пряча часы)*. Да, сэр.

Все остальные пассажиры в дилижансе *(друг другу)*. Да, сэр.

Кучер *(очень сварливо)*. Нет, не запоздала.

Соломенная шляпа *(кучеру)*. Ну, не знаю сэр. Мы довольно-таки долго тащились последние пятнадцать миль. Что правда, то правда.

Так как кучер ничего не отвечает и явно не хочет вступать в пререкания по предмету, столь далекому от его симпатий и чувств, какой-то другой пассажир говорит: «Да, сэр», после чего джентльмен в соломенной шляпе в знак признательности за его учтивость говорит в ответ уже ему: «Да, сэр». Потом соломенная шляпа спрашивает коричневую, не находит ли он, что карета, в которой он (соломенная шляпа) сидит, совсем новенькая. На что коричневая шляпа опять отвечает: «Да, сэр».

Соломенная шляпа. Мне тоже так кажется. Уж очень пахнет лаком, не правда ли, сэр?

Коричневая шляпа. Да, сэр.

Все остальные пассажиры в дилижансе. Да, сэр.

Коричневая шляпа *(всей компании)*. Да, сэр.

Но способность компании вести разговор к этому времени оказалась исчерпанной, непосильной, а потому соломенная шляпа открыла дверцу кареты и вышла на улицу, а вслед за ней и все остальные. Вскоре мы вместе с постояльцами уселись за обед, к которому нам подали из напитков только чай и кофе. Поскольку и то и другое было прескверного качества, а вода и того хуже, я попросил принести бренди,— но здесь процветала трезвенность, и ничего спиртного нельзя было достать ни за ласку, ни за деньги. Это нелепое навязывание путешественнику неприятных напитков, которые не идут ему в горло, довольно обычное явление в Америке; но мне не приходилось наблюдать, чтобы совесть столь щепетильных содержателей этих заведений побуждала их свято блюсти точное соотношение между ценой и качеством того, что они подают,— наоборот: я подозреваю, что они передко снижают качество и повышают цену, дабы вознаградить себя за потерю прибылей с продажи спиртного. Вообще говоря, для людей столь уязвимой совести

самым правильным было бы никогда не браться за такое дело, как содержание таверны.

Покончив с обедом, мы садимся в другой экипаж, который ждет нас у дверей (к этому времени нам успели сменить карету), и едем дальше; вокруг — все та же безрадостная картина; к вечеру мы прибываем в город, где намечено сделать остановку, чтобы выпить чая и поужинать; сгрузив мешки с почтой у почтового отделения, мы проезжаем по обычной широкой улице, застроенной обычными магазинами и домами (у дверей торговцев тканями, как всегда, вместо вывески красуется ярко-красный лоскут), и подъезжаем к гостинице, где нас ждет ужин. Постояльцев здесь много, и за стол нас садится большая компания, но, как обычно, до крайности унылая. Правда, во главе стола восседает полногрудая хозяйка, а на другом его конце — простоватый школьный учитель из Уэльса *, с женой и ребенком, который прибыл сюда преподавать классические языки в расчете на бо́льшие блага, чем оказалось в действительности,— эти люди были достаточно интересны, чтобы занять мое внимание за ужином и пока нам меняли упряжку. Мы едем дальше при свете яркой луны, а в полночь снова останавливаемся и, пока перепрягают лошадей, с полчаса проводим в жалкой комнате с выцветшей литографией Вашингтона над закопченным камином и с внушительным кувшином холодной воды на столе,— прохладительным напитком, к которому наши угрюмые пассажиры прикладываются так жадно, что можно подумать, будто они все до единого — ревностные пациенты доктора Санградо *. Среди них есть совсем маленький мальчик, который жует табак, как совсем большой, и очень скучный субъект, который обо всех предметах, начиная с поэзии, говорит на языке арифметики и статистики и притом неизменно в одном ключе — так же пространно и важно и так же подчеркивая слова. Он как раз вышел на крыльцо и сообщил мне, что здесь живет дядюшка одной молодой особы, которую выкрал и увез с собой некий капитан, потом на ней женившийся; так вот этот дядюшка такой храбрый и свирепый, что не будет ничего удивительного, если он отправится за помянутым капитаном в Англию «и пристрелит его прямо на улице, если встретит», но

я в ту минуту был раздражен, так как очень устал и у меня слипались глаза, а потому позволил себе усомниться в осуществимости такой суровой расправы; я стал уверять собеседника, что если бы дядюшка прибег к этой мере или потешил бы себя другой подобной забавой, то в одно прекрасное утро его бы вздернули по-приказу Старика Бейли; так что прежде чем пускаться в путь, ему не мешает составить завещание, так как по приезде в Англию оно ему очень скоро понадобится.

Всю эту ночь мы едем и едем; постепенно рассвело, и вот уже нам ярко засветили первые косые лучи теплого солнышка. Оно озарило унылый пустырь, покрытый мокрой травой, чахлые деревья и убогие лачуги, до крайности запущенные и жалкие. Кажется, что все вымерло в этом лесу, где самая зелень — влажная, нездоровая — напоминает ряску на поверхности стоячих вод; где ядовитые грибы вырастают в редком следу человека, прошедшего по этой топкой земле, или, подобно кораллам колдуньи, вылезают из каждой щели в двери или в полу хижины,— этакая пакость и лежит на самом пороге большого города! Но участок был продан много лет назад, и поскольку владельцев никак не найдут, штат не может выкупить его. Так и стоит этот лес среди обработанных полей и всяческого благоустройства, точно прóклятая земля, на которой свершилось великое преступление и которой все теперь чураются, предоставляя гибнуть от одичания.

В Колумбус мы прибыли около семи часов утра и, решив передохнуть, провели там весь день и заночевали; нам отвели отличные комнаты в очень большой, еще недостроенной гостинице под названием «Неилов дом»; в комнатах стояла богатая обстановка из полированного темного ореха, и выходили они, точно в итальянском дворце, на красивую галерею и каменную веранду. Сам город — чистенький и премилый и «уже на пути к тому», чтобы стать гораздо больше. В нем заседает законодательная власть штата Огайо, а потому он, естественно, притязает на известную значимость и внушительность.

Поскольку на следующий день ни одна карета не отправлялась туда, куда мы наметили ехать, я нанял за

очень умеренную плату «внерейсовую» карету, которая должна была довезти нас до Тиффина, небольшого городка, где проходит железная дорога на Сэндаски. Это был обыкновенный дилижанс — запряженный четверкой, какие я уже описывал; на остановках мы точно так же меняли лошадей и кучера, только ехали в нем совсем одни. Для того чтобы на станциях нам давали свежих лошадей и не подсаживали никого из посторонних, владельцы кареты усадили к нам на козлы своего агента, который должен был проделать с нами весь путь; и вот на следующее утро, в половине седьмого, в сопровождении этого малого, прихватив с собой корзину с вкусно приготовленным холодным мясом, фруктами и вином, мы в отличнейшем расположении духа двинулись снова в путь, радуясь, что с нами больше никто не едет, и настроившись насладиться поездкой, даже если она будет нелегкой.

И наше счастье, что мы так настроились, ибо дорога, по которой мы следовали в тот день, могла настолько подействовать на умы, не подготовленные выдержать любую тряску, что душевный барометр упал бы на несколько делений ниже бури. То мы валились все в кучу на дно кареты, то расшибали себе головы об ее верх. А карета то накренялась на бок и глубоко увязала в грязи, побуждая нас отчаянно цепляться за другой ее бок, то наезжала на крупы двух коренников, то, словно обезумев, задирала в воздух передок, а все четыре лошади, стоя наверху неодолимого подъема, холодно взирали вниз и как бы говорили: «Отпрягите нас. Это выше наших сил». Кучера на этих дорогах поистине творят чудеса и умеют так поворачивать и разворачивать упряжку, штопором прокладывая свой путь по болотам и топям, что нередко случается, выглянув из окна, увидеть, как кучер держит в руках концы вожжей и погоняет неизвестно кого, точно играет в лошадки, а обернешься: передние лошади смотрят на тебя из-за экипажа, как будто надумали залезть внутрь через заднюю дверцу. Значительная часть пути пролегала по гати. Ее делают так: валят стволы деревьев в болото и дают им на нем улежаться. Тяжелую карету, когда она переваливается с бревна на бревно, так встряхивает, что кажется, от самого легкого из этих

толчков у пассажира могут выскочить все кости из суставов. Трудно себе представить, где еще можно было бы пережить такое, разве что если взбираться в омнибусе на верхушку собора св. Павла *. Ни разу, ни одного единственного разу за весь этот день карета не находилась в таком положении, такой позиции или не шла таким ходом, к каким мы привыкли. В ее продвижении не было и отдаленного сходства с тем, что испытываешь, когда едешь в какой-бы то ни было повозке на колесах.

И все-таки день был прекрасный, в меру теплый, и пусть мы оставили позади, на Западе, лето и быстро покидали пределы весны,— мы двигались как-никак к Ниагаре и к дому. К полудню мы сделали привал в славном леске, пообедали на срубленном дереве, и, оставив из недоеденных припасов что получше — владельцу коттеджа, а что похуже — свиньям (которых — к великой радости нашего комиссариата в Канаде — здесь больше, чем песчинок на морском берегу), мы снова весело двинулись дальше.

С наступлением вечера дорога стала заметно сужаться и, наконец, совсем пропала среди деревьев, так что кучер находил ее разве что по интуиции. Зато мы могли быть уверены, что он не заснет: колеса то и дело налетали на какой-нибудь невидимый пень, и экипаж так подбрасывало, что, если бы кучер не успевал быстро и крепко за что-нибудь ухватиться, ему бы не усидеть на козлах. И можно было не опасаться, что лошади вдруг понесут: по такой неровной местности и шагом продвигаться нелегко, а шарахаться — просто некуда; будь на месте лошадей дикие слоны, и те не могли бы удрать в таком лесу, да с таким экипажем в придачу. Так, вполне довольные, мы продвигались вперед.

Эти пни и колоды сопутствуют вам по всей Америке. Просто удивительно, сколько разных обликов — и каких живых — являют они непривычному глазу с наступлением темноты. То почудится вам, будто вдруг выросла посреди пустынного поля греческая урна; то женщина плачет над могилой; то самый заурядный старый джентльмен раздвинул полы сюртука и заложил большие пальцы в проймы белого жилета; то перед вами

студент, углубившийся в книгу; то — пригнувшийся негр; то — лошадь, собака, пушка, вооруженный человек; горбун, сбрасывающий плащ и являющий миру свое обличье. Образы эти порою так занимали меня, точно я смотрел волшебный фонарь, но ни разу они не явились по моей прихоти, а всегда словно навязывали мне свое присутствие — хочу я того или нет; и, как ни странно, я узнавал в них порой рисунки из давно забытых детских книжек с картинками.

Но скоро стало чересчур темно даже и для такого развлечения, да и деревья подступили так близко, что их сухие ветки стучали по нашему экипажу с обеих сторон и не позволяли высунуть голову. К тому же, добрых три часа сверкали зарницы, и каждая вспышка была яркой, голубой и долгой; а когда, прорвав завесу спутанных ветвей, потоком хлынул дождь и где-то над вершинами деревьев глухо загрохотал гром, невольно подумалось, что в такую погоду где угодно лучше, чем в таком вот густом лесу.

Наконец в одиннадцатом часу вечера вдали заблестело несколько слабых огоньков — Верхний Сэндаски, индейская деревня, где нам предстояло пробыть до утра.

В бревенчатом доме постоялого двора — единственном здесь месте увеселения — все уже спали; однако на наш стук скоро откликнулись и приготовили нам чаю в своего рода кухне или общей комнате, оклеенной старыми газетами. Спальня, куда провели нас с женой, была большая, низкая, мрачная комната; в печке лежала куча хвороста; две двери без запоров и крючков, расположенные друг против друга, выходили обе прямо в черную ночь, в лесную глушь и устроены были так, что током воздуха из одной непременно открывалась другая,— новинка в архитектуре домов, которую, насколько помню, я еще нигде не встречал и которая, когда я, улегшись в постель, обратил на нее внимание, привела меня в некоторое замешательство, ибо в моем несессере находилась изрядная сумма золотом на путевые расходы. Однако, прислонив к дверям часть нашего багажа, я быстро устранил затруднение, и, думаю, сон мой в ту ночь не был бы тревожным, когда бы только мне удалось заснуть.

Мой бостонский друг забрался на ночлег под самую крышу, где уже мощно храпел какой-то постоялец; но его так закусали, что он не вытерпел и, спустившись снова во двор, кинулся искать убежища в карете, которая мирно проветривалась перед домом. Как выяснилось, это был не очень разумный шаг, так как свиньи, учуяв его и сочтя карету за нечто вроде пирога с мясной начинкой, собрались вокруг и подняли такое мерзостное хрюканье, что он боялся высунуться и до утра продрожал в карете. А когда все-таки вылез, у нас даже не было возможности отогреть его стаканом бренди, так как в индейской деревне закон, в самых добрых и разумных целях, запрещает содержателям таверн торговать спиртными напитками. Впрочем, запрет не достигает цели, ибо индейцы всегда достают спирт у бродячих торговцев — только худшего качества и по более дорогой цене.

Деревня со всей округой населена индейцами племени вайандот. В компании, собравшейся за завтраком, был один тихий пожилой джентльмен, который состоит на службе правительства Соединенных Штатов уже много лет и ведет переговоры с индейцами; вот и сейчас он заключил с местными жителями договор, по которому они обязуются переехать на будущий год в отведенное для них место к западу от Миссисипи, чуть подальше Сент-Луиса, за что им будут ежегодно выплачивать определенную сумму. С волнением слушал я его рассказ о том, как сильно они привязаны к привычным с детства местам и особенно к могилам своих родичей и как им не хочется со всем этим расставаться. На его глазах произошло немало таких переселений, которые он неизменно наблюдал с болью в сердце, хоть и знал, что это делается для их же блага. Вопрос о том, уйти ли племени, или остаться, обсуждался у них дня два тому назад в специально построенной хижине, бревна от которой еще лежали на земле перед постоялым двором. Когда все высказались,— тех, кто были «за», и тех, кто «против», построили в две шеренги, и каждый взрослый мужчина проголосовал в свой черед. Как только результат голосования стал известен, меньшинство (довольно значительное) с готовностью, без возражений подчинилось воле остальных.

Позже нам встречались некоторые из этих несчастных индейцев верхом на косматых пони. Они были так похожи на захудалых цыган, что, увидев кого-либо из них в Англии, я, нимало не сомневаясь, отнес бы их к этому бродячему и беспокойному племени.

Выехав из деревни сразу после завтрака, мы двинулись дальше по дороге, оказавшейся чуть ли не хуже вчерашней, и к полудню прибыли в Тиффин, где расстались с нашим «внерейсовым» экипажем. В два часа пополудни мы сели в поезд. Путешествие по железной дороге протекало очень медленно, так как проложена она плоховато по сырой болотистой земле,— и прибыли в Сэндаски как раз вовремя, чтобы вечером успеть пообедать. Остановились мы в удобной маленькой гостинице на берегу озера Эри, провели там ночь и волей-неволей весь следующий день — в ожидании парохода на Буффало. Городок, сонный и неинтересный, напоминал задворки английского морского курорта по окончании сезона.

Наш хозяин, красивый мужчина средних лет, был к нам очень внимателен и старался всячески угодить; приехал он сюда из Новой Англии, где он «рос и воспитывался». Если я и упоминаю о том, как он без конца входил и выходил из комнаты, не снимая шляпы, и, в том же виде, презрев условности, останавливался побеседовать с нами, а потом разваливался у нас на диване, вытаскивал из кармана газету и принимался ее читать в свое удовольствие,— то лишь отмечая это как черты, свойственные обитателям Америки, а вовсе не жалуясь и не желая сказать, что мне это было неприятно. Подобное поведение у нас на родине меня безусловно бы оскорбило, потому что у нас это не принято, а раз так, то это следовало бы расценить как наглость; но здесь у этого простого американского парня было лишь одно желание — порадушнее и получше принять гостя, и я не вправе, да, сказать откровенно, и не склонен рассматривать его поведение, исходя из наших английских мерил и правил, как я не стал бы, скажем, ссориться с ним из-за того, что он не вышел ростом и не может быть зачислен в гвардию гренадеров * нашей королевы. Столь же мало у меня желания осуждать забавную пожилую женщину, состоявшую при этом заведении экономкой: подав нам еду, она уса-

живалась в самое удобное кресло, доставала огромную булавку и принималась ковырять ею в зубах, не сводя с нас важного и спокойного взгляда и то и дело предлагая нам скушать еще, пока не наступало время убирать со стола. Довольно и того, что все наши желания — не только здесь, но и повсюду в Америке — любезно выполнялись с большой готовностью и обязательностью; да и вообще здесь все наши нужды старались предусмотреть.

На другой день после нашего прибытия — а было это в воскресенье — мы сидели в гостинице за ранним обедом, когда вдали показался пароход, вскоре приставший к пристани. Поскольку направлялся он явно в Буффало, мы поспешили погрузиться на него и скоро оставили Сэндаски далеко позади.

Это был большой корабль водоизмещением в пятьсот тонн, очень благоустроенный, но с паровыми машинами, а в таких случаях у меня неизменно появляется чувство, будто я поселился над пороховым заводом. Пароход наш вез муку, и несколько бочонков этого груза были сложены на палубе. Капитан, поднимавшийся к нам поболтать и представить какого-нибудь своего знакомого, усаживался верхом на один из бочонков,— этакий домашний Вакх,— и, вытащив из кармана огромный складной нож, принимался «отбеливать бочонок»,— говорит, а сам снимает и снимает стружку с краев. И «отбеливал» он до того усердно и добросовестно, что, если бы его то и дело не отзывали, бочонок вскоре перестал бы существовать, а на его месте остались бы лишь мука да стружки.

Сделав две-три остановки у пристаней в низине, где в озеро врезаются дамбы, а на них, точно ветряные мельницы без крыльев, стоят приземистые маяки,— и все вместе выглядит совсем как голландская виньетка,— мы прибыли в полночь в Кливленд, где простояли до девяти часов следующего утра.

У меня к этому месту появился совсем особый интерес, после того как в Сэндаски я видел образец его литературы — газету, которая в самых сильных выражениях высказывалась по поводу недавнего прибытия лорда Эшбертона в Вашингтон * для урегулирования спорных вопросов между правительствами Соединенных Штатов и

Великобритании; сообщив своим читателям, что Америка еще в младенчестве своем «высекла» Англию, высекла ее в юности и, конечно, должна высечь ее и теперь, в свои зрелые годы,— газета заверяла всех истинных американцев, что если мистер Уэбстер в предстоящих переговорах выполнит свой долг и заставит английского лорда в два счета убраться восвояси, то через два года они «будут распевать «Янки Дудл» в Гайд-парке и «Да здравствует Колумбия» в обитых пурпуром залах Вестминстера!» Город показался мне премилым, и я даже доставил себе удовольствие посмотреть снаружи редакцию той газеты, выдержку из которой я только что приводил. Я не имел возможности насладиться созерцанием того остроумца, который создал оный опус, но я не сомневаюсь, что человек он необыкновенный и пользуется уважением в избранном кругу.

На борту парохода был джентльмен, для которого, как я нечаянно узнал из его разговоров с женой, ибо наши каюты разделяла лишь тонкая перегородка, моя особа служила источником великих волнений. Не знаю почему, но мысль обо мне неотступно преследовала его и очень раздражала. Сначала я услышал, как он сказал — и самым нелепым было то, что он сказал это буквально над моим ухом, точно пригнулся к моему плечу и прошептал: «А Боз-то все еще здесь *, дорогая!» И после довольно долгой паузы недовольным тоном добавил: «Боз держится очень замкнуто», что̀ было чистой правдой, так как я чувствовал себя неважно и лежал с книгой. Я уже решил, что он со мной покончил, но ошибся, ибо после довольно большого промежутка времени, когда он, должно быть, беспокойно ворочался с боку на бок в безуспешной попытке заснуть, его вдруг опять прорвало: «А ведь этот Боз, глядишь, и напишет книжицу и всех нас в ней помянет!» — и, ясно представив себе, к каким последствиям приведет пребывание на одном судне с Бозом, он застонал и умолк.

В восемь часов вечера мы прибыли в город Эри и простояли там около часу. На следующее утро, между пятью и шестью часами, мы причалили в Буффало, где позавтракали, и поскольку до водопада было совсем недалеко, а нам не терпелось поскорей увидеть его, мы в то же

утро в девять часов сели на поезд и отправились к Ниагаре.

День был не из приятных — холодный, промозглый; над землей навис сырой туман, деревья в этих северных краях были по-зимнему голые. На каждой остановке я прислушивался, не донесется ли грохот, и все время напряженно вглядывался в ту сторону, где, судя по течению реки, должен был находиться водопад, в надежде увидеть столб брызг. Лишь через несколько минут после того, как поезд подошел к станции,— не раньше,— я увидел два больших белых облака, медленно и величаво поднимавшихся из недр земли. И больше ничего. Наконец мы вышли из поезда, и только тут я впервые услышал могучий грохот воды и почувствовал, что земля дрожит у меня под ногами.

Берег здесь очень крутой, и было скользко от дождя и еще не стаявшего снега. Не помню, как я сошел, но так или иначе вскоре я оказался внизу и вместе с двумя английскими офицерами, которые тоже решили последовать за мной и перебраться на другой берег, прыгал с камня на камень, оглохший от шума, полуслепой от брызг, промокший до костей. И вот мы у подножия американского водопада. Откуда-то с большой высоты стремительно низвергается вниз мощный водный поток, но как и откуда — я не мог бы сказать: у меня было лишь смутное ощущение чего-то безмерного.

Когда же мы сели на маленький паром и стали переправляться немного ниже обоих водопадов через вздувшуюся реку, я начал понемногу постигать, что это такое, но я был несколько ошеломлен и неспособен воспринимать картину во всей ее грандиозности. И только поднявшись на Столовую скалу и взглянув — о боже великий,— на это низвержение ярко-зеленой воды, я понял, сколько в нем мощи и величия.

И вот тогда меня пронзила мысль о том, как я близок здесь к моему создателю, и проникся — это впечатление сохранилось и поныне — ощущением покоя, которым веет от этого грандиозного зрелища. Умиротворенность духа, тишина, воспоминания о почивших в мире людях, возвышенные помыслы о вечном отдохновении и счастье — и никаких мрачных предчувствий или страха.

Ниагара навсегда запечатлелась в моем сердце как олицетворение самой красоты,— такой она и пребудет в нем, неизменно и неизгладимо, пока оно не перестанет биться.

О, какими далекими и незначительными казались мне вся наша суета и треволнения повседневной жизни в те памятные десять дней, что я провел в этом волшебном краю. Какие голоса слышались мне в грохоте воды; какие лица, давно исчезнувшие с земли, смотрели на меня из ее сверкающих глубин; какие дивные обещания грезились мне в этих слезах ангелов — в многоцветных брызгах, что падали дождем и сплетались в яркие аркады сменяющих друг друга радуг!

Все это время я не покидал канадского берега, куда переправился, как только приехал. Обратно через реку я так ни разу и не перебирался: я знал, что на той стороне — люди, а в таком месте естественно избегать посторонних. Бродить целыми днями и смотреть на водопады оттуда и отсюда; стоять над Большой Подковой и наблюдать, как быстрые воды, приближаясь к обрыву, набирают силу и в то же время словно замирают, прежде чем ринуться в пропасть; или, став на уровне реки, глядеть, запрокинув голову, как поток устремляется вниз; забираться на соседние кручи и оттуда смотреть сквозь ветви деревьев, как бурлящие воды мчатся через пороги, перед тем как сделать отчаянный скачок; или мили на три ниже бродить в тени суровых скал, следя за тем, как река без всякой видимой причины вздувается и вскипает и будит эхо, все еще взволнованная где-то в глубине своим исполинским прыжком; видеть перед собой Ниагару, озаренную то солнцем, то луной, то багровую в час заката или серую, когда медленно спускаются сумерки; смотреть на нее каждый день и, проснувшись в ночи, слышать ее немолчный голос,— чего еще можно желать!

Теперь в тихую погоду я всякий раз думаю о том, что там день и ночь все так же мчится и скачет вода, грохочет и низвергается с высоты; а сотней футов ниже все так же опоясывают ее радуги. Все так же блестит она и сверкает на солнце расплавленным золотом. А в пасмурный день все так же рушится снежной лавиной, или

катится, точно обвал в меловых горах, или стелется вниз по скале густым белым туманом. И, добравшись до низу, могучий поток всегда как бы умирает, и всегда из его бездонной могилы встает этот гигантский призрак из брызг и тумана,— он властвует здесь все с той же грозной торжественностью с тех пор, как Тьма отступила в недра земли и первый — до Всемирного потопа — поток Света залил творимый богом мир.

ГЛАВА XV

В Канаде; Торонто; Кингстон; Монреаль; Квебек; Сент-Джонс.— Снова в Соединенных Штатах; Ливан; деревня шекеров и Вест-Пойнт

Я склонен воздержаться от всяческих сравнений и не буду проводить никаких параллелей между социальным обликом Соединенных Штатов и английских владений в Канаде. По этой причине я ограничусь лишь кратким отчетом о нашем путешествии по территории Канады.

Но прежде чем расстаться с водопадами, я должен коснуться одного отвратительного факта, который не мог не привлечь внимания любого посетившего Ниагару путешественника, если он порядочный человек.

На Столовой скале имеется коттедж, принадлежащий какому-то гиду, где продают разную мелочь на память об этих местах и где посетители расписываются в книге, специально заведенной для этой цели. На стене той комнаты, где хранится сия многотомная книга, висит табличка с надписью: «Посетителей просят не списывать и не цитировать записи и поэтические произведения из хранящихся здесь книг и альбомов».

Если бы не это предупреждение, я преспокойно оставил бы их лежать на столах, где они разбросаны с нарочитой небрежностью, как книги в гостиной, и только посмеялся бы вволю над чудовищно-глупыми стишками в рамочке на стене. Однако, прочитав эту надпись, я захотел посмотреть, какие же шедевры она так заботливо оберегает, и, начав перелистывать одну из книг, обна-

ружил страницы, сплошь заполненные омерзительнейшим и грязнейшим сквернословием, каким когда-либо тешились двуногие свиньи.

Унизительно все-таки сознавать, что есть среди людей гнусные пустоголовые скоты, которым доставляет удовольствие оскорблять величайший алтарь Природы, выкладывая у его порога свои грязные мыслишки. А то, что эту пакость собирают на потеху таким же свиньям и держат в публичном месте, чтобы каждый мог с ней ознакомиться,— является позором для английского языка, на котором это написано (правда, я надеюсь, что лишь немногие из этих записей сделаны англичанами), и укором английскому берегу, где они хранятся.

Наши солдаты на Ниагаре расквартированы в хороших просторных помещениях. Под казармы отведены, между прочим, многие из больших домов, расположенных на равнине, над водопадами и построенных в свое время как гостиницы. Вечерами, проходя мимо, я нередко любовался веселой и милой картиной, какую являли собою женщины и маленькие дети, сидевшие на балконах, в то время как мужчины внизу, на траве, играли в мяч или в какие-нибудь другие игры.

В любом гарнизонном пункте, где рядом проходит граница и где демаркационная полоса так узка, как на Ниагаре, дезертирство неизбежно становится довольно частым явлением; если у солдата зарождается шалая, безумная надежда, что там, на другом берегу, его ждут богатство и независимость, то вместе с ней в бесчестном уме уже естественным образом возникает мысль сделаться изменником — а там, где все окружение способствует соблазну, эта мысль, раз возникши, едва ли угаснет. Но очень редко перебежчики бывают потом счастливы или довольны; известно немало случаев, когда они признавались в своем горьком разочаровании и говорили, что с радостью вернулись бы к старой службе, если бы только могли рассчитывать на прощение или не слишком суровую кару. И все-таки многие их товарищи нет, нет, да последуют их примеру; и нередки случаи, когда беглецы прощались с жизнью при попытке перебраться через реку. Не так давно несколько человек утонуло, переплывая на тот берег; а одного, у которого хватило

безрассудства соорудить себе плот из стола, течением снесло в водоворот, где его искалеченный труп кружило потом несколько дней.

Я склонен думать, что рассказы о шуме водопада сильно преувеличены,— а такое предположение напрашивается само собой, когда учитываешь глубину бассейна, куда падает вода. За все время, пока мы там находились, не было ни одного дня, когда бы дул сильный или порывистый ветер, но даже в трех милях от водопада, в самые тихие закатные часы, мы сколько ни прислушивались, так и не слыхали его грохота.

Квинстон, откуда пароходы отчаливают на Торонто (или, вернее, куда они заходят,— причал их находится в Льюистоне, на противоположном берегу), лежит в прелестной долине, по которой протекает темно-зеленая река Ниагара. Пройти к ней можно по дороге, что вьется среди холмов, обступивших город, и вид на него оттуда необычайно красив и живописен. На самом высоком холме стоял памятник, воздвигнутый местной законодательной властью генералу Броку *, убитому в сражении с американскими войсками, когда он это сражение уже выиграл. Какой-то бродяга — предполагают, что это некто Летт, который сидит, или сидел недавно, в тюрьме за уголовное преступление,— два года тому назад взорвал этот памятник, и теперь на его месте — лишь унылые развалины, с вершины которых понуро свисает длинный кусок железной ограды, и ветер раскачивает его из стороны в сторону, точно ветку дикого плюща или надломленную виноградную лозу. Очень важно — куда важнее, чем может показаться,— чтобы статуя была восстановлена на общественные средства, что̀, впрочем, следовало бы сделать давным-давно. Во-первых, оставлять в таком состоянии памятник, воздвигнутый в честь одного из защитников Англии, да еще на том самом месте, где он погиб, унизительно для достоинства нашей страны; во-вторых, вид его в подобном состоянии и мысль о том, что осквернитель памятника остался безнаказанным, едва ли действует умиротворяюще на самолюбивых английских подданных, живущих в пограничной полосе, и уж никак не способствует ликвидации пограничных ссор и взаимной неприязни.

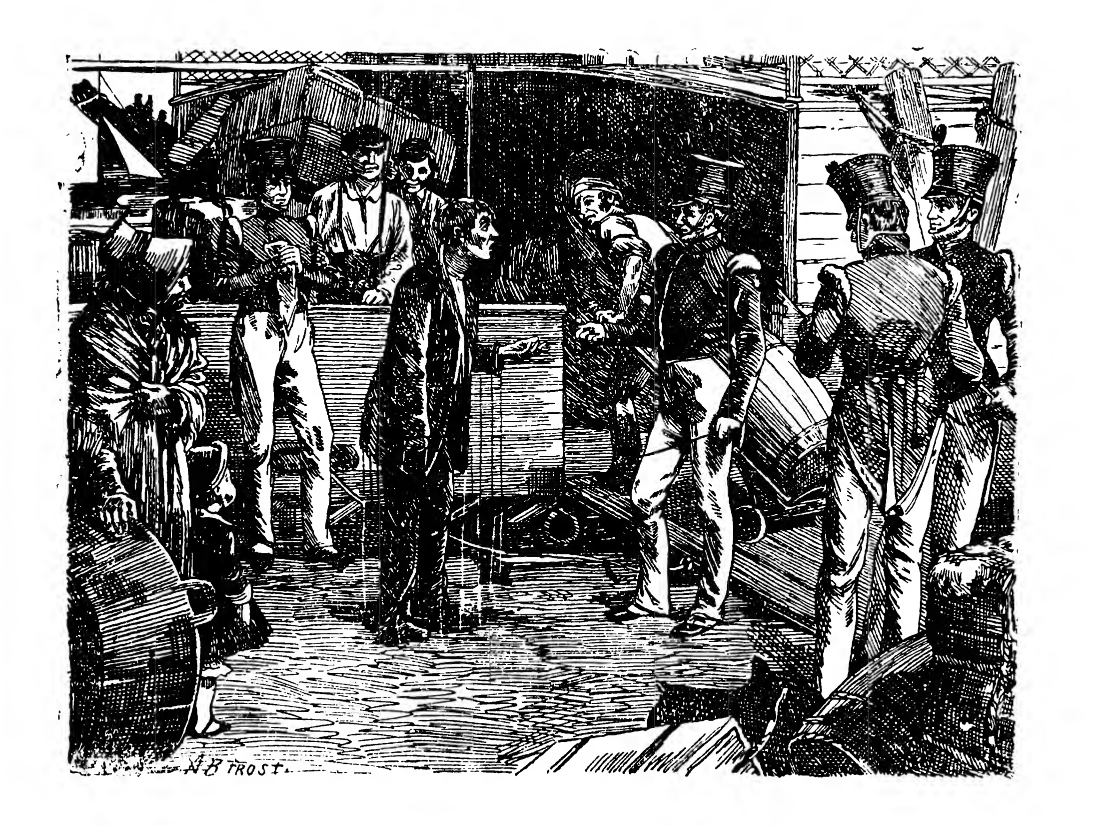
Итак, я стоял на пристани, наблюдая за погрузкой пассажиров на пароход, что отходил перед нашим, и волнуясь вместе с женою сержанта, собиравшей свои скудные пожитки: она не спускала обезумевших глаз с носильщиков, перетаскивавших их на судно, и в то же время старалась не упустить из виду корыта без ручек, к которому, как к самой никудышной вещи из всей своей движимости, питала особую нежность,— когда к пароходу подошли три-четыре солдата с рекрутом и поднялись на борт.

Рекрут был пригожий парень, крепкий и складный, но далеко не трезвый,— вообще вид у него был такой, точно он уже не первый день ходит вполпьяна. На палке через плечо он нес узелок, во рту держал носогрейку. Был он пыльный и грязный, как всякий рекрут, а его башмаки свидетельствовали о том, что он проделал пешком немалый путь; и все же он был в приподнятом настроении: тому из солдат пожмет руку, того хлопнет по спине, и болтает и смеется без умолку, точно тявкающий и такой же праздный, как и он, пес.

Солдаты смеялись не заодно с новобранцем, а скорее над ним; они стояли, поигрывая хлыстом, и свысока посматривали на парня, задрав подбородок, подпертый крахмальным воротником, словно говоря: «Дури, дури, малый, пока можно! Ничего, со временем поумнеешь!» — как вдруг разошедшийся новичок, который все пятился и пятился к сходням, кувырнулся за борт и неуклюже забарахтался в реке, между судном и пристанью.

Я в жизни не видел ничего любопытнее той перемены, которая мгновенно произошла в поведении солдат: рекрут еще не успел, наверно, долететь до воды, как их профессиональную натянутость и чопорность точно рукой сняло, и они закипели самой рьяной энергией. Быстрее, чем об этом можно рассказать, парня извлекли из воды ногами вперед,— полы сюртука били его по глазам, обтрепанная одежонка висела вкривь и вкось, а с каждой ее ниточки стекали струйки. Но едва солдаты поставили его на ноги и увидели, что он целехонек, они опять превратились в солдат и глядели на него еще равнодушнее, еще выше задрав подбородок.

Наполовину протрезвев, рекрут с минуту озирался,


A B FROST

точно хотел прежде всего выразить благодарность за свое спасение; но видя, с каким безразличием стоят солдаты, он принял от одного из них,— того, который больше всех волновался,— свою вымокшую носогрейку, ткнул ее в рот, засунул руки в мокрые карманы и, даже не отжав одежду, пошел, насвистывая, по палубе,— я чуть не сказал «как ни в чем не бывало», но нет, он шел с таким видом, будто все так и получилось, как он хотел,— и как еще удачно!

Не успел их пароход отчалить от пристани, как подошел наш, и вскоре мы уже были в устье реки Ниагары, где звезды и полосы Америки реют над одним берегом, а британский лев над другим берегом; разделяет их такое узкое пространство, что часовые в фортах часто слышат, как дают пароль часовым другой стороны. Оттуда мы попали в озеро Онтарио — не озеро, а скорее внутреннее море, и около половины седьмого были уже в Торонто.

Город лежит на совершенно плоской равнине, а потому его окрестности ничуть не живописны; зато сам он полон жизни и движения, суматохи, деятельности и стремления к усовершенствованию. Улицы прилично вымощены и освещаются газовыми фонарями; дома большие и хорошие; магазины превосходные. Витрины многих из них могли бы потягаться с витринами в главном городе какого-нибудь процветающего графства Англии, а иные не посрамили бы и столицы. Здесь есть отличная каменная тюрьма, и есть, между прочим, красивая церковь, суд, общественные здания, много уютных частных домов и государственная обсерватория, где отмечаются и регистрируются отклонения магнитной стрелки. В колледже Верхней Канады, состоящем в ведении общественных учреждений этого города, можно получить основательные знания по всем отраслям классической науки за очень скромную плату — с ученика взимается не более девяти фунтов стерлингов в год. У колледжа имеются недурные земельные угодья, и вообще это ценное и полезное заведение.

Всего несколько дней тому назад генерал-губернатор заложил первый камень нового колледжа. Это будет красивое просторное здание, к которому поведет длинная

аллея, уже обсаженная деревьями и открытая для прогулок. Город вообще располагает к моциону в любое время года, здесь даже переулки и улицы, находящиеся в стороне от главной, имеют деревянные тротуары, ровные, как полы, и содержатся в чистоте и порядке.

Приходится глубоко сожалеть, что политические распри бушуют здесь вовсю и что они привели к самым постыдным и непристойным явлениям. Совсем недавно в этом городе из окна одного дома стреляли по кандидатам, одержавшим победу на выборах, и кучер одного из них оказался ранен, впрочем неопасно. Но один человек тогда все-таки был убит, и из того самого окна, из которого его сразила пуля, во время торжества, устроенного генерал-губернатором, о котором я только что упоминал, был вывешен тот флаг, что прикрывал убийцу (прикрывал не только при свершении преступления, но и от кары). Из всех цветов радуги только один мог быть так использован. Нет надобности добавлять, что то был оранжевый флаг *.

Из Торонто в Кингстон отбывают в полдень. А на следующее утро в восемь часов путешественник прибывает к месту своего назначения, переправившись на пароходе через озеро Онтарио и зайдя по дороге в Порт Надежды и Кобург, веселый процветающий городок. Основной груз плавающих здесь судов — мука, неимоверное количество муки. Между Кобургом и Кингстоном у нас на борту было ее не менее тысячи восьмидесяти бочонков.

Кингстон, резиденция канадского правительства,— совсем бедный городишко, а после недавнего пожара, уничтожившего рынок, он стал выглядеть еще беднее. Сейчас о нем можно сказать, что одна половина его сгорела, а другая еще не отстроена. Дом правительства не отличается ни изяществом, ни удобствами, и все же это чуть ли не единственное более или менее внушительное здание на всю округу.

Здесь есть удивительная тюрьма, основанная на хорошо продуманных, разумных началах, и дело в ней поставлено во всех отношениях превосходно. Заключенные занимаются здесь сапожным ремеслом, плетут канаты, работают в кузнице, шьют одежду, плотничают, обтесывают камни, а многие из них трудятся на строи-

тельстве новой тюрьмы, которое близится к концу. Женщины-узницы заняты всякого рода рукоделием. Среди них была красивая двадцатилетняя девушка, просидевшая уже без малого три года. Во время канадского восстания * она возила на остров Нейви тайные донесения; иной раз она одевалась как девушка, и тогда прятала депеши за корсаж; а иной раз одевалась юношей — и тогда засовывала их за подкладку шляпы. В роли юноши она ездила верхом как заправский мальчишка,— ей это было нипочем, так как она легко справлялась с любой лошадью, если с ней мог справиться мужчина, и не раз правила четверкой в паре с лучшим кучером здешних мест. Отправляясь с очередным поручением к патриотам, она брала первую попавшуюся лошадь, — за это-то правонарушение она и очутилась там, где я ее увидел. У нее прелестное лицо, хотя, как может догадаться из моего рассказа читатель, в глубине ее блестящих глаз, гневно поглядывающих сквозь прутья решетки, притаился сам черт.

Есть тут сильный форт, неуязвимый для бомб,— он смело выдвинут вперед и может несомненно сослужить хорошую службу; но все же, мне кажется, город расположен слишком близко к границе, чтобы можно было в неспокойные времена долго сохранять за ним его теперешнюю роль. Есть тут и небольшой док, где в те дни правительство строило два парохода — и довольно энергично.

Из Кингстона в Монреаль мы отбыли десятого мая в девять тридцать утра и поплыли на пароходе вниз по реке св. Лаврентия. Трудно вообразить себе всю красоту этой величественной реки,— особенно в начале, когда она прокладывает себе путь среди тысячи островков. Несметное множество этих островков, непрерывной чередой сменяющих друг друга, зеленых, густо поросших лесом; их различная величина — одни такие большие, что полчаса плывешь мимо и думаешь, что это противоположный берег реки, а другие совсем маленькие — точно рябинки на ее широкой глади; бесконечное разнообразие их формы; и бесчисленные вариации красивых очертаний, какие придает им лес,— все это создает картину необыкновенно увлекательную и приятную.

Во второй половине дня мы проскочили через пороги, где река кипела и как-то странно клокотала, а течение в своей силе и яростной стремительности становилось поистине грозным. В семь часов мы прибыли на пристань Диккенсона, где путешественники пересаживаются в карету и едут берегом часа два или три, ибо плавание из-за порогов становится слишком трудным и опасным и на этом участке пароходы не ходят. Их немало, таких «прогонов» по суше, довольно длинных, по скверным дорогам, где продвигаться приходится медленно, так что путь из Монреаля в Кингстон, в общем, достаточно утомителен.

Наш маршрут пролегал по широкой, открытой равнине, не удаляясь от берега, вдоль которого ярко горели сигнальные огни, отмечая опасные места на реке. Ночь была темная и ненастная, становилось жутковато. К десяти часам мы добрались до пристани, где нас ждал следующий пароход, взошли на борт и сразу же легли спать.

Пароход простоял у пристани всю ночь и на рассвете двинулся в путь. Утро началось с отчаянной грозы и ливня, но постепенно погода наладилась, и небо прояснилось. Выйдя после завтрака на палубу, я с удивлением увидел огромный плот, плывущий по течению, на котором стояло штук тридцать или сорок деревянных домиков и столько же, если не больше, мачт, что делало его похожим на плавучую улицу. Впоследствии я видел много подобных плотов, но ни разу такого большого. Весь лес, или «древесину», как говорят в Америке, сплавляют по реке св. Лаврентия таким образом. Когда плот прибывает на место назначения, его разбирают, лес продают, а плотовщики возвращаются за новым.

В восемь утра мы снова высадились на сушу и четыре часа ехали в карете по приятной, хорошо обработанной местности, где во всем ощущался французский дух: во внешнем виде домиков; в повадках, языке и платье крестьян; в вывесках над лавками и тавернами; и в часовенках девы Марии и крестах при дороге. Пусть у простого рабочего или юноши нет башмаков на ногах, зато он непременно подпоясан каким-нибудь ярким кушаком, чаще всего красным; а женщины, работающие в полях и садах

или хлопотавшие на дворе по хозяйству, все до одной — в больших соломенных шляпах с широчайшими полями. На деревенских улицах встречаются католические священники и сестры милосердия, а на перекрестках и в разных общественных местах — изображения спасителя.

В полдень мы пересели на другой пароход и к трем часам прибыли в деревню Лашин, расположенную в девяти милях от Монреаля. Здесь мы распростились с рекой и двинулись дальше сушей.

Монреаль красиво расположен на берегу реки св. Лаврентия и окружен высокими холмами, где неплохо прокатиться в экипаже или верхом. Улицы в нем узкие и неровные, как в большинстве французских городов, и современных и старинных, но в более новых частях города они широки и просторны. Много превосходных магазинов — самых разных; и как в городе, так и в его предместьях немало хороших частных домов. Гранитные набережные поражают своей красотой, основательностью и протяженностью.

Есть здесь большой католический собор — он воздвигнут совсем недавно, и один из двух его шпилей еще не закончен. На пустыре перед собором стоит одинокая мрачная приземистая башня кирпичной кладки, очень своеобразная и примечательная с виду, вследствие чего местные мудрецы постановили немедленно ее снести. Здание правительства куда лучше, чем в Кингстоне, а сам город полон жизни и деятельности. В один из пригородов ведет отличная, выложенная досками дорога, а не какая-нибудь дорожка, она тянется на пять или шесть миль. Наши поездки по окрестностям были вдвойне приятны благодаря внезапному пробуждению весны, которая наступает здесь так бурно, что переход от бесплодной зимы к цветущей юности лета происходит за один день.

Пароходы, курсирующие до Квебека, делают весь путь ночью, а именно: выходят из Монреаля в шесть часов вечера и прибывают в Квебек в шесть часов следующего утра. Мы съездили туда за время нашего пребывания в Монреале (продлившееся свыше двух недель) и были положительно очарованы этим интересным и красивым городом.

Впечатление, которое производит на приезжего этот

американский Гибралтар с его головокружительными высями, словно повисшей в воздухе цитаделью, живописными крутыми улочками, хмурыми арками ворот и великолепными видами, на каждом повороте поражающими глаз,— и своеобычно и непреходяще.

Такое место не забудешь и не спутаешь с другим, его ни на минуту не затмит ни одна из картин, теснящихся в памяти путешественника. Помимо всего, что нам предлагает этот живописнейший городок, с ним связаны воспоминания, которые могли бы сделать интересной и пустыню. Страшная пропасть, где по скалистой круче взбирались к славе Вульф и его храбрые товарищи; долина Авраама, где он получил смертельную рану; крепость, где столь рыцарски отбивался Монткальм *, и его солдатская могила, вырытая для него еще при жизни разрывом снаряда,— все это имеет не только местный интерес, но и принадлежит к числу памятных страниц истории. Это — благородный монумент, достойный двух великих народов и увековечивающий память двух доблестных генералов, чьи имена на нем начертаны рядом.

В городе много общественных учреждений, католических церквей и богаделен, но особенно он хорош, если смотреть со стороны цитадели и старого здания правительства. Очаровательные окрестности, где поля перемежаются лесами и горами, холмами и озерами, где на многие мили вытянулись белыми полосками канадские деревушки; пестрое стадо крыш, башенок и труб в старом городе, раскинувшемся на холмах у самых ваших ног; красавица река св. Лаврентия, блестящая и сверкающая на солнце; и крошечные пароходики внизу под скалой, с которой вы смотрите (издали их снасти кажутся паутиной, протянутой на свету, бочки и бочонки на палубах — игрушками, а хлопотливые матросы — ну прямо марионетками),— все это обрамленное глубокой амбразурой крепостного окна — да еще когда смотришь из мрачной залы, образует самую яркую, чарующую картину, на какой когда-либо останавливался глаз.

Весной несчетное множество переселенцев, прибывших из Англии или Ирландии, проходят этот путь из Квебека в Монреаль, пробираясь в глухие леса и новые поселки Канады. Если любопытно (как я это частенько

делал) прогуляться утром по набережной Монреаля и посмотреть на группы этих переселенцев, которые сотнями сидят на пристанях возле своих ящиков и сундучков, то насколько же интереснее ехать с ними на одном пароходе и, затерявшись в толпе, наблюдать и слушать их, не привлекая к себе внимания.

Судно, на котором мы возвращались из Квебека в Монреаль, было забито ими; на ночь они разложили постели в проходах между палубами (то есть те, у кого были постели) и так плотно улеглись вповалку у нашей двери, что невозможно было ни войти, ни выйти. Они были чуть ли не все англичане, главным образом из Глочестершира, и ехали всю зиму, пока добрались сюда; но удивительно, какие чистенькие были у них дети и как безграничны любовь и самоотверженность бедных родителей!

Сколько бы мы ни лицемерили,— а мы будем лицемерить, пока мир стоит,— бедняку куда труднее быть добродетельным, чем богатому; и тем ярче сверкает то хорошее, что есть в нем. В ином роскошнейшем особняке живет человек, примерный супруг и отец, чьи достоинства, как отца и супруга, люди справедливо превозносят до небес. Но приведите его сюда, на эту забитую переселенцами палубу. Снимите с его красивой молодой жены шелковое платье и драгоценности, растреплите ее тщательно причесанную голову, проложите ранние морщины на ее лбу, дайте запасть ее щекам от забот и вечных лишений, оденьте ее отцветшее тело в грубую залатанную одежду, лишите ее всякой защиты и поддержки, оставив ей только его любовь,— и вот тогда проверим их добродетели. Измените точно так же общественное положение мужа, чтобы в этих крошках, взбирающихся к нему на колени, он видел не наследников своего имени и богатства, а маленьких нахлебников, вырывающих у него кусок изо рта; разбойников, покушающихся на его скудный обед; столько-то ртов, на которых приходится делить каждый грош, все больше отнимая у себя самого. Вместо нежной детской ласки, милой сердцу, навалите на него все нужды, хвори и болезни детей, упрямство, капризы и надутое молчание; пусть они не лепечут ему о своих детских причудах, а жалуются на холод, и голод, и

жажду,— и если все это не убьет его отцовских чувств и он будет терпелив, заботлив, нежен и внимателен к своим детям и будет всегда принимать к сердцу их радости и горести,— тогда верните его в парламент, на церковную кафедру, в коллегию мировых судей, и когда он услышит разглагольствования об ущербной нравственности тех, кто кое-как перебивается от получки до получки и тяжким трудом добывает свой черствый хлеб,— пусть он встанет, как человек, который сам все изведал, и скажет таким краснобаям, что они по сравнению с людьми труда должны были бы быть ангелами в повседневной жизни и лишь с великим смирением помышлять о награде на том свете.

Кто из нас может сказать, каким он стал бы, если б ему выпала такая доля и за всю жизнь выдались лишь краткие передышки или незначительные перемены? Когда я глядел на этих людей, оторванных от родины, не имеющих крова, нищих скитальцев, измученных бесконечными переездами и тяготами жизни; и видел, как терпеливо они нянчат и холят своих детей; как сначала спрашивают об их нуждах, а уж потом кое-как удовлетворяют свои; с какою нежностью женщины поддерживают в них веру и надежду; как действует их благородный пример на мужчин; и как редко, редко прорывается у них жалоба даже в минуты раздражения,— я начинал сильнее любить и уважать род человеческий; и дай-то бог, чтобы среди его лучших представителей побольше нашлось атеистов, способных вычитать в книге жизни этот простой урок.

Тринадцатого мая мы снова выехали из Монреаля — на этот раз в Нью-Йорк; на пароходе проделали путь по реке св. Лаврентия до Ла-Прери, что на противоположном берегу, а оттуда проехали по железной дороге в Сент-Джонс, расположенный на озере Шамплен. Последними англичанами, приветствовавшими нас в Канаде, были офицеры местного гарнизона, принимавшие нас в довольно приятных казармах и так гостеприимно и дружелюбно, что мы сохраним в памяти каждый час, проведенный с этими подлинными джентльменами; но вскоре мы

отчалили под звуки «Правь, Британия!» и оставили их далеко позади.

И все-таки Канада занимает первое место в моих воспоминаниях — и навсегда сохранит его. Мало кто из англичан ожидал бы увидеть ее такой, какова она на деле. Ее неторопливое продвижение по пути прогресса; изживание старой вражды, которая скоро и вовсе забудется; неразвращенное общественное мнение и здоровое частное предпринимательство; ничего от суетливости и лихорадочности, размеренная жизнь, бьющая животворным ключом,— все это внушает большие ожидания и надежды. Я привык думать о Канаде как об отсталой стране, плетущейся в хвосте за развитым обществом, которое быстрым шагом идет вперед; забытой и заброшенной, погруженной в изнуряющий сон,— и то, что я увидел, явилось для меня большой неожиданностью: спрос на рабочую силу и уровень заработной платы; оживленные набережные Монреаля; разгружаемые и нагружаемые пароходы; множество судов в различных портах; широкая торговля, дороги и общественные здания, которые строятся *напрочно;* благопристойный тон газет и журналов; и, наконец, жизненные блага и довольство, какие может принести честный труд. Пароходы, курсирующие на озерах, по своей благоустроенности, чистоте и безопасности плавания, по благородству натуры и повдения своих капитанов, а также по вежливости персонала и безупречному обслуживанию уступают даже знаменитым шотландским судам, которые так заслуженно превозносят у нас на родине. Правда, гостиницы в Канаде обычно скверные, потому что жить в отелях здесь не так принято, как в Соединенных Штатах, английские же офицеры, составляющие значительную часть общества в каждом городе, живут преимущественно в полковых общежитиях; но во всех прочих отношениях путешественник найдет в Канаде такие же удобства, как и в любом другом известном мне месте.

Но один американский корабль — тот самый, на котором мы плыли по озеру Шамплен из Сент-Джонса в Уайтхолл, я ставлю очень высоко; и не будет преувеличением сказать, что он лучше того, на котором мы прибыли из Квинстона в Торонто, или того, который нас

доставил из Торонто в Кингстон, и — смело могу добавить: — любого другого на свете. Этот пароход, именуемый «Берлингтон»,— истинное совершенство в смысле чистоты, изящества и порядка. У него не палубы, а гостиные; не каюты, а будуары, изысканно обставленные, с литографиями, картинами и музыкальными инструментами; и каждый уголок и закоулок на судне — подлинное чудо изящного уюта, красоты и удобства. Командир корабля капитан Шерман, чьей изобретательности и превосходному вкусу корабль обязан этими совершенствами, не раз достойно и храбро проявил себя в трудных испытаниях, и не на последнем месте следует упомянуть, что у него достало мужества перевозить английские войска в такой момент (это было в пору Канадского восстания), когда для них это оказалось единственным средством передвижения. Он сам и его корабль снискали всеобщее уважение как у себя на родине, так и у нас; и ни один человек, пользующийся в своей области общим признанием, не заслужил бы его больше и не держался бы достойнее, нежели этот джентльмен.

Итак, на этом плавучем дворце мы вскоре вернулись в Соединенные Штаты и в тот же вечер зашли в Берлингтон, красивый городок, где мы простояли около часа. В Уайтхолл, конечный пункт нашего плавания, мы прибыли в шесть часов на следующее утро,— а могли бы прибыть и раньше, но пароходы ночью здесь стоят на якоре несколько часов, так как озеро в этой части очень узко и плыть по нему в темноте небезопасно. В одном месте оно настолько сужается, что корабль тащат на канате.

Позавтракав в Уайтхолле, мы сели в карету и отправились в Олбени, большой шумный город, куда мы прибыли в шестом часу вечера, после того как весь день ехали по страшной жаре, так как снова было знойное лето. В семь часов мы погрузились на большой пароход, до того забитый пассажирами, что его верхняя палуба напоминала аванложу в театре во время антракта, а нижняя — Тоттенхем-Корт-роуд в субботу вечером,— и поплыли по реке Норт к Нью-Йорку. Спали мы, однако, крепко и на другое утро в начале шестого прибыли в Нью-Йорк.

Задержавшись здесь всего на сутки, чтобы передохнуть и прийти в себя, мы снова двинулись в нашу последнюю поездку по Америке. До отплытия в Англию у нас оставалось еще пять дней, а мне очень хотелось посмотреть деревню шекеров *, где живут приверженцы религиозной секты, по которой она и получила свое название.

Итак, мы снова поднялись вверх по реке Норт до города Гудзон и там наняли «внерейсовую» карету, на которой и прибыли в Ливан, лежащий в тридцати милях оттуда — конечно, не в деревню Ливан, где я ночевал, когда ездил в прерию.

Местность, по которой вилась наша дорога, была богатая и красивая; погода была прекрасная и на протяжении многих миль в голубой дали вставали перед нами стройной грядой облаков высокие Каатскилские горы, где некогда в памятный бурный день Рип ван Винкл * играл в кегли с призрачными голландцами. На крутом склоне горы, у подножия которой проходит еще недоконченная железная дорога, мы наткнулись на поселение ирландцев. Кругом тут есть все необходимое для постройки приличного жилья, но просто удивительно, до чего нескладны, примитивны и убоги их лачуги. Лучшие из них еще могут с грехом пополам защитить от непогоды; худшие — пропускают ветер и дождь сквозь широкие бреши в крышах из волглой травы и в глиняных стенах; у них нет ни двери, ни окон; иные еле стоят, кое-как подпертые кольями и столбами; и все — обветшалые и грязные. На редкость безобразные старухи и полногрудые молодые женщины, свиньи, собаки, мужчины, дети, грудные младенцы, горшки, котлы, навоз, вонючие отбросы, гнилая солома и стоячая вода — все смешано здесь в одну кучу, составляя неотъемлемую принадлежность каждой темной и зловонной хижины.

В десятом часу вечера мы прибыли в Ливан, славящийся своими горячими ключами и большой гостиницей, несомненно превосходной по мнению тех носителей стадного чувства, которые приезжают сюда развлечься или поправить здоровье, но предельно неудобной. Нас провели в огромное помещение, освещенное двумя тусклыми свечами — так называемую гостиную; оттуда, спустившись на несколько ступенек, мы попали в другую обширную

пустыню, называемую столовой. Спальни наши находились в длинном ряду таких же маленьких, беленных мелом келий, шедших по обе стороны мрачного коридора, и были так похожи на тюремные камеры, что, улегшись в постель, я был почти уверен, что меня сейчас запрут, и невольно прислушивался, не повернется ли ключ в замочной скважине. Должно быть, лечебные ванны находились где-то по соседству, так как я даже в Америке нигде не видел, чтобы так плохо обстояло дело с умыванием; и вообще спальни были лишены самых простых удобств — в них не было даже стульев; я бы сказал, что в них не было ничего, но этого не скажешь, так как на утро я проснулся весь искусанный.

Гостиница, однако, красиво расположена, и нам подали хороший завтрак. Покончив с ним, мы отправились к месту своего назначения, находившемуся милях в двух отсюда,— дорогу к нему указывала дощечка с надписью: «К деревне шекеров».

По пути нам попалась партия шекеров, занятых дорожными работами; на них были широчайшие из широкополых шляп, а сами они казались во всех отношениях до того деревянными, что вызвали у меня не больше симпатии и интереса, чем фигурная резьба на носу корабля. Вскоре мы подъехали к деревне и, выйдя из кареты у дома, где продавались изделия шекеров и где собирались старейшины, попросили разрешения посмотреть на их обряды.

В ожидании ответа от высокого лица, которому должны были передать нашу просьбу, мы прошли в угрюмую комнату, где несколько угрюмых шляп висело на угрюмых крюках и где время угрюмо отстукивали угрюмые часы, которые тикали, казалось, через силу и лишь нехотя, по принуждению, нарушали угрюмую тишину. Вдоль стены выстроились в ряд семь-восемь жестких стульев с высокими спинками, и они до того соответствовали угрюмой атмосфере, царившей вокруг, что посетитель скорее согласился бы сесть на пол, чем хоть немного затруднить один из них.

Тут в комнату величественно вошел угрюмый старый шекер, с глазами такими же неприятными, тусклыми и холодными, как большие круглые металлические пуго-

вицы на его пиджаке и жилете,— этакий смирный домовой. Узнав, чего мы хотим, он достал газету, где совет старейшин, членом которого он состоял, всего несколько дней назад поместил объявление о том, что они решили на год закрыть свой храм для посторонних, так как приезжие ведут себя непристойно и мешают выполнять обряды.

Поскольку возразить на это разумное постановление было нечего, мы попросили дозволения приобрести коечто из изделий шекеров и получили угрюмое согласие. Тогда мы отправились в лавку, помещавшуюся в том же доме, через коридор, где у прилавка восседало нечто живое в рыжем футляре, что, по словам старейшины, было женщиной и, должно быть, в самом деле было, хотя я бы этого никогда не заподозрил.

Через дорогу находился их храм — строгое, чистое деревянное строение, с большими окнами и зелеными ставнями, похожее на большую дачу. Поскольку доступ в молельню был закрыт, мне не оставалось ничего иного, как обойти и осмотреть его снаружи, а заодно и другие строения (все по большей части деревянные, окрашенные в темно-красный цвет, как английские сараи, и многоэтажные, как английские фабрики), и я могу сообщить читателю только те скудные сведения, которые почерпнул, пока делал покупки.

Людей этих прозвали шекерами [1] по их религиозному обряду — пляске, исполняемой мужчинами и женщинами всех возрастов; перед началом ее мужчины снимают шляпы и пиджаки и торжественно вешают на стенку, потом перевязывают руки повыше локтя — лентами, точно готовясь к кровопусканию. Построившись затем в две шеренги, мужчины против женщин, они принимаются заунывно мычать и, то наступая друг на друга, то отступая, пляшут, смешно подпрыгивая, до полного изнеможения. Говорят, это выглядит до крайности нелепо и, судя по имеющейся у меня литографии, на которой запечатлен этот обряд и которая, по словам очевидцев, побывавших в храме, точно отображает действительность, должно быть, необычайное и уродливое зрелище.

---

[1] Шекер от английского слова shake — трястись *(англ.)*.

Управляет ими женщина, и, насколько известно, она облечена неограниченной властью, хотя при ней и существует совет старейшин. Живет она, говорят, в строгом затворничестве, в покоях над храмом, и никогда не показывается непосвященным. Если она хоть немного похожа на ту даму, что восседает в лавке, то держать ее под затвором великое для нее благодеяние, и я самым решительным образом высказываюсь за такую милосердную меру.

Все имущество и доходы поселенцев складываются в общую казну, которой ведают старейшины. Поскольку они завербовали в свою секту немало богатых мирян и сами бережливы и расчетливы, то надо полагать, что их фонд в цветущем состоянии, тем более что они сделали большие земельные приобретения. Добавлю, что колония шекеров возле Ливана не единственная; их, по-моему, есть еще три, если не больше.

Шекеры — хорошие фермеры, и продукты их хозяйства быстро раскупаются и высоко ценятся. «Семена шекеров», «травы шекеров», «настойки шекеров» вам часто предлагают в магазинах поселков и городов. Они добры и милосердны к животным и умеют выводить породистый скот, который ценится на рынке и почти всегда находит быстрый сбыт.

Едят они и пьют все вместе, по спартанскому обычаю *, за общим большим столом. Супружеской жизни у них не существует: каждый шекер, будь то мужчина или женщина, дает обет безбрачия. На этот счет ходят всевозможные слухи, но здесь я опять-таки сошлюсь на даму из лавки и скажу, что если многие сестры-шекерши похожи на нее, я эти слухи считаю клеветой, лишенной всякого правдоподобия. А вот что они обращают в свою веру совсем молоденьких юношей и девушек, которые сами не знают чего хотят и еще неспособны принять твердое решение по этому, да и по любому другому вопросу,— я могу подтвердить на основе собственных наблюдений: в той партии шекеров, которую я видел за работой на дороге, было несколько совсем юных пареньков.

Говорят, что они умеют отлично торговаться, но честны и справедливы в сделках и даже при продаже лошадей способны отрешиться от тех мошеннических на-

клонностей, которые, по неизъяснимой причине, неразрывно связаны, как видно, с этой отраслью торговли. Во всех делах они спокойно следуют своим путем, живут своей унылой молчаливой общиной и не проявляют большого желания вступать в сношения с другими людьми.

Все это, конечно, неплохо, и тем не менее, признаюсь, я не могу симпатизировать шекерам, благосклонно смотреть на них или сколько-нибудь терпимо к ним относиться. Мне так претит, так ненавистен этот дурной дух, каким бы классом или сектой он ни насаждался, дух, который отнимает у жизни ее здоровые радости, крадет у юности ее невинные утехи, отбирает у зрелого и преклонного возраста всю их прелесть и отраду и превращает жизнь в узкую, ведущую к могиле тропу; этот мерзкий дух, который, дай ему свободу и позволь распространиться по земле, выхолостил бы и обесплодил фантазию наших великих людей и, лишив их способности создавать бессмертные образы для будущих поколений, низвел бы их до уровня животных,— что в этих чересчур широкополых шляпах и в этих чересчур уж темных сюртуках,— словом, в этом твердолобом, чопорном благочестии, чем бы оно ни прикрывалось, носит ли оно стриженые волосы, как в деревне шекеров, или отращивает себе ногти, как в индусском храме,— я вижу злейшего врага земли и неба, превращающего воду на свадебных пиршествах нашего бедного мира не в вино, а в желчь. И если непременно должны быть люди, давшие обет подавлять в человеке безобидную фантазию и любовь к невинному веселью и радости, составляющие неотъемлемую часть человеческой природы,— такую же неотъемлемую, как всякая присущая каждому любовь иль надежда,— я бы открыто причислил их к самым отъявленным злодеям; даже идиоты и те понимают, что такой путь не ведет к бессмертию, и будут презирать их и чураться.

Покинув деревню шекеров с глубокой неприязнью в душе к старым шекерам и глубокой жалостью к молодым (которую несколько умеряла надежда, что они сбегут,— а это нередко здесь случается,— когда станут старше и разумнее), мы тем же путем, каким ехали накануне, вернулись в Ливан и оттуда в Гудзон. Отсюда мы по реке Норт поплыли на пароходе в Нью-Йорк, но не

доехав, в четырех часах пути от него, высадились в Вест-Пойнте, где провели ночь и весь следующий день и еще одну ночь.

В этом чудесном уголке — красивейшем по всему красивому и приятному нагорью у реки Норт — находится высшая военная школа Америки; она стоит в окружении темно-зеленых холмов и разрушенных фортов и смотрит с высоты на далекий городок Ньюбург, притулившийся у сверкающей на солнце водной полосы, по которой здесь и там скользят челноки, и белый парус под порывом ветра, налетевшего из горной лощины, вдруг меняет галс,— все здесь насыщено воспоминаниями о Вашингтоне и событиях войны за независимость *.

Трудно было бы сыскать для академии более подходящее место, а более красивого, кажется, и в мире нет. Система обучения здесь суровая, но хорошо продуманная и мужественная. Весь июнь, июль и август молодые люди проводят в палатках на широком плацу перед колледжем, а в течение всего года ежедневно проделывают там военные упражнения. Срок обучения для всех кадетов установлен государством в четыре года, но то ли из-за строгой дисциплины, то ли из-за свойственной американцам нелюбви к каким-либо ограничениям, а может быть и по обеим причинам сразу, но не больше половины поступающих в академию заканчивают ее.

Так как число мест в академии примерно равно числу членов конгресса, каждый избирательный округ посылает в нее по одному кадету,— причем выбор его проходит под давлением соответствующего члена конгресса. Так же происходит потом и назначение на службу. Профессора академии живут в красиво расположенных домах: есть тут и отличная гостиница для приезжих, однако у нее имеется два недостатка: здесь блюдут абсолютную трезвенность (вина и спиртные напитки кадетам запрещены) и кормят в самое неудобное время: завтрак в семь, обед — в час, ужин — с заходом солнца.

Красота и свежесть, окружавшие этот тихий уголок на заре зеленого лета — еще только-только наступил июнь,— были поистине чарующи. Расставаясь с ним шестого числа и возвращаясь в Нью-Йорк, чтобы на следующий день отчалить в Англию, я радовался, что среди

последних памятных красот, которые проплыли мимо нас, теряясь в ясной дали, были картины, созданные не рукой простого смертного, а неизгладимо запечатлевшиеся в умах многих людей, не стареющие и не тускнеющие от времени,— Каатскилские горы, Сонная Ложбина и Тапаан-Зее *.

ГЛАВА XVI
Путь домой

Никогда прежде меня так не интересовало и едва ли когда-нибудь так заинтересует направление ветра, как в то долгожданное утро, во вторник седьмого июня. Один авторитетный в морском деле человек сказал мне дня за два до того: «Вас устроит любой ветер, лишь бы он был хоть немного западный»,— так что когда я на рассвете вскочил с постели и, распахнув окно, ощутил свежий северо-западный ветерок, поднявшийся среди ночи, он показался мне таким живительным, несущим с собой столько приятного, что я сразу преисполнился особого уважения ко всем ветрам, дующим с запада, и надеюсь сохранить его до той поры, пока, испустив последний вздох, не утрачу способности дышать среди смертных.

Лоцман не замедлил воспользоваться благоприятной погодой, и корабль, еще вчера стоявший в такой забитой до отказа гавани, что, думалось, он раз навсегда отказался от плавания, потому что где тут выйти в море, был уже в добрых шестнадцати милях от берега. А как оно было красиво, наше судно, когда мы на катере быстро неслись туда, где оно бросило якорь: его высокие мачты изящными линиями врезались в небо, а все канаты и рангоуты были словно вычерчены тончайшим пером, и еще красивей оно стало, когда все собрались на борту и мы увидели, как под громкие дружные крики: «Живо, ребята, эй, живо!» — был поднят якорь и наш корабль горделиво потянулся за буксиром; но всего красивей и благородней оно было, когда на буксире убрали соединительный канат, а у нас на мачтах подняли паруса, и, расправив

белые крылья, наш корабль помчался в свой вольный и одинокий путь.

В кают-компании на корме нас оказалось всего пятнадцать пассажиров, по большей части из Канады, кое-кто был даже знаком друг с другом. Ночь выдалась ветреная и бурная, как и последующие два дня, но они пролетели быстро: вскоре у нас составилась веселая и милая компания, с честным, отважным капитаном во главе, как это обычно бывает на земле или на воде, когда люди хотят быть друг другу приятными.

Первый завтрак — в восемь, в двенадцать — второй, в три — обед, в половине восьмого — чай. Развлечений у нас было множество, и обед занимал среди них не последнее место: во-первых, он был приятен, а во-вторых, со всеми длинными антрактами между блюдами он, как правило, затягивался по крайней мере на два с половиной часа, что неизменно давало нам повод для веселья. Чтобы рассеять царящую обычно на таких пиршествах скуку, на нижнем конце стола, под мачтой, образовалось избранное общество, о достойном председателе которого скромность не разрешает мне особенно распространяться; скажу только, что это было веселое и говорливое содружество, и оно (отбросим в сторону предрассудки) пользовалось большим расположением всего остального общества и особенно чернокожего стюарда, с лица его не сходила широкая улыбка, которой он встречал удивительные шутки этих редкостных остроумцев.

Далее в нашем распоряжении были шахматы — для тех, кто в них играет, вист, криббедж, книги, трик-трак и всякие настольные игры. В любую погоду — ясную или пасмурную, тихую или ветреную — мы все до одного высыпáли на палубу, расхаживали по ней парами, забирались в лодки, стояли у борта, облокотившись о поручни, или, собравшись все вместе, праздно болтали. Была и музыка: один играл у нас на аккордеоне, другой — на скрипке, а третий (который начинал обычно в шесть часов утра) — на рожке; и когда все три музыканта играли разные мелодии, в разных частях корабля, но в одно и то же время и в пределах слышимости друг для друга, как это случалось порой (ибо каждый из них был чрезвычайно доволен своим исполнением),— получалось премерзко.

Если все эти развлечения надоедали, на помощь приходил парус, показавшийся в виду: то это был лишь призрак корабля в туманной дали, а то он проплывал так близко, что мы могли в бинокль различить людей на палубах и без труда прочесть, как называется корабль и куда идет. Часами могли мы смотреть на дельфинов и морских свиней, резвившихся, прыгавших и нырявших вокруг судна; или на этих маленьких крылатых скитальцев — буревестников, сопровождавших нас от Нью-Йоркской бухты и все две недели сновавших над кормой. Несколько дней, пока стоял мертвый штиль,— а если и поднимался ветер, то слабый,— команда развлекалась рыбной ловлей и выудила злополучного дельфина, который во всей своей радужной красе тут же, на палубе, и подох,— событие столь важное в нашем бедном событиями календаре, что дальше мы вели счет времени «от дельфина», провозгласив день, когда он подох, началом новой эры.

Добавим, что на пятые или шестые сутки плаванья пошли разговоры об айсбергах; суда, прибывшие в Нью-Йорк дня за два до нашего отплытия, повстречали довольно много этих плавучих островов,— об их опасной близости предупреждало и внезапное похолодание и падение барометра. Пока не исчезли эти признаки, на судне выставляли вдвое больше дозорных, а с наступлением темноты пассажиры потихоньку передавали друг другу немало страшных рассказов о кораблях, наскочивших ночью на айсберг и пошедших ко дну; но ветер принудил нас взять курс южнее, и нам так и не попалось ни одной ледяной горы, а вскоре опять установилась ясная и теплая погода.

Первостепенную роль в нашей жизни, как нетрудно угадать, играли наблюдения, производившиеся ежедневно в полдень, и последующая разработка курса корабля; при этом (как везде и всегда) находились проницательные люди, бравшие под сомнение правильность расчетов, и стоило капитану повернуться спиной, как они, за неимением компаса, принимались промерять карту веревочкой, краем носового платка и острием щипцов для снимания нагара и без труда доказывали, что капитан ошибся примерно на тысячу миль. Умилительно было видеть, как эти маловеры, покачивая головой и хмуря

брови, начинали важно рассуждать о мореплавании,— не потому, что они в нем что-то смыслили, а потому, что никогда, ни в затишье, ни при встречном ветре, не доверяли капитану. Ртуть и та не так изменчива, как пассажиры этого разряда, которые, когда судно величаво скользит по воде, клянутся, бледнея от восторга, что наш капитан заткнет за пояс всех прославленных капитанов, и даже намекают, что недурно бы собрать по подписке деньги и преподнести ему сервиз, а наутро, если ветер спал и паруса беспомощно повисли в неподвижном воздухе, снова уныло покачивают головой и, поджав губы, говорят, что капитан, может быть, и настоящий моряк, но они сильно в этом сомневаются.

В тихую погоду у нас вошло в обычай гадать, когда же ветер подует, наконец, в нужном направлении, как ему давно пора задуть по всем законам и правилам. Первый помощник, усердно за этим следивший, завоевал всеобщее уважение своим рвением,— маловеры и те зачислили его в первоклассные моряки. Пока тянулся обед, пассажиры то и дело задирали голову и мрачно поглядывали через световые люки каюты на паруса, бившиеся по ветру, и кое-кто в своем унынии осмеливался предсказать, что мы приедем в середине июля. На борту судна всегда бывает какой-нибудь оптимист и какой-нибудь пессимист. Наш пессимист в конце пути только и делал, что разглагольствовал и за столом каждый раз одерживал верх над оптимистом, спрашивая, где, по его мнению, находится сейчас «Грейт Уэстерн» (который вышел из Нью-Йорка неделей позже нас); и где, как он полагает, сейчас пакетбот компании «Кьюнард»; и что он скажет теперь о парусных судах — лучше они или хуже паровых,— словом, так донимал его своими приставаниями, что оптимист вынужден был стать пессимистом, лишь бы его оставили в покое.

Таковы были наши дополнительные развлечения, но и помимо них было еще кое-что, занимавшее нас. На нашем судне, на баке, ехало около сотни пассажиров — обособленный мирок нищеты; глядя вниз, на палубу, где они прогуливались днем, варили себе пищу и часто тут же ее съедали, мы постепенно научились различать их в лицо, и нас начала интересовать их история: с какими

надеждами отправились они в свое время в Америку, и по каким делам ехали сейчас на родину, и как вообще сложилась их жизнь. Плотник, под чьим началом находились все эти люди, сообщал нам по этой части довольно неожиданные сведения. Иной провел в Америке всего три дня, иной — три месяца, а иные прибыли туда последним рейсом этого самого парохода, которым сейчас возвращались домой. Одним пришлось все с себя продать, чтобы заплатить за проезд, и они были едва прикрыты лохмотьями; другим нечего было есть, и они жили за счет доброхотных даяний, а один — это открылось лишь к самому концу нашего плавания, потому что он берег свою тайну и не искал сострадания,— существовал лишь за счет костей и остатков жира, которые собирал с тарелок, когда их носили мыть после обеда в кают-компании.

Вся система вербовки и транспортировки этих несчастных требует основательного пересмотра. Если кто нуждается в защите и поддержке правительства, так это как раз те, что оказались вынужденными покинуть родину в поисках средств к существованию. Капитан и его помощники из глубокого сострадания и гуманности делали для них все что могли, но требовалось много больше. Закон, во всяком случае английский, должен предусмотреть, чтобы этих несчастных не сажали на корабль слишком большими партиями и чтобы им был обеспечен проезд в приличных условиях, а не таких, которые способствуют деморализации и распутству. Из чистой гуманности нельзя пускать на судно ни одного человека, пока специально выделенный для этого чиновник не проверит, какой запас продовольствия он везет с собой, и не установит, что его хватит до конца пути. Закон должен также установить, чтобы на этих судах непременно был врач, тогда как сейчас на них нет никакой медицинской помощи, а в плавании нередки случаи заболеваний среди взрослых и смерти детей. Но главное: правительство — будь то монархическое или республиканское — обязано вмешаться и положить конец такой практике, когда поставщики эмигрантской рабочей силы закупают у судовладельцев все междупалубное пространство и сажают на корабль столько несчастных, сколько окажется у них под рукой, на любых условиях, нимало не заботясь о вмести-

мости помещений третьего класса, количестве имеющихся в наличии коек, какого-то отделения друг от друга людей разного пола, да и вообще ни о чем, кроме собственной выгоды. И это еще не самое худшее во всей порочной системе: в районах, где процветают бедность и недовольство, без конца шныряют агенты-вербовщики, получающие комиссионные по числу душ, которые им удастся завлечь; поэтому они чудовищно искажают истину, заманивая доверчивых простецов в тенета ещё бо́льшей нищеты и рисуя перед ними неосуществимые перспективы жизни в эмиграции.

История почти всех семейств, которые плыли с нами, была одна и та же. Накопив кое-что, назанимав, и выпросив, и все продав, что можно, они заплатили за проезд в Нью-Йорк, воображая, что попадут в город, где улицы вымощены золотом; а на поверку оказалось, что вымощены они самым настоящим и очень твердым камнем. Дела идут вяло: рабочие не требуются; работу найти можно, да не такую, за которую платят, и вот они едут назад еще более нищими, чем были прежде. Один из них вез незапечатанное письмо молодого английского ремесленника к своему другу из-под Манчестера: пробыв в Нью-Йорке две недели, он усиленно уговаривал друга последовать его примеру. Один из помощников капитана принес мне это письмо смеха ради. «Вот это страна, Джем,— пишет адресат.— Люблю Америку. Никакого деспотизма — вот что главное. Работа сама просится в руки, а заработки — огромные. Понимаешь, Джем, надо только выбрать, каким ты хочешь заняться ремеслом. Я пока еще не выбрал, но скоро решу. Все никак не надумаю, кем лучше стать: плотником или портным».

Была еще одна разновидность пассажиров, к которой принадлежал всего один человек, являвшийся постоянной темой наших разговоров и наблюдений в тихую погоду или при легком ветре. Это был матрос англичанин, красивый, ладно скроенный, настоящий английский военный моряк — от берета до кончиков штиблет; он служил в американском флоте и теперь, получив отпуск, направлялся на родину повидать друзей. Когда он пришел покупать билет, ему, как бывалому моряку, предложили ехать матросом и сэкономить деньги, но он возмущенно откло-

нил это предложение, сказав, что «может же он, черт возьми, хоть раз сесть на корабль, как джентльмен». С него взяли деньги честь честью, но едва оказавшись на борту, он тут же перенес свои пожитки на бак, завел дружбу с командой и, в первый же раз, как матросов кликнули наверх, раньше всех, точно кошка, стал карабкаться по снастям. И так на всем пути: он был первым на брасах, крайним на реях, всюду помогал,— но всегда со сдержанным достоинством, со сдержанной улыбкой на лице, ясно говорившей: «Хоть я это и делаю, но как джентльмен. Учтите, я работаю только для своего удовольствия!»

Наконец всерьез и как следует подул обещанный ветер, и, подгоняемые им, мы понеслись, храбро разрезая воду и до мельчайших складочек расправив паруса. Было истинное величие в движении прекрасного корабля, когда, осененный всеми своими парусами, он с бешеной скоростью летел по волнам, наполняя наши сердца несказанной гордостью и восторгом. Вот он нырнет в пенящуюся ложбину, и зеленая волна с большим белым гребнем — как мне нравилось любоваться ею! — взметнувшись за кормой, подкинет его вверх, а когда он снова пойдет под уклон, завихрится следом, не выпуская из-под своей власти высокомерного любовника! Все вперед и вперед летели мы по воде, непрестанно менявшей цвет в этих благословенных широтах, где по небу плывут лишь кудрявые облака; днем нам светило яркое солнце, а ночью — яркая луна; флюгер указывал прямо на родную землю — верное свидетельство, что ветер благоприятен и что в сердцах наших радость, и вот, наконец, в одно прекрасное утро, на восходе солнца — едва ли я забуду, что было это в понедельник, двадцать седьмого июня,— перед нами — да благословит его бог! — показался наш старый знакомый, мыс Клир: в тумане раннего утра он был похож на облако, самое светлое и самое желанное облако, какое скрывало когда-либо лик Родины, изгнанной сестры Небес.

От этого крошечного пятнышка на далеком горизонте вид встающего солнца показался нам еще более радостным и весь пейзаж приобрел ту привлекательность, которой ему недоставало в открытом море. И там, как и везде,

возвращение дня неразрывно связано с возрождением радости и надежд, но когда свет озаряет унылую водную пустыню и показывает взору во всей ее бескрайной шири и однообразии, зрелище становится та́ким величественным, что даже ночь, окутывая все неизвестностью и мраком, по силе впечатления уступает ему. Восход луны больше гармонирует с пустынностью океана: она придает ему скорбное величие и, возбуждая мягкие и нежные чувства, как будто успокаивает и вместе с тем печалит. Помню, когда я был совсем маленьким мальчиком, я воображал, что отражение луны в воде — это тропинка к небу, по которому души хороших людей восходят к богу; и то же чувство нередко возникало у меня и после, когда в тихую ночь я наблюдал на море лунную дорожку.

В то утро, в понедельник, ветер был совсем слабый, но дул он в нужном направлении, и вот постепенно мыс Клир остался у нас позади, и мы поплыли в виду берегов Ирландии; можно без труда представить себе и понять, как мы все были веселы, как благодарны «Джорджу Вашингтону», как поздравляли друг друга и как предсказывали, в котором часу прибудем в Ливерпуль. И как в тот день за обедом выпили от души за здоровье капитана, и с каким нетерпением принялись укладывать свои пожитки; и как двое или трое самых рьяных оптимистов решили в ту ночь вовсе не ложиться спать — к чему, когда берег совсем уже рядом,— но тем не менее легли и крепко заснули; и как столь близкое окончание наших странствий казалось сладким сном, от которого боязно пробудиться.

На другой день опять поднялся попутный ветер, и мы снова горделиво мчались вперед; и тут и там проплывало вдалеке английское судно, возвращавшееся домой с зарифленными парусами, а мы, наполнив ветром каждый дюйм холстины, весело обгоняли его и оставляли далеко позади. К вечеру стало пасмурно, сеял мелкий дождик, завеса которого вскоре стала настолько плотной, что мы шли, точно в облаке. И все-таки мы неслись словно корабль-призрак, и поминутно то тот, то другой из нас с тревогой поглядывал ввысь, где дозорный на мачте высматривал Холихед.

Наконец раздался долгожданный крик, и в то же

мгновение из тумана и мглы впереди блеснул свет и тотчас исчез, потом вспыхнул снова и снова исчез. Каждый раз при его появлении глаза у всех на борту становились такими же сверкающими и блестящими, как он сам,— мы стояли на палубе, глядели на этот вспыхивающий свет на горе Холихед и благословляли его за яркость и за дружеское предупреждение, короче говоря: превозносили превыше всех сигнальных огней, пока он не блеснул в последний раз далеко позади.

Теперь пришла пора стрелять из пушки, чтобы вызвать лоцмана; и еще не развеялся дым от выстрела, как, разрезая темноту, прямо на нас уже неслось маленькое суденышко с огоньком на мачте. Мы приспустили паруса, и вот оно стало борт о борт с нами, и охрипший лоцман, упрятанный и укутанный в матросское сукно и шарфы до самого кончика своего изуродованного непогодой носа, собственной персоной оказался среди нас на палубе. И думается, если бы этот лоцман попросил одолжить ему безо всякой гарантии пятьдесят фунтов на неопределенный срок, мы собрали бы ему эту сумму, прежде чем его суденышко стало бок о бок с нами или (что сводится к тому же) прежде чем все новости из газеты, которую он привез с собой, стали достоянием всех и каждого у нас на корабле.

Легли мы в тот вечер очень поздно и утром встали очень рано. К шести часам мы уже столпились на палубе, приготовившись к высадке и рассматривая шпили, крыши и дымы Ливерпуля. К восьми часам мы уже сидели все вместе за столом в одной из его гостиниц в последний раз. А в девять пожали друг другу руки и расстались навсегда.

Местность, по которой мы с грохотом мчались в поезде, показалась нам роскошным садом. Красоту полей (какими они здесь выглядели маленькими!), живых изгородей и деревьев; милые коттеджи, клумбы, старые кладбища, старинные домики — все такое знакомое! — и чудесную прелесть этой поездки, сосредоточившей в одном летнем дне все радости многих лет и, в довершение, радость свидания с родиной и всем, чем она тебе дорога,— ни один язык неспособен поведать, как неспособно описать и мое перо.

ГЛАВА XVII
Рабство

Поборников рабства в Америке — системы, о жестокостях которой я здесь не напишу ни слова, не обоснованного и не подтвержденного фактами,— можно подразделить на три большие категории.

К первой категории относятся более умеренные и рассудительные собственники человеческого стада, вступившие во владение им, как известной частью своего торгового капитала, но понимающие в теории всю чудовищность этой системы и сознающие скрытую в ней опасность для общества, которая — как бы ни была она отдалена и как бы медленно ни надвигалась — настигнет виновных столь же неизбежно, как неизбежно наступит день Страшного суда.

Вторая категория охватывает всех тех владельцев, потребителей, покупателей и продавцов живого товара, которые, невзирая ни на что, будут владеть им, потреблять его, покупать и продавать, пока кровавая страница не придет к кровавому концу; всех, кто упрямо отрицает ужасы этой системы наперекор такой массе доказательств, какая никогда еще не приводилась ни по одному поводу и к которой каждодневный опыт прибавляет все новые и новые; кто в любую минуту с радостью вовлечет Америку в войну гражданскую или внешнюю, лишь бы единственной целью этой войны и ее исходом было закрепление рабства на веки вечные и утверждение их права сечь, терзать и мучить невольников,— право, которое не смела бы оспаривать никакая человеческая власть и не могла бы ниспровергнуть никакая сила; кто, говоря о свободе, подразумевает свободу угнетать своих ближних и быть свирепым, безжалостным и жестоким; и кто на своей земле, в республиканской Америке,— более суровый, неумолимый и безответственный деспот, чем калиф Гарун Аль-Рашид *, облаченный в красные одежды гнева.

Третью, не менее многочисленную или влиятельную категорию, составляет та утонченная знать, которая не мирится с вышестоящими и не терпит равных; все те,

в чьем понимании быть республиканцем означает: «Я не потерплю никого над собой, и никто из низших не должен чересчур приближаться ко мне»; чью гордость в стране, где добровольная зависимость считается позором, должны ублажать невольники и чьи неотъемлемые права могут быть закреплены только через издевательство над неграми.

Не раз высказывалась мысль, что попытки расширить в американской республике понимание личной свободы человека (довольно странный предмет для историков!) потому терпели крах, что недостаточно учитывалось наличие первой категории людей, причем утверждалось, что к этим людям относятся несправедливо, когда смешивают их со второй категорией. Это несомненно так; они все чаще являют примеры благородства, принося денежные и личные жертвы, и следует лишь горячо пожалеть, что пропасть между ними и поборниками освобождения стараются любыми средствами расширить и углубить,— тем более, что среди таких рабовладельцев бесспорно есть немало добрых хозяев, которые проявляют сравнительно мягко свою противоестественную власть. Все же приходится опасаться, что эта несправедливость неизбежна при таком положении вещей, когда человечность и правда должны отстаивать свои права. Рабство не становится ни на йоту более допустимым оттого, что находится несколько сердец, способных частично воспротивиться его ожесточающему действию; и равным образом прилив возмущения и справедливого гнева не может иссякнуть лишь потому, что в своем нарастании он вместе с воинством виновных захлестнет и тех немногих, кто относительно невинен.

Эти лучшие люди среди защитников рабства придерживаются обычно такой позиции: «Система плоха, и я лично охотно покончил бы с ней, если б мог,— весьма охотно. Но она не так плоха, как полагаете вы, англичане. Вас вводят в заблуждение разглагольствования аболиционистов *. Мои невольники в своем большинстве очень привязаны ко мне. Вы скажете, что, это частный случай, если лично я не позволяю сурово обращаться с ними; но разрешите вас спросить: неужели, по-вашему, бесчеловечное обращение с невольниками может быть общепринятым, если оно понижает их ценность и, значит, противоречит интересам самого хозяина?»

Разве в интересах какого-нибудь человека воровать, играть в азартные игры, растрачивать в пьянстве свое здоровье и умственные способности, лгать, нарушать слово, копить в себе злобу, жестоко мстить или совершать убийство? Нет. Все это пути к гибели. Но почему же люди идут ими? Потому что подобные склонности суть пороки, присущие человеку. Вычеркните же, друзья рабства, из списка человеческих страстей животную похоть, жестокость и злоупотребление бесконтрольной властью (из всех земных искушений перед этим труднее всего устоять), и когда вы это сделаете,— но не прежде,— мы спросим вас, в интересах ли хозяина сечь и калечить невольников, над чьим телом и жизнью он имеет абсолютную власть!

Но вот эта категория людей вместе с последней из мною перечисленных — жалкой аристократией, порожденною лжереспубликой,— возвышает свой голос и заявляет: «Вполне достаточно общественного мнения, чтобы предотвратить те жестокости, которые вы обличаете». Общественное мнение! Но ведь общественное мнение в рабовладельческих штатах зиждется на рабстве, не так ли? Общественное мнение в рабовладельческих штатах отдало рабов на милость их хозяев. Общественное мнение издало законы и отказало рабам в защите правосудия. Общественное мнение сплело кнут, накалило железо для клейма, зарядило ружье и взяло под защиту убийцу. Общественное мнение угрожает смертью аболиционисту, если он рискнет появиться на Юге; и среди бела дня тащит его на веревке, обмотанной вокруг пояса, по улицам первого города на Востоке. Общественное мнение в городе Сент-Луисе несколько лет тому назад заживо сожгло невольника на медленном огне; и общественное мнение по сей день оставляет на посту того почтенного судью, который в своей речи к присяжным, подобранным для суда над убийцами этого невольника, сказал, что их чудовищный поступок явился выражением общественного мнения, а раз так, то он не должен караться законом, созданным общественной мыслью. Общественное мнение встретило эту теорию взрывом бешеного восторга и отпустило заключенных на свободу, и они

разгуливают по городу — такие ж почтенные, влиятельные, видные люди, как и прежде.

Общественное мнение! Какая же категория людей обладает огромным перевесом над остальной частью общества и получает возможность представлять общественное мнение в законодательных органах? Рабовладельцы. Они посылают в конгресс от своих двенадцати штатов сто человек, тогда как четырнадцать свободных штатов, где свободного населения почти вдвое больше, посылают сто сорок два человека. Перед кем всего смиренней склоняются кандидаты в президенты, к кому они ластятся и чьим вкусам всего усердней потакают своими угодливыми декларациями? Все тем же рабовладельцам.

Общественное мнение! Да вы послушайте общественное мнение «свободного» Юга, как оно выражено его депутатами в палате представителей в Вашингтоне.

«Я очень уважаю председателя,— изрекает Северная Каролина,— я очень его уважаю как главу палаты и уважаю его как человека; только это уважение мешает мне схватить со стола и разорвать в клочки только что представленную петицию об уничтожении рабства в округе Колумбия».

«Предупреждаю аболиционистов,— говорит Южная Каролина,— этих невежд, этих взбесившихся варваров, что, если кто-нибудь из них случайно попадет к нам в руки, пусть готовит свою шею к петле».

«Пусть только аболиционист появится в пределах Южной Каролины,— кричит третий, коллега кроткой Каролины,— если мы поймаем его, мы будем его судить, и, хотя бы вмешались все правительства на свете, включая федеральное правительство, мы его повесим».

Общественное мнение создало этот закон. Он гласит, что в Вашингтоне — городе, носящем имя отца американской свободы,— каждый мировой судья может заковать в кандалы первого встречного негра и бросить его в тюрьму; для этого не требуется никакого преступления со стороны чернокожего. Судья говорит: «Я склонен думать, что это беглый негр»,— и сажает его под замок. Общественное мнение после этого дает право представителю закона поместить объявление о негре в газетах, предлагающее владельцу явиться и затребовать его,

а иначе негр будет продан для покрытия тюремных издержек. Но допустим, это вольный негр и у него нет хозяина; тогда естественно предположить, что его выпустят на свободу. Так нет же! ЕГО ПРОДАЮТ, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ ЖАЛОВАНИЕ ТЮРЕМЩИКУ. И это проделывалось десятки, сотни раз. Негр не может доказать, что он свободен; у него нет ни советчика, ни посыльного, ни возможности получить какую-либо помощь; по его делу не ведется никакого дознания и не назначается расследования. Он — вольный человек, который, возможно, многие годы пробыл в рабстве и купил себе свободу,— брошен в тюрьму без суда, и не за преступление или хотя бы видимость такового; и будет теперь продан для оплаты тюремных издержек. Это кажется невероятным даже в Америке, но таков закон.

К общественному мнению обращаются в случаях, подобных следующему,— в газетных заголовках он называется так:

«ИНТЕРЕСНОЕ СУДЕБНОЕ ДЕЛО

В настоящее время Верховный Суд рассматривает интересное дело, возбужденное на основе следующих фактов. Один джентльмен, проживающий в штате Мэриленд, предоставил на несколько лет пожилой чете своих невольников фактическую, но не узаконенную свободу. Так они прожили некоторое время, и родилась у них дочь, которая росла так же на свободе; потом она вышла замуж за вольного негра и переехала вместе с ним в Пенсильванию. У них родилось несколько детей, и никто их не трогал до тех пор, пока не умер прежний владелец. Тогда его наследник попытался вернуть их; но судья, к которому их приволокли, решил, что этот случай ему не подсуден. *Владелец ночью схватил женщину и ее детей и увез их в Мэриленд»*.

«Вознаграждение за негров», «вознаграждение за негров», «вознаграждение за негров» гласят крупные буквы объявлений в длинных колонках набранных убористым шрифтом газет. Гравюры на дереве, изображающие беглого негра в наручниках, скорчившегося перед

грубым преследователем в высоких сапогах, который поймал его и держит за горло, приятно разнообразят милый текст. Передовая статья возмущается «отвратительной дьявольской проповедью — уничтожения рабства, противной всем законам бога и природы». Чувствительная мама, которая, сидя на своей прохладной веранде, с улыбкой одобрения читает в газете эти веселые строки, успокаивает своего малыша, цепляющегося за его юбку, обещанием подарить ему «кнут, чтобы хлестать негритят». Но ведь негры, и маленькие и большие, состоят под защитой общественного мнения!

Давайте подвергнем общественное мнение еще одной проверке, которая важна в трех отношениях: во-первых, она покажет, как отчаянно робеют перед общественным мнением рабовладельцы, деликатно описывая беглых негров в газетах с большим тиражом; во-вторых, покажет, как довольны своей судьбой невольники и как редко они убегают; в-третьих, продемонстрирует, что нет на них никаких рубцов, изъянов, никаких следов жестокого насилия, если судить о том по картинам, нарисованным не «лживыми аболиционистами», а их собственными правдолюбивыми хозяевами.

Ниже приводим несколько образцов газетных объявлений. Самое давнее из них появилось всего четыре года тому назад, а другие того же порядка каждый день во множестве публикуются и поныне.

«Сбежала негритянка Каролина. Носит ошейник с отогнутым книзу зубцом».

«Сбежала чернокожая Бетси. К правой ноге прикован железный брусок».

«Сбежал негр Мануэль. Неоднократно клеймен».

«Сбежала негритянка Фанни. На шее железный обруч».

«Сбежал негритенок лет двенадцати. Носит собачий ошейник из цепи с надписью «де Лампер».

«Сбежал негр Хоун. На левой ноге железное кольцо. Также Грайз, *его жена,* с кольцом и цепью на левой ноге».

«Сбежал негритенок по имени Джеймс. На мальчишке в момент побега были кандалы».

«Посажен в тюрьму негр, назвавшийся Джоном. На правой ноге чугунное ядро весом в четыре-пять фунтов».

«Задержана полицией молодая негритянка Мира. Следы кнута на теле, на ногах цепи».

«Сбежала негритянка с двумя детьми. За несколько дней до побега я прижег ей каленым железом левую щеку. Пытался выжечь букву М».

«Сбежал негр Генри; левый глаз выбит, несколько шрамов от ножевых ран в левом боку и много рубцов от хлыста».

«Сто долларов в награду за негра Помпея сорока лет от роду. На левой скуле клеймо».

«Посажен в тюрьму негр. Нет пальцев на левой ноге».

«Сбежала негритянка по имени Рахиль. На ногах целы только большие пальцы».

«Сбежал Сэм. Незадолго до побега ему прострелили ладонь; также несколько пулевых ран в боку и в левой руке».

«Сбежал мой негр Деннис. У названного негра прострелена левая рука повыше локтя, вследствие чего парализована кисть».

«Сбежал мой негр по имени Саймон. Выстрелами был серьезно ранен в спину и правую руку».

«Сбежал негр по имени Артур. Поперек груди и на обеих руках — широкие шрамы от удара ножом; любит рассуждать о доброте господней».

«Двадцать пять долларов в награду за моего раба Исаака. На лбу шрам от удара кулаком, на спине — от пули из пистолета».

«Сбежала девочка негритянка по имени Мэри. Над глазом — небольшой шрам; недостает многих зубов; на щеке и на лбу выжжена буква «А».

«Сбежал негр Бен. На правой руке шрам; большой и указательный пальцы прошлой осенью были повреждены выстрелом так, что видна кость. На бедрах и спине два-три широких рубца».

«Посажен в тюрьму мулат по имени Том. На правой щеке шрам; лицо, видимо, обожжено порохом».

«Сбежал негр по имени Нэд. Три пальца на руке скрючены вследствие пореза. На шее сзади идет полукругом рубец от ножевой раны».

«Посажен в тюрьму негр. Называет себя Джошиа. На

спине многочисленные следы кнута. На бедрах и ляжках в трех-четырех местах выжжено клеймо «Дж. М.». Край правого уха откушен или отрезан».

«Пятьдесят долларов в награду за моего раба Эдварда. В углу рта — рубец, два пореза на руке и под мышкой, и на руке выжжена буква «Э».

«Сбежал негритенок Элли. На руке шрам от собачьего укуса».

«С плантации Джеймса Серджетта сбежали следующие негры: Рэндел — корноухий; Боб — с выбитым глазом; Кентукки Том — с перебитой челюстью».

«Сбежал Энтони. Одно ухо отрезано, кисть левой руки поранена топором».

«Пятьдесят долларов награды за негра Джима Блека. От обоих ушей отрезано по куску, и на среднем пальце левой руки отсечены два сустава».

«Сбежала негритянка по имени Мария. Сбоку на щеке шрам от пореза. Несколько шрамов на спине».

«Сбежала девушка мулатка Мэри. Следы пореза на левой руке, шрам на левом плече, не хватает двух верхних зубов».

В пояснение этой последней приметы я должен, пожалуй, сказать, что среди прочих благ, которые обеспечивает неграм общественное мнение, видное место занимает широко применяемая практика насильственного выдергивания зубов. Заставлять их носить днем и ночью железный ошейник и травить их собаками,— это приемы, настолько вошедшие в обычай, что о них и упоминать не стоит.

«Сбежал мой раб Фонтан. Уши продырявлены, справа на лбу рубец; на ногах, сзади, следы пулевых ранений; спина исполосована кнутом».

«Двести пятьдесят долларов награды за моего негра Джима. На правом бедре глубокий шрам. Пуля вошла спереди, посередине между тазобедренным и коленным суставами».

«Доставлен в тюрьму Джон. Не хватает левого уха».

«Задержан негр. Многочисленные шрамы на лице и на теле; левое ухо откушено».

«Сбежала девушка негритянка по имени Мэри. Рубец на щеке, кончик одного пальца на ноге отрезан».

«Сбежала моя мулатка Джуди. Правая рука сломана».

«Сбежал мой негр Леви. Следы ожогов на левой руке, и, кажется, недостает сустава на указательном пальце».

«Сбежал негр ПО ИМЕНИ ВАШИНГТОН. Отсутствует средний палец и один сустав на мизинце».

«Двадцать пять долларов награды за моего негра Джона. Откушен кончик носа».

«Двадцать пять долларов награды за негритянку невольницу Салли. Ходит так, *как будто* ей перешибли хребет».

«Сбежал Джо Деннис. С маленькой меткой на ухе».

«Сбежал негритенок Джек. Из левого уха выдран кусок».

«Сбежал негр по прозвищу Слоновья Кость. От краешка каждого уха отрезано по кусочку».

Кстати об ушах: могу заметить, что один известный аболиционист в Нью-Йорке получил однажды по почте с обычным письмом ухо негра, отрезанное под самый корень. Оно было прислано свободным и независимым джентльменом, по чьему распоряжению и было отрезано,— с учтивой просьбой к адресату присовокупить этот экземпляр к своей «коллекции».

Я мог бы пополнить этот перечень несчетным множеством переломанных рук и ног, ран на теле, выбитых зубов, исполосованных спин, собачьих укусов и меток каленым железом; но поскольку моим читателям уже и без того в достаточной мере противно и тошно, я перейду к другой стороне вопроса.

При помощи таких объявлений, аналогичный подбор которых можно сделать за каждый год, каждый месяц, неделю и день и которые преспокойно читают в семейном кругу, как вещи вполне естественные, тонущие в потоке повседневных новостей и сплетен,— можно показать, как много пользы приносит невольникам общественное мнение и как оно нежно о них заботится. Но, пожалуй, следовало бы спросить, насколько рабовладельцы и тот класс общества, к которому они в большинстве своем принадлежат, считаются с общественным мнением в своем обращении не с невольниками, а друг с другом; насколько они привыкли обуздывать свои страсти; как они ведут себя в своей среде; свирепы они или кротки, грубы ли, кровожадны и жестоки их обществен-

ные нравы, или на них лежит отпечаток цивилизации и утонченности.

Чтобы и при изучении этого вопроса не основываться только на пристрастных показаниях аболиционистов, я снова обращусь к их собственной, рабовладельческой прессе и ограничусь на сей раз подборкой материалов из статей, появлявшихся в ней ежедневно в бытность мою в Америке и касающихся происшествий, которые случились, пока я там проживал. Курсив в тексте этих отрывков, как и предыдущих,— принадлежит мне.

Не ВСЕ эти случаи, как вы увидите, имели место на территории тех штатов, которые официально считаются рабовладельческими,— хотя многие из них, и притом самые ужасные, произошли и происходят именно там,— но непосредственная близость места действия от районов узаконенного рабства и большое сходство между этими злодеяниями и описанными выше позволяют справедливо предположить, что характер действующих лиц сформировался в рабовладельческих районах и огрубел под воздействием рабовладельческих нравов.

«УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ

Из заметки, появившейся в газете «Саутпорт телеграф» (штат Висконсин), нам стало известно, что достопочтенный Чарльз К. П. Арндт, член Совета от округа Браун, был убит наповал *в зале заседания Совета* Джеймсом Р. Виньярдом, членом Совета от округа Грант. *Случай этот* произошел на почве выдвижения кандидатуры на пост шерифа округа Грант. Была выдвинута кандидатура мистера И. С. Бейкера, поддержанная мистером Арндтом. Против этой кандидатуры выступил Виньярд, стремившийся добиться указанного назначения для своего брата. В ходе спора покойный отстаивал известные положения, которые Виньярд объявил лживыми, причем сделал это в резких и оскорбительных выражениях, задевавших личности; мистер А. ничего не ответил на это. Когда заседание кончилось, мистер А. подошел к Виньярду и попросил его взять свои слова обратно, что тот отказался сделать, повторив оскорбительные выражения. Тогда Арндт ударил Виньярда, а тот, отступив на шаг, выхватил пистолет и застрелил его наповал.

Такой исход дела, видимо, был спровоцирован Виньярдом, который решил во что бы то ни стало провалить кандидатуру Бейкера и, потерпев неудачу, обратил свой гнев и мщение против несчастного Арндта».

«ВИСКОНСИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Все население штата Висконсин глубоко возмущено убийством Ч. К. П. Арндта в зале Законодательного совета штата. В различных округах Висконсина состоялись собрания, на которых была подвергнута осуждению *практика тайного ношения оружия в помещении Законодательного совета штата.* Мы читали сообщение об исключении из состава Совета Джеймса Р. Виньярда, совершившего это кровавое деяние, и были поражены, услышав, что после исключения Виньярда теми, кто видел, как он убил мистера Арндта в присутствии его престарелого отца, приехавшего погостить у сына и отнюдь не предполагавшего стать свидетелем его насильственной смерти, *судья Данн отпустил убийцу на поруки. Агентство Майнерс Фри Пресс* говорит *со справедливым негодованием,* что это оскорбляет чувства жителей Висконсина. Виньярд находился на расстоянии вытянутой руки от Арндта, когда произвел смертельный выстрел, от которого противник его умолк навеки. На таком близком расстоянии Виньярд, когда бы захотел, вполне мог бы лишь ранить Арндта, но он предпочел убить его».

«УБИЙСТВО

Из письма, опубликованного 14-го числа в сент-луисской газете, нам стало известно об ужасном злодеянии, совершенном в Берлингтоне, штат Айова. Некий мистер Бриджмен поспорил с жителем того же города мистером Россом; зять этого последнего, вооружась револьвером системы Кольт, встретил мистера Б. на улице *и разрядил в него всю обойму, причем все пять пуль попали в цель.* Мистер Б., весь израненный, умирающий, выстрелил в свою очередь и уложил Росса на месте».

«УЖАСНАЯ СМЕРТЬ РОБЕРТА ПОТТЕРА

Из «Каддо газетт» от 12-го сего месяца мы узнали о страшной смерти полковника Роберта Поттера... Он

подвергся нападению у себя дома, куда ворвался его враг по фамилии Роз. Он вскочил с постели, схватил ружье и в одном белье выбежал из дому. Он бежал с такой быстротой, что почти на двести ярдов опередил своих преследователей, но попал в непроходимые заросли и был схвачен. Роз сказал Поттеру, что *намерен быть великодушным* и дать ему возможность спастись. Он предложил Поттеру бежать и пообещал не стрелять в него, пока тот не пробежит определенного расстояния. По команде Поттер устремился вперед и успел достичь озера, прежде чем раздался выстрел. Первым его побуждением было прыгнуть в воду и нырнуть, что он и сделал. Роз, гнавшийся за ним по пятам, расставил на берегу своих людей, готовых стрелять в Поттера, как только он выплывет. Через несколько минут Поттер вынырнул, чтобы перевести дух, и едва голова его показалась над водой, как она была вся изрешечена пулями. Он пошел ко дну и больше не всплыл!»

«УБИЙСТВО В АРКАНЗАСЕ

Как нам стало известно, несколько дней тому назад в редакции «Сенека нейшн» произошла ожесточенная схватка между мистером Лузом, агентом объединенного оркестра городов Сенеки, Квапо и Шони, и мистером Джеймсом Гиллеспай, представителем торговой фирмы «Томас Дж. Аллисон и К°» из Мейсвиля, округ Бентон, штат Арканзас; в этой схватке Гиллеспай был зарезан охотничьим ножом. Между этими людьми в течение некоторого времени существовали натянутые отношения. Говорят, что майор Гиллеспай замахнулся на противника тростью. Последовала перепалка, во время которой Гиллеспай выстрелил из пистолета дважды, а Луз — один раз. Затем Луз заколол Гиллеспая охотничьим ножом — этим разящим без промаха оружием. Многие сожалеют о смерти майора Г., ибо он был либерально настроенным и энергичным человеком. После того, как вышеизложенное было сообщено в печати, мы выяснили, что майор Аллисон заявил некоторым гражданам нашего города, будто мистер Луз первым нанес удар. Мы воздерживаемся от сообщения каких-либо подробностей, так как *по этому делу будет вестись судебное следствие»*.

«ГНУСНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ

Пароход «Темза», только что вернувшийся из плавания по Миссури, привез нам известие о том, что назначено вознаграждение в пятьсот долларов за поимку человека, покушавшегося на жизнь Лилберна У. Беггса, бывшего губернатора этого штата, в городе Индепенденс, в ночь на 7-е число с. м. Губернатор Беггс, говорится в письменном извещении, не был убит, но смертельно ранен.

Эти строки уже были написаны, когда мы получили записку от клерка с «Темзы», в которой сообщаются следующие подробности. В пятницу, 6-го с. м., какой-то злодей выстрелил в губернатора Беггса, когда он сидел в одной из комнат своего дома в г. Индепенденс. Его сын, мальчик, услышав выстрел, вбежал в комнату и увидел, что губернатор сидит на стуле, запрокинув голову и широко раскрыв рот; поняв, что отец стал жертвой преступления, сын поднял тревогу. В саду под окном были обнаружены следы ног и найден револьвер, по всей видимости разряженный и брошенный стрелявшим из него негодяем. Три выстрела крупной дробью попали в цель: один в рот, другой в мозг, и третий, вероятно, тоже в мозг или куда-то поблизости; вся дробь застряла в затылке. 7-го утром губернатор был еще жив, но друзья не надеются на его выздоровление, да и врачи питают лишь слабую надежду.

В этом преступлении подозревают одного человека, который в настоящее время, вероятно, уже схвачен шерифом.

Пистолет убийцы — один из пары, которая была украдена за несколько дней до преступления у одного булочника в Индепенденс, и судебные власти располагают описанием второго револьвера».

«ПРОИСШЕСТВИЕ

Прискорбное столкновение произошло в пятницу вечером на ул. Чартрез; в результате его один из наших наиболее уважаемых граждан опасно ранен кинжалом в живот. Из вчерашнего номера газеты «Пчела» (Новый

Орлеан) нам стали известны следующие подробности. В понедельник во французском разделе газеты была напечатана статья с упреками по адресу артиллерийского батальона за то, что в воскресенье утром он открыл стрельбу из пушек, отвечая на выстрелы с «Онтарио» и «Вудбери»; это вызвало большой переполох в семьях тех, кто всю ночь был вне дома, охраняя спокойствие города. Майор К. Гелли, командир батальона, почтя себя оскорбленным, пришел в редакцию и потребовал, чтобы ему сообщили имя автора; ему назвали мистера П. Арпина, которого в это время не было на месте. После этого между майором и одним из владельцев газеты произошел резкий разговор, закончившийся вызовом на дуэль; друзья обоих споривших пытались уладить дело миром, но безуспешно. В пятницу вечером, около семи часов, майор Гелли встретил мистера П. Арпина на ул. Чартрез и подошел к нему.

— Вы мистер Арпин?

— Да, сэр.

— В таком случае я должен сказать вам, что вы... (за сим последовал соответствующий эпитет).

— Я припомню вам ваши слова, сэр.

— А я уже объявил, что обломаю свою трость о вашу спину.

— Мне это известно, но пока что я еще не почувствовал удара.

Услышав эти слова, майор Гелли, державший в руках трость, ударил ею мистера Арпина по лицу, а тот выхватил из кармана кинжал и всадил его майору Гелли в живот.

Опасаются, что рана смертельна. *Насколько нам известно, мистер Арпин дал обязательство предстать пред уголовным судом для ответа по предъявляемому ему обвинению*».

«ССОРЫ В ШТАТЕ МИССИСИПИ

Двадцать седьмого прошлого месяца близ Карфагена, округ Лик, штат Миссисипи, между Джеймсом Коттингемом и Джоном Уилберном вспыхнула ссора, во время которой первый выстрелил в последнего, причем ранил его настолько серьезно, что нет никакой надежды на выздо-

ровление. Второго текущего месяца в Карфагене произошла ссора между А. К. Шэрки и Джорджем Гоффом, в результате которой последний был ранен пулей; рану считают смертельной. Шэрки отдался было в руки властей, *но затем передумал и сбежал!»*

«СТЫЧКА

В Спарте несколько дней тому назад произошла стычка между барменом одной гостиницы и человеком по имени Бэри. По-видимому, Бэри стал буянить; тогда бармен, *дабы поддержать порядок, пригрозил Бэри, что пристрелит его,*— после чего Бэри выхватил пистолет и выстрелил в бармена. Согласно последним сведениям, он еще жив, но надежда на его выздоровление слабая».

«ДУЭЛЬ

Клерк парохода «Трибюн» сообщил нам, что во вторник произошла еще одна дуэль — между мистером Роббинсом, банковским служащим в Виксбурге, и мистером Фоллом, редактором газеты «Виксбургский часовой». По уговору каждая сторона имела по шести пистолетов, которые они должны были по команде «Пли!» *разрядить друг в друга с такою быстротой, с какой им заблагорассудится.* Фолл выстрелил из двух пистолетов безрезультатно. Мистер Роббинс первым же выстрелом попал Фоллу в бедро, после чего тот упал и не был в состоянии продолжать поединок».

«СТОЛКНОВЕНИЕ В ОКРУГЕ КЛАРК

В округе Кларк (штат Миссури), близ Ватерлоо, во вторник, 19-го прошлого месяца, имело место прискорбное столкновение, произошедшее между двумя компаньонами, мистерами Мак-Кейном и Мак-Аллистером, занимавшимися перегонкой спирта,— столкновение, кончившееся смертью мистера Мак-Аллистера. Он приобрел при распродаже с торгов, производившейся шерифом, семь бочонков виски, принадлежавших ранее Мак-Кейну, по цене один доллар за бочонок. Когда он пытался забрать их, произошла ссора, в результате которой мистер Мак-Кейн застрелил мистера Мак-Аллистера. Мак-

Кейн немедленно бежал и *по последним сведениям еще не схвачен.*

Это *прискорбное столкновение* вызвало много толков, так как у обоих большие семьи и оба занимали солидное положение в обществе».

Я процитирую еще лишь одну статейку, которая своей чудовищной нелепостью, возможно, несколько разрядит гнетущее впечатление от этих зверских деяний.

«ДЕЛО ЧЕСТИ

Мы только что услышали подробности о дуэли, происшедшей во вторник на острове Шестой мили, между двумя родовитыми юношами нашего города — Сэмюелом Терстоном, *пятнадцати лет,* и Уильямом Хайном, *тринадцати лет.* Их сопровождали молодые джентльмены такого же возраста. Оружием служила пара наилучших ружей Диксона; противников поставили на расстоянии тридцати ярдов. Каждый выстрелил по разу, не причинив другому никакого вреда, если не считать того, что пуля из ружья Терстона пробила шляпу Хайна. *В результате вмешательства Совета Чести* вызов был взят обратно, и спор дружески улажен».

Пусть читатель представит себе этот Совет Чести, который дружески уладил спор между двумя мальчишками,— в любой другой части света их дружески прикрутили бы к двум скамейкам и хорошенько выпороли бы березовыми розгами,— и он несомненно ясно почувствует уморительный характер этого суда, о котором я не могу подумать без смеха.

И вот я обращаюсь ко всем разумным людям, ко всем, кто наделен самым обычным здравым смыслом и самой обычной здравой человечностью, ко всем трезвым рассудительным существам, без различия взглядов и убеждений, и спрашиваю: могут ли они пред лицом этих отвратительных доказательств состояния общества в рабовладельческих районах Америки и по соседству,— могут ли они еще сомневаться относительно истинного положения

чернокожих невольников и может ли их совесть хоть на миг примириться с этой системой или с любой характерной для нее страшной чертой? Могут ли они назвать неправдоподобным даже самый вопиющий рассказ о ее жестокостях и зверствах, когда стоит им обратиться к прессе и пробежать глазами ее страницы, и они прочтут что-нибудь вроде приведенного здесь — о поступках тех людей, которые властвуют над рабами,— поступках, собственноручно ими совершенных и ими же описанных?

Разве мы не знаем, что наиболее уродливые и отвратительные черты рабства являются одновременно и причиной и следствием беззастенчивого самоуправства этих рожденных на свободе беззаконников? Разве мы не знаем, что человек, родившийся и выросший среди несправедливостей рабовладельческой системы, с детства привыкший видеть, как мужья, по слову команды, должны пороть своих жен; как женщины, преодолевая стыд, вынуждены сами задирать свой подол, чтобы мужчины могли сильнее полосовать розгами их ноги; как грубые надсмотрщики преследуют и мучают их чуть не до самых родов и как они рожают детей там же, где работают, под занесенным над ними кнутом; кто сам читал в детстве и видел, как его невинные сестры читали приметы сбежавших мужчин и женщин и описания их изуродованных тел,— описания, которые публикуются не иначе, как рядом с описью скота на той или иной ферме или же на выставке животных,— разве мы не знаем, что такой человек при малейшей вспышке гнева превращается в жестокого дикаря? Разве нам неизвестно, что если он подлый трус у себя дома, где он гордо шествует среди съежившихся в страхе невольников и невольниц, вооруженный бичом, то он будет подлым трусом и вне дома, будет прятать на груди оружие труса, а во время ссоры выстрелит в человека или пырнет его ножом? Но если даже наш разум не научил нас понимать и это и многое другое, если мы такие глупцы, что закрываем глаза на прекрасную систему воспитания, которая выращивает подобных людей, то разве не должны мы понимать, что те, кто кинжалом и пистолетом расправляется с равными себе в зале законодательных органов, в конторах и на рыночных

площадях и в разных других местах, где люди занимаются мирным трудом, будут — не могут не быть — беспощадными и бессердечными тиранами в отношении своих подчиненных, пусть даже не рабов, а вольных слуг?

Что?! Мы будем обличать невежественное ирландское крестьянство, но смягчать краски, когда речь идет об этих американских плантаторах? Будем клеймить позором жестокость тех, кто подрезает сухожилия скотине, но щадить этих поборников свободы, которые прорезают метки в ушах людей, вырезают остроумные девизы на корчащемся теле, учатся писать пером из раскаленного железа на человеческом лице,— тех, кто изощряет свою поэтическую фантазию, придумывая ливрею увечий, которую их рабы будут носить всю жизнь и унесут с собой в могилу; кто ломает кости живым, как это делала солдатня, осмеявшая и убившая спасителя мира, и превращает беззащитных людей в мишень для стрельбы? Неужели мы будем охать, слушая легенды о пытках, которым язычники-индейцы подвергали друг друга, и с улыбкой наблюдать жестокости, чинимые христианами? Неужели, пока все это творится, мы будем торжествовать над уцелевшими кое-где потомками этой величавой расы и радоваться, что белые захватили их владения? На мой взгляд, лучше бы восстановить леса и индейские деревни; пусть вместо звезд и полос развевается по ветру несколько несчастных перьев; пусть вигвамы станут на месте улиц и площадей — и если воздух огласит клич смерти из уст сотни гордых воинов, он зазвучит как музыка по сравнению с воплем одного несчастного раба.

Пусть о том, что всегда стоит у нас перед глазами, о том, что пагубно воздействует на наш национальный характер, будет сказана чистая правда; и довольно нам трусливо ходить вокруг да около, намекая на испанцев и свирепых итальянцев. Когда англичане вытащат ножи во время ссоры, пусть будет сказано во всеуслышание: «Мы обязаны этой переменой американскому рабству. Вот оно, оружие Свободы. Такими клинками и лезвиями Свобода в Америке обтесывает и кромсает своих рабов; а когда их нет под рукой, ее сыны еще лучше используют это оружие, обращая его друг против друга».

ГЛАВА XVIII

Несколько слов в заключение

Не раз в этой книге мне бывало трудно удержаться от соблазна докучать читателю собственными заключениями и выводами; ибо я предпочитал, чтобы читатели сами составили себе суждение на основе тех данных, которые я им предложил. С самого начала моей единственной целью было честно вести их за собой, куда бы я ни шел, и эту задачу я выполнил.

Но да простится мне желание, перед тем как я закончу эту книгу, выразить в нескольких словах свое личное мнение о характере американского народа и американской социальной системы в целом — с точки зрения иностранца.

Американцы по натуре откровенны, храбры, сердечны, гостеприимны и дружелюбны. Культура и утонченность, по-видимому, лишь укрепляют их душевную доброту и страстный энтузиазм, и именно эти два качества, удивительно в них развитые, делают образованного американца самым нежным и самым благородным другом. Никогда и никто мне так не нравился, как люди этого типа; никогда и ни к кому я не проникался так быстро и охотно полным доверием и уважением; никогда больше я не смогу приобрести за полгода столько друзей, которых, мне кажется, я чту уже полжизни.

Названные качества, я глубоко убежден, присущи всему народу в целом. Но что в массах они чахнут и загнивают под действием тлетворных влияний и что надежда на возрождение их пока слаба,— все это, к сожалению, правда и нельзя о ней не сказать.

Каждой нации свойственно подчеркивать свои недостатки и даже преувеличивать их в доказательство своей добродетели или мудрости. Едва ли не самый серьезный порок в духовном облике американского народа, порок, породивший целый выводок всяческих зол,— это всеобщее недоверие. И тем не менее американец кичится этой чертой, даже когда он достаточно беспристрастен, чтобы понять ее разрушительное действие; часто, вопреки соб-

ственному рассудку, он указывает на эту черту, как на признак глубины и остроты ума американского народа и его особой проницательности и независимости.

«Вы эту зависть и недоверие вносите во все области общественной жизни,— говорит иностранец.— Отстранив достойных людей от участия в ваших законодательных органах, вы взрастили особое сословие кандидатов на выборные должности,— кандидатов, которые каждым своим поступком порочат ваш государственный строй и выбор вашего народа. Это недоверие сделало вас такими шаткими и переменчивыми, что ваше непостоянство вошло в поговорку: не успев прочно поставить на пьедестал свой кумир, вы наверняка стащите его оттуда и разобьете вдребезги; а все потому, что, едва наградив благодетеля или слугу народа, вы сразу перестаете ему доверять — по той лишь причине, что он награжден,— и принимаетесь допытываться, не были ли вы слишком великодушны в своей оценке, а он — недостоин награды. Каждый, кто достиг у вас высокого поста, начиная с президента, может считать свое избрание началом своего падения, ибо любая напечатанная ложь, вышедшая из-под пера любого негодяя, тотчас находит благодарную почву в вашем недоверии и принимается за чистую монету, хотя бы она прямо противоречила характеру и всему поведению оклеветанного. Вы положите все свои силы, чтобы поймать комара, если речь идет о доверии к человеку и вере в него, сколь бы ни были они оправданы и заслужены,— но вы проглотите целый караван верблюдов, нагруженных недостойными сомнениями и низкими подозрениями. И вы думаете, что это хорошо, что это может облагородить характер ваших правителей или тех, кем они управляют?»

Ответ неизменно один и тот же: «У нас, знаете ли, свобода мнений. Каждый думает сам за себя, и нас не так-то легко провести. Вот отчего наш народ стал подозрительным».

Другая примечательная черта американцев: у них в почете умение ловко обделывать дела; этим умением позолочены для них и мошенничество, и грубое злоупотребление доверием, и растрата, произведенная как общественным деятелем, так и частным лицом; и оно позво-

ляет многим плутам, которых стоило бы вздернуть на виселицу, держать высоко голову наравне с лучшими людьми; но эта слабость к ловкачам не прошла даром для американцев, ибо за несколько лет «ловкачество» нанесло такой урон общественному доверию и так истощило общественные фонды, что никакая «скучная» честность, даже самая неосмотрительная, не натворила бы столько вреда за целое столетие. Нарушение условий сделки, банкротство или удачное мошенничество расцениваются не исходя из золотого правила «поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой», а в зависимости от того, насколько ловко это было проделано. Помнится, оба раза, когда мы проезжали мимо злополучного Каира на Миссисипи, я высказывался в том смысле, что такие грандиозные обманы должны иметь дурные последствия, так как, будучи разоблачены, они порождают недоверие за границей и отбивают у иностранцев охоту вкладывать в Америке свои капиталы; но в ответ мне объясняли, что это была очень ловкая затея, которая принесла кучу денег; а самое пикантное в ней то,— что за границей быстро забывают подобные трюки и люди как ни в чем не бывало пускаются в новые спекуляции. Мне сто раз пришлось вести следующий диалог:

— Ну разве не постыдно, что такой человек, как имярек, наживает состояние самым бесчестным и гнусным путем, а его сограждане терпят и поощряют его, несмотря на все совершенные им преступления? Ведь он же нарушает общественную благопристойность!

— Да, сэр.

— Ведь он же общепризнанный лжец!

— Да, сэр.

— Ведь его секли, пороли, гнали в шею!

— Да, сэр.

— И это совершенно бесчестный, низкий, распутный человек!

— Да, сэр.

— Ради всего святого, в чем же тогда его заслуга?

— Видите ли, сэр, он ловкий человек.

Точно так же всевозможные неразумные и бестактные привычки относят на счет делового склада американцев, хотя, как это ни странно, чужеземца серьезно упрекнут,

если он назовет американцев нацией дельцов. Деловым складом характера объясняют и неуютный обычай, столь распространенный в маленьких городках, когда семейные люди живут в гостиницах, не имея собственного очага, и за целый день — с раннего утра и до позднего вечера — встречаются только за завтраком или обедом, наспех проглатываемым в присутствии посторонних. Деловым складом объясняется и то, что американская литература никогда не будет пользоваться поощрением: «Ибо мы деловой народ и не нуждаемся в поэзии», хотя, кстати, мы заявляем, что гордимся своими поэтами; а здоровые развлечения, веселый отдых и благотворная фантазия вынуждены уступить место грубым, утилитарным радостям деловой жизни.

Эти три характерные черты американского народа отчетливо проявляются решительно во всем и бросаются в глаза иностранцу. Но дурная поросль, которая глушит в Америке все живое, питается другими, более цепкими корнями, и эти корни глубоко уходят в безнравственную американскую прессу.

Можно построить сколько угодно школ на Востоке, Западе, Севере и Юге; можно обучить в них десятки и сотни тысяч учеников и вырастить столько же учителей; можно насаждать трезвость; можно достигнуть того, что колледжи будут процветать и церкви — ломиться от прихожан и просвещенное знание во всех прочих видах будет гигантскими шагами идти по стране,— но до тех пор, пока американские газеты будут представлять собой такое же или почти такое же гнусное явление, как сейчас, нет никакой надежды на сколько-нибудь значительное повышение морального уровня американского народа. С каждым годом страна должна и будет идти вспять, с каждым годом самый строй общественной мысли будет снижаться; с каждым годом конгресс и сенат будут все меньше значить в глазах всех порядочных людей; и вырождающийся потомок своей дурною жизнью будет все больше позорить память Великих Отцов Революции.

Вряд ли нужно говорить читателю, что среди массы газет, выходящих в Соединенных Штатах, есть несколько с приличной репутацией, которым можно верить. От знакомства с высокообразованными джентльменами, имею-

щими отношение к такого рода изданиям, я получил лишь удовольствие и пользу. Но имя таким газетам Горсточка, тогда как имя другим — Легион, и влияние хороших изданий не в силах противодействовать моральному яду дурных.

Американские образованные круги, люди, хорошо осведомленные и придерживающиеся умеренных взглядов, представители ученых профессий, те, что принадлежат к адвокатскому сословию, и те, что занимают судейские места,— все единодушны,— как и следовало бы ожидать,— в своей оценке порочного характера этих бесстыдных газет. Иногда утверждают — не назову это странным, ибо естественно искать извинения для такого позора,— что их влияние не столь велико, как это кажется приезжему. Прошу простить, но должен заметить, что я не вижу оснований для такого утверждения, так как все факты и обстоятельства приводят к прямо противоположному выводу.

Когда люди, в большей или меньшей степени, наделенные достойными чертами ума или характера, смогут завоевать в Америке более или менее видное общественное положение, не пресмыкаясь и не раболепствуя перед этим чудовищем порока; когда выдающиеся личные качества того или другого гражданина перестанут быть объектом нападок; когда доверие общества к кому бы то ни было не будет подрываться наветами и узы, основанные на общественной порядочности и чести, будут хоть сколько-нибудь уважаться; когда хоть один человек в этой Свободной Стране будет обладать свободой выражать свое мнение и считать, что он может думать, что хочет, и высказываться, как хочет, без унизительной оглядки на цензуру, которую он в глубине души бесконечно ненавидит и презирает за ее разнузданное невежество и низкую бесчестность; когда те, кто наиболее остро ощущает гнусность этого чудовища и страдает от тени, какую оно бросает на весь народ, и клянет его в частных беседах, осмелятся наступить на него ногой и открыто, на глазах у всех, раздавить его,— тогда я поверю, что его влияние падает и люди вновь обретают собственное смелое суждение. Но покуда дурной глаз этой печати проникает в каждый дом и она умудряется приложить свою

грязную руку к каждому назначению на государственный пост, начиная от поста президента и кончая должностью почтальона; пока непристойная клевета является ее единственным орудием, а сама она остается стандартной литературой для огромной массы людей, читающих одни только газеты, и больше ничего,— до тех пор на всей стране будет лежать этот позор и до тех пор причиняемое ее печатью зло будет сказываться в Республике на всем.

Кто привык к крупным английским газетам или к почтенным газетам европейского континента; кто привык видеть отпечатанным на бумаге нечто совсем иное, те не сумеют составить себе без наглядных примеров хотя бы приблизительное представление об этой страшной машине американской прессы, а приводить эти примеры я не расположен, да и место не позволяет. Но если кто-либо пожелает проверить мои слова, пусть он обратится в любое учреждение в Лондоне, где можно найти разрозненные номера этих изданий; и тогда пусть составит на этот счет собственное мнение [1].

Для американского народа в целом несомненно было бы куда лучше, если бы американцы меньше любили реальное и немного больше — идеальное. Было бы хорошо, если бы в них больше поощряли беззаботность и веселье и шире прививали им вкус к тому, что́ прекрасно, хотя и не приносит значительной и непосредственной пользы. Здесь, мне кажется, довольно резонно может быть выдвинуто обычное возражение — «Мы — молодая страна»,— так часто приводимое в оправдание недостатков, которые обычно нельзя им оправдать, ибо по существу мы здесь имеем дело лишь с отпочкованием старой страны; и все же я надеюсь еще услышать о существовании в Соединенных Штатах каких-то других национальных развлечений, помимо газетной политики.

---

[1] *Примечание к первому изданию.* Или пусть он обратится к толковой и достоверной статье, опубликованной в октябрьском номере журнала «Форейн куортерли ревью», на которую я обратил внимание, когда эта книга уже печаталась. Он обнаружит там примеры, нисколько не удивительные для человека, побывавшего в Америке, но поражающие всякого, кто там не был. *(Прим. автора.)*

Американцы решительно не склонны к юмору, и у меня создалось впечатление, что они от природы мрачны и угрюмы. По меткости высказываний, по какому-то твердокаменному упорству на первом месте стоят бесспорно янки, то есть жители Новой Англии,— как, впрочем, и во многом другом, что связано с интеллектуальным развитием. Но когда я ездил по стране, когда попадал в места, удаленные от больших городов, меня положительно угнетала,— как уже отмечалось в предыдущих главах этой книги,— преобладающая там серьезность и унылая деловитость; эта атмосфера была настолько повсеместной и неизменной, что мне казалось, будто в каждом новом городе я встречаю тех же людей, которых оставил в предыдущем. Мне думается, те недостатки, которыми отмечены национальные нравы, следует в значительной мере отнести за счет этой атмосферы: это она породила тупую угрюмую приверженность ко всему грубо материальному и привела к тому, что все прелести жизни отбрасываются, как не стоящие внимания. Вашингтон, сам крайне педантичный и строгий в вопросах этикета, несомненно уже в те времена угадывал в американцах тяготение к такому недочету и делал все возможное, чтобы это исправить.

Я никак не могу утверждать вместе с другими авторами, что наличие в Америке всевозможных религиозных сект в какой-то мере можно объяснить отсутствием государственной церкви,— я, напротив того, считаю, что, если она будет установлена, народ — в силу самого своего характера — отвернется от нее, хотя бы уже потому, что это *установленная* церковь. Но допустим, что она существует,— я беру под сомнение ее способность успешно объединить всех разбредшихся овец в одно большое стадо, хотя бы потому, что в стране бытует слишком много верований; и еще потому, что я не вижу в Америке такой формы религии, с какой мы не были бы знакомы в Европе — или даже у себя в Англии. Сектанты здесь развивают бурную деятельность, как и все прочие люди, просто потому, что это страна деятельных людей; они создают свои поселения, так как здесь легко купить землю, и возводят деревни и города там, где не ступала нога человека. Ведь даже шекеры и те эмигрировали из Англии; наша страна достаточно известна и Джозефу Смиту,

апостолу мормонов *, и его невежественным последователям; я сам видывал в иных наших больших городах такие религиозные радения, какие едва ли могут превзойти на своих сборищах американские сектанты в лесной глуши; и я далеко не уверен, что всякий обман, использующий суеверие, с одной стороны, и всякое доверчивое безудержное суеверие — с другой, ведут начало из Соединенных Штатов и что мы не можем сопоставить их с такими явлениями, как миссис Сауткот, Мэри Тофтс, занимавшаяся разведением кроликов, или даже мистер Том из Кентербери *, который подвизался в просвещенную эпоху, когда времена мракобесия давно миновали.

Республиканский строй несомненно укрепляет в народе чувство собственного достоинства и равенства; но в Америке путешественник должен всегда напоминать себе о его существовании, чтобы не возмущаться то и дело близостью той категории людей, с которой ему на родине не пришлось бы сталкиваться. Фамильярность в обращении, когда к ней не примешивалась глупая спесь и когда она не мешала добросовестному выполнению обязанностей, никогда не оскорбляла меня; и мне почти не пришлось познакомиться на собственном опыте с ее грубым или неприятным проявлением. Раз или два это было довольно комично, как, например, в описанном ниже происшествии,— но это был лишь забавный случай, а не правило.

В одном городе мне понадобилась пара башмаков, так как мне не в чем было ехать дальше; я взял с собою только знаменитые башмаки на пробковой подошве, но в них было слишком жарко на огнедышащих палубах пакетбота. А посему я отправил одному артисту сапожного дела записку, в которой приветствовал его и сообщал, что буду рад его видеть, если он не откажет в любезности навестить меня. Он очень мило попросил передать в ответ, что «заглянет» в шесть часов вечера.

Примерно в указанное время я лежал на диване, читая книгу и потягивая вино из бокала, когда дверь отворилась и в комнату вошел джентльмен в стоячем воротничке, в шляпе и перчатках, на вид лет тридцати или около того; он подошел к зеркалу, поправил прическу, снял перчатки; не торопясь извлек мерку из самых недр

кармана своего сюртука и томным голосом попросил меня отстегнуть штрипки. Я повиновался, но с некоторым удивлением поглядел на шляпу, которая все еще оставалась у него на голове. Возможно, поэтому, а возможно, из-за жары — он снял ее. Затем он сел на стул напротив меня; уперся локтями в колени; потом, низко нагнувшись, с большим усилием поднял с полу образчик лондонского мастерства, который я только что снял,— при этом он что-то мило насвистывал. Он без конца вертел башмак; разглядывал его с таким презрением, какого словами не выразишь, и, наконец, спросил, хочу ли я, чтобы он «справил» мне точно такой башмак? Я любезно ответил, что меня интересует только одно — чтобы башмаки не жали, а остальное пусть он сам решает; если это удобно и практически осуществимо, то я не возражал бы, чтоб они в какой-то мере походили на стоящую перед ним модель, но я во всем готов следовать его советам и оставляю все на его усмотрение.

— Так вы, значит, не очень настаиваете на этой впадине в пятке, а ? — говорит он.— Мы тут такого не делаем.

Я повторил свои последние слова. Он снова посмотрел на себя в зеркало; подошел поближе, чтобы вынуть из уголка глаза соринку; поправил галстук. Все это время моя нога висела в воздухе.

— Вы как будто готовы, сэр? — спросил я.

— Д-да, почти,— сказал он.— Не шевелитесь.

Я прилагал все усилия, чтобы не дать шевельнуться ни ноге, ни мускулам лица,— а он тем временем, вынув из глаза соринку, извлек свой футляр с карандашами, снял мерку и сделал соответствующие записи. Покончив с этим, он принял прежнюю позу и, снова взяв башмак, некоторое время задумчиво разглядывал его.

— Так это, значит, английский башмак, да? — сказал он, наконец.— Это лондонский башмак?

— Да, сэр,— ответил я,— это лондонский башмак.

Он еще некоторое время размышлял над ним, словно Гамлет над черепом Йорика *, затем кивнул головой, будто говоря: «Могу лишь пожалеть о государственном строе, который привел к появлению таких башмаков»; встал; спрятал футляр с карандашами, свои записи, бумагу,— все это время не переставая смотреться

в зеркало,— надел шляпу; медленно натянул перчатки и, наконец, вышел. Прошла минута после его ухода, как вдруг дверь отворилась и опять показались его шляпа и его голова. Он оглядел комнату, потом посмотрел еще раз на башмак, все еще лежавший на полу, с минуту, видимо, подумал и сказал:

— Ну-с, всего хорошего.

— Всего хорошего, сэр,— сказал я.

И на этом наша встреча кончилась.

Я хотел бы сказать несколько слов еще по одному вопросу о народном здравоохранении. В такой обширной стране, где еще не заселены и не расчищены миллионы акров земли и где ежегодно на каждом ее клочке идет перегнивание растений, в стране, где так много больших рек и такое разнообразие климатов,— в известное время года неминуемо возникает множество болезней. Я беседовал с рядом представителей врачебной профессии в Америке, и, смею заявить, я не одинок в своем убеждении, что можно было бы избежать большинства распространенных в Америке заболеваний, если бы соблюдались в обществе некоторые меры предосторожности. В этих целях необходимо усилить личную гигиену; необходимо изменить порядок, когда люди трижды в день наспех проглатывают в большом количестве животную пищу, и тут же после еды возвращаются к своим сидячим занятиям; слабый пол должен более разумно одеваться и больше заниматься полезными физическими упражнениями — последнему совету должны последовать и мужчины. Но прежде всего необходимо тщательно перестроить систему вентиляции, канализации и удаления нечистот во всех общественных учреждениях и вообще в каждом городе и городишке. В Америке каждый местный законодательный орган мог бы извлечь для себя огромную пользу, если бы хорошенько ознакомился с превосходным докладом мистера Чедуика о санитарных условиях, в каких живут трудовые классы у нас.

Итак, я подошел к концу своей книги. Судя по некоторым предостережениям, которые я получил, уже вернувшись в Англию, мне не приходится ждать, что книга

будет дружелюбно или благосклонно встречена американским народом; и так как я написал правду об основной массе тех людей, которые определяют суждения народа и выражают его мнения, вы увидите, что я не жажду какими бы то ни было побочными средствами снискать его аплодисменты.

С меня довольно сознания, что из-за написанного на этих страницах я не потеряю по ту сторону Атлантики ни одного друга, который хоть чем-то заслуживает этого имени. Что же касается остальных, то я бесхитростно положусь на общий дух, в каком задуманы и написаны мои заметки, и буду ждать благоприятного приговора.

Я ни словом ни коснулся оказанного мне приема и не позволил ему повлиять на то, что я написал, в любом случае это явилось бы — по сравнению с тем, что я ношу в своем сердце,— лишь очень скупой благодарностью тем благосклонным читателям моих предыдущих книг, которые за океаном встретили меня с раскрытыми объятиями, а не держа руку на взведенном курке.

Конец

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Выступая на обеде, который устроили в мою честь в субботу, 18 апреля 1868 года, в городе Нью-Йорке двести представителей американской печати, я сказал, между прочим, следующее:

«Последнее время в вашей стране так часто звучал мой голос, что я мог бы удовольствоваться этим и не утруждать вас больше своими разглагольствованиями, если бы не считал своим долгом отныне не только здесь, но и по всякому удобному случаю, выражать мою глубокую признательность и благодарность за тот прием, который был мне оказан при моем вторичном посещении Америки, и воздать со всею честностью дань благородству и великодушию этой нации. Мне хотелось бы также сказать, как поразили меня те удивительные перемены, на которые я наталкивался повсюду,— перемены в плане моральном, перемены в плане физическом, перемены в количестве отвоеванной у природы и заселенной земли, перемены в появлении больших новых городов, перемены в неузнаваемом росте старых городов, перемены в удовольствиях и прелестях жизни, перемены в нравах печати, без прогрессивных изменений коих не может быть прогресса ни в чем. К тому же, поверьте, я не столь дерзок, чтобы считать, будто за двадцать пять лет во мне самом не произошло никаких перемен, что я ничему не научился и что мне не пришлось пересмотреть некоторые крайние взгляды, которые сложились у меня при моем первом посещении вашей страны. И тут мы подходим к одному обстоятельству, относительно которого, с тех пор как я высадился в Соединенных Штатах в но-

ябре прошлого года, я, несмотря ни на что, хранил упорное молчание, а сейчас, с вашего позволения, намерен поведать вам о нем. Даже пресса, поскольку работают в ней люди, может порой ошибаться или быть неправильно информированной, и я склонен считать, что в двух или трех случаях сведения, публиковавшиеся обо мне, были не вполне точны. В самом деле, за всю свою жизнь я не читал ничего более удивительного, чем то, что время от времени появлялось в печати обо мне. Так, например, меня немало поразили та энергия и упорство, с какими я вот уже несколько месяцев, оказывается, собираю материал и работаю над новой книгой об Америке, хотя все это время моим издателям по ту и по эту сторону Атлантики было известно, что никакие силы на свете неспособны заставить меня написать такую книгу. Но я намерен и решил (это и есть то самое обстоятельство, о котором я хочу вам сообщить) по возвращении в Англию выступить в своем журнале и в интересах моих соотечественников самому поведать им о тех гигантских переменах, которые произошли в вашей стране и про которые я здесь упоминал. А кроме того, мне хотелось бы рассказать им о том, что, где бы я ни был — в больших городах или самых маленьких местечках,— всюду меня принимали с непревзойденной вежливостью, деликатностью, мягкостью, гостеприимством, вниманием и непревзойденным уважением к характеру моей поездки и состоянию моего здоровья, постоянно требовавшим уединения. Это мое свидетельство, пока я жив и пока будут живы те, кто унаследует авторское право на мои книги, будет помещаться в качестве приложения ко всем экземплярам двух моих книг, в которых я говорю об Америке. Я буду и велю это делать не только из любви и благодарности, но и потому, что считаю справедливым и честным».

Я произнес эти слова со всею искренностью, какую мог в них вложить, и со всею искренностью повторяю их сейчас. И пока будет существовать эта книга, я надеюсь, они будут входить в нее, как нечто неотделимое от моих наблюдений и впечатлений от Америки.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Май 1868 года

КАРТИНЫ ИТАЛИИ

Перевод А. С. Бобовича

Редактор З. Е. Александрова

Паспорт читателя

Если бы читатели этого тома пожелали взять свои виды на жительство в те места, о которых здесь вспоминает автор, у самого автора, они смогли бы, вероятно, посетить их и с большей приятностью и лучше представляя себе, чего им следует от них ожидать.

Об Италии написано множество книг, доставляющих множество способов изучать историю этой интересной страны и всего, что с нею связано. Однако я не часто ссылаюсь на этот запас сведений, так как отнюдь не считаю, что, если я сам черпал из него ради собственной пользы, это означает, что я могу преподносить читателям то, что они легко найдут и без моей помощи.

На этих страницах не встретится и серьезного рассмотрения достоинств и недостатков в управлении той или иной частью страны. Все посетители этого чудесного края неизбежно приходят к определенному взгляду на этот предмет; но поскольку, пребывая здесь как иностранец, я счел за благо воздерживаться от споров по этим вопросам с итальянцами любого сословия и состояния, я и теперь предпочитаю не вдаваться в их рассмотрение. Прожив в Генуе целый год, я ни разу не встретил со стороны властей, которые по самой природе своей подозрительны, ни малейшего проявления недоверия, и я не желал бы подать им повод сожалеть об их непринужденной любезности как в отношении меня, так и коголибо из моих соотечественников.

Во всей Италии нет, пожалуй, такой знаменитой статуи или картины, которая не могла бы быть целиком погребена под горой напечатанных о ней трактатов. По этой причине, невзирая на искреннее мое восхищение скульптурой и живописью, я не стану здесь распространяться о знаменитых картинах и статуях.

Эта книга представляет собою ряд беглых очерков — как бы отражений в воде — тех мест, которые в той или иной степени влекут к себе мечты большинства людей, в которых и мои мечты обитали долгие годы и которые представляют некоторый общий интерес. Большая часть этих набросков была сделана тут же на месте и время от времени пересылалась на родину в частных письмах. Я упоминаю об этом не в оправдание тех недостатков, которые могут быть в них обнаружены, потому что это не оправдание, но в качестве своего рода гарантии для читателя, что они по крайней мере написаны по свежим следам и под непосредственным впечатлением.

Если эти заметки могут показаться иной раз причудливыми и празднословными, пусть читатель вспомнит, что они составлялись знойным днем где-нибудь в холодке в окружении тех предметов, о которых идет речь, и не сочтет их хуже оттого, что на них заметно влияние описываемой страны.

Хочу также надеяться, что не буду превратно понят читателями католического вероисповедания в связи с коечем содержащимся на этих страницах. В одном из моих более ранних произведений * я постарался воздать должное приверженцам римско-католической церкви и рассчитываю, что и они в свою очередь ответят мне тем же.

Упоминая о каком-нибудь церковном обряде, показавшемся мне неприятным или нелепым, я отнюдь не стремлюсь связать его с основами католической религии. Описывая церемонии на Страстной неделе, я рассказываю только о произведенном ими на меня впечатлении и не думаю оспаривать того толкования, которое дает им почтенный и знающий доктор Уайзмен *. Когда я высказываюсь против монашеских обетов, даваемых юными девушками, отрекающимися от мирской жизни, прежде чем они познали или испытали ее; или выражаю сомне-

ние в святости ex officio[1] всех священников и монахов, я позволяю себе не больше того, что думают и высказывают многие честные католики как за границей, так и у нас.

Я сравнил эти «Картины» с отражениями в воде и хочу надеяться, что нигде не возмутил воду настолько, чтобы исказить их. Никогда я так не стремился к поддержанию добрых отношений со всеми моими друзьями, как теперь, когда далекие горы снова встают на моем пути. Ибо я не колеблясь признáюсь, что хотел бы исправить допущенную мною в недавнем прошлом ошибку, состоявшую в нарушении привычных связей с читателями и временном отказе от прежних занятий, и с удовольствием собираюсь возобновить их в Швейцарии, где в течение года я смогу спокойно осуществить некоторые свои замыслы, причем голос мой будет доходить до английских читателей и одновременно я ближе познакомлюсь с благородной страной, неудержимо влекущей меня [2].

Я сочинял эту книгу, стараясь быть возможно доступнее; я был бы счастлив, если бы я мог надеяться сравнить с ее помощью мои впечатления с впечатлениями когонибудь из множества людей, которые с интересом и наслаждением посетят впоследствии описанные мною места.

А теперь мне остается перечислить, как это принято в паспортах, приметы моего читателя, одинаково пригодные, надеюсь, для представителей обоего пола:

Наружность	располагающая
Глаза	очень веселые
Нос	отнюдь не задранный
Рот	расплывающийся в улыбке
Лицо	сияющее
Общее выражение . .	чрезвычайно приятное

По Франции

В одно прекрасное воскресное утро тысяча восемьсот сорок четвертого года, в разгар лета и в самый зной... нет, нет, дорогой друг, не пугайтесь! — речь пойдет не о

---

[1] По должности *(лат.)*.

[2] Это было написано в 1846 г. *(Прим. автора.)*

двух путешественниках, медленно продвигавшихся по живописной пересеченной местности, по которой обычно приходится добираться до первой главы романа из средневековой жизни; нет, речь пойдет всего лишь о том, что английская дорожная карета внушительных размеров, совсем новая, прямо из Пантехникона * близ Белгрэвсквера, Лондон, была замечена крошечным французским солдатом — я сам видел, как он посмотрел на нее,— когда выезжала из ворот отеля Мерис, на улицу Риволи в Париже.

Объяснять, почему семья англичан — внутренних и наружных пассажиров этой кареты — решила выехать в Италию в воскресенье, словно не существует других дней недели, я обязан не больше, чем обязан, скажем, вдаваться в исследование причин, в силу которых все низкорослые люди во Франции — неизменно солдаты, а все высокие — форейторы, хоть это и нерушимое правило. И все же у путешественников безусловно были свои причины поступать так, как они поступили; а почему они вообще там оказались, вы уже знаете: они направлялись в прекрасную Геную с намерением поселиться в ней на год, тогда как глава семьи собирался постранствовать и побывать там и сям, следуя прихотям своего неугомонного нрава.

Впрочем, мне было бы не так-то легко убедить парижское население, что глава и повелитель этой семьи именно я, а не лучезарное воплощение жизнерадостности, пребывавшее возле меня в образе курьера-француза, лучшего из слуг и благодушнейшего из людей; сказать по правде, он куда больше, чем я, был похож на отца семейства, и рядом с его дородной фигурой я превращался в совершеннейшее ничто.

В общем виде Парижа, когда наша карета громыхала мимо зловещего морга и по Пон-Неф, ничто, в сущности, не могло упрекать нашу совесть за отъезд из этого города в воскресенье. Винные погреба (через дом друг от друга) торговали вовсю; перед кафе натягивали навесы и расставляли столы и стулья, готовясь к приему многочисленных посетителей, которые в течение дня будут поедать здесь мороженое и пить прохладительные напитки; на мостах усердно трудились чистильщики

сапог; лавки были открыты; с грохотом проезжали взад и вперед телеги и фуры; на узких, похожих на дымоходы улицах по ту сторону Сены повторялась все та же картина: повсюду была все та же шумная толчея, повсюду — те же пестрые ночные колпаки, чубуки для курения табака, блузы, огромные сапоги, лохматые шевелюры. Ничто в этот час не напоминало о дне отдохновения — разве что попадалось какое-нибудь семейство, которое, набившись в старый, вместительный, дребезжащий извозчичий экипаж, ехало за город на прогулку или в окне мансарды показывалась задумчивая и праздная фигура в самом небрежном и откровенном утреннем туалете, поджидавшая в предвкушении воскресных удовольствий, пока просохнут на карнизе начищенные ботинки (если то был мужчина) или вывешенные на солнце чулки (если то была дама).

После того как кончается мостовая парижских предместий, «забыть и простить» которую невозможно, дорога в Марсель на протяжении первых трех дней ничем не примечательна и довольно однообразна. В Санс. В Авалон. В Шалон.

Очерк событий одного дня — это очерк всех трех, и вот он перед вами.

У нас четверка лошадей и один форейтор с очень длинным бичом, правящий своею упряжкой наподобие курьера из Санкт-Петербурга в цирке Астли или Франкони *, с тем, однако, отличием, что он сидит на лошади, а не стоит на ней. Необъятные ботфорты, в которые обуваются эти форейторы, бывают порой столетней или двухсотлетней давности; они до того несоразмерны с ногами носящего их, что шпоры, прикрепленные на уровне его пяток, оказываются, как правило, посередине голенища. Форейтор несколько раз появляется из ворот конного двора в башмаках и с бичом и выносит, держа в обеих руках по ботфорту, которые он с величайшей торжественностью ставит на землю рядом с лошадью, где они и красуются, пока он не закончит необходимые приготовления. Когда же они заканчиваются — о небо! какой при этом поднимается шум и гам,— он влезает в ботфорты, как был, в башмаках, или его впихивает в них пара приятелей, поправляет веревочную сбрую

с выпуклым узором, нанесенным стараниями бесчисленных голубей, обитателей станционных конюшен, горячит лошадей, щелкает бичом, как полоумный, кричит: Fn route! Hi! [1] — и мы, наконец, выезжаем. Едва мы успеваем отъехать, как у него начинаются нелады с лошадью, и он честит ее вором, разбойником, свиньей и т. д., и т. д. и нещадно колотит ее по голове, словно она деревянная.

На протяжении первых двух дней в облике страны мало разнообразия. Унылая равнина сменяется бесконечной аллеей и бесконечная аллея — унылой равниной. Здесь множество виноградников, высаженных в открытом поле, но лоза низкоросла и ее выращивают не на шпалерах, а на прямых, воткнутых в землю тычках. Повсюду бесчисленное множество нищих, хотя население здесь крайне редкое, и нигде я не встречал так мало детей. Полагаю, что между Парижем и Шалоном мы не видели и сотни их. Забавные старинные города с подъемными мостами, стенами и угловыми башенками причудливой формы, похожими на гримасничающие рожицы, точно стена напялила на себя маски и смотрит сквозь них в лежащий у ее подножия ров; и еще странного вида башенки в садах и полях, в переулках и во дворах ферм; и всякая башенка всегда одинока, и всегда круглая, и всегда с островерхою кровлей, и неизменно пустует; разрушенные строения разного рода, то городское управление, то кордегардия, то жилой дом, то замок с запущенным садом, полным одуванчиков, и стерегущими его башенками под острой конической кровлей, похожими на гасильники, с узкими подслеповатыми прорезями окон — все это вновь и вновь возникает на нашем пути. Иногда мы проезжаем мимо деревенской гостиницы с обвалившимся каменным забором и с целым городком всевозможных пристроек. Над воротами намалевано: «Конюшни на шестьдесят лошадей», и в них действительно можно было бы разместить не только шестьдесят лошадей, но и в двадцать раз больше, если бы здесь бывали когда-либо лошади, или останавливались проезжие, или были какие-нибудь признаки жизни, кроме

[1] Пошел! Ну! *(франц.)*

ветки над дверью, указующей, что тут торгуют вином; такая же праздная и ленивая, как все остальные, она вяло колышется на ветру и уж, конечно, никогда не бывает могучей зеленой веткой со старого дерева, хотя настолько стара, что готова вот-вот рассыпаться. Весь день мимо нас тянутся, мерно позвякивая, маленькие, странной формы, узкие фуры, везущие из Швейцарии сыр; они следуют одна за другой вереницами из шести — восьми в каждой, и нередко весь этот обоз находится на попечении одного единственного возницы — иногда даже мальчика,— да и он частенько спит в передней повозке. Лошади сонно звенят бубенчиками на сбруе, и у них такой вид, словно они считают (так оно, конечно, и есть), что большие синие шерстяные попоны с двумя потешными рожками над хомутом — чудовищно плотные и тяжелые — слишком теплый наряд для летнего времени.

Раза два, а то и три за день мы встречаем дилижанс с запыленными наружными пассажирами в синих блузах, похожими на мясников, и внутренними пассажирами в белых ночных колпаках; откидной верх на крыше, носящий название «головы», трясется и кивает, как голова дурачка, а путешественники из стана «Молодой Франции» * глядят на нас из окна — бородатые, в жутких синих очках, скрывающих их воинственные глаза, и с очень толстыми палками, зажатыми в «патриотических» кулаках. Проносится мальпост * с какими-нибудь двумя пассажирами; он летит с бешеной скоростью и тотчас скрывается из виду. Проезжают степенные пожилые кюре в таких ветхих, нескладных, скрипучих и громыхающих таратайках, что ни один англичанин не поверит мне на слово; в пустынных полях вы замечаете худых, изможденных женщин: то они придерживают за веревку пасущуюся корову, то вскапывают или взрыхляют землю, то выполняют другие еще более тяжелые полевые работы; иногда встречаются самые что ни на есть настоящие пастушки со своими стадами — чтобы получить действительно правильное представление об этой профессии и тех, кто занимается ею, достаточно — какую бы страну мы ни взяли — обратиться к любой картине или поэме на пасторальную тему и представить себе нечто реши-

тельно и окончательно непохожее на изображенное в них.

Вы уже много часов в пути и впадаете в оцепенение, как это обычно случается на последнем дневном перегоне; и девяносто шесть бубенчиков на лошадях — по двадцать четыре на каждой — вот уже полчаса сонно звенят в ваших ушах, навевая дремоту; и вам начинает казаться, что вы еле тащитесь и ваше путешествие — бесконечно нудное, утомительное занятие; и вы охотно погружаетесь в мечты об обеде, которым вас попотчуют на следующей станции... как вдруг, в конце обсаженной деревьями длинной аллеи появляются первые признаки города в виде нескольких беспорядочно разбросанных домиков, и вот уже ваша карета катится с отчаянным грохотом по ужасной, ухабистой мостовой. Ваш экипаж тотчас же начинает трещать и взрываться, как если б он был большою шутихой и воспламенился от одного вида дымящей над домом трубы или будто в него вселился сам черт. Тарарах, тарарах, тарарах, тарарах. Тарарах, тарарах, тарарах. Трр... тарарах. Трр... тарарах. «Helo! Hola! Vite! Voleur! Brigand! Hi, hi, hi! En r. r. r. r. route!» [1] Бич, колеса, кучер, камни, нищие, дети; тарарах, тарарах, тарарах. Helo! Hola! Charité pour l'amour de Dieu [2]. Трр... тарарах... трр... тарарах; трр... трр... трр... удар, толчок, тарарах; удар, трр... тарарах; за угол, в гору по узкой улице, под гору по мощеному склону; в рытвину; удар, удар; толчок, встряска, трр... трр... трр...; тарарах, тарарах, тарарах; прямо в витрину лавки на левой стороне улицы, чтобы тотчас же круто свернуть под деревянную арку на правой ее стороне; грохот, грохот, грохот; стук, стук, стук; трр... трр... трр... и вот мы во дворе гостиницы «Золотой экю» — измученные, разбитые, полуживые, в полном изнеможении, но по временам мы подскакиваем на месте, ни с того ни с сего — точь-в-точь как догорающая шутиха.

Хозяйка «Золотого экю» тут как тут; и хозяин «Золо-

---

[1] Ого! Ого-го! Поторапливайся! Вор! Разбойник! Ну! Пошел! *(франц.)*

[2] Ого! Ого-го! Милостыню, ради господа бога! *(франц.)*



того экю» тут как тут; и горничная «Золотого экю» тут как тут; и господин в клеенчатом картузе, с холеной огненной бородой, обосновавшийся в «Золотом экю», тут как тут; а в углу двора прохаживается господин кюре в широкополой шляпе и черной сутане, с книгой в одной руке и зонтиком в другой; и все, кроме господина кюре, пяля глаза и разинув рты, ждут не дождутся, когда же откроется дверца кареты. Хозяин «Золотого экю» до того обожает курьера, что не в силах дождаться, когда тот сойдет с козел, и бросается обнимать голенища и каблуки его ботфортов: «О мой курьер! Мой славный курьер! Друг мой! Брат мой!» Хозяйка любит его, горничная благословляет его, гарсон — прямо молится на него. Курьер спрашивает, дошло ли его письмо. Как же! Как же! Готовы ли комнаты? Еще бы! Еще бы! Лучшие комнаты для доблестного курьера! Парадные апартаменты для благородного курьера; весь дом к услугам нашего лучшего друга. Курьер держит руку на дверце кареты и задает все новые вопросы, чтобы подогреть нетерпение ожидающих. На поясе у него зеленый кожаный кошелек. Зеваки уставились на кошелек; кто-то притрагивается к нему. Он полон пятифранковых монет. Шепот восхищения пробегает в кучке мальчишек. Хозяин бросается на шею курьера и прижимает его к груди. Как он пополнел! говорит хозяин. Какой у него здоровый и свежий вид!

Отворяется дверца кареты. Напряженное ожидание. Появляется госпожа. Ах, какая милая дама! И какая красивая дама! Появляется сестра госпожи. Боже правый, мадемуазель восхитительна! Появляется первый маленький мальчик. Какой хорошенький мальчик! Появляется первая маленькая девочка. О, да это очаровательное дитя! Появляется вторая маленькая девочка. Хозяйка, уступая возвышенному зову природы, берет ее на руки. Выходит второй маленький мальчик. Что за прелестный мальчик! Что за чудесное маленькое семейство! Выносят младенца. Ангелочек, а не младенец! Младенец берет верх над всем остальным. Все восхищаются теперь только младенцем. Наконец вылезают две няни, и общий энтузиазм переходит в безумие; всю семью возносят по лестнице, как на облако. А зеваки все еще толпятся возле кареты, и заглядывают внутрь, и обходят ее вокруг,

и прикасаются к ней, и поглаживают ее. Ведь потрогать карету, вмещающую в себя столько народу, никак не пустяк. Будет о чем порассказать детям.

Нам отведены комнаты первого этажа; исключение составляет лишь детская спальня — обширное, несуразное помещение с четырьмя или даже пятью постелями: чтобы попасть в нее, нужно пройти темный коридор, подняться на две ступеньки, спуститься на четыре, пройти мимо помпы, накачивающей воду, пересечь балкон и войти в дверь рядом с конюшней. Остальные спальни просторны и с высокими потолками; в каждой из них по две небольших кровати, со вкусом убранных, как и окна, красными и белыми занавесками. Гостиная просто великолепна. Там уже сервирован обед на три персоны, и замысловато свернутые салфетки похожи на треуголки. Полы из красного кирпича. Ковров нет и мебели так немного, что о ней не стоит упоминать; зато у нас изобилие всевозможных зеркал, большие вазы с букетами искусственных цветов под стеклянными колпаками и очень много часов. Все в доме поднято на ноги. Особенно деятелен Бравый курьер — он поистине вездесущ: он обследует наши постели, он успел промочить горло вином, поднесенным ему его дорогим братом-хозяином, он раздобыл неизменные зеленые огурцы — одному небу ведомо, откуда он их берет, и так с ними и расхаживает — по огурцу в каждой руке, словно с двумя жезлами.

Обед готов. Подают жиденький суп и очень большие хлебы, каждому по отдельному хлебу; подают рыбу, после нее еще четыре блюда, потом птицу, потом десерт и вино в изобилии. Каждого кушанья понемногу, но все они весьма хороши и подаются без задержек. Уже темнеет, когда Бравый курьер, съев свои огурцы, нарезанные ломтиками и приправленные большим графином оливкового масла и таким же графином уксуса, появляется из своего убежища в нижнем этаже и предлагает посетить здешний собор, массивная башня которого хмуро высится над двором гостиницы. Мы отправляемся. В полутьме собор особенно торжествен и величав; под конец становится настолько темно, что старый учтивый ризничий с впалыми щеками зажигает крошечный огарок и, пробираясь с этим едва мерцающим огоньком между надгробий,

кажется заблудившимся привидением, разыскивающим среди угрюмых колонн свою собственную могилу.

Когда мы возвращаемся из собора, прислуга гостиницы ужинает на воздухе за большим столом под балконом. На столе дымится какое-то кушанье из тушеного мяса и овощей, поданное в чугунном котле, в котором его готовили. У сидящих за ужином кувшин слабенького вина, и им очень весело; веселее, чем господину с огненной бородой, который играет на бильярде в ярко освещенной комнате левого флигеля, где за окном непрерывно движутся тени с кием в руках и сигарой во рту. По-прежнему со своей книгой и зонтиком прохаживается взад и вперед одинокий кюре. И он продолжает прохаживаться, и бильярдные шары продолжают стучать еще долго после того, как мы погружаемся в сон.

В шесть часов утра мы уже на ногах. День восхитителен; его сияние пристыдило бы карету, облепленную вчерашней грязью, если бы что-нибудь могло пристыдить карету в стране, где их никогда не моют. Всё и все полны бодрости, и когда мы заканчиваем первый завтрак, во двор, позвякивая бубенчиками, прибывают лошади, присланные с почтовой станции. Вещи, вынутые вчера из кареты, снова укладываются в нее. Обойдя комнаты и заглянув во все углы, чтобы увериться, что ничто не забыто, Бравый курьер возвещает о готовности к выезду. Все усаживаются в карету. Все обитатели «Золотого экю» снова охвачены восхищением. Бравый курьер вбегает в дом за свертком с холодной птицей, нарезанной ветчиной, хлебом и печеньем для второго завтрака; этот сверток он торопливо сует в карету и снова убегает назад.

Но что же он теперь держит в руке? Опять огурцы? Нет. Длинную полоску бумаги. Это счет.

Сегодня утром Бравый курьер щеголяет уже в двух поясах; на одном висит кошелек, а на другом добротная кожаная фляга изрядных размеров, наполненная до самого горлышка лучшим легким бордо, какое только нашлось в гостинице. Он никогда не платит по счету, прежде чем ему не наполнят флягу. После этого он начинает его оспаривать.

Вот и сейчас он яростно оспаривает счет. Он все еще брат хозяина, но уже от другого отца или другой ма-

тери. Он уже не такой близкий родственник, каким был вчера вечером. Хозяин почесывает голову. Бравый курьер тычет пальцем в некоторые цифры на счете и заявляет, что если они так и останутся, то «Золотой экю» превратится, и притом навсегда, в «Медный экю».

Хозяин направляется в свою крошечную контору. Бравый курьер следует за ним по пятам; он тычет ему в руки счет и перо и говорит торопливее, чем обычно. Хозяин берет перо. Курьер улыбается. Хозяин вносит поправки. Курьер отпускает шутку. Хозяин по-прежнему настроен благожелательно, но уже не позволяет себе излишней чувствительности. Он ведет себя как подобает мужчине. Он обменивается рукопожатием со своим бравым братом, но не заключает его в объятия. Однако он и сейчас любит своего милого брата; ведь он знает, что в один прекрасный день тот будет проезжать мимо его гостиницы с какой-нибудь другою семьей, и предвидит, что его сердце снова устремится к нему. Бравый курьер со всех сторон обходит карету, осматривает тормоз, обследует колеса, вспрыгивает на козлы, велит трогаться, и мы пускаемся в путь.

Сегодня рыночный день. Рынок разместился на небольшой площади против собора. Здесь толпятся мужчины и женщины в синем, красном, зеленом и белом; над стойками натянут полотняный навес; вывешенные товары трепещут на ветру. Крестьяне расселись рядами, выставив перед собой опрятные корзины. Здесь продавцы кружев, там продавцы масла и яиц, там продавцы фруктов, там — башмачники. Вся площадь похожа на сцену какого-нибудь крупного театра; только что поднялся занавес, и вот-вот начнется живописный балет. Собор тоже похож на декорацию: мрачный, почерневший, запущенный и холодный; лишь в одном месте он выплескивает на мостовую едва заметные капельки пурпурного цвета — это лучи утреннего солнца, проникая в крошечное окно, выходящее на восток, пробиваются через цветные стекла на западном фасаде.

Спустя пять минут мы — на окраине городка; минуем железный крест с маленькой дерновой площадкой для коленопреклонений пред ним; и вот мы снова в дороге.

Лион, Рона и авиньонский домовой в юбке

Остановка в Шалоне приятна благодаря хорошей гостинице у самой реки и ярко выкрашенным зеленой и красной краской пароходикам, которые ходят по ней; после пыльных дорог это зрелище радует глаз. Но если вам не нравится жить посреди огромной равнины с неровными рядами тополей, похожими издали на гребенки с обломанными зубьями, и вы не хотите провести всю свою жизнь без малейшей возможности подняться хотя бы на пригорок или вообще куда бы то ни было иначе чем по ступеням лестниц, вы едва ли изберете Шалон своим местожительством.

И все же, надо полагать, вы предпочтете его Лиону, до которого упомянутые мною пароходы доходят за восемь часов.

Что за город этот Лион! Иногда о человеке говорят, что он ведет себя так, точно свалился с луны. А тут целый город непостижимым образом свалился с неба; причем, как и полагается падающим оттуда камням, он был извлечен из топей и пустошей, наводящих ужас. Две больших улицы, прорезанные двумя большими и быстрыми реками, и все малые улицы, имя которым — легион,— жарятся на солнцепеке, покрываясь ожогами и волдырями. Дома тут высокие и громадные, неимоверно грязные, прогнившие, как залежалый сыр, и так же кишащие живыми существами. Эти дома громоздятся до самых холмов, окружающих город, и обитающие в них черви высовываются из окон, сушат на палках свои лохмотья, вползают в двери, выползают на мостовую, жадно ловя широко раскрытым ртом воздух, копошатся среди необъятных кип и груд прелых, затхлых, зловонных товаров и живут или, вернее, не умирают до срока, как под колоколом воздушного насоса. Все промышленные города, собранные в один, едва ли смогли бы произвести впечатление, оставленное во мне Лионом, ибо здесь неотъемлемое свойство промышленных городов — нищета — сочетается с обычными свойствами заграничного города — запущенностью и грязью, доведенными до преде-

лов возможного; словом, я охотно сделал бы крюк в несколько миль, лишь бы избежать новой встречи с Лионом.

Когда наступила вечерняя прохлада или, вернее, чуточку спала дневная жара, мы отправились смотреть здешний собор, где несколько старух вкупе с несколькими собаками были погружены в глубокое созерцание. Каменный пол собора с точки зрения чистоты ничем не отличался от уличной мостовой; в узком ящике, вроде корабельной койки, застекленном сверху, выставлена восковая фигура святого, которую мадам Тюссо * не взяла бы и даром и которой устыдилось бы даже Вестминстерское аббатство *. Если вам нужны подробные сведения об архитектуре этой или любой другой церкви, о времени ее возведения, размерах, доходах, а также истории, все это можно найти в путеводителе мистера Мэррея; * так почему бы вам не полистать его книгу, мысленно благодаря составителя, как это сделал я.

По той же причине я не стал бы упоминать и о любопытных часах в Лионском соборе, если б не допустил при осмотре этой достопримечательности небольшой промах. Церковному сторожу страстно хотелось показать эти часы, отчасти ради поддержания чести своего учреждения и всего города, отчасти, быть может, в расчете на дополнительное вознаграждение. Как бы там ни было, часы были приведены в действие, и тотчас же распахнулось множество крошечных дверец, и бесчисленные крошечные фигурки выскочили из них и тотчас скрылись с той бестолковой судорожностью в движениях, которая присуща фигуркам, управляемым часовым механизмом. Сторож между тем объяснял нам все эти диковинки, указывая на них поочередно своею палочкой. Центральная куколка изображала деву Марию; рядом с нею был маленький ящичек, и другая куколка, на редкость злобного вида, совершила из него такой внезапный прыжок, каких мне, пожалуй, наблюдать не приходилось; при виде девы Марии она метнулась назад и с силою захлопнула за собой дверцу. Сочтя, что это символизирует победу и торжество над грехом и смертью, и желая показать, что я отлично постиг, в чем тут дело, я торопливо проговорил, опережая нашего гида: «Ага! Это сатана. Дело

ясное. До чего же быстро от него отделались». «Pardon, monsieur [1],— сказал сторож с учтивым движением руки в сторону дверцы, как если бы представлял нам того, кто скрылся за нею,— вы видели архангела Гавриила».

На следующее утро, едва рассвело, мы сели на очень грязный, забитый товарами пароход, где, кроме нас, было всего трое или четверо пассажиров, и поплыли по течению быстрой, как стрела, Роны со скоростью двадцать миль в час. Среди наших попутчиков самым приметным был глуповатый, старый, пропахший чесноком, изысканно вежливый шевалье с добрым лицом и вдетым в петлицу грязным обрывком красной ленточки *, который, казалось, повязал ее там для памяти, как простак из фарса завязывает узелки на платке.

Последние два дня мы видели дальние силуэты высоких угрюмых холмов — первых предвестников Альп. Теперь мы плыли мимо них; иногда совсем близко, иногда нас отделяли от них пологие склоны, покрытые виноградником. Деревни и городки, словно повисшие в воздухе; оливковые рощи, видные в просветы ажурных колоколен; облака, медленно ползущие по кручам позади них; развалины замков на каждой вершине, и домики, приютившиеся в лощинах между холмами,— все это было очень красиво. Из-за огромной высоты холмов здания казались изящными макетами; их ослепительная белизна на фоне бурых скал и темной, тусклой, сумрачной зелени масличных деревьев и крохотные человеческие фигурки, двигавшиеся на берегу, составляли очаровательную картину. Тут были также бесчисленные паромы, мосты, знаменитый Pont d'Esprit [2] со сколькими арками, я уж не знаю; города, прославленные своими винами; Валанс, где учился Наполеон; с каждой излучиной благородная река раскрывала перед нами все новые красоты.

После полудня мы оказались уже близ Авиньона: перед нами был разрушенный мост и весь испекшийся на солнце город, напоминающий пирог с недопеченною корочкой — зубчатой городскою стеной,— которой уже больше не подрумяниться, сколько бы столетий ее ни пекли.

---

[1] Извините, сударь *(франц.)*.
[2] Мост св. духа *(франц.)*.

На улицах свисали с виноградных лоз обильные грозди и повсюду роскошно цвел олеандр. Эти старинные улицы очень узки, но довольно опрятны и затенены полотняными навесами. Яркие платки, старинные резные рамы, ветхие стулья, столы, похожие на выходцев с того света, святые, мадонны, ангелы, грубо намалеванные портреты — все это выставлено на продажу и очень живописно. А рядом, за полуотворенными ржавыми воротами, вашему взору открывается тихий, словно уснувший двор, и в глубине его — величавый старинный дом, безмолвный, как усыпальница. Все это поразительно схоже с каким-нибудь описанием из «Тысячи и одной ночи». Три одноглазых календера * могли бы стучать в любую из этих дверей, пока вся улица не огласилась бы грохотом, а отворить ее мог бы тот самый любопытный носильщик, который накануне утром заполнил свою корзину такими замечательными покупками.

На следующее утро, после первого завтрака мы отправились осматривать здешние достопримечательности. С севера дул освежающий ветерок, и наша прогулка была очень приятной, хотя камни мостовой и стены домов так накалялись, что до них едва можно было дотронуться.

Сначала мы поднялись к собору, стоящему на скалистой возвышенности. Там шла служба для почти такой же аудитории, какую мы наблюдали в Лионе, а именно: нескольких старушек, грудного младенца и на редкость спокойной собаки, которая, наметив себе небольшую скаковую дорожку или, если угодно, гимнастическую площадку между алтарной решеткой и входной дверью, бегала по ней во время богослужения взад и вперед, совершая свой моцион столь же методически, как какой-нибудь пожилой джентльмен, вышедший на прогулку. Церковь была старой и бедной, и живопись на ее сводах безжалостно попорчена временем и сыростью, но солнечные лучи, проникавшие сквозь красные занавеси на окнах, так щедро освещали ее и так ярко горели на украшениях алтаря, что она казалась нарядною и веселою.

Отойдя в сторону, чтобы взглянуть на фрески, над которыми в то время работали француз-художник и его ученик, я смог подробно рассмотреть многочисленные дары по обету, развешанные на стенах приделов. Сказать,

что эти дары служили к их украшению, я не решусь: намалеванные, по-видимому, живописцами вывесок, которые таким способом восполняют свои скудные заработки, они представляли собой крайне беспомощную и смешную мазню. Все это были картины небольшого размера, и каждая изображала какой-нибудь эпизод,— болезнь или другое бедствие,— от которых даритель избавился благодаря вмешательству своего ангела или мадонны; эти картины можно считать характерными образцами живописи подобного рода. В Италии их великое множество.

По карикатурной угловатости контуров и искаженной перспективе эти картины сродни старинным книжным гравюрам на дереве; впрочем, они писаны маслом, и художник, подобно живописцу семьи Примроз *, не пожалел красок. На одной из них была изображена дама, которой отнимали палец на ноге,— причем для наблюдения за операцией в комнату прибыл на облаке некий святой. На другой картине — дама лежала в постели, укрытая по самую шею тщательно подоткнутым одеялом, и невозмутимо созерцала треножник с умывальным тазом на нем,— единственный предмет меблировки в ее комнате, не считая кровати. Вам и в голову не пришло бы, что она больна и испытывает страдания, кроме проистекающих от бессонницы, если б художник не догадался поместить в углу картины всю ее семью на коленях, причем их ноги, торчавшие на полу, были похожи на сапожные колодки. Над ними, восседая на чем-то вроде голубого дивана, пресвятая дева обещала исцелить страждущую. Еще одна дама была изображена на фоне городской стены, почти под колесами фургона, похожего на фортепьяно. Но и на этот раз мадонна была тут как тут. То ли небесное явление испугало лошадь (нечто вроде гриффона), то ли оно было невидимо лошади — этого я не знаю, но только лошадь уносилась вскачь, не выказывая никакого благоговения и не терзаясь угрызениями совести. На синем небе каждой из этих картин желтыми заглавными буквами было начертано: «Ex voto» [1].

Хотя дары по обету были известны и в языческих храмах и являются, по-видимому, одним из многочисленных

---

[1] По обету *(лат.)*.

компромиссов между ложной и истинной верой, когда истинная вера пребывала еще в младенчестве, я очень желал бы, чтобы все прочие компромиссы были столь же безвредны. Благодарный, смиренный христианский дух поддерживает, надо полагать, этот обычай.

Рядом с собором стоит старинный папский дворец, часть которого занята теперь городскою тюрьмой, часть — шумкой казармой; а мрачные анфилады парадных покоев, пустых и запертых — карикатура своего былого величия и славы,— подобны набальзамированным трупам царей. Но мы не пошли смотреть ни парадные покои, ни казарму, ни тюрьму, хоть и опустили немного денег в кружку для узников, висевшую у входа, причем сами узники жадно следили за нами сверху, сквозь прутья железной решетки. Мы отправились смотреть развалины страшных помещений, где некогда заседали инквизиторы.

Маленькая смуглая старушка с горящими черными глазами — доказательство, что мир еще не укротил в ней дьявола, хотя в его распоряжении было для этого добрых шестьдесят или даже семьдесят лет,— вышла из кабачка при казарме, который она содержала, с большими ключами в руках, и повела нас за собой. Едва ли нужно передавать, как она сообщила нам по пути, что она — должностное лицо (concierge du palais apostolique)[1], вот уже множество лет; что она водила по этим темницам коронованных особ; что никто лучше ее не умеет показывать эти темницы; что она обитает в папском дворце с младенческих лет и даже, помнится, родилась тут. Но такого неистового, суетливого, пламенного и энергичного маленького дьявола в юбке я до этого не встречал. Она все время горела и вспыхивала. Все ее движения были невероятно порывисты. Она не могла говорить спокойно. Она притопывала ногой, хватала нас за рукава, принимала всевозможные позы, стучала ключами по стенам, чтобы усилить впечатление. То она обращалась к нам шепотом, как если бы инквизиция все еще могла ее слышать, то вскрикивала, точно ее самое подвергали пытке. Готовясь показать какой-нибудь очередной ужас, она про-

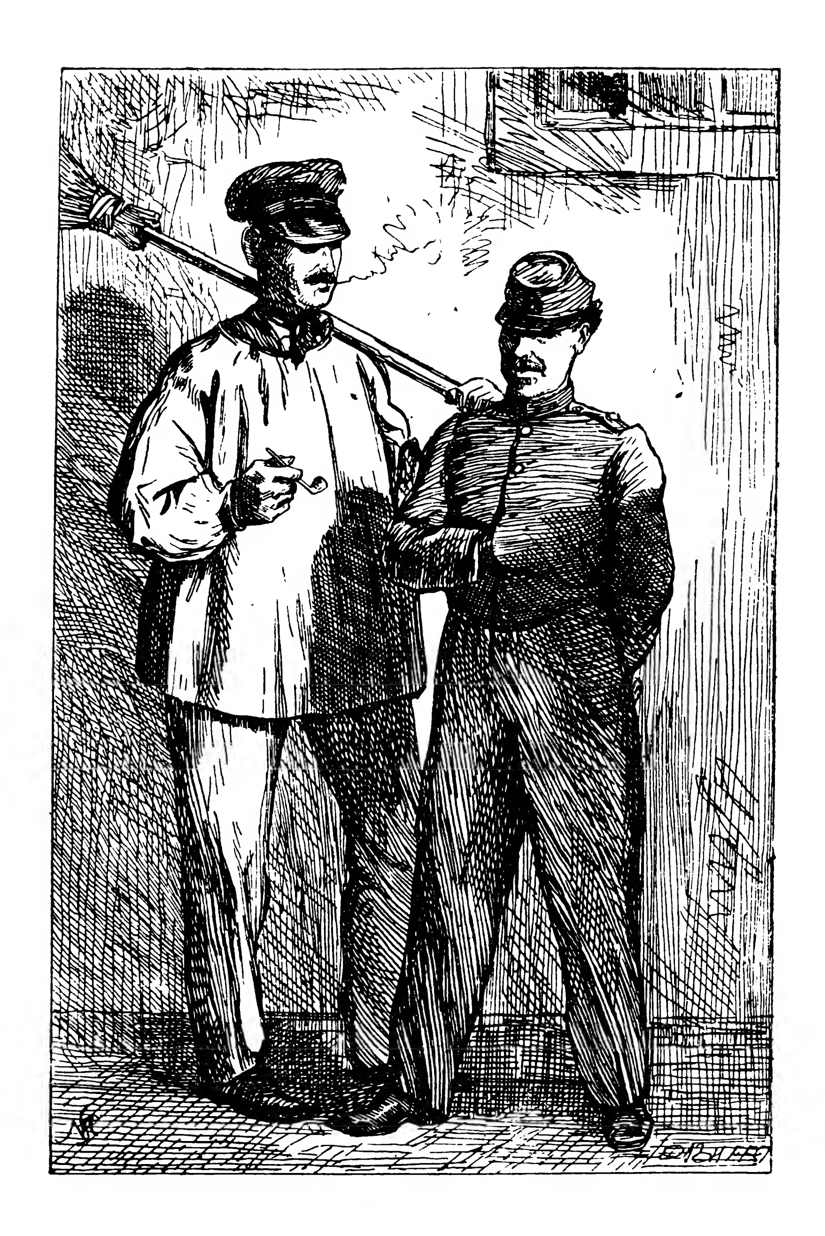
[1] Привратник папского дворца *(франц.)*.

делывала указательным пальцем таинственные колдовские движения и шла крадучись, оглядываясь и корча устрашающие гримасы, которые могли бы обеспечить ей почетное место среди бредовых видений горячечного больного.

Пройдя по двору мимо скучающих солдат, мы свернули в ворота, которые наш домовой в юбке отпер одним из своих ключей и тотчас же снова запер за нами. Мы вошли в узкий двор, к тому же еще заваленный упавшими сверху камнями и грудами мусора. Этим мусором было завалено и отверстие подземного хода, некогда ведшего (по крайней мере так утверждают) в замок на том берегу Роны. Рядом с этим двором находится подземелье — мы оказались в нем уже через минуту,— расположенное в жуткой башне, башне-тюрьме, где был заключен Риенци *, прикованный железною цепью к той самой стене, что стоит и поныне; но только он не видел над собой неба, которое теперь видно сквозь пролом наверху. Несколько ступеней привели нас в cachots [1], где инквизиция содержала заключенных в течение первых двух суток, не давая им есть и пить, чтобы сломить их упорство еще прежде, чем они предстанут перед угрюмыми судьями. Сюда солнечный свет не добрался и поныне. Это — крошечные клетушки, запертые четырьмя неумолимыми, глухими, толстыми стенами, погруженные в полную тьму и огражденные от внешнего мира тяжелыми дверями с засовами и замками — как прежде. Наш домовой, непрерывно оглядываясь — я говорил уже об этой ее особенности — и неслышно ступая, прошла в сводчатый зал, где теперь — склад, а некогда была часовня святой инквизиции. Помоста для заседаний трибунала здесь больше не было, но казалось, что он убран только вчера. Представьте себе притчу о добром самаритянине, изображенную на стене судилища инквизиции! А между тем она была тут нарисована, и до сих пор картина ясно видна.

В верхней части этой стены, имевшей глаза и уши, устроены ниши для писцов, которые записывали сбивчивые показания обвиняемых. Многих из этих несчастных

[1] Тесные тюремные камеры-одиночки *(франц.)*.



приводили сюда из той самой каменной клетки, в которую мы только что заглянули и которая произвела на нас такое жуткое впечатление. Они шли тем же мощеным коридором, и мы ступали по их следам.

Я озирался вокруг, охваченный ужасом, внушаемым этим местом, как вдруг наш домовой, приложив к губам не сухой, тощий палец, но всю связку ключей, порывисто хватает меня за руку. Резким рывком она увлекает меня за собой. Я повинуюсь. Мы проходим в смежное помещение — мрачный зал с постепенно сужающимся, как дымоход, потолком, с верхушки которого льется яркий солнечный свет. Я спрашиваю ее, где мы. Она складывает на груди руки, устремляет на меня искоса страшный взгляд и таращит глаза. Я спрашиваю ее еще раз. Она оборачивается, чтобы убедиться, что наша маленькая компания в сборе; присаживается на груду камней и вопит, как сам сатана: «La salle de la question!» [1].

Зал пыток! И потолку придана такая форма, чтобы заглушать крики жертв! О домовой, домовой, дай нам молча пораздумать над этим! Тише, домовой, тише, посиди хоть пять минут на своей груде камней, сложив короткие ручки на коленях коротких ног, а затем вспыхивай себе снова!

Минут? Дворцовые часы не успели отсчитать и секунд, а наш домовой уже вскочил, сверкая глазами, вмиг оказался посредине зала и, размахивая смуглыми руками, показывал, как вертелось страшное колесо. «Вот как оно вертелось!» — кричит домовой. Тук, тук тук! Непрерывно действуют тяжелые молоты. Тук, тук, тук! Они обрушиваются на руки и ноги страдальца. «Взгляните на это каменное корыто! — выкрикивает она.— Это для пыток водой!» Лейся, журчи, раздувай, рви тело мученика во славу нашего искупителя! Соси, еретик, кровавую тряпку! С каждым своим вздохом давись кровавою жижей, всасывай ее в свое поганое тело! И когда, пропитанная сокровенными соками образа и подобия божьего, она будет, наконец, извлечена палачом изо рта твоего, признай нас избранными слугами господа, глубоко чтящими Нагорную проповедь, верными учениками того,

[1] Помещение для допросов *(франц.)*.

кто творил одни только чудеса исцеления, кто никогда не поражал человека параличом, слепотой, глухотой, немотой, безумием или каким-либо другим бичом человечества и протягивал свою благословенную руку только затем, чтобы подать помощь и облегчение.

. . Смотрите, кричит наш домовой, смотрите, здесь был горн. Здесь раскаляли щипцы. В эти углубления вставлялся заостренный на концах шест, к которому подвязывали пытаемых, и они корчились на весу у потолка. «А приходилось ли monsieur,— шепчет мне на ухо домовой,— слышать об этой башне? Да? Тогда пусть monsieur взглянет вниз!»

Струя холодного воздуха, несущая с собой запах сырой земли, ударяет в лицо monsieur, ибо домовой успел, уже обращаясь к нему с вопросом, открыть дверцу люка в стене. Monsieur заглядывает в него. Он смотрит вниз, смотрит вверх, видит основание и вершину круто вздымающейся, темной, высокой башни. Палач инквизиции, сообщает между тем домовой, тоже высовываясь в люк, бросал туда тех, кто не выдерживал пытки. «Видите, monsieur, темные пятна на стене?» Достаточно оглянуться на домового, чтобы по направлению ее горящего взгляда найти эти пятна — даже без помощи указующего ключа. «Что же это такое?» — «Кровь!»

В октябре 1791 года, в наиболее бурный для Авиньона момент революции, тут было убито шестьдесят человек — мужчин и женщин («И священников,— говорит наш домовой,— да, да, священников!»). Мертвых и умирающих сбросили в этот ужасный колодец и засыпали негашеною известью. Страшные улики этой резни вскоре бесследно исчезли. Но пока хоть один камень крепкого здания, где свершилось это черное дело, покоится на другом, воспоминание о несчастных будет жить в памяти человеческой с такой же отчетливостью, с какою и посейчас еще видны на стене брызги их крови.

Не было ли предусмотрено великим планом Возмездия, чтобы эта жестокость была совершена именно здесь; чтобы злодеяния и чудовищные установления, посредством которых на протяжении стольких лет тщились изменить человеческую природу, именно здесь сослужили свою последнюю службу, соблазнив людей готовыми спо-

собами удовлетворения их звериной ярости; чтобы именно здесь люди смогли проявить себя в разгар своего безумия нисколько не хуже, чем величественное, мрачное и законное учреждение на вершине своего могущества? Нисколько не хуже! Напротив, неизмеримо лучше! Они использовали Башню Забытых во имя Свободы, как они ее понимали, то есть земного создания, взращенного в грязи казематов и рвов Бастилии и невольно изобличающего свое низкое происхождение,— а ведь Инквизиция пользовалась тою же башней во имя неба.

Палец домового вновь поднят вверх, и она, все так же крадучись, проходит в часовню святой инквизиции. Там она останавливается у одной из плит, которыми выложен пол. Это — главный номер ее программы. Она ждет, пока все окажутся в сборе. Она мечет на Бравого курьера, который что-то объясняет, испепеляющий взгляд; она звонко ударяет его по шляпе самым большим из своих ключей и призывает его к молчанию. Она собирает нас вокруг небольшого люка в полу, и мы стоим там, как над могилой. «Voilà» [1]. Она с быстротой молнии склоняется над кольцом, укрепленным на дверце, и, взявшись за него со всей энергией домового, с грохотом распахивает ее, хоть она и немало весит: «Voilà les oubliettes! Voilà les oubliettes»! [2] Подземные! Жуткие! Темные! Страшные! Неумолимые! Les oubliettes de l'inquisition! [3]

Кровь застыла у меня в жилах, когда, отведя глаза от нашего домового, я заглянул вниз, под своды, где забытые люди, мучимые воспоминаниями о внешнем мире — о женах, детях, братьях, друзьях,— умирали голодною смертью и где только камни отзывались на их безнадежные стоны. Но волнение, которое я ощутил, глядя на проклятую стену — обрушенную и проломанную — и на солнечный свет, проникавший в ее разверстые раны, было радостным волнением победителя. Я радовался и гордился, что живу в наши измельчавшие времена и могу видеть все это. Я чувствовал себя как герой, свершивший

---

[1] Вот *(франц.)*.

[2] Вот!.. Вот темницы пожизненно заключенных! *(франц.)*

[3] Вот темницы судилища инквизиции! *(франц.)*

великий подвиг. Солнечный свет под скорбными сводами был символом света, озарившего и разоблачившего всяческие преследования во имя господне, но все еще не достигшего своей полуденной силы. Даже слепцу, только что прозревшему, он не мог бы показаться прекраснее, чем он кажется путешественнику, видящему, как он спокойно и величаво рассеивает мрак этого адского колодца.

Из Авиньона в Геную

Показав нам темницы, домовой в юбке почувствовал, что ее главный coup[1] нанесен. Она отпустила упавшую с грохотом дверцу и стала на ней, уперев руки в бока и громко сопя.

По окончании осмотра дворца, желая купить у нее краткую историю здания, я прошел вместе с ней до ее жилища, расположенного в проезде под внешними воротами крепости. Ее кабачок — темное, низкое помещение, освещенное маленькими оконцами, пробитыми в толстой стене; царивший в нем полумрак; очаг, похожий на кузнечный горн, стойка, уставленная бутылками, графинами и стаканами; домашняя утварь и одежда, развешанные по стенам, а у дверей степенная женщина с вязаньем — то-то, надо полагать, беспокойно ей живется с нашим домовым,— все было как на картине Остаде *.

Я обошел здание снаружи, все еще пребывая как во сне, но вместе с тем с радостью чувствуя, что страшный сон окончился,— и уверенность в этом мне внушил солнечный свет под сводами. Невиданная толщина и головокружительная высота стен, невероятная прочность и массивность башен, огромная протяженность здания, его гигантские размеры, его мрачный облик и варварская ассиметричность поражают и устрашают. Вспоминая, чем только оно не было в старину: неприступной крепостью, роскошным дворцом, ужасной тюрьмой, застенком

---

[1] Удар *(франц.)*.

и судилищем инквизиции — в одно и то же время домом празднеств, битвы, молитв и пыток,— проникаешься мучительным интересом к каждому камню, из которых сложена эта громада, и начинаешь по-новому объяснять себе ее несуразность. Впрочем, и тогда и значительно позже я думал только о солнце, проникшем в его подземелья. В том, что дворец превращен в жилище шумных солдат, что под сводами его раздается их грубая речь и привычная брань, а на его грязных окнах вывешена для просушки их одежда,— во всем этом было некоторое умаление его былого величия, но также и нечто радовавшее душу. Но дневной свет в его каменных клетках, ясное небо над его застенками — вот где подлинное его поражение и унижение. Если б я увидел его объятым пожаром от рвов до зубцов его стен, то и тогда бы я знал, что никакой огонь не может произвести в нем такого опустошения, какое произвел солнечный свет в его темницах и в секретных помещениях инквизиции.

Прежде чем покинуть папский дворец, позвольте перевести отрывок из той краткой его истории, о которой я только что упоминал,— небольшой анекдот, тесно связанный с ним и имеющий прямое отношение к его судьбам.

«Старинное предание повествует, что в 1441 году племянник папского легата Пьера де Люд жестоко оскорбил нескольких знатных дам Авиньона, родственники которых в отместку напали на юношу и безжалостно его изувечили. В течение многих лет легат вынашивал мысль о мести и был непоколебимо уверен, что когда-нибудь все-таки насладится ею. С течением времени он первый сделал шаги к полному примирению и, когда поверили в его притворную искренность, устроил в этом самом дворце роскошное пиршество, пригласив на него некоторые семьи — целые семьи, которые решил уничтожить. На этом празднестве царило ничем не омрачаемое веселье, но меры легата были отлично продуманы. Когда был подан десерт, к легату подошел швейцарец-телохранитель и сообщил, что один из иностранных послов испрашивает у него срочную аудиенцию. Легат, извинившись перед гостями, удалился в сопровождении свиты. Через несколько минут после этого пятьсот человек были превра-

щены в пепел. Страшный взрыв поднял на воздух целое крыло здания».

Осмотрев церкви (я не стану на этот раз докучать вам церквами), мы в тот же день после полудня покинули Авиньон. Жара была невыносимая, и дороги за пределами городских стен были усеяны спящими, которые спали всюду, где была хоть крошечная полоска тени, а также праздными кучками полусонных, полубодрствующих, ожидавших, когда же солнце опустится, наконец, достаточно низко, чтобы они могли поиграть в шары между выжженных зноем деревьев и на пыльной дороге. Урожай был почти полностью убран, и мулы и лошади молотили хлеб на гумнах. С наступлением сумерек мы оказались в дикой, холмистой местности, некогда славившейся разбойниками, и медленно тащились по крутому подъему. Так мы ехали до одиннадцати часов вечера, пока не остановились на ночлег в городе Эксе (два перегона от Марселя).

На следующее утро мы обнаружили, что наша гостиница удобна и даже прохладна благодаря наглухо опущенным шторам и ставням, ограждавшим нас от наружного света и зноя; да и город был очень опрятен. Но было так знойно и солнце сияло так ярко, что, выйдя в полдень на улицу, я испытал ощущения человека, внезапно попавшего из полутемной комнаты в голубые языки греческого огня. Даль была настолько прозрачна, что казалось, будто до холмов и скалистых вершин всего какой-нибудь час ходьбы, а город, заслоненный от меня голубоватою дымкой, был раскален, как мне чудилось, добела и отражал от своей поверхности пышущий жаром воздух.

Мы покинули Экс под вечер и направились по дороге в Марсель. До чего же пыльной была эта дорога! Дома стояли с наглухо закрытыми ставнями, виноградники были точно напудрены. У порога почти каждой хижины женщины с глиняными мисками на коленях чистили и крошили лук к ужину. Этим делом они были заняты и накануне вечером, когда мы ехали из Авиньона. Мы миновали два-три укрытых в тени сумрачных замка, окруженных деревьями и прохладными водоемами. Смотреть на них было тем приятнее, что подобных поместий нам до тех пор попадалось немного. Подъезжая к Марселю, мы

стали встречать на дороге множество празднично одетых людей. Возле таверн группы людей курили, выпивали, играли в карты и шашки, а один раз мы видели и танцующих. Но повсюду пыль, пыль и пыль. Затем мы проехали по бесконечному грязному и кишевшему народом предместью. Слева от нас подымался унылый склон, на котором, громоздясь друг на друга без малейших признаков какого-нибудь порядка, толпились ослепительно белые загородные дома марсельских негоциантов, обращенные передними, боковыми и задними фасадами на все четыре стороны света. И вот, наконец, мы въехали в город.

Я побывал в нем раза два-три и впоследствии — и в хорошую погоду и в слякоть — и могу утверждать с уверенностью, что это грязное и неприятное место. Но вид с укрепленных высот на прекрасное Средиземное море с его живописными скалами и островами — просто восхитителен. Эти высоты — желанный приют, и притом по причинам менее всего эстетического порядка: сюда можно бежать от отвратительных запахов, непрестанно подымающихся над обширною гаванью, полной стоячей воды и загрязняемой отбросами с бесчисленных кораблей с самыми различными грузами — что в жаркие дни совершенно нестерпимо.

На улицах толпились иностранные моряки, представители всех стран и народов, в красных рубашках, синих рубашках, светло-коричневых рубашках, темно-коричневых рубашках и рубашках оранжевого цвета; в красных беретах, синих беретах, зеленых беретах; с длинными бородами и вовсе без бороды; в турецких тюрбанах, клеенчатых английских шляпах и неаполитанских головных уборах. Были тут и горожане, которые сидели кучками на тротуарах, или проветривались на крышах своих домов, или шагали взад и вперед по самому тесному и душному из бульваров. Слонялись тут, кроме того, и целые ватаги подозрительных личностей, которые с наглым видом то и дело преграждали нам путь. На самом шумном месте стоял городской сумасшедший дом — низкое, покосившееся, убогое здание, выходящее безо всякой ограды или двора прямо на улицу. Через ржавые решетки на окнах выглядывали сумасшедшие обоего пола и несли какую-то чушь, обращаясь к глазевшим на них снизу зевакам;

а солнце, пронизывая их крошечные клетушки косыми, но все еще безжалостными лучами, казалось иссушало их мозги и причиняло им такие терзания, точно их травили собаками.

Мы недурно устроились в гостинице «Рай», расположенной на узкой улице с высоченными домами. Напротив нас была парикмахерская, где в одной из витрин красовались две восковые дамы в натуральную величину, непрерывно кружившиеся на месте; это настолько пленяло самого парикмахера, что и он и его семейство, в легком домашнем платье, восседали в креслах на тротуаре и с ленивым достоинством наслаждались восхищением и похвалами прохожих. Парикмахерское семейство отправилось на покой одновременно с нами, то есть в полночь, но сам парикмахер, дородный мужчина в суконных домашних туфлях, все еще сидел, вытянув перед собой ноги, у своего заведения и никак, видимо, не решался затворить ставни.

На следующий день мы отправились в гавань, где матросы всех наций разгружали или грузили всевозможные товары: фрукты, вина, оливковое масло, шелк, бархат и все, что может быть предметом торговли. Наняв одну из бесчисленных юрких лодочек с веселым полосатым навесом, мы поплыли под кормой больших кораблей, под буксирными канатами и цепями, навстречу другим лодкам и очень часто чрезмерно близко к судам, от которых пахло апельсинами, пробираясь к «Марии-Антуанетте», нарядному пароходу, готовому к отплытию в Геную и стоявшему в дальнем конце гавани, близ выхода из нее. Вскоре и наша карета, этот громоздкий «пустячок из Пантехникона», погруженная на плоскодонную баржу и толкавшая все и всех, вызывая бесчисленные проклятия и выразительнейшие гримасы, неуклюже уткнулась в борт парохода, и в пять часов вечера мы вышли в открытое море. Пароход сиял чистотой; обед был подан под навесом на палубе; вечер был ясным и спокойным, море и небо — невыразимо прекрасны.

Ранним утром мы миновали Ниццу и весь день плыли вдоль побережья, всего в нескольких милях от дороги, называемой Карнизом, о которой будет подробнее сказано дальше. Уже к трем часам пополудни показалась

Генуя; мы следим, как постепенно возникает из воды роскошный ее амфитеатр, как терраса поднимается над террасой, сад над садом, дворец над дворцом, возвышенность над возвышенностью, это занятие поглотило все наше время, пока мы не вошли, наконец, в ее великолепную гавань. Подивившись на капуцинов, наблюдавших на набережной за тем, чтобы правильно отвешивались дрова, мы выехали в Альбаро, до которого было две мили и где мы заранее сняли дом.

Наш путь проходил по главным улицам, но в тот раз мы не видели ни Страда Нуова, ни Страда Бальби — прославленных улиц, застроенных почти сплошь дворцами. Никогда в жизни не бывал я еще в такой мере сбит с толку. Поразительная новизна всего представшего предо мной, непривычные запахи, неописуемая грязь (хотя Генуя и считается самым чистым из городов Италии); беспорядочное нагромождение грязных домов — один на крыше другого; переулки еще теснее и неопрятнее, чем в Сент-Джайлсе[1] или старом Париже, из которых, однако, появляются не жалкие оборванцы, но нарядные женщины в белых мантильях и с большими веерами; отсутствие всякого сходства между тем, что я видел когда-либо прежде и здешними жилыми домами, стенами, тумбами и опорами крытых аркад, а также удручающее зловоние, неустроенность и запущенность ошеломили меня. Я впал в мрачное уныние. Вспоминаю, что предо мной, словно в лихорадочном и диком бреду мелькали на перекрестках алтари святых и мадонны, множество монахов различных орденов и солдат, огромные красные занавеси в дверях церквей; помню, что мы поднимались все время вверх, и всякая новая улица или проезд вели все выше и выше; что я видел лотки с фруктами, над которыми висели вплетенные в гирлянды из виноградных листьев свежие лимоны и апельсины, кордегардию, подъемный мост и какие-то ворота, продавцов воды со льдом, рассевшихся со своими подносами на краю канавы,— и это все, что мне запомнилось, пока меня не доставили в запущенный, угрюмый, заросший сорной травою сад к какому-то розовому зданию тюремного вида и не сказали, что это — мой дом.

В тот день я едва ли предполагал, что когда-нибудь

полюблю самые камни на улицах Генуи и буду вспоминать этот город, в котором провел долгие часы покоя и счастья, с чувством нежной привязанности. Но таковы были мои первые впечатления, и я честно поведал о них; о том, какие изменения они претерпели впоследствии, я расскажу ниже. А теперь, после столь долгого и утомительного путешествия, давайте переведем дух.

Генуя и ее окрестности

Я хорошо понимаю, что первые впечатления от такого места как пригород Генуи Альбаро, в котором, по выражению моих американских друзей, я сейчас «квартирую», едва ли могут не быть мрачными и разочаровывающими. Нужны известное время и привычка, чтобы преодолеть чувство подавленности при виде стольких развалин и подобной запущенности. Новизна, большинством людей воспринимаемая как нечто приятное, пленяет меня, я полагаю, как никого. Имея возможность предаваться своим фантазиям и занятиям, я нелегко поддаюсь унынию; к тому же, я, по-видимому, наделен врожденным уменьем приспосабливаться к окружающим обстоятельствам. И все же, бродя по окрестностям и заглядывая во все дыры и закоулки, я до сих пор пребываю в состоянии растерянности и, возвращаясь к себе на виллу — виллу Баньярелло (это звучит романтически, но синьор Баньярелло всего лишь соседний мясник), я бываю поглощен вплоть до следующего своего похода обдумыванием новых впечатлений и сопоставлением их — что начало забавлять меня — с моими надеждами и ожиданиями.

Вилла Баньярелло, или Розовая тюрьма — более выразительное название для моего обиталища,— расположена как нельзя лучше. Благородный Генуэзский залив и темно-синее Средиземное море простираются у наших ног; повсюду виднеются огромные старые, заброшенные дома и дворцы; слева нависают высокие холмы, вершины которых зачастую скрываются в облаках, с грозными укреплениями, венчающими их обрывистые края; а впереди, от самых стен дома до разрушенной часовни, стоя-

щей на крутых и живописных береговых скалах, расстилаются зеленые виноградники, где вы можете бродить целыми днями в полутени лоз, вьющихся на неуклюжих шпалерах.

К этому уединенному месту можно добраться лишь узкими переулками — настолько узкими, что в таможне нас поджидали люди, смерившие наиболее узкий из них, чтобы сравнить свою мерку с шириной нашей кареты. Эта церемония была с превеликою важностью выполнена на улице в нашем присутствии, и мы, затаив дыхание, наблюдали за ней. Выяснилось, что карета сможет проехать, хотя и с большим трудом; об этом мне ежедневно напоминают многочисленные и довольно большие дыры, выдавленные ею на стенах по обеим сторонам переулка. Говорят, что мы оказались счастливее некоей пожилой дамы, которая недавно сняла поблизости дом и накрепко застряла в своей карете посреди одного из таких переулков; так как не было ни малейшей возможности открыть дверцу, даме пришлось претерпеть бесчестие и дать извлечь себя, словно какого-нибудь арлекина, через одно из крошечных передних окошек.

Миновав узкие переулки, вы окажетесь перед аркой, неполностью перегороженной старыми проржавленными воротами,— это и есть мои ворота. Проржавленные ворота снабжены столь же ржавой ручкой от колокольчика, но дергайте ее сколько угодно: никто не отзовется, так как между нею и домом нарушена всякая связь. Но тут есть еще старый, проржавленный дверной молоток, настолько расшатанный, что вертится у вас под рукой, но если вы освоитесь с ним и будете стучать достаточно долго, кто-нибудь в конце концов все-таки явится. Явится Бравый курьер и впустит вас. Вы попадаете в жалкий, одичавший и заросший сорной травой маленький садик, за которым начинаются виноградники; пройдя через садик, входите в квадратный, похожий на погреб, вестибюль и поднимаетесь по полуразрушенной мраморной лестнице в огромную комнату со сводчатым потолком и выбеленными стенами, не лишенную сходства с методистской часовней. Это зал. В нем пять окон и пять дверей, и он украшен картинами, способными порадовать сердца тех лондонских реставраторов, которые пользуются в ка-



честве вывески наполовину отмытой картиной, разделенной пополам, как изображение Красавицы и Смерти в лубочном издании известной старой баллады, так что не поймешь — отмыл ли искусный мастер одну половину или, наоборот, закоптил другую. Мебель в этом зале обита красной парчой. Кресла здесь таковы, что сдвинуть их с места решительно невозможно, а диван весит несколько тонн.

На этом же этаже, примыкая к залу, находятся также столовая, гостиная и несколько спален, каждая — с бесчисленными дверями и окнами. Этажом выше расположено еще несколько мрачных комнат и кухня; внизу — вторая кухня с разными диковинными приспособлениями для сжигания древесного угля, похожая на лабораторию алхимика; кроме того насчитывается еще добрых полдюжины маленьких комнаток, где в этот знойный июль слуги могут отдохнуть от кухонного жара и где Бравый курьер играет весь вечер на различных музыкальных инструментах собственного изготовления. В общем, это — громадный, старый, неприкаянный, населенный привидениями, гулкий, мрачный и пустой дом, каких я никогда прежде не видел и даже не рисовал в своем воображении.

Из гостиной можно попасть на небольшую, увитую виноградом террасу; прямо под этой террасой, образуя одну из стен садика, находится бывшая конюшня. Теперь это коровник, и в нем три коровы, так что свежего молока у нас хоть отбавляй. Никакого пастбища поблизости нет, и коровы никогда не выходят на воздух, а все время лежат в коровнике и насыщаются виноградными листьями, проводя весь день — настоящие итальянские коровы — в dolce far'niente [1]. За ними присматривают и спят вместе с ними старик, по имени Антоньо, и его сын — оба местные жители с загаром цвета жженой сиены *, с голыми по колено ногами и босые; на каждом из них рубашка, короткие штаны и красный шарф, а на шее не то священные реликвии, не то амулеты, похожие на леденцы с крещенского пирога. Старик жаждет обратить меня в католичество и частенько мне проповедует. Мы иногда

---

[1] Сладостном ничегонеделании *(итал.)*.

сидим вечерком на камне у двери — как Робинзон Крузо и Пятница, поменявшиеся ролями,— и он, в целях моего обращения, вкратце рассказывает историю св. Петра, главным образом, я полагаю, из-за неизъяснимого удовольствия, которое доставляет ему подражание петуху *.

Вид из нашего дома, как я говорил, восхитительный; но весь день приходится держать жалюзи закрытыми, иначе солнце может свести с ума; а когда зайдет солнце, приходится наглухо закрывать окна, иначе москиты могут вас довести до самоубийства. Так что в это время года не очень-то удается наслаждаться окрестным пейзажем, не выходя из дому. Что касается мух, то на них вы не обращаете никакого внимания; то же можно сказать и о блохах, хотя они чудовищного размера и имя им — легион, и они населяют каретный сарай в таких несметных количествах, что каждый день я ожидаю увидеть, как оттуда торжественно выкатывается наша карета, которую усердно тащат мириады блох в упряжи. От крыс нас спасают десятки тощих котов, которые рыщут по саду. Ящерицы, конечно, никого не пугают; они резвятся на солнце и не кусаются. Маленькие скорпионы проявляют вполне невинное любопытство. Жуки немного запаздывают, и их пока не заметно. Лягушки служат тут развлечением. Их питомник находится по соседству, и с наступлением сумерек кажется, будто вереницы женщин шлепают деревянными калошами по влажной каменной мостовой. Таков в точности шум, подымаемый ими.

Разрушенная часовня, стоящая в прекрасном и живописном месте на берегу моря, была некогда часовней св. Иоанна Крестителя. Кажется, существует поверье, что кости св. Иоанна после того, как их доставили в Геную — они и поныне находятся там,— были торжественно помещены именно в этой часовне. Когда на море разражается особенно сильная буря, их выносят и выставляют наружу, и буря тотчас стихает. По причине этих связей св. Иоанна с городом, большое число простолюдинов получает при крещении имя Джованни-Батиста *, причем в генуэзском говоре вторая часть этого имени произносится «Бачича», что очень похоже на звук, издаваемый при чихании. И слышать, как в воскресенье или в какой-нибудь праздник, когда на улицах полно народу, всякий

зовет другого Бачичей,— удивительно и забавно для иностранца.

В узкие переулки выходят обширные виллы, стены которых (я имею в виду наружные) щедро расписаны всевозможными мрачными сценами из священного писания. Но время и морской воздух стерли их почти начисто, и сейчас эти стены выглядят как вход в сады лондонского Воксхолла * в солнечный день. Дворы домов густо заросли травой. Всевозможные отвратительного вида пятна испещряют цоколи статуй, и кажется, будто они поражены какой-то накожной болезнью. Наружные ворота проржавели, и все железные решетки на окнах нижнего этажа едва держатся и вот-вот выпадут. В залах, где могли бы храниться сокровища, навалены кучи дров; каскады заглохли и высохли; фонтаны, слишком вялые, чтобы играть, и слишком ленивые, чтобы работать, все-таки сохраняют кое-какие воспоминания о том, чем они были когда-то, и погруженные в сон исподволь заболачивают окрестности; и нередко на все это по нескольку дней подряд дует сирокко, дышащий жаром, как гигантская печь, совершающая прогулку.

Недавно здесь праздновали день матери девы Марии. Местные юноши, надев на себя зеленые венки из виноградной лозы, прошли какой-то процессией и затем купались в таком виде целой гурьбой. Это было необычное и красивое зрелище. Должен, впрочем, признаться, что, не зная тогда о празднике, я решил — и был вполне удовлетворен своею догадкой,— что они надели эти венки для того же, для чего их надевают на лошадей, а именно, ради защиты от мух.

Вскоре был еще один праздник, день некоего св. Надзаро. Один из молодых людей Альбаро, явившись вскоре после первого завтрака с двумя большими букетами, поднялся в наш зал и собственноручно поднес их нам. Это был способ собирать взносы на музыку в честь названного святого; мы вручили его посланнику некую толику денег, и он удалился, чрезвычайно довольный. В шесть часов вечера мы отправились в церковь — совсем рядом с нами, очень нарядную и сплошь увешанную гирляндами и яркими драпировками; от алтаря и до главного входа она была заполнена сидящими женщинами.

Здесь не носят шляпок, довольствуясь длинными белыми покрывалами — mezzero; и такой бесплотной и воздушной паствы я никогда еще не видел. Местные девушки, вообще говоря, не так уж красивы, но в их поразительно плавной походке, в манере держаться и заворачиваться в свое покрывало много врожденного изящества и благородства. Присутствовали тут и мужчины, но в небольшом числе, причем некоторые из них стояли на коленях в приделах, так что всякий спотыкался о них. В церкви горели бесчисленные свечи, и кусочки серебра и олова на образах (и особенно в ожерелье мадонны) сверкали ослепительным блеском; священники сидели у главного алтаря; громко играл орган, а также оркестр; в небольшой галерее напротив оркестра регент колотил нотным свитком по стоявшему перед ним пюпитру, а безголосый тенор силился петь. Оркестр гнул свою линию, органист — свою, певец избрал для себя третью, а несчастный регент все стучал, стучал и размахивал своим свитком, по-видимому довольный общим звучанием. Никогда еще я не слышал подобной разноголосицы. К тому же стояла нестерпимая духота.

У самой церкви мужчины в красных шапочках и с накинутыми на плечи куртками (они никогда не надевают их в рукава) играли в шары и раскупали всевозможные сласти. Окончив партию, они входили группами в церковный придел, кропили себя святою водой, опускались на мгновение на колено и тотчас же снова выходили сыграть еще партию. Они поразительно наловчились и играют где придется — в каменистых переулках, на улицах и на самой неровной и неблагоприятной для этого занятия почве с такою же ловкостью, как на бильярдном столе. Но самая излюбленная игра — это национальная «мора», которой они предаются с неистовым пылом и ради которой готовы рисковать всем, что имеют. Это чрезвычайно азартная игра, для которой требуются десять пальцев и ничего больше, а они — я не собирался отпустить каламбур — всегда под рукой.

Играют двое. Один из них называет какое-нибудь число, например наивысшее — десять. Одновременно тремя, четырьмя или пятью пальцами он обозначает, какую долю его он берет на себя; второй игрок, наугад, не

видя руки партнера, должен в свою очередь показать столько пальцев, чтобы числа, обозначенные обоими игроками, составили в сумме названное первоначально. Их глаза и руки до того наловчились, и они проделывают это с такой невероятною быстротой, что непосвященному наблюдателю почти невозможно уследить за ходом игры. Но посвященные, которые всегда тут как тут, с жадным вниманием следят за игрой. И так как зрители неизменно готовы примкнуть в случае спора к той или другой стороне и часто разделяются на враждебные партии, здесь нередко поднимается неистовый крик. Да и сама игра никоим образом не может быть названа тихой, так как числа выкликаются пронзительно-резкими голосами, и притом так стремительно сыплются одно за другим, что еще немного, и их было бы не учесть. В праздничный вечер, стоя у окна, или прогуливаясь в саду, или даже бродя где-нибудь в пустынных местах, вы слышите, как в эту игру играют сразу во множестве кабачков, и, взглянув поверх кустов винограда или обогнув какой-нибудь угол, обязательно обнаружите кучку отчаянно горланящих игроков. Замечено, что у большинства людей существует явная склонность называть иные числа чаще других; и наблюдать настороженность, с которою два зорких партнера изучают друг друга, чтобы обнаружить в противнике эту слабость и приспособиться к ней, весьма любопытно и занимательно. Эффекту, производимому этой игрой, в немалой мере способствует внезапность и порывистость жестикуляции; играющие ставят по полфартинга с такой страстностью, как если б ставкою была их жизнь.

Невдалеке от нас находится просторный палаццо, некогда принадлежавший одному из представителей рода Бриньоле, а теперь сдаваемый на лето иезуитской коллегии. Как-то вечером перед заходом солнца я забрел в эти запущенные владения и некоторое время прохаживался взад и вперед, задумчиво рассматривая представшую передо мною картину, которая повторяется, впрочем, повсюду, куда бы вы ни направились.

Я прогуливался под колоннадою, образующей две стороны заросшего травою двора, тогда как дом образует третью, а невысокая терраса, с которой открывается вид



на сад и прилегающие холмы, четвертую его сторону. Двор был мощеный, но на нем не осталось, полагаю, ни одной целой плиты. В центре его стояла унылая статуя, до того испещренная трещинами и другими изъянами, что казалась оклеенной липким пластырем и затем припудренной. Конюшни, каретные сараи, службы — все было пусто, все разрушено, все заброшено.

Двери были без петель и держались на одних щеколдах; стекла выбиты, цветная штукатурка облупилась и лежала кучками возле стен; куры и кошки настолько завладели пристройками, что мне невольно вспомнились сказки о злых волшебниках, и, разглядывая всех этих тварей, я не мог удержаться от подозрения, уж не заколдованные ли это домочадцы и слуги, ожидающие, когда же их, наконец, расколдуют. Один старый кот, взлохмаченный, дикий, с голодным блеском в зеленых глазах (очевидно, какой-нибудь бедный родственник), все время вертелся вокруг меня, словно надеясь, что я — тот самый герой, которому суждено жениться на молодой госпоже и навести здесь порядок. Но обнаружив свое заблуждение, он внезапно угрюмо фыркнул и удалился, так грозно задрав хвост, что не мог пролезть в крошечную дыру, где обитал, и вынужден был выждать снаружи, пока не уляжется его негодование и вместе с ним — хвост.

В чем-то вроде беседки, расположенной внутри колоннады, обитали, подобно червям в орехе, несколько англичан, но иезуиты велели им выбраться, и они выбрались, и это помещение также теперь заколочено. Сам палаццо — какое-то неприкаянное, гулкое, похожее на огромную казарму строение с окнами первого этажа, заделанными, как обычно, решетками,— стоял с распахнутой настежь дверью, и я нисколько не сомневаюсь, что мог бы войти в него, отправиться спать и отправиться на тот свет, и никто бы об этом ничего не узнал. Лишь несколько комнат верхнего этажа были заселены, и оттуда, разносясь в безмолвии вечера, лился звонкий и сильный голос юной певицы, бойко разучивавшей бравурную арию.

Я сошел в сад, который, судя по всему, был когда-то затейливым и нарядным — с аллеями, террасами, апельсиновыми деревьями, статуями и каменными водоемами;

но все тут было незрелым, чахлым, одичавшим, недоросшим или, наоборот, переросшим, влажным, покрытым ржавчиной и грибками, и эта липкая плесень была единственным проявлением жизни. Во всей этой картине не было ничего светлого, кроме одного-единственного светлячка, казавшегося на фоне темных кустов последним отблеском былого великолепия; но и он то взлетал вверх, то стремглав несся вниз, вычерчивая неожиданные углы, срываясь вдруг с места и возвращаясь в ту же самую точку с такой судорожной стремительностью, точно разыскивал былое великолепие и дивился (и было чему дивиться, видит бог!), что же с ним сталось.

Прошло два месяца и смутные хаотические впечатления, подавлявшие меня вначале, стали привычными и реальными, и я начинаю думать, что через год, когда кончится мой длительный отдых и настанет пора уезжать, мне будет отнюдь не легко расстаться с Генуей.

Это — место, к которому привязываешься с каждым днем все больше. В нем всегда можно найти что-то новое. Здесь к вашим услугам самые невероятные переулки и закоулки, где можно бродить в свое удовольствие. Вам ничего не стоит, если вы того пожелаете, заблудиться раз двадцать за день (а какое это удовольствие, когда вам нечего делать!) и снова найти дорогу, сталкиваясь с самыми неожиданными и невообразимыми трудностями. Этот город полон контрастов. На каждом шагу пред вашими взорами предстает прекрасное, безобразное, жалкое, величественное, чарующее и отвратительное.

Кто хочет насладиться красотами ближайших окрестностей Генуи, тому следует взобраться в ясную погоду на Monte-Faccio * или хотя бы проехаться вокруг городских укреплений; последнее выполнить много проще. Нет ничего живописнее и прелестнее, чем вид на гавань и на долины двух рек Польчеверы и Бизаньо, открывающийся с высот, вдоль которых тянутся крепкие стены — точно Китайская стена в миниатюре. На одном из живописных отрезков этого маршрута находится превосходный образец настоящей генуэзской таверны, где посетитель

может хорошо угоститься настоящими генуэзскими кушаньями: тальярини, равиоли, немецкой чесночной колбасой, которую нарезают ломтиками и едят со свежими зелеными фигами; петушиными гребешками и бараньими почками, подаваемыми в изрубленном виде вместе с бараньей котлетою и печенкой; кусочками какой-то неведомой части телятины, свернутыми колечком, поджаренными и выложенными на большом блюде, как это делают с мелкой рыбешкой. В этих пригородных тратториях нередко потчуют французским, испанским или португальским вином, привозимым шкиперами небольших торговых судов. Его покупают по такой-то цене за бутылку, не спрашивая названия и не стараясь запомнить его, если оно и было указано продавцом, и делят всю партию на две половины, из которых одна получает ярлык шампанского, а другая — мадеры. Под этими общими рубриками объединяется множество вин самых различных букетов, достоинств, стран, возрастов и урожаев. Кривая их качества идет по меньшей мере вверх от холодного овсяного киселя до выдержанной марсалы, а оттуда обратно до яблочного чая.

Большинство улиц так узко, как только могут быть узки улицы, где людям (даже если они итальянцы) надо жить и передвигаться; это скорее проходы, местами расширяющиеся наподобие колодца — очевидно, чтобы было где вздохнуть. Дома чрезвычайно высоки, выкрашены во все мыслимые цвета и находятся на самых различных стадиях разорения, загрязненности и ветхости. Обычно их сдают целыми ярусами или этажами, как это принято в старых кварталах Эдинбурга и нередко в Париже. Тут очень мало дверей, выходящих на улицу; вестибюли считаются общественной собственностью, и умеренно предприимчивый мусорщик мог бы нажить состояние, очищая их время от времени от разного хлама. Поскольку экипажам на эти улицы не проникнуть, здесь широко пользуются портшезами, с позолотой или более скромными, которые можно нанять в различных местах.

Знать и дворянство держат изрядное число собственных портшезов, и по вечерам они снуют во всех направлениях, предшествуемые слугами с большими фонарями, сделанными из натянутого на каркас полотна. Портшезы

и фонари — законные преемники длинных верениц терпеливых и нещадно избиваемых мулов, проходящих весь день, позвякивая бубенчиками, по этим тесным улицам. Первые сменяют вторых с такою же регулярностью, с какою звезды сменяют солнце.

Смогу ли я когда-нибудь забыть улицы дворцов — Страда Нуова и Бальби! Особенно Страда Нуова в летний солнечный день, когда я впервые увидел ее под самым ярким и самым синим, какое только бывает, летним безоблачным небом, которое в просвете между громадами зданий имело вид узенькой драгоценной полоски яркого света, смотревшей вниз, в густую непроглядную тень. Этот яркий свет, если разобраться как следует, не такая уж обычная для Генуи вещь, ибо, говоря по правде, небо тут было синим не более восьми раз за столько же недель в разгар лета, если не считать ранних утренних часов; тогда, смотря на море, я видел воду и твердь небесную слитыми в одну нераздельную густую и сверкающую синеву. В прочее время облаков и туманной дымки было достаточно, чтобы заставить ворчать англичанина даже на его собственном острове.

Бесконечные детали этих роскошных дворцов — некоторые из них увешаны внутри шедеврами Ван Дейка,— большие тяжелые каменные балконы, один над другим и ярус над ярусом, а местами какой-нибудь больше других — целая мраморная платформа,— громоздится выше всех. Вестибюли без дверей, заделанные прочными решетками окна нижнего этажа, огромные парадные лестницы, могучие мраморные опоры, монументальные, похожие на крепостные ворота арки и мрачные, гулкие сводчатые комнаты, среди которых теряется взгляд — ибо за одним дворцом возникает другой,— а между ними, на высоких уступах, на двадцать, тридцать и сорок футов выше улицы, сады с зелеными арками, увитыми виноградом, рощи апельсиновых деревьев, краснеющий олеандр в цвету — вестибюли с отставшей и осыпавшейся штукатуркой, с заплесневелыми углами, но еще блистающие яркими красками.

Там, где стены не отсырели,— поблекшая наружная роспись, все эти фигуры с венками и гирляндами, летящие вверх или вниз, или стоящие в нишах, местами

совсем вылинявшие и едва различимые рядом со свежими купидонами какого-нибудь недавно отделанного фасада, которые держат нечто похожее на одеяло, а на самом деле — циферблат солнечных часов; круто идущие в гору улочки с дворцами меньших размеров (но все-таки очень большими), где мраморные террасы нависают над тесными закоулками; бессчисленные, блистающие великолепием церкви; а потом внезапный переход от величавых зданий к самым гнусным трущобам, где стоит зловоние, кишат полуголые дети, толпятся люди в грязных лохмотьях — все это, вместе взятое, представляет собой зрелище столь поразительное, столь полнокровное и одновременно мертвое; такое шумное и такое тихое; такое назойливое и вместе с тем робкое и приниженное, такое суматошное и такое сонное, что чужестранец, идя все вперед, вперед и вперед и озираясь вокруг, начинает испытывать своего рода тяжелое опьянение. Дикая фантасмагория со всеми несообразностями сновидения и всеми страданиями и радостями нелепой действительности!

Характерно и то различное применение, которое неожиданно находят для некоторых из этих дворцов. Так, например, один английский банкир (мой добрый и гостеприимный друг) разместил свою контору в обширном палаццо на Страда Нуова. В вестибюле (каждый дюйм которого старательно расписан, но который не менее грязен, чем лондонский полицейский участок) «голова сарацина» с крючковатым носом * и копной черных волос (к ней прикреплен некий мужчина) торгует тросточками. По другую сторону от входной двери дама в пестром платке вместо головного убора, очевидно супруга «сарацинской головы», продает изделия своего собственного вязания и иногда, кроме того, цветы. Чуть подальше двое или трое слепых при случае просят милостыню. Порой их посещает безногий мужчина на крошечной колясочке; но у него такое румяное и живое лицо и настолько дородное, здоровое тело, что можно подумать, будто он наполовину врос в землю или, напротив, поднялся до половины лестницы, которая ведет в погреб, чтобы с кем-то поговорить. Еще дальше несколько человек прилегли поспать среди дня. Это могут быть носильщики портшеза,

поджидающие отлучившегося седока. В этом случае они внесли сюда и портшез, и он стоит тут же.

По левую сторону вестибюля находится маленькая каморка. Это лавка торговца шляпами. В бельэтаже размещается английский банк. Кроме того, там есть еще жилая квартира, и надо сказать, отличная большая квартира. Одному небу ведомо, что расположено выше: ведь мы поднялись только до бельэтажа. Спустившись по лестнице и раздумывая над этим, вы поворачиваете не туда и вместо того, чтобы выйти на улицу, выходите через большую ветхую дверь в задней стене вестибюля. Эта дверь захлопывается за вами, рождая крайне жуткое и унылое эхо, и вы оказываетесь во дворе (дворе того же самого дома), где, видимо, лет сто не ступала человеческая нога. Ни один звук не нарушает тишину. Ни в одном из хмурых окон не видно живой души, и сорная трава между потрескавшимися плитами может не опасаться, что чьи-нибудь руки когда-нибудь до нее доберутся. Против вас — огромная, высеченная из камня фигура полулежит с урной в руках на высокой искусственной скале. Из урны торчит обломок свинцовой трубки, которая некогда изливала тонкую струйку воды, стекавшую по скале. Теперь этот ручеек так же сух, как глазницы каменного гиганта. Кажется, что он стукнул по донышку своей перевернутой урны и, возопив как певчий из похоронного хора «все кончено», погрузился в каменное молчание.

На торговых улицах дома значительно меньше, но и они все же большого размера и чрезвычайно высокие. К тому же они очень грязны и, если верить моему носу, совершенно незнакомы со сточными трубами. От них исходит зловоние особого рода, напоминающее запах очень скверного сыра, который держат в теплом одеяле. Несмотря на высоту домов, город, видимо, задыхается от недостатка места: новые дома тут втискивают куда только удастся. Где была хоть малейшая возможность всунуть в какую-нибудь щель или угол еще одну шаткую хибарку, она туда всунута. Если стена какой-нибудь церкви образует впадину или выступ или какая-нибудь глухая стена дала трещину, можете быть уверены, что вы найдете в них то или иное человеческое жилье, которое выросло тут, точно гриб. У правительственного

дворца, у старого здания сената, у любого большого строения лепятся крошечные лавчонки, как черви, кишащие на трупе большого животного. Куда ни посмотришь — вверх, вниз или вокруг себя — всюду бесчисленные дома самой причудливой постройки; одни завалились назад, другие вперед, третьи привалились друг к другу или норовят друг друга свалить, пока какой-нибудь из них, самый нелепый, не преградит вам путь и дальше вы уж ничего не увидите.

Из всех частей города самая запущенная, по-моему, та, что расположена внизу, около пристани; впрочем, быть может, она ярче запечатлелась у меня в памяти, так как тесно связана с тем зрелищем всеобщей запущенности, которое предстало предо мной в вечер нашего прибытия в Геную. Дома и здесь очень высоки и отличаются бесконечным разнообразием неправильных форм; и здесь (как в большинстве прочих домов) что-нибудь всегда вывешено из окон и распространяет аромат затхлости, разносимый легким морским ветерком. Иногда это занавеска, иногда ковер, иногда — тюфяк, иногда — полная веревка белья, но почти всегда что-нибудь да найдется.

К основаниям этих домов пристроена обычно аркада, массивная, темная и приземистая, как старинный склеп. Камень или гипс, из которых сооружены эти аркады, совсем почернел, и возле каждой из их опор как бы сами собой накапливаются мусор и всякая дрянь. Под некоторыми из этих арок торгуют с лотков макаронами или полентой *, и эти лотки весьма неаппетитны. Отбросы соседнего рыбного рынка,— вернее, переулка, где торговцы сидят на земле или на старых судовых переборках и каких-то деревянных щитах и продают рыбу, когда она у них есть,— и овощных рядов, устроенных по такому же принципу, немало приумножают красу этого делового квартала, и так как в нем сосредоточена вся торговля и тут целый день снуют толпы людей, он издает весьма определенное благовоние. Здесь же находится Порто-Франко, или Свободная гавань, где товары, привезенные из-за границы, не облагаются пошлиной, пока их не продадут и не вывезут, как это принято в английских таможнях; у входа в нее стоят два дородных чиновника в треуголках, которые имеют право подвергнуть вас

обыску и не пропускают монахов и женщин. Ведь известно, что святость и красота неспособны устоять перед соблазном контрабанды, и притом поступают совершенно одинаковым образом, а именно — прячут ее под свободными складками своего платья. Итак, святости и красоте вход сюда воспрещен.

Улицы Генуи немало бы выиграли, если бы сюда ввезли некоторое число священников с располагающей внешностью. Каждый четвертый или пятый мужчина на улице — священник или монах; в любой наемной карете на ведущих в город дорогах вы обнаружите среди внешних или внутренних пассажиров по меньшей мере одного представителя духовенства. Я нигде не встречал более отталкивающих физиономий, чем среди этого сословия. Если почерк природы вообще доступен прочтению, то большего разнообразия лени, хитрости и умственной тупости не найти, пожалуй, ни в каком другом разряде людей во всем мире.

Мистер Пепис * слышал однажды, как некий проповедник, желая подчеркнуть свое уважение к духовному званию, утверждал, что если бы ему пришлось встретить священника вместе с ангелом, то он приветствовал бы сначала священника. Что касается меня, то я согласен с Петраркой, который, получив письмо от своего ученика Боккаччо,— в смятении писавшего, что его посетил и порицал за его сочинения некий картезианский монах, объявивший себя посланником небес, направленным к нему с этой целью,— ответил, что на его месте он разрешил бы себе проверить, действительно ли это полномочный посланник, внимательно наблюдая его лицо, глаза, лоб, поведение и речи. Проведя такие же наблюдения, я пришел к выводу, что среди тех, кто крадучись скользит по улицам Генуи или проводит в праздности жизнь в других городах Италии, достаточно много самозванных посланников неба.

Среди прочих монашеских орденов капуцины, хоть они и не являются ученою конгрегацией, быть может, ближе всего к народу. Они теснее соприкасаются с ним в качестве советников и утешителей; они чаще бывают среди простых людей, навещая больных; в отличие от других орденов они не так настойчиво стремятся проник-

нуть в семейные тайны, чтобы обеспечить себе пагубное господство над малодушными членами какой-либо семьи, и не так одержимы жаждою обращать, чтобы предоставить затем обращенным погибать душою и телом. Облаченные в свою грубую одежду, они встречаются вам во всякое время и во всех частях города, и особенно рано утром на рынках, где собирают подаяние. Иезуитов здесь также множество; они ходят попарно и неслышно скользят по улицам, похожие на черных котов.

В некоторых тесных проходах сосредоточена торговля определенным товаром. Есть улица ювелиров, есть ряд книгопродавцев, но даже в таких местах, куда не может и никогда не могла проехать карета, высятся величественные старинные дворцы, наглухо огороженные на редкость мрачными и прочными стенами и почти полностью отгороженные от солнца.

Лишь немногие из этих торговцев умеют выставить и расположить свой товар для всеобщего обозрения. Если вы, чужестранец, захотите сделать какую-нибудь покупку, вам придется внимательно оглядывать лавку, пока вы не найдете нужную вещь, затем дотронуться до нее рукой, если она в пределах досягаемости, и спросить ее цену. Все продается в самом неподобающем месте. Если вам нужно кофе, отправляйтесь в конфетную лавку, если — мясо, вы, быть может, найдете его за истрепанной клетчатой занавеской, спустившись на полдюжины ступеней в подвал, в каком-нибудь до того глухом закоулке, словно это не мясо, а яд, и генуэзский закон карает смертною казнью всякого, кто им торгует.

Большинство аптек служат местом сборищ бездельников. Важного вида мужчины с тростями просиживают здесь по многу часов подряд, передавая из рук в руки тощую генуэзскую газетку и сонно и односложно переговариваясь о новостях. Двое-трое из них — нищие врачи, готовые, в случае обращения за медицинскою помощью, заявить о своей профессии и напряженно высматривающие, не пришел ли за ними посыльный. Вы можете распознать их по тому, как они вытягивают шеи и прислушиваются, когда вы входите, и со вздохом откидываются назад в свой угол, узнав, что вам требуется только лекарство. Собираются и в парикмахерских, но тут народу

бывает немного; впрочем, они весьма многочисленны, хотя едва ли кто-нибудь в Генуе бреется. Другое дело лавки аптекарей — те имеют своих завсегдатаев, которые рассаживаются где-нибудь в глубине, среди бутылок, сложив руки на набалдашниках тростей. Они сидят так тихо и неподвижно, что вы можете совсем не заметить их в глубине темной лавки или впасть в ошибку, как это случилось со мной, когда некий человек в платье бутылочного цвета и шляпе, похожей на пробку, показался мне... огромной бутылью с конским лекарством.

В летние вечера генуэзцы любят заполнять собой — как их предки заполняли домами — каждый доступный им дюйм пространства как внутри, так и вне города. Во всех переулках и закоулках, на каждом бугорке, каждой стенке и каждом пролете лестниц они роятся как пчелы. При этом (особенно в праздники) неумолчно гудят церковные колокола; но это не мелодичный перезвон специально подобранных колоколов, а ужасный, беспорядочный, судорожный трезвон с паузой примерно после пятнадцатого удара, способный свести с ума. Обычно этим занимается мальчишка, который дергает за язык колокола или за привязанную к нему короткую веревку и старается трезвонить громче всех других мальчишек, занятых тем же. Считается, что подымаемый ими гул чрезвычайно неприятен злым духам, но посмотрев вверх, на колокольню, и послушав этих юных христиан, легко впасть в ошибку и принять их самих за бесов.

Ранней осенью праздники тут следуют один за другим. По случаю этих праздников дважды в неделю бывают заперты лавки, а однажды вечером все дома по соседству с какой-то примечательной церковью были ярко иллюминованы; сама церковь освещалась снаружи рядами горящих плошек, а на открытом месте за одними из городских ворот был воткнут в землю целый лес факелов. Эти праздничные огни выглядят еще красивее и необычнее в сельской местности, где вы можете видеть по всему склону крутого холма цепочку иллюминованных хижин или проходите мимо гирлянд свечей, истаивающих в звездную ночь перед каким-нибудь одиноким домиком у дороги.

Церковь того святого, которого чествуют, украшается очень нарядно. С арок свешиваются расшитые золотом фестоны всех цветов радуги, выставляется алтарная утварь и даже колонны бывают порой сверху донизу туго запеленуты тканями. Здешний собор возведен во имя св. Лоренцо. В день св. Лоренцо мы и посетили его, как раз перед заходом солнца. Хотя праздничное убранство церквей не отвечает обычно требованиям строгого вкуса, на этот раз оно было на редкость эффектным. Все здание было задрапировано красным, и лучи заходящего солнца, проникая сквозь большой красный занавес в дверях, придавали всему этому подлинное великолепие. Солнце село, и храм мало-помалу погрузился во тьму; лишь немногие свечи мерцали у главного алтаря, да теплилось несколько маленьких серебряных висячих лампад — и все было очень таинственно и производило сильное впечатление. Посидеть в любой церкви под вечер — это то же, что принять небольшую дозу опиума.

Деньги, собранные в храмовой праздник, идут на украшение церкви, на оплату музыкантов и на свечи. Если за вычетом этих расходов остается излишек (что, полагаю, случается редко), то он идет в пользу душ, пребывающих в чистилище. Предполагается, что они извлекают пользу и из усердия маленьких мальчиков, потряхивающих церковными кружками перед таинственными крошечными строениями, похожими на будки деревенских застав, которые обычно наглухо заперты, а в дни, отмеченные в календаре красным, отпираются настежь и выставляют напоказ свое содержимое: какой-нибудь образ, убранный цветами.

Сейчас же за городскими воротами, на дороге в Альбаро, стоит такой маленький домик с алтарем и постоянной денежной кружкой — также в пользу душ, пребывающих в чистилище. Кроме того, ради вящего воздействия на милосердного, на стене — по обе стороны зарешеченной двери — нарисована чудовищная картина, изображающая избранную компанию поджариваемых душ. У одной из них седые усы и седая голова с настолько тщательно сделанною прической, как если бы эту душу ввергли в огонь прямо с витрины парикмахерской. Такова эта душа, удивительно нелепая и смешная пожилая душа,

навеки обреченная коробиться под настоящим солнцем и гореть в намалеванном пламени в назидание генуэзской бедноте (и ради сбора ее даяний).

Генуэзцы не очень-то веселый народ, и даже в праздники их редко увидишь танцующими; развлечения женщин состоят преимущественно в посещении церкви и общественных садов. Они добродушны, учтивы и отличаются трудолюбием. Трудолюбие, впрочем, не сделало их опрятнее: жилища их до крайности грязны, и обычное их занятие в погожий воскресный день — это сидеть на пороге своих домов и искать в головах друг у друга. Живут они так скученно, что если бы эти кварталы города были разрушены Массеной * во время ужасной осады, то наряду с бесчисленными бедствиями она по крайней мере принесла бы и пользу.

Босые крестьянские женщины так усердно и неустанно стирают в общественных водоемах, в любом ручейке и канаве, что поневоле задаешься вопросом: кто же носит все это и почему ни на ком не видно чистого. Здесь принято класть намоченное белье на большой гладкий камень и бить его деревянной колотушкой. Женщины предаются этому делу с таким неистовством, словно хотели бы отомстить белью и одежде сразу за все — ведь их появление связано с грехопадением человечества.

Частенько на краю водоема или на плоском камне лежит несчастный грудной младенец, туго запеленутый предлинным свивальником, так что он не в состоянии пошевелить пальчиком на ручке или на ножке. Этот обычай — подобные сцены нередко изображены на старинных картинах — среди простого народа имеет повсеместное распространение. Ребенка оставляют где придется, лишь бы он не мог уползти; время от времени он, правда, падает с полки, или сваливается с кровати, или повисает на каком-нибудь крюке, болтаясь на нем, как кукла в лавке английского старьевщика, но это никому не причиняет ни малейшего беспокойства.

Однажды в воскресенье, вскоре после моего прибытия, я сидел в деревенской церковке в Сан-Мартино, милях в двух от города, когда там крестили ребенка. Я видел священника и причетника с большою свечой, мужчину и женщину и еще нескольких человек. Но пока церемо-

ния не окончилась, я не подозревал, что это были крестины и что загадочный жесткий предмет, который они передавали друг другу, держа за один конец, точно коротенькую кочергу, был ребенок. Я скорее поверил бы, что это мои собственные крестины. После этого я взял ребенка на руки (он лежал тогда поперек купели) и обнаружил, что у него очень красное личико, но что он совершенно спокоен и что его никакими силами не согнуть. Обилие калек на улицах вскоре перестало меня удивлять.

Существует множество алтарей различных святых и, конечно, девы Марии, расставленных обычно на уличных перекрестках. Среди верующих Генуи наибольшей популярностью пользуется картина, изображающая коленопреклоненного крестьянина, возле которого лежит лопата и другие сельскохозяйственные орудия, и мадонну с младенцем, явившуюся ему в облаке. Это — легенда о Мадонне делла Гвардиа; так называется знаменитая часовня, стоящая на горе в нескольких милях от города. Рассказывают, что этот крестьянин одиноко жил на вершине горы, трудясь на своем крохотном поле, и, будучи человеком благочестивым, ежедневно возносил под открытым небом молитвы деве Марии; его хижина была слишком убогой для этого. Однажды дева Мария явилась ему, как показано на картине, и молвила: «Почему ты молишься под открытым небом и без священника?» Крестьянин объяснил, что поблизости нет ни священника, ни церкви — жалоба, вообще говоря, странная в такой стране, как Италия. «Раз так, я хотела бы,— заметила небесная посетительница,— чтобы здесь была выстроена часовня, в которой верующий мог бы обращаться ко мне с молитвой».— «Но, Santissima Madonna [1],— ответил крестьянин,— я человек бедный, а часовню нельзя построить без денег. К тому же, Santissima, ее необходимо поддерживать, ибо иметь часовню и не поддерживать ее щедрой рукой, это кощунство и смертный грех». Эти чувства пришлись по душе посетительнице. «Ступай,— сказала она,— налево в долине стоит деревня такая-то, направо — такая-то, а подальше — еще одна, и все они с радостью сделают сбор на постройку часовни. Ступай туда! Рас-

[1] Пресвятая мадонна *(итал.)*.

скажи, что ты видел, и не сомневайся, что получишь достаточно денег и на постройку моей часовни и на то, чтобы впоследствии содержать ее в подобающем виде».

Все это чудесным образом сбылось. И в подтверждение этого предсказания и откровения там стоит и поныне богатая и прославленная часовня Мадонны делла Гвардиа.

Великолепие и своеобразие генуэзских церквей едва ли можно преувеличить. В особенности это относится к церкви Annunciata [1]. Построенная, подобно многим другим, на пожертвования одной знатной семьи и теперь постепенно восстанавливаемая, она от входных дверей до самой верхушки высокого купола искусно расписана и раззолочена и похожа (как говорит Симон в своей прелестной книге об Италии *) на большую эмалевую табакерку. В большинстве богатых церквей есть превосходные картины и другие ценные украшения, но тут же, рядом с ними,— грубо намалеванные изображения слезливых монахов и самая низкопробная мишура.

Возможно, что это следствие частых призывов к народной совести (и карману) не забывать о душах чистилища; но только *телам* умерших здесь уделяют очень мало внимания. Для самых бедных недалеко от моря, за одним из углов городских стен, позади выступа укреплений существуют общественные могилы-колодцы, по одному на каждый день в году, которые остаются закрытыми, пока не подойдет очередь тому или другому из них принять дневную порцию мертвецов. Среди солдат городского гарнизона всегда бывает некоторое число швейцарцев, и когда кто-нибудь из них умирает, его хоронят на средства из особого фонда, учрежденного их соотечественниками, постоянно живущими в Генуе. Их забота о гробах для этих покойников повергает местные власти в величайшее изумление.

Это непристойное и грубое сбрасывание трупов в общие могилы-колодцы несомненно отрицательно сказывается на нравах. Оно окружает смерть отталкивающими представлениями, которые невольно связываются и с теми, к кому она приближается.

---

[1] Благовещения *(итал.)*.

В результате появляется безразличие к мертвым и умирающим, исчезает смягчающее влияние глубокого горя.

Когда умирает пожилой cavaliere [1] или кто-нибудь в этом роде, в соборе воздвигают возвышение из скамеек, покрываемое черным бархатом и изображающее гроб умершего; сверху кладут его шляпу и шпагу; вокруг возвышения расставляют стулья и посылают формальные приглашения его друзьям и знакомым прийти и выслушать заупокойную мессу, которую служат у главного алтаря, украшенного по этому случаю бесчисленными свечами.

Если умирают или находятся при смерти люди высшего круга, их ближайшие родственники чаще всего уезжают ради смены впечатлений куда-нибудь за город, возлагая заботы о покойнике на посторонних и предоставляя им неограниченную свободу действий. Вынос тела и распоряжение похоронами поручается обычно членам особого братства (Confraternita), которые в качестве добровольной эпитемии возлагают на себя обязанности служения мертвым, выполняя их строго по очереди. Однако, примешивая к своему смирению некоторую долю гордыни, они облачаются в просторные балахоны до пят и прячут лица под капюшонами с прорезями для глаз и для доступа воздуха. Это одеяние производит жуткое впечатление — особенно у генуэзского Синего братства. Члены его выглядят, мягко выражаясь, на редкость мерзко, и, встретив их внезапно на улице при исполнении ими их благочестивых обязанностей, можно подумать, что это — бесы или вампиры, уносящие труп себе на поживу.

Обычай этот — подобно многим итальянским обычаям — плох тем, что считается верным способом открыть себе текущий счет в небесах на случай будущих грехов и во искупление прежних; но по существу является хорошим и полезным обычаем и несомненно приносящим много добра. Добровольное служение вроде этого бесспорно лучше, чем возлагаемая священником эпитемия (не такая уж редкая), предписывающая столько-то раз вылизать такие-то плиты на полу собора или обет ма-

[1] Кавалер какого-нибудь ордена *(итал.)*.

донне не носить год или два никаких других цветов, кроме синего. Предполагается, что сверху на это взирают с большим удовольствием, ибо синий цвет, как известно, любимый цвет мадонны. Женщины, посвятившие себя этому подвигу благочестия, постоянно попадаются на улицах Генуи.

В городе три театра, не считая еще одного, старого, который теперь почти постоянно закрыт. Важнейший из них — Карло Феличе, генуэзская опера; это — великолепный, удобный и очень красивый театр. Когда мы приехали в Геную, в нем играла труппа комедиантов, потом их сменила второсортная оперная труппа. Разгар сезона приходится на пору карнавала, весной. При моих посещениях этого театра (кстати, весьма многочисленных) ничто не оставило во мне такого сильного впечатления, как необыкновенная суровость публики, которая подмечает малейший промах, ни к чему не относится добродушно, подстерегает, видимо, любой повод освистать исполнителей и одинаково беспощадна к актерам и к актрисам. Но поскольку тут нет других проявлений общественной жизни, где дозволялось бы выразить хоть малейшее неудовольствие, генуэзцы, видимо, хватаются за эту единственную возможность.

Среди зрителей много офицеров Пьемонтской армии, которые пользуются привилегией располагаться в партере почти бесплатно, так как губернатор требует для них даровых или удешевленных билетов во все места общественных и полуобщественных развлечений. По этой причине они — высокомерные критики и бесконечно более требовательны, чем если бы доставляли доход несчастному антрепренеру.

Teatro Diurno, или Дневной театр, представляет собой крытую сцену на вольном воздухе. Представления тут даются при дневном свете, в предвечерней прохладе; они начинаются в четыре или пять часов пополудни и длятся около трех часов.

Любопытно сидеть в публике и иметь возможность любоваться прелестным видом на соседние холмы и дом, поглядывать на соседних жителей, глазеющих из своих окон на представление, и слышать колокола церквей и монастырей, трезвонящие в полном несоответствии с дей-

ствием пьесы. Но помимо этого и новизны театра на свежем воздухе, в приятной прохладе подкрадывающихся сумерек, в этих спектаклях нет ничего интересного и характерного. Актеры посредственны, и, хоть порою они играют какую-нибудь из комедий Гольдони, основа их репертуара — французская драма. Что-нибудь хоть отдаленно похожее на национальную самобытность опасно для деспотической формы правления и для государей, одолеваемых иезуитами.

Театр кукол, или Marionetti, в котором подвизается знаменитая миланская труппа, несомненно забавнейшее из известных мне зрелищ. В жизни своей не видал я ничего уморительнее. Куклы кажутся четырех или пяти футов ростом, но в действительности они много меньше, ибо когда музыканту в оркестре случается положить на просцениум свою шляпу, она приобретает угрожающие размеры и заслоняет собою актера. Тут обычно ставят комедию и балет. Комический персонаж в одной из пьес, которую я смотрел,— трактирный слуга. От сотворения мира не бывало еще такого подвижного актера. В него было вложено немало труда. У него были какие-то сверхсуставы ног и искусно сделанные, совсем как живые, глаза, которые подмигивали партеру так, что новому человеку становилось не по себе; зато посвященная публика, состоявшая главным образом из простолюдинов, принимала это — и все остальное — как нечто совершенно естественное и как если бы он был действительно живой. Веселость его была поистине неистощимой. Он беспрерывно выкидывал коленца ногами и подмигивал зрителям. Тут был и седовласый «благородный отец», который присаживался на традиционную театральную скамейку и в традиционной театральной манере благословлял свою дочь.

В балете волшебник похищает невесту прямо из-под венца. Он приносит ее в свою пещеру и старается утешить. Они усаживаются на софу (традиционную софу на традиционном месте, напротив суфлера!), и на сцену выходит процессия музыкантов; одно из этих существ бьет в барабан и при каждом ударе валится с ног. Музыканты не нравятся девушке, и их сменяют танцоры. Сначала четверо, потом двое. Эти двое — в костюмах

телесного цвета. И как они танцуют! Мне никогда не забыть ни высоты их прыжков, ни немыслимой и нечеловеческой продолжительности их пируэтов, ни их нелепых ног, видных из-под платья, ни того, как они замирали на пуантах, когда это требовалось паузой в музыке, ни того, как кавалер отступал назад, когда полагалось танцевать даме, а дама — когда полагалось танцевать кавалеру, ни страстности финального pas de deux * ни, наконец, того, как они напоследок покинули одним прыжком сцену! Отныне я уже не смогу смотреть настоящий балет, сохраняя серьезную мину.

Я побывал в этом театре еще раз; в тот вечер я смотрел кукол в пьесе под названием «Святая Елена, или Кончина Наполеона». В первой картине был показан Наполеон с непомерно большой головой, сидевший на софе в своей комнате на острове св. Елены; вошел слуга и обратился к нему со следующим загадочным сообщением.

«Сэр Юд-се-он-Лау» (именно Лау, а не Лоу) *.

Сэр Хэдсон (о, если б вы могли видеть его мундир!) рядом с Наполеоном казался совершеннейшим мамонтом в образе человека. Он был премерзкой наружности; у него было чудовищно непропорциональное лицо, и вместо нижней челюсти — какая-то тяжелая глыба, долженствовавшая подчеркивать его тираническую и бесчувственную натуру. Он сразу же приступил к своей системе преследований, назвав своего узника «генерал Буонапарте», на что последний ответил с глубочайшим трагизмом: «Сэр Юд-се-он-Лау! Не смейте называть меня так! Повторите эти слова и оставьте меня! Я Наполеон — император Франции!» Ничуть не смутившись, сэр Юд-се-он-Лау принялся излагать ему предписания британского правительства, определявшие распорядок дня пленника, убранство его комнат и прочее и ограничивавшие число его приближенных четырьмя или пятью лицами. «Четверо или пятеро! И это *при мне,* который недавно единолично командовал ста тысячами человек! А теперь этот английский офицер толкует о каких-то четырех-пяти людях *при мне!*» На протяжении всей пьесы Наполеон, говоривший очень похоже на настоящего Наполеона и то и дело обращавшийся к себе с небольшими монологами, был

чрезвычайно сердит на «этих английских офицеров» и «этих английских солдат», что доставляло огромное удовлетворение публике, которая приходила в восторг, когда он одергивал Лоу, и всякий раз, как тот произносил: «генерал Буонапарте» (а он только и делал это, неизменно выслушивая все ту же поправку) — проникалась к нему лютой ненавистью. Было бы трудно сказать за что. Видит бог, у итальянцев не слишком много причин симпатизировать Наполеону.

Сюжета в этой пьесе не было, за исключением истории с переодетым в английскую форму французским офицером, предложившим Наполеону побег. Заговор был раскрыт, после того как движимый благородством пленник отказался украсть для себя свободу, а офицер был тотчас же приговорен Лоу к повешению. При этом Лоу произнес две очень длинные речи, примечательные тем, что и ту и другую он заключил громким «Yas» [1] — очевидно, чтобы показать, что он англичанин,— чем вызвал бурю рукоплесканий. Наполеон был настолько потрясен этой катастрофой, что с ним тут же случился обморок, и двум куклам пришлось унести его на руках. Судя по дальнейшему, он так и не оправился от этого удара, ибо в следующем действии его показали в кровати (с пологом из малиновой и белой материи) и в белоснежной рубашке. Тут же была некая преждевременно облачившаяся в траур дама с двумя малютками, которые стояли на коленях возле кровати Наполеона, пока он благопристойно не отошел в вечность. Последним словом, слетевшим с его уст, было «Ватерлоо» *.

Все это было невыразимо забавно. Сапоги Наполеона отличались редкостным своеволием и по собственному почину проделывали самые невероятные вещи: то подворачивались, то забирались под стол, то повисали в воздухе, то вдруг начинали скользить и вовсе исчезали со сцены, увлекая и его за собой бог весть куда, и притом в тот момент, когда он произносил свои речи,— и самое смешное было то, что при всех злоключениях лицо его неизменно сохраняло грустное выражение. Чтобы положить конец одному из своих объяснений с Лоу, ему при-

---

[1] Искаженное англ. yes—да.

шлось сесть за стол и взяться за чтение. При этом туловище его согнулось над книгой, как машинка для стаскивания сапог, а глаза с сентиментальным выражением были по-прежнему устремлены в партер. Никогда я не видел ничего более забавного. Он был поразительно хорош и в постели, в рубашке с огромным воротником и маленькими ручками поверх одеяла.

Хорош был и доктор Антомарки, изображаемый куклой с длинными гладкими волосами, совсем как у Мауорма *, которая, вследствие какой-то неисправности проволок, парила над ложем Наполеона, как коршун, и давала медицинские заключения в воздухе. Доктор Антомарки был почти так же хорош, как Лоу, но последний был неизменно на высоте — законченный негодяй и злодей, не оставлявший на этот счет ни малейших сомнений. Всего великолепнее Лоу оказался в финале. Услышав слова доктора и камердинера: «Император скончался», он вынул часы и подвел, нет, не часы, а итог всему представлению злорадным, характерным для его бесчеловечности восклицанием: «Ха! ха! Без одиннадцати шесть! Генерал умер! Шпион повешен!» — На этом занавес торжественно опустился.

Говорят, что в Италии — и я склонен этому верить — нет жилища красивее, чем Palazzo Peschiere, или Дворец Рыбных Садков, куда мы перебрались из Розовой тюрьмы в Альбаро, как только истек трехмесячный срок, на который мы сняли ее.

Палаццо Пескьере стоит на возвышенности в черте города, но несколько в стороне. Его окружают принадлежащие ему чудеснейшие сады со статуями, вазами, фонтанами, мраморными бассейнами, террасами, аллеями апельсиновых и лимонных деревьев, зарослями роз и камелий. Все его апартаменты отличаются безукоризненными пропорциями и великолепной отделкой, но самое замечательное в этом дворце — большой зал, футов пятьдесят в высоту, с тремя огромными окнами в задней стене, откуда можно обозревать всю Геную, ее гавань и море и откуда открывается один из самых пленительных и чарующих видов на свете. Трудно представить себе

более нарядное и удобное жилище, чем просторные комнаты этого дома; и уж, конечно, совсем невозможно нарисовать в своем воображении что-нибудь привлекательнее, чем окружающая его природа, как при солнечном свете, так и в лунную ночь. Он скорее похож на волшебный дворец из «Тысячи и одной ночи», чем на чопорное и солидное обиталище.

То, что вы можете бродить из комнаты в комнату и вам никогда не наскучит рассматривать произведения неудержимой фантазии на стенах и потолках, яркие и свежие по своим краскам, точно вчера только написанные; и то, что покои первого этажа, и даже один большой зал, куда выходят восемь остальных комнат, вполне достаточны, чтобы служить местом прогулок; и то, что наверху есть множество коридоров и спален, которыми мы совершенно не пользуемся и которые редко посещаем, так что едва находим туда дорогу; и то, наконец, что с каждой из четырех сторон здания виды совершенно различны — все это не так уж существенно. Зато панорама из нашего зала представляется мне каким-то дивным видением. Я любуюсь ею в своем воображении, как любовался по сто раз в день в безмятежной действительности, и мысленно переношусь туда, гляжу из окна и вдыхаю сладкие ароматы, струящиеся из сада, погруженный в блаженство ничем не омрачаемых грез.

Передо мной в красочном беспорядке лежит вся Генуя со своими бесчисленными церквами и монастырями, устремленными в озаренное солнцем небо, а внизу, где начинаются крыши, протянулась одинокая стена женской обители, построенная наподобие галереи с железным крестом в конце; здесь не раз в ранние утренние часы я видел монахинь в темных покрывалах, печально скользивших взад и вперед, останавливаясь время от времени, чтобы бросить украдкой взгляд на пробуждающийся ото сна мир, в жизни которого они не принимали участия. Старина Monte Faccio, самый веселый из генуэзских холмов в безоблачную погоду и самый хмурый, когда надвигается ненастье, высится слева. Цитадель внутри крепостных стен (добрый король построил ее, чтобы держать город в повиновении и сносить ядрами дома генуэз-

цев, если они вздумают проявлять недовольство) господствует над этой высотой справа. Безбрежное море расстилается между ними, а полоска побережья — она начинается у маяка и, постепенно суживаясь, исчезает в розоватой дали,— это красивейшая береговая дорога в Ниццу. Ближайший сад, проглядывающий между крыш и домов, это Acqua Sola [1], общественный парк, где весело играет военная музыка, мелькают белые шарфы женщин и генуэзская знать катается по кругу, блистая при этом если не мудростью, то во всяком случае роскошью нарядов и экипажей.

Неподалеку оттуда сидит публика Дневного театра; лица зрителей обращены в мою сторону. Но поскольку сцена от меня скрыта, бывает очень забавно наблюдать, не зная в чем дело, за внезапными переменами в выражении лиц, то серьезных, то беззаботно смеющихся. Еще более странно слышать в вечернем воздухе взрывы рукоплесканий, под которые падает занавес. Впрочем, сегодня — воскресный вечер, и актеры играют свою лучшую и самую захватывающую пьесу. Но вот начинается закат солнца; оно заходит в таком великолепном облачении красного, зеленого и золотого цветов, что этого не передать ни пером, ни кистью; и под звон вечерних колоколов сразу, без сумерек, опускается тьма. Тогда загораются огни в Генуе и на дороге за городом; вращающийся фонарь с берегового маяка задевает на мгновение скользящим лучом фасад и портик нашего палаццо и освещает его — точно полная луна вдруг прорывается из-за туч — и вслед за этим он тотчас же снова погружается в кромешную тьму. Именно это, насколько я знаю,— единственная причина, по которой генуэзцы избегают его после наступления темноты: они уверены, что его посещает нечистая сила.

Отныне его часто будут посещать по ночам мои воспоминания, но только они, а не что-нибудь более страшное. Отсюда эти привидения будут уноситься на широкий морской простор, как это сделал я сам одним прекрасным осенним вечером, и вдыхать утренний воздух в Марселе.

---

[1] Буквально «чистая вода» *(итал.)*.

Дородный парикмахер все так же сидел в домашних туфлях у дверей своей лавки, но кружившиеся в витрине дамы, со свойственным их полу непостоянством, перестали кружиться и томились теперь в неподвижности, повернувшись прелестными лицами в глухие углы заведения, куда их поклонникам не было доступа.

Пароход приятнейшим образом доставил нас из Генуи за восемнадцать часов, и мы решили возвратиться туда через Ниццу, по дороге, называющейся Карнизом, так как нас не удовлетворило поверхностное ознакомление с внешним видом очаровательных городов, живописно белеющих над берегом моря среди оливковых рощ, скал и холмов.

Суденышко, отплывавшее в Ниццу в тот вечер в восемь часов, было настолько утлым и так набито товарами, что на нем едва можно было передвигаться. К тому же тут не было никакой еды, кроме хлеба, и никаких напитков, за исключением кофе. Но так как нам предстояло прибыть в Ниццу часов в восемь утра, все это не имело существенного значения. Скоро мы начали подмигивать ярким звездам небесным из невольной признательности за то, что и они мигали, глядя на нас, и отправились на свои койки в тесную, но прохладную крошечную каюту, где и проспали крепким сном до утра.

Наше суденышко оказалось самым неповоротливым и упрямым из всех когда-либо спущенных на воду малых судов, и мы вошли в гавань Ниццы только к полудню. Ничего не ждали мы здесь с таким нетерпением, как сытного завтрака. Но мы были гружены шерстью. Шерсть в марсельской таможне хранится беспошлинно не более двенадцати месяцев. Отсюда возникло обыкновение устраивать фиктивные перевозки непроданной шерсти и обходить с помощью этой уловки закон; ее забирают из таможенных складов незадолго до истечения предельных двенадцати месяцев и тотчас же возвращают, как новый груз, на те же самые склады, где она будет храниться еще около года. Доставленная нами шерсть была привезена когда-то с Востока, и в момент нашего прибытия в гавань ее сочли восточным товаром. На этом основании местные власти приказали не подпускать к нам малень-

кие, нарядные, разукрашенные по-воскресному лодки, набитые празднично разодетыми горожанами, выехавшими нам навстречу. Нас подвергли карантину, и, чтобы оповестить об этом весь город, на верхушку мачты на пристани торжественно взвился пребольшой флаг.

Был отчаянно знойный день. Мы были небриты, неумыты, неодеты и голодны и, разумеется, отнюдь не обрадованы нелепой необходимостью жариться на солнцепеке посреди спокойной ленивой гавани, в то время как весь город глядел на нас с почтительного расстояния, а в отдаленной караульной всякие люди с бакенбардами и в треуголках решали нашу участь с такими жестами (мы не отрываясь наблюдали за ними в подзорные трубы), которые предвещали задержание в лучшем случае на неделю. И все это безо всякого основания.

Но даже в этом критическом положении Бравый курьер добился триумфа. Он телеграфически снесся с кем-то на берегу (я этого кого-то, однако, не видел), кто имел постоянное отношение к здешней гостинице или установил связь с этим заведением лишь по данному поводу. На его телеграфные призывы откликнулись; не прошло и получаса, как со стороны караульной послышался громкий крик. Требовали к себе капитана. Все наперебой помогали ему сойти в ялик. Все принялись укладывать вещи и толковать о том, что и мы сейчас съедем на берег. Капитан отвалил от судна и исчез за небольшим угловым выступом, образуемым каторжною тюрьмой, но вскоре возвратился мрачнее тучи с какой-то поклажей. Бравый курьер встретил его у борта и получил от него эту поклажу, как ее законный владелец. То была плетеная корзина, завернутая в льняную ткань; в ней оказались две большие бутылки вина, жареная курица, приправленная чесноком соленая рыба, большой каравай хлеба, дюжина персиков и еще кое-какая мелочь. Предоставив нам выбрать себе завтрак по вкусу, Бравый курьер пригласил избранных принять участие в трапезе, убеждая их не стесняться, так как он велит прислать вторую корзину, на этот раз за их счет, что он и выполнил — никому неведомо как. Вскоре капитана снова вызвали на берег, и он снова возвратился мрачнее тучи и

снова что-то привез. Этим «что-то» мой снискавший широкую популярность спутник распорядился, как прежде, пользуясь при этом складным ножом — своей личной собственностью — чуть поменьше римского боевого меча.

Этот неожиданный подвоз провианта развеселил всех наших попутчиков; более всех веселились маленький болтливый француз, напившийся в пять минут пьяным, и дюжий монах-капуцин, пришедшийся всем как нельзя более по душе и действительно один из лучших монахов на свете, в чем я искренне убежден.

У него было открытое, располагающее лицо и густая каштановая волнистая борода — это был замечательно красивый мужчина лет под пятьдесят. Он подошел к нам рано утром с вопросом, уверены ли мы, что будем в Ницце к одиннадцати; ему нужно знать это с полною достоверностью, потому что, если мы приедем туда вовремя, он будет служить там мессу, а иметь дело со священной облаткой * можно лишь натощак; если же у нас нет надежды прибыть туда своевременно, он немедленно позавтракает. При этом он принял Бравого курьера за капитана (он и впрямь больше, чем кто-либо на борту, походил на носителя этого звания). Выслушав наши уверения в том, что мы, разумеется, не опоздаем, он продолжил свой пост и с восхитительным благодушием вступал при этом в разговоры со всеми и каждым, отвечая на шутки по адресу братьев-монахов шутками по адресу нечестивых мирян и утверждая, что хоть он и монах, а берется поднять зубами двух самых дородных мужчин на борту и пронести их, одного за другим, по всей палубе. Никто не предоставил ему этой возможности, но я убежден, что он смог бы это проделать — такой это был мощный, статный мужчина, даже в капуцинской одежде, самой безобразной и невыигрышной, какую только можно придумать.

Болтливый французик был от всего этого в полном восторге. Он взял монаха под свое покровительство и, казалось, сожалел о его злосчастной судьбе, не допустившей его родиться французом. Хотя его покровительство было таким же, какое мышь способна оказывать льву, он был очень доволен своей снисходительностью и в пылу



этого чувства иногда становился на цыпочки, чтобы похлопать монаха по широкой спине.

Когда прибыли на борт корзины, время мессы уже прошло, и монах отважно взялся за дело: он поглотил чудовищное количество холодного мяса и хлеба,— запивая их добрыми глотками вина, курил сигары, нюхал табак, поддерживал несмолкающий разговор с судовою командой и время от времени подбегал к корабельному борту, громким криком сообщая кому-то на берегу, что нас необходимо выручить из карантина, потому что он, брат-капуцин, принимает участие в большой религиозной процессии, имеющей состояться в послеполуденные часы. Проделав это, он с веселым и добродушным смехом возвращался к нам, а француз, собирая личико во множество складок, приговаривал: до чего же это забавно и какой славный парень этот монах! В конце концов солнечный зной, подогревавший его снаружи, и вино, подогревавшее изнутри, усыпили француза, и он, в зените своего величия, продолжая покровительствовать своему исполинскому протеже, улегся на тюк шерсти и захрапел.

Нас выпустили только в четыре часа, но француз, грязный, весь в шерсти и нюхательном табаке, все еще спал, когда монах сошел на берег. Узнав о нашем освобождении, мы поспешили умыться и приодеться ради процессии, и я больше не видел француза, пока мы не расположились в удобном месте на главной улице, чтобы посмотреть на проходящее шествие. Тут я увидел, как он протискивался в передний ряд, тщательно принаряженный; расстегнув короткий фрак, чтобы показать свой бархатный жилет с широкими полосами и звездами, он выставил себя самого и свою трость, рассчитывая ошеломить и поразить монаха, когда тот поравняется с ним.

Процессия была очень длинною; ее бесчисленные участники были разбиты на группы, и каждая из них гнусавила на свой лад, не обращая ни малейшего внимания на другие, что приводило к ужасающим результатам. Тут были ангелы, кресты, богоматери, которых несли на плоских подставках в окружении ангелочков, венцы, святые, требники, пехота, свечи, монахи, монахини, мощи,

сановники церкви в зеленых шляпах под малиновыми зонтами, а кое-где — водруженные на высокий шест священные фонари, ближайшие родичи уличных. Мы нетерпеливо ждали появления капуцинов; и вот, наконец, показались их коричневые, подпоясанные веревками рясы; они шли все вместе.

Я заметил, как наш французик посмеивался при мысли, что монах, увидев его в жилете с широкими полосами, воскликнет про себя: «Неужели это мой покровитель? Этот выдающийся человек!» — и непременно смутится. Ах, никогда француз так не обманывался! Когда наш друг капуцин приблизился к нам со скрещенными на груди руками, он посмотрел прямо в лицо маленькому французу таким ясным, безмятежным и равнодушным взором, что описать его решительно невозможно. Ни тени улыбки, ни малейшего признака того, что он узнал маленького француза, ни малейшей благодарности за хлеб и мясо, за вино, за табак и сигары. «C'est lui-même» [1], — пробормотал француз с некоторым сомнением в голосе. Да, это был он. Это не был ни его брат, ни племянник, очень похожие на него. Это был он сам. Он шел, полный величия; он был одним из глав Ордена и превосходно исполнял свою роль. Никогда не бывало ничего более совершенного в своем роде, чем та задумчивая рассеянность, с какою он остановил безмятежный взгляд на нас, своих недавних попутчиках: казалось, он никогда в жизни не видел нас, да и сейчас не видит. Француз, смешавшийся и пристыженный, снял в конце концов шляпу, но монах успел уже миновать его, все такой же безмятежный, и жилет с широкими полосами потерялся в толпе, и больше мы его не встречали.

Процессия завершилась ружейными залпами, от которых во всем городе сотряслись оконные стекла. Назавтра после полудня мы направились в Геную, по знаменитой дороге, называющейся Карнизом.

Веттурино *, полуфранцуз, полуитальянец, подрядившийся свезти нас туда за трое суток в своем маленьком тряском экипаже с парою лошадей, был беззаботным

---

[1] Это он самый *(франц.)*.

красивым парнем, чье легкомыслие и вокальные склонности не знали пределов, пока нас сопровождала удача. Все это время у него всегда было наготове словечко, или улыбка, или легкий шлепок бичом для каждой встречной крестьянской девушки, и отрывки из «Сомнамбулы» * для каждого эхо. Все это время он проезжал каждую деревушку под звон бубенчиков на лошадях и позвякиванье серег в его ушах. Но в высшей степени любопытно было видеть его при малейшем препятствии, например, когда мы оказались на очень узкой дороге, перегороженной разбитой повозкой. Он тотчас же схватился за волосы, как если бы на его обреченную голову одновременно обрушились все возможные в жизни бедствия. Он бранился по-французски, молился по-итальянски и расхаживал взад и вперед, топая ногами в пароксизме отчаяния. Возле разбитой повозки собралось множество возчиков и погонщиков мулов; в конце концов кто-то из них, наделенный, без сомнения, оригинальным складом ума, предложил общими силами навести порядок и освободить путь — мысль, которая, я глубоко убежден, никогда бы не осенила нашего друга Веттурино, оставайся мы там хоть поныне. Это было проделано без большого труда, но при каждой заминке в работе он снова хватался за волосы, словно ни единый луч надежды не освещал мрачную бездну его страданий. Но усевшись снова на козлы и покатив с отчаянным грохотом вниз по холму, он тотчас же возвратился к своей «Сомнамбуле» и крестьянским девушкам, точно и в самом деле никакие беды не могли повергнуть его в уныние.

Прелестные города и деревни на этой прелестной дороге теряют значительную долю своей романтики, едва вы въезжаете в них; в большинстве случаев они оказываются в высшей степени жалки. Улицы тут очень узкие, темные, грязные; обитатели тощие и оборванные; а морщинистые старухи с жесткими седыми волосами, связанными узлом на макушке как подушечка для ношения тяжестей, до того безобразны и на Ривьере и в Генуе, что, когда они сидят у темных порогов с веретенами или что-то бормочут, собираясь по углам, они кажутся совершенными ведьмами — только они, конечно, никогда не

пользуются помелом или другим орудием для наведения чистоты. Нельзя назвать красивыми и бурдюки из свиных кож, всюду употребляемые здесь для хранения вина и вывешенные на солнце; они выглядят точь-в-точь как отвратительные раздутые свиньи с отрубленными головами и ногами, подвешенные за хвосты.

Однако издали эти города с их кровлями и башенками, утопающие в рощах на склоне холма или смотрящиеся в воду прелестной бухты, все же кажутся очаровательными. Растительность повсюду обильна и красива (пальма вносит новую черту в новый для нас пейзаж). В одном городке, а именно в Сан-Ремо, поражающем своей оригинальностью — он сооружен на мрачных открытых арках, так что вы можете прогуляться под всем городком,— много хороших садов, спускающихся уступами; в других городках раздается стук плотничьих молотков — здесь на самом берегу строят небольшие суда. Иные бухты настолько обширны, что тут могли бы стоять на якоре флоты целой Европы. Во всяком случае, любая кучка домов представляется издали каким-то волшебным смешением живописных и фантастических форм.

Дорога то идет высоко над сверкающим морем, которое плещет внизу обрыва, то отступает, чтобы обогнуть бухту, то пересекает каменистое ложе горной речки, то проходит по самому пляжу, то вьется среди расколотых скал самых разнообразных форм и окрасок, то преграждается одинокой разрушенной башней — одной из башен, возведенных в давние времена, чтобы защищать побережье от африканских корсаров,— и что ни миг раскрывает пред вами все новые и новые красоты. Когда эти изумительные пейзажи остаются позади и дорога идет пригородом, растянувшимся вдоль плоского берега, до самой Генуи, ваше внимание привлекают быстро сменяющиеся картины этого чудесного города и гавани; каждый огромный, старый, полупустой дом в предместье возбуждает ваш интерес, и он достигает своего апогея, когда вы въезжаете в городские ворота и вся Генуя со своей великолепною гаванью внезапно и гордо предстает перед вашими взорами.

В Парму, Модену и Болонью

Шестого ноября я расстался с Генуей и отправился в странствия; я держал путь во множество разных мест (в том числе в Англию), но прежде всего в Пьяченцу. Я выехал туда в купе почтовой кареты, напоминавшей фургон, в обществе Бравого курьера и дамы с огромным псом, который ночью много раз принимался жалобно выть. Было очень сыро и очень холодно,— очень темно и очень жутко. Мы делали самое большее мили четыре в час и нигде не останавливались на отдых. На следующий день в десять часов утра мы сделали пересадку в Александрии, и нас втиснули в другую карету, вместимость которой была бы слишком мала даже для легкого экипажа. Нашими попутчиками были: старый-престарый священник, его спутник, молодой иезуит, который вез их молитвенники и другие книги (и который, торопясь влезть в карету, оголил розовато-смуглую ногу между черным чулком и короткой черной штаниной, что привело мне на память Гамлета у Офелии *, только были оголены обе ноги), провинциальный адвокат и еще один господин с поразительно красным носом, излучавшим невиданный блеск, какого я никогда прежде не наблюдал ни у одного человека. Так мы ехали до четырех часов пополудни. Дороги по-прежнему были очень тяжелыми, а карета очень неповоротливой. В довершение всего, старого священника то и дело мучили судороги в ногах, так что через каждые десять минут он испускал отчаянный вопль, и тогда карета торжественно останавливалась, а мы объединенными усилиями вытаскивали его наружу. Эта помеха и дурные дороги были главнейшими предметами разговоров. Обнаружив после полудня, что из купе вышли два пассажира и в нем остался только один — чудовищно безобразный тосканец с пышными огненными усами, концы которых исчезали из виду, когда он надевал шляпу,— я поспешил занять это более удобное место и продолжал путь в обществе тосканца (который оказался весьма разговорчи-

вым и добродушным) часов до одиннадцати вечера. Тут наш возница заявил, что нечего и думать ехать дальше, и мы сделали остановку в городке, называвшемся Страделла.

Гостиница представляла собой ряд причудливых галерей, окружавших со всех сторон двор, в котором наша карета, еще одна или две повозки и множество домашней птицы и дров оказались до того нагроможденными друг на друга и до того перемешанными, что вы не смогли бы показать под присягой, где курица, а где повозка. Сонный человек с пылающим факелом провел нас в большую холодную комнату, в которой были две непомерно широкие постели, постланные словно на двух сосновых обеденных столах, еще один сосновый стол таких же размеров посредине ничем не покрытого пола, четыре окна и два стула. Кто-то сказал, что эта комната отведена мне, и я добрые полчаса мерил ее шагами, пяля глаза на тосканца, старого священника, молодого священника и адвоката (красноносый проживал в городе и отправился спать домой), которые расселись на кроватях и в свою очередь пялили глаза на меня.

Эта оригинальная, но невеселая ситуация нарушается появлением Бравого (он занимался стряпней), возвещающего, что ужин готов, и мы в полном составе переходим в комнату старого священника, соседнюю с моей и во всем ей подобную. На первое подается полная миска жидкой похлебки из капусты с большим количеством риса, приправленной сыром. Это кушанье — настолько горячее, а нам до того холодно, что оно кажется почти восхитительным. На второе — кусочки свинины, изжаренные вместе с свиными почками. На третье — две куропатки. На четвертое — две небольшие индейки. На пятое — огромная кастрюля чеснока, трюфелей и чего-то еще, и на этом завершается наше пиршество.

Прежде чем я успеваю присесть в моей собственной комнате и ощутить ее сырость, отворяется дверь и вваливается Бравый с таким количеством хвороста, что он похож на Бирнамский лес, пустившийся в зимнее странствие *. В мгновение ока Бравый поджигает всю эту кучу, а мне подносит стакан горячего бренди с водой — ведь его фляга всегда считается со временем года и теперь

содержит только чистейшую eau de vie[1]. Совершив это героическое деяние, он удаляется на ночь, и я еще добрый час, пока сам не впадаю в сон, слышу, как он балагурит в людской (очевидно, прямо под моею подушкой), где он раскуривает сигары в компании закадычных друзей. Он никогда не бывал в этом доме, но всюду, куда бы он ни попал, он через пять минут уже знает все и всех и успевает обеспечить себе беззаветную преданность всей гостиницы.

Это происходит в полночь. А в четыре часа утра он опять на ногах, свежий как роза. Он растапливает очаг, не спросясь хозяина; у него готов в кружках кипящий кофе, когда другие не сумели достать ничего, кроме холодной воды. Он обходит темные улицы, громко требуя свежего молока в расчете на то, что какой-нибудь владелец коровы встанет с постели на его зов. Пока «прибывают» лошади, я тоже ощупью выбираюсь в город. Весь он, видимо, состоит из одной небольшой piazza[2], пронизываемой холодным сырым ветром, который дует то под арки, то из-под них, точно вышивает узор. Но еще совершенно темно, идет сильный дождь, и если бы мне пришлось здесь задержаться (от чего упаси боже!), я наутро не узнаю этого места.

Лошади прибывают приблизительно через час, а в промежутке форейтор непрерывно бранится: иной раз это христианские проклятия, иной раз — языческие. Иной раз, когда это длинное и замысловатое проклятие, он начинает с христианства и впадает в язычество. Во все стороны разосланы многочисленные гонцы; не столько за лошадьми, сколько друг за другом, ибо первый гонец бесследно исчезает, а за ним и все остальные. В конце концов лошади все-таки появляются, а с ними и все гонцы: одни подгоняют их сзади, другие тянут под уздцы, и все ругают их на чем свет стоит. Затем все мы в полном составе — старый священник, молодой священник, адвокат, тосканец и я — рассаживаемся по местам, и с разных концов двора, из дверей каких-то каморок слышатся сонные голоса: «Addio, corriere mio! Buon viag-

---

[1] Водку *(франц.)*.
[2] Городской площади *(итал.)*.

gio, corriere!»[1]. На эти приветствия Бравый курьер, чье лицо расплылось в сплошную улыбку, отвечает подобающим образом, и вот мы, трясясь и переваливаясь, пускаемся в путь по грязи.

В Пьяченце, в пяти часах езды от нашего ночлега в Страделле, наша маленькая компания рассталась у дверей гостиницы со многими изъявлениями дружеских чувств. Старого священника, едва он успел отойти, снова схватили судороги, и молодой, положив свою связку книг на чей-то порог, принялся почтительно растирать старику ноги. Клиент адвоката, поджидавший его, облобызал его в обе щеки с таким звонким чмоканьем, что во мне родилось опасение, как бы его дело не было безнадежно трудным или его кошелек — скудно наполненным. Тосканец не спеша удалился с сигарой во рту и шляпой в руке, выставляя напоказ растрепанные усы. А Бравый курьер, когда мы вышли побродить по городу, стал занимать меня рассказами о сокровенных тайнах и семейных делах каждого из наших недавних попутчиков.

Побуревший, пришедший в упадок, старый-престарый город — вот что такое Пьяченца. Пустынная, заросшая травой площадь, разрушенный городской вал с полузасыпанными рвами, доставляющими скудное пастбище тощим коровам, которые по ним бродят, и ряды угрюмых домов, задумчиво хмурящихся на своих соседей напротив. До крайности сонные и оборванные солдаты, отмеченные двойным проклятием лени и нищеты, шатаются взад и вперед в своих неуклюжих, измятых, дурно сидящих мундирах; поразительно грязные дети возятся со своими импровизированными игрушками (свиньями и комками грязи) в неслыханно грязных канавах; невиданно тощие собаки рыскают под необыкновенно мрачными арками в вечных поисках чего-нибудь пригодного в пищу, и кажется, никогда ничего не находят. Таинственный и пышный дворец, охраняемый двумя исполинскими статуями — двумя духами этого места,— величаво стоит посередине праздного города. Царь на мраморных ногах *, царствовавший во времена «Тысячи и одной ночи», мог бы спокойно жить в его стенах и не испыты-

---

[1] Прощай, мой курьер! Счастливого пути, курьер! *(итал.)*

вать, в верхней своей половине из плоти и крови, ни малейшего искушения выйти наружу.

Какой странный, и грустный, и сладостный сон — эти неторопливые, бесцельные прогулки по маленьким городам, дремлющим и греющимся на солнце. Каждый из них поочередно представляется вам самым жалким изо всех заплесневелых, унылых, забытых богом поселений, какие только существуют на свете. Сидя на невысоком холме, где прежде был бастион, а еще раньше, когда здесь стояли римские гарнизоны,— шумная крепость, я впервые осознал, что значит быть скованным ленью. Таково, вероятно, состояние сони, когда для нее наступает пора зарыться в шерсть в своей клетке, или черепахи перед тем, как она зароется в землю. Я почувствовал, что весь покрываюсь ржавчиной. Что всякая попытка пошевелить мозгами будет сопровождаться отчаянным скрипом. Что делать решительно нечего, да и не нужно. Что не существует человеческого прогресса, движенья, усилий, развития, ничего, кроме ничем не нарушаемого покоя. Что весь механизм остановился тут много столетий назад и будет пребывать в неподвижности до Страшного суда.

Но, нет, не бывать этому, пока жив Бравый курьер! Поглядите-ка на него, когда он выезжает из Пьяченцы под звон бубенчиков, в карете такой невиданной высоты, что когда он показывается в ее переднем окне, кажется, будто он заглядывает через садовый забор, а форейтор — воплощение итальянской нищеты и запущенности — на мгновение обрывает оживленнейшую беседу, чтобы снять шляпу перед маленькой плосконосой мадонной, почти такой же затрапезной, как он сам, которая стоит за городской заставой в гипсовой будке, похожей на балаганчик Панча *.

В Генуе и ее окрестностях виноградную лозу растят на шпалерах, поддерживаемых нескладными четырехугольными каменными столбами, которые сами по себе никоим образом не живописны. А в здешних местах ее обвивают вокруг деревьев и пускают по изгородям, так что виноградники полны посаженных в строгом порядке деревьев, и на каждом дереве вьется и буйно разрастается своя собственная лоза. Сейчас виноградные листья ярко окрашены в золото и багрянец, и никогда еще не бывало

на свете ничего столь чарующе изящного и полного красоты. На протяжении многих миль дорога кружит посреди этих восхитительных форм и красок. Причудливые завесы, изысканные венцы, венки, гирлянды самых разнообразных очертаний; волшебные сети, наброшенные на большие деревья, словно взятые в плен забавы ради, спутанные груды и клубки самого необычайного вида, лежащие на земле,— как роскошно все это и как красиво! Иногда длинный ряд деревьев связан и скован гирляндами в одно целое, точно эти деревья взялись за руки и завели хоровод среди поля!

В Парме веселые и оживленные (по сравнению с прочими городами Италии) улицы, и она поэтому не так характерна, как другие менее известные итальянские города. Но и здесь, как повсюду, есть уединенная piazza, где собор, баптистерий и колокольня, старинные потемневшие здания, украшенные бесчисленными задумчивыми химерами из мрамора и красного камня, высятся в благородном и величавом спокойствии. Когда я любовался ими, безмолвие нарушалось лишь щебетом многочисленных птичек, влетавших и вылетавших из щелей между камнями или углублений орнамента, где они строили себе гнезда. Они деятельно сновали взад и вперед, взлетая из холодной тени храмов, созданных человеческими руками, в солнечный простор неба. Не то, что верующие внутри этих храмов, которые слушали то же унылое, нагоняющее сон пение, и стояли на коленях перед такими же образами святых и свечами, и шептали, наклонив голову, в таких же темных исповедальнях, какие я видел в Генуе и по всей стране.

Потемневшие, попорченные картины, которыми увешана эта церковь, производят, по-моему, поразительно мрачное и гнетущее впечатление. Больно смотреть, как великие произведения живописи, сохраняющие в себе частицу души художников, чахнут и блекнут, словно живые люди. В этом соборе вы ощущаете резкий запах, исходящий от гибнущих фресок Корреджо, которыми расписан весь купол. Одному небу ведомо, как прекрасны они были когда-то! Знатоки и поныне восхищаются ими; но такого лабиринта рук и ног, таких груд изуродованных человеческих тел, перемешанных и перепутанных

друг с другом, ни один хирург, сойдя с ума, не мог бы представить себе в самом диком бреду.

Здесь существует очень интересная подземная церковь; кровлю ее поддерживают мраморные колонны, за каждою из которых притаился в засаде, самое меньшее, один нищий; о гробницах и уединенно расположенных алтарях и говорить нечего. Из всех этих потаенных убежищ появляются целые толпы похожих на призраки мужчин и женщин, которые ведут за собой других мужчин и женщин с увечными телами или трясущимися челюстями, или параличными движениями, или головами кретинов, или каким-нибудь другим тяжелым недугом; ковыляя, они выходят оттуда выпрашивать милостыню; если бы фрески, гибнущие на соборном куполе, внезапно ожили и спустились сюда, они едва ли смогли бы добавить что-нибудь к разнообразию изувеченных тел, выставленных здесь напоказ.

Здесь есть, кроме того, памятник Петрарке; есть и баптистерий с чудесными арками и огромной купелью, и картинная галерея, где хранится несколько великолепных полотен,— в мое посещение бородатые художники в маленьких бархатных шапочках, едва державшихся на голове, копировали некоторые из них. Есть тут также дворец Фарнезе * и в нем — одно из самых грустных зрелищ упадка, какие когда-либо представали человеческому взору: некогда пышный, старый, мрачный театр, заброшенный и разрушающийся.

Это — большое деревянное здание в форме подковы; нижний ярус его устроен по образцу римского амфитеатра, но над ним расположены большие, тяжелые, скорее комнаты, нежели ложи, где, уединяясь в своем гордом великолепии, сидела в былые времена местная знать. С таким запустением, в какое впал этот театр — оно кажется посетителю особенно страшным именно потому, что это театр, задуманный и выстроенный для развлечений,— с таким запустением могут сжиться лишь черви. С того дня, как тут в последний раз играли актеры, прошло сто десять лет. Через пробоины в кровле просвечивает небо; ложи провисли, рушатся, и их абонируют теперь одни крысы; сырость и плесень расползлись пятнами по поблекшей росписи и вычерчивают какие-то

призрачные географические карты на обшивке стен; жалкие лохмотья болтаются над просцениумом, вместо прежних нарядных фестонов; сама сцена настолько прогнила, что через нее переброшены узкие деревянные мостки, иначе она подломилась бы под ногами посетителей и погребла бы их в мрачной бездне. Запустение и разрушение ощущаются здесь всеми органами чувств. Воздух отдает плесенью и имеет привкус земли; случайные звуки, проникающие снаружи вместе с заблудившимся лучом солнца, кажутся глухими и бесконечно далекими; черви, личинки и гниль изменили поверхность дерева, и оно шершаво на ощупь, как кожа, которую время избороздило морщинами. Если призраки ставят когда-нибудь пьесы, то они играют их несомненно на этой призрачной сцене.

В день нашего приезда в Модену стояла чудесная погода, так что полутьма мрачных колоннад вдоль тротуаров по обе стороны главной улицы, при ярком, ослепительно синем небе, показалась мне даже приятною и освежающей. Прямо из этого царства света я вошел в сумрачный собор, где шла торжественная месса, слабо теплились свечи, перед всевозможными раками и алтарями стояли на коленях молящиеся, а служившие мессу священники гнусавили обычные песнопения в обычном низком, тусклом, тягучем, меланхоличном тоне.

Размышляя над тем, как странно находить в каждом из этих полумертвых городов то же самое сердце, бьющееся в том же однообразном ритме, словно центр всей застойной и косной системы — я вышел из собора через другую дверь и был внезапно насмерть испуган ревом самой пронзительной из всех когда-либо трубивших труб. И тотчас же из-за угла появилась конная труппа, прибывшая сюда из Парижа. Всадники прогарцевали у самых стен церкви, и копыта их лошадей промелькнули мимо грифонов, львов, тигров и прочих чудовищ из гранита и мрамора, украшающих ее стены. Во главе всей кавалькады ехал великолепный вельможа с пышными волосами, без шляпы, державший в руках огромное знамя, на котором было начертано: «Мазепа! Сегодня вечером!» За ним следовал мексиканский вождь с тяжелой грушевидной палицей, как у Геракла *. Затем следовало не то

семь, не то восемь римских боевых колесниц, и в каждой из них стояла прелестная дама в крайне короткой юбочке и трико неестественно розового цвета, одаряя толпу сияющими взглядами. В этих взглядах, однако, была заметна какая-то скрытая озабоченность, в причине которой я никак не мог разобраться, пока предо мной не предстала открытая задняя часть колесниц и я не увидел, с каким невероятным трудом эти розовые ножки старались сохранить равновесие на неровной мостовой города, а это в свою очередь обогатило меня новыми мыслями относительно древних римлян и бриттов. Процессия завершалась десятком неукротимых воинов различных народов, ехавших по двое и надменно глазевших на робких граждан Модены, которым, однако, они время от времени снисходительно расточали свои щедроты в виде афишек. Прогарцевав таким образом перед львами и тиграми и возвестив о вечернем представлении звуками фанфар, они уехали с площади другой улицей, оставив после себя еще более беспросветную скуку.

Когда процессия окончательно исчезла из виду и пронзительная труба звучала уже приглушенно, а хвост последней лошади безнадежно скрылся за углом, народ, вышедший из церкви, чтобы поглазеть на происходящее, снова вернулся в нее. Но одна пожилая дама, стоявшая на коленях на церковном полу близ двери, с живым интересом наблюдала все это, не вставая со своего места. Вот тут-то я случайно перехватил взгляд этой пожилой дамы, к нашему обоюдному смущению. Она, однако, быстро вышла из затруднительного положения, набожно осенив себя крестным знамением и распростершись ниц на церковном полу перед фигурой в нарядной юбке и позолоченной короне, фигурой, настолько похожей на участниц шествия, что пожилой даме, быть может, и посейчас кажется, будто она сподобилась лицезреть небесное видение. Как бы там ни было, я готов простить ей интерес к парижскому цирку, даже если бы мне пришлось быть ее исповедником.

В соборе был маленький старичок с кривым плечом и огненным взглядом, отнесшийся ко мне с явным неодобрением в связи с тем, что я не пожелал посмотреть на ведро, которое бережно сохраняется в старой башне

и которое еще в XIV веке было отнято гражданами Модены у граждан Болоньи, что породило войну между ними, и, сверх того, героико-комическую поэму Тассони *. Вполне удовлетворившись, однако, осмотром внешних стен башни и насытившись в своем воображении видом ведра, хранимого за этими стенами, и предпочитая побродить в тени высокой колокольни и возле собора, я так и не свел личного знакомства с этим ведром и по настоящее время.

Прежде чем этот маленький старичок (и путеводитель заодно с ним) признали бы, что мы хотя бы наполовину отдали должное достопримечательностям Модены, мы были уже в Болонье. Но я нахожу величайшее наслаждение в том, чтобы оставлять позади новые для меня картины и ехать дальше и дальше, навстречу еще более новым картинам: кроме того, у меня настолько строптивый нрав в отношении всех трафаретных и обязательных зрелищ, что я, вероятно, погрешаю перед подобными авторитетами в любом из посещаемых мною мест.

Так или иначе, но в следующее воскресное утро я оказался на красивом болонском кладбище, среди роскошных мраморных гробниц и колоннад вместе с толпою крестьян, сопровождаемый маленьким чичероне, местным уроженцем, который был весьма озабочен поддержанием чести города и всячески старался отвлечь мое внимание от дурно выполненных надгробий, не уставая превозносить лучшие из них. Заметив, что этот маленький человечек — добродушный человечек, на лице которого видны были только сверкающие белизной зубы и сияющие глаза, пристально смотрит на какой-то заросший травою участок, я спросил его, кто же там погребен. «Бедные люди, signore [1],— ответил он, пожимая плечами, улыбаясь и оглядываясь на меня, ибо он всегда шел чуть-чуть впереди и всякий раз, приглашая меня осмотреть новый памятник, снимал шляпу.— Одни лишь бедняки, signore! Здесь очень мило! Здесь просто весело! Столько тут зелени и так прохладно! Как на лугу! Здесь пятеро,— продолжал он, подняв всю пятерню правой руки, чтобы показать, о каком числе идет речь, без чего итальянский

[1] Сударь *(итал.)*.

крестьянин не может обойтись, если только ему хватает десяти пальцев.— Здесь похоронены пятеро моих малышей, signore, как раз здесь, немножко правее. Ну, что ж, хвала господу, здесь очень мило! Тут просто весело! Столько тут зелени и так прохладно! Как на лугу!»

Он посмотрел мне прямо в лицо и, видя, что я пожалел его, взял понюшку табаку (всякий чичероне нюхает табак) и отвесил полупоклон; частью извиняясь за то, что заговорил о подобном предмете, частью, вероятно, в память детей и в честь своего излюбленного святого. Это был совершенно естественный полупоклон, быть может самый естественный, какой когда-либо отвешивал человек. И тотчас же вслед за этим он снова снял шляпу, приглашая меня пройти к следующему надгробию, и его глаза и зубы засверкали еще ослепительнее, чем прежде.

Через Болонью и Феррару

На кладбище, где маленький чичероне схоронил своих пятерых детей, наблюдал за порядком настолько щеголеватый чиновник, что когда тот же маленький чичероне намекнул мне шепотом об уместности отблагодарить это должностное лицо за некоторые мелкие услуги, оказанные им нам из чистой любезности, парою паоло (около десяти пенсов на английские деньги), я с сомнением посмотрел на его треуголку, замшевые перчатки, хорошо сшитую форму и сияющие пуговицы и, укоризненно взглянув на маленького чичероне, отрицательно покачал головой. Ведь он блистал по меньшей мере таким же великолепием, как помощник жезлоносца палаты лордов, и мысль о том, что он может взять, по выражению Джереми Дидлера *, «такую штучку, как десятипенсовик», показалась мне просто чудовищной. Тем не менее, когда я, набравшись решимости, вручил ему эту мелочь, он принял ее безо всякой обиды и снял свою треуголку таким великолепным жестом, что его не жаль было бы оплатить и вдвое дороже.

В его обязанности входило, по-видимому, показывать посетителям надгробные памятники,— во всяком случае

он делал это, и, когда я сравнил его, подобно Гулливеру в Бробдингнеге «с учреждениями моей возлюбленной родины, я не мог удержаться от слез, порожденных во мне гордостью и восторгом». Он нисколько не торопился; он торопился не больше, чем черепаха. Он медленно брел вместе со всеми, чтобы посетители могли удовлетворить свое любопытство, и иногда даже давал им самим читать надписи на могильных камнях. Он не был ни жалок, ни дерзок, ни груб, ни невежествен. Он говорил на своем родном языке вполне правильно; он, казалось, считал себя учителем, поучающим народ, и относился с равным уважением как к самому себе, так и к народу. Вестминстерскому аббатству * было бы столь же невозможно взять подобного человека на должность смотрителя, как решиться впускать безвозмездно народ (по примеру Болоньи) для обозрения памятников [1].

И вот снова древний сумрачный город под сияющим небом, тяжелые аркады над тротуарами старых улиц и более легкие и веселые сводчатые проходы в новых кварталах. Снова темные громады храмов господних, снова — птицы, влетающие в щели между камнями и вылетающие из них, снова — оскалившиеся чудовища у оснований колонн. Снова богатые церкви, навевающие сон мессы, волнистый дымок ладана, образа, свечи, кружевные покровы на алтарях, статуи и искусственные цветы.

У города степенный, ученый вид, и он овеян какою-то милою грустью, которая выделяла бы его из множества других городов, даже если бы в памяти путешественника он не был отмечен, кроме того, двумя наклонными кирпичными башнями (сами по себе, надо признаться, они достаточно неприглядны); они склонились друг перед другом, словно обмениваясь чопорными поклонами, и весьма необычно замыкают перспективу нескольких узких улиц. Здания университета *, церкви, дворцы и более всего Академия изящных искусств, где собрано множество интересных картин, главным образом кисти Гвидо,

---

[1] С того времени как были написаны эти строки, отношение Вестминстерского аббатства к публике стало гораздо терпимее и справедливее. *(Прим. автора.)*

Доминикино и Лодовико Караччи * также обеспечивают этому городу особое место в памяти каждого побывавшего в нем. Но не будь здесь всего этого и ничего другого, способного вызвать воспоминания, и тогда большой меридиан на полу церкви San-Petronio, где солнечные лучи отмечают время посреди коленопреклоненных молящихся, придавал бы ему особую прелесть.

Так как Болонья была полна туристами, задержанными в ней наводнением, сделавшим дорогу во Флоренцию непроезжей, меня поместили в верхнем этаже гостиницы, в какой-то затерянной комнате, находить которую я так и не научился. В ней стояла кровать, достаточно просторная для целого школьного интерната, но заснуть на ней я все же не мог. Старший слуга, навещавший меня в этом уединенном убежище, где я был лишен всякого общества, кроме ласточек под широкой застрехой кровли, был человеком, одержимым одной идеей, некоторым образом связанной с Англией и англичанами, и предметом этой его безобидной мании был не кто иной, как лорд Байрон *. Я сделал это открытие совершенно случайно, заметив как-то за завтраком, что циновка, которой был застлан пол, весьма удобна в данное время года, на что он мне сейчас же ответил, что милор Бирон * также очень любил циновки этого сорта. Обнаружив в то же мгновение, что я не притронулся к молоку, он с восторгом воскликнул, что и милор Бирон никогда не притрагивался к нему. Сначала я по наивности подумал, что он был одним из слуг Бирона; но нет, он сказал, что не был его слугою, но что ему свойственно обыкновение говорить о милоре с заезжими англичанами. Вот и все. По его словам, он знал о Байроне решительно все. В подтверждение этого он упоминал о нем при всяком удобном случае, начиная с вина из Монте Пульчано, поданного им за обедом (этот сорт лозы рос в имении, принадлежавшем Байрону), и кончая пресловутой большой кроватью, бывшей якобы точным подобием кровати милора. Когда я уезжал из гостиницы, он присовокупил к своему прощальному поклону на гостиничном дворе напутственное уверение, что дорога, по которой я собирался ехать, была излюбленным местом верховых прогулок милора Бирона, и прежде чем копыта моих лошадей

зацокали по мостовой, он торопливо стал подниматься по лестнице, наверное затем, чтобы сообщить еще какому-нибудь англичанину в еще какой-нибудь дальней комнате, что только что уехавший постоялец был вылитый лорд Бирон.

Я приехал в Болонью поздно, почти в полночь, и всю дорогу, после того как мы въехали в папские владения, которые, надо сказать, не так уж хорошо управляемы, поскольку ключи святого Петра * несколько заржавели, кучер был до того встревожен опасностью, якобы грозившей нам от разбойников при поездке после наступления темноты, и до того заразил своим страхом Бравого курьера, и они так часто останавливались и слезали с козел, чтобы взглянуть, цел ли привязанный на запятках сундук, что я готов был почувствовать почти признательность ко всякому, кто любезно согласился бы украсть его. После этого между нами было условлено, что, когда придет время покинуть Болонью, мы выедем из нее с таким расчетом, чтобы прибыть в Феррару не позднее восьми часов вечера; и это оказалась приятнейшая вечерняя поездка, хотя мы и ехали по совершенно плоской равнине, постепенно становившейся все более вязкой из-за разлива рек и ручьев, вздувшихся после недавних ливней.

На закате я прошел немного пешком, пока лошади отдыхали, и наткнулся на сцену, которая вызвала во мне необъяснимое, но всем нам знакомое ощущение, будто я это уже когда-то видел, и которую я до сих пор ясно вижу перед собой. В ней не было ничего примечательного. В кроваво-красном освещении печально поблескивала полоска воды, подернутая вечерней рябью; у краев ее было несколько деревьев. На переднем плане стояла группа притихших крестьянских девушек; опершись о перила мостика, они смотрели то в небо, то вниз, на воду; издалека доносился глухой гул колокола; на всем лежали тени наползающей ночи. Если бы в одном из моих прошлых существований * я был убит именно в этом месте, то и тогда я не мог бы вспомнить его отчетливее и с таким содроганием. И теперь воспоминание о реально виденном настолько подкреплено памятью воображения, что я вряд ли когда-нибудь забуду это место.

Старая Феррара еще пустынней, еще безлюдней, чем любой другой город из этого славного братства! Ее безмолвные улицы до того заросли травою, что здесь можно буквально «косить, пока солнце на небе» *. Но в мрачной Ферраре солнце светит так тускло, а людей так мало, что трава, которой поросли городские площади, кажется выросшей на могилах.

Меня поражает, почему в городах Италии старшина медников * неизменно живет рядом с гостиницей или прямо напротив нее, и постояльцам кажется, будто неистовые молоты стучат у них в груди вместо сердца! Меня поражает, почему каждая спальня в гостинице окружена со всех сторон ревнивыми коридорами и изобилует ненужными дверьми, которые не затворяются или не отворяются и ведут куда-то в непроглядную тьму. Меня поражает, почему в добавление к этим духам недоверия, которые всю ночь сторожат ваш сон, приоткрыв рты, высоко в стенах проделаны еще круглые «глазки́», и когда за обшивкой скребется мышь или крыса, вам кажется, будто кто-то царапает стену, стараясь дотянуться до «глазка̀» и заглянуть к вам. Меня поражает, почему вязанки хвороста сложены таким образом, чтобы накалять помещение до нестерпимой жары, пока они горят, и погружать его в столь же нестерпимый холод и чад во все остальное время! Но больше всего меня поражает, почему устройство печей в итальянских гостиницах таково, что весь огонь вылетает в трубу, а весь дым остается в комнате!

Ответ несущественен. Медники, двери, глазки́, дым и вязанки хвороста, я согласен на все. Но дайте мне улыбающееся лицо слуги или служанки, учтивое обхождение, любезное желание снискать ваше расположение и показать, что и к вам хорошо расположены, веселую, милую непринужденность — все эти драгоценные алмазы, сияющие в грязи, — и я завтра же снова готов мириться со всем.

Дом Ариосто, темница Тассо *, старинный, причудливый готический собор и, конечно, как и везде, церкви — вот достопримечательности Феррары. Но лучшие достопримечательности ее — это длинные безмолвные улицы и полуразрушенные дворцы, где вместо флагов свисают

гирлянды плюща, а буйно разросшиеся сорные травы медленно вползают по ступеням лестниц, где давно не ступала человеческая нога.

Вид этого мрачного города, когда я покидал его в одно прекрасное утро за полчаса до восхода, был столь же живописен, как и призрачен. Что его обитатели еще не поднялись ото сна, не имело никакого значения, ибо, если бы все они уже встали и занимались своими делами, облик пустынного города от этого мало изменился бы. Лучше всего было смотреть на него, когда на картине нет ни единой фигуры; это — Город Мертвых, где никого не осталось в живых. Казалось, чума опустошила улицы, площади и рынки; враг, осаждавший город, разрушил дома, разбил двери и окна, проломил кровли. С одной стороны подымалась в небо высокая башня, единственный приметный предмет в этой печальной панораме. С другой — стоял одинокой громадой за́мок, окруженный рвом — сам по себе целый город,— унылый и хмурый. В черных подземельях этого замка глухой ночною порой были некогда обезглавлены Паризина и ее возлюбленный. Когда я оглянулся на за̀мок, отблески восходящего солнца обагрили его стены кровью снаружи, как в старину они много раз бывали обагрены изнутри; но теперь замок и город были так пустынны и мертвы, точно люди стали избегать их с того мгновения, как на последнего из обоих любовников обрушился зловещий топор, и последним огласившим их звуком

Был стук топора, что вонзился во плаху,
Обрушенный мощной рукою с размаху.

Прибыв к берегу По, который сильно вздулся и бешено катил свои воды, мы переправились через него по плавучему мосту и, оказавшись в австрийских владениях, продолжали свое путешествие по местности, значительная часть которой была затоплена. Но сначала Бравый курьер и солдаты препирались в течение получаса, а может быть, и побольше, и все о том же — о нашем паспорте. Это вообще составляло ежедневное развлечение моего Бравого, который при появлении чиновников в поношенной форме неизменно был поражаем внезапною глухотой — а они то и дело появлялись перед нами,

выскакивая из своих деревянных будок, чтобы проверить наш паспорт или, иными словами, чем-нибудь поживиться от нас,— и оставался глух, как колода, когда я убеждал его поднести таможеннику какой-нибудь пустячок и спокойно продолжать путь. Вместо этого он всячески поносил чиновника на ломаном английском языке, а лицо этого несчастного, обрамленное окном нашей кареты, являло зрелище смертельной тоски — из-за полного непонимания того, что говорилось в его поношение.

Наш форейтор на этом дневном перегоне обладал внешностью самого дикого и неукротимого красавца бродяги, какого можно себе представить. Это был высокий, могучего сложения, смуглый парень с густою копной черных волос, свисавших на его лицо, и пышными черными бакенбардами, уходившими под самое горло. На нем были продранный темно-зеленый костюм с красной отделкой, высокая, как колокольня, шляпа без всяких следов ворса, со сломанным и грязным, воткнутым за ленту пером и огненно-красный платок, повязанный вокруг шеи и спускавшийся на плечи. Он не сидел в седле, а удобно устроился на чем-то вроде подножки, приделанном к передку кареты, пониже конских хвостов, где его голову в любой момент могли размозжить копыта. Как-то, когда мы ехали степенной рысцой, Бравый курьер заметил этому разбойнику, что можно двигаться, пожалуй, и побыстрее. Тот отвечал насмешливым воплем, взмахнул над головой бичом (и каким бичом! он был скорее похож на самодельный лук), подскочил выше лошадей и в приступе негодования нырнул куда-то под переднюю ось.

Я был убежден, что увижу его распростертым на дороге в сотне ярдов позади нас, но в то же мгновение показалась его высокая, как колокольня, шляпа, и он снова оказался на своем месте, как на софе, всецело захваченный сообщенной ему Бравым курьером мыслью и крича во весь голос: «Ха-ха! Еще чего? Черт побери! Поскорее, говорите? Ноо-о-о-о!» (последнее восклицание — непередаваемо вызывающим тоном). Желая добраться до ближайшей цели нашего путешествия к вечеру, я решился через некоторое время повторить этот опыт на свой риск и страх. Результат был тот же. Над головой нашего форейтора взвился бич, проделав в воз-

духе тот же презрительный росчерк, снова взлетели вверх его пятки, нырнула похожая на колокольню шляпа, и он тотчас же снова оказался передо мной, расположившись на своем месте, как прежде, и обращаясь к самому себе: «Ха-ха! Еще чего? Черт побери! Поскорее, говорите? Ноо-о-о-о!»

Итальянское сновидение

Я ехал несколько дней подряд, останавливаясь лишь по ночам, да и то ненадолго. Новые места и предметы, непрерывною чередой проносившиеся у меня перед глазами, возвращались в виде неясных грез, и, пока меня везли по какой-нибудь пустынной дороге, образы этих мест и предметов, теснясь и сливаясь друг с другом, метались в моем мозгу. По временам то тот, то другой из них замирал, казалось, на месте, его неугомонное мелькание приостанавливалось, и я мог вглядеться в него и отчетливо рассмотреть. Спустя несколько мгновений он начинал расплываться как картина волшебного фонаря, и, в то время как я видел какую-нибудь часть его вполне ясно, другие смутно, а остальных вовсе не видел, сквозь него постепенно вырисовывалось и проступало что-нибудь другое из виденного. Не успевало это изображение стать явственно различимым, как и оно в свою очередь растворялось в каком-нибудь новом, и так без конца.

Был момент, когда мне снова привиделись старые, суровые церкви Модены. Едва я узнал их причудливые колонны и мрачных чудовищ, на которых они покоятся, мне вдруг почудилось, будто я созерцаю их, находясь на тихой площади Падуи с ее чинным старым университетом и фигурами в строгих одеждах возле него. Потом я бродил по окраинам этого прелестного города, поражаясь необычной опрятности и чистоте его жилищ, парков и фруктовых садов, виденных мной наяву всего за несколько часов до этого. Вслед за тем на их месте внезапно поднялись обе болонские башни, но даже самое упорное из этих видений тотчас же отступало перед обнесенным глубокими рвами замком Феррары, похожим на

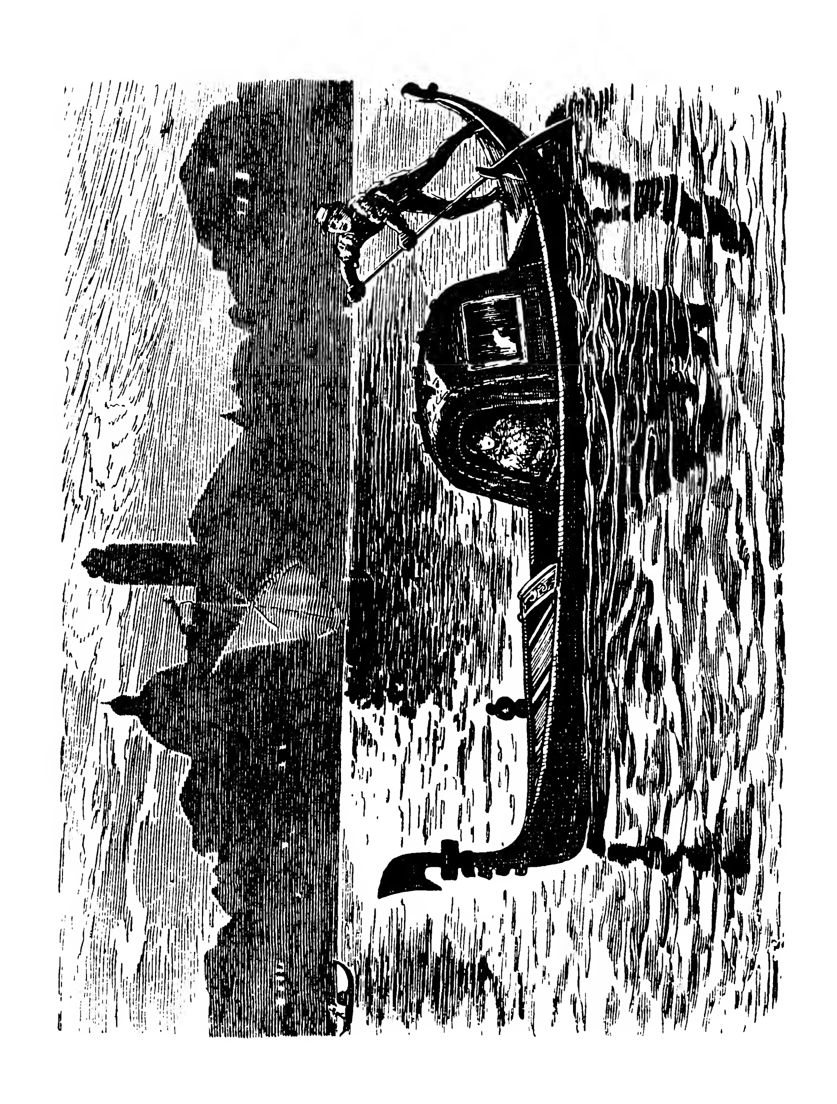
иллюстрацию к страшной повести, который снова возник передо мной в красных лучах восходящего солнца, господствуя над безлюдным, заросшим травою, запустелым городом. Короче говоря, у меня в мозгу царила та бессвязная, но упоительная сумятица, которая свойственна путешественникам и которую они поощряют с ленивой беспечностью. Каждый толчок экипажа, в котором я ехал, погруженный в дремоту, казалось, выталкивал из моих грез только что завладевшее мною воспоминание, чтобы втолкнуть взамен что-нибудь новое; и в таком состоянии я заснул.

Через некоторое время я проснулся (как мне почудилось) из-за того, что экипаж остановился. Было совсем темно; мы стояли у самой воды. Я заметил черную лодку с маленьким домиком или каюткой, окрашенной в тот же траурный цвет. Я сел в лодку, и двое гребцов, взявшись за весла, погнали ее на яркий огонь, видневшийся далеко в море.

То и дело тяжело вздыхал ветер. Он бороздил воду, раскачивал лодку и нагонял темные тучи, закрывавшие звезды. Мне казалось очень странным плыть куда-то в такой поздний час, оставляя позади себя землю, и направляться к этому огню на море. Вскоре он заблистал ярче; теперь это был уже не сплошной огонь, а ряды огоньков, мерцавших и сверкавших над самой водой, и лодка приближалась к ним по какому-то дремлющему каналу, обозначенному вехами и столбами.

Мы проплыли по этому темному морю, должно быть, миль пять, когда я услышал — все так же во сне — плеск и журчанье воды, встречавшей где-то возле нас невидимое препятствие. Внимательно осмотревшись вокруг, я заметил во тьме нечто черное и массивное, похожее как будто на берег, но вместе с тем лежавшее плашмя на воде, на одном уровне с нею, как плот. Старший из гребцов сказал, что здесь хоронят покойников.

Пораженный этим кладбищем в открытом море, я обернулся назад, силясь разглядеть его очертания, но что-то сразу заслонило их от меня. Прежде чем мне удалось разобраться, что это было, я обнаружил, что мы скользим по какой-то призрачной улице: с обеих сторон прямо из воды поднимались дома, и наша черная лодка



бесшумно плыла под их окнами. Некоторые из этих окон были ярко освещены, и падавшие из них лучи света, отражаясь в черном потоке, вонзались в него, меряя его глубину; но всюду царила мертвая тишина.

Так мы проникали все дальше в этот призрачный город по узким улицам и переулкам, где всюду высоко стояла вода. В иных местах, где нам требовалось сворачивать, было настолько тесно и повороты были такими крутыми, что казалось просто немыслимым, чтобы наша длинная лодка могла там повернуть. Но гребцы тихим мелодическим выкриком предупреждали о себе встречных и, не останавливаясь, направляли ее в нужную сторону. Иногда гребцы с какой-нибудь другой черной лодки, похожей на нашу, отзывались на этот выкрик и, убавив ход (мне казалось, что и мы делали то же), проносились мимо нас как черная тень.

Другие лодки того же мрачного цвета были привязаны, как мне показалось, к раскрашенным причальным столбам у таинственных темных дверей, отворявшихся прямо на воду. Некоторые были пусты, в иных спали гребцы. В одну из них, я видел, спускались какие-то люди, выходившие из дворца по сумрачному сводчатому проходу,— они были нарядно одеты, и их сопровождали слуги с факелами. Но мне удалось лишь мельком взглянуть на них, так как низко нависший над нашей лодкою мост — один из многих мостов, смущавших мое сновидение,— готовый, казалось, вот-вот обрушиться и раздавить нас, тотчас же закрыл их от меня. Мы плыли к самому сердцу этого удивительного города — нас окружала вода, она была всюду, где ее обычно не бывает — из нее поднимались дома, церкви, огромные величавые здания, и повсюду царила все та же необычайная тишина. Вскоре мы пересекли широкий открытый проток и, пройдя мимо просторной мощеной набережной, где яркие фонари позволили мне разглядеть длинные ряды арок и их опор основательной кладки и поразительной прочности, но на вид легких, как узоры инея или ниточки осенней паутины, и где я впервые за это время увидел людей, ступавших по земле, причалили к лестнице, ведшей в большой особняк; здесь, миновав бесчисленные коридоры и галереи, я оказался в какой-то комнате, где прилег отдохнуть;

и прислушиваясь к плеску воды, по которой скользили взад и вперед под моим окном черные лодки, я наконец уснул.

Сияние дня, ослепившего меня в моем сновидении, его свежесть, и радостный блеск, и блики солнца на воде, чистое синее небо и струящийся воздух — все это не может быть выражено на языке бодрствующих. Я смотрел из окна на лодки и корабли, на мачты; паруса, снасти, флаги, на хлопотливых матросов, занятых погрузкой и разгрузкой этих судов, на широкие набережные, заваленные кипами, бочками, товарами всякого рода, на большие корабли, в величавой праздности покоившиеся на якоре, на острова, увенчанные пышными куполами и башнями, где золотые кресты блестели на солнце над волшебными храмами, возносившимися из лона морского. Спустившись к зеленому морю, трепетавшему у самых дверей и заполнившему собою все улицы, я вышел на площадь такой невиданной красоты и величия, что все остальное потускнело рядом с ее всезатмевающей прелестью.

Это была просторная piazza, покоившаяся, подобно всему остальному, на якоре посреди океанских просторов. На ее широкой груди возвышался дворец, более величественный и великолепный в старости, чем любое здание в мире в расцвете молодости. Внутренние дворики и галереи — такие воздушные, что могли бы сойти за творения, созданные руками волшебников; такие прочные, что сокрушить их не удалось даже столетиям,— окружали этот изумительный дворец и соединяли его с собором, вместившим всю роскошь необузданно-пышных фантазий Востока. Близ его портала стройная, отдельно стоящая башня, одиноко вознося свою гордую голову в небо, всматривалась в даль Адриатики. На берегу протока высились две зловещие порфирные колонны; одну из них увенчивала фигура с мечом и щитом, другую — крылатый лев. Невдалеке от этих колонн была еще одна башня, необычайно богатого убранства даже здесь, среди стольких богатств; верхняя часть ее несла на себе большую, сверкавшую золотом темно-синюю сферу с изображением двенадцати знаков Зодиака, вокруг которой вращалось миниатюрное солнце; еще выше два бронзовых

великана отбивали часы, ударяя молотами в гулкий колокол. Продолговатая площадь с высокими домами из белого камня, окруженная легкой и красивой аркадой, дополняла эту чарующую картину; здесь и там подымались нарядные мачты для флагов, выраставшие из мостовой, которой была покрыта эта эфемерная суша.

Мне пригрезилось, что я вошел в собор, долго бродил среди его многочисленных арок и пересек его из конца в конец. Это было величественное, поистине сказочное сооружение исполинских размеров, светившееся золотом старинных мозаик; насыщенное благовониями; застланное дымком ладана; полное сокровищ — драгоценных камней и металлов — сверкавших за железными решетками; освященное мощами святых; расцвеченное многоцветными витражами; отделанное темной деревянной резьбой и цветным мрамором; погруженное в полумрак из-за огромной высоты купола и протяженности стен; озаряемое серебряными лампадами и мерцающими огоньками свечей; нереальное, фантастическое, торжественное, непостижимое. Затем мне пригрезилось, будто я вошел в старинный дворец; я обходил одну за другой его безмолвные галереи и залы заседаний Совета, где на меня сурово смотрели со стен былые правители Владычицы морей и где ее галеры с высоко задранными носами, все еще победоносные на полотне, сражались и одолевали врагов, как когда-то. Мне снилось, будто я бродил по его некогда роскошным парадным залам, теперь голым и пустым, размышляя о его былой славе и мощи — былой, ибо все тут было в прошлом, все в прошлом. Я услышал голос: «Кое-какие следы древнего величия республики и кое-что примиряющее с ее упадком можно увидеть и сейчас».

После этого меня ввели в какие-то мрачные покои, сообщавшиеся с тюрьмой и отделенные от нее лишь высоким мостом, переброшенным через узкую улицу и носившим название Моста Вздохов.

Но сперва я прошел мимо двух щербатых щелей в стене — то были, как подсказал мне мой мучительный сон, львиные пасти, теперь беззубые, куда не раз опускались во мраке ночи доносы неумолимому и неправедному Совету республики, чернившие невинных людей.

И когда я увидел зал Совета, куда приводили узников на допрос, и дверь, через которую они удалялись после вынесения им смертного приговора, дверь, никогда не затворявшуюся за теми, у кого была впереди жизнь и надежда, мне показалось, будто сердце во мне останавливается и замирает.

Оно сжалось еще болезненнее, когда из светлого царства дня я спустился с факелом в руке в ужасные подземные каменные мешки — в два яруса, один над другим. Здесь была кромешная тьма. В толстой стене каждой камеры было пробито небольшое отверстие, в которое некогда ежедневно ставили на полчаса факел, чтобы светить узнику. Заключенные, пользуясь этим непродолжительным мерцающим светом, вырезали и выцарапывали на почернелых стенах различные надписи. Я видел эти надписи. Труды узников, начертавших их кончиком ржавого гвоздя, пережили на много поколений и их страдания и их самих.

Я видел камеру, в которой никто не оставался более суток; попадая в нее, человек был уже обречен на смерть. К ней примыкала другая, не менее мрачная, куда ровно в полночь приходил исповедник — монах в коричневом одеянии с капюшоном,— похожий на привидение даже днем, при ясном свете солнца, но в полночь, в этой страшной тюрьме — гаситель надежды и предтеча палача. Я стоял на том самом месте, где душили покаявшегося и причащенного узника, и касался рукой низкой потайной двери — соучастницы злодейств, через которую выносили тяжелый мешок, чтобы положить его в лодку и, отплыв подальше, утопить в море, там, где под страхом смерти запрещалось закидывать сети.

Вокруг этой тюрьмы-твердыни и над нею, облизывая толстые стены снаружи и испещряя их изнутри пятнами сырости и липкою плесенью, забивая водорослями и отбросами щели и углубления, точно и решетки были ртами, которые требуется заткнуть, предоставляя удобный путь, чтобы увозить трупы тайных жертв правительства, услужливый путь, который сам бежал перед ними, подобно безжалостному слуге правосудия,— струилась та же вода, что заполняла мое сновидение; она-то и превращала все в сон.

Уходя из дворца по лестнице, носившей название Лестницы Великана, я смутно вспомнил одного старца, который, отрекшись от власти, сходил по ее ступеням все медленнее и неуверенней, и вдруг услыхал колокольный звон в честь своего преемника *. Сев в одну из черных лодок, я поплыл к старому арсеналу, который сторожили четыре мраморных льва. Чтобы придать моему сновидению еще больше неправдоподобия и фантастичности, на туловище одного из них были начертаны — неведомо когда, неведомо на каком языке — какие-то слова и даже целые фразы, содержание которых остается и поныне неразгаданной тайной.

Это место предназначалось для постройки судов; но здесь почти не слышно было стука молотков, почти не видно работы; я уже говорил, что все большие дела этого города были в прошлом. Он был подобен кораблю, потерпевшему крушение и носящемуся по волнам; чужой флаг развевался у него на корме, чужестранцы стояли у руля. Мне пригрезилось, что роскошная барка, на которой глава государства некогда выезжал торжественно обручаться с морем *, уже не стояла у пристани; ее заменила крошечная модель, воссоздававшая ее по памяти, как воссоздано и все былое величие города; но она говорила о былом (так малое и великое смешиваются во прахе) почти так же красноречиво, как массивные каменные столбы, арки и навесы, возведенные, чтобы укрывать в своей тени великолепные корабли, которые давно уже не отбрасывают тени ни на воде, ни на суше.

Арсенал находится здесь и поныне. Он опустошен и разграблен, но это все-таки арсенал — с надменным знаменем, взятым у турок и поникшим в неволе. Тут хранится богатый набор доспехов, которые носили когда-то великие воины; самострелы и дротики, колчаны, полные стрел, копья, мечи, кинжалы, палицы, щиты и тяжеловесные алебарды. Здесь находятся также пластины из кованой стали и кованого железа, превращавшие красавца коня в чудовище, покрытое металлической чешуей, и еще некое метательное оружие (его было легко носить на груди), предназначенное делать свое дело бесшумно и выпускавшее стрелы с отравленным наконечником.

Я видел, кроме того, сундук или ларь, полный про-

клятыми орудиями чудовищных пыток, изобретенными, чтобы сжимать, дробить и давить кости людей, и выкручивать, и выворачивать их в мучениях, которые хуже тысячи смертей. Перед этим ларем выставлены два железных шлема с нагрудниками; в них сдавливали и сплющивали голову жертвы; на каждом был небольшой выступ, наподобие наковальни, чтобы руководивший пыткою демон мог удобно опираться локтем и слушать, приложившись своим каменным ухом, стоны и признания зажатого в этом шлеме страдальца.

В них было столько жуткого сходства с головами живых людей, они казались такими точными слепками залитых пòтом, страдальческих, искаженных пыткою лиц, что трудно было поверить, будто внутри их пусто; страшные призраки, как бы еще заключенные в них, преследовали меня, когда я уже снова сел в лодку и отправился в некий общественный сад посреди моря — настоящий сад с деревьями и травой. Но я позабыл о них, стоя в дальнем конце этого сада и глядя на водную рябь и заходящее солнце; передо мною, в небе и на воде, пылал алый румянец, а позади меня весь город сливался в красные и багряные полосы, тянувшиеся над морем.

Подавленный и изумленный великолепием этого сновидения, я не замечал бега времени и имел о нем лишь самое смутное представление. В этом сладостном сне протекло несколько дней и ночей; легкие волны плескались у стен домов и оград, а моя черная лодка, относимая ими, все скользила вдоль улиц — и когда солнце стояло высоко в небе и когда лучи ночных фонарей преломлялись в бегущей воде.

Иногда, останавливаясь у дверей какой-нибудь церкви или громадного дворца, я выходил из лодки и бродил по комнатам и переходам, по лабиринтам богато украшенных алтарей, древних памятников, заброшенных парадных покоев, где ветшала старинная мебель, одновременно смешная и страшная. Там были и произведения живописи, полные неумирающей прелести и выразительности, дышащие такою страстью, правдивостью и мощью, что среди этого сонма призраков они одни казались юными, свежими и живыми. Мне грезилось, что все изображенное на этих картинах — а они нередко изображали

былые дни города, его красавиц, тиранов, полководцев, патриотов, купцов, придворных и священников; даже самые камни его и площади,— что все это вновь оживает передо мной. Затем, сойдя по какой-нибудь мраморной лестнице, нижние ступени которой заливала медленно струившаяся вода, я снова садился в лодку и снова пускался в путь.

Мы плыли по узким переулкам, где плотники, работая в своих мастерских рубанком и долотом, бросали легкую стружку в воду, и она недвижимо лежала на ней, похожая на водоросли, или плыла, сбившись в кучку, впереди нас. Через открытые настежь двери, сгнившие от постоянной сырости, виднелись крошечные участки земли, засаженные виноградной лозой, блиставшей яркою зеленью и бросавшей причудливые тени на камни мощеных двориков. Мы проплывали мимо набережных и террас, где прохаживались женщины в изящно накинутых шалях и покрывалах и ничем не занятые мужчины нежились на солнце, прямо на каменных плитах или ступенях лестниц. Мы проплывали мимо мостов, и тут тоже были ничем не занятые мужчины, перегнувшиеся через перила; под каменными балконами, повисшими на головокружительной высоте, под высочайшими окнами высочайших домов; мимо маленьких садиков, театров, часовен, мимо вереницы великолепных творений архитектуры — готического и мавританского стиля,— фантастических, изукрашенных орнаментами всех времен и народов; и мимо множества других зданий, высоких и низких, черных и белых, прямых и покосившихся, жалких и величественных, шатких и прочных. Мы пробирались среди сбившихся в кучу барок и лодок и вышли в конце концов на Большой канал. И здесь в стремительной смене картин, мелькавших в моем сновидении, я увидел старого Шейлока *, который прохаживался по мосту, застроенному лавками и гудевшему от немолчного говора людей; в какой-то женщине, которая высунулась из-за решетчатых ставен, чтобы сорвать цветок, мне почудилась Дездемона, и казалось, будто дух самого Шекспира витает над водой и над городом.

Ночью, когда в окружавшей главный собор галерее, под самым сводом ее, мерцали перед изображением бого-

матери две зажженные по обету лампады, мне показалось, будто большая площадь Крылатого льва залита ярким светом, будто вся аркада полна народу и толпы людей развлекаются в выходящих на нее великолепных кофейнях, которые, как мне пригрезилось, никогда не запираются и открыты всю ночь. Когда бронзовые великаны пробили полночь, я подумал, что вся жизнь города сосредоточена в это время именно здесь; отчалив отсюда и плывя мимо тихих набережных, я видел кое-где только спящих лодочников, которые, завернувшись в плащи, растянулись на каменных плитах.

Но вокруг набережных и церквей, дворцов и тюрем, облизывая их стены и прокрадываясь в самые потаенные уголки города, везде и всюду струилась вода. Бесшумная и настороженная, обвивая его со всех сторон бесконечными петлями, как огромная змея, она терпеливо ждала того времени, когда людям придется разыскивать в ее глубинах каждый камень древнего города, прозывавшегося когда-то ее владычицей.

Так она несла меня на себе, пока я не проснулся на Старом рынке в Вероне. И с той поры я многое множество раз размышлял о странном моем сновидении на воде, не вполне убежденный, там ли еще этот город, и зовется ли он Венецией.

Через Верону, Мантую, Милан и Симплонский перевал в Швейцарию

Я почти страшился ехать в Верону; я боялся, как бы эта поездка не развеяла очарования пленительных образов Ромео и Джульетты *. Но едва я оказался на Старом рынке, как все мои опасения бесследно исчезли. Эта площадь так своеобразна и живописна, окружена такими причудливыми — каждое на свой лад — строениями, что ничего лучшего нельзя придумать даже для этого романтичного города — места действия одной из самых романтичных и прекрасных повестей.

Вполне естественно, что прямо с Рыночной площади я направился к дому Капулетти, претерпевшему величай-

шее унижение и превратившемуся теперь в убогую гостиницу. Шумные веттурино и ломовые телеги теснились во дворе, где была непролазная грязь и ходил выводок забрызганных ею гусей; тут же был устрашающего вида пес, злобно рычавший в дверях,— если бы он существовал тогда на свете и был спущен с цепи, он не преминул бы вцепиться Ромео в ногу, когда тот перекинул ее через забор. Плодовый сад перешел в руки других владельцев и уже давно отделен от всего остального, а раньше он был при доме, или мог бы быть, и над воротами, что ведут во двор с улицы, еще сохранилось изображение шляпы (capello) — старинного герба этой семьи, высеченное на камне. Гуси, ломовые телеги, их возницы и пес, надо признаться, несколько мешали: гораздо приятнее было бы найти дом совершенно пустым и иметь возможность пройтись по его нежилым комнатам. Но шляпа все же доставляла невыразимое утешение, и место, где полагалось быть саду, едва ли меньшее. Да и сам дом, хоть он был весьма скромных размеров, казался таким настороженным, таким недоверчивым, что с этой стороны все было в полном порядке. Итак, я был удовлетворен этим домом, как несомненным жилищем старого Капулетти, и, соответственно, признателен женщине средних лет — padrona[1] гостиницы, которая, усевшись на пороге, лениво созерцала своих гусей и по меньшей мере в одном отношении была похожа на Капулетти — у нее также была достаточно большая «семья».

Переход от дома Джульетты к могиле Джульетты столь же естествен для посетителя, как и для самой бедняжки Джульетты, прекрасной и гордой Джульетты, которая «своим сияньем факелы затмила». Итак, сопровождаемый проводником, я направился к старому-престарому саду, принадлежавшему некогда, как я полагаю, старому-престарому монастырю; впущенный в него через развалившиеся ворота быстроглазою женщиной, занятой стиркой белья, я прошел по дорожкам, обсаженным молодыми кустами и цветами, которые красиво выделялись среди обломков старой стены и увитых плющом могил; здесь мне показали нечто вроде не-

---

[1] Хозяйка *(итал.)*.

большого чана или лохани для воды, и быстроглазая женщина, вытирая о головной платок свои мокрые руки, сказала: «La tomba di Giulietta la sfortunata» [1]. Готовый всей душою уверовать в это, я смог, при всем моем добром желании, поверить лишь в то, что этому верила быстроглазая женщина; итак, я оказал ей в этом кредит и сверх того расплатился с ней звонкой монетой.

Я не был разочарован; напротив, было скорее приятно, чем неприятно, что место, где покоится прах Джульетты, забыто.

Быть может духу Йорика * утешительны звуки шагов на его могильной плите и повторение его имени раз по двадцать на день; но Джульетте спокойнее лежать в стороне от туристских дорожек и не знать других посетителей, кроме весеннего дождика, ароматного ветерка и солнечных лучей.

Прелестная Верона! С ее дворцами, старинными и прекрасными, с очаровательными окрестностями, видными в отдалении с дорожек, подымающихся уступами, или с великолепных, окруженных балюстрадой площадок. С арками времен древнего Рима, перекинутыми над улицей и отбрасывающими под сегодняшним солнцем тень пятнадцати протекших столетий. С отделанными мрамором церквами, высоко возносящимися башнями, богатой архитектурой и необычными старыми тихими улицами, где некогда раздавались крики Монтекки и Капулетти, заставлявшие

...и престарелых граждан,
Убранство сняв пристойное, хватать
Рукою дряхлой дряхлое оружье *.

С ее быстро бегущей рекой, живописным старым мостом, большой цитаделью, качающимися кипарисами и всем ее милым, таким веселым и располагающим обликом! Прелестная Верона!

В самом центре ее, на Piazza di Brá — как призрак минувших времен, посреди привычной действительности,— находится большой римский цирк. Он так хорошо сохранился и с такою заботливостью поддерживается, что все ряды его амфитеатра целы и посейчас.

[1] Гробница несчастной Джульетты *(итал.)*.

Над иными из сводов еще можно видеть древние римские цифры; коридоры и лестницы, подземные переходы для диких зверей и извилистые проходы под землею и над землей — все это осталось таким, каким было, когда там теснились толпы, жадные до кровавых зрелищ.

В тенистых местах и в углублениях стен гнездятся теперь кузнецы со своими горнами и несколько мелких торговцев со всякою всячиной, а на барьере зеленеют трава, дерн и листва, но в остальном мало что изменилось.

Обойдя с большим интересом все это здание и, поднявшись в верхний ярус амфитеатра, я оторвался от живописного вида, замыкавшегося вдали отрогами Альп, и посмотрел вниз на арену; мне показалось, будто передо мной перевернута огромная соломенная шляпа с широченными полями и очень мелкою тульей, причем спиральные витки соломы — это сорок четыре ряда сидений. Предлагаемое мною сравнение кажется прозаическим и несколько надуманным, когда трезво оцениваешь его или видишь изложенным на бумаге, но в тот момент оно прямо напрашивалось.

Незадолго до меня здесь побывала конная труппа,— быть может, та самая, которая предстала взорам пожилой дамы в моденской церкви,— и на одном конце арены ею был выравнен небольшой круг, где и происходили ее выступления и где еще были видны свежие следы конских копыт. Я тотчас представил себе горсточку зрителей, уместившихся на одной или двух каменных скамьях древнего цирка, кавалера, усыпанного мишурными блестками, и забавного Пульчинеллу * посреди мрачных стен, глядевших на их представление. И я думал о том, какой странной должна была показаться этим безмолвным зрителям излюбленная смешная сценка, изображающая путешествующих англичан: знатного британца (лорда Джона), с отвислым животом, в синем фраке до пят, ярко-желтых панталонах и белой шляпе, выезжающего на вздыбленном коне, посадив сзади себя знатную английскую даму (леди Бетси) — в соломенной шляпке, зеленом вуале и красном спенсере *, не расстающуюся с гигантским ридикюлем и складным зонтом.

Остальную часть дня я ходил по городу и мог бы, кажется, ходить до сих пор. В одном месте я обнаружил

очень красивый и вполне современный театр, где только закончилось представление всегда популярной в Вероне оперы о «Ромео и Джульетте» *. В другом — нашел размещенное под колоннадой собрание греческих, римских и этрусских древностей; * ведал ими древний старик, который и сам мог бы сойти за этрусскую древность, ибо, после того как он снял с железных ворот запоры, у него не хватало сил распахнуть их пред нами, не хватало голоса, чтобы его объяснения были слышны, не хватало зрения, чтобы видеть те самые древности, которые он объяснял,— до того был он дряхл.

Затем я разыскал картинную галерею, до того, впрочем, ужасную, что видеть, как истлевают там картины, было даже приятно. Но везде: в церквах, во дворцах, на улицах, на мосту или в заречье, Верона была все так же прелестна, и в моей памяти она такой и останется навсегда.

В тот же вечер я перечел «Ромео и Джульетту» в гостинице, у себя в комнате — ни один англичанин, конечно, не читал ее тут до меня — и наутро, на восходе солнца выехал в Мантую, повторяя про себя в купе омнибуса, возле кондуктора, который в это самое время читал «Тайны Парижа» *, все те же строки:

Но для меня — не мир вне стен Вероны,
Чистилище там, пытка, самый ад!
Изгнав отсюда, этим изгоняет
Из мира он меня, а это — смерть! *

Эти слова напомнили мне, что Ромео был изгнан всего на двадцать пять миль от Вероны, и, пожалуй, немного поколебали мое доверие к его смелости и энергии.

Не знаю, была ли в те времена дорога в Мантую так же прекрасна, как ныне; вилась ли она среди пастбищ, таких же зеленых, так же вспыхивавших блеском бегущих потоков и усеянных свежими купами стройных деревьев. Эти пурпурные горы наверняка так же вставали на горизонте; и наряды крестьянских девушек, закалывающих волосы большой серебряной шпилькой, похожей на английскую трость с литым набалдашником, едва ли с тех пор значительно изменились. Столь бодрящее утро и такой пленительный восход солнца должны были радовать даже душу изгнанного влюбленного; Мантуя со сво-

ими башнями, стенами и обилием воды открылась его взорам так же, как она открывается пассажирам банального и чинного омнибуса. Изгнаннику пришлось, надо думать, так же круто и резко сворачивать, пересекая два гулких подъемных моста; он так же, видимо, проехал и по длинному крытому деревянному мосту и, миновав болота и топи, оказался у ржавых ворот сонной Мантуи.

Если когда-нибудь человек в точности соответствовал своему местожительству, а место — человеку, то тощий аптекарь и Мантуя являют собой образец такой совершенной гармонии *. Впрочем, в те времена этот город, быть может, был чуточку оживленнее. Если так, то аптекарь несомненно предвосхитил будущее и предвидел, чем станет Мантуя в 1844 году. Он достаточно часто постился, и это обостряло его проницательность.

Я остановился в гостинице «Золотой Лев» и вместе с Бравым курьером занимался у себя в комнате обсуждением наших планов, как вдруг послышался робкий стук в дверь, выходившую во внешнюю, окружавшую двор галерею, и на редкость жалкого вида маленький человечек, заглянув внутрь, спросил, не нуждается ли приезжий господин в чичероне, который смог бы показать ему город. Стоя в полуоткрытых дверях, он глядел так печально и умоляюще, на его потертой одежде, маленькой смятой шляпе и изношенной до ниток перчатке — он держал шляпу в руке — проступал такой явственный отпечаток беспросветной нужды — тем более, что все это, видимо, составляло его лучший наряд, в который он поспешил облачиться,— что отослать его прочь было бы так же жестоко, как наступить на него. Я тут же нанял его, и он вошел в комнату.

Пока я заканчивал разговор с Бравым, мой чичероне сиял, стоя в углу, и пытался чистить рукавом мою шляпу. Если бы его плата исчислялась в стольких же наполеондорах *, сколько в ней было франков, то и это не озарило бы мрака его нищеты таким ослепительным лучом солнца, какой осветил все его существо теперь, когда и для него нашлось дело.

— Ну что ж,— сказал я, покончив с делами,— пойдем?

— Если господину будет угодно. Сегодня чудесный

день. Немножко свежо, но восхитительно, просто восхитительно. Господин позволит мне отворить дверь? Это гостиничный двор. Двор «Золотого Льва». Попрошу господина поосторожнее сходить с лестницы.

Мы вышли на улицу.

— Это улица «Золотого Льва». А это — фасад «Золотого Льва». А вон то замечательное окно в первом piano [1], то самое, где разбито стекло, это — окно комнаты господина.

Осмотрев эти достопримечательности, я спросил, много ли любопытного в Мантуе?

— Что вы! По правде говоря, нет. Немного! Да, да, очень немного,— сказал он, виновато пожимая плечами.

— Много церквей?

— Нет. Почти все закрыты французами.

— Мужских и женских монастырей?

— Нет. Те же французы. Почти все закрыты Бонапартом.

— Процветающая торговля?

— Нет, торговля здесь очень вялая.

— Много приезжих?

— О господи!

Мне показалось, что он готов упасть в обморок.

— Так. Что же мы станем делать после осмотра тех двух больших церквей? — сказал я.

Он посмотрел в один конец улицы, в другой конец улицы и робко потер себе подбородок. Затем он сказал, взглянув на меня так, словно его осенила блестящая мысль, и вместе с тем с такой смиренной мольбой о снисходительности, что устоять перед ней было невозможно:

— Мы можем совершить небольшую прогулку по городу (Si può far un piccolo giro della citta).

Это предложение нельзя было принять иначе как с удовольствием, и мы пустились в путь в отличном настроении. На радостях он раскрыл предо мною свою душу и сообщил о Мантуе все, что мог сообщить о ней чичероне.

— Нужно чем-то кормиться,— сказал он,— но это очень глухое место, ничего не поделаешь.

---

[1] Этаже *(итал.)*.

Он выжал все, что только было возможно, и из базилики Санта Андреа — благородной и строгой церкви — и из огороженного участка церковного пола, вокруг которого теплились свечи и стояли на коленях несколько человек и под которым, как говорят, хранится святой Грааль рыцарских романов *. Покончив с этою церковью, а после нее и с другою (собором св. Петра), мы отправились в музей, который оказался заперт. «Не беда,— сказал мой чичероне.— Ба! Смотреть там почти нечего». Затем мы осмотрели Piazza del Diavolo, застроенную самим чертом за одну ночь, без определенной цели, затем Piazza Virgiliana; затем памятник Вергилия, *нашего* поэта, как выразился мой маленький друг, приосанившись на мгновение и чуть-чуть сдвинув шляпу набок. После этого мы направились к чему-то похожему на унылый крестьянский двор, который нужно было пройти, чтобы попасть в картинную галерею. Едва пред нами распахнулись ворота этого убежища, как нас обступило добрых полтысячи гусей, которые вразвалку ходили вокруг и около нас, вытягивали шеи и отчаянно гоготали, точно каждый из них выкрикивал: «О, тут кто-то пришел смотреть картины! Не ходите! Не ходите!» Так как мы все же вошли, они всею толпой ждали нашего возвращения у самой двери, время от времени обращаясь друг к другу с приглушенным лопотанием; едва мы появились, как их шеи вытянулись, точно телескопы, и они подняли громкий гогот, который, без сомнения, означал: «Ага, захотели непременно пойти! Ну каково? Как вам понравилось?» Так они эскортировали нас до самых ворот и с насмешливым видом выпроводили в город.

Гуси, спасшие Капитолий *, по сравнению с этими были чем-то вроде свинины по сравнению с ученой свиньей. Ну и галерея же это была! В вопросах искусства мнение этих гусей я готов предпочесть ученым рассуждениям сэра Джошуа Рейнольдса *.

Когда мы снова оказались на улице, бесславно выпроможенные толпою гусей, моему маленькому другу оставалась только piccolo giro, или небольшая круговая прогулка по городу, которую он советовал уже раньше. Но мое предложение посетить сначала палаццо Тэ, о котором я был наслышан как об удивительном

месте, вдохнуло в него новую жизнь, и мы отправились туда.

Тайна длинных ушей Мидаса * была бы известна не в пример шире, если бы тот из его слуг, который поведал ее шепотом камышу, проживал в Мантуе, где камыша и тростника достаточно, чтобы разгласить эту тайну по всему свету. Палаццо Тэ стоит на болоте среди растительности этого рода, и действительно более странного места я еще ни разу не видел.

Не из-за мрачности, хотя там и очень мрачно, и не из-за сырости, хотя там очень сыро, и не вследствие заброшенности, хотя он заброшен и настолько разорен, насколько может быть разорен какой-нибудь дом. Палаццо Тэ странен главным образом из-за непостижимых кошмаров, которыми расписал изнутри его стены (наряду с другими сюжетами, потребовавшими более изящного исполнения) сам Джулио Романо *. Над одним из каминов изображен гигант, странно скосивший глаза, а на стенах другой комнаты — десятки гигантов (титанов, ведущих войну с Юпитером *), таких невообразимо уродливых, что просто диву даешься, как человеческая фантазия смогла создать подобные существа. В комнате, где их особенно много, эти чудовища с распухшими лицами, израненными щеками, разнообразными увечьями и дикими взглядами шатаются под тяжестью падающих зданий и погибают под развалинами; сдвигают скалы и обрушивают их на себя; пытаются удержать опоры тяжелых кровель, которые валятся им на головы,— словом, подвергают себя и все окружающее безумному и бесцельному разрушению. Фигуры этих титанов — непомерно большие и преувеличенно неуклюжие. Колорит жесток и неприятен, и все вместе действует не как картина, написанная рукой художника, а как нечто вызывающее сильный прилив крови к голове. Эти апоплексические творения были показаны нам болезненной женщиной, вид которой мог объясняться, полагаю, нездоровым воздухом болот; но было трудно отделаться от ощущения, что он вызван ее пребыванием среди гигантов, напугавших ее до смерти, одинокую в этом дворце, подобном вычерпанному колодцу, среди камышей, тростника и постоянных туманов, отовсюду наползающих на него.

Во время нашей прогулки по Мантуе мы находили почти на каждой улице бывшие церкви, иногда используемые как склады, иногда никак не используемые — все до одной настолько ветхие и разрушенные, что едва держались. Расположенный на болоте город был таким скучным и плоским, что казалось, будто облепившая его грязь появилась не обычным путем, но собралась и выступила на его поверхности, как это бывает на стоячей воде. Однако здесь шла кое-какая торговля и извлекались кое-какие выгоды, ибо и тут были аркады, заполненные евреями, где представители этого поразительного народа сидели у своих лавок, созерцая свои товары — шерстяные и бумажные ткани, яркие носовые платки и всякую мелочь — так же настороженно и деловито, как их соплеменники из Хаундсдича в Лондоне *.

Выбрав из соседних с ними христиан веттурино, согласившегося доставить нас в Милан за два с половиною дня и выехать на следующее утро, как только откроют городские ворота, я возвратился в гостиницу «Золотой Лев» и роскошно пообедал у себя в комнате, в узком проходе между двумя кроватями; против меня был дымящий камин, а за спиною — комод. В шесть утра на следующий день мы уже позвякивали бубенчиками, пробиваясь во тьме сквозь мокрую, холодную мглу, запеленавшую город, а перед полуднем наш возница (уроженец Мантуи, шестидесяти лет от роду или около того) принялся спрашивать дорогу в Милан.

Эта дорога идет через Боццоло, некогда маленькую республику, а ныне — один из самых безлюдных и обнищавших городков; здесь хозяин убогой гостиницы (да воздаст ему бог — он делает это еженедельно) раздавал мелкие монеты плачущей толпе женщин и детей в жалких лохмотьях, собравшихся под дождем к его дверям за этой милостыней.

И этот и следующий день мы тащились в тумане, по грязи, под дождем, мимо виноградников, которые в этих местах выращивают у самой земли: наш первый ночлег был в Кремоне, примечательной своими темными кирпичными церквами и необычайно высокой башней — Тораццо — не говоря уже о чудесных скрипках *, которых в наши дни всеобщего упадка и вырождения здесь, конечно,

уже не делают; а второй — в Лоди. Дальше — опять грязь, туман, дождь, заболоченная почва и такая непроглядная мгла, какую англичане, непреклонные в убеждении, что неприятности этого рода известны лишь им одним, считают невозможною за пределами их отечества; так продолжалось, пока мы не попали на замощенные миланские улицы.

И здесь туман был настолько густым, что шпиль прославленного собора был виден не более, чем если б он находился в Бомбее. Но так как мы задержались тут ради отдыха на несколько дней и, кроме того, возвратились сюда следующим летом, я имел достаточно возможностей увидеть это знаменитое здание во всем его величии и красоте.

Честь и слава святому, прах которого покоится там! В святцах немало отличных святых, но Карло Борромео * «милее всех моему сердцу», если позволительно в этой связи процитировать миссис Примроз *. Отзывчивый врач у постели больного, щедрый друг бедняка — и не из слепого благочестия, а потому, что он был смелым борцом против чудовищных злоупотреблений католической церкви — вот за что я чту его память. Не меньше я чту его за то, что он едва не был убит одним священнослужителем, подкупленным другими священнослужителями, чтобы он расправился с ним у алтаря, в отместку за его старания реформировать ханжеское братство монахов. Да оградит небо тех, кто идет по пути Карло Борромео, как оно оградило его! Всякому папе, склонному к церковным реформам, и в наше время не помешал бы подобный щит.

Подземная часовня, где хранятся останки Карло Борромео, полна поразительных и жутких контрастов, как, пожалуй, ни одно место на свете. Пламя свечей отражается и горит на золотых и серебряных горельефах превосходной работы, изображающих важнейшие события жизни святого. Всюду сверкают драгоценные металлы и камни. Передняя стенка алтаря медленно раздвигается и там, в пышной раке из золота и серебра, в алебастровом гробу виднеются высохшие и сморщенные мощи святого. Кардинальское одеяние, в которое он облачен, искрится брильянтами, изумрудами, рубинами и

другими великолепными ценными каменьями. Горстка жалкого праха посреди всего этого блеска кажется еще более жалкой, чем если б она лежала на куче навоза. Каждый луч, отраженный горящими и сверкающими каменьями, кажется насмешкой над пустыми глазницами, в которых некогда были глаза. Каждая нить шелка в богатых одеждах представляется не чем иным, как запасами снеди, созданной червями-шелкопрядами на потребу червей, размножающихся в могилах.

В старой трапезной полуразрушенного монастыря Санта Мария делле Грацие находится произведение искусства, пользующееся, быть может, большей известностью, чем любое другое на свете. Это Тайная вечеря Леонардо да Винчи, в которой сообразительные доминиканские братья проделали дверь, чтобы было удобнее приносить с кухни обед.

Я не знаком с техникой живописи и могу судить о картине, только исходя из того, похожа ли она на природу, облагораживает ли ее, и дарует ли взгляду приятные сочетания форм и цветов. Поэтому я никоим образом не авторитет в том, что зовется «кистью» того или иного художника. Впрочем, я хорошо знаю (как всякий, кто дает себе труд подумать об этом предмете), что даже величайшие мастера могли написать за всю свою жизнь не более половины картин, подписанных их именами и признаваемых за несомненные подлинники множеством так называемых знатоков. Но это лишь мимоходом. Что до Тайной вечери, то я ограничусь простым замечанием, что в Милане действительно существует изумительная картина с великолепною композицией, но на этой картине нет больше ни ее подлинных красок, ни подлинного выражения хотя бы одного-единственного лица или какой-нибудь из его черт. Не говоря уж о разрушениях, произведенных сыростью, губительным временем или небрежностью, она была (как говорит Барри *) столько раз подправлена и подрисована, и притом так грубо, что многие из изображенных на ней голов теперь просто уродливы и на них видны комки краски и штукатурки, торчащие точно шишки и желваки. Там, где создавший ее художник оставил печать своего гения, отличающую его каким-нибудь штрихом или мазком от посредственных

живописцев и сделавшую его тем, чем он был, там последующие мазилы и пачкуны, дополняя его или замазывая трещины, оказались совершенно не в силах подражать его искусной руке; намалевав от себя где усмешку, где нахмуренное чело, они окончательно исказили творение гения. Это настолько хорошо установленный исторический факт, что, опасаясь наскучить, я не стал бы останавливаться на нем, если б мне не пришлось наблюдать возле этой картины одного англичанина, старавшегося изо всех сил изобразить восторженный трепет — нечто напоминавшее легкие судороги — перед тончайшими и выразительнейшими деталями исполнения, которых ныне там нет и следа. Между тем было бы гораздо удобнее и лучше, как для путешественников, так и для критиков, раз и навсегда согласиться с тем, что картина Леонардо да Винчи несомненно была когда-то творением необыкновенного совершенства и что, сколь бы мало ни оставалось в ней от ее первоначальных красот, величие ее общего замысла побуждает смотреть на нее и теперь как на произведение весьма интересное и ценное.

Мы осмотрели подобающим образом и другие достопримечательности Милана, и это — прекрасный город, хоть и не в такой степени итальянский, чтобы обладать характерными свойствами многих других, гораздо менее значительных городов. Корсо, где миланское общество катается взад и вперед в своих экипажах, готовое ради этого на полуголодное существование,— очень приятное место прогулок, затененное длинными рядами деревьев. В великолепном театре Ла Скала после оперы давали еще балетную пантомиму под названием «Прометей»; в начале ее сотни две мужчин и женщин изображали род человеческий в те времена, когда он не знал еще облагородивших его искусств и наук и любовь и грации еще не сошли на землю, чтобы смягчить ее обитателей. Я никогда не видел ничего более эффектного. Вообще говоря, пантомима в Италии замечательна скорее своею стремительностью и страстностью, чем тонкостью исполнения, но на этот раз унылое однообразие, тоскливая, жалкая, косная жизнь, низменные страсти и желания человекоподобных существ, незнакомых с возвышающими влияниями,— которым мы стольким обязаны и

носителям которых столь мало воздаем должное,— были выражены с подлинной силой и чувством. А между тем я считал, что идея подобного рода не может быть с такой убедительностью воплощена на сцене без помощи слова.

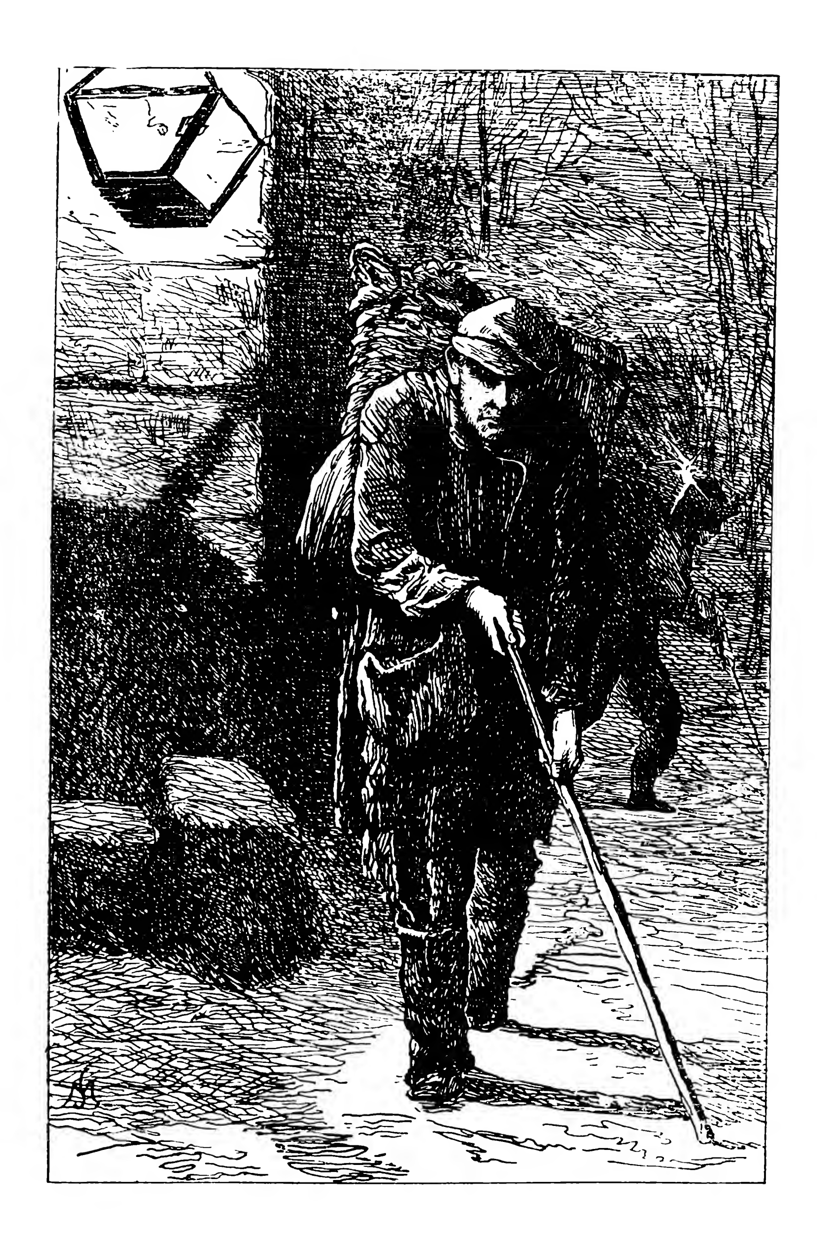
Назавтра в пять утра Милан остался позади, и прежде чем золотая статуя на верхушке соборного шпиля истаяла в голубом небе, на нашем пути выросли Альпы — причудливое нагромождение высоких пиков и кряжей, облаков и снега.

Мы приближались к ним вплоть до ночи, и в течение всего дня вершины гор самым поразительным образом меняли свои очертания при каждом повороте дороги, открывавшим их нашим взорам всякий раз по-иному. Чудесный день уже склонялся к закату, когда мы достигли Лаго Маджоре с его прелестными островами. Как ни причудлив остров Изола Белла *, он все же прекрасен. Все, что подымается из этих синих вод, среди этих пейзажей, не может не быть прекрасным.

К десяти часам вечера мы добрались до Домо д'Оссола у подножия Симплонского перевала. Но так как в безоблачном звездном небе ярко сияла луна, не могло быть и речи о сне и всем прочем. Надо было не мешкая ехать дальше. Итак, после непродолжительной остановки мы наняли маленький экипаж и начали подниматься.

Стоял конец ноября; на вершине, там, где дорога была наезжена, лежал снег толщиною в четыре-пять футов, а в других местах уже намело высокие сугробы; воздух был пронизывающе-холодным. Но эта ясная морозная ночь и величественная дорога с ее непроницаемыми тенями и непроглядным мраком, и внезапные повороты, выводившие нас туда, где все было залито лунным сиянием, и неумолчный рокот падающей воды — все вместе делало поездку незабываемой.

Вскоре тихие, заснувшие в лунном свете итальянские деревушки остались внизу; дорога начала виться среди темных деревьев и спустя некоторое время вынырнула на открытую местность с очень крутым и трудным подъемом, над которым высоко сияла луна; наша головоломная тропа, пройдя по мосту над потоком, углубилась в тесный коридор, образуемый двумя массивными отвесными скалами, которые совершенно закрыли от нас лун-



ный свет, оставив над нами лишь узенькую полоску неба с несколькими мерцавшими звездами. Затем исчезла и эта полоска: мы погрузились в кромешную тьму пробитого в скалах тоннеля. Грозный водопад гремел и ревел прямо под ним; у въезда в тоннель висели туманом брызги и пена. Вынырнув из этой пещеры и выйдя снова на лунный свет, наша дорога прошла по мосту, подвешенному на головокружительной высоте, и устремилась петлями вверх, через ущелье Гондо, неописуемо дикое и величественное, где гладкие, отвесно вздымающиеся по обе стороны стены почти смыкаются вверху друг с другом. Так мы ехали всю ночь, медленно взбираясь по трудной дороге, поднимаясь все выше и выше, и ни одной минуты я не испытывал скуки, погруженный в созерцание черных скал, грозных высот и глубин, гладких снежных полей, лежащих в расщелинах и ложбинах, и неистовых горных потоков, с грохотом падающих в глубокие бездны.

Перед рассветом мы попали в снега, где неистово дул резкий, пронзительный ветер. Разбудив не без труда обитателей одинокого деревенского дома, вокруг которого жутко завывал ветер, подымая снежные вихри и унося их с собой, мы позавтракали в неприглядной бревенчатой хижине, которая, однако, хорошо обогревалась печью и была хорошо приспособлена (как оно и должно быть), чтобы выдерживать бури и посильнее. Между тем нам приготовили сани, в них впрягли четверку лошадей, и снова, взрыхляя снег, мы поехали дальше. Подъем продолжался, но теперь уже при утреннем свете, в котором была ясно видна бескрайная белая пустыня, где пролегал наш путь.

Мы оказались, наконец, на вершине горы, и перед нами был грубо сколоченный деревянный крест с обозначением ее высшей точки над уровнем моря; лучи восходящего солнца сразу вырвались на свободу, растеклись над снежной пустыней и окрасили ее в красный цвет. Печальное, скорбное величие этой картины было в этот момент несравненным.

Скользя в санях мимо приюта, основанного Наполеоном, мы заметили, как оттуда вышла кучка крестьян с посохами и заплечными мешками — эти путники провели

здесь минувшую ночь,— в сопровождении одного или двух монахов, гостеприимных хозяев этого учреждения, которые медленно брели вместе с ними ради компании. Было приятно пожелать им доброго утра и еще долго оглядываться на них и видеть, что и они также оглядываются, а когда одна из наших лошадей поскользнулась и упала,— раздумывают, не вернуться ли, и не помочь ли нам. Но лошадь вскоре поднялась на ноги при содействии дюжего возчика, упряжка которого застряла на этом же месте; выручив его из беды, в благодарность за его помощь, мы распрощались с ним, и он стал медленно пробиваться сквозь снег, догоняя крестьян, а мы сами без помех и быстро помчались вперед по самому краю поросшего горными соснами крутого обрыва.

Вскоре затем мы снова поехали на колесах и начали быстро спускаться, проезжая под нависшими ледниками по сводчатым галереям, обвешанным гроздьями сосулек, под и над кипевшими пеною водопадами, возле убежищ и галерей, предназначенных служить укрытием в случае внезапной опасности, через тоннели, по укрепленным сводами кровлям которых проносятся весною лавины, чтобы низвергнуться в неведомую и бездонную глубину.

Вниз, по мостам, перекинутым через вселяющие ужас теснины — крошечным движущимся пятнышком среди пустынных пространств, где не было ничего, кроме льда, снега и чудовищных глыб гранита; по глубокому Сальтинскому ущелью, оглушенные ревом потока, бешено низвергавшегося между расколотыми глыбами камня на равнину, лежавшую далеко внизу. Вниз и вниз по зигзагам дорог, проложенных между отвесными утесами с одной стороны и пропастями с другой; вниз, где погода теплее, а пейзажи мягче, пока перед нами не появились тронутые оттепелью и сверкавшие на солнце золотом и серебром, металлические или красные, зеленые, желтые купола и шпили церквей швейцарского города.

Поскольку тема этих воспоминаний — Италия и моя обязанность, следовательно, вернуться туда возможно скорее, я не стану (хотя и испытываю сильное искушение) распространяться об игрушечных швейцарских деревушках, лепящихся к подножью исполинских гор; о причудливо нагроможденных домиках, которые жмутся

друг к другу; об улицах, которые нарочно сделаны очень узкими, чтобы воющие ветры не могли разгуливать но ним зимою; о мостах, снесенных неистовыми весенними водами, внезапно вырвавшимися из плена; о крестьянках в больших круглых меховых шапках, похожих — когда они выглядывают из окон и видны только их головы — на меченосцев лондонского лорд-мэра; о том, как красив город Веве на берегу тихого Женевского озера; о статуе св. Петра в Фрибурге, которая держит в руке самый большой на свете ключ; о знаменитых двух подвесных мостах в том же Фрибурге или об оргàне тамошнего собора.

Или о том, как дорога от Фрибурга к Базелю извивалась среди зажиточных деревень, застроенных деревянными домиками с нависшими соломенными крышами и выступающими вперед низкими окнами и вставленными в них крошечными круглыми стеклышками величиной с крону; о том, что на каждом швейцарском хозяйстве, как бы мало оно ни было, с его фургоном или повозкой, аккуратно поставленными позади дома, садиком, обилием домашней птицы и стайками краснощеких ребят, был заметен отпечаток довольства, казавшийся после Италии чем-то невиданно новым и очень приятным; о том, как изменялись наряды женщин и «меченосцев» уже больше не было видно, а вместо шапок стали преобладать большие черные полупрозрачные чепцы в форме веера и белые кокетливые корсажи.

Или о том, как очаровательна местность за Юрским хребтом, сверкающая ослепительным снегом, освещенная яркой луной и звучащая музыкой падающей воды; или о том, как под окнами большой гостиницы «Трех волхвов» в Базеле катил свои воды вздувшийся зеленый, стремительный Рейн; или как в Страсбурге он так же стремителен, но уже не такой зеленый, а еще ниже, говорят, он совсем окутан туманом и в это время года плыть по нему гораздо опаснее, чем отправиться по большой дороге в Париж.

Или о том, как сам Страсбург с великолепным старинным готическим собором и старыми-престарыми домами с островерхими кровлями и коньками представляет собой галерею причудливых и занимательных видов; или о

том, как в полдень в соборе собралась толпа посмотреть на затейливые прославленные часы, когда они отбивают двенадцать; как после этого целая армия различных фигурок проделывает множество замысловатых движений, а громадный петух, восседающий среди них на насесте, громко и чисто кукарекает двенадцать раз. Или как забавно было смотреть на этого петуха, силившегося взмахнуть крыльями и вытянуть шею, что, однако, не имело ни малейшего отношения к его пению, так как было явственно слышно, что оно исходило откуда-то снизу, из недр часов.

Или как дорога в Париж была сплошным морем грязи, а дорога оттуда на побережье — несколько лучше благодаря холодам. Или как приятно было смотреть на утесы Дувра, и Англия виднелась с поразительной четкостью, хотя в зимний день, надо признаться, казалась темною и бесцветной.

Или как несколько дней спустя, когда мы снова пересекали канал, было морозно и на палубах лежал лед, а во Франции нас встретил глубокий снег; как мальпост очертя голову продирался сквозь снега, и сильные лошади несли его резвой рысью на холмистых участках пути; как у Почтового двора в Париже какие-то оборванные искатели счастья копошились перед рассветом на улицах, выискивая под снегом всяческие отбросы, с помощью маленьких грабель.

Или как между Парижем и Марселем снег был на редкость глубоким, а потом началась оттепель, и наш мальпост скорее перебирался вброд, чем катился по суше, и так на протяжении почти трехсот миль; как в ночь под воскресенье у нас неизменно лопались рессоры и в ожидании, пока их починят, двум его пассажирам приходилось высаживаться и обогреваться и насыщаться в убогих бильярдных комнатах, где волосатые люди резались в карты, собравшись у печки, причем эти карты были очень похожи на них самих — до последней степени измяты и замусолены.

Или как нам пришлось задержаться в Марселе из-за ненастья, и пароходы объявляли о предстоящем отплытии, но так и не отплывали; и как в конце концов отличный паровой пакетбот «Шарлемань» вышел в море и попал

в такую бурю, что ему едва не пришлось зайти отстаиваться в Тулон, а затем в Ниццу, но ветер несколько стих, и «Шарлемань» благополучно вошел в генуэзскую гавань, где ставшие для меня родными и близкими колокола обласкали мой слух. Или о том, как у нас на борту находилась группа туристов, и один из них, помещавшийся рядом с моею каютой, отчаянно страдал морскою болезнью и оттого пребывал в дурном настроении и не давал никому из своих спутников лексикона, храня его у себя под подушкой; и как вследствие этого им приходилось то и дело спускаться к нему и спрашивать, как будет по-итальянски «кусок сахару», как «стакан бренди с водой» или «который час» и так далее, на что он всегда отвечал, заглядывая в словарь своими собственными помутившимися от морской болезни глазами и решительно отказываясь доверить кому бы то ни было эту драгоценную книгу.

Подобно Грумьо *, я мог бы поведать вам в мельчайших подробностях обо всем этом и еще кое о чем довольно далеком, впрочем, от моей темы, если б меня не удерживало сознание, что я взялся писать лишь об Италии. Поэтому, подобно рассказу Грумьо, и мой рассказ «останется в забвении».

В Рим через Пизу и Сьену

Во всей Италии нет для меня ничего прекраснее береговой дороги из Генуи в Специю. С одной стороны — иногда далеко внизу, иногда почти на уровне дороги, часто за грядою скал самой неожиданной формы, виднеется бескрайнее синее море с живописной фелукой, то здесь, то там скользящей на нем; с другой стороны — высокие холмы, усеянные белыми хижинами, овраги, пятна темных оливковых рощ, сельские церкви с их легкими, открытыми колокольнями и весело окрашенные загородные дома. На каждом придорожном бугорке в роскошном изобилии растут дикие кактусы и алоэ, и вдоль всей дороги тянутся сады приветливых деревень, рдеющие в летнее время гроздьями белладонны, а

осенью и зимой благоухающие золотыми апельсинами и лимонами.

Иные из деревень населены почти исключительно рыбаками, и приятно смотреть на их большие, вытащенные на берег лодки и на отбрасываемые ими узенькие полоски тени, где спят их хозяева или сидят, перешучиваясь и поглядывая на море, их жены и дети, пока мужчины заняты на берегу починкой сетей. В нескольких сотнях футов ниже дороги есть город Камолья с маленькой морской гаванью; город потомственных моряков, с незапамятных времен снаряжающих в этом месте суда каботажного плаванья для торговли с Испанией и другими странами. Сверху, с дороги, он похож на крошечный макет города у самой воды, сверкающей на солнце множеством бликов. Но если спуститься в него по извилистым тропкам, протоптанным мулами, он окажется настоящим, хоть и миниатюрным городом мореходов — самым соленым, самым суровым, самым пиратским городком, когда-либо существовавшим на свете. Огромные ржавые железные кольца и причальные цепи, кабестаны и обломки старых мачт и рей повсюду преграждают дорогу; прочные, приспособленные к плаванию в непогоду лодки с развевающейся на них одеждою моряков покачиваются в маленькой бухточке или вытащены для просушки на залитые солнцем прибрежные камни; на парапете неказистого мола спят какие-то люди-амфибии — их ноги свешиваются над стенкой, точно им все равно, что́ земля, что́ вода, и, соскользнув в воду, они с тем же удобством поплывут среди рыб, объятые сладкой дремотой; церковь нарядно убрана трофеями моря и приношеньями по обету в память спасения от бури и кораблекрушения. К жилищам, не примыкающим непосредственно к гавани, ведут низкие сводчатые проходы и неровные, выщербленные ступени, где так же темно и так же трудно передвигаться, как в судовых трюмах или неудобных кубриках — и все пропитано запахом рыбы, морских водорослей и старых канатов.

Дорога вдоль берега над Камольей и особенно поближе к Генуе славится в теплое время года изобилием светляков. Прогуливаясь здесь как-то темною ночью, я видел над собой целый небесный свод, усыпанный этими

чудесными насекомыми, и в этом полыхании и сиянии, излучаемых каждой оливковой рощей и каждым склоном холма, далекие звезды на небе казались тусклыми.

Впрочем, когда мы проезжали по этой дороге в Рим, время светляков еще не пришло. Январь только-только перешагнул за первую свою половину, и стояла угрюмая, пасмурная и, к тому же, очень сырая погода. На живописном перевале Бракко мы попали в такой дождь и туман, что целый день продвигались в густых облаках. На свете, казалось, не существует никакого Средиземного моря — его совсем не было видно; только раз, когда внезапным порывом ветра разогнало туман, где-то глубоко внизу на мгновение показалось бурливое море, хлеставшее далекие скалы и бешено вскидывавшее вверх белые гребни пены. Дождь лил непрерывно, все ручьи и потоки отчаянно вздулись, и я никогда в жизни не слышал такого оглушительного грохота и рева беснующейся воды.

Прибыв в Специю, мы узнали, что Магра, река, которую пересекает дорога на Пизу и на которой не было моста, поднялась так высоко, что переправляться через нее на пароме стало небезопасно, и нам пришлось ждать до полудня следующего дня, когда уровень воды несколько спал. Специя, впрочем, достаточно интересное место, чтобы застрять в ней на некоторое время, во-первых, из-за ее очень красивой бухты, во-вторых, гостиницы с привидениями и, в-третьих, головного убора женщин, носящих набекрень крошечную, прямо кукольную соломенную шляпку, прикалывая ее к волосам булавкою — и это, конечно, самый забавный и плутовской изо всех головных уборов, какие когда-либо были придуманы.

Благополучно переправившись через Магру — этот переезд на пароме, когда поток взбух и кипит, никак не назовешь приятным,— мы за несколько часов добрались до Каррары. На следующий день, наняв пораньше с утра нескольких пони, мы отправились осматривать мраморные карьеры.

Здесь есть не то четыре, не то пять лощин, которые уходят далеко в глубь высоких холмов, пока Природа не преграждает им путь и дальше им идти некуда; карьеры, или «пещеры», как их тут именуют, представляют собой

отвалы, расположенные высоко на холмах по обоим склонам этих лощин; в них производят взрывы, после которых и выламывают мрамор. Это дело может обернуться хорошо или плохо, может быстро обогатить или разорить, если окажется, что доходы не возмещают затрат. Некоторые из этих «пещер» были вскрыты еще древними римлянами и остаются и посейчас в том же виде, в каком они их покинули. Разрабатывается много новых; в других разработка будет начата завтра, на следующей неделе или в следующем месяце; есть и такие, которых еще никто не купил и о которых никто не думает, но мрамора здесь достаточно и его хватит на много больше столетий, чем миновало с тех пор, как были начаты его разработки; он сокрыт тут повсюду, терпеливо дожидаясь, пока его обнаружат.

Карабкаясь не без труда по одному из этих круто поднимающихся ущелий (ваш пони оставлен вами милях в двух пониже, где он размачивает в воде подпругу), вы по временам слышите меланхолический предостерегающий звук рожка, подхваченный горным эхом — тихий звук, тише предшествующей тишины; это — сигнал рабочим скрываться в укрытие.

Затем раздается грохот, многократно повторенный горами, а иногда и свист больших обломков скалы, поднятых на воздух; и вы продолжаете взбираться, пока новый рожок, с другой стороны, не заставит вас остановиться, чтобы не попасть в зону нового взрыва.

Высоко на склонах этих холмов работает много людей, убирающих и сбрасывающих вниз груды битого камня и землю, чтобы расчистить путь добытым глыбам мрамора. И когда все это, низвергаемое невидимыми руками, катится на дно узкой лощины, вам невольно припоминается глубокий овраг (поразительно схожий с этой лощиной), где птица Рухх покинула Синдбада-морехода и куда купцы швыряли с окрестных высот большие куски мяса, чтобы на них налипли алмазы. Тут, правда, не было орлов, которые слетались бы, затемняя солнце, и уносили мясо в когтях, но все было так дико и мрачно, что они могли бы водиться здесь целыми сотнями.

Но дорога, дорога, по которой доставляют вниз мрамор глыбами любой величины! В ней воплотился дух

страны и ее учреждений. Это он мостит ее, чинит и поддерживает в неприкосновенности. Представьте себе посередине лощины русло потока, несущегося по скалистому ложу, заваленное грудами камня всевозможных размеров и форм — это и есть дорога, потому что пятьсот лет назад она была точно такою же! Вообразите громоздкие, неповоротливые телеги, бывшие в ходу за пятьсот лет до нас, существующие здесь и поныне и влекомые, как пятьсот лет назад, упряжками быков, которые, как и их предки пятьсот лет назад, гибнут в течение года, надорвавшись на непосильной работе. Две пары, четыре пары, десять пар, двадцать пар, смотря по размеру глыбы; она должна быть доставлена вниз только этим и никаким другим способом. Продвигаясь по камням со своим чудовищным грузом, быки часто испускают дух тут же на месте — и не только они; их неистовые погонщики, оступившись в пылу усердия, попадают, случается, под колеса, которые давят их насмерть. Но так делалось пятьсот лет назад, значит так надо делать и ныне, а проложить железную дорогу по одному из этих склонов (что было бы наилегчайшим делом на свете) показалось бы прямым святотатством.

Стоя в сторонке, пока мимо нас проезжала одна из таких телег — ее тащила лишь одна пара быков (на ней был сравнительно небольшой кусок мрамора), я мысленно назвал человека, восседавшего на тяжелом ярме, чтобы оно не свалилось с шеи несчастных животных — и не вперед лицом, а назад — истинным символом деспотизма. В руке он держал длинную палку с заостренным железным наконечником, и когда выбившиеся из сил быки отказывались тащиться дальше по сыпучему камню и останавливались, он принимался колоть их наконечником своей палки, колотить ею по головам, ввинчивать ее в ноздри, заставляя их, доведенных до бешенства нестерпимою болью, продвинуться еще на ярд или два; когда они снова останавливались, он повторял эти понукания с еще большей энергией и снова добивался своего, побуждая их с помощью того же стрекала добраться до крутого участка спуска; а там, когда их судорожные рывки и подталкивавший их сзади груз низвергали их вниз, в облаке водяных брызг, он вращал свою

палку над головой и испускал дикий клич, словно что-то свершил, не задумываясь над тем, что быки могут сбросить его самого, в разгар его торжества, и в слепой ярости размозжить ему череп.

Когда я в тот же день после обеда стоял в одной из многочисленных студий Каррары (а вся Каррара — огромная мастерская, полная великолепных мраморных копий почти каждой известной нам группы, фигуры и бюста), мне показалось сначала невероятным, чтобы эти пленительные формы, такие изящные, одухотворенные и безмятежно-спокойные, могли родиться из таких мук, пота и пыток. Но вскоре я нашел объяснение и параллель ко всему этому, вспомнив, сколько добродетелей вырастает на жалкой, бесплодной почве и сколько хорошего рождается в горе и муках. И глядя из большого окна мастерской на горы, где добывается мрамор, — рдеющие в лучах заходящего солнца, но неизменно строгие и торжественные, — я подумал: «Боже! Как много в человеческих душах и сердцах заброшенных карьеров и какие сокровища можно было бы извлечь оттуда! А люди, путешествующие по жизни ради удовольствия, отворачиваются от них и проходят мимо, из-за того, что они неприглядны снаружи».

Владетельный герцог Моденский *, которому принадлежит часть этой земли, гордится тем, что единственный из государей Европы не признает Луи-Филиппа королем Франции *. И это вовсе не в шутку, а совершенно серьезно. К тому же, он ярый противник железных дорог, и если бы некоторые железнодорожные линии, задуманные владетельными особами по соседству с ним, оказались построенными, он, вероятно, нашел бы душевное удовлетворение в том, что завел бы у себя омнибус, который сновал бы по его не слишком обширному герцогству, перевозя пассажиров от одной конечной станции до другой.

Каррара, окруженная высокими холмами, исключительно своеобразна и живописна. Туристов здесь мало, а местное население так или иначе связано с разработками мрамора. Между «пещерами» разбросаны деревушки, где проживают рабочие. В городе есть прекрасный, недавно построенный небольшой театр, и тут уко-

ренился любопытный обычай набирать хор из рабочих мраморных ломок; эти рабочие — самоучки и поют только по слуху. Я слышал их в комической опере и в одном акте «Нормы» *, и они очень хорошо справлялись со своим делом, отличаясь в этом отношении от простого народа Италии, который за исключением некоторых неаполитанцев поет крайне фальшиво и неприятными голосами.

С вершины высокого холма за Каррарой открывается великолепный вид на плодородную равнину, на которой стоит город Пиза, и на Ливорно — пурпурное пятнышко в плоской дали. Но не только даль придает очарование этому виду; плодородная земля и роскошные оливковые рощи, через которые проходит дорога, делают его поистине восхитительным.

Когда мы приближались к Пизе, на небе сияла луна, и мы издалека увидели за городскою стеной Падающую башню, казавшуюся особенно наклонной в этом неверном свете — призрачный оригинал старых картинок в школьных учебниках, на которых изображались «чудеса света». Как это бывает с большинством вещей, впервые познанных нами по школьным учебникам и в школьные годы, она с первого взгляда показалась мне слишком маленькой. Меня это очень огорчило. Она подымалась над городскою стеной совсем не так высоко, как я привык думать. Это был один из многих обманов, которые распространял мистер Гаррис, книготорговец на углу лондонской улицы Сент-Полз-Черчьярд. *Его* башня была выдумкою, а эта — реальностью, и по сравнению с той — низкорослой реальностью. Впрочем, она все же была достаточно хороша и чрезвычайно причудлива и отклонялась от перпендикуляра не меньше, чем у Гарриса. Чудесна была также тишина Пизы; большая кордегардия у ворот, где было всего два маленьких солдатика; улицы, на которых почти не видно было людей; и Арно, протекающий через центр города. Итак, я не затаил в своем сердце злобы против мистера Гарриса и, памятуя о его добрых намерениях, простил его еще до обеда и на следующее утро вышел на улицу, снова полный к нему доверия, с тем чтобы осмотреть знаменитую башню.

Мне полагалось бы знать истинное положение дел,

но почему-то я вообразил, что она отбрасывает свою длинную тень на оживленную улицу, по которой весь день снует взад и вперед толпа. И для меня оказалось полнейшею неожиданностью найти ее вдали от уличной суеты, на уединенной тихой площади, покрытой гладким ковром зеленого дерна. Но группа строений, теснившихся возле и вокруг этого зеленого ковра,— башня, баптистерий, собор и церковь на кладбище — быть может, самое прекрасное и замечательное из всего существующего на свете. То, что они сгрудились все вместе, вдалеке от повседневной жизни города, придает им особую, впечатляющую торжественность. Это — архитектурная квинт-эссенция старого богатого города, освобожденная от примеси обычных жилищ, отжатая и процеженная через фильтр.

Сисмонди * сравнивает Пизанскую башню с Вавилонскою башней, какою изображают ее обычно на картинках в детских книжках. Это сравнение очень удачно и дает более ясное представление об этой постройке, чем целые главы ученого описания. Нет ничего изящнее и легче этого замечательного сооружения, ничего поразительнее его общего вида. Пока вы поднимаетесь наверх (кстати, по очень удобной лестнице), наклон башни не очень заметен; он становится заметен только наверху, и вам начинает казаться, будто вы на палубе судна, накренившегося во время отлива. Если, находясь на *низкой,* так сказать, стороне башни, вы бросите взгляд с галереи и увидите, насколько корпус ее отходит от основания, эффект получится ошеломляющий. Я видел, как один нервный путешественник, взглянув вниз, невольно схватился рукою за стену, точно желал удержать ее от падения. Весьма любопытен также вид башни изнутри, когда, стоя внизу, вы смотрите вверх, как сквозь наклонно направленную трубу. Башня и впрямь сильно скошена набок, так что большего не пожелал бы и самый рьяный турист. Естественным побуждением девяноста девяти человек из ста, которые вздумали бы присесть под ней на траву, чтобы отдохнуть и полюбоваться соседними зданиями, было бы, вероятно, не располагаться под наклонной стороной — уж очень сильно она наклонена.

Многочисленные красоты собора и баптистерия не нуждаются в моих комментариях, но в этом случае, как

и в сотне других, мне нелегко отделить удовольствие, которое я испытываю, вспоминая о них, от скуки, которую могу нагнать этим на вас. В первом есть картина Андреа дель Сарто *, изображающая святую Агнесу, во втором — множество пышных колонн, вводящих меня в сильное искушение.

Мое решение не вдаваться в подробные описания не будет, надеюсь, нарушено, если я все же вспомню о кладбище, где заросшие травою могилы вырыты в священной земле, доставленной более шести столетий назад из Палестины, и окружены аркадами с такой игрой света и тени, образуемой их каменным кружевом на каменном полу, что самая слабая память не могла бы забыть ее. На стенах, окружающих это торжественное и прелестное место, видны старинные фрески, выцветшие и попорченные, но весьма любопытные. Как почти в любом собрании картин итальянских художников, где изображено много голов, на одной из фресок есть лицо, обладающее редкостным сходством с Наполеоном. Одно время я тешил свое воображение, предполагая, что старые мастера предчувствовали появление человека, который произведет в искусстве такое ужасное опустошение, чьи солдаты превратят в мишени величайшие создания живописи и устроят конюшни из лучших памятников архитектуры. Но этот корсиканский тип до сих пор так распространен в некоторых областях Италии, что такие совпадения приходится объяснять самым обычным образом.

Если благодаря своей башне Пиза считается седьмым чудом света, то по количеству нищих она должна считаться по меньшей мере вторым или третьим чудом. Нищие подстерегают злосчастного путешественника у каждого перекрестка, провожают его до любой двери, куда он входит, и поджидают его, с сильными подкреплениями, у любой двери, из которой он должен выйти. Скрип дверных петель служит сигналом к всеобщим крикам и воплям, и едва путешественник появляется на пороге, его сразу зажимают в кольцо лохмотьев и всевозможных увечий. Нищие, видимо, олицетворяют собою всю торговлю и предприимчивость Пизы. Кроме них, да еще теплого воздуха, все остальное здесь недвижимо. Когда вы проходите по улицам, фасады сонных домов кажутся их за-

дами. Все они так безмолвны и тихи, так непохожи на обитаемые, что преобладающая часть Пизы имеет вид города на рассвете или во время всеобщей сиесты *. Еще больше они похожи на задние планы лубочных картин или старинных гравюр, где окна и двери обозначены прямоугольниками и где виднеется лишь одна-единственная фигура (конечно, нищего), одиноко бредущая в безграничную даль.

Совсем не таков Ливорно, известный тем, что здесь похоронен Смоллет; это процветающий, деловитый, живущий полнокровною жизнью город, из которого торговля изгнала лень. Местные правила в отношении купцов и торговли весьма либеральны и нестеснительны, и это, разумеется, благотворно сказывается на городе. Ливорно пользуется дурной репутацией в связи с так называемыми «кинжальщиками», и, надо признаться, не без некоторых оснований, ибо всего несколько лет назад здесь существовал клуб убийц, члены которого, не испытывая особой ненависти к кому-либо в отдельности, убивали ночью на улицах случайных прохожих, людей вовсе им не известных, только ради своего удовольствия и сильных ощущений, доставляемых этой забавою. Президентом этого милого общества был, кажется, некий сапожник. Его, впрочем, схватили, и после этого клуб распался. Он, надо думать, исчез бы со временем сам собою, с появлением железной дороги между Ливорно и Пизой, которая положительно хороша и уже начала удивлять Италию как пример пунктуальности, порядка, добросовестности и прогресса, а это — вещи наиболее опасные и еретические из всего способного удивлять. При открытии первой итальянской железной дороги Ватикан должен был несомненно ощутить легкий толчок, наподобие землетрясения.

Возвратившись в Пизу и подрядив добродушного веттурино с четверкой лошадей доставить нас в Рим, мы весь день ехали через прелестные тосканские деревушки, и один веселый пейзаж сменялся другим. В этой части Италии множество любопытных придорожных крестов. На кресте редко бывает фигура, разве что кое-когда лицо, но они примечательны тем, что их украшают крошечными деревянными воспроизведениями любого пред-

мета, который так или иначе связан с обстоятельствами смерти Спасителя. Петух, который пропел, когда Петр в третий раз отрекся от своего учителя, мостится обычно на самом верху и неизменно представляет собой орнитологический феномен. Под ним начертана надпись. На поперечной крестовине подвешены: копье, тростинка с подвязанной на конце губкой, пропитанной уксусом и водой, одежда без швов, которую воины разыгрывали по жребию в кости, стаканчик для костей, которым они пользовались, молоток, которым вбивали гвозди, клещи, которыми их вытаскивали, лестница, которая была прислонена ко кресту, терновый венец, орудия бичевания, фонарь, бывший, очевидно, в руках у Марии, когда она пришла посетить гробницу, и меч, которым Петр отсек ухо у служителя первосвященника — целая игрушечная лавка, повторяющаяся через каждые четыре или пять миль на протяжении всей дороги.

На другой день после нашего отъезда из Пизы мы достигли под вечер прекрасного старого города Сьены. Здесь справляли так называемый карнавал. Но поскольку суть его состояла в том, что тридцать — сорок меланхолических личностей, напялив на себя обычные маски из игрушечной лавки, мерили шагами главную улицу и выглядели еще меланхоличнее, если это возможно, чем в подобных случаях в Англии, я ничего больше о нем не скажу.

На следующее утро мы поднялись пораньше и отправились осматривать местный собор, поразительно живописный и внутри и снаружи, в особенности снаружи, а также рыночную площадь или большую piazza — обширный прямоугольник, где мы могли любоваться большим фонтаном, украшенным фигурой с отбитым носом, несколькими причудливыми готическими домами и высокой четырехгранной кирпичной башней, у вершины которой *снаружи* — любопытная черта подобных видов Италии,— висит огромный колокол. Все это напоминало кусочек Венеции без воды. В городе насчитывается несколько замечательных старых палаццо, и сам он очень древний; не представляя (для меня) такого интереса, как Верона и Генуя, он все же очень поэтичен и фантастичен и поразительно интересен.

Осмотрев все это, мы выехали из Сьены и направились по довольно унылой местности, где ничего не было, кроме виноградников (да и они в то время года мало чем отличались от простых палок); часок-другой в середине дня мы, как водится, стояли на месте, чтобы дать передохнуть лошадям — это обязательное условие, выговариваемое любым веттурино. Затем мы поехали дальше, и край становился мало-помалу все более пустынным и голым, напоминая шотландские пустоши. Вскоре после наступления темноты мы остановились на ночлег в остерии Ла Скала — совершенно уединенном доме, — где семья хозяина сидела на кухне у ярко пылавшего огня, разожженного на каменном основании высотою в три-четыре фута, и настолько большого, что здесь было впору изжарить быка. В верхнем и единственном, кроме первого, этаже этой гостиницы находилась просторная, пустая, нескладная комната с крошечным оконцем в углу и четырьмя мрачного вида дверьми, которые вели в четыре мрачные спальни, расположенные по четыре стороны от нее. Здесь была еще одна большая мрачная дверь, которая вела в другую большую мрачную комнату с лестницей, круто спускавшейся через люк в полу, и смутно видными стропилами крыши, подозрительным маленьким шкафом, притаившимся в одном из темных углов, и всеми наличными в доме ножами, разложенными во всех направлениях. Очаг был чистейшим образцом итальянской архитектуры, так что увидеть его по причине густого дыма было невозможно. Служанка смахивала на жену театрального бандита и носила головной убор в том же стиле. Собаки лаяли как очумелые; эхо возвращало расточаемые по их адресу комплименты; другого жилья не было на двенадцать миль вокруг; и все наводило на мысли о притоне убийц.

А тут еще толки о дерзких разбойниках, выходивших последние ночи сильной шайкою на дорогу и остановивших почту совсем неподалеку от этого места. Было известно, что незадолго до этого они подстерегли нескольких путешественников на склонах Везувия, и в придорожных гостиницах только и говорили, что о них. Но так как с нас взятки были гладки (с нами было мало такого, что могло бы их соблазнить), мы принялись потешаться

по поводу этих рассказов и вскоре вполне успокоились. В этом уединенном доме нам подали обычный обед, и притом очень хороший обед, если только привыкнешь к нему. В него входит нечто овощное или рисовое, являющееся стенографическим или условным обозначением супа, очень вкусного, если сдобрить его изрядною толикой тертого сыра, обильно поперчить и посолить. Затем следует половина курицы, из которой и был сварен суп. Затем — жареный голубь, обложенный собственными печенкой и зобом, а также печенками и зобами других птиц. Затем кусок ростбифа размерами с маленькую французскую булочку. Затем ломтик пармезанского сыра и пять маленьких сморщенных яблочек, жавшихся на крошечном блюдце и напиравших одно на другое, точно они боялись быть съеденными. Наконец кофе и после него — постель.

Вам нипочем кирпичный пол, вам нипочем упорно не затворяющиеся двери и хлопающие оконные рамы; вам нипочем и то, что ваши лошади поставлены в стойле прямо под вашей постелью и притом до того близко, что всякий раз, как лошадь кашлянет или чихнет, вы от этого просыпаетесь. Если вы благодушно относитесь к окружающим и говорите с ними учтиво и ласково, и весело и приветливо, то, поверьте моему слову, вас будут хорошо принимать в самой жалкой итальянской гостинице, и всегда с величайшей услужливостью, и вы сможете исколесить всю Италию, не подвергнув ваше терпение сколько-нибудь серьезному испытанию. В особенности, если вам подают в оплетенной бутылке такое вино, как Орвьето или Монте-Пульчано.

Мы покинули эту остерию в ненастное утро и ехали целых двенадцать миль по местам столь же голым, каменистым и диким, как Корнуэлс в Англии, пока не прибыли в Радикофани, где существует гостиница, кишащая призраками и привидениями,— некогда охотничий дом владетельных герцогов Тосканы. В ней такое множество нелепейших коридоров и унылых комнат, что все рассказы об убийствах и призраках, какие только были когда-либо написаны, могли бы быть зачаты в одном этом доме. В Генуе есть несколько жутких старых палаццо, и один из них внешне очень похож на эту гости-

ницу, но она отличается такими невероятными сквозняками, такими скрипами, шорохами, внезапными распахиваниями дверей, в ней так спотыкаешься на ступеньках лестниц и она так изъедена червями, что ничего похожего я нигде никогда не видал. Городок весь умещается на склоне холма прямо над домом и перед ним. Все местные жители — нищие, и, завидев подъезжающий экипаж, они налетают на него, словно коршуны.

Когда мы добрались до горного перевала, лежащего за этим местечком, ветер, как нас заранее предупреждали в гостинице, оказался настолько сильным, что нам пришлось высадить из экипажа мою дражайшую половину, дабы ее не сдуло вместе с ним, и повиснуть на нем с наветренной стороны (хотя мы ослабели от смеха), чтобы не дать ему свалиться бог весть куда. По силе ветра эта буря на суше могла бы соревноваться со штормом на Атлантическом океане, и у нее были солидные шансы выйти победительницей. Ветер дул справа, из глубоких лощин, прорезавших горы; и мы со страхом поглядывали налево, на большое болото, где не было ни кустика, ни веточки, за которые можно было бы уцепиться. Казалось, что если нас сдует ветром, то понесет до самого моря или в мировое пространство. Шел снег, град, дождь, сверкала молния, и гремел гром, и все время клубились туманы, мчавшиеся с невероятною быстротой. Было темно, жутко и до последней степени неприютно; над горами вздымались еще горы, окутанные сердитыми тучами; всюду была такая злобная, бешеная, неистовая и яростная сумятица, что все вместе представляло захватывающее и величественное зрелище.

И все же для нас было большим облегчением выбраться оттуда и даже пересечь унылую и грязную границу папских владений. Миновав два маленьких городка (в одном из них, Аквапенденте, также происходил «карнавал», состоявший в том, что мужчина, переряженный в женское платье и в женской маске, и женщина, переряженная в мужское платье и в мужской маске, крайне меланхолически прогуливались, увязая в грязи, по отчаянно грязным улицам), мы увидели, уже в сумерках, озеро Больсена, на берегу которого расположен маленький городок того же названия, славящийся малярией.

За исключением этого несчастного городка, на берегах озера и поблизости от него нет ни одной хижины (ибо никто не решается тут ночевать), на его водах нет ни одной лодки, а кругом — ни дерева, ни куста, чтобы скрасить мрачное однообразие двадцати семи миль водной поверхности.

Мы добрались до города поздно, так как дороги были размыты ливнями; после наступления темноты места эти наводили невыносимую тоску.

Следующим вечером на закате перед нами предстала иная, более грандиозная картина запустения. Мы проехали через Монте Фиасконе (прославленный своим вином) и Витербо (фонтанами) и, поднявшись на возвышенность протяжением в восемь — десять миль, неожиданно очутились у пустынного озера с берегами, заросшими по одну сторону густым пышным лесом, по другую — окаймленного голыми и унылыми вулканическими холмами. Где теперь расстилается это озеро, там в стародавние времена стоял город. В один прекрасный день он провалился, и на его место хлынули воды. Существуют старинные предания (подобные им известны, впрочем, во всех частях света) о том, что погибший город можно увидеть глубоко под водою, когда она тиха и прозрачна; но, как бы там ни было, с земли он исчез. Вскипевшая земля сомкнулась над ним, и вода также, и вот они — словно призраки, оказавшиеся внезапно отрезанными от того света и лишенные возможности возвратиться туда. Они словно ждут все эти долгие столетия, когда здесь разразится новое землетрясение, и они поспешат исчезнуть под землею. Несчастный город в преисподней вряд ли более безотраден и мрачен, чем эти обуглившиеся холмы и стоячая вода. Красное солнце удивленно взирало на них, словно зная, что их место — под землею, во тьме, а вода меланхолически плескалась и сосала ил и тихо сочилась среди камыша и болотных трав, словно разрушение древних башен и кровель и гибель древних людей, обитавших здесь, все еще тяготили ее совесть.

Непродолжительная поездка перенесла нас от берегов этого озера в Ронсильоне — небольшой городок, напоминавший большой свинарник,— где мы и провели

ночь. В семь утра на следующий день мы направились в Рим.

Покинув свинарник, мы сразу же оказались в Римской Кампанье — волнистой равнине, где, как вы знаете, может найти себе пропитание лишь очень немного людей и где на протяжении многих миль ничто не нарушает мрачного однообразия.

Из всех родов местности, которые могли бы расстилаться за воротами Рима, эта — наиболее пригодная и приспособленная под кладбище для Мертвого Города. Такая безрадостная, такая безмолвная, такая угрюмая; так цепко хранящая тайну погребенных под нею бесконечных развалин, так похожая на пустыни, куда, во времена древнего Иерусалима, убегали одержимые бесами и где они выли, как дикие звери, и раздирали себя на части. Нам нужно было проехать по этой Кампанье тридцать миль и на протяжении двадцати двух мы не видели ничего, кроме редких одиноких хижин и иногда пастуха со стадом овец, похожего на разбойника, обросшего волосами и завернутого в грубый коричневый плащ. В конце этого перегона мы остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям и подкрепиться самим в обычном унылом, малярийном, маленьком придорожном трактире, где каждый дюйм на внутренних стенах и балках был согласно обычаю расписан и разукрашен, но до того жалким образом, что каждая комната смахивала на изнанку другой, и неумелое подражание драпировкам и беспомощная мазня, изображавшая кривобокие лиры, казались украденными из какого-нибудь бродячего цирка.

Снова пустившись в путь, мы с лихорадочным нетерпением вглядывались вдаль, отыскивая глазами Рим, и когда через милю-другую в отдалении показался, наконец, Вечный Город, он был похож — мне даже страшно написать это слово — на ЛОНДОН!! Под тяжелою тучею виднелись бесчисленные башни, колокольни и крыши, а высоко над ними всеми — один большой купол. Клянусь, что, несмотря на кажущуюся нелепость такого сравнения, с этого расстояния Рим был настолько похож на Лондон, что, если бы мне показали его отражение в зеркале, я не принял бы его за что-либо другое.

Рим

Тридцатого января около четырех часов пополудни в слякотный, пасмурный день мы въехали в Вечный Город через Porta del Popolo [1] и сразу наткнулись на хвост карнавала. Тогда, впрочем, мы еще не знали, что это лишь жалкий кончик процессии масок, медленно круживших по площади в ожидании, когда удастся влиться в поток экипажей и попасть в самую гущу празднества; наткнувшись на них так неожиданно, забрызганные дорожною грязью и утомленные, мы не были достаточно подготовлены, чтобы насладиться этим зрелищем.

Несколько раньше мы пересекли Тибр по Ponte Molle [2]. Тибр был желтый, как ему и полагалось, и стремительно несся между размытыми, топкими берегами, предвещая всеобщее запустение и развалины. Маскарадные костюмы в хвосте карнавала поколебали, однако, наши первые впечатления. Здесь не было величественных развалин, не было торжественных следов древности — все это в другом конце города. Здесь были длинные улицы с банальными лавками и домами, какие можно найти в любом европейском городе, были хлопотливо сновавшие люди, экипажи, ничем не примечательные прохожие и множество болтливых иностранцев. Все это так же мало походило на мой Рим — на тот Рим, который существует в воображении всех взрослых и детей: уснувший на солнце среди груды развалин — как площадь Согласия в Париже.

Обложенное тучами небо, нудный, холодный дождь и грязные улицы, ко всему этому я был подготовлен заранее, но к тому, что Рим вовсе не Рим, к этому я подготовлен не был, и, должен признаться, что я укладывался в тот вечер спать в весьма неважном настроении, и энтузиазм мой заметно уменьшился.

Выйдя наутро из дому, мы поспешили к собору св. Петра. Издали он казался безмерно большим, но вблизи, по сравнению с создавшимся у нас представле-

[1] Народные ворота *(итал.)*.
[2] Гибкий мост *(итал.)*.

нием, действительные размеры его определенно и безусловно разочаровывали. Красоту площади, на которой он расположен, с ее рядами стройных колонн и плещущими фонтанами — такой свежей, и широкой, и открытой, и прекрасной,— нельзя преувеличить, сколько бы вы ни превозносили ее. Изнутри собор, особенно его свод под куполом, производит незабываемое впечатление. Но сейчас здесь шли приготовления к празднику; столбы из великолепного мрамора, на которых покоятся своды, были обернуты каким-то неуместным красным и желтым тряпьем; алтарь и вход в подземную часовню, в центре церкви, походили на ювелирную лавку или на декорации первой сцены очень пышно поставленной пантомимы. И хотя я, смею надеяться, почувствовал в полной мере красоту этого здания, я не испытал особого волнения. Я бывал бесконечно больше растроган во многих английских соборах, когда в них раздавались звуки органа, и во многих английских сельских церквах, когда там пели хором все молящиеся. Меня гораздо сильнее поразил и пленил своим величием и своею таинственностью собор св. Марка в Венеции.

Выйдя из собора св. Петра (мы простояли почти час, не сводя глаз с купола, и ни за какие деньги не ушли бы отсюда ради осмотра всей церкви), мы сказали кучеру: «Везите нас в Колизей». Примерно через четверть часа он остановил лошадей у ворот, и мы вошли.

То, что я сейчас скажу,— не вымысел, но бесхитростная, трезвая, голая правда: Колизей и поныне так внушителен и неповторимо своеобразен, что всякий, входя туда, может, если захочет, увидеть на мгновение это исполинское здание таким, каким оно было, когда тысячи разгоряченных лиц были обращены к арене, а там среди вихрей пыли лилась потоками кровь и шла такая яростная борьба, описать которую бессилен язык человеческий. Но уже в следующий миг пустынность и мрачное величие этих развалин рождают в посетителе тихую грусть; и, быть может, никогда больше не будет он так взволнован и потрясен никаким другим зрелищем, не связанным непосредственно с его личными чувствами и переживаниями.

Видеть, как Колизей понемногу превращается в прах — его высота ежегодно уменьшается на один

дюйм,— видеть его стены и своды, обвитые зеленью, коридоры, открытые лучам солнца, высокую траву, растущую на его портиках, юные деревца, поднявшиеся на разрушенных парапетах — случайно выросшие из случайных семян, оброненных птицами, гнездящимися в трещинах и расщелинах,— и уже плодоносные; видеть его боевое ристалище, засыпанное землей, и мирный крест, водруженный в центре; взбираться на верхние ярусы и смотреть оттуда на бесчисленные развалины — на триумфальные арки Константина, Септимия Севера и Тита *, на римский форум, на дворец цезарей, на храмы древней поверженной религии,— это значит видеть призрак древнего Рима, великолепного и порочного города, встающий над землей, по которой когда-то ступал его народ. Это самое внушительное, самое торжественное, величественное и мрачное зрелище, какое можно себе представить. Никогда, даже в дни его молодости, вид исполинского Колизея, до краев полного кипучею жизнью, не мог тронуть чье-либо сердце так, как он трогает всякого, кто смотрит теперь на его развалины. Благодарение богу — только развалины!

Подобно тому как Колизей высится над другими руинами — гора среди могильных холмиков,— так и дух Колизея пережил все другие остатки римской мифологии и римских кровавых потех и наложил отпечаток жестокости на нрав современного римлянина. По мере приближения путешественника к этому городу облик итальянца меняется; красота его становится сатанинскою, и вам едва ли встретится одно лицо из сотни, которое не было бы на своем месте в Колизее, если б его завтра восстановили.

Здесь наконец-то был подлинный Рим — во всей полноте своего устрашающего величия, которое представить себе поистине невозможно! Мы выбрались на Аппиеву дорогу * и долго ехали мимо обрушившихся гробниц и развалившихся стен, лишь кое-где встречая заброшенный, необитаемый дом; мимо цирка Ромула, где отлично сохранилось ристалище для колесниц, места судей, соревнующихся и зрителей; мимо гробницы Цецилии Метеллы; * мимо ограждений всякого рода, стен и столбов, заборов и плетней, пока не выехали на открытую

равнину Кампаньи, где по эту сторону Рима нет ничего, кроме развалин. Не считая далеких Апеннин, встающих на горизонте слева, все обширное пространство пред вами — сплошные развалины. Разрушенные акведуки, от которых остались лишь живописнейшие ряды арок; разрушенные храмы; разрушенные гробницы. Целая пустыня развалин, невыразимо унылая и мрачная, где каждый камень хранит следы истории.

Воскресную торжественную мессу в соборе св. Петра служили в присутствии и при участии самого папы. Впечатление, оставленное во мне собором при этом втором посещении, было таким же, как в первый раз, и сохранилось неизменным после многократных посещений его. Он не воздействует на религиозное чувство и в этом смысле не трогает. Это — огромное здание, где не на чем отдохнуть душою и где взор быстро утомляется. Истинное его назначение не выражено ни в чем, разве только вы приметесь изучать различные детали его, но ведь дело не в отдельных деталях, а в общем воздействии. Здание это с равным успехом могло бы быть пантеоном * или залом заседаний сената или крупным архитектурным памятником, строители которого не ставили себе иной цели, кроме триумфа архитектуры. Правда, тут есть черная статуя св. Петра под красным балдахином; она больше натуральной величины, и набожные католики постоянно прикладываются к большому пальцу ее ноги. Вы не можете не заметить этой статуи: уж очень она бросается в глаза, и возле нее всегда толпится народ. Но как произведение искусства она не усиливает впечатления, производимого храмом, и он — так по крайней мере мне кажется — не отвечает своему высокому назначению.

На обширном пространстве позади алтаря были устроены ложи такой же формы, как в Итальянской опере в Англии, только более пестро украшенные. В центре этого своеобразного театра, отгороженного решеткой, находилось возвышение с балдахином для папского кресла. Пол был покрыт ярко-зеленым ковром, и из-за этого зеленого цвета, нестерпимо-красных и малиновых драпировок и занавесей с золотою каймой все вместе напоминало гигантскую конфету. По обе стороны алтаря были большие ложи для дам-иностранок. Они были за-

полнены женщинами в черных платьях и черных вуалях. Папские гвардейцы в красных мундирах, лосинах и ботфортах охраняли огороженное пространство с саблями наголо, сверкавшими вовсю; от алтаря по всему среднему нефу вел широкий проход, охраняемый папской швейцарскою гвардией в забавных полосатых полукафтаньях и полосатых, туго обтягивающих штанах, вооруженной парадными алебардами, какими щеголяют в театре статисты, из тех, что никогда не уходят со сцены вовремя и топчутся во вражеском стане уже после того, как декорация, изображающая поле боя, раздвинулась и расколола его пополам.

Вместе со многими другими мужчинами, одетыми во все черное (иного пропуска тут не требуется), я пробрался к самому краю зеленого ковра и спокойно простоял тут всю мессу. Певчие помещались в углу, в каком-то закутке за проволокою (похожем на большой шкаф для хранения мяса или на птичью клетку) и пели невыносимо плохо. Вокруг зеленого ковра медленно двигалась густая толпа — все разговаривали между собой, смотрели через лорнеты на папу, в особо интересные моменты сталкивали друг друга с ненадежных мест на основаниях колонн и делали глазки дамам. То здесь, то там виднелись небольшие группы монахов (францисканцев или капуцинов, в грубых бурых рясах с остроконечными капюшонами), составлявших странный контраст с нарядными духовными лицами высшего ранга и так усердно толкаемых плечами и локтями со всех сторон, и слева и справа, что их смирение могло быть вполне удовлетворено. У иных из них были забрызганные грязью сандалии, испачканная одежда и зонтики — эти пришли пешком из деревень. У большинства лица были такими же грубыми и унылыми, как их рясы,— они угрюмо, тупо и бессмысленно смотрели на окружающие блеск и пышность и выглядели одновременно и жалкими и смешными.

На самом зеленом ковре, вокруг алтаря, собралась целая армия кардиналов и священников в красных, золотых, пурпурных, лиловых и белых одеяниях и в тончайшем батисте. Перебежчики из этого стана расхаживали попарно в толпе, вступая в беседу, знакомя, знакомясь и

обмениваясь приветствиями; должностные лица в черных мантиях или придворном платье были заняты тем же. Посреди всех этих людей и вкрадчивых иезуитов, сновавших взад и вперед, и крайне беспокойных представителей юного поколения Англии, беспрестанно переходивших с места на место, несколько солидных особ в черных сутанах, стоя на коленях лицом к стене и углубившись в свои молитвенники, невольно сделались своего рода живыми ловушками для десятков людей, спотыкавшихся об их благочестивые ноги.

Поблизости от меня высилась на полу большая груда свечей; их раздавал духовным лицам — каждому по свече — древний старик в порыжевшем черном одеянии и ажурной накидке, похожей на летнее украшение английских каминов из тонкой бумаги с вырезанными на нем узорами. Некоторое время эти духовные лица держали свои свечи под мышкой, как трости, или в руках — как жезлы. Но в известный момент церемонии каждый обладатель свечи направился к папе; положив ее к нему на колени для благословения, он затем брал ее и отходил прочь. Это создало, как нетрудно представить себе, длинную очередь и отняло много времени. И не потому, чтобы так уж долго было основательно благословить каждую свечу, но потому, что их было великое множество. Наконец благословение свечей кончилось, и их зажгли, а папу вместе с креслом подняли на руки и понесли вокруг церкви.

Должен сказать, что мне не доводилось видеть ничего более похожего на празднование пятого ноября в Англии *. Для полного сходства недоставало только связки фитилей и фонаря. И даже сам папа, приятный и почтенный на вид, не нарушал сходства, ибо эта часть церемонии вызывает у него головокружение и тошноту, и он закрывает глаза, пока она происходит, а его голова в высокой тиаре, покачивающаяся при каждом толчке, кажется маской, которая того и гляди свалится. Два огромных опахала по одну и другую стороны папы, без которых не обходится ни один его выход, были, разумеется, и в этом случае тут как тут. Пока его несли по собору, он благословлял молящихся таинственным мистическим знаком, и все на его пути становились на колени.

После того как он был обнесен вокруг церкви, его снова возвратили на прежнее место, и, если не ошибаюсь, все это было проделано трижды. В этой церемонии не было, разумеется, ничего торжественного или эффектного; и разумеется, тут было много смешного и безвкусного; но мое замечание, относясь ко всей церемонии в целом, не касается одного из моментов ее, а именно поднятия гостии или святых даров, когда все гвардейцы, как по команде, опустились на одно колено, положив обнаженные сабли на пол; это было действительно очень эффектно.

В следующий раз я побывал в соборе спустя две или три недели, и тогда я взобрался под самую маковку купола; теперь драпировки были сняты, ковер свернут, но леса и помост оставлены, и эти остатки праздничного убранства походили на каркас сгоревшего фейерверка.

Пятница и суббота были торжественными церковными праздниками, воскресенье всегда считается в карнавальных увеселениях dies non [1], и мы с некоторым нетерпением и любопытством ждали начала новой недели, так как понедельник и вторник — два последних и самых лучших дня карнавала.

В понедельник, не то в час, не то в два часа пополудни, во дворе гостиницы стал раздаваться громкий стук экипажей и началась суетливая беготня слуг; время от времени на балконе или в дверях мелькал какой-нибудь запоздавший иностранец в маскарадном костюме, еще недостаточно свыкшийся с ним, чтобы уверенно носить его и отважиться выйти в нем в город. Все экипажи были открытыми; обивка сидений была тщательно обтянута белым холстом или коленкором, чтобы она не пострадала от непрерывного обстрела леденцами; в каждую такую коляску, ожидавшую своих седоков, укладывали и втискивали огромные мешки и корзины, полные этих confetti [2] вместе с такими охапками цветов, связанных в небольшие букеты, что некоторые коляски были полны до

---

[1] В данном случае — день, в который увеселения запрещены, шире — неприсутственный день *(лат.)*

[2] Конфет *(итал.)*.

краев цветами, вываливая при всякой встряске и легком покачивании рессор кое-что из своего изобилия на землю.

Чтобы не отстать от других в этих важных деталях, мы распорядились уложить со всей возможной поспешностью в нанятое нами ландо два внушительных мешка леденцов (каждый вышиной фута в три) и большую бельевую корзину, доверху наполненную цветами. С нашего наблюдательного поста на одном из верхних балконов гостиницы мы с удовольствием следили за этими приготовлениями. Между тем экипажи заполнялись седоками и трогались с места; мы также сели в наше ландо и двинулись в путь, прикрыв лица маленькими проволочными масками — ибо в леденцах, как в поддельном хересе Фальстафа, есть примесь извести.

Корсо — улица длиною с целую милю, улица лавок, дворцов и частных домов, иногда расширяющаяся и образующая просторные площади. Почти у всякого дома есть веранды и балконы самых различных форм и размеров, и притом не только на каком-нибудь одном этаже, но нередко на каждом из этажей, и они размещены, как правило, до того произвольно и беспорядочно, что, если бы из года в год и во все времена года балконы лились на землю с дождем, выпадали с градом, валились со снегом и прилетали с ветром, они и тогда не могли бы расположиться в большем беспорядке.

Эта улица — одновременно исток и центр римского карнавала. Но поскольку все улицы, на которых празднуют карнавал, тщательно охраняются драгунами, приходится сперва проезжать гуськом по другой магистрали, а на Корсо въезжать с конца, противоположного Piazza del Popolo.

Мы влились в поток экипажей и некоторое время ехали достаточно неторопливо: то тащились как черепаха, то вдруг продвигались на полдюжины ярдов, то пятились назад на пятьдесят, а то и совсем останавливались — смотря по напору передних экипажей. Если чья-нибудь нетерпеливая коляска вырывалась вперед, в безумной надежде обогнать других, ее тотчас встречал или догонял конный солдат — неумолимый, как его обнаженная сабля,— который препровождал ее в самый конец очереди, где она едва виднелась крошечной точкой. При

случае мы обменивались залпом confetti с экипажами впереди или позади нас, но пока что захват провинившихся экипажей драгунами был основным развлечением.

Затем мы оказались в узкой улице, где помимо потока колясок, двигавшихся в одном направлении, был и встречный поток. Тут леденцы и букеты начали летать вовсю, и это было весьма чувствительно. Мне посчастливилось наблюдать одного господина, одетого греческим воином, который угодил прямо в нос разбойнику со светлыми бакенбардами (последний только что собрался бросить букет юной девице, выглядывавшей в окно бельэтажа) с меткостью, вызвавшей бурные рукоплескания окружающих. Но когда грек-победитель отвечал какой-то забавною шуткой стоявшему в дверях дородному господину в черно-белом одеянии — точно его до половины раздели,— который только что поздравил его с победой, с крыши дома в грека бросили апельсином, попавшим ему прямо в левое ухо, что привело его в крайнее изумление, чтобы не сказать замешательство. И так как грек стоял в этот момент в коляске во весь рост, а коляска неожиданно тронулась, он позорно потерял равновесие и нырнул в ворох цветов.

После четверти часа такой езды мы добрались до Корсо; трудно представить себе что-либо более веселое, более яркое и чарующее, чем зрелище, представшее там перед нами. С бесчисленных балконов, самых далеких и самых высоких, так же как с самых близких и самых низких, свисали ткани ярко-красного, ярко-зеленого, ярко-синего, белого и золотистого цвета, трепетавшие в лучах солнца. Из окон, с перил и с кровель струились полотнища флагов ярких цветов и драпировки самых веселых и богатейших оттенков. Дома, казалось, вывернулись наизнанку в буквальном смысле слова и выставили на улицу все, что было в них нарядного. Ставни лавок были открыты, и витрины заполнены людьми как театральные ложи; двери были сняты с петель, и за ними виднелись длинные сени, увешанные коврами, гирляндами цветов и вечнозеленых растений; строительные леса превратились в пышные храмы, одетые серебром, золотом и пурпуром; в каждом закоулке и уголке, от мостовой до

верхушек печных труб, всюду, где только могли блестеть глаза женщин, они плясали, смеялись и искрились как свет на воде. В нарядах господствовало самое обворожительное сумасбродство. Короткие, дерзкие алые жакетки; чопорные старинные нагрудники, соблазнительнее самых затейливых корсажей; польские шубки, тесно схватывающие стан и готовые лопнуть, как спелый крыжовник; крошечные греческие шапочки, надетые набекрень и бог весть каким чудом не спадавшие с темных волос; любая необузданная, причудливая, дерзкая, робкая, своенравная и взбалмошная фантазия проявила себя в этих нарядах; и любая из них тут же забывалась в вихре веселья — и так основательно, точно три сохранившихся акведука доставили в тот день в Рим на своих прочных арках воду из самой Леты *.

Экипажи двигались теперь по трое в ряд; в более широких местах — по четыре; иногда они подолгу стояли, и все были сплошной массой ярких красок, и сами казались на фоне цветочного ливня цветами бо̀льших размеров. Лошади были покрыты нарядными попонами или украшены от головы до хвоста развевающимися лентами. У некоторых кучеров было два огромных лица: одно косило глаза на лошадей, другое заглядывало в экипаж с самым уморительным выражением; и по каждой из этих масок барабанил град леденцов. Другие кучера были в женских нарядах; у них были длинные кудри и непокрытые головы, и, когда возникали какие-нибудь серьезные затруднения с лошадьми (а в такой тесноте их возникало великое множество), эти возницы-женщины выглядели такими смешными, что об этом ни рассказать, ни пером описать.

Вместо того чтобы сидеть в экипажах, красивые римлянки, желая лучше видеть и себя показать, располагаются в эти часы всяческих и всеобщих вольностей на откидном верхе своих ландо, поставив ножки на сиденье — и как же они прелестны: развевающиеся платья, тонкие талии, роскошные формы и смеющиеся лица — непосредственные, веселые, праздничные! Были тут и большие фуры, полные миловидных девушек — в каждой по тридцать, а то и поболее; когда шел обстрел этих волшебных брандеров *, цветы и конфеты летали в воздухе

по десять минут подряд. Экипажи, застряв надолго на одном месте, завязывали бой с соседними экипажами или зрителями в нижних окнах домов, а публика, расположившаяся на верхних балконах или смотревшая из верхних окон, вмешивалась в схватку и, нападая на обе стороны, высыпала на них леденцы из больших мешков, которые опускались как облако и в мгновение ока делали противников белыми, как мельников. И опять экипажи за экипажами, наряды за нарядами, краски за красками, толпы за толпами, и так без конца. Мужчины и мальчишки хватались за колеса экипажей, прицеплялись к ним сзади или бежали следом, ныряя под ноги лошадей, чтобы подобрать брошенные цветы и снова пустить их в продажу. Пешие маски (обычно самые забавные) в фантастически-карикатурных придворных костюмах рассматривали толпу через огромнейшие лорнеты и неизменно загорались пылкою страстью, завидев в окне какую-нибудь весьма престарелую даму. Длинные вереницы policinelli [1], колотивших всех встречных надутыми бычьими пузырями, привязанными к палкам; телега, полная сумасшедших, вопивших и метавшихся, как настоящие; коляска, битком набитая суровыми мамелюками с бунчуком, воткнутым посередине; группа цыганок в яростной перебранке с командой матросов; человек-обезьяна, восседавший на шесте среди невиданных животных со свиными рылами и львиными хвостами, которые они либо держали под мышкой либо небрежно перебрасывали через плечо; экипажи за экипажами, наряды за нарядами, краски за красками, толпы за толпами, и так без конца. По сравнению с общим числом ряженых здесь, пожалуй, немного костюмов, выдержанных в одном стиле, но главное очарование этого зрелища — в неизменном добродушии; в бесконечном ярком разнообразии; в том, как все отдаются праздничному настроению — и так самозабвенно, с такой заразительной веселостью, что самый солидный иностранец сражается, стоя по пояс в цветах и леденцах, не хуже самого неистового из римлян, и забывает все на свете до половины пятого, когда трубный сигнал и драгуны, начинающие очищать улицы, застав-

---

[1] Паяцев *(итал.)*.



ляют его очнуться и с сожалением вспомнить, что в жизни есть еще и другие дела.

Объяснить, как удается очистить улицу для конских бегов, происходящих здесь в пять часов вечера, и как лошади умудряются не давить при этом народ, мне решительно не по силам. Экипажи разъезжаются по боковым улицам или собираются на Piazza del Popolo; кое-кто рассаживается там на трибунах, тогда как десятки тысяч людей выстраиваются по обе стороны Корсо; а лошадей выводят на Piazza, к подножью той самой колонны, которая столько веков взирала на игры и состязания колесниц в Circus Maximus *.

Подается сигнал, и лошадей пускают. Они летят вдоль живых шпалер, по всему Корсо, как ветер, летят без наездников, о чем знает весь свет; на их спинах и в заплетенных гривах сверкают украшения, а на боках подвешены тяжелые, утыканные шипами шарики, побуждающие их к резвости. Позвякивание этих украшений и топот копыт по камням мостовой; стремительность и неистовство их неудержимого бега по гулкой улице, даже пушечная пальба — все эти шумы тонут в реве толпы, воплях и рукоплесканиях. Но все кончается очень быстро, почти мгновенно. Еще раз пушечный залп сотрясает город. Лошади, уткнулись в ковры, протянутые поперек улицы, чтобы преградить им дорогу; это финиш. Раздаются призы (их частично поставляют горемыки-евреи в качестве возмещения за то, что бегают не они, а лошади), и на этом дневная программа кончается.

Но если предпоследний день бывает веселым и праздничным, то следующий, последний день карнавала такой блестящий и яркий, полон такого кипения и клокотания, такой забавной сумятицы, что при воспоминании обо всем этом у меня и сейчас голова идет кругом. Те же развлечения, но еще более оживленные и бурные, длятся вплоть до того же самого часа. Повторяются конские бега, снова пушечная пальба, снова крики и рукоплескания, еще раз пушечная пальба, бега закончены, и призы розданы.

А экипажи! Внутри они усыпаны леденцами, а снаружи на них столько цветов и пыли, что их трудно признать за те, какими они были часа три назад; вместо того чтобы

разъехаться во всех направлениях, они теснятся на Корсо, где вскоре сбиваются в едва двигающуюся массу. Начинается потешная игра в тоссо[1], последнее веселое карнавальное сумасбродство, и продавцы маленьких свечек, похожих на английские рождественские свечи, принимаются со всех сторон звонко выкрикивать: «Moccoli, moccoli! Ecco moccoli!»[2] — новый возглас в общем оглушительном шуме, сменяющий вчерашние выкрики: «Ecco fiori! Ecco fiori-ri!»[3] — которые слышались с небольшими перерывами в течение целого дня.

По мере того как яркие наряды и драпировки тускнеют в наступающих сумерках, то здесь, то там вспыхивают огоньки — в окнах, на крышах, на балконах, в экипажах, в руках у пешеходов — все чаще и чаще, пока вся улица не сливается в одно сплошное сияние и полыхание. У всех одна всепоглощающая забота: загасить свечи других и уберечь свою собственную; и всякий мужчина, женщина или ребенок, кавалер или дама, князь или простой крестьянин, местный уроженец или приезжий, истошно вопит и кричит, насмехаясь над побежденным: «Senza moccolo! Senza moccolo!» («Без огонька! Без огонька!») — и вот не слышно уже ничего, кроме гигантского хора, повторяющего два эти слова вперемежку со взрывами смеха.

Зрелище, которое вы наблюдаете в эти часы,— одно из самых причудливых, какие только можно себе представить. Медленно двигается поток экипажей; все едут, стоя на сидениях или даже на козлах, безопасности ради подняв свой огонек на высоту вытянутой руки; некоторые держат его в бумажном картузике; у некоторых — целая связка ничем не защищенных горящих свечек; у некоторых — пылающие ярким пламенем факелы; у некоторых — маленькие, тоненькие свечки; пешие рыщут между колесами экипажей, подстерегая какой-нибудь огонек, чтобы погасить его; другие стараются вскочить в какую-нибудь коляску и погасить там огни силою; или преследуют злосчастного обладателя свечи, гоняясь за ним во-

[1] Свечки *(итал.)*.
[2] Свечки, свечки! А вот свечки! *(итал.)*
[3] А вот цветы! Вот цве-е-е-ты! *(итал.)*

круг его экипажа, чтобы задуть его выпрошенный или похищенный у кого-нибудь огонек, прежде чем он успеет присоединиться к своей компании и донести до них огонек; иные, сняв шляпу и стоя у дверцы коляски, смиренно умоляют какую-нибудь добросердечную даму дать им огонька для сигары и, когда она начинает колебаться, удовлетворить ли их просьбу, задувают свечу, которую она так заботливо оберегала маленькой, нежною ручкой; иные забрасывают из окон бечевки с крюками и выуживают свечи или, опустив длинный ивовый прут с подвязанным на конце платком, ловко накрывают им огонек, когда несущий его уже торжествует победу; иные терпеливо дожидаются, притаившись где-нибудь за углом с огромным, похожим на алебарду, гасителем и внезапно опускают его на великолепный, гордо горящий факел; иные, собравшись вокруг коляски, можно сказать, облепляют ее; иные обрушивают град апельсинов или букетов на какой-нибудь упорствующий фонарик или ведут правильную осаду целой пирамиды людей, в центре которой кто-нибудь поднимает над головою маленький, тускло горящий огарок, как бы бросая вызов всем окружающим. «Senza moccolo! Senza moccolo!» Красавицы, стоя во весь рост в экипажах, насмешливо указывают пальцами на погасшие огоньки, хлопают в ладоши и громко выкрикивают: «Senza moccolo! Senza moccolo!»; балконы нижнего этажа полны оживленных нарядных женщин, отражающих нападение с улицы; иные сталкивают осаждающих, иные чуточку приседают, иные наклоняются над перилами, иные подаются назад — прелестные руки и плечи, тонкие талии, яркие огни, развевающиеся платья. «Senza moccolo, senza moccolo, senza moc-co-lo-o-o-o!» — и вдруг, в самый разгар этих неистовых возгласов, с церковных колоколен доносятся звуки Ave Maria *, и карнавал мгновенно кончается — гаснет как огарок, задутый одним дуновением.

В тот же вечер в театре был маскарад, такой же унылый и бессмысленный, как где-нибудь в Лондоне, и примечательный, пожалуй, лишь тем решительным способом, каким здание было очищено в одиннадцать вечера; это было проделано шеренгой солдат, выстроившейся вплотную от одной стены до другой и медленно

наступавшей со стороны сцены, выметая всех перед собою, наподобие огромной метлы. Игра в moccoletti (единственное число этого слова — moccoletto — представляет собою уменьшительное от moccolo, что означает «маленькая лампа» или «светильня»), как думают некоторые, не что иное, как шуточные похороны карнавала,— ведь свечи неотделимы от католической скорби. Так ли это, или не так, или тут следует видеть пережиток древних сатурналий *, или соединение того и другого, или она возникла из чего-нибудь третьего,— я всегда буду помнить ее, и ее шалости и проказы, как ярчайшее и захватывающее зрелище, замечательное не только неуемной веселостью всех участников, вплоть до людей из народных низов (ведь между осаждавшими экипажи было множество мужчин и мальчишек из простолюдинов), но и своею невинною живостью. Сколь бы странными ни показались мои слова — ведь речь идет о развлечении, полном беззаботности и стремления выставить себя напоказ,— оно свободно от всякой нескромности, насколько это возможно при столь тесном соприкосновении обоих полов; и вообще во всей этой забаве сильнее всего ощущаются всеобщее, почти детское простодушие и доверчивость, о которых сожалеешь, когда раздается Ave Maria, и они на целый год изгоняются этим трезвоном.

Воспользовавшись затишьем между окончанием карнавала и началом Страстной недели, когда все разъехались после первого и только немногие начали съезжаться ради второй, мы добросовестно принялись осматривать Рим. Благодаря нашему обыкновению выходить из дому рано утром, возвращаться поздно вечером и неустанно трудиться весь день, нам удалось ознакомиться, я полагаю, с каждой тумбой и колонкой как в городе, так и в его окрестностях; мы изучили, в частности, такое множество церквей, что я, наконец, отказался от этого раздела нашей программы, прежде чем он был исчерпан хотя бы наполовину, опасаясь, что после этого не загляну больше по доброй воле ни в одну церковь. Но почти всякий день я успевал побывать, в тот или иной час, в Колизее или в Кампанье за могилой Цецилии Метеллы.

Совершая эти экскурсии, мы частенько встречали группу английских туристов, с которыми я пламенно, но бесплодно жаждал свести знакомство. Эта группа состояла из некоего мистера Дэвиса и его близких приятелей. Мы все скоро узнали имя миссис Дэвис: у своей компании она всегда была в большом спросе, а ее компания была вездесущей. На Страстной неделе они присутствовали в любом месте в любой момент любой церемонии. За двери недели до этого их можно было встретить в любой гробнице, любой церкви, любых развалинах, любой картинной галерее, и я не помню, чтобы миссис Дэвис умолкала хоть на одно мгновение. Глубоко под землей, высоко под куполом собора св. Петра, за городом, в Кампанье, или в душном и тесном еврейском квартале, неизменно появлялась миссис Дэвис. Не думаю, чтобы она когда-нибудь что-нибудь видела или рассматривала по-настоящему; из ее соломенной ручной сумки постоянно исчезала какая-нибудь нужная ей вещица, которую она изо всех сил старалась найти, роясь среди несметного количества английских полупенсовиков, которых в этой сумке было больше, чем песку на морском берегу.

Эта группа имела собственного постоянного чичероне-профессионала (их было человек пятнадцать — двадцать, и они прибыли из Лондона по контракту); и всякий раз, когда он останавливал свой взгляд на миссис Дэвис, она неизменно восклицала: «Боже милостивый, что это он привязался ко мне? Ни слова не понимаю, что бы ты ни говорил,— и не пойму, толкуй хоть до хрипоты!» Мистер Дэвис всегда был в рединготе табачного цвета и не расставался с большим зеленым зонтиком; его постоянно пожирала особая медлительная любознательность, которая толкала его на самые необыкновенные вещи, например, приподымать крышки урн в гробницах и рассматривать лежавший в них пепел, как если б то были пикули; или обводить наконечником зонтика надписи и изрекать с глубокомысленным видом: «Вот вы видите «Б», а вот «Р», и мы все там будем — а то как же!» Этот любитель древностей часто отставал от спутников; и миссис Дэвис и всю компанию вечно терзал страх, как бы мистер Дэвис не потерялся. Это заставляло их громко окликать его, и притом в самых неподходящих



местах и в самое неподходящее время. И когда он, наконец, появлялся, медленно вылезая из какого-нибудь склепа, точно добродушный вампир, и говорил: «Вот и я», миссис Дэвис неизменно бросала в ответ: «Вот погоди, Дэвис, похоронят тебя заживо в чужой земле, да ведь ты все равно не послушаешь!»

Мистер и миссис Дэвис и их компания попали сюда из Лондона за девять или десять дней. А восемнадцать веков назад римские легионы Клавдия * отказывались идти в поход на родину мистера и миссис Дэвис, говоря, что она лежит за пределами мира.

Среди так называемых римских «львят», то есть достопримечательностей второго разряда, есть один «львенок», весьма меня позабавивший. Он всегда на своем месте, и его логово находится на ступенях длинной лестницы, ведущей от Piazza di Spagna к церкви Trinita del Monte [1]. Короче говоря, эти ступени — пристанище натурщиков, где они поджидают нанимателей. Когда я впервые пришел сюда, я не мог понять, почему эти лица кажутся мне такими знакомыми, почему они годами преследовали меня во всевозможных позах и костюмах, и как могло случиться, что они оказались передо мной в Риме и среди бела дня, словно взнузданные и оседланные ночные кошмары. Вскоре я обнаружил, что мы познакомились и долгие годы поддерживали наше знакомство в многочисленных картинных галереях. Вот старик с длинными седыми волосами и огромною бородой, который, насколько я знаю, занимает добрую половину каталога Королевской академии в Лондоне *. Это натура для патриархов и прочих почтенных личностей. Он опирается на длинный посох, и каждый сучок и каждую извилину этого посоха, тщательно выписанные художниками, мне довелось видеть бесчисленное множество раз.

А вот человек в синем плаще, который всегда делает вид, будто спит на солнце (когда оно бывает на небе), но который, разумеется, всегда настороже и неустанно следит, чтобы ноги его выглядели живописно. Это натура для dolce far niente. Вот человек в темном плаще, кото-

---

[1] От площади Испании к церкви Троицы на горе *(итал.)*.

рый неподвижно стоит, прислонившись к стене и скрестив руки, и искоса поглядывает из-под широкополой, низко надвинутой шляпы. Это — натура для убийцы. Вот еще один человек, который глядит на все через плечо и куда-то собирается идти, но не уходит. Этот изображает высокомерие. Что касается семейного счастья или святых семейств, то их, вероятно, можно нанять по дешевке, ибо их тут большое изобилие на каждой ступени; забавнее всего то, что все они бездельники первой руки, как бы созданные для своего ремесла, и подобных им нет ни в Риме, ни в других обитаемых частях нашей планеты.

Мое недавнее упоминание о карнавале напоминает мне о том, что, по мнению некоторых, он представляет собою шутливое оплакивание (в своей заключительной части) веселых проказ и развлечений перед великим постом, а это в свою очередь напоминает мне о настоящих похоронах и траурных процессиях Рима, обращающих на себя, как и в большинстве других областей Италии, внимание иностранца главным образом из-за того безразличия, с каким относятся к бедному праху, как только его покинула жизнь. Это никак не может объясняться тем, что близкие покойника успевают отделить воспоминания об умершем от его земного облика — для этого погребение слишком быстро следует за кончиной: оно совершается в течение двадцати четырех часов, а иногда даже двенадцати.

В Риме погребальные колодцы устроены по такому же образцу, какой я описывал, рассказывая о Генуе; эти колодцы расположены в унылом, открытом и голом месте. Придя туда однажды в полдень, я увидел одинокий сосновый некрашеный гроб, без всякого покрова, сколоченный настолько небрежно, что копыто какого-нибудь случайно забредшего мула могло бы пробить его; он стоял так, как его опустили, накренясь на один бок, у отверстия одного из колодцев, брошенный на произвол ветра и солнца. «Как же случилось, что его тут оставили?» — спросил я человека, показавшего мне это место. «Его привезли сюда полчаса назад, signore»,— сказал он в ответ. Я вспомнил, что встретил процессию, возвращавшуюся отсюда резвою рысью. «Когда его опустят в коло-

дец?» — спросил я. «Ночью, когда прибудет телега и откроют колодец».— «Сколько же стоит доставить сюда покойника отдельно, не дожидаясь телеги?» — «Десять скудо (около двух фунтов двух шиллингов и шести пенсов в переводе на английские деньги). Прочие трупы, за которых не взимается никакой платы,— продолжал мой провожатый,— будут взяты из церкви Santa Maria della Consolazione [1], и ночью их всех доставят сюда на телеге». Я постоял немного, глядя на гроб, на крышке которого были нацарапаны инициалы покойника, а когда отвернулся, лицо мое, видимо, так явно выражало неодобрение, что провожатый с живостью пожал плечами и, любезно улыбаясь, произнес: «Но ведь это мертвец, signore, не более чем мертвец. Так почему бы нет?»

Среди бесчисленных церквей есть одна, которая заслуживает особого упоминания. Это церковь Ara Coeli [2], построенная, как полагают, на месте древнего храма Юпитера Феретрия; * к ней ведет длинная и крутая лестница, которой явно недостает кучки бородатых прорицателей на верхней площадке. Эта церковь примечательна чудотворным Bambino [3], или деревянною куклой, изображающей младенца Христа; впервые я увидел чудотворного Bambino, говоря официальным языком, при следующих обстоятельствах.

Мы забрели в эту церковь однажды после полудня и рассматривали ее длинный центральный неф с рядами уходящих вдаль мрачных колонн (все древние церкви, построенные на развалинах древних храмов, погружены в полутьму и производят гнетущее впечатление), как вдруг вбежал Бравый курьер, улыбаясь во весь рот и умоляя немедленно идти вслед за ним, так как нескольким избранным посетителям собираются показать Bambino. Мы поспешно последовали за Бравым в часовню или ризницу рядом с главным алтарем, но не в самой церкви, где избранные посетители — несколько джентльменов и

---

[1] Святой Марии утешительницы *(итал.)*.
[2] Алтарь небесный *(лат.)*.
[3] Младенцем *(итал.)*.

дам католического вероисповедания, но не итальянцев — были уже в сборе и где один молодой монах со впалыми щеками зажигал свечи, а другой надевал церковное облачение поверх своей грубой темной рясы. Свечи стояли на алтаре, а над ним находились две забавного вида фигуры, какие можно увидеть на любой ярмарке в Англии, изображавшие, очевидно, деву Марию и святого Иосифа, благоговейно склоненных над запертым деревянным ящиком или ларцем.

Монах со впалыми щеками — назовем его № 1,— покончив с зажиганием свеч, опустился на колени в углу перед этим декоративным предметом, а монах № 2, надев парадные перчатки, усыпанные золотыми блестками, с величайшим благоговением поднял ларец и поставил его на алтарь. Затем с коленопреклонениями и молитвами он отпер его и, откинув переднюю створку, принялся извлекать изнутри всевозможные шелковые и кружевные покровы. Дамы опустились на колени в самом начале священнодействия; мужчины приняли ту же благоговейную позу, лишь только показалась маленькая деревянная кукла, очень напоминавшая лицом генерала Тома Сама, Американского Карлика *, пышно разодетая в шелк и золотое кружево и сверкавшая драгоценными каменьями. Не было местечка на ее крошечной груди, шее или животе, которое не сверкало бы ценными подношениями верующих. Наконец монах № 2 вынул ее из ящика и, обходя коленопреклоненных мужчин и женщин, прикасался ее личиком ко лбу каждого и каждому совал ее неуклюжую ножку для поцелуя; эта церемония была выполнена всеми, вплоть до маленького грязного оборванца, вошедшего сюда прямо с улицы. После этого монах снова водворил ее в ящик, а присутствующие, поднявшись с колен, придвинулись к ней поближе и стали шепотом восхвалять ее драгоценности; спустя некоторое время монах, уложив в ящик покровы, закрыл его, поставил на место, запер все оборудование за двустворчатой дверью вместе со святым семейством, снял свое облаченье и получил подобающую небольшую мзду, между тем как его товарищ тушил с помощью гасителя на длинной палке все зажженные им же огни. Когда свечи были потушены и деньги собраны, оба монаха удалились, а за ними и зрители.

Вскоре затем я повстречался с тем же Bambino на улице, когда его с великой торжественностью несли в дом какого-то больного. Его постоянно приглашают с этой целью во все концы Рима, но я слыхал, что его действие далеко не всегда так благотворно, как хотелось бы, ибо его появление у изголовья тяжелобольных, когда жизнь в них едва теплится, и притом в сопровождении многочисленного эскорта, нередко пугает их до смерти. Чаще всего к нему обращаются роженицы; в этих случаях, как утверждают, он сотворил столько чудес, что если женщина мучается родами дольше обычного, за ним спешно отправляют гонца. Bambino — сущая драгоценность, и на него очень полагаются, особенно среди того религиозного братства, собственность которого он составляет.

К моему великому удовольствию, я узнал, что некоторые из верующих католиков отнюдь не убеждены в чудотворной силе Bambino — об этом рассказывал мне близкий родственник одного священника, сам католик, человек образованный и здравомыслящий. Этот священник взял как-то с моего собеседника слово, что он ни под каким видом не допустит Bambino в спальню одной больной дамы, в которой они оба принимали участие, «ибо,— сказал он,— если они (монахи) испугают больную его появлением и сами ввалятся в ее комнату, это несомненно убьет ее». В соответствии с данным им обещанием мой собеседник, когда явились монахи, выглянул в окно и со многими извинениями, но решительно отказался отворить дверь. В другом случае, которого он был лишь случайным свидетелем, он попытался помешать монахам внести Bambino в маленькую душную каморку, где умирала бедная девушка. Но его усилия не увенчались успехом, и девушка испустила дух в присутствии целой толпы, теснившейся у ее постели.

Среди народа, заходящего на досуге в собор св. Петра преклонить колени и помолиться, можно увидеть школьников и семинаристов, приходящих группами по двадцать — тридцать человек. Эти мальчики, сопровождаемые высоким, мрачным, облаченным в черную одежду наставником, всегда опускаются на колени гуськом, в затылок друг другу, и при этом похожи на колоду карт, расставленных так, чтобы их можно было свалить одним

прикосновением, а наставник — на непомерно большого трефового валета. Постояв минуту-другую у главного алтаря, они поднимаются на ноги и, пройдя, все так же гуськом, к приделу мадонны, в том же порядке падают опять на колени, так что если бы кто-нибудь споткнулся об наставника, за этим неизбежно последовало бы падение всей вереницы.

Во всех церквах вы наблюдаете в высшей степени странное зрелище. То же однообразное, бездушное, сонное пение, то же полутемное здание, кажущееся еще более темным после яркого солнца на улице, те же тускло мерцающие лампады, те же коленопреклоненные люди; та же обращенная к вам спина священника, служащего перед алтарем, с тем же вышитым на облачении широким крестом; как бы все эти церкви ни отличались одна от другой размерами, формой, богатством убранства — все это всегда одинаково. Всюду — те же нищие в грязных лохмотьях, прерывающие молитву на полуслове, чтобы попросить милостыню; те же жалкие калеки, выставляющие в дверях напоказ свои увечья, те же слепые, потряхивающие маленькими, похожими на кухонные перечницы горшочками для подаяния; те же нелепые серебряные венцы, прилаженные к головам святых или мадонны на картинах с большим числом персонажей, так что крошечная фигурка где-нибудь на горе получает головной убор, превышающий размерами храм на переднем плане или целые мили окружающего ландшафта; тот же особо популярный алтарь или статуя, сплошь увешанные маленькими серебряными сердцами, крестиками и прочими украшениями такого же рода — основным предметом торговли в витринах всех ювелиров; то же причудливое смешение благоговейной набожности и неприличия, веры и равнодушия, коленопреклонений на каменном полу и смачного харканья на него же; перерывов в молитвах для попрошайничества или других мирских дел и новых коленопреклонений с тем, чтобы продолжать смиренную молитву с того места, на котором она была прервана. В одной церкви коленопреклоненная дама на мгновение встала, чтобы вручить нам свою визитную карточку — она была учительницею музыки; в другой — степенный господин с очень толстою палкой поднялся на

ноги и прервал благочестивые размышления, чтобы огреть ею свою собаку, зарычавшую на другую; ее визг и лай гулко отдавались под сводами церкви долго после того, как ее хозяин вернулся к молитве, не сводя однако, глаз с собаки.

В любой церкви всегда бывает некий предмет, побуждающий верующих к доброхотным даяниям. Иногда это денежный ящик, поставленный между прихожанами и деревянной фигурою искупителя в натуральную величину, иногда — небольшая шкатулка для сборов на содержание девы Марии; иногда призыв жертвовать на популярного Bambino, иногда мешок на длинной палке, который бдительный служака то и дело просовывает между рядами молящихся, энергично позвякивая его содержимым; но всегда что-нибудь да найдется, и частенько в одной и той же церкви в нескольких видах, так что дела идут, в общем, неплохо.

Всего этого много и под открытым небом, на улицах и дорогах; и часто, когда вы идете, думая о чем угодно, только не о жестяной кружке, она вдруг выскакивает из маленькой придорожной будки, и на крышке у нее написано: «Для душ чистилища». Сборщик многократно повторяет этот призыв, позвякивая перед вами кружкой, как Панч позвякивает треснутым колокольчиком, который его неуемная жизнерадостность превращает в орга̀н.

Это напоминает мне также о том, что некоторые алтари в Риме, почитаемые больше других, снабжены надписью: «Всякая месса, отслуженная у этого алтаря, избавляет одну душу от мук чистилища». Я так и не мог установить в точности плату, взимаемую за такое богослужение, но оно должно обходиться недешево. Есть также в Риме кресты, приложившись к которым вы получаете отпущение грехов на разные сроки. Тот, что поставлен посреди Колизея, дарует отпущение на сто суток, и здесь с утра до вечера можно видеть людей, истово прикладывающихся к нему. Любопытно, что некоторые кресты приобретают почему-то особую популярность, и это как раз один из них. В другом конце Колизея есть еще один крест на мраморной плите с надписью: «Кто

поцелует сей крест, получит отпущение грехов на двести и еще сорок суток», но я что-то не замечал, чтобы кто-нибудь целовал его, хотя день за днем подолгу просиживал на арене и видел, как десятки крестьян проходили мимо него и шли приложиться к другому.

Тщетно было бы пытаться вспомнить большинство подробностей огромной панорамы римских церквей, но San Stefano Rotondo — сырая, покрытая разводами плесени старинная сводчатая церковь на окраине Рима — отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцами, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени — таковы наименее страшные из сюжетов. Все это так старательно выписано, что подает повод к изумлению того же рода, какое вызвал бедный старый Дункан * в леди Макбет, когда ее удивило, что в нем оказалось столько крови.

Одно из верхних помещений Мамертинской тюрьмы * было, как говорят,— и возможно, что это соответствует истине,— темницей св. Петра. Теперь в нем устроена часовня во имя названного святого, и она также занимает особое место в моей памяти. Это очень небольшое и низкое помещение, где мрачная и жуткая атмосфера старой тюрьмы словно просачивается снизу сквозь пол черным туманом. Среди множества приношений по обету здесь висят на стенах предметы, которые одновременно и под стать этому месту и, казалось бы, неуместны в часовне: заржавевшие кинжалы, ножи, пистолеты, дубинки и другие орудия насилия и убийства, принесенные сюда сразу после того, как были пущены в ход, и развешанные здесь,

чтобы умилостивить оскорбленное небо — словно кровь может высохнуть в освященном воздухе храма и не станет вопиять к богу. Тут душно и темно как в могиле, а темницы внизу так черны, и таинственны, и зловонны, и голы, что это небольшое полутемное помещение становится сновидением в сновидении, и в веренице больших, величественных церквей, бегущей мимо меня, точно морские волны, это — особая маленькая волна, не сливающаяся ни с какою другою.

Страшно подумать об огромных пещерах, в которые ведет ход из некоторых римских церквей и которые проходят под всем городом. Во многих церквах существуют обширные склепы и подземные часовни, которые в древнем Риме были банями или тайниками при храмах и бог знает чем еще. Но я говорю не о них. Под церковью San Giovanni и San Paolo [1] находятся выходы колоссальных пещер, выдолбленных в скале и имеющих, как утверждают, еще один выход под Колизеем,— погруженные в непроглядную тьму, огромные, недоступные обследованию и наполовину засыпанные землею пространства, где тусклые факелы, зажженные провожатыми, освещают длинные сводчатые коридоры с ответвлениями направо и налево, похожие на улицы в городе мертвых; где холодные капли сбегают по стенам — кап-кап-кап-кап — образуя на полу бесчисленные лужи, на которые никогда не падал и не упадет солнечный луч. Согласно одним источникам, здесь держали диких зверей, предназначенных для арены цирка; согласно другим — здесь были тюрьмы осужденных на смерть гладиаторов, или то и другое. Предание, сильнее всего потрясающее воображение, утверждает, что в верхнем ряду подземелий (они расположены двумя ярусами) первые христиане, обреченные на съедение диким зверям на арене Колизея, слышали снизу их голодный и жадный рев, и так продолжалось, пока из тьмы и одиночества темницы их не выводили на яркий свет, в огромный переполненный амфитеатр, а их свирепые соседи выскакивали к ним одним прыжком.

Под церковью Сан Себастьяно, в двух милях за воро-

---

[1] Св. Иоанна и св. Павла *(итал.)*.



тами Сан Себастьяно на Аппиевой дороге, находится вход в римские катакомбы — в древности каменоломни, а впоследствии убежища первых христиан. Эти страшные коридоры обследованы на двадцать миль и образуют цепь лабиринтов протяженностью до шестидесяти миль в окружности.

Изможденный монах-францисканец с диким горящим взглядом был единственным нашим проводником в этих глубоких и жутких подземельях. Узкие ходы и отверстия в стенах, уходившие то в ту, то в другую сторону, в сочетании со спертым, тяжелым воздухом вскоре вытеснили всякое воспоминание о пути, которым мы шли, и я невольно подумал: «Боже, а что, если во внезапном припадке безумия этот монах затопчет факелы или почувствует себя дурно, что станется тогда с нами?» Мы проходили между могил мучеников за веру: шли по длинным сводчатым подземным дорогам, расходившимся во всех направлениях и перегороженным кое-где каменными завалами, чтобы убийцы и воры не могли найти тут убежища и составить, таким образом, подземное население Рима, еще худшее, нежели то, что живет под солнцем. Могилы, могилы, могилы! Могилы мужчин, женщин и их детей, выбегавших навстречу преследователям, крича: «Мы христиане! Мы христиане!», чтобы их убили вместе с родителями; могилы с грубо высеченною на каменных гранях пальмою мученичества; маленькие ниши, вырубленные в скале для хранения сосуда с кровью святого мученика; могилы некоторых из тех, кто жил здесь много лет, руководя остальными и проповедуя истину, надежду и утешение у грубо сложенных алтарей, таких прочных, что они стоят там и сейчас; бо̀льшие по размерам и еще более страшные могилы, где сотни людей, застигнутых преследователями врасплох, были окружены и наглухо замурованы, погребены заживо и медленно умирали голодною смертью.

«Торжество веры не там, на земле, не в наших роскошных церквах,— сказал францисканец, окидывая нас взглядом, когда мы остановились передохнуть в одном из низких проходов, где кости и прах окружали нас со всех сторон,— ее торжество здесь, посреди могил мучеников за веру!» Наш проводник был искренним, вдумчивым

человеком и сказал это от всего сердца; но когда я подумал о том, как люди, называвшие себя христианами, поступали друг с другом, как, извращая нашу милосерднейшую религию, травили и мучили, сжигали и обезглавливали, удавливали и истребляли друг друга, я представил себе страдания тех, кто теперь — безжизненный прах, страдания, превосходившие все, что они претерпели, пока от них не отлетело дыхание: я представил себе, как содрогнулись бы эти великие и стойкие сердца, если б могли предвидеть все злодеяния, которые будут твориться якобы во имя Того, за кого они приняли смерть; и какою мукой, горчайшей из всех, было бы для них это предвидение на безжалостном колесе, на ужасном кресте и в страшном пламени костра.

Вот те разрозненные картины из моих воспоминаний о римских церквах, которые сохранили четкость и не сливаются со всем остальным. Более расплывчаты воспоминания, относящиеся к реликвиям: обломку расколовшейся надвое опоры из храма *, части стола, накрытого для Тайной вечери, или колодца, откуда самаритянка зачерпнула воды * для Спасителя, или кускам двух колонн из дома Понтия Пилата *, или камню, к которому были привязаны руки Христа, когда его бичевали, или решетке св. Лаврентия и камню под нею, хранящему следы его жира и крови *. Все это смутно — как полузабытое предание или сказка — связывается для меня с обликом некоторых соборов и на мгновение останавливает их бег. Все остальное — хаос священных зданий всех форм и стилей, сливающихся друг с другом; разбитые опоры древних языческих храмов, вырытые из земли и обреченные, словно исполинские пленники, поддерживать кровли христианских церквей; произведения живописи — плохие, изумительные, кощунственные или нелепые; коленопреклоненные люди, кудрявый дымок ладана, колокольный звон и иногда (но не часто) мощные звуки органа; мадонны, чьи груди утыканы шпагами, расположенными, как пластинки веера, правильным полукругом; подлинные скелеты умерших святых, омерзительно разряженные в яркий атлас, шелка и шитый золотом бархат; высохшие черепа, убранные драгоценными украшениями или венками из съежившихся цветов; иногда — толпа во-

круг амвона, где исступленно проповедует монах, простирая руку с распятием, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь высокое окно, падают на парусиновый навес, протянутый поперек церкви, чтобы пронзительный голос проповедника не затерялся под гулкими сводами. Потом моя утомленная память ведет меня на лестницу, где спят или греются на солнце группы людей, а затем бродит посреди лохмотьев, запахов, дворцов и лачуг старой улицы итальянского города.

Утром, в субботу восьмого марта, здесь был обезглавлен преступник. За девять или десять месяцев перед тем он подстерег одну баварскую графиню, которая шла паломницей в Рим, одна и пешком, повторяя, как говорят, этот акт благочестия уже в четвертый раз. Заметив, как она разменяла в Витербо, где он проживал, золотую монету, он последовал за графиней, прошел вместе с нею больше сорока миль, вероломно предложив ей свою защиту в пути, и, наконец, привел в исполнение свой умысел; напав на нее посреди Кампаньи, уже совсем близко от Рима, возле так называемой (но отнюдь не подлинной) гробницы Нерона, он ограбил и убил графиню ее же собственным страннническим посохом. Убийца только недавно женился и кое-что из одежды убитой подарил молодой жене, сказав, что эти вещи куплены им на ярмарке. Однако жена, заметившая графиню-паломницу, когда та проходила через их город, узнала кое-что из подаренного и поняла, чьи это вещи. После этого он признался ей во всем. Жена рассказала об этом священнику на исповеди, и преступник был взят под стражу через четыре дня после убийства.

В этой непостижимой стране нет установленных сроков для отправления правосудия или исполнения приговора, и убийца вплоть до последнего дня содержался в тюрьме. В пятницу, когда он обедал вместе с прочими заключенными, к ним вошли и, объявив ему, что он будет обезглавлен на следующее утро, увели его из общей камеры. Великим постом тут почти никогда не казнят, но поскольку преступление было очень тяжким, сочли уместным наказать преступника для примера именно в это

время, когда в Рим отовсюду стекаются к Страстной неделе многочисленные паломники. Я услышал об этом в пятницу вечером и увидел в церквах объявления, призывавшие молиться за душу преступника. Я решил пойти и посмотреть, как он будет казнен.

Казнь была назначена на четырнадцать с половиной часов по римскому времени, то есть без четверти девять утра. Со мною было двое друзей, и так как мы предполагали, что народу будет очень много, мы были на месте уже в половине восьмого. Казнь должна была состояться по соседству с церковью San Giovanni Decollato [1] (сомнительный комплимент св. Иоанну Крестителю), на одной из тех непроезжих, глухих улиц без тротуаров, какие составляют значительную часть Рима,— улице с полуразвалившимися домами, которые, по-видимому, не имеют владельцев, никогда не были обитаемы и уж, конечно, строились безо всякого плана и без какого-либо определенного назначения; в окнах нет рам, и дома похожи на заброшенные пивоварни, хотя могли бы быть и складами, в которых, однако, ничего не хранится. Напротив одного из таких строений — небольшого белого дома — и был сооружен эшафот, и это было, конечно, небрежно сколоченное, неокрашенное, неуклюжее и шаткое сооружение, поднятое над землей футов на семь; над ним торчала высокая рама, похожая на виселицу, на которой был укреплен массивный железный брус с острым ножом, готовым опуститься и ярко блестевшим в лучах утреннего солнца, когда оно выглядывало по временам из-за облака.

Народу было не так уж много, и папские драгуны держали его на почтительном расстоянии от эшафота. Сотни две-три пехотинцев с ружьями вольно стояли тут и там небольшими отрядами, а их офицеры прогуливались по двое и по трое, болтая друг с другом и покуривая сигары.

В конце улицы был пустырь, который полагается заваливать мусором, грудами черепков и отбросами растительного происхождения, но подобные вещи в Риме швыряют везде и всюду, и для них не отводится особого

---

[1] Св. Иоанн Обезглавленный (а также безголовый) *(итал.)*.

места. Мы вошли в какое-то подобие прачечной при жилом доме и устроились тут на старой телеге и куче наваленных у стены тележных колес. Через большое зарешеченное окно нам был виден эшафот и улица за ним, вплоть до крутого поворота налево, где перспектива замыкалась фигурой толстого офицера в треуголке.

Пробило девять, пробило десять, но все оставалось по-прежнему. Как обычно, трезвонили все, какие были, колокола всех, какие были, церквей. На пустыре собрался небольшой парламент собак; гоняясь друг за дружкой, они носились между солдатами. Свирепого вида римляне из низших слоев населения в синих плащах, в рыжих плащах и в лохмотьях, не прикрытых никакими плащами, приходили, уходили и вступали в разговоры между собой. По краям редкой толпы сновали женщины и дети. Один обширный, покрытый грязью участок, оставшийся пустым, напоминал лысину на голове. Продавец сигар с глиняным горшком, в котором у него были горячие угли, прохаживался взад и вперед, зычно расхваливая свои товары. Пирожник делил свое внимание между эшафотом и покупателями. Мальчишки старались вскарабкаться на заборы и, срываясь, падали па землю. Священники и монахи, расчищая локтями проход в толпе, становились на цыпочки, чтобы рассмотреть гильотину, и затем уходили. Художники в невероятных средневековых шляпах и с бородами (благодарение небу!), не числившими за собой ни одного века, оглядывались и картинно хмурились.

Один джентльмен, видимо причастный к изящным искусствам, был в гессенских сапогах *, с рыжей бородой, закрывавшей ему грудь, и длинными ярко-рыжими волосами, тщательно заплетенными в две косы и доходившими ему почти до пояса!

Пробило одиннадцать, а все оставалось по-прежнему. В толпе прошел слух, что преступник отказывается исповедаться; в этих случаях осужденного препоручают священникам вплоть до Ave Maria (иначе говоря, до захода солнца), ибо у них существует милосердный обычай не отнимать до этого часа распятия у осужденного; ведь отвергающий исповедь и причастие не может рассчитывать на милосердие божье. Толпа начала расходиться. Офицеры пожимали плечами, и их лица выражали недоуме-

ние. Драгуны, время от времени проезжавшие верхами под нашим окном, чтобы заставить какую-нибудь злосчастную наемную карету или телегу убраться, стоило ей занять удобную позицию и наполниться обрадованными зрителями (но не раньше),— действовали все более решительно. На лысом месте не оставалось ни одного волоска. Толстый офицер, замыкавший перспективу, нюхал табак в огромных количествах.

Внезапно послышались звуки труб. «Смирно!» — скомандовали у пехотинцев. Они направились к эшафоту и окружили его. Драгуны галопом помчались к своим ближним стоянкам. Гильотина оказалась в центре леса ощетинившихся штыков и сверкающих сабель. Народ подался немного вперед, во фланг солдатам. Длинный поток мужчин и мальчишек, сопровождавших процессию от самой тюрьмы, разлился на открытом пространстве. Лысое место перестало быть различимым, слившись со всем остальным. Продавец сигар и пирожник отбросили на время всякие помыслы о торговле и, отдавшись полностью удовольствию, заняли хорошие места в толпе. Перспектива теперь замыкалась отрядом драгун. Толстый офицер, со шпагой в руке, смотрел прямо перед собой, на церковь, которая была видна ему, но не толпе.

Немного погодя, к эшафоту со стороны этой церкви подошло несколько монахов, а над их головами медленно поплыла увитая черным фигура Христа на кресте. Ее обнесли вокруг эшафота и поставили перед ним, повернув лицом к осужденному, чтобы тот мог видеть его до последней минуты.

Едва распятие было установлено, как на помосте показался осужденный — босой, со связанными руками; ворот его рубахи был обрезан почти до плеч. Это был молодой человек двадцати шести лет, крепко и хорошо сложенный. Лицо его было бледно; у него были маленькие черные усики и темно-каштановые волосы.

Он требовал, как передавали, последнего свидания с женой и отказывался от исповеди, пока не добился своего. Пришлось послать за ней, и это было причиной задержки.

Он тотчас же стал на колени, прямо под ножом гильотины. Затем вложил шею в отверстие, вырезанное для

этого на поперечной доске, прикрываемой сверху другой доской, как на позорном столбе; прямо под ним был подвешен кожаный мешок, и туда мгновенно скатилась его голова.

Палач поднял ее за волосы и понес вокруг эшафота, показывая народу, прежде чем глухой стук упавшего ножа дошел до моего сознания.

После того как голову обнесли вокруг эшафота, ее подняли на шесте перед ним — небольшой черно-белый комок, на который будет глазеть улица и садиться мухи. Глаза были обращены вверх, словно он старался не видеть кожаного мешка и все время смотрел на распятие. Лицо было матовым, холодным, белым, восковым; все краски жизни сразу покинули его. Таким же было и тело.

Крови было очень много. Отойдя от окна, мы приблизились к эшафоту вплотную. Двое людей окатывали его водой; один из них, подходя ко второму, чтобы помочь уложить труп в грубо сколоченный гроб, шел по помосту, словно пробираясь по грязи. Поражало исчезновение шеи. Голова была срезана у самого основания, так что, казалось, еще немного — и нож раздробил бы нижнюю челюсть или отсек ухо; а у тела был такой вид, точно над плечами решительно ничего не осталось.

Никто не был потрясен происшедшим, никто не был даже взволнован. Я не заметил ни малейших проявлений отвращения, жалости, негодования или печали. В толпе, у самого подножия эшафота, пока тело укладывали в гроб, в моих пустых карманах несколько раз пошарили. Это было безобразное, гнусное, бессмысленное, тошнотворное зрелище, кровавая бойня — и ничего больше, если не считать минутного интереса к горемыке-актеру. Да! Вот единственный смысл этого зрелища и единственное заключенное в нем предостережение. Я не должен забывать о нем. Завсегдатаи лотереи, устроившись в удобных местах, вели счет каплям крови, падавшим кое-где с эшафота, чтобы купить билет с соответствующим номером. Спрос на него бывает большой.

Тело было увезено на телеге, нож тщательно вытерт, помост разобран, и все отвратительные приспособления убраны. Палач — человек, ex officio поставленный вне закона (какая сатира на то, что зовется возмездием!) и

под страхом смерти не смеющий перейти мост св. Ангела *, кроме как для исполнения своих обязанностей,— удалился в свою берлогу, и представление было окончено.

Среди римских палаццо, в которых хранятся художественные собрания, на первом месте стоит Ватикан со своими сокровищами искусства, своими грандиозными галереями, лестницами и бесконечными анфиладами огромнейших зал. Здесь — множество благородных изваяний и чудесных картин, но тут же — пусть это не покажется кощунством — и изрядное количество хлама. Если для любой древней статуи, вырытой из земли, в галерее неизменно находится место, независимо от ее действительных достоинств, но исключительно потому, что она *древняя*, и она находит сотни поклонников не почему-нибудь, а только потому, что она туда попала, в галереях всегда окажется немало вещей, плохих с точки зрения того, кто глядит на них своими глазами, хотя мог бы, вместо этого грубого инструмента, надеть очки лицемерия и прослыть человеком отменного вкуса.

Признаюсь откровенно, что я не могу оставлять у входа во дворец — в Италии или где бы то ни было — свое естественное восприятие правдивого и естественного, как оставлял бы башмаки, если бы путешествовал по Востоку. Я не могу забыть, что существуют определенные выражения лица, свойственные определенным страстям, и столь же неизменные, как львиная поступь или паренье орла; я не могу отказаться от определенных, усвоенных мною познаний о нормальных пропорциях человеческих рук, ног и голов; и когда я вижу произведения, совершающие насилие над всем, что известно мне по опыту и воспоминаниям, то где бы они ни хранились, я не могу искренне восхищаться ими и считаю, что лучше заявить об этом прямо, вопреки высокомудрому совету критиков: изображать восхищение, хоть мы и не всегда испытываем его.

Поэтому я во всеуслышание заявляю, что, когда я вижу дюжего лодочника, изображенного в виде херувима, или ломового Бэрклей и Перкинса * в виде евангелиста,

я не понимаю, что́ тут хвалить и чем восхищаться, как бы ни прославляли написавшего их художника. Не питаю я также склонности и к карикатурам на ангелов, играющих на скрипках или фаготах в назидание явно пьяным монахам, распростертым на земле; или к св. Себастьяну и св. Франциску, этим «м-сье Тонсонам» * каждой картинной галереи; хотя оба они обладают какими-то необычайными достоинствами, если судить по бесчисленным копиям, сделанным с них итальянскими живописцами.

Мне кажется также, что пылкие и неумеренные восторги, которым предаются иные из критиков, несовместимы с правильною оценкой действительно великих и вечных творений. Я не могу представить себе, например, как рьяный поклонник какой-нибудь незаслуженно славящейся картины способен подняться до понимания пленительной красоты хранящегося в Венеции великого полотна Тициана «Успение богородицы»; или как человек, по-настоящему взволнованный возвышенностью этого произведения или способный ощутить красоту великого полотна Тинторетто «Царство блаженных», хранящегося там же, может находить в «Страшном суде» Микеланджело в Сикстинской капелле * хоть какую-нибудь общую идею или руководящую мысль, которые соответствовали бы этому грандиозному сюжету. Тот, кто, после созерцания шедевра Рафаэля «Преображение», перейдя в другой зал того же Ватикана, увидит другую работу того же Рафаэля, изображающую (в невероятно карикатурном виде) чудесное прекращение большого пожара папою Львом Четвертым, и заявит при этом, что считает обе картины гениальными, тот, по-моему, не понимает либо первой картины, либо второй — скорее всего той, которая обладает подлинно высокими достоинствами.

Сомнения — дело не трудное, но я сильно сомневаюсь, всегда ли искусство должно с такой неуклонностью соблюдать правила и так ли уж хорошо и приятно знать наперед, где эта фигура будет повернута так-то, а где та будет уложена, а где драпировка будет обязательно в складках и т. д., и т. п. Когда в итальянских собраниях живописи я замечаю на хороших картинах недостойные

их сюжета головы, я не упрекаю в этом художника, ибо подозреваю, что эти великие люди, которые поневоле во многом зависели от священников и монахов, писали этих священников и монахов, пожалуй, чересчур часто. И, когда я вижу на картинах подлинно талантливых головы, недостойные ни их сюжета, ни живописца, я неизменно обнаруживаю, что эти головы отмечены печатью монастыря и что среди монастырских обитателей их подобия обильно представлены и поныне; и я раз и навсегда решил для себя, что в этих случаях виноват не художник, а тщеславие и невежество некоторых его заказчиков, пожелавших стать во что бы то ни стало апостолами — хотя бы на полотне.

Изысканное изящество и красота созданного Кановой, спокойное величие многих античных статуй как в Капитолии *, так и в собрании Ватикана, сила и вдохновенность многих других, при всем различии этих творений,— превыше всяких похвал, доступных человеческой речи. Особенно чарующими и выразительными кажутся они рядом с работами Бернини и его школы, изобилующими в римских церквах, начиная с собора св. Петра, и представляющими собою — я твердо уверен в этом — самые отвратительные изделия, какие только существуют на свете. Неизмеримо большее удовольствие мне бы доставили (как произведения искусства) три божества — Прошлое, Настоящее, Будущее — китайской коллекции *, чем лучшие из этих буйно помешанных, у которых каждая складка одежды вывернута наизнанку, мельчайшая вена или артерия — толщиной в палец, волосы похожи на клубок шевелящихся змей, а позы затмевают своей нелепостью все остальное. Вот почему я глубоко убежден, что во всем мире не найти места, где было бы столько уродов, порожденных резцом ваятеля, сколько их собрано в Риме.

В Ватикане есть также коллекция египетских древностей; потолки в залах, где они выставлены, расписаны под звездное небо пустыни. Подобная идея может показаться причудливой, но это очень эффектно. Угрюмые чудовища египетских храмов — полулюди, полузвери — кажутся еще угрюмее и чудовищнее под темно-синим небом; оно отбрасывает на все предметы тусклые, угрюмые

тени, подчеркивающие их таинственность, и вы покидаете эти залы такими же, какими застали их,— погруженными в торжественную, тихую ночь.

В частных дворцах картины можно рассматривать с наибольшим удобством; обычно в таких галереях их не так много, чтобы ваше внимание рассеивалось, а глаз утомлялся. Вы обозреваете их не торопясь, и вам редко мешают посетители. Тут хранятся бесчисленные портреты работы Тициана, Рембрандта и Ван-Дейка, головы кисти Гвидо, Доминикино и Карло Дольчи; картины на разнообразные сюжеты, писанные Корреджо, Мурильо, Рафаэлем, Сальватором Роза и Спаньолетто, многие из которых трудно превознести сверх меры или даже оценить по достоинству — таковы их нежность и изящество, их благородная возвышенность, чистота и прелесть.

Портрет Беатриче Ченчи в палаццо Барберини * — картина, забыть которую невозможно. Сквозь чарующую красоту ее лица просвечивает нечто такое, что неотступно преследует меня. Я и сейчас вижу ее портрет так же отчетливо, как вот эту бумагу или свое перо. На голову свободно накинуто белое покрывало; из-под складок его выбиваются пряди волос. Она внезапно обернулась и смотрит на вас, и в ее глазах, хотя они очень нежны и спокойны, вы замечаете какое-то особое выражение, словно она только что пережила и преодолела смертельный ужас или отчаяние и в ней осталось лишь упование на небеса, прелестная печаль и смиренная земная беспомощность. По некоторым версиям, Гвидо написал ее в ночь перед казнью; по другим — он писал по памяти, увидев ее на пути к эшафоту. Мне хочется верить, что он изобразил ее так, как она повернулась к нему, отвратив взор от рокового топора, и этот взгляд запечатлелся в душе художника, а он в свою очередь запечатлел его в моей, словно я стоял тогда в толпе рядом с ним. Преступный дворец семьи Ченчи медленно разрушается, отравляя своим дыханием целый квартал; в его подъезде, в темных, слепых глазницах окон, на мрачных лестницах и в коридорах мне чудилось все то же лицо. Здесь на картине начертана живая История — начертана самой Природой на лице обреченной девушки. Одним этим штрихом как она возвышается (вместо того чтобы сбли-

зиться с ним) над ничтожным миром, притязающим на родство с нею по праву жалких подлогов!

В палаццо Спада я видел статую Помпея, статую, у подножия которой пал Цезарь. Суровая, устрашающая фигура! Я вообразил, что некогда она была иной — тоньше отделанной, более чеканной,— и как она расплылась, теряя отчетливость очертаний, в помутившихся глазах того, кто истекал кровью у ее подножия; а потом застыла, в своем теперешнем мрачном величии, в тот миг, когда Смерть коснулась его запрокинутого лица.

Прогулки в окрестностях Рима очаровательны, и были бы полны интереса из-за одних только видов дикой Кампаньи, которые все время сменяются перед вами. Каждая пядь здешней земли богата и природной красотой и историческими ассоциациями. Вот Альбано с его прелестным озером, лесистыми берегами и вином, которое, надо сказать, не улучшилось со времени Горация и в наши дни едва ли заслуживает его панегирика. Вот убогое Тиволи, где река Аньо, отведенная из своего русла, низвергается с высоты восьмидесяти футов, чтобы отыскать его. Здесь же, прилепившись на высоком утесе, виднеется живописнейший храм Сивиллы; * блестят и сверкают на солнце меньшие водопады и разевает темную пасть большая пещера, куда река совершает свой страшный прыжок и бежит дальше под низко нависшими скалами. Вот вилла д'Эсте, заброшенная и разрушающаяся; окруженная печальными соснами и кипарисами, она словно лежит на катафалке. Вот Фраскатти, а вверху на круче — развалины Тускула, где жил и писал Цицерон, украшая полюбившийся ему дом (от которого и сейчас кое-что сохранилось), и где родился Катон. Мы осматривали разрушенный амфитеатр Тускула в серый, пасмурный день, когда дул резкий мартовский ветер, и раскиданные камни древнего города лежали на одиноком холме, печальные и мертвые, как пепел давно погаснувшего костра.

Желая непременно пройтись по древней Аппиевой дороге, давно заброшенной и заросшей, мы как-то, маленькой компанией из трех человек, совершили пешеходную прогулку по ней до Альбано, в четырнадцати милях от Рима. Выйдя в половине восьмого утра, мы приблизительно через час оказались в открытой Кампанье. Целых

двенадцать миль мы пробирались среди сплошных развалин, карабкаясь по насыпям, грудам и холмам битого камня. Гробницы и храмы, разрушенные и простертые на земле; небольшие обломки колонн, фризов, фронтонов; большие глыбы гранита и мрамора; рухнувшие, осыпающиеся и заросшие травой арки — все вокруг нас было усеяно ими: развалин было достаточно, чтобы построить из них порядочный город. Иногда мы упирались в стенки, кое-как сложенные пастухами из этих обломков; иногда преодолевали рвы между двумя насыпями из разбитых камней; иногда эти обломки, скатываясь у нас из-под ног, затрудняли наше продвижение. Но всюду были одни развалины. Местами древняя дорога была различима, местами скрыта под травяным покровом, точно в могиле, но всюду она шла среди развалин. Вдалеке шагали по равнине своей исполинскою поступью полуразвалившиеся акведуки, и всякое дыхание долетавшего до нас ветерка колыхало ранние цветы и траву, росшие на бесконечных развалинах. Невидимые жаворонки, одни только нарушавшие торжественную тишину, гнездились в развалинах; и завернутые в овчинные шкуры угрюмые пастухи, хмуро глядевшие на нас из укрытий, в которых они ночевали, тоже были жителями развалин. Вид безлюдной Кампаньи там, где она наиболее плоская, напомнил мне американскую прерию; но что значит пустынность местности, где никогда не жили люди, по сравнению с той пустынею, где оставило свои следы могучее, исчезнувшее с лица земли племя; где гробницы его покойников рассыпались в прах, как сами покойники, и где разбитые песочные часы Времени — не более чем горсточка праха!

Когда на закате мы возвращались назад обычной дорогой и издали смотрели на наш утренний путь, мне показалось (как и утром, когда я видел его впервые), что солнце в последний раз взошло над миром, лежащим в развалинах.

Возвращение в Рим лунною ночью после подобной прогулки было ее достойным завершением. Узкие улицы без тротуаров, заваленные в каждом темном углу кучами навоза и мусора, своей теснотой, грязью и тьмой составляют резкий контраст с широкою площадью перед какимнибудь горделивым собором, где в центре высится испещ-

ренный иероглифами обелиск, доставленный из Египта в дни императоров, и чуждый всему окружающему, или древний постамент, с которого сброшена чтимая некогда статуя и который служит теперь подножием христианскому святому — св. Павлу вместо Марка Аврелия или св. Петру вместо Траяна.

Высокие здания, сооруженные из камней Колизея, словно горы, закрывают собою луну; но местами сквозь обрушенные арки и пробоины стен лунный свет льется неудержимо, точно кровь из зияющей раны. Вот целый городок жалких лачуг, окруженных стеною и закрытыми на засовы воротами; это — квартал, в котором запирают на ночь евреев, как только часы пробьют восемь; это — густо населенное, жалкое, зловонное место, но обитающие в нем люди трудолюбивы и умеют зарабатывать деньги. Проходя днем по этим узким улицам, вы видите их всех за работою; прямо на мостовой чаще, чем в темных и душных лавках, они подновляют старое платье или торгуют.

Выбравшись из этих погруженных в непроглядную тьму трущоб, вы снова попадаете в полосу лунного света, и фонтан Треви, бьющий сотнею струй, низвергая их на искусственные скалы, кажется одинаково серебристым на глаз и на слух. За ним, в узкой, как ущелье, улочке, у лавки, убранной яркими лампами и зелеными ветками, кучка угрюмых римлян собралась вокруг дымящихся котлов с горячей похлебкой и вареной цветной капустой, подносов с жареной рыбой и больших бутылей вина. Когда наша коляска, постукивая, делает крутой поворот, до нас доносится какое-то тяжелое громыхание. Кучер внезапно останавливает лошадей и снимает шляпу; мимо нас медленно проезжает телега; впереди идет человек, несущий в руках большой крест, факельщик и священник; последний поет на ходу молитвы. Это — Телега мертвых с трупами бедняков, совершающих последний путь к месту своего погребения на «Священных полях», где их побросают в колодец, который этой же ночью будет заложен камнем и запечатан на год.

Проезжая мимо обелисков или колонн, древних храмов, театров, домов, портиков или форумов, вы бываете неизменно поражены тем, что древние руины всюду, где

только возможно, включены в современные здания и приспособлены к современным нуждам: как забор, жилье, амбар или конюшня,— словом, нечто такое, к чему они не были предназначены и чем могут быть лишь с грехом пополам. Но еще больше вы бываете поражены, замечая, какая масса остатков древних мифологических представлений, пережитков преданий и обрядов вошла в местный культ христианских святых и как религия ложная и религия истинная соединились в чудовищном, противоестественном сплаве.

В одном месте из города видна приземистая, низкая пирамида (место погребения Гая Цестия *), представляющаяся в лунном сиянии темным треугольником. Для английского путешественника она, кроме того, указывает путь к могиле Шелли, пепел которого похоронен невдалеке, в крошечном садике. Еще ближе, почти в отбрасываемой ею тени, покоится прах Китса, чье «имя начертано на воде», мягко светящейся в пейзаже тихой итальянской ночи.

Считается, что Страстная неделя в Риме очень интересна для иностранцев; но интересно лишь празднование Светлого воскресенья, и я не советовал бы тем, кто едет в Рим ради его осмотра, приезжать сюда в это время. Религиозные церемонии большей частью в высшей степени скучны и утомительны; духота и давка на каждой из них — невыносимы; шум, гам и сумятица не дают вам сосредоточиться. Мы очень скоро отказались от этих зрелищ и снова принялись за развалины. Но мы все же окунулись в толпу, чтобы посмотреть наиболее интересное, и то, что мы видели, я постараюсь вам описать.

В среду в Сикстинской капелле мы увидели весьма мало, так как попали туда (хоть и прибыли очень рано), когда теснящаяся толпа уже заполнила ее до дверей и выливалась в соседний зал, где люди толкались, жали друг друга, пререкались и устраивали невероятную давку всякий раз, когда какая-нибудь дама теряла сознание и ее выносили, словно полсотни людей могли занять освободившееся после нее место. Над входом в капеллу

висела тяжелая драпировка, и человек двадцать, стоявших к ней ближе всего, горя желанием слушать Miserere *, то и дело подхватывали ее, мешая друг другу, чтобы она не опустилась над дверью и не заглушила голосов хора. Это повело к величайшей сумятице, и злосчастная драпировка начала обвиваться вокруг своих неосмотрительных жертв, словно змея. То в ней запуталась какая-то дама, и ее никак не могли вызволить. То из недр ее слышался голос задыхающегося джентльмена, умолявшего помочь ему выбраться. То в нее попалась пара чьих-то рук, то ли женских, то ли мужских, рвавшихся из нее, как из мешка. Наконец напором толпы драпировку вынесло за двери, в капеллу, где она распласталась горизонтально, точно навес. Снова оказавшись на прежнем месте, она хватила по глазу одного из папских швейцарских гвардейцев, явившихся навести порядок.

Сидя поодаль, возле нескольких папских придворных, которые очень устали и считали минуты — как, быть может, и сам его святейшество папа,— мы скорее располагали возможностью наблюдать это забавное зрелище, чем слышать Miserere. Иногда до нас доносилось печальное пение хора, звучавшее патетично и скорбно, но оно замирало так же внезапно, как раздавалось — и это все, что мы слышали.

В другой раз мы присутствовали в соборе св. Петра, когда там показывали реликвии. Это происходило между шестью и семью вечера и представляло собою эффектное зрелище, так как собор был погружен во тьму и казался особенно мрачным, и в нем была масса народу. Реликвии, выносимые одна за другой тремя священниками, выставлялись на большом балконе возле главного алтаря. Во всей церкви это было единственное освещенное место. Перед алтарем всегда теплятся сто двенадцать лампад и, кроме того, перед черной фигурой св. Петра горели две высокие свечи, но для такого огромного здания это все равно что ничто.

В этом мраке — в том, как все лица обращались к балкону, а набожные люди простирались ниц, когда над ними возносили какой-нибудь блестящий предмет — картину или зеркало,— было нечто впечатляющее, несмотря на нелепую манеру этого назидательного показа

и большую высоту, с которой показывают реликвии, что, казалось бы, лишает людей удовольствия убедиться в их подлинности.

В четверг мы отправились смотреть церемонию перенесения папою святых даров из Сикстинской капеллы в Capella Paolina — другую капеллу в том же Ватиканском дворце — церемонию, символизирующую положение во гроб Спасителя перед его воскресением. Вместе с большою толпой (три четверти ее состояло из англичан) мы около часа ожидали в большой галерее, пока в Сикстинской капелле хор пел Miserere. Обе капеллы выходят в одну галерею, и всякий раз, когда случайно отворялась и затворялась дверь той капеллы, куда должен был направиться папа, это привлекало к себе внимание всех собравшихся. За этой дверью не было видно, однако, ничего более интересного, чем человек, стоявший на лестнице и зажигавший свечи, которых тут было великое множество; но достаточно было двери хоть чуточку приоткрыться, как все бросались взглянуть на этого человека и его лестницу, что напоминало атаку британской тяжелой кавалерии при Ватерлоо. Впрочем, ни человека, ни лестницы не опрокинули, хотя последняя и проделывала самые невероятные пируэты, когда человек, окончив зажигать свечи, проносил ее среди толпы и затем прислонил весьма непочтительным образом к стене галереи за миг до того, как отворилась дверь Сикстинской капеллы и новое песнопение возвестило о приближении его святейшества папы. В этот решительный момент папские гвардейцы, теснившие толпу во всех направлениях, выстроились по обе стороны галереи и между их рядами двинулась торжественная процессия.

Впереди шло несколько певчих, за ними — множество священников, которые шли по двое; те, что были покрасивее, несли зажженные свечи так, чтобы их лица были выгодно освещены, ибо помещение было темным. Кто не был красив и не обладал длинною бородой, нес свою свечу как придется и предавался благочестивым размышлениям. Пение было очень однообразным и невыразительным. Процессия медленно входила в капеллу, и гул голосов то удалялся, то приближался, пока не появился сам папа, шествовавший под белым атлас-

ным балдахином, держа в обеих руках прикрытые святые дары; вокруг него теснились кардиналы и каноники, и это было блестящее зрелище. Гвардейцы преклонили колени, и все стоявшие по пути его следования отвешивали поклоны; так он прошел в капеллу; у ее дверей белый атласный балдахин опустили, и над бедною старою головой раскрылся белый атласный зонтик. Еще несколько пар, замыкавших шествие, также прошли в капеллу. Затем дверь капеллы закрылась, и все было окончено, и каждый ринулся смотреть что-то еще, словно это было для него вопросом жизни и смерти, а потом уверять, будто и смотреть было в сущности нечего.

Полагаю, что наиболее популярное и наиболее привлекательное зрелище (кроме обрядов Светлого воскресенья и понедельника, на которые допускаются люди всех состояний) это — омовение папою ног тринадцати человек, изображающих двенадцать апостолов и Иуду Искариота. Место, где происходит эта благочестивая церемония,— один из приделов собора св. Петра, который бывает по этому случаю парадно украшен. Все тринадцать восседают «в один ряд» на очень высокой скамье и чувствуют себя крайне неловко под взглядами несметного количества англичан, французов, американцев, швейцарцев, немцев, русских, шведов, норвежцев и иных иностранцев, которые не сводят с них глаз. Все тринадцать одеты в белое; головы их увенчивают туго накрахмаленные белые шапочки, похожие на широкие английские кружки для портера, но только без ручки. Каждый держит в руке букет размерами с добрый кочан цветной капусты, а на двоих были в тот день очки — что, для исполняемых ролей, было несколько комичным добавлением к их одеянию. Впрочем, роли были распределены очень обдуманно. Святой Иоанн был представлен красивым молодым человеком, святой Петр — суровым пожилым джентльменом с вьющейся каштановой бородой, а Иуда Искариот — таким законченным лицемером (хотя я не смог разобраться, было ли выражение его лица подлинным или наигранным), что, если бы он вошел в свою роль настолько, чтобы довести ее до конца и удавиться, никто бы об этом не пожалел.

Поскольку две вместительных ложи, предназначенные для дам, были переполнены и добраться до них было делом безнадежным, мы примкнули к большой толпе, торопившейся не опоздать к трапезе, во время которой папа лично прислуживает тринадцати; после отчаянной битвы на лестнице Ватикана и нескольких столкновений с швейцарскою гвардией, вся толпа хлынула в помещение, где происходит эта часть церемонии. То была длинная галерея, увешанная белыми и красными драпировками, с еще одной вместительной ложей для дам (которые обязаны в этих случаях облачаться в черное и надевать черный вуаль), ложей для короля Неаполитанского и его приближенных и самым столом; накрытый как для бального ужина и украшенный золотыми фигурками настоящих апостолов, он был установлен на помосте у одной из стен галереи. Приборы поддельных апостолов были разложены на той стороне стола, что ближе к стене, чтобы можно было глазеть на них вполне беспрепятственно.

Бо́льшая часть галереи была заполнена мужчинами — иностранцами; толпа была огромная, духота страшная, давка порой просто невыносимая. Она стала окончательно нестерпимой, когда сюда влился поток тех, кто присутствовал при омовении ног, и тогда послышались такие выкрики, что на подмогу швейцарским гвардейцам спешно явился отряд пьемонтских драгун, который и помог успокоить разыгравшиеся страсти.

С особым ожесточением боролись за места дамы. Одну знакомую мне даму, сидевшую в дамской ложе, схватила за талию и столкнула с места некая матрона могучего телосложения; другая дама (в заднем ряду той же ложи) пробилась на лучшее место, втыкая большую булавку в спины дам, стоявших впереди.

Мужчины вокруг меня жаждали рассмотреть, чем был уставлен стол, и один англичанин пустил в ход всю присущую ему от природы энергию, чтобы выяснить, была ли там горчица. Я слышал, как, простояв бесконечно долго на цыпочках и вытерпев при этом множество сыпавшихся со всех сторон толчков и ударов, он сказал приятелю: «Клянусь Юпитером, уксус там есть! И оливковое масло! Я вижу их ясно, они в графин-

чиках. Не может ли кто-нибудь из стоящих поближе посмотреть, есть ли на столе и горчица? Сэр, вы меня чрезвычайно обяжете! Не видите ли вы банки с горчицей?»

Апостолы и Иуда, после долгого ожидания появившиеся на помосте, прошествовали перед столом цепочкой с Петром во главе; публика успела хорошо рассмотреть каждого, пока они усердно нюхали свои букеты, а Иуда, подчеркнуто шевеля губами, читал про себя молитву. Затем, облаченный в алую мантию, с белой атласной ермолкой на голове, в окружении кардиналов и других церковных сановников, появился папа; взяв небольшой золотой кувшин, он полил из него водой на одну руку Петра; при этом один из помощников держал золотой таз, другой — тонкое полотенце, а третий — букет Петра, отобранный у него на время этой процедуры. То же самое папа с изрядной поспешностью проделал с каждым, стоявшим в ряду (я заметил, что Иуда был особенно сконфужен его снисходительностью), а затем все тринадцать сели за стол. Молитву прочел папа. Председательское место занимал Петр.

У них было белое и красное вино, и обед, кажется, был на славу. Перемены подавались порциями, каждому апостолу отдельно. Кардиналы, стоя на коленях, передавали их папе, который собственноручно оделял тринадцать обедавших. За столом Иуда окончательно струсил; как он томился, склонив голову набок и совершенно потеряв аппетит, не поддается никакому описанию. Петр был славным, здравомыслящим стариком и решил, как говорится, «воспользоваться»; он ел все, что подавали (а ему доставалось самое лучшее, так как он был первым в ряду), и не произнес ни слова. Кушанья были, кажется, главным образом рыбные и овощные. Папа угощал обедавших также и вином; и кто-то все время читал что-то вслух по большой книге,— очевидно, библии — чего никто не слышал и на что никто не обращал ни малейшего внимания. Кардиналы и прочие прислуживавшие за столом время от времени обменивались взглядами и улыбками, словно все это было фарсом; и если они и впрямь думали так, они были бесспорно правы. Его святейшество проде-

лывал все, что полагалось, как разумный человек, выполняющий скучный обряд, и был явно доволен, когда он окончился.

Весьма занимательны были также ужины для паломников, во время которых знатные господа и дамы прислуживали паломникам в знак самоуничижения и вытирали им ноги, предварительно тщательно вымытые их заместителями. Но из всех зрелищ подобного рода, основанных на опасном доверии к внешним обрядам, которые сами по себе — лишь пустые формы, ни одно не поразило меня так сильно, как Scala Santa; [1] я видел ее несколько раз и однажды, к счастью или к несчастью, в Страстную пятницу.

Эта Священная лестница в двадцать восемь ступеней находилась в доме Пилата, и по этим самым ступеням Спаситель сошел после судилища. Богомольцы взбираются по ней исключительно на коленях; она очень крутая; над нею есть небольшая часовня, полная, как говорят, всевозможных реликвий; заглянув внутрь этой часовни через забранное железной решеткой окно, богомольцы спускаются по одной из боковых лестниц, которые уже не священны и по которым можно ступать обычным человеческим способом.

В Страстную пятницу здесь, по самым скромным подсчетам, было до ста человек, одновременно взбиравшихся по лестнице; другие, которые еще только собирались восходить, или только что спустились, или хотели проделать это вторично, стояли внизу у входа, где некий старик, выглядывая из будки, непрерывно гремел жестяной кружкой с прорезанной в ней щелью, напоминая всем, что он собирает деньги. Большинство состояло из деревенских жителей, мужчин и женщин. Было тут еще не то четверо, не то пятеро священников-иезуитов и с полдюжины нарядно одетых женщин. Целая школа мальчишек, не меньше двадцати человек, была уже на середине лестницы, и, видимо, они получали большое удовольствие. Мальчишки сбились в кучу, тесно прижимаясь друг к дружке, но все прочие старались держаться от мальчиков по возможности дальше, так как они позволяли себе

---

[1] Священная лестница *(итал.)*.

некоторые неосторожные движения ногами, обутыми в сапоги.

За всю мою жизнь не видел я более смешного и одновременно неприятного зрелища; смешного — потому что оно неотделимо от разного рода нелепых происшествий; неприятного — потому что это бессмысленное, ничем не оправданное унижение человека. На довольно широкую площадку у подножия лестницы ведут две ступени. Наиболее ревностные из богомольцев проходили на коленях не только лестницу, но и эту площадку; и позы, которые они принимали, передвигаясь ползком по ровной поверхности, описать поистине невозможно. Надо было видеть, как они выжидали у входа, чтобы на лестнице освободилось местечко поближе к стенке. Или как некий мужчина с зонтиком (взятым, очевидно, для этой цели, ибо погода стояла прекрасная) опирался на него, в нарушение правил, когда полз наверх. Или как степенная дама лет пятидесяти пяти то и дело оборачивалась, чтобы убедиться, не видны ли из-под платья ее ноги.

Не менее занятным было различие в скорости продвижения. Некоторые поднимались с такой быстротой, точно заключили пари покончить с этим делом в определенное время; другие останавливались на каждой ступени, чтобы прочитать молитву. Один прикасался лбом к каждой ступени и целовал ее, другой все время чесал в голове. Мальчики поднялись блистательно и успели уже спуститься, прежде чем старая дама одолела полдюжины первых ступеней. Большинство кающихся спускалось вниз очень бодро и оживленно, как бы чувствуя, что они совершили что-то важное, способное уравновесить немало грехов. И, будьте уверены, старик в будке, со своей жестяной кружкой, не пропускал их мимо, пока они были в столь возвышенном расположении духа.

Словно этот подъем сам по себе не был занятием в достаточной мере нелепым, на верху лестницы возвышалось деревянное распятие, установленное на чем-то вроде большого железного блюда; это распятие было до того шатким и неустойчивым, что всякий раз, когда какой-нибудь восторженный богомолец прикладывался к нему с особым энтузиазмом и бросал на блюдо монету с особой готовностью (ибо оно выполняло обязанность

дополнительной денежной кружки), распятие вздрагивало и громыхало и едва не опрокидывало стоявшую рядом лампаду, что отчаянно пугало людей на лестнице и приводило в невыразимое смущение виновника происшествия.

В Светлое воскресенье, как и в Великий четверг, папа благословляет народ с балкона собора св. Петра. В то Светлое воскресенье, о котором я хочу рассказать, стоял ясный день, и небо было ярко-синее, такое безоблачное, такое безмятежное, такое ясное, что заставило тотчас забыть о дурной погоде последнего времени. Благословение в Великий четверг я наблюдал под дождем, барабанившим по сотням зонтиков, и вся сотня римских фонтанов — и каких фонтанов! — не вспыхивала ни одной искоркой, а в это воскресное утро они струились алмазами. Бесконечные убогие улицы, по которым мы проезжали (вынужденные отрядами папских драгун, выполняющих в подобных случаях роль полиции, двигаться определенным путем), так пестрели яркими красками, что ничто на них не могло иметь жалкого или поблекшего вида. Простой народ надел свое лучшее платье, кто побогаче — ехал в щеголеватых колясках, кардиналы мчались к церкви Бедных Рыбарей в парадных каретах; потрепанное великолепие выставляло напоказ изношенные ливреи и потускневшие треуголки, и все экипажи в Риме были наняты, чтобы везти седоков на большую площадь св. Петра.

Собралось по меньшей мере полтораста тысяч человек, но здесь всем хватало места. Сколько съехалось экипажей, мне неизвестно, но и для них нашлось место, и притом в избытке. Широкие ступени у входа в собор были усеяны густою толпой. На этой стороне площади собралось много contadini [1] из Альбано, питающих особое пристрастие к красному, и смешение ярких красок в толпе выглядело на редкость красиво. Внизу лестницы выстроились солдаты. На этой величественной площади они казались цветочной клумбой. Угрюмые римляне, бой-

[1] Крестьяне *(итал.)*.

кие крестьяне из окрестностей, группы паломников из отдаленных частей Италии, иностранные туристы всех наций жужжали на вольном воздухе, как рои бесчисленных насекомых; а высоко над ними, плескаясь, кипя и играя на солнце всеми цветами радуги, два чудесных фонтана щедро вскидывали и низвергали потоки воды.

С балкона свисало что-то похожее на яркий ковер, а большое окно было украшено с обеих сторон малиновой драпировкой. Над балконом был растянут навес, чтобы укрыть старика папу от лучей знойного солнца. Близился полдень, и все глаза устремились на это окно. В положенное время к краю балкона подкесли кресло, а за ним — два гигантских опахала из павлиньих перьев. Маленькая фигурка (балкон расположен на очень большой высоте), сидевшая в кресле, поднялась во весь рост и простерла над толпой крошечные ручки; мужчины на площади сняли при этом шляпы; некоторые, но никоим образом не большинство, преклонили колени. И тотчас же пушки с укреплений замка св. Ангела возвестили, что благословение состоялось; затрещали барабаны, послышались звук фанфар и лязг оружия, и несметная толпа под балконом зашевелилась, разделяясь на кучки и растекаясь ручейками, как разноцветный песок.

В какой ослепительный полдень мы возвращались назад! Тибр был уже не желтым, а синим. Старые мосты покрылись румянцем, и от этого помолодели и посвежели. Пантеон с его величественным фасадом, облупившимся и изборожденным морщинами, как лицо старика, был залит потоками летнего света, игравшими на его израненных временем стенах. Всякая грязная и заброшенная лачуга Вечного Города (призываю в свидетели любой мрачный старый дворец, до чего грязен и нищ его плебейский сосед, раз время не пощадило и его патрицианскую голову!) казалась новой и свежей в лучах солнца.

Даже тюрьма на людной улице — в толчее экипажей и пешеходов — и та ощущала в какой-то мере великолепие этого дня, заглядывавшего в нее сквозь щели и трещины; и несчастные узники, которые из-за частых оконных решеток не могли повернуть лицо к солнцу, прильнув к ржавым прутьям, высовывали наружу руки и поворачивали их, ладонями вниз, к разлившемуся уличному

потоку, словно это был веселый огонь и он мог уделить им частичку своего тепла.

Наступила ночь без единого облачка, от которого могло бы померкнуть сияние полной луны — и какая незабываемая картина предстала пред нами, когда мы увидели снова заполненную Большую соборную площадь и самый собор, освещенный, от креста до земли, несметным количеством фонарей, обрисовывавших его очертания и мерцавших и светившихся по всей колоннаде на площади. Каково было наше восхищение, радость, восторг, когда большой колокол пробил половину восьмого, и тотчас же с вершины купола к самой верхушке креста взметнулось большое ярко-красное пламя, а вслед за этим сигналом на всей колоссальной церкви вспыхнули бесчисленные и столь же ослепительные красные огни, так что каждый карниз и капитель, каждый орнамент на камне очертился пламенным контуром, а тяжелое черное основание здания стало казаться прозрачным, как яичная скорлупа!

Ни пороховой шнур, ни электрическая цепь — ничто не могло бы вспыхнуть внезапнее и стремительнее, чем эта вторая иллюминация; когда мы покинули площадь и поднялись на отдаленный холм и спустя два часа посмотрели в сторону собора, он стоял все такой же, искрясь и сверкая в ясной ночи, как великолепный бриллиант. Его пропорции были так же отчетливы, ни один угол не затупился, не померкла ни одна частица его сияния.

На следующий вечер, в понедельник на пасхальной неделе, жгли большой фейерверк в замке св. Ангела. Мы сняли комнату в доме напротив и заблаговременно направились туда; пробиваясь сквозь густую толпу, которая так запрудила и площадь перед домом, и все выходящие на нее улицы, и мост, ведущий в замок св. Ангела, что казалось, он вот-вот рухнет в стремительный Тибр. На этом мосту есть статуи (отвратительные изделия); между ними были расставлены большие плошки с горящею паклей, причудливо освещавшие лица в толпе и не менее причудливо — их каменные подобия на мосту.

О начале зрелища возвестил оглушительный пушечный залп; а затем, в течение двадцати минут или получаса, весь замок был сплошной массой огня и клубком ярко

пылавших колес различных цветов, размеров и быстроты вращения; одновременно взлетали в небо ракеты, и не по одной или по две, а сразу целыми сотнями. Заключительная часть фейерверка — la girandola[1] — походила на взрыв, но без дыма и пыли, которым весь массивный замок был словно поднят на воздух.

Через полчаса несметная толпа разошлась; луна безмятежно глядела на свое сморщенное отражение в Тибре; и на всей площади оставалось с полдюжины мужчин и мальчишек, рыскавших взад и вперед с зажженными свечами в руках в поисках чего-нибудь стоящего, что могло быть обронено в давке.

После этого огня и грохота мы поехали, ради контраста, в древний, разрушенный Рим проститься с Колизеем. Я и раньше видел этот Рим при луне (я не мог прожить без него и одного дня), но его потрясающая пустынность в ту ночь не поддается описанию. Призрачные остатки колонн на форуме, триумфальные арки в честь императоров, громады развалин, бывшие некогда их дворцами, заросшие травою бугры, отмечающие могилы разрушенных храмов, камни на Via Sacra[2], отполированные ногами жителей древнего Рима — даже они, погруженные в свою вековую печаль, меркнут перед свирепым духом его кровавых потех, который еще бродит здесь, ограбленный алчными папами и воинственными королями, но не поверженный, ломая руки-ветви в зарослях терновника и буйных трав и горестно жалуясь ночи из каждого пролома и каждой разбитой арки — бродит неукротимой тенью, которую отсюда не выживешь.

Лежа на следующий день на траве в Кампанье — мы ехали во Флоренцию — и слушая пение жаворонков, мы заметили небольшой деревянный крест, поставленный на том месте, где была убита несчастная графиня-паломница. К его подножию мы нанесли кучку камней, как бы кладя начало могильному холмику в ее память, и задумались над тем, доведется ли нам когда-нибудь снова отдыхать на этой земле и смотреть на Рим.

---

[1] Вертящееся колесо фейерверка *(итал.)*.
[2] Священная улица *(лат.)*.

*Стремительная диорама**

Мы выезжаем в Неаполь. И покидаем пределы Вечного Города через ворота San Giovanni Laterano, где последнее, что путешественник видит, уезжая, и первое, что встречает его при въезде, это горделивая церковь и заброшенные развалины — достойные эмблемы города Рима.

Наш путь лежит по Кампанье, которая в этот чудесный безоблачный день кажется много торжественнее, чем под более тусклым небом: разбросанные на большом пространстве развалины отчетливей открываются глазу, и яркое освещение позволяет видеть в меланхолической дали, сквозь арки разрушенных акведуков, озаренные солнцем остатки других разрушенных арок. Миновав Кампанью и оглянувшись на нее у Альбано, мы увидели под собой ее темную волнистую поверхность, похожую на воды стоячего озера или на широкую мрачную Лету, опоясывающую стены Рима и отделяющую его от всего мира. Как часто по этой пурпурной равнине, теперь такой безмолвной и безлюдной, проходили в триумфальном шествии легионы! Как часто вереницы пленников всматривались с замирающими сердцами в очертания далекого города и видели, как население толпами выходит приветствовать их победителя! Какой разгул, какое сладострастие и кровожадность неистовствовали в этих обширных дворцах, теперь — грудах кирпича и битого мрамора! Какие зарева страшных пожарищ, какой гул народных волнений, какие стенания в годину голода и мора проносились над этой равниной, где теперь слышен только шум ветра, и одинокие ящерицы, не тревожимые никем, резвятся на солнце!

Обоз с вином, направляющийся в Рим,— каждой повозкой правил косматый крестьянин, лежа под небольшим навесом из овчин, как на цыганских телегах,— проехал мимо нас, и мы медленно поднимаемся в гору, туда, где виднеется роща. На следующий день мы достигаем

Понтинских болот, утомительно пустынных и плоских, поросших кустарником и затопленных водой, но с прекрасной дорогой, построенной посреди них и затененной длинными рядами деревьев. Иногда мы проезжаем мимо одинокой сторожки, иногда — мимо покинутой лачуги, наглухо заложенной камнями. По берегу речки, текущей вдоль дороги, бредут пастухи; изредка, подымая на воде рябь, лениво идет плоскодонка, которую тянут бечевой. Иногда мимо нас проносится всадник с длинным ружьем, перекинутым через седло, в сопровождении свирепых собак; но больше ничто не движется, кроме ветра и теней; и так продолжается, пока не показывается Террачина.

Как синеет и искрится море, катящее свои волны под окнами столь прославленной в «разбойничьих» повестях гостиницы! Как живописны большие утесы и острые скалы, нависающие над узкой дорогой, по которой нам предстоит завтра ехать! Там на горе, в каменоломнях, работают каторжники, а их стражники нежатся на морском берегу. Всю ночь ворчит под звездами море, а наутро, едва рассвело, расступившийся как по волшебству горизонт открывает нам, далеко за морем, Неаполь с его островами и извергающий пламя Везувий. Через четверть часа все бесследно исчезает, и снова видны лишь море и небо.

После двухчасовой поездки мы пересекаем границу неаполитанских владений — здесь нам стоит величайших трудов ублаготворить самых голодных на свете солдат и таможенников — и въезжаем через арку без ворот в первый город на неаполитанской земле — Фонди. Заметьте себе, Фонди — олицетворение убожества и нищеты!

Грязная канава, полная нечистот и помоев, извивается посередине убогой улицы; эту канаву питают зловонные ручейки, стекающие из жалких домов. Во всем Фонди не найти ни одной двери, окна или ставни, ни одной крыши, стены, столба или опоры, которые не были бы разбиты, расшатаны, готовы обвалиться. Кажется, что несчастный город не далее как в минувшем году перенес одну из опустошительных осад, которым подвергал его Барбаросса и прочие. Каким образом тощие собаки

умудряются выжить и не быть съеденными местными жителями, составляет, поистине, одну из загадок нашего мира.

До чего же изможденные и хмурые люди живут в этом городе! Все они попрошайничают. Но это не все. Взгляните на них, когда они собираются вокруг вас. Некоторые слишком ленивы, чтобы сойти по лестнице, а может быть слишком благоразумны, чтобы довериться ступенькам; они протягивают худые, как плети, руки из верхних окон и протяжно вопят; другие собираются гурьбой возле нас, гонят и толкают друг друга и непрерывно молят о милостыне во имя господа бога; милостыне во имя благословенной девы Марии; милостыне во имя всех святых. Жалкие, почти голые дети, пронзительно выкрикивающие ту же мольбу, вдруг видят свои отражения на лакированных боках кареты и начинают плясать и корчить гримасы ради удовольствия любоваться в этом зеркале собственными ужимками. Полоумный калека, собравшийся было поколотить одного из них, чтобы тот не заглушал его громкие мольбы, замечает на стенке кареты своего искаженного злобой двойника; на мгновение он замирает; потом, высунув язык, принимается трясти головой и что-то лопотать. Поднявшийся при этом неистовый гам будит с полдюжины диких существ; завернувшись в грязные коричневые плащи, они лежат на церковных ступенях рядом с горшками и мисками, выставленными ими на продажу. Они вскакивают на ноги, приближаются и начинают настойчиво клянчить: «Я голоден, подайте что-нибудь! Выслушайте меня, синьор, я голоден!» Вслед за ними появляется уродливая старуха, которая поспешно ковыляет к нам, боясь опоздать; одну руку она вытянула вперед, а другою непрерывно чешется и задолго до того, как ее можно расслышать, выкрикивает: «Милостыни, подайте милостыни! Если вы подадите мне милостыню, я сейчас же пойду помолиться за вас, красавица!» Наконец мимо нас поспешно проходят члены погребального братства в жутких масках и потрепанных черных балахонах, побелевших внизу от множества сырых зим, сопровождаемые неопрятным священником и таким же служкою, несущим крест. Окруженные этой пестрой толпой, мы выезжаем из Фонди, и злобно горящие,

точно огни на гнилом болоте, глаза следят за нами из тьмы каждой убогой лачуги.

Величественный горный проход, где на вершине видны развалины форта, называемого, согласно преданию, фортом Фра-Диаволо; * старинный город Итри, напоминающий украшения на пирожном и построенный почти перпендикулярно на склоне холма, так что попасть в него можно только по длинной крутой лестнице; красивая Мола ди Гаета, где вина, как и в Альбано, выродились со времен Горация или он не знал толка в вине, что маловероятно,— ведь он так наслаждался им и так хорошо воспевал его; еще одна ночь в пути, по дороге в Санта Агата; на следующий день отдых в Капуе — она живописна, но едва ли путешественник наших дней сочтет ее столь же соблазнительным местом, каким считали древний город, носивший это название, солдаты преторианского Рима; * ровная дорога среди кустов винограда, сплетенных друг с другом и повисающих гирляндами от дерева к дереву; и вот, наконец, Везувий — его конус и вершина белеют от снега, клубы его дыма висят над ним в душном воздухе, словно густое облако. Постукивая колесами, мы спускаемся под гору и въезжаем в Неаполь.

Навстречу нам, по улице, тянется похоронное шествие. Покойник в открытом гробу, установленном на чем-то, похожем на паланкин, под веселым ярким покровом — малиновым с золотом. Провожающие в масках и белых мантиях. Но если смерть здесь на виду, то и жизнь также не прячется: кажется, что весь Неаполь высыпал из домов и мчится в колясках. Некоторые из них — обыкновенные извозчичьи экипажи, запряженные тремя лошадьми в ряд, в парадной сбруе с обильными медными украшениями — несутся во весь опор. И не потому, что они едут налегке; в самых маленьких экипажах бывает не менее шести седоков внутри, четверо спереди, четверо или пятеро висят сзади и еще двое-трое в сетке или кошеле под осями, где они задыхаются от грязи и пыли. Кукольники с Пульчинеллой, исполнители веселых куплетов под гитару, декламаторы, рассказчики, ряды дешевых балаганов с клоунами и фокусниками, барабаны, трубы, размалеванные холсты, изображающие чудеса внутри заведения, и восхищенные толпы зевак снаружи усугубляют

толчею и сумятицу. Lazzaroni[1] в лохмотьях спят на порогах дверей, под арками, у сточных канав; богатые, нарядно разодетые горожане летают в экипажах взад и вперед по Кьяйя * или прогуливаются в общественном саду; чинного вида писцы, занимающиеся составлением писем, примостившись под портиком большого театра Сан-Карло, на людной улице, за своими маленькими конторками с письменными приборами, поджидают клиентов.

Вот арестант в цепях, желающий отправить письмо приятелю. Он приближается к человеку ученого вида, сидящему под угловой аркой, и сторговывается с ним. Он договорился со своим караульным, который стоит поблизости, прислонившись к стене и щелкая орехи. Арестант диктует писцу на ухо, и так как он не умеет читать, он пытливо всматривается в его лицо, стараясь прочесть на нем, правильно ли тот излагает сказанное. Спустя некоторое время арестант начинает путаться, его речь делается бессвязной. Писец останавливается и потирает подбородок. Арестант говорит с жаром. Писец в конце концов схватывает его мысль и с видом человека, знающего, какие тут требуются слова, излагает ее на бумаге, останавливаясь время от времени, чтобы с удовольствием перечесть написанное. Арестант молчит. Солдат терпеливо щелкает орехи. «Не нужно ли добавить что-нибудь к сказанному?» — спрашивает писец арестанта. «Нет, ничего».— «Ну так слушай, дружок». И он читает все письмо полностью. Арестант восхищен. Письмо сложено, надписано и вручено ему; он расплачивается. Писец небрежно откидывается на спинку своего стула и берется за книгу. Арестант поднимает пустой мешок. Солдат отбрасывает в сторону горсть ореховой скорлупы, вскидывает на плечо мушкет, и они уходят.

Почему нищие, когда бы вы ни посмотрели на них, неизменно постукивают правой рукой по подбородку? В Неаполе все выражается пантомимой, и это — условное обозначение голода. А вон человек, повздоривший с другим, кладет ладонь правой руки на тыльную сторону ле-

---

[1] Нищие, бродяги — в единственном числе Lazzarone (неаполитанский диалект итальянского языка).

вой и поводит большими пальцами обеих, изображая «ослиные уши»,— чем приводит своего противника в бешенство. Сошлись покупатель и продавец рыбы; узнав ее цену, покупатель выворачивает воображаемый жилетный карман и отходит, не говоря ни слова; он убедительно объяснил продавцу, что считает цену чрезмерно высокой. Встречаются двое в колясках; один из них два-три раза притрагивается к губам, поднимает пять пальцев правой руки и проводит ладонью горизонтальную черту в воздухе. Второй быстро кивает в ответ и продолжает свой путь. Он приглашен на дружеский обед в половине шестого вечера, и, конечно, придет.

Во всей Италии особое встряхивание правой руки, согнутой в запястье, выражает отказ — единственная форма отказа, понятная нищим. Но в Неаполе с помощью пяти пальцев можно сказать очень многое.

Все эти и другие проявления уличной жизни и уличной суеты — поедание макарон на закате, торговлю цветами весь день, попрошайничество и воровство в любом месте и в любой час — вы наблюдаете на ярко освещенном морском берегу, где весело поблескивают в заливе волны. Но, господа любители и искатели живописного, не будем так старательно отвращать взор от жалкого порока, разврата и нищеты, неразрывно связанных с веселой неаполитанскою жизнью! Было бы несправедливо находить Сент-Джайлс ужасным, а Porta Capuana[1] привлекательной. Неужели довольно босых ног и рваного красного шарфа, чтобы грубое и отвратительное стало живописным? Можете сколько угодно запечатлевать в стихах и на картинах красоты этого прекраснейшего уголка на земле, но позвольте нам, повинуясь долгу, искать новую романтику в признании за человеком прав на будущее, в уважении к его способностям — а на это, кажется, больше шансов во льдах Северного полюса, чем в солнечном и цветущем Неаполе.

Капри, некогда оскверненный обожествленным зверем Тиберием *, Иския, Прочида и тысячи красот Залива виднеются в морской дали, меняясь в дымке и в лучах солнца по двадцать раз на день: то приближаясь, то уда-

[1] Капуанские ворота *(итал.)*.

ляясь, то исчезая совсем. Перед нами расстилается прекраснейший край на свете. Свернем ли мы к мизенскому берегу великолепного водного амфитеатра и через грот Позилипо направимся к гроту дель Кане и дальше в Байи, или изберем другой путь — к Везувию и Сорренто,— везде бесконечная вереница чудеснейших видов. Этот второй путь — где повсюду над дверями видишь изображения св. Дженнаро, который, вытянув руку подобно Кануту *, смиряет ярость Огненной Горы,— мы с удобством проделали по железной дороге, проложенной на прелестном побережье, мимо городка Торре дель Греко, выстроенного на пепле другого города, уничтоженного много лет назад извержением Везувия; мимо домов с плоскими крышами, амбаров и макаронных фабрик; до Кастель-а-Маре с его разрушенным замком на груде выступающих в море скал, где теперь живут рыбаки. Здесь железная дорога кончается, но отсюда можно ехать дальше лошадьми, вдоль непрерывно следующих одна за другою чарующих бухт и великолепных горных склонов, спускающихся от вершины Санто-Анджело, наиболее высокой горы в этих местах, к самому берегу, мимо виноградников, масличных деревьев, апельсиновых, лимонных и других плодовых садов, вздыбленных скал, зеленых оврагов между холмами; мимо подножий снеговых вершин; мимо городков, где в дверях стоят красивые темноволосые женщины, мимо прелестных летних вилл — до Сорренто, где поэт Тассо вдохновлялся окружавшей его красотой. На обратном пути можно взобраться на возвышенность над Кастель-а-Маре и смотреть вниз сквозь ветви и листья на покрытую рябью, блестящую на солнце воду и группы белых домов в далеком Неаполе, которые на большом расстоянии уменьшаются до размеров игральных костей. Возвращение в город на закате солнца, снова берегом, где с одной стороны — пылающее море, с другой — темная гора, курящаяся дымом и пламенем, было великолепным завершением этого дня.

Церковь у Porta Capuana, близ старого рыбного рынка, в самом грязном квартале грязного Неаполя, где началось восстание Мазаньелло *, памятна тем, что именно здесь он впервые выступил перед народом, и ничем другим в

сущности не примечательна, если не считать восковой фигуры святого, усыпанной драгоценностями, с двумя вывихнутыми руками, помещенной в стеклянный ящик, и еще — чудовищного количества нищих, непрерывно постукивающих себя по подбородкам, так что вам кажется, будто перед вами целая батарея кастаньет. Собор с красивою дверью и колоннами из африканского и египетского гранита, украшавшими некогда храм Аполлона, славится священною кровью св. Дженнаро или Януария, которая хранится в двух пузырьках, запертых в серебряном ковчежце, и к величайшему восхищению народа трижды в год разжижается. В это мгновение камень (на расстоянии нескольких миль оттуда), на котором святой принял мученический конец, слегка краснеет. Говорят, что, когда совершается это чудо, отправляющие службу священники иногда также слегка краснеют.

Старые-престарые люди, обитающие в лачугах при входе в древние катакомбы,— до того дряхлые и немощные, что кажется, будто они ждут здесь погребения,— состоят членами любопытного учреждения, именуемого Королевскою богадельней, и обязаны принимать участие в похоронных процессиях. Два таких дряхлых призрака, с зажженными восковыми свечами в руках, бредут, пошатываясь, показывать нам пещеры смерти, с таким безразличием, точно сами они бессмертны. На протяжении трехсот лет катакомбы использовались как места погребения; тут есть большая и глубокая яма, полная черепов и костей; считают, что это останки множества жертв, унесенных моровой язвою. В остальных пещерах нет ничего, кроме пыли и праха. По большей части это широкие коридоры и лабиринты, вырубленные в скале. В конце некоторых из этих длинных проходов внезапно появляются блики дневного света, пробивающегося откуда-то сверху. При факелах, посреди пыли и праха, под темными сводами это производит жуткое и одновременно странное впечатление, как если бы эти блики тоже были покойниками, погребенными здесь.

Теперешнее кладбище расположено дальше на холме, между городом и Везувием. Старое Campo Santo[1] со

[1] Кладбище *(итал.)*.

своими тремястами шестьюдесятью пятью колодцами предназначено только для умерших в больнице или тюрьме, чьи тела остаются невостребованными друзьями и близкими. Новое кладбище, находящееся невдалеке оттуда, приятно на вид, и хотя благоустройство его еще не закончено, насчитывает уже немало могил, разбросанных среди кустов, цветов и воздушных колоннад. Мне могут с достаточным основанием возразить, что некоторые памятники несколько фривольны и вычурны, но яркость красок всего окружающего оправдывает, по-моему, эти недостатки; кроме того, Везувий, отделенный от кладбища живописным пологим склоном, придает всей картине возвышенность и суровость.

Если из этого нового Города Мертвых Везувий с темным дымком, висящим над ним в ясном небе, кажется торжественным и величавым, еще более грозным и внушительным он представляется, если смотреть на него, стоя среди призрачных развалин Геркуланума и Помпей *.

Станьте в центре Большого рынка в Помпеях и сквозь разрушенные храмы Юпитера и Изиды, поверх развалин домов с их сокровеннейшими святилищами, открытыми дневному свету, посмотрите на безмолвные улицы, туда, где в мирной дали подымается светлый и снежный Везувий, и вы потеряете счет времени и забудете все и вся, охваченные странной щемящей тоской при виде того, как Разрушитель и все, что им разрушено, составляют вместе эту мирную, залитую солнцем картину. А потом отправляйтесь побродить по городу и на каждом шагу вы будете обнаруживать привычные признаки человеческого жилья: желобок, протертый веревкой на краю каменной стенки иссякшего колодца; колеи, выбитые на мостовой колесами проезжавших когда-то повозок; метки, оставленные сосудами для вина на каменной стойке в лавке виноторговца; амфоры в погребах частных домов, заготовленные впрок столько веков назад и не потревоженные доныне,— все это делает пустынность и мертвенность этого места в десять тысяч раз страшней, чем если б вулкан в своей ярости смел весь город с лица земли или низринул его на дно моря.

После подземных толчков, предшествовавших извержению, рабочие вытесали на камне новые орнаменты для

пострадавших храмов и других зданий. Их незаконченная работа и поныне лежит у городских ворот, словно они наутро возвратятся и примутся за нее снова.

В погребе дома Диомеда, у самой двери, было найдено несколько прижавшихся друг к другу скелетов; очертания их тел на пепле, затвердев вместе с пеплом, запечатлелись навеки, а от самих тел осталась лишь горстка костей. В театре Геркуланума комическая маска, плававшая в потоке лавы, пока та была горячей и жидкой, запечатлела на ней, когда та застыла, свои нелепые, карикатурные черты и теперь устремляет на путешественника тот же озорной взгляд, который устремляла на зрителей в этом самом театре две тысячи лет назад.

После этих удивительных прогулок по улицам, среди домов, по тайным святилищам забытых богов, где вы находите столько свежих следов седой древности, точно после извержения Время остановилось в своем беге и с тех пор не прошло стольких ночей и дней, стольких месяцев, лет и столетий, ничто не производит такого потрясающего впечатления, как наглядные доказательства страшной силы всепроникающего вулканического пепла, от которого не было спасения нигде. В винных погребах он пробил себе путь в глиняные сосуды и, вытеснив оттуда вино, заполнил их до краев. В гробницах он вытеснил из урн прах покойников и даже его обрек новому разрушению. Этот ужасный град заполнил глаза, рты и черепа всех найденных здесь скелетов. В Геркулануме, где лава была иною и более плотной, она наступала, как море. Представьте себе потоп, воды которого, достигнув своего высшего уровня, сделались мрамором,— это и будет тем, что зовется здесь «лавою».

Несколько рабочих рыли мрачный колодец, у края которого мы стоим сейчас; наткнувшись на каменные театральные скамьи — вон те ступени (ведь они кажутся нам ступенями) на дне колодца,— они обнаружили погребенный город Геркуланум. Спустившись туда с зажженными факелами, мы с трудом пробираемся среди высоких стен чудовищной толщины, которые громоздятся между скамьями, загораживают сцену, высятся бесформенными грудами в самых неподходящих местах, мешая понять план этого сооружения и превращая все

в чудовищный хаос. Сначала мы не можем поверить и представить себе, что *это* сползло откуда-то сверху и затопило город всюду, где сейчас открыты проходы — их пришлось вырубать в породе, плотной как камень. Но когда это понято и осознано, нас охватывает неописуемый ужас и чувство безграничной подавленности.

Многие фрески на развалинах домов в Помпеях, и Геркулануме, и в неаполитанском музее, куда они были заботливо переправлены, так хорошо сохранились, словно только вчера написаны. Здесь есть натюрморты: съестные припасы, дичь, бутылки, чаши и прочее; знакомые предания классической древности или мифы, изображенные с неизменною убедительностью и ясностью; группы купидонов, ссорящихся, играющих, занятых ремеслами; театральные репетиции; поэты, читающие свои произведения в кругу друзей; надписи, сделанные мелом на стенах; политические памфлеты, объявления, неумелые рисунки школьников — все, чтобы заселить и воссоздать эти древние города в воображении пораженного посетителя. Вы видите также всевозможную утварь — светильники, столы, ложа, посуду столовую и кухонную, сосуды для напитков, инструменты рабочих и хирургов; видите пропуска в театр, монеты, женские украшения, связки ключей, найденные зажатыми в руках скелетов, шлемы стражи и воинов, комнатные колокольчики, издающие и теперь мягкие, мелодичные звуки.

Ничтожнейший из этих предметов увеличивает ваш интерес к Везувию и сообщает ему неотразимую притягательность. Созерцать из обоих разрушенных городов окрестные участки земли с их великолепными виноградниками и роскошными деревьями, зная, что под корнями всех этих мирных насаждений все еще погребены бесчисленные дома и храмы, здания за зданиями, улица за улицей, дожидаясь, когда им возвратят сияние дня — до того поразительно, до того полно тайны, что захватывает ваше воображение, как ничто другое. Ничто, кроме Везувия; он — душа окружающего пейзажа. Возле малейших следов причиненных им разрушений мы опять и опять и с тем же всепоглощающим интересом смотрим туда, где курится в небе его дымок. Везувий перед нами, когда мы пробираемся по превращенным в развалины

улицам; он над нами, когда мы стоим на развалинах стен; бродя по пустым дворикам при домах, мы видим его сквозь каждый просвет между разрушенными колоннами и сквозь гирлянды и переплетения каждой буйно разросшейся виноградной лозы. Свернув к Пестуму *, чтобы осмотреть грандиозные сооружения древности — самое позднее из них возведено за много столетий до рождения Христа,— горделиво высящиеся в своем одиноком величии посреди дикой, отравленной малярией равнины, мы провожаем взглядом исчезающий из виду Везувий, а на обратном пути с неизменным интересом ждем, когда он покажется, ибо он — рок и судьба этого чудесного края, ожидающий своего грозного часа.

В тот погожий день ранней весны, когда мы возвращаемся из Пестума, на солнце очень тепло, но в тени очень холодно, и хотя мы с удовольствием завтракаем в полдень на вольном воздухе у ворот Помпей, в соседнем ручье сколько угодно толстого льда, и мы охлаждаем в нем наше вино. Но солнце ярко сияет; на всем синем небе, расстилающемся над Неаполитанским заливом, нет ни облачка, ни клочка тумана, а луна будет сегодня полная. Нужды нет, что лед и снег лежат толстым слоем на вершине Везувия, что мы провели весь день на ногах в Помпеях, что любители каркать твердят в один голос: иностранцам в такое неподходящее время года не подняться ночью на эту гору! Давайте воспользуемся прекрасной погодой, поспешим в Резину, деревушку у подошвы Везувия, подготовимся там в доме проводника, насколько это возможно за такое короткое время, к предстоящей экскурсии, немедля приступим к подъему, встретим закат солнца на полпути, восход луны — на вершине, а в полночь будем спускаться.

В четыре часа пополудни на маленьком конном дворе синьора Сальваторе, признанного старшего проводника с золотым галуном на фуражке, царит страшная суматоха: тридцать младших проводников, препираясь и вопя во всю мощь своих глоток, готовят к восхождению полдюжины оседланных пони, трое носилок и некоторое число крепких палок. Каждый из тридцати ссорится с остальными двадцатью девятью и пугает шестерых пони, а жители деревушки, сколько их может втиснуться на малень-

кий конный двор, также принимают участие в этой сумятице и получают свою долю ударов лошадиными копытами.

После отчаянной стычки и такого шума, что его с избытком хватило бы на штурм Неаполя, наша процессия трогается. Старший проводник, которому щедро заплачено за его подначальных, едет верхом во главе всей компании; остальные тридцать проводников следуют пешим порядком. Восемь идут впереди с носилками, которые вскоре понадобятся, остальные двадцать два — попрошайничают.

Некоторое время мы понемногу поднимаемся по каменистым тропам, похожим на грубо высеченные широкие лестницы. В конце концов мы оставляем за собою и эти тропы и виноградники по обе стороны их и выбираемся на мрачную голую местность, где в беспорядочном нагромождении огромными красно-ржавыми глыбами лежит лава; кажется, будто эта земля была вспахана огненными стрелами молний. Мы останавливаемся посмотреть закат солнца. Кому довелось видеть перемену, постигающую эту суровую местность и всю гору, когда красные лучи гаснут и спускается ночь, невыразимо торжественная и мрачная, тот никогда этого не забудет!

Наш путь извивается некоторое время по неровной местности, и уже совершенно темно, когда мы подходим к подножию конуса, который исключительно крут и кажется почти отвесным там, где мы спешиваемся.

Светится только снег — глубокий, твердый и белый,— который покрывает гору. Холодный воздух пронизывает насквозь. Тридцать проводников и их старший не захватили с собою факелов, зная, что луна взойдет раньше, чем мы достигнем вершины. Двое носилок предназначены для двух дам, третьи — для изрядно тяжелого джентльмена из Неаполя, вовлеченного в эту экспедицию своим добродушием и гостеприимством, которое обязывает его, как хозяина, показывать нам Везувий. Изрядно тяжелого джентльмена несут пятнадцать проводников, каждую из дам — по полдюжине. Мы, пешеходы, опираемся, сколько можем, на свои палки; и вот вся компания начинает с трудом двигаться вверх по снегу, точно взбираясь на верхушку допотопного крещенского пирога.

Мы взбираемся уже порядочно долгое время, и старший проводник озабоченно поглядывает по сторонам, когда один из участников нашей прогулки,— не итальянец, но на протяжении многих лет habitué [1] Везувия (назовем его мистером Пиклем из Портичи),— замечает, что поскольку сильно подмораживает и вулканический пепел, по которому обычно ступают, покрыт снегом и льдом, спускаться, без сомнения, будет трудно. Но вид носилок над нами, качающихся то вверх, то вниз и переваливающихся с боку на бок, так как носильщики то и дело спотыкаются и скользят, отвлекает наше внимание; в особенности это относится к изрядно тяжелому джентльмену, который в этот момент оказывается в угрожающе наклонном положении, головой вниз.

Вскоре после этого восходит луна, и ее появление придает бодрости приунывшим было носильщикам. Подстегивая друг друга своим обычным девизом: «Крепись, приятель! Скоро будем есть макароны!» — они храбро устремляются вверх.

Луна, которая во время нашего восхождения бросала лишь узенькую полоску света на снежную вершину и изливала весь его поток в долину, теперь освещает уже целиком и белый склон горы, и морскую гладь внизу, и крошечный Неаполь вдали, и каждую деревню в окрестностях. Таков волшебный пейзаж вокруг нас, когда мы выходим на площадку на вершине горы — в царство огня — к потухшему кратеру, загроможденному огромными массами затвердевшего пепла, похожими на глыбы камня, извлеченные из какого-нибудь грозного водопада и подвергнутые сожжению; здесь из каждой трещины и расщелины валит горячий, пахнущий серою дым, а из другого, конической формы холма — действующего кратера,— круто вздымающегося на той же площадке в противоположном конце ее, вырываются длинные огненные снопы, озаряя ночь красными бликами пламени, выбрасывая клубы дыма и раскаленные камни и пепел, которые взлетают, как перышки, а падают, как свинец. Какие же слова в состоянии описать мрачность и величие этой картины!

---

[1] Завсегдатай *(франц.)*.

Изрытая почва, дым, удушливый запах серы, опасение провалиться сквозь зияющие повсюду расщелины, поминутные задержки из-за кого-нибудь, потерявшегося во мраке (ибо густой дым заслоняет теперь луну), нестерпимый крик тридцати человек и хриплый, издаваемый горой рев создают вместе с тем такой хаос, что мы отшатываемся назад. Но протащив дам через эту площадку и еще один потухший кратер к подножию ныне действующего вулкана, мы подходим к нему с наветренной стороны и, усевшись у его подошвы среди горячей золы, молча смотрим вверх, пытаясь представить себе, что происходит в недрах его, если в эту минуту он на целых сто футов выше, чем был за шесть недель перед этим.

В этом огне и реве есть нечто неодолимо влекущее к себе. Мы больше не в силах оставаться на месте, и двое из нас, опустившись на четвереньки, в сопровождении старшего проводника, подползают к краю пылающего кратера и пытаются заглянуть в него. Тут тридцать проводников принимаются в один голос вопить, что мы затеяли опасное дело, и зовут нас назад и пугают до смерти всю остальную компанию.

От этого крика или от дрожания тоненькой корки земли, которая готова, кажется, вот-вот расступиться под нами и низринуть нас в огненную бездну (это единственная реально угрожающая опасность, если она есть вообще); или оттого, что огонь полыхает нам прямо в лицо и на нас низвергается ливень раскаленного докрасна пепла, или от дыма и запаха серы,— мы ощущаем головокружение и какое-то недомогание, словно пьяные. Тем не менее мы продолжаем упорно ползти к кратеру и на мгновение заглядываем туда, в этот ад клокочущего огня. После этого мы трое скатываемся назад — закопченные, опаленные, обожженные, разгоряченные и потные, и платье на каждом из нас прожжено по крайней мере в полудюжине мест.

Вы, конечно, тысячу раз читали о том, что обычный способ спускаться с Везувия состоит в скольжении вниз по пеплу, который, постепенно накапливаясь у вас под ногой, образует выступ, предохраняющий от слишком быстрого спуска. Но миновав на обратном пути оба потухших кратера и подойдя к тому месту, где склон резко

уходит вниз, мы не видим (как предсказывал мистер Пикль) ни малейших следов пепла — все перед нами затянуто гладким льдом.

Попав в это трудное положение, десяток или более проводников предусмотрительно берется за руки и образует цепь; те из них, кто идет впереди, пробивают по мере возможности, с помощью своих палок, едва намечающуюся тропинку, по которой готовимся идти вслед за ними и мы. Так как наш путь отчаянно крут и никто из нашей компании, и даже из тридцати, не в состоянии продержаться на ногах больше шести шагов сряду, дамам приходится выйти из носилок; каждую из них помещают между двумя надежными проводниками, тогда как остальные из тридцати придерживают их за юбки, чтобы не дать им упасть и полететь вперед — необходимая предосторожность, связанная, однако, с неизбежным и непоправимым ущербом для их нарядов. Изрядно тяжелого джентльмена также увещевают сойти с носилок и спускаться тем же способом, что и дамы, но он настаивает, чтобы его несли вниз, так же как несли вверх, утверждая, что не могут же пятнадцать человек оступиться все сразу и что, оставаясь на носилках, он, следовательно, подвергается меньшей опасности, чем если бы положился на свои ноги.

Выстроившись описанным образом, мы начинаем спуск; мы то переступаем ногами, то скользим по льду, продвигаясь гораздо осторожнее и медленнее, чем при подъеме, и в непрерывной тревоге — ведь падение кого-нибудь из находящихся позади, а это постоянно случается, может сбить с ног остальных, так как упавший обязательно хватается за чьи-нибудь щиколотки. Пустить носилки вперед, пока не протоптана тропа, невозможно, а находясь сзади нас и над нами (при том, что кто-нибудь из носильщиков то и дело барахтается на льду, а изрядно тяжелый джентльмен то и дело вскидывает ногами в воздухе), они грозят бедой и держат всех в страхе. Так проходим мы некоторое очень малое расстояние, с усилиями и напряжением, но в общем даже весело, и рассматриваем это как величайший успех, хоть все мы и падали по нескольку раз и каждого, когда он начинал чрезмерно быстро скользить, так или иначе удерживали

соседи, как вдруг мистер Пикль из Портичи, который, едва успев заметить, что этак спускаться ему еще не приходилось, спотыкается, падает, с поразительным присутствием духа избегает цепляться за окружающих, устремляется вперед и катится по склону конуса вниз головой.

С ужасом смотрю я на это, бессильный помочь ему, и вижу, как там, далеко, в лунном сиянии, он несется по белому льду — я часто вижу такое во сне,— словно пушечное ядро. Почти в то же мгновение слышится еще один крик откуда-то сзади, и мимо меня, с такой же ужасающей быстротой, пролетает проводник, несший на голове легкую корзину с запасными плащами, а за ним — мальчик. В этот кульминационный момент наших злоключений остальные двадцать восемь разражаются такими истошными воплями, что по сравнению с ними вой стаи волков показался бы райской музыкой.

Ошеломленный, окровавленный и в лохмотьях, вот каким предстает перед нами мистер Пикль из Портичи, когда мы добираемся до того места, где спешились и где ожидают нас лошади, но, благодарение богу, руки и ноги у него целы. И никогда, вероятно, мы не будем так обрадованы, видя человека живым и на ногах, как теперь, при виде мистера Пикля, который бодро переносит случившееся, хоть он весь в синяках и ему очень больно. Мальчика с перевязанной головой доставляют в «Эрмитаж» на Везувии, когда мы сидим за ужином; о пострадавшем проводнике мы узнаем несколькими часами позже. Он тоже в синяках и оглушен, но и у него обошлось без переломов — к счастью, снег, покрывавший все сколько-нибудь значительные выступы скал и камни, сделал их безопасными.

После веселого ужина и основательного отдыха у ярко пылающего огня мы снова усаживаемся на лошадей и продолжаем наш спуск к дому Сальваторе; мы двигаемся очень неторопливо, потому что наш ушибленный друг с трудом может держаться в седле и выносить боль, причиняемую ему тряской. Хотя уже очень поздняя ночь, или, правильнее сказать, раннее утро, все население деревушки поджидает нас у конного двора, не сводя глаз с дороги, на которой мы должны показаться. Наше появление встречается громким криком и всеобщей радостью,

причин которой мы по своей скромности не можем себе уяснить, пока не попадаем во двор; оказывается, что один из группы французов, поднимавшихся на гору в одно время с нами, лежит с переломанною ногой на охапке соломы в конюшне — бледный как смерть, и в страшных мучениях,— и что опасались, как бы с нами не приключилось чего-либо еще худшего.

Нам следует сказать: «Благополучно вернулись, и слава богу!» — как говорит от всего сердца весельчак веттурино, наш бессменный возница и спутник от Пизы. На лошадях, которые у него давно наготове, мы едем в спящий Неаполь.

Он просыпается со всеми своими Пульчинеллами и карманниками, певцами, распевающими шутливые песенки, и нищими, лохмотьями, марионетками, цветами, ярким светом, грязью и всеобщим упадком; он будет проветривать на солнце свой наряд арлекина и завтра, и послезавтра, и каждый день, будет петь, голодать, плясать, резвиться и веселиться на морском берегу, оставив всякий труд на долю огнедышащего Везувия, а у того работа всегда кипит.

Наши английские dilettanti[1] стали бы патетически разглагольствовать на тему о национальном вкусе, случись им услышать в Англии итальянскую оперу, исполненную хотя бы вполовину так скверно, как была исполнена «Фоскари» * в тот же вечер в великолепном театре Сан-Карло. Но по поразительной правдивости и умению подметить и изобразить на подмостках повседневную реальную жизнь у маленького жалкого театрика Сан-Карлино, одноэтажного рахитичного здания с кричащею вывескою, в окружении барабанов, труб, паяцев и женщины-фокусника, не найдется соперников на всем свете.

В жизни Неаполя есть одна примечательная черта, на которой следует хотя бы бегло остановиться, прежде чем мы уедем отсюда — я имею в виду лотереи.

Лотерея владычествует во всех областях Италии, но ее последствия и влияние особенно явственно ощущаются именно здесь. Розыгрыш происходит еженедельно по субботам. Эти лотереи приносят огромный доход правитель-

---

[1] Любители *(итал.)*.

ству и прививают вкус к азартной игре самым бедным, что весьма выгодно для казны и пагубно для народа. Наименьшая ставка — один грано, то есть меньше фартинга. В лотерейный ящик закладывают сто номеров — от первого до сотого включительно. Вынимают же только пять. Эти номера и выигрывают. Я покупаю три лотерейных билета. Если выходит один из моих номеров, я получаю небольшой выигрыш. Если два — то мой выигрыш в несколько сот раз превышает ставку. Если три — то он превышает ставку в три с половиной тысячи раз. Я ставлю (или, как здесь принято выражаться, играю) на номера сколько хочу и покупаю те, которые пожелаю. Сумма, на которую я играю, уплачивается в том лотерейном бюро, где я приобретаю билеты; и эта сумма указана на билете.

В каждом лотерейном бюро хранится печатная книга — «Универсальный лотерейный предсказатель», где заранее предусмотрены любые возможные происшествия и обстоятельства, и каждое снабжено номером. Например, мы ставим два карлино — около семи пенсов на английские деньги. По дороге в лотерейное бюро нам попадается человек, одетый в черное. Войдя в бюро, мы внушительно говорим: «Предсказатель!» Его протягивают через стойку самым серьезным образом. Мы ищем в нем слова «человек в черном». Находим их под таким-то номером. «Дайте нам номер такой-то». Затем мы ищем «встречу на улице». «Дайте нам номер такой-то!» Затем находим улицу, где встретили этого человека. «Дайте нам номер такой-то!». Вот мы и выбрали три номера.

Если б обрушилась крыша театра Сан-Карло, столько людей стало бы играть на номера, найденные в связи с этим в «Предсказателе», что правительство вскоре прекратило бы продажу этих номеров, чтобы не разориться на них. Это нередко бывает. Не так давно, когда в королевском дворце случился пожар, возник такой отчаянный спрос на «пожар», «короля»и и «дворец», что дальнейшие ставки на номера, под которыми эти слова значатся в Золотой Книге, были запрещены. Всякое событие и происшествие в глазах невежественной толпы является знамением для очевидца или заинтересованного лица, и каждое связывается с лотереей. Очень ценятся в Неаполе люди,

умеющие видеть вещие сны, и есть несколько священников, постоянно удостаивающихся видений, в которых им открываются счастливые номера.

Мне рассказали следующее: однажды лошадь понесла всадника и сбросила его замертво на углу улицы. Гонясь с невероятною быстротой за этою лошадью, по той же улице мчался еще один человек, который бежал так стремительно, что настиг всадника тотчас же после его падения. Он бросился на колени перед несчастным и, сжав его руку с выражением беспредельной душевной муки, проговорил: «Если вы еще живы, скажите лишь одно слово! Если вы еще дышите, назовите, заклинаю вас небом, ваш возраст, чтобы я мог сыграть в лотерее на соответствующий номер!»

Сейчас четыре часа пополудни, и можно пойти посмотреть, как будет разыграна лотерея, в которой участвуем и мы. Эта церемония происходит по субботам в Трибунале или Судебной палате, странном помещении или галерее, заплесневелой и затхлой, как старый заброшенный погреб и сырой, как темница. В верхнем конце галереи есть возвышение, а на нем — подковообразный стол; за столом сидят председатель и члены комиссии — сплошь судейские. Человек на маленькой табуретке позади председателя, это — Capo lazzarone[1], своего рода народный трибун, назначенный в помощь комиссии надзирать за правильностью процедуры, а рядом с ним несколько его личных приятелей. Это оборванный, смуглый парень с длинными спутанными волосами, свисающими ему на лицо, покрытый, к тому же, с головы до пят самой что ни на есть неподдельной грязью. Вся галерея забита простолюдинами; между ними и возвышением, охраняя ведущие на него ступени, размещается группа солдат.

Происходит кратковременная заминка, так как еще не собралось нужное число судей, и весь интерес пока сосредоточен на ящике, в который складывают номера. После того как ящик заполнен, центральной фигурой становится мальчик, которому предстоит вынимать их оттуда. Он уже облачен в подобающий для этих обязанностей костюм — на нем туго обтягивающая его куртка из

---

[1] Главный бродяга *(итал.)*.

сурового полотна с одним единственным рукавом (левым), а правая рука до самого плеча обнажена и готова к погружению в таинственный ящик.

В помещении царит тишина, нарушаемая лишь кое где шепотом, и глаза всех присутствующих прикованы к юному служителю фортуны. Имея в виду ближайшую лотерею, они начинают осведомляться о его возрасте, и есть ли у него братья и сестры, и сколько лет его матери, и сколько — отцу, и есть ли у него прыщи, или родимые пятна, и где они, и сколько их счетом. Прибытие предпоследнего из опаздывающих судей (маленького старичка, которого все боятся, так как считается, что у него дурной глаз), несколько отвлекает внимание, которое могло бы быть отвлечено значительно больше, если бы вслед за старичком не появился новый предмет всеобщего интереса: священник, присланный служить молебен, и сопровождающий его грязный-прегрязный маленький мальчик, несущий священное облачение и сосуд со святою водой.

Вот, наконец, и последний судья занимает свое место за подковообразным столом.

Возникают смутный гул и жужжание, вызванные неудержимым волнением. Под этот гул священник просовывает голову в облачение и оправляет его на плечах. Затем он беззвучно читает молитву и, обмакнув кропило в сосуд со святою водой, окропляет ящик и мальчика и одним махом благословляет и того и другого, для чего и ящик и мальчика подымают на стол и ставят рядом. Мальчика оставляют на столе и далее, а один из служителей берет ящик и проносит его перед публикой с одного края возвышения до другого; при этом он подымает ящик высоко вверх и основательно встряхивает его, словно хочет сказать, как фокусник: «Тут без обмана, почтеннейшие дамы и господа; пожалуйста, смотрите на меня сколько угодно!»

Наконец ящик снова поставлен около мальчика, и мальчик, подняв сначала над головою обнаженную руку с раскрытою пятерней, опускает ее в отверстие (ящик сделан наподобие баллотировочной урны) и вынимает оттуда номер, навернутый на что-то твердое вроде конфеты. Он протягивает эту штуку ближайшему члену комиссии, который чуточку разворачивает ее и передает


INDULGENZA PLENARIA
ELEMOSINA ALLE ANIME DEL PURGATORIO

сидящему рядом с ним председателю. Председатель очень медленно разворачивает ее до конца. Capo lazzarone наклоняется через его плечо. Председатель протягивает номер уже в развернутом виде Capo lazzarone. Capo lazzarone, бросив на него безумный взгляд, выкрикивает пронзительно-громким голосом: «Sessanta due!» (шестьдесят два), одновременно показывая «два» пальцами. Сам Capo lazzarone не ставил на шестьдесят два. Лицо его страшно вытягивается, и он дико вращает глазами.

Поскольку это один из излюбленных номеров, его все же хорошо принимают в толпе, что случается далеко не всегда. Остальные номера вынимаются с соблюдением тех же формальностей, кроме благословения. Его хватает на всю таблицу умножения. Новым бывает каждый раз лишь перемена в лице Capo lazzarone, который, очевидно, вложил сюда все свои скудные средства и который, увидев последний номер и обнаружив, что он опять не выиграл, горестно всплескивает руками и воздевает глаза к потолку, прежде чем огласить его, словно взывая, в тайном отчаянье, к своему святому патрону, так коварно обманувшему его. Надеюсь, что Capo lazzarone не изменит ему ради какого-нибудь иного представителя святцев, хотя, по-видимому, и грозит это сделать.

Где выигравшие — остается тайной для всех. Среди собравшихся их во всяком случае нет; всеобщее разочарование наполняет вас сочувствием к бедному люду. И когда, став в сторонку, мы наблюдаем этих горемык, проходящих внизу через двор, они кажутся нам такими же жалкими, как узники (часть здания занята тюрьмою), глазеющие на них сквозь решетки на окнах, или черепа, которые еще висят на цепях на наружном фасаде, в память о добром старом времени, когда обладатели их были здесь вздернуты в назидание и на страх народу.

Мы покидаем Неаполь с первыми лучами чудесного восхода и направляемся по дороге в Капую; а затем пускаемся в трехдневное путешествие по проселкам, чтобы посетить по пути монастырь Монте Кассино, который прилепился на крутом и высоком холме над городком Сан-Джермано и в туманное утро теряется в густых облаках.

Тем приятнее низкий тон его колокола, который, пока мы кружим на мулах, подымаясь к обители, таинственно звучит в тихом, недвижном воздухе; вокруг нас — сплошной серый туман, двигающийся медленно и торжественно, как похоронное шествие. Наконец прямо пред нами вырисовывается во мгле громада монастырского здания, и мы различаем еще смутно, несмотря на их близость, высокие серые стены и башни и сырой пар, тяжело клубящийся под сводами галерей.

Две черные тени скользят взад и вперед по четырехугольной площадке возле статуй святого покровителя монастыря и его сестры; следом за этими тенями прыгает, то исчезая под старинными арками, то снова показываясь, ворон, каркающий в ответ на удары колокола и в промежутках лопочущий на чистом тосканском наречии. До чего же он похож на иезуита! Не бывало еще на свете такого хитреца и проныры, который чувствовал бы себя так непринужденно, как этот ворон; вот он сейчас остановился, склонив голову набок, у дверей трапезной и делает вид, будто смотрит куда-то в сторону, а между тем пристально разглядывает посетителей и напряженно вслушивается в их голоса. И каким тупоумным монахом кажется в сравнении с ним монастырский привратник!

«Он говорит, как мы,— сообщает привратник.— Так же ясно». Да, да, привратник, так же ясно. Нет ничего выразительнее приветствий, которыми он встречает крестьян, входящих в ворота с корзинами и другими ношами. Он так вращает глазами и гортанно хихикает, что его следовало бы избрать настоятелем Ордена Воронов. Он все понимает. «Отлично,— говорит он,— мы кое-что знаем, проходите, добрые люди. Рад вас видеть!»

Каким образом удалось воздвигнуть на таком месте это поразительное сооружение, если доставка камня, железа и мрамора на подобную высоту была несомненно сопряжена с невероятными трудностями? «Карр!» — говорит ворон, приветствуя входящих крестьян. Как случилось, что после разграблений, пожаров и землетрясений монастырь поднялся из развалин и снова таков, каким мы его видим теперь, с его великолепною и пышно обставленной церковью? «Карр!» — говорит ворон, приветствуя

входящих крестьян. У этих людей жалкий вид, и они (как обычно) глубоко невежественны, и все, как один, попрошайничают, пока монахи служат мессу в часовне. «Карр! — говорит ворон.— Ку-ку!»

Мы уходим, а он все хихикает и вращает глазами у ворот обители. Мы медленно спускаемся среди густых облаков по извилистой дороге. Выбравшись, наконец, из них, мы видим далеко внизу деревушку и плоскую, зеленую, пересеченную ручьями равнину, приятную и свежую после мрака и мглы обители — да не будут эти слова сочтены проявлением непочтительности к ворону и святой братии.

Мы тащимся дальше по грязным дорогам и через убогие, до последней степени запущенные деревни, где ни в одном окне нет целого стекла и ни на одном жителе нет целой одежды и никаких признаков съестного ни в одной из дрянных лавчонок. Женщины носят ярко-красный корсаж со шнуровкой впереди и сзади, белую юбку и неаполитанский головной убор из сложенного четырехугольником куска полотна, первоначально предназначавшийся для переноски тяжестей на голове. Мужчины и дети носят что придется. Солдаты так же прожорливы и грязны, как собаки. Гостиницы так причудливы, что они бесконечно привлекательнее и интереснее лучших парижских отелей. Одна такая гостиница находится близ Вальмонтоне — вот он, Вальмонтоне,— круглый, обнесенный стенами город на горе — а приблизиться к ней можно лишь через трясину глубиною почти по колено. Внизу — какая-то нелепая колоннада, темный двор с множеством пустых конюшен и сеновалов и большая длинная кухня с большой длинной скамьей и большим длинным столом, и там возле огня толпится в ожидании ужина кучка проезжих, и среди них два священника. Наверху — нескладная кирпичная галерея, где мы можем пока присесть, с крошечными оконцами, заделанными крошечными пузырчатыми кусками стекла; все выходящие на нее двери (а их дюжины две) сорваны с петель, вместо стола голые доски, положенные на козлы, за которыми может обедать человек тридцать; в очаге размерами с порядочную столовую трещат и пылают вязанки хвороста, освещая страшные, зловещие рожи, нарисованные углем прежними

постояльцами на его выбеленных известью боковых стенках. На столе ярко горит плошка, а возле стола суетится, то и дело почесывая в густых черных волосах, желтолицая карлица, которая становится на цыпочки, чтобы разложить большие кухонные ножи, и совершает легкий прыжок, чтобы заглянуть, достаточно ли воды в кувшине. Кровати в соседних комнатах отличаются крайне неустойчивым нравом. Во всем доме нет ни осколка зеркала, а для умывания служит та же кухонная посуда. Но желтая карлица ставит на стол объемистую фиаску превосходнейшего вина — в ней добрая кварта — и в числе полудюжины других кушаний подает почти целого дымящегося горячим паром жареного козленка. Она столь же благодушна, как неопрятна, а это немало. Итак, разопьем эту фиаску вина за ее здоровье и за процветание заведения!

Добравшись до Рима и оставив за собой и его и паломников, которые расходятся по домам с обязательной раковиной * и посохом и просят подаяния ради господа бога, мы едем по прекрасной местности к каскадам Терни, где речка Велино бросается очертя голову со скалистого края обрыва, вся в сверкающих брызгах и радуге. Перуджа, хорошо укрепленная человеческими руками и самою природой — она расположена на возвышенности, круто подымающейся над равниной, где пурпурные горы сливаются вдали с небом,— блистает в базарный день яркими красками. Они замечательно оттеняют ее мрачные, но богатые готические постройки. Мостовая базарной площади завалена деревенскими товарами. По всему крутому склону холма, вдоль городской стены, идет шумный торг телятами, ягнятами, свиньями, лошадьми, мулами и быками. Куры, гуси и индюки отважно взмахивают крыльями у них между копытами; покупатели, продавцы и просто зеваки толкутся везде и всюду и загораживают проезд, когда мы с криком «берегись!» появляемся перед ними.

Под ногами наших лошадей внезапно слышится металлический звук. Кучер останавливает их. Наклонившись с седла и воздев затем глаза к небу, он разражается следующим восклицанием: «О всемогущий Юпитер, лошадь потеряла подкову!»

Несмотря на зловещий характер этого события и на глубочайшее отчаяние во взгляде и жестах (возможных только у итальянского веттурино), с которыми он возвещает о случившемся, нас очень скоро выручает из беды обыкновенный смертный кузнец; с его помощью мы в тот же вечер добираемся до Кастильоне, а на следующий день — до Ареццо. В прекрасном соборе этого города происходит, разумеется, богослужение; между рядами колонн играют солнечные лучи, проникающие сквозь чудесные цветные стекла на окнах, частью выделяя, частью, напротив, скрывая коленопреклоненные фигуры молящихся и протягивая в глубь длинных приделов крапчатые полосы света.

Но сколько красот иного рода открывается нам, когда в одно прекрасное ясное утро мы смотрим с высокого холма на Флоренцию! Вот она лежит перед нами в освещенной солнцем долине, украшенная блестящей лентой извилистого Арно, окаймленная пышными холмами; вот подымаются посреди прекрасной природы ее купола, башни и дворцы, сверкающие на солнце, как золото!

Величаво сумрачны и суровы улицы прекрасной Флоренции, и громады массивных старинных зданий отбрасывают такое множество теней на землю и реку, что существует второй, совсем другой город великолепных форм и причудливых очертаний, постоянно лежащий у наших ног. На каждой улице хмурятся, в своем старинном угрюмом великолепии, огромные дворцы, построенные с таким расчетом, чтобы в них можно было отсиживаться, как в крепости,— с подозрительно прищуренными оконцами, накрепко забранными решетками, и со стенами чудовищной толщины, сложенными из гигантских глыб дикого камня. В центре города, на площади Великого Герцога, украшенной превосходными статуями и фонтаном Нептуна, высится Palazzo Vecchio[1] с громадными выступающими зубцами и Большой башней, стерегущей весь город. Во дворе — достойном по своей гнетущей мрачности Отрантского замка * — есть массивная лестница, по которой могла бы въехать самая тяжелая колымага с могучею запряжкою лошадей. Внутри дворца показывают

[1] Старый дворец *(итал.)*.

большой зал, где великолепные украшения потускнели и осыпаются, но на стенах увековечены триумфы Медичи * и войны, которые некогда вели флорентийцы. Совсем рядом, во дворе, прилегающем к этому зданию, находится также тюрьма — отвратительное и страшное место, где некоторые заключенные заперты в крошечных, похожих на печи камерах, а другие выглядывают сквозь решетки и выпрашивают подаяние; где иные играют в шашки, иные болтают с приятелями, которые тем временем курят, чтобы освежить воздух, а иные покупают вино и фрукты у женщин-торговок, и все мерзко, грязно и гадко на вид. «Им тут живется неплохо, signore,— говорит тюремщик.— У них у всех руки в крови»,— добавляет он, обводя рукой почти все здание. Не проходит и часа, как восьмидесятилетний старик, торгуясь с семнадцатилетней девушкой, закалывает ее насмерть кинжалом, посреди благоухающей цветами рыночной площади; и пополняет число арестантов.

Из четырех старинных мостов через Арно Ponte Vecchio [1], застроенный лавками ювелиров и золотых дел мастеров,— наиболее чарующая деталь в общей картине. Посередине, на пространстве, в котором мог бы вместиться дом, мост оставлен с обеих сторон незастроенным, и вид сквозь это пустое место кажется вставленным в раму: эта драгоценная полоса неба и воды и пышных дворцов, так спокойно сияющая в промежутке между теснящимися на мосту крышами и фронтонами,— восхитительно хороша. Повыше этого моста через реку переброшена Галерея Великого герцога. Сооруженная, чтобы соединить крытым проходом оба дворца, она пролагает себе путь по улицам, как подлинный деспот, не считаясь с препятствиями.

Впрочем, у Великого герцога есть и более достойный способ тайно проходить по улицам города, оставаясь неузнанным под черным одеянием с капюшоном, ибо он является членом Compagnia della Misericordia [2],— братства, объединяющего людей всех сословий и состояний. При несчастных случаях их долг — поднять пострадав-

---

[1] Старый мост *(итал.)*.
[2] Общество милосердия *(итал.)*.

щего и бережно доставить его в больницу. Если вспыхивает пожар, им полагается прибыть мгновенно и оказывать всемерную помощь и покровительство погорельцам. Одна из самых обыденных их обязанностей — ходить за больными и приносить им утешение, и они никогда не берут денег, не едят и не пьют в домах, посещаемых ими с этою целью. Те, кто назначен дежурить, мгновенно собираются, едва раздается звон большого башенного колокола; рассказывают, что однажды Великий герцог встал из-за стола и поспешил на зов, как только послышался этот звон.

На другой большой площади,— где собирается своего рода нештатный рынок и где на прилавках или попросту на мостовой разложены и разбросаны железный лом и другие мелочные товары,— стоят все вместе: собор со своим большим куполом, прелестная башня итальянской готической архитектуры, известная под названием Campanile [1], и баптистерий с коваными бронзовыми дверьми. Здесь на мостовой есть небольшой четырехугольник, на который не ступает ничья нога и который прозывается «Камнем Данте»; сюда, как утверждает молва, он обычно приносил свой табурет и, сидя тут, предавался раздумью. Как знать, быть может, проклиная, в своем горьком изгнании, самые камни на улицах неблагодарной Флоренции, он смягчался, когда вспоминал об этом уголке, связанном со светлыми грезами о маленькой Беатриче? *

Капелла Медичи, этих добрых и злых духов Флоренции, церковь Санта Кроче, где покоится прах Микеланджело и где каждый камень под сводами красноречиво вещает о великих покойниках; бесчисленные церкви — часто недостроенные тяжелые кирпичные груды снаружи, но торжественные и невозмутимо-величавые изнутри — то и дело останавливают нас в часы наших неторопливых блужданий по городу.

Под стать гробницам под церковными сводами и Музей Естественной Истории, славящийся на весь мир своими восковыми муляжами листьев, семян, растений, низших животных, отдельных органов человека и, наконец,—

---

[1] Колокольня *(итал.)*.

полным воспроизведением этого поразительного создания природы, выполненным с таким совершенством, что кажется, будто пред вами только что умершие. Мало что может убеждать нас в нашей бренности торжественней и безжалостней и с такой меткостью поражать в самое сердце, как эти изображения юности и красоты, покоящиеся в последнем беспробудном сне.

За городскими стенами видна прелестнейшая долина Арно, монастырь в Фьезоле, башня Галилея, дом Боккаччо, старинные виллы и павильоны на лоне природы и множество других достопримечательных мест — блестящих крапинок в залитом ослепительным светом пейзаже незабываемой красоты. И после этого блеска и яркости какими торжественными и величавыми кажутся улицы с их большими, темными, погруженными в скорбь дворцами и многочисленными преданиями не только об осаде, войне, власти и Железной руке, но и о триумфальном шествии мирных наук и искусств.

Сколько света отдают миру и в наши дни сумрачные дворцы Флоренции! Здесь, в этих прекрасных и спокойных убежищах, доступные обозрению, обрели бессмертие древние скульпторы, а рядом с ними — Микеланджело, Канова, Тициан, Рембрандт, Рафаэль, поэты, историки, философы — подлинно славные имена, рядом с которыми слава коронованных особ и закованных в доспехи воинов так ничтожна и недолговечна. Здесь продолжает жить нетленная частица этих великих душ — невозмутимая и неизменная, между тем как твердыни нападения и обороны рушатся; тирания многих, или немногих, или тех и других становится преданием; а Надменность и Власть рассыпаются прахом. Огонь на суровых улицах и в массивных дворцах и башнях, зажженный лучами с небес, продолжает ярко гореть, когда затушен пожар войны и угасли домашние очаги многих поколений; со старинных площадей и общественных мест исчезли многие тысячи лиц, искаженных борьбою и страстями своего века, а безыменная флорентийская дама, сохраненная от забвения кистью художника, все еще продолжает жить, неизменно юная и чарующая.

Давайте же еще раз оглянемся на Флоренцию, а когда ее горящий на солнце купол исчезнет из виду, пустимся

в путь по веселой Тоскане, увозя с собой яркое воспоминание об этом чудесном городе — ведь Италия становится еще краше, когда вспоминаешь о нем. Наступило лето; Генуя, Милан и озеро Комо остались далеко позади; мы останавливаемся в Файдо, швейцарской деревне вблизи грозных скал, вечных снегов и ревущих водопадов Большого Сен Готтарда и в последний раз за время этого путешествия слышим итальянскую речь. Давайте же увезем из Италии, несмотря на всю ее нищету и ее беды, чувство горячей любви к этой стране, восхищение ее природными красотами и творениями рук человеческих, которыми она так богата,— и нежность к ее народу, от природы доброму, терпеливому и благожелательному. Долгие годы пренебрежения, гнета и дурного правления сказались на его нравах и духе; раздоры, разжигаемые мелкими князьями, для которых единство было уничтожением, а разобщенность — силою, словно рак подтачивали корни нации и наложили печать варварства на ее язык; но то хорошее, что всегда жило в итальянцах, живет в них и поныне, и этот благородный народ когда-нибудь восстанет, быть может, из пепла. Будем хранить в себе эту надежду! Почтим Италию и за то, что каждый обломок ее разрушенных храмов и каждый камень ее заброшенных дворцов и темниц учит нас помнить, что колесо времени катится к определенной конечной цели и что мир в своей основе становится лучше, благороднее, терпимее и вселяет в нас все больше надежд.

КОММЕНТАРИИ

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Два томика «Американских заметок» были опубликованы в октябре 1842 года. Материалом для «Заметок» послужили дневники и записные книжки. Работа над книгой протекала в течение нескольких месяцев непосредственно по возвращении на родину. Поездка в США глубоко разочаровала Диккенса. Об этом он говорит в письмах к друзьям (см., например, письмо к известному актеру Макреди, собиравшемуся одно время переселиться в США). Этим чувством проникнута и сама книга, вышедшая с посвящением: «...тем из моих друзей в Америке... кому любовь к родине не мешает выслушивать истину...» Предвидя обвинения критики в предвзятом изображении общественных институтов США и, в особенности, ненавистного ему рабства, Диккенс хотел предпослать своим очеркам специальную разъясняющую главу, которая и была им написана, но в окончательной редакции исключена. В этой главе Диккенс прямо заявлял, что нашел государственный строй США отнюдь не заслуживающим подражания. Глава эта была напечатана впервые в книге друга Диккенса и его биографа, известного литературоведа Дж. Форстера, «Жизнь Диккенса» (1872—1874).

В прессе «Американские заметки» были встречены с возмущением. Американская критика ждала от Диккенса восторженного панегирика и, не найдя его, обвинила писателя в клевете. Английская критика была смущена новыми для Диккенса нотами политической сатиры и тоже отнеслась к книге неблагожелательно.

На русский язык «Американские заметки» переводились неоднократно. Первый сокращенный перевод, озаглавленный «Записки об Америке», появился уже в 1843 году в журнале «Библиотека для чтения». Полное издание текста выходило дважды, в 1882 и 1889 годах. Настоящий перевод сделан с публикации текста Полного собрания сочинений Диккенса, изд. Чэпмена и Холла.

Стр. 9. *...с грузом почты ее величества...* — т. е. с грузом Министерства почт Великобритании. По исторически сложившейся традиции названия английских государственных учреждений и должностных лиц всегда сопровождаются словами «его (или ее) величества».

...Чарльза Диккенса, эсквайра... — В середине века эсквайрами называли оруженосцев рыцарей. Со временем слово изменило свое значение, и так стали именовать людей, не имеющих дворянского звания, но привилегированных по своему общественному положению, как то: чиновников, адвокатов, врачей, писателей и просто зажиточных буржуа. В настоящее время слово «эсквайр» почти вышло из употребления.

Стр. 10. *...обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверхвосточным великолепием...* — Мистер Робинс — известный в Лондоне 40—50-х годов аукционист, выпускавший каталоги с рекламным описанием продававшихся вещей.

Стр. 13. *...напоминал моей спутнице милые родные края.* — Семья жены Диккенса, урожденной Хогарт, происходила из Шотландии.

Стр. 14. *...моего непогрешимого друга мистера Редли из отеля «Аделфи».* — Мистер Редли — владелец первоклассного ливерпульского отеля, в котором Диккенс имел обыкновение останавливаться.

Стр. 15. *Юстон сквер* — площадь в Лондоне, на которую выходит первый в городе железнодорожный вокзал Лондонской Северо-западной дороги, выстроенной в 1838 году.

Стр. 16. *Лорд Бэрли* (1520—1598) — известный английский государственный деятель, был государственным казначеем в эпоху королевы Елизаветы.

Стр. 25. *...чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэлле.* — Диккенс вспоминает эпизод из своего романа «Барнеби Радж» (1841). Чигуэлл — предместье Лондона.

Стр. 29. *Ричмонд* — юго-западное предместье Лондона на правом берегу Темзы; любимое место загородных прогулок лондонцев.

Стр. 33. *Галифакс* — крупный порт и главный город Новой Шотландии, одной из провинций Канады, являвшейся во времена Диккенса британской колонией.

Стр. 35. *Вестминстер* — юго-западный район Лондона, в котором расположено здание английского парламента.

Тронная речь — речь при открытии сессии парламента, составляемая лидером правящей партии и содержащая правительственную программу.

Стр. 36. *...в какой-нибудь мелодраме у Астли.* — Имется в виду конный цирк Астли — одно из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины XIX века; на его арене давались мелодрамы, в которых по ходу действий на сцену выводились дрессированные лошади; в Париже был филиал этого цирка.

Стр. 37. *Кук* Томас П. Кук (1786—1864)—известный английский комический актер.

Стр. 39. *Чэннинг,* Уильям Эллери Чэннинг (1780—1842)— известный американский общественный деятель, священник, возглавивший в 1825 году американскую секту унитариев; в своих проповедях и печатных трудах выступал за отмену рабства.

Панталоне, Арлекин, Коломбина — популярные персонажи итальянской comedia del arte — «комедия масок» (возникла в Италии в XVI в.), ставшие героями ярмарочных кукольных представлений.

Стр. 40. *...правительство штата.* — Согласно американской конституции, каждый штат США имеет свои законодательные органы, над которыми стоят федеральные органы власти, находящиеся в Вашингтоне.

Стр. 42. *Докторс-Коммонс.* — Диккенс имеет в виду особый суд по делам наследственного права, входивший в систему судов Докторс-Коммонс, охватывавшую, кроме того, суды по делам церкви и делам адмиралтейства.

Стр. 43. *Институт Перкинса* — назван так в честь богатого бостонского коммерсанта Т. Х. Перкинса (1764—1854), известного своей благотворительностью.

Стр. 55. *Доктор Хови* — Хови С. Г. (1801—1876) — известный американский врач и прогрессивный общественный деятель.

Выступал против рабства, принимал участие в реформе американских тюрем, возглавлял Институт для слепых в Бостоне, изобрел азбуку слепых. Его пациентка, Лора Бриджмен (1829—1889), известна как первая слепая и глухонемая, получившая систематическое образование с помощью азбуки слепых.

Стр. 61. *...приюте для бедных в Хэнуелле...* — Хэнуелл — западное предместье Лондона, в котором находится известный дом для умалишенных, основанный в 1830 году.

Стр. 62. *Мейдж Уайлдфайр* — иначе Мейдж Мердоксон, безумная цыганка из романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» (1818).

Стр. 64. *...ведет себя с ними точно сам лорд Честерфилд* — то есть точно так, как предписывают «Письма лорда Честерфилда своему сыну», свод житейских и моральных правил английской аристократии XVIII века.

Стр. 65. *...члены нашей Комиссии по законодательству о призрении бедных...* — Диккенс имеет в виду закон о бедных 1834 года, результатом которого явилось создание «работных домов» (более подробно см. комментарий к 3-му тому наст. изд.). Члены комиссии по проведению в жизнь этого закона были назначены из числа виднейших чиновников «Сомерсет-Хаус», известного в Лондоне здания, в котором сосредоточены правительственные учреждения.

Стр. 71. *Глазу англичанина, привыкшему к Вестминстер-Холлу со всеми его аксессуарами...* — Речь идет о главном зале заседаний английского суда, находящемся в Вестминстере и являющемся одним из старейших памятников английской готики (XI). В этом зале слушались все важнейшие исторические процессы. Внутреннее убранство его, равно как и специальное одеяние судей и адвокатов — средневековые мантии и парики — призваны создавать впечатление особой торжественности.

...здесь нет разделения этих функций, как в Англии... — Для английской адвокатуры характерно строгое разграничение функций юристов разных рангов. Так, полноправный юрист (барристер) имеет право выступать в суде, но не может входить в непосредственное общение с клиентами. Эта функция, равно как и вся подготовка дела к слушанию в суде и вся переписка, входит в обязанности поверенного (солиситера).

Стр. 72. *...без помощника или «младшего» адвоката...* — Дик-

кенс употребляет термин «юниор». В обязанности юниора входят письменные возражения на контрдоводы противной стороны в гражданском процессе.

Стр. 74. *...дамы «синие чулки»...* — прозвище педантичных ученых женщин. Выражение это возникло около 1750 года и связано с историей одного лондонского литературного кружка, включавшего лиц обоего пола. Желая подчеркнуть непринужденность собраний кружка, один из его членов, некто Б. Стилнгфлит, стал являться на вечера не в черных шелковых, как предписывал этикет, а в синих шерстяных чулках. Возникшее отсюда прозвище сперва означало принадлежность к кружку, но со временем приобрело иронический оттенок.

...исключая, конечно, унитарную церковь... — Унитарная церковь — одна из протестантских церквей США, возникшая в начале XIX века. Выдвигала доктрину единичности божества и — в отличие от ортодоксальной пуританской церкви — не требовала от своих членов аскетизма.

Стр. 75. *...философская секта, известная под названием трансценденталистов.* — Трансценденталисты — члены бостонского литературно-философского кружка, группировавшегося в 40-е годы вокруг философа и публициста Р. У. Эмерсона (1803—1882). Вслед за Томасом Карлейлем (1795—1881), известным английским историком, публицистом и философом, выступили с романтической критикой капитализма, противопоставляя современности элементы уходящего в прошлое патриархального уклада. Название кружка связывает его с известным течением немецкой идеалистической философии.

Стр. 76. *...стих из Песни Песней Соломона...*—Песнь Песней— включенное в библию и приписываемое царю Соломону собрание древнееврейских песен и стихов о любви.

Нельсон Горацио (1758—1805) — выдающийся английский флотоводец, принимавший участие в борьбе с Наполеоном, английский национальный герой. В память о победе, одержанной им в 1805 году в Трафальгарском сражении над объединенным франко-испанским флотом, в Лондоне воздвигнута мемориальная колонна.

Коллингвуд (1750—1810) — английский адмирал, сподвижник Нельсона. В Трафальгарском сражении после ранения и смерти Нельсона принял команду над английским флотом.

Джон Бэньян (1628—1688) — известный английский баптистский проповедник и писатель XVII века, выступивший с по-

зиций пуританизма в своем главном произведении «Путь паломника» с критикой режима реставрации Стюартов.

Бальфур из Берли (ум. в 1688 г.) — шотландский политический деятель и заговорщик, участник убийства архиепископа Шарпа в 1679 году, изображен в романе Вальтера Скотта «Пуритане» (1816).

Стр. 78. *...можно было бы без труда утопить маленького герцога Кларенса.*— В шутке Диккенса содержится намек на тайное убийство герцога Кларенса (1449—1478), совершенное по приказу его брата, Ричарда Глостера (позднее короля Ричарда III), описанное Шекспиром в трагедии «Ричард III».

Стр. 79. *Лоуэлл* — город в штате Массачузетс, названный в честь Ф. К. Лоуэлла, американского промышленника, построившего в его окрестностях первую в США прядильно-ткацкую фабрику (1814).

Стр. 80. *Омнибусы* — пассажирские кареты с трехконной упряжью, появившиеся впервые в Париже, а с 1829 года и в Англии. Омнибусы были рассчитаны на двадцать пасажиров, но затем только на двенадцать, сидящих на скамьях вдоль стен. Плата за проезд взималась независимо от расстояния.

Стр. 82. *Янки* — первоначальное прозвище жителей Новой Англии (общее название группы северо-восточных штатов США) и шире — жителей северных штатов, ставшее в устах иностранцев синонимом слова «американец». Происхождение его точно не установлено.

Стр. 85. *Ньюгет* — старинная (с XII в.) уголовная и политическая тюрьма, бывшая во времена Диккенса центральной лондонской тюрьмой для уголовных преступников. До 1862 года служила местом публичных казней. В 1880 году закрыта, в 1903—1904 годах снесена.

Стр. 89. *Джексон Эндрью* (1767—1845) — американский генерал, одержавший победу над англичанами под Новым Орлеаном в январе 1815 года, решившую исход англо-американской войны 1812—1815 годов; 7-й президент США.

В. Г. Гаррисон (1773—1841) — американский генерал, выдвинувшийся во время войн с индейцами (1811—1812); 9-й президент США.

Стр. 94. *...дуб, в котором была спрятана хартия короля Карла.*— Речь идет о хартии на самоуправление, дарованной английским колонистам г. Хартфорда королем Карлом II Стюартом в 1662 году. По преданию, колонисты спрятали эту хартию

в дупле дуба, когда в 1688 году губернатор колонии сделал попытку ее отобрать.

Стр. 96. *Мормоны* — члены американской религиозной секты, в учении которой большую роль играет вера в божественное откровение. Вскоре после поездки Диккенса в Америку основатель секты мормонов, Джозеф Смит, провозгласил (в 1843 г.) якобы полученное свыше откровение, разрешающее многоженство, а в июне 1844 года был убит толпой, ворвавшейся в тюрьму, куда он был заключен губернатором штата.

Стр. 97. *Йельский университет* — наряду с Гарвардом одно из старейших высших учебных заведений США; основан в 1701 году.

Стр. 98. *Левиафан* — легендарное морское чудовище, упоминаемое в библии.

Стр. 99. *Берлингтонская аркада* — аркада известного в Лондоне универсального магазина, выходившего на Пикадилли.

...знаменитую «Историю Дидриха Никкербокера». — «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии, написанная Дидрихом Никкербокером» (1809) — сатирическое произведение пионера американской литературы В. Ирвинга (1783—1859).

Стр. 100. *Файв-Пойнтс* — площадь в Нью-Йорке, где сходятся пять улиц; в первой половине XIX века — район трущоб, известный своими притонами.

Стр. 101. *Сэвен-Дайелс* — район трущоб в Лондоне; место, где сходятся семь улиц.

...Сент-Джайлс — район Лондона, называемый так потому, что в нем находится старинная церковь св. Джайлса (XIV); в описываемую эпоху — одно из самых перенаселенных мест города, где ютилась беднота.

Бродвей — самая длинная (18 миль от южной оконечности Манхэттона до северной окраины города) и в своей средней части самая оживленная улица Нью-Йорка; славится своими театрами, ресторанами, ночными клубами и т. п. Название «Бродвей» (в переводе «широкая дорога») было дано улице первыми жителями города, голландскими колонистами.

Стр. 103. *Ломберд-стрит* — улица в Лондоне, на которой сосредоточены крупнейшие банки.

Стр. 104. *Проспект Бауэри* — район увеселительных заведений Нью-Йорка в первой половине XIX века.

Стр. 110. *...неповоротливую обезьяну утилитарной школы.*— Диккенс иронизирует над последователями теории пользы (школа английского буржуазного экономиста Бентама), сторонники которой выдвигали в качестве основного стимула человеческой деятельности узко личный расчет и насаждали практицизм.

...срывают крыши с частных домов, словно Хромой бес в Испании...— Имеется в виду фантастический персонаж из романа известного французского писателя XVIII века Лесажа «Хромой бес» (1707).

Стр. 111. *...отпугивают всякого самаритянина, приближающегося к ней с чистой совестью и добрыми намерениями...*— Упоминание о добродетельном самаритянине (жителе древнего города Самарии в Палестине), оказавшем помощь израненному и ограбленному путнику, содержится в евангелии от Луки. Имя его стало нарицательным.

Боу-стрит — улица в Лондоне, на которой находится главное полицейское управление.

Стр. 112. *Вашингтон,* Джордж Вашингтон (1732—1799)—выдающийся американский государственный деятель периода борьбы северо-американских колоний за независимость, главнокомандующий войсками колонистов; первый президент США (1789—1797).

Королева Виктория — английская королева (1837 по 1903 год).

Американский орел — изображение орла в гербе США.

...портреты Уильяма из баллады и его черноокой Сьюзен...— герои баллады Джона Гэя (XVII), автора известной «Оперы нищего».

Стр. 114. *...положив руку на щеколду двери, ведущей в «Олмэк»...*— Название «Олмэк» употреблено Диккенсом в нарицательном смысле. Так назывались известные в Лондоне «публичные залы», в которых давались фешенебельные балы, устраивались лекции и концерты.

Глиссад, двойной глиссад, шассе и круазе — французские названия фигур танца.

Стр. 116. *...миллионы Джимов Кроу* — презрительная кличка негров в Америке; предполагают, что она произошла от рефрена популярной в 40-е годы песенки, исполнявшейся известным негритянским певцом Т. Д. Райсом.

Стр. 117. *Лонг-Айленд... Род-Айленд* — острова, входящие в состав Нью-Йорка.

Стр. 121. *«Парк»... «Бауэри»...* — «Парк» — драматический театр, сооруженный в 1798 году; сыграл большую роль в развитии американской драмы первой половины XIX века. «Бауэри»—сооружен в 1826 году; долгое время оставался самым большим театром Нью-Йорка.

Нибло — летний театр-кофейня на Бродвее, устроенный по образцу лондонских увеселительных садов.

Стр. 123. *Квакеры* — христианская протестантская секта, возникшая в Англии в период английской буржуазной революции XVII века; настоящее название секты — «Общество друзей». Свое прозвище «квакеры» (буквально — трясущиеся, дрожащие, от английского глагола «to quake»), члены секты, получили от телодвижений, которыми они сопровождают выражение религиозных чувств. В 60-е годы XVII века, спасаясь от преследований, большая группа квакеров эмигрировала в Америку, где ими была основана колония Пенсильвания.

Дон Гусман — Дон Гаспаро де Гусман, герцог Оливарес (1587—1645) — испанский первый министр в течение двадцати двух лет; одна из самых мрачных фигур правления короля Филиппа IV.

Незабвенный Банк Соединенных Штатов. — Случай прекращения платежей государственным банкам США имел место в 1837 году в президентство генерала Джексона.

Стр. 124. *Франклин Бенджамин* (1706—1790) — выдающийся американский общественный деятель, крупный ученый, писатель и дипломат. В 1731 году им была основана в Филадельфии первая в США публичная библиотека.

Уэст, Бенджамин Уэст (1738—1820) — американский художник, переселившийся в Англию; большинство его картин посвящено событиям войны за независимость.

...портрет кисти мистера Салли... — Томас Салли (1783—1872) — известный американский художник-портретист.

Стр. 129. *...фигуру женщины... он назвал «Дева озера».* — Героиня эпической поэмы Вальтера Скотта того же названия (1808).

Стр. 144. *Не раз какой-нибудь будущий президент...* — иронический намек на распространенный в США демагогический лозунг: «Каждый может стать президентом».

...насладившись по дороге чудесным видом Капито·

лия... — Капитолием называют здание конгресса США; построено в 1793—1827 годы; огромное здание конгресса увенчано куполом, на котором установлена статуя Свободы.

Стр. 145. *...Возьмите худшие части Сити-роуд и Пентонвилла...* — пригороды Лондона, не отличавшиеся благоустройством.

Стр. 146. *...обширные замыслы честолюбивого француза, который его планировал.* — План строительства столицы США, Вашингтона, был предложен молодым французским архитектором, участником революционных войн, Пьером Шарлем Ланфаном (ум. в 1825 г.), взявшим за образец план Версаля.

Стр. 147. *Они написаны полковником Трамболом...* — Джон Трамбол (1756—1843) — американский художник, участник войны за независимость; прославился как автор картин на исторические темы.

...статуя Вашингтона работы мистера Гринофа... — Горацио Гриноф (1805—1852) — американский скульптор; созданная им колоссальная статуя Вашингтона поставлена перед Капитолием.

Стр. 149. *Я перенес палату общин... и не поддался никакой слабости, кроме глубокого сна, в палате лордов.* — Диккенс имеет в виду свою работу парламентским стенографом и позднее репортером, позволившую ему хорошо изучить обстановку английского парламента.

Я присутствовал при выборах в боро и графства... — Диккенс употребляет термины «borough» и «county», означающие названия исторически сложившихся территориальных и административных единиц Англии, имеющих представительство в парламенте и местное самоуправление.

Совместная Декларация Тринадцати Соединенных Штатов Америки... — Декларация Независимости (1776), провозгласившая отделение американских колоний и образование США. Первоначально в состав республики вошло 13 штатов.

Стр. 151. *...семена гибели, подобные драконовым зубам древности...* — Диккенс вспоминает греческий миф об основателе г. Фив, Кадме, убившем дракона и посеявшем его зубы. Из зубов дракона выросли воины, которые стали убивать друг друга.

Стр. 152. *...каждый из них настоящий Крайтон в своей области...* — Джеймс Крайтон — шотландский ученый-лингвист XVI века. Имя его стало нарицательным для людей исключительной одаренности; современники прозвали его «Удивитель-

ный»; был убит в 1582 году итальянским аристократом Гонзаго, гувернером которого он являлся.

...еще не импортировано из парламента Соединенного Королевства подражание звукам скотного двора...— Имеется в виду поведение членов оппозиции английского парламента, позволяющих себе в знак неодобрения того или иного решения ослиный рев и тому подобные звукоподражания.

Стр. 155. *...президент...* — Во время пребывания Диккенса в США президентом был Джон Тайлер (1841—1845), рабовладелец, лидер правого крыла демократической партии.

Стр. 156. *...довольно непоследовательно именуются «левэ»!* — Исторически «левэ» (от французского глагола «lever») — утренний прием в покоях французского короля, в часы, когда король вставал с постели.

Стр. 159. *...моему дорогому другу Вашингтону Ирвингу.* — В. Ирвинг долгое время состоял на дипломатической службе; в качестве секретаря американского посольства он прожил несколько лет в Лондоне.

Стр. 162. *Маунт-Вернон* — поместье Вашингтона в Виргинии.

Стр. 164. *Дюкроу* — главный наездник в цирке Астли и известный мимический актер 20-х годов XIX века.

Стр. 168. *Негр из «Путешествий Синдбада-морехода»...* — герой цикла сказок «1001 ночи», посвященного морским приключениям.

Стр. 170. *...он живо напомнил мне описания таких строений у Дефо.*— Дэниел Дефо (1661—1731) — известный английский писатель-просветитель, автор прославленного «Робинзона Крузо». Здесь Диккенс, по-видимому, вспоминает описания американских плантаций в романе Дефо «Жизнь достопочтенного полковника Джека» (1722).

Стр. 171. *...герой великого сатирика...* — Гулливер, герой классического романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1726).

Стр. 172. *Монумент в ознаменование битвы с англичанами при Норт Пойнте...*—Упоминаемое сражение имело место в англо-американскую войну 1812—1815 годов. Ему посвящен американский гимн, воспевающий звездное знамя.

Стр. 178. *...о муках Крэбба над его приходской книгой записей...* — Джордж Крэбб (1754—1831) — английский поэт, пастор.

Диккенс имеет в виду его поэму «Приходские списки» (1807), рисующую жизнь английской деревни.

Стр. 183. *...не больше обычного листа батской почтовой бумаги...* — Бумага размером в $8^1/_2 \times 14$ дюймов, изготовлявшаяся в Бате, известном приморском курорте с минеральными источниками на западном побережье Англии.

Стр. 184. *...в строгом соответствии с теорией Рейда о законе штормов...* — Вильям Рейд (1791—1858) — английский генерал; опубликовал работу под названием «Попытка развития закона штормов».

Стр. 201. *...большой съезд поборников трезвенности...* — участники движения по борьбе с продажей и употреблением спиртных напитков. В Америке это движение зародилось в начале XIX века, было поддержано церковью и получило широкий размах. В отдельных штатах поборникам трезвости удалось провести «сухой закон», то есть закон, запрещающий продажу спиртных напитков.

Стр. 202. *Мэтью.* — Теобальд Мэтью (1790—1856) — ирландский миссионер, боровшийся за запрещение спиртных напитков.

Стр. 203. *...четыре скучнейших пассажа об Амьенском договоре...* — Имеется в виду подписанный в 1802 году в Амьене мирный договор между Францией и ее союзниками — Испанией и Голландией, с одной стороны, и Англией — с другой, завершивший распад второй антифранцузской коалиции, возникшей в ходе борьбы Англии и Франции за мировое господство. Условия договора были зачеркнуты уже в следующем году в связи с возобновлением военных действий.

Стр. 205. *...разговор о галерее мистера Кэтлина...* — Джордж Кэтлин (1796—1872) — северо-американский путешественник и художник, известный своими портретами индейцев.

Стр. 207. *Фемида* — богиня правосудия у древних греков; изображалась с завязанными глазами (в знак беспристрастия), с весами в одной руке и мечом в другой.

Стр. 208. *...прославился убийством этих беззащитных существ...* — Имеется в виду герой английской детской сказки «Джек, истребитель великанов», построенной на общеевропейском фольклоре.

Стр. 211. *Каир* — небольшой городок в штате Иллинойс, знакомство с которым дало Диккенсу материал для изображения «Эдема» в романе «Мартин Чезлвит» (1843).

Стр. 226. *Мэдисон,* Джеймс Мэдисон (1751—1836) — видный

американский государственный и общественный деятель, один из создателей федеральной конституции; 4-й президент США.

...в память о фанатиках из ордена траппистов...— Католический монашеский орден, возникший в середине XII века и реорганизованный в XVII веке. Свое название получил от ущелья Ла Трапп в Нормандии, где был построен первый монастырь. Устав ордена —самый строгий в католическом монашестве.

Стр. 228. *...в последнюю войну с Англией...* — Диккенс имеет в виду войну 1812—1815 годов, рассматривавшуюся общественностью США как продолжение войны за независимость. Стремясь к завоеванию свободы морей и торговли, американцы ставили своей целью присоединение Канады, но это им не удалось. По заключенному в Генте мирному договору территориальные границы обоих государств остались неприкосновенными.

Стр. 231. *...туда ведет макадамова дорога...* — шоссированная дорога по методу англичанина Мак Адама. В Англии такие дороги стали прокладывать в 20-е годы XIX века.

Графство Кент — одно из графств Англии, ограниченное с севера Темзой, с востока — Северным морем, а с юга — Ламаншем и графством Сэррей.

Стр. 236. *Уэльс* — полуостров на западе Англии.

...все до единого — ревностные пациенты доктора Санградо.— Персонаж из известного романа Лесажа «Жиль Блаз», лечивший всех своих пациентов обильными кровопусканиями и водой, прописываемой в неумеренных количествах.

Стр. 239. *...если взбираться в омнибусе на верхушку собора св. Павла.*— Во времена Диккенса собор св. Павла был самым высоким зданием Лондона; построен он на рубеже XVII — XVIII веков выдающимся английским архитектором Кристофером Реном (1632—1723).

Стр. 242. *...не вышел ростом и не может быть зачислен в гвардию гренадеров.*— Исторически гренадер — это солдат, метавший гранаты. В Англии королевскими гренадерами называют солдат первого пехотного полка; гренадеры несут почетный караул у королевского дворца Уайтхолла.

Стр. 243. *...по поводу недавнего прибытия лорда Эшбертона в Вашингтон...*— Здесь и ниже речь идет о имевших место в 1842 году англо-американских переговорах по вопросу о северо-восточных границах обоих государств. Лорд Эшбертон, извест-

ный английский финансовый и коммерческий деятель, представлял в этих переговорах Англию, а упоминаемый ниже Дэниел Уэбстер, крупный американский юрист, представлял США.

Стр. 244. *«А Боз-то все еще здесь...»* — Литературный псевдоним молодого Диккенса («Очерки Боза», 1835). Бозом Диккенса продолжали называть и после того, как он стал подписываться своим настоящим именем (начиная с романа «Оливер Твист», 1837).

Стр. 249. *...памятник ...генералу Броку...*— Айзек Брок (1769—1812) — командовал английским гарнизоном в Квебеке и принудил к сдаче американский отряд, вторгшийся в Канаду; убит в сражении при Квистонских высотах.

Стр. 253. *...то был оранжевый флаг.* — Оранжевый цвет (исторически — цвет приверженцев партии В. Оранского, вождя умеренного крыла протестантов в Нидерландской революции конца XVII в.) означает принадлежность к протестантской вере. Диккенс имеет в виду незатухавшую партийную и религиозную борьбу франко-канадцев (католиков) и англо-канадцев (протестантов), за спиной которых стояла Англия в лице своего генерал-губернатора.

Стр. 254. *...во время канадского восстания.* — Имеется в виду восстание 1837—1838 годов, проходившее под лозунгом борьбы за независимость. Это была попытка канадской буржуазии, использовав недовольство народных масс и, прежде всего, фермерства, добиться от Англии самоуправления. В результате восстания для Верхней и Нижней Канады был создан общий парламент, но фактическое господство Англии сохранилось.

Стр. 257. *Страшная пропасть, где по скалистой круче вэбирались к славе Вульф и его храбрые товарищи... крепость, где столь рыцарски отбивался Монткальм...*— Диккенс вспоминает события войны Англии и Франции 1754—1763 годов, завершившей завоевание Канады, а вместе с тем и всей Северной Америки, англичанами. Вульф (1726—1759) — командовал английской экспедицией, посланной для захвата Квебека; Монткальм — французский генерал, защищавший Квебек. Оба пали в борьбе за Квебек, и имена их начертаны на упоминаемом ниже монументе.

Стр. 262. *...посмотреть деревню шекеров...* — Религиозная секта шекеров («трясунов») возникла в Англии в середине XVIII века. Во второй половине XVIII века, вследствие гонений, группа шекеров эмигрировала в Америку, где ими был органи-

зован ряд земледельческих колоний. Шекеры владеют имуществом сообща и соблюдают безбрачие. Название секты произошло от телодвижений обрядового танца (shaker — в переводе «трясущийся».)

Рип ван Винкл — герой одной из самых популярных новелл В. Ирвинга.

Стр. 265. *Едят они и пьют все вместе, по спартанскому обычаю...* — В древней Спарте все взрослые мужчины из числа полноправных граждан — спартиатов принадлежали к содружествам, для членов которых были обязательны совместные трапезы.

Стр. 267. *...здесь все насыщено воспоминаниями о Вашингтоне и событиях войны за независимость...* — Во время войны за независимость (1775—1783) Вест-Пойнт неоднократно переходил из рук в руки; в 1779 году здесь находилась штаб-квартира Вашингтона. Упоминаемая Диккенсом военная академия была основана в 1802 году при личном участии Вашингтона.

Стр. 268. *Каатскилские горы, Сонная Ложбина и Тапаан-Зее* — окрестности Нью-Йорка, прославленные в новеллах и очерках В. Ирвинга.

Стр. 277. *Калиф Гарун Аль-Рашид* — багдадский калиф, изображенный в сказках «1001 ночи».

Стр. 278. *Аболиционисты* — сторонники уничтожения рабовладения в Америке.

Стр. 302. *Джозефу Смиту, апостолу мормонов...* —Дж. Смит (1805—1844) — основатель секты мормонов, по происхождению англичан.

Саускотт Мэри Тофтс... — Том из Кентербери — английские религиозные фанатики конца XVIII — начала XIX века.

Стр. 303. *...словно Гамлет над черепом Йорика...* — Имеется в виду монолог Гамлета из сцены с могильщиками (V акт) — одно из самых прославленных мест трагедии Шекспира «Гамлет» (1603).

Н. ИСАЧКИНА

КАРТИНЫ ИТАЛИИ

Итальянские очерки Диккенса впервые были опубликованы в лондонской газете «Дейли ньюс» (конец января — март 1846 г.). Назывались они на страницах газеты «Письмами путешественника с дороги» и были подписаны псевдонимом Диккенса *Боз*. Спустя несколько месяцев вышло и отдельное издание их под измененным названием «Картины Италии». В том

же 1846 году очерки Диккенса были переведены на многие европейские языки, в том числе и на русский. Русский перевод печатался в «Отечественных записках» за 1846—1847 годы (т. XLVI, XLIX, L и LI); перевод, напечатанный в XLVI томе, сделан с французского перевода, публиковавшегося в «Revue Britannique», в остальных — с первого английского издания. Других переводов на русский язык, если не считать небольшого отрывка, напечатанного в «Журнале военно-учебных заведений», не появлялось.

Стр. 312. *...в одном из моих более ранних произведений...* — Речь идет о романе «Барнеби Радж».

Уайзмен Николай Патрик (1802—1865) — кардинал римско-католической церкви Англии и богослов.

Стр. 314. *Пантехникон* — большой торговый склад, в котором продавались машины, экипажи, технические принадлежности, запасные части, мебель, всякого рода утварь и т. д.

Стр. 315. *Франкони* Антонио (1738—1836) — известный дрессировщик животных и владелец конного цирка в Париже.

Стр. 317. *...из стана «Молодой Франции»...* — «Молодая Франция» — так называли создавшуюся в 1830 году группу радикально настроенных литераторов, рьяных сторонников романтических теорий; эти литераторы отличались некоторой экстравагантностью туалета. Ироническая характеристика, даваемая Диккенсом сторонникам «Молодой Франции», едва ли справедлива.

Мальпост — курьерская почтовая карета, вмещавшая двух-трех пассажиров (франц. Malle-Poste).

Стр. 325. *...мадам Тюссо...* — Тюссо Мари (1760—1850) — основательница лондонской «Выставки восковых фигур». Во времена Диккенса восковые фигуры мадам Тюссо пользовались большой популярностью. Здесь была собрана коллекция восковых портретов крупных исторических деятелей прошлого.

Вестминстерское аббатство — церковь в Лондоне, возведенная в XIII веке; место погребения английских королей, а также великих людей Англии. Архаические статуи Вестминстерского аббатства казались Диккенсу карикатурными, чем и вызвано это насмешливое замечание.

Мэррей — Мэррей Джон (1808—1892) — знаменитый лондонский издатель, в частности выпустивший популярную серию «Путеводителей Мэррея для путешественников».

Стр. 326. *...грязным обрывком красной ленточки...* — то есть ленточки ордена Почетного легиона.

Стр. 327. *...три одноглазых календера...* — Календеры — нищенствующие дервиши, мусульманские монахи; орден основан в XIII веке арабом Юсуфом (Диккенс упоминает об эпизоде из 11-й ночи арабских сказок «Тысяча и одна ночь»).

Стр. 328. *...и художник, подобно живописцу семьи Примроз...* — Примроз — главный персонаж романа английского писателя О. Голдсмита (1728—1774) «Векфильдский священник».

Стр. 330. *Риенци* Кола (1313—1354) — вождь народного восстания в Риме в 1347 году; семь месяцев был правителем Рима; ставил своей целью объединение Италии.

Стр. 335. *...как на картине Остаде.* — Адриен ван Остаде (1610—1685) — голландский художник, превосходно изображавший бытовые сцены.

Стр. 344. *Сиена* — светло-коричневая охра, применяемая в живописи.

Стр. 345. *...которое доставляет ему подражание петуху...* — Согласно евангельскому преданию, Христос предсказал своему ученику и последователю Петру, что тот отречется от него, прежде чем петух пропоет в третий раз.

...Джованни Батиста — Иоанн Креститель.

Стр. 346. *Воксхолл* — известный увеселительный сад в Лондоне. Нарядный и праздничный при искусственном освещении, Воксхолл имел очень неприглядный вид при дневном свете.

Стр. 351. *Monte Faccio* (Монто-Фаччо) — гора в окрестностях Генуи.

Стр. 354. *...«голова сарацина» с крючковатым носом...* — В Лондоне вплоть до конца 60-х годов XIX века существовал извозчичий заезжий двор, называвшийся «Голова Сарацина», с изображением головы сарацина (араба) на вывеске.

Стр. 356. *Полента* — итальянское национальное кушанье из мяса и кукурузной муки.

Стр. 357. *Пепис* Сэмюел (1632—1703) — автор «Дневника», одного из основных памятников английской мемуарной литературы, секретарь адмиралтейства после реставрации Стюартов.

Стр. 361. *Массена* (1756—1817) — маршал в армии Наполеона; в 1800 году французские войска под командой Массены захватили Геную, но вынуждены были покинуть ее; спустя некоторое время они снова овладели Генуей.

Стр. 363. *...как говорит Симон в своей прелестной книге об Италии...* — Имеется в виду книга французского путешественника Луи Симона (1767—1831) «Путешествие по Италии и Сицилии», выпущенная в Париже в 1827—1828 годы.

Стр. 367. *...ни страстности финального pas de deux...* — балетная фигура с участием двух танцующих — буквально: шаг двоих (франц.).

«Сэр Юд-се-он-Лау!» — Искаженное Хэдсон Лоу (1769—1844) — английский генерал, надзиравший за Наполеоном на острове св. Елены.

Стр. 368. *Ватерлоо* — деревня в Бельгии, близ которой 18 июня 1815 года произошла решающая битва Наполеона с англичанами и пруссаками, закончившаяся поражением Наполеона.

Стр. 369. *Мауорм* — персонаж из пьесы Бикерстаффа (1735—1812) «Притворщик». Мауорм — ханжа, лицемер.

Стр. 374. *Облатка* — лепешка из прессованного пресного теста, употребляемая для причащения у католиков и протестантов.

Стр. 377. *Веттурино* — извозчик (слово итальянского происхождения).

Стр. 378. *«Сомнамбула»* — в свое время популярная опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1802—1835).

Стр. 380. *...что привело мне на память Гамлета у Офелии...* — см. Шекспир, «Гамлет» (акт II, сц. 1-я).

Стр. 381. *...похож на Бирнамский лес, пустившийся в зимнее странствие....* — В трагедии Шекспира «Макбет» ведьмы возвещают Макбету, что ему нечего страшиться.

Пока Бирнамский лес не выйдет в бой
На Дунсинанский холм.

В конце трагедии (акт V, сц. 5-я и сл.) Макбету сообщают, да и самому ему кажется, что Бирнамский лес «пошел на Дунсинан».

Стр. 383. *...царь на мраморных ногах...* — См. «Тысяча и одна ночь», ночь 8-я.

Стр. 384. *Панч* — герой английской народной кукольной комедии, многими чертами своего характера и повадками похожий на русского Петрушку.

Стр. 386. *Фарнезе* — герцогская династия Пармы с 1545 по 1731 год.

Стр. 387. *...с тяжелой грушевидной палицей, как у Геракла...* — Имеется в виду античная статуя Геракла (Геркулеса) с

палицей, работы Лисия (IV в. до н. э.) в римской копии I века до н. э., приписываемой афинянину Гликону. Это так называемый Геракл Фарнезе.

Стр. 389. *Тассони* — Тассони Алессандро (1565—1635) — итальянский поэт, автор героико-комической поэмы «Похищенное ведро».

Стр. 390. *Джереми Дидлер* — персонаж из популярного фарса Джеймса Кенни (1780—1849) «Сколачивание деньжонок» «Raising the vind», впервые поставленного на сцене в 1803 году.

Стр. 391. *Университет* — Болонский университет — старейший университет в Европе, основанный в XII веке.

Стр. 392. *...кисти Гвидо, Доменикино и Лодовико Караччи...* —Гвидо Рени (1575—1642), Доменикино (1581—1641), Лодовико Караччи (1555—1619) — видные итальянские художники позднего Возрождения.

...как лорд Байрон. — С 1816 по 1823 год, вплоть до своего отъезда в Грецию, где он и погиб в 1824 году, Байрон жил по большей части в Италии.

Бирон — искаженное произношение фамилии поэта, связанное с написанием ее по-английски — Byron; *милор* — искаженное милорд (mylord) — титулование, употребляемое в Англии.

Стр. 393. *...ключи святого Петра...* — Один из символов папской власти — золотой и серебряный ключи, которые папа на торжественных выходах обычно держит в руках; по евангельскому преданию, апостол Петр был первым наместником Христа на земле, а папы считают себя преемниками «св. Петра».

Если бы в одном из моих прошлых существований... — Намек на учение о так называемом метемпсихозе, то есть о переселении душ после смерти. Учение о метемпсихозе особенно широкое распространение получило на Востоке, в частности в Индии. В XIX веке среди европейской буржуазии стали модными всевозможные мистические учения, в том числе и учение о метемпсихозе. Слова Диккенса имеют благодушно-ироническую окраску.

Стр. 394. *...«косить, пока солнце на небе»...* — английская пословица, соответствующая по смыслу русской: «Куй железо, пока горячо», гласит: «Коси сено, пока солнце на небе».

...старшина медников... — то есть старшина цеха медников. В годы посещения Диккенсом Италии еще не вполне была изжита цеховая организация ремесленников, сложившаяся при феодальном строе.

...дом Ариосто, темница Тассо... — Ариосто Лодовико (1474—1533) — итальянский поэт Возрождения, автор известной поэмы «Неистовый Роланд»; Тассо Торквато (1544—1595) — знаменитый итальянский поэт, автор большой эпопеи «Освобожденный Иерусалим», посвященной крестовым походам. Живя при дворце герцога Феррарского, Тассо в 1577 году покинул герцогский двор и, проведя два года в скитаниях, в 1579 году рискнул возвратиться в Феррару, но был посажен в дом для умалишенных, где томился в течение семи лет.

Стр. 404. *...колокольный звон в честь своего преемника.* — Дож Фоскари не раз просил Совет Десяти, управлявший Венецией, освободить его от звания дожа, но Совет отклонял эту просьбу, пока сам не лишил Фоскари власти.

...выезжал торжественно обручаться с морем... — С XII века в Венеции ежегодно справляли обряд обручения дожа с морем, состоявший в том, что дож в торжественной обстановке выезжал в море и бросал в него перстень. Это символизировало морскую мощь Венецианской республики; море должно было быть покорно правителям Венеции, как жена — мужу.

Стр. 406. *Шейлок* — главное действующее лицо пьесы Шекспира «Венецианский купец».

Стр. 407. *...пленительных образов Ромео и Джульетты...* — Действие одноименной трагедии Шекспира происходит в Вероне.

Стр. 409. *...духу Йорика* — см. Шекспир, «Гамлет» (акт V, сц. 1-я).

...рукою дряхлой дряхлое оружье. — Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт I, сц. 1-я; перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник).

Стр. 410. *...и забавного Пульчинеллу...* — Пульчинелла (Полишинель) — герой народной итальянской комедии, сходной по характеру и повадкам с русским Петрушкой, английским Панчем, немецким Гансом Вурстом, и т. д.

Спенсер — род короткого жакета, названный по имени графа Спенсера, одного из лондонских законодателей мод в начале XIX века.

Стр. 411. *...всегда популярной в Вероне оперы о «Ромео и Джульетте»...* — Вернее всего речь идет об опере Беллини «Монтекки и Капулетти», особенно популярной в эти годы в Италии.

...греческих, римских и этрусских древностей... — Этруски — народ, обитавший к северо-востоку от Рима, некогда носитель высокой культуры и политический соперник Рима на Апеннинском полуострове. В конце концов (III в. до н. э.) этруски были

покорены Римом и растворились в общей массе населения Италии.

«Тайны Парижа» — очень популярный в свое время роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857).

...а это — смерть! — Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт III, сц. 3-я; перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник).

Стр. 412. *...то тощий аптекарь и Мантуя являют собой образец такой совершенной гармонии.* — Имеется в виду персонаж из «Ромео и Джульетты» Шекспира, снабдивший Ромео ядом.

Наполеондор — золотая монета с изображением Наполеона.

Стр. 414. *...святой Грааль рыцарских романов...* — Изумрудный сосуд, из которого Христос, согласно евангельской легенде, пил во время Тайной вечери и в который Иосиф Аримафейский собирал кровь, лившуюся из раны, нанесенной Христу центурионом. На тему о Граале в средние века было написано много романов в стихах и прозе.

...гуси, спасшие Капитолий...—Капитолий—храм и цитадель древнего Рима, в 390 году до Р. Х. был осажден галлами, которые, возможно, и захватили бы его во время ночного приступа, если бы, как рассказывает предание, священные гуси не подняли гогота и не разбудили защитников во главе с Манлием, отразивших нападение галлов.

Рейнольдс Джошуа (1723—1792) — английский художник, выдающийся портретист. Рейнольдсом были написаны также «Лекции об искусстве», которые он на протяжении тридцати лет читал на собраниях Королевской академии искусств в Лондоне.

Стр. 415. *Тайна длинных ушей Мидаса...*— Мидас — царь фригийский, согласно древнегреческому мифу, обладал парой длинных ушей, которыми его наградил Аполлон за то, что он предпочел флейту Пана лире Аполлона. Тайна Мидаса стала известна его цирюльнику, а тот сообщил ее ямке, вырытой им в земле. Из этой ямки вырос тростник, который, шелестя при малейшем дуновении ветра, отчетливо произносил: «У Мидаса длинные уши!» Диккенс не совсем точно передает содержание мифа.

Джулио Романо —Джулио Романо (Джулио Пиппи) — выдающийся итальянский художник, ученик Рафаэля (1492—1546).

...титанов, ведущих войну с Юпитером...— Титаны, согласно греко-римской мифологии,— сыновья Неба и Земли, восстав против богов, пытались низвергнуть небо и громоздили гору на гору, но были уничтожены молниями Юпитера.

Стр. 416. *...как их соплеменники из Хаундсдича...* — Хаундсдич — трущобы в Лондоне, населенные главным образом торговцами подержанным платьем; среди иих было немало евреев.

...не говоря уже о чудесных скрипках... — В Кремоне некогда процветало производство музыкальных инструментов и в частности скрипок. До сих пор считаются непревзойденными скрипки прославленных кремонских мастеров: Амати, Гварнери, Страдивари и Мальпиги.

Стр. 417. *Карло Борромео* — архиепископ миланский (1538—1584), причисленный католической церковью к лику святых.

...если позволительно... процитировать миссис Примроз. — Миссис Примроз — персонаж из романа Голдсмита «Векфильдский священник».

Стр. 418. *Барри* Джеймс (1741—1806) — английский художник, написавший книгу по истории английской живописи.

Стр. 420. *Изола Белла* — один из Борромейских островов на озере Лаго Маджоре.

Стр. 426. *Грумьо* — персонаж из «Укрощения строптивой» Шекспира. Цитируемые слова см. акт IV, сц. 1-я.

Стр. 431. *Владетельный герцог Моденский...* — Модена до 1860 года была самостоятельным герцогством, которым правил герцогский род д'Эсте. В 1844 году, когда Диккенс путешествовал по Италии, моденским герцогом был Франциск IV.

...не признает Луи-Филиппа королем Франции. — Луи-Филипп взошел на французский престол в результате революции 1830 года, свергнувшей его предшественника Карла X. Герцог Моденский не желал признать Луи-Филиппа, так как считал его узурпатором и слишком «левым» королем, поскольку Луи-Филипп проводил диктуемую ему буржуазией политику.

Стр. 432. *«Норма»* — опера уже упоминавшегося итальянского композитора Беллини.

Стр. 433. *Сисмонди* — Сисмонди Шарль (1773—1842) — швейцарский экономист, историк, историк литературы, оставивший после себя много монументальных трудов и среди них «Историю итальянских республик». Сисмонди был уроженцем Пизы.

Стр. 434. *Андреа дель Сарто* — Андреа дель Сарто (1486—1531) —крупный итальянский художник.

Стр. 435. *Сиеста* — отдых в наиболее знойные часы дня (слово итальянского происхождения).

Стр. 444. *...на триумфальные арки Константина, Септимия*

Севера и Тита...— Константин Великий (274—337) — римский император; Септимий Север — римский император с 193 по 211 год; Тит — римский император с 79 по 81 год. Арка Тита возведена в 81 году; арка Септимия Севера — в 203 году.

Аппиева дорога — шоссированная дорога из Рима в Бриндизи (юг Италии), начатая постройкой в 312 году до н. э. римским цензором Аппием Клавдием и названная его именем.

...мимо гробницы Цецилии Метеллы.— Мавзолей, о котором идет речь, датируется 1 в. до н. э. Цецилия Метелла — жена диктатора Суллы.

Стр. 445. *...могло бы быть пантеоном...* — Пантеон —знаменитый храм древнего Рима, посвященный всем богам римского культа; построен около 118—125 г. н. э.; в VI веке превращен в христианскую церковь. Диккенс имеет в виду пантеон в его нарицательном значении — «здание, где похоронены выдающиеся люди».

Стр. 447. *...празднование пятого ноября в Англии.* — Народные празднества в день пятого ноября происходят в память раскрытия так называемого Порохового заговора в 1605 году. Заговорщики ставили своей целью взорвать парламент вместе с королем (Иаковом I) при помощи большого количества пороха, заложенного в подвалах парламента.

Стр. 451. *...воду из самой Леты.*— Лета (греч.-римская мифология) — подземная река, название которой означает «забвение». Тени умерших пили из нее воду, чтобы забыть о радостях и печалях земной жизни.

Брандеры — суда с пороховым зарядом, посылавшиеся к неприятельским кораблям с целью их поджога.

Стр. 454. *...состязания колесниц в Circus Maximus...* —Circus Maximus — буквально: Великий цирк (лат.); старейший цирк древнего Рима, в котором происходили скачки, бега и т. д.

Стр. 456. *Ave Maria* — первые слова распространенного католического гимна и молитвы, означающие: «Славься, Мария!» (лат.)

Стр. 457. *...пережиток древних сатурналий...*— Сатурналии— народные празднества в древнем Риме, происходившие в декабре, отличались таким же безудержным весельем, как карнавал. Большинство ученых считает, что карнавал действительно ведет свое начало от сатурналий.

Стр. 460. *Клавдий* — римский император (10 г. до н. э.— 54 г. н. э.).

...Королевской академии в Лондоне.— Имеется в виду Академия живописи, регулярно устраивавшая выставки.

Стр. 462. *...древнего храма Юпитера Феретрия...*— Юпитера, приносящего победу (лат.).

Стр. 463. *...генерала Тома Сама, Американского Карлика...*— «Генерал Том Сам» — под таким именем выступал в цирке Барнума лилипут Чарльз Стреттон; Том Сам — буквально «Том большой палец» — соответствует русскому «мальчик с пальчик». Стреттон в 1844 году гастролировал в Англии, где имел огромный успех.

Стр. 467. *...какое вызвал бедный старый Дункан...*— Король Дункан, убитый Макбетом (см. Шекспир, «Макбет», акт II, сцена 3-я).

Мамертинская тюрьма — государственная тюрьма древнего Рима, была построена, по преданию, в VII веке до н. э. В действительности она построена, видимо, в III веке до н. э.

Стр. 471. *...обломку расколовшейся надвое опоры из храма...*— Согласно евангельской легенде, в момент смерти Христа разодралась завеса во храме, «земля потряслась, и камни расселись».

...откуда самаритянка зачерпнула воды...— В евангелии повествуется, что во время странствия Христа по Самарии, соседней с Иудеей земле, некая самаритянка напоила его водой из колодца.

...из дома Понтия Пилата... — По евангельской легенде, Понтий Пилат был римским прокуратором (правителем Иудеи) во время суда над Христом и его казни.

...следы его жира и крови.— Лаврентий, признанный католической церковью святым,— церковный деятель III века. Согласно версии его жития, он был предан мучительной смерти: его поджаривали на рашпере.

Стр. 474. *Гессенские сапоги* — низкие кавалерийские сапоги, украшенные сверху кисточкой.

Стр. 477. *...не смеющий перейти мост св. Ангела...*— Мост св. Ангела, переброшенный через Тибр, ведет к замку св. Ангела на правом берегу этой реки. Некогда это был мавзолей древнеримского императора Адриана (76—138). Во времена Диккенса замок св. Ангела был тюрьмой.

Бэрклей и Перкинс — лондонские пивовары.

Стр. 478. *...м-сье Тонсон* —персонаж одноименного фарса Монкрифа (1794—1857), о котором поминутно все спрашивают.

Сикстинская капелла.— Сикстинская капелла в Риме — часовня, построенная папой Сикстом IV и расписанная, помимо Микеланджело, такими замечательными художниками, как Боттичелли, Гирляндайо, Перуджино.

Стр. 479. *Капитолий* — часть Рима на Капитолийском холме, где сохранились развалины многих памятников античного зодчества. Здесь же основанный папами музей древностей.

...Прошлое, Настоящее, Будущее — китайской коллекции...— Речь идет о собрании произведений китайского искусства в лондонском Британском музее.

Стр. 480. *Портрет Беатриче Ченчи в палаццо Барберини...* — В 1605 году в Риме были казнены четыре члена семьи Ченчи — Беатриче, два ее брата и мачеха, обвиненные в убийстве их отца и мужа, Франческо Ченчи, человека крайне развращенного, который, как сообщают современники, покушался на честь своей дочери Беатриче. Казнь четырех Ченчи, и особенно Беатриче, прелестной юной девушки, глубоко потрясла современников. История семьи Ченчи не раз служила темою литературных произведений; можно указать, например, на «Ченчи» Стендаля, «Ченчи» Шелли и т. д.

Стр. 481. *...живописнейший храм Сивиллы.*— Древние греки и римляне называли сивиллами женщин, обладающих даром пророчества. В честь одной из таких сивилл (тибурской), почитаемой почти как богиня, и был возведен этот храм (древн. Тибур, нынешнее Тиволи).

Стр. 484. *Гай Цестий* — народный трибун в Риме I века до н. э.

Стр. 485. *Miserere* — религиозное музыкальное произведение на слова 50-го псалма Давида; Miserere — первое слово латинского текста этого псалма — означает «Сжалься».

Стр. 496. *Диорама*—картина, написанная на прозрачной ткани, матовом стекле и т. д., помещаемая в углублении; благодаря освещению сверху и сзади изображения на диораме казались не плоскостными, но рельефными; помещения, где демонстрировались такие картины, также назывались диорамами.

Стр. 499. *Фра-Диаволо...*— Fra Diavolo—Брат Дьявола (итал). Так называли Микеля Пецца (1771—1806), одного из вождей калабрийских повстанцев. После разгрома восстания Фра-Диаволо возглавил знаменитую шайку разбойников, рассматривавших себя как мстителей за социальную несправедливость. Фра-Диаволо и его люди вели также партизанские действия против

французов, оккупировавших Италию. В 1806 году Фра-Диаволо был схвачен и повешен в Неаполе.

...солдаты преторианского Рима...— Преторианцы — солдаты сначала консульской, потом императорской гвардии. В императорский период преторианцы стали всесильными: они нередко назначали и смещали императоров по своему усмотрению. Рим во времена владычества преторианцев Диккенс и называет «преторианским Римом»; Капуя была в первые века н. э. богатым торговым городом, нравы которого не отличались строгостью.

Стр. 500. *Кьяйя* — набережная в Неаполе.

Стр. 501. *Тиберий* — Тиберий (42 до н. э.— 37 н. э.) — римский император, отличавшийся крайней жестокостью. В 26 г. н. э. он удалился на остров Капри, откуда продолжал управлять империей. Диккенс называет его «обожествленным», так как римские императоры обожествлялись при жизни, и культ императора был общеобязателен для всей империи.

Стр. 502. *...вытянув руку подобно Кануту.*— Известная легенда о Кануте Великом (датском викинге, завоевавшем Англию в 1016 году) гласит, что король Канут ненавидел лесть, расточаемую ему придворными. Для примера он указал на волны прибоя, которым нет дела до его сана.

...где началось восстание Мазаньелло. — Мазаньелло — правильно: Томазо Аньелло (1623—1647) — неаполитанский рыбак, возглавил в 1647 году восстание против испанцев, оккупировавших в то время Неаполь. В течение семи дней Мазаньелло был полновластным хозяином города, но пал от руки убийц, подосланных испанским вице-королем.

Стр. 504. *...среди призрачных развалин Геркуланума и Помпей.* — Геркуланум — древнеримский город Гераклея, на месте которого теперь расположены Портичи и Резина, у подножия Везувия; был частично разрушен, а затем залит потоком расплавленной лавы во время страшного землетрясения и извержения Везувия в 79 г. н. э.; стенные фрески были случайно обнаружены в 1706 г.; с той поры здесь непрерывно ведутся раскопки. Помпеи— древнеримский город в десяти километрах от Везувия. В 79 г. н. э. во время того же землетрясения и извержения, которые уничтожили Геркуланум, был засыпан пеплом Везувия. Впервые после этой катастрофы остатки древних строений Помпей были обнаружены архитектором Фонтана в 1592 году; с

1748 года здесь непрерывно ведутся раскопки, давшие богатейший материал по истории Рима и римского искусства.

Стр. 507. *Свернув к Пестуму...* — Пестум, по-гречески, — Посидония, современная Пести — город в сорока километрах на юго-восток от Неаполя. Посидония была греческой колонией, процветавшей в VII — V вв. до н. э. Здесь сохранились развалины городской стены, амфитеатра, несколько храмов и т. д.

Стр. 513. *...«Фоскари»* — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901).

Стр. 521. *...с обязательной раковиной...* — двустворчатая морская раковина — отличительный знак итальянских паломников.

Стр. 522. *...достойном... Отрантского замка...* — Отранто — небольшой городок на юге Италии, разоренный и уничтоженный в 1480 году турками. Там сохранились развалины старинного мрачного замка. Этот замок описан в романе английского писателя Горация Уолпола (1717—1797) «Замок Отранто» (1764), положившем начало «готическому» роману тайн и ужасов.

Стр. 523. *Медичи* — знатный флорентийский род, захвативший в XV веке власть над Флоренцией и ее владениями.

Иллюстрации, публикуемые в этом томе, принадлежат художникам — современникам Диккенса.

Иллюстрация на стр. 17 принадлежит К. Стэнфилду; на стр. 19, 127, 169, 215, 331, 343, 421, 469 — М. Стону; на стр. 23, 81, 115, 157, 185, 199, 223, 233, 251 — А. Фросту; на стр. 319, 349, 375, 399, 453, 459, 517 — Г. Томсону.

А. БОБОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Перевод Т. А. Кудрявцевой

КАРТИНЫ ИТАЛИИ

Перевод А. С. Бобовича

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 9

Редактор А. Миронова
Художник Е. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректоры В. Седова и Э. Карпенко

Сдано в набор 7/VI 1958 г. Подписано к печати 25/X 1958 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 17,5 печ. л.=28,7 усл. печ. л. 27,92 уч.-изд. л.
Тираж 600 000 экз. (1—150 000).
Заказ № 3764. Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Н. Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.